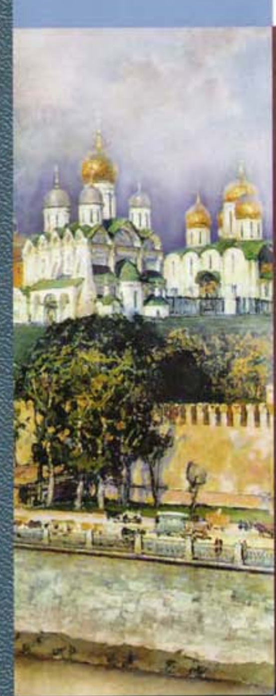
КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ





Ольга Волкогонова

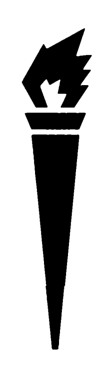


ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1647

(1447)

Ольга Волкогонова

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2013

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
В 67

знак информационной продукции 16+

ISBN 978-5-235-03651-2

Глава 1

МАТЬ И СЫН

В семейной жизни самый важный винт — это любовь.

Антон Чехов

Биографические книги принято начинать с рождения главного героя, рассказа о его родителях, детстве, отрочестве. Мне хотелось отойти от этой традиции и начать свой рассказ о Константине Николаевиче Леонтьеве с его вступления во «взрослую» жизнь, с отъезда на Крымскую войну. Но первоначальный план дал течь: кораблю повествования не хватало парусов, оснастки, компаса, карт — всего того снаряжения, которым снабжают человека именно в детстве, в родном доме. Ведь на формирование леонтьевского характера огромное влияние оказали мать и созданная ею атмосфера в калужском имении Кудиново, где он вырос. Леонтьев мать обожал, но и побаивался: нрав у Феодосии Петровны был крутой и вспыльчивый. Все ее дети — а Константин был последним, седьмым по счету — перед матерью трепетали. Говорят, один из старших сыновей, горячо любимый ею Александр, даже в тифозной горячке по дороге домой в полубреду-полуяви сокрушался, что может огорчить маменьку, посмев заболеть...

Нрав был фамильной чертой. Отец Феодосии Петровны, Петр Матвеевич Карабанов, был неистов во всем: плакал от понравившихся стихов, но мог быть свирепым с провинившимися крестьянами, а в семейных отношениях и вовсе слыл самодуром. Однажды он чуть не задушил свою тихую жену, Александру Эпафродитовну, прямо в присутствии Феодосии, по-домашнему Фенички, будущей матери нашего героя. Позднее внук Константин дал ему такую характеристику: «...развратен до преступности, подозрителен до жестокости и жесток до бессмыслия и зверства». Вместе с тем дед давал внуку поводы и для гордости — Петр Матвеевич был способен на

благородные и высокие порывы. «Слуга Государю и Отечеству преданный», он не только принял участие в войне 1812 года, но и обучил, обмундировал и вооружил на свои средства роту ополченцев.

Семейные предания сохранили два показательных случая: когда Петр Матвеевич отстегал знакомого помещика арапником, узнав, что тот специально отдал в военное ополчение не годных ни на что дворовых, а второй — когда он замахнулся саблей на губернатора, стоило тому усомниться в правдивости карабановских слов... Гены деда проявились во внуке — не менее преданный слуга Государю и Отечеству, Константин Николаевич через несколько десятков лет не задумываясь хлестнул плеткой французского консула за непочтительный отзыв о России и о нем самом как русском человеке...

Неистовый Петр Матвеевич женился двадцати четырех лет от роду на дочке костромского помещика Александре Эпафродитовне Станкевич, Сашеньке. Она была хороша собою, обладала характером незлобивым и тихим, умом особым не отличалась, необузданности мужа побаивалась, а он, не раз срывая на ней свой гнев, мог и поколотить. Бог дал чете Карабановых четверых деток — трех дочек и сына Владимира, дослужившегося до генерала и нажившего солидное состояние. Семья жила в Смоленской губернии, где Петру Матвеевичу принадлежали два имения.

Старшая дочь, Феодосия Петровна, получилась похожей на отца — и внешне, и характером: была умна, горда, вспыльчива и любила настоять на своем. Видя незаурядные способности девочки, родственники и знакомые с трудом уговорили Петра Матвеевича отдать дочь учиться в Екатерининский институт благородных девиц. Хотя две младшие дочери Петра Матвеевича уже учились в институте, а сын был помещен в Горный корпус, Феничку, которая была любимицей жены, он отдавать в учение отказывался: чтобы досадить жене, да и из-за упрямства.

В Екатерининский институт принимали детей небогатых дворян (девушек из более обеспеченных или знатных семей посылали в Смольный институт). Сироты учились за государственный счет, за остальных же платили родители или «покровители». Такая «покровительница» была и у Фенички — Анна Михайловна Хитрово, дочь замечательного русского полководца М. И. Голенищева-Кутузова и фрейлина Их Императорских Высочеств. Мужем Анны Михайловны был генерал-майор Николай Захарович Хитрово, оставшийся в истории Москвы: он был славен тем, что через 12 лет после пожара 1812 года выкупил у московских погорельцев земли, расчистил

их и подарил городу. Место это стало называться Хитровской площадью, на которой расположился знаменитый московский рынок Хитровка.

Знакомство Карабановых с Хитрово было давним: Петр Матвеевич знал лично фельдмаршала Кутузова и его супругу Екатерину Ильиничну, был на приятельской ноге с их зятьями. Феодосия Петровна вспоминала в старости, как они гостили в доме Кутузовых, хотя как и где пересеклись пути Карабановых и семейства Кутузовых, установить уже трудно. Именно Анна Михайловна содействовала поступлению Фенички в институт, куда девочка мечтала попасть вслед за сестрами. Петр Матвеевич вовсе не был беден, но считал затею с Екатерининским институтом ненужной выдумкой, потому Хитрово сделала так, что отец до самого выпуска Фенички из института думал, будто дочь обучается там за казенный счет, — так поводов для возражений против отсылки Фенички в Петербург у Петра Матвеевича не осталось. На самом же деле за Феничку тайком платила Хитрово.

Феодосия Петровна провела в институте пять лет — видимо, лучших в своей жизни. Надо сказать, что между «благодетельницей» — молодой, доброй, немного легкомысленной дамой, болтуньей и разносчицей светских сплетен[1] — и серьезной, с нелегким характером Феничкой со временем завязалась настоящая дружба, которая продлилась вплоть до смерти Анны Михайловны. Феодосия Петровна не раз навещала Анну Михайловну и в Москве, и в ее петербургской квартире, и в калужском имении. Приезжал вместе с матерью и Константин, причем на него особое впечатление производили аристократические манеры и изящество Хитрово, отличавшие ее даже в преклонном возрасте.

Покровительствовала институту вдовствующая императрица Мария Федоровна, супруга Павла I, которую Феничка боготворила всю свою жизнь. Императрица считала, что девочек надо воспитывать так, чтобы из них выходили хорошие матери семейств, поэтому теоретическими познаниями девичьи головки не перегружали. Институтки учили Закон Божий, светский этикет, занимались танцами и рукоделием, впрочем,

---

[1] Сохранились свидетельства, что болтливость А. М. Хитрово сыграла негативную роль в жизни М. Ю. Лермонтова: именно Анна Михайловна рассказала графу А. Х. Бенкендорфу о стихах «молодого гусара», «составляющих оскорбление всей русской аристократии». Речь шла о стихотворении «Смерть Поэта», посвященном гибели А. С. Пушкина и содержащем строки: «А вы, надменные потомки / Известной подлостью прославленных отцов...» Как помним, дело закончилось ссылкой Лермонтова на Кавказ.

присутствовали в программе и математика с историей. Полученного образования было достаточно для того, чтобы стать гувернанткой или домашней учительницей, если мечты о замужестве не сбывались.

В новом трехэтажном здании, построенном по проекту архитектора Джакомо Кваренги на набережной Фонтанки, вновь прибывших девочек экзаменовали. Для поступления требовалось знание французского и русского языков, основных молитв, умение переписывать тексты из книг на французском языке, складывать и вычитать в пределах ста. Феничка выдержала экзамен с блеском. Ее подстригли «в кружок», «бельевая дама» сняла с нее мерку для пошива форменного зеленого камлотового платья с фартуком и пелериной, и потекла ее институтская жизнь.

Порядки в институте напоминали армейские: подъем в шесть утра, обтирание холодной водой до пояса, молитва, утренний чай с сухарями, уроки, обед, прогулка, уроки, ужин, приготовление заданий, молитва, сон... Но Феничка быстро привыкла к новому образу жизни, да и подружки появились — самой любимой стала княжна Прасковья Прозоровская, чья кровать стояла в дортуаре рядом. Училась Карабанова очень хорошо — на ее фартуке постоянно красовались банты-кокарды, которые давались успешным ученицам, танцевала еще лучше, да и на обязательных уроках гимнастики получала похвалы. Со временем она даже стала «метрессой» — так называли отличниц, натаскивающих по поручению классной дамы отстающих учениц («мовешек»).

Феничка (которую в институте переименовали в Фанни) мечтала остаться здесь навсегда — она была согласна стать скромной «пепиньеркой»[1], а со временем, возможно, классной дамой. Но в последний год обучения появилась надежда на блестящую светскую жизнь: при посещении института вдовствующая императрица Мария Федоровна выделила Фанни из других воспитанниц, обласкала ее. Зашла речь о том, что великая княжна Анна Павловна возьмет Фанни к себе фрейлиной. На виду, при дворе, красивая и умная девушка могла бы сделать выгодную партию. Но ни мечтам о светской жизни, ни более скромным надеждам стать классной дамой в

---

[1] Пепиньерками называли окончивших курс девушек, оставленных в институте для помощи классным дамам. У И. А. Гончарова есть шутливое эссе «Пепиньерка» 1842 года: «...пепиньерка есть девица — и не может быть недевицей, так точно и недевица не может быть пепиньеркой. Это неопровержимая истина... Костюм пепиньерки прост. Белая пелерина, белые рукава и платье серого цвета. Может быть, есть на свете пепиньерки и других цветов, но я их и знать не хочу».

Екатерининском институте сбыться было не суждено. Петр Матвеевич потребовал, чтобы дочь возвращалась домой.

Поплакав, в феврале 1811 года семнадцатилетняя Фанни отправилась из Петербурга в смоленское имение Спасское. Она застала дома те же дикие сцены и слезы матери, но за неистовством отца повзрослевшая дочь впервые смогла разглядеть благородную и гордую душу. Легче от этого Фанни не стало: атмосфера дома ее угнетала, она пыталась защищать мать, несмотря на то, что та стала казаться ей лицемерной и ограниченной, и даже спорила с отцом (хотя, как признавалась позже, «так под жилками и тряслось»). Спустя годы Феодосия Петровна описывала себя в то время как угрюмую и самолюбивую девицу, тосковавшую по оставленной петербургской жизни. Но когда в соседнем имении решили устроить бал, девушка приняла приглашение с радостью.

Бал получился многолюдным, ярко горели свечи, местные красавицы блистали нарядами, играла музыка... Среди толпы гостей Фанни выделила голубоглазого стройного красавца с вьющимися волосами, отлично танцевавшего, грациозного, с прекрасными манерами. Он покорил ее, когда по просьбе собравшихся спел, аккомпанируя себе сначала на фортепьяно, а затем — на гитаре. Красавец тоже обратил внимание на девушку: он приглашал ее на один танец за другим. Во время мазурки Фанни поняла, что влюбилась. Хотя она только что узнала имя молодого человека — Петр Борисович Леонтьев, — ей казалось, что они были «век знакомы».

Фанни попросили сплясать «русскую». Сердце девушки зашлось от волнения — все смотрели на нее в ожидании, но когда музыканты заиграли по ее указанию «По улице, по мостовой», бывшая институтка не ударила в грязь лицом. Собравшиеся гости были в восторге и упросили ее станцевать еще раз. Но и после второго танца кричали «бис!». Запыхавшаяся Фанни не знала, как быть: танцевать в третий раз? Тут брат понравившегося красавца, Николай Леонтьев, с восхищением глядя на раскрасневшуюся девушку, сказал полушутя-полусерьезно: «Еще третий раз, и я застрелюсь!»

«Третий раз мы не сплясали, и, на беду мою, он не застрелился», — много лет спустя напишет постаревшая Феодосия Петровна. Беда ее заключалась в том, что в конце того же года Николай Леонтьев посватался к ней и получил согласие Петра Матвеевича отдать за него гордую и своевольную дочь.

В феврале 1812 года состоялась свадьба. Николай Борисович Леонтьев был на десять лет старше жены. С приятными чертами лица, искренне влюбленный, отвращения у Фанни он не вызывал, хотя она была разочарована. В ее глазах Николай

проигрывал брату, да и чин у него был маленький — всего-навсего отставной унтер-офицер (прапорщик), уволенный из гвардии по Высочайшему повелению «за неприличные его званию поступки». И по-французски Николай говорил с ошибками, и книжек читать не любил, да и ленив был... Позднее обожавший мать Константин Николаевич в автобиографическом романе «Подлипки» описал похожую ситуацию в жизни некой Евгении Никитишны, любившей одного брата, но вышедшей замуж за другого, Дмитрия Егорыча: «...ей... не было возможности перенести вдруг все чувства на жениха. Но не нравиться, как муж, Дмитрий Егорыч, при своей красоте и тогдашней любезности, едва ли мог. И она скоро страстно привязалась к нему»[1].

Леонтьевы были не менее древней фамилией, нежели Карабановы, но к XVIII столетию, увы, некогда славный род стал мельчать и вырождаться, хотя еще прадед Константина Николаевича, Иван Петрович Леонтьев, дослужился до генерал-поручика. От брака с Александрой Ивановной, урожденной Толстой, у него было пятеро сыновей. Все сыновья стали военными, кроме одного — Бориса Ивановича, деда нашего героя, дослужившегося до коллежского советника (что соответствовало чину полковника в армии) и порадевшего во славу отечества, хотя его послужной список выглядит довольно пестрым: то он отвечал за народные школы в Калужской губернии, то был советником в губернском управлении, то стал судьей Совестного суда. Трое из его сыновей — Сергей, Петр и Николай — приняли участие в Отечественной войне 1812 года: через несколько месяцев после свадьбы беременная Феодосия Петровна проводила мужа на войну против «врага всемирного», как называли тогда Наполеона.

Николай Леонтьев записался в калужское ополчение, в казачий полк. Учитывая предыдущую службу в лейб-гвардии, его сделали батальонным адъютантом. Эти обязанности Николай Борисович исполнял вплоть до июня 1814 года, когда вышел манифест о роспуске ополчения. Наград он, в отличие от двух своих братьев[2], не заслужил, но долг выполнил честно.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Подлипки // *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь: Роман, повести, воспоминания. М.: Современник, 1991. С. 72.

[2] Сергей Борисович участвовал в зарубежных военных походах, в том числе в сражении под Аустерлицем в 1805 году и во взятии Парижа в 1814-м, был за храбрость награжден золотой шпагой, вышел в отставку в 1816 году полковником. Петр Борисович, кавалер орденов Святого Владимира 4-й степени и Святой Анны 3-й степени, дослужился до подполковника и даже скончался не в домашнем кресле, а в одном из таких походов в 1831 году, когда его полк выступил для усмирения польских бунтовщиков.

Во время войны у Леонтьевых родился первенец. Феодосия Петровна находилась тогда с родными мужа в Ростове, а Николай Борисович вместе с ополчением был на прусской границе, но так волновался за любимую Фанни, что выпросил отпуск и приехал в Ростов ко времени родов.

Выйдя в отставку, Николай Борисович зимой 1814 года поступил на службу земским исправником Мещовского уезда Калужской губернии. Должность выборная, но желающих ее занять было не много, поскольку содержание исправнику полагалось небольшое. Молодые жили в Извьялове, в поместье Бориса Ивановича Леонтьева, что несколько снижало их расходы. Если у Фанни в девичестве и бывали мечты о богатой жизни, то реальность быстро заставила от них отказаться. Здесь, в Извьялове, у Леонтьевых родились еще дети, и вместе с «военным» первенцем их стало уже пятеро — Петр, Борис, Анна, Владимир и Александр[1]. А в 1820 году, после смерти Бориса Ивановича, разросшаяся семья Леонтьевых перебралась в имение Кудиново, доставшееся Николаю по завещанию отца и располагавшееся неподалеку, в том же Мещовском уезде.

Деревянный просторный господский дом, к которому вела липовая аллея, два заросших кувшинками пруда, разделенных плотиной, большой сад на 12 десятинах, речка Выгорка с серебряной плотвой... Крепостных было не много, земли обрабатывались по старинке, доходов имение приносило мало. «Выросшая на восьмистах дедовских душах, мать вышла по воле родителей, — без всякой любви к жениху, и, почти не зная его, стала жить замужней женщиной и воспитывать детей на *семидесяти* душах запущенного мужем и вовсе не доходного Калужского имения»[2], — писал позднее Константин Николаевич.

Действительно, отец Константина Леонтьева хозяйствовать не умел и не любил, во всем полагался на вороватого приказчика, разговоры о том, «сколько копен стало на десятине», заставляли его скучать, а укоры жены лишь портили настроение. Феодосия Петровна вынуждена была заниматься с детьми сама — на гувернеров и учителей денег у Леонтьевых не было. Вот тут-то и пригодились ей институтские тетрадки, полученное образование и строгий характер. Дети трепетали пе-

---

[1] Первый биограф К. Н. Леонтьева, А. М. Коноплянцев, предлагал другую последовательность рождения братьев и сестер Леонтьевых (всего у Феодосии Петровны было семеро детей): Петр (р. 1813), Анна (р. 1815), Владимир (р. 1818), Александр (р. 1819), Борис (?), Александра (р. 1822), Константин (р. 1831).

[2] *Леонтьев К. Н.* Рассказ моей матери об императрице Марии Федоровне // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2003. С. 573.

ред матушкой, но и любили ее. Удивительное дело! Даже при недостатке средств повзрослевшей Фанни удалось создать в Кудинове атмосферу «благородного дома» — с книгами, игрой на фортепьяно, французской речью, разговорами о Корнеле и Расине. Феодосия Петровна поддерживала в имении строгий порядок, все комнаты были украшены ее руками, в гостиной летом всегда стояли цветы, зимой же курились благовония... Растолстевший и облысевший Николай Борисович, никогда особым умом и склонностью к изящному не отличавшийся, все чаще вызывал у Фанни лишь презрение. Дело усугублялось его неспособностью достойно обеспечить семью.

Вскоре после рождения в 1822 году шестого ребенка — дочки Александры — отношения супругов совсем испортились. В результате очередной семейной размолвки Николай Борисович переписал Кудиново на Феодосию Петровну и теперь стал зависим от жены; как написал он сам при внесении своих детей в дворянскую родословную книгу: «...имения недвижимого за мною нигде не состоит». От хронического безденежья это мало помогло — дела были расстроены настолько сильно, что быстро положение поправить было нельзя. Разлад на этом не закончился: крутая нравом Феодосия Петровна и вовсе прогнала мужа жить во флигель. В одном из романов Константина Леонтьева героиня тоже прогоняет мужа во флигель — за измену с прачкой. Возможно, что-то похожее произошло и в семье Леонтьевых. Во всяком случае, Николай Борисович был отселен во флигель навсегда. Дети видели его редко, и участия в их воспитании он не принимал.

Помощь пришла неожиданно — от вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Через 15 лет после окончания Екатерининского института Феодосия Петровна узнала о приезде императрицы в Калугу. Она тотчас поспешила в губернский город и уведомила о себе Марию Федоровну через княгиню Оболенскую. Удивлению скептически настроенных родных не было предела: императрица вспомнила ее и захотела принять! «Я плакала от умиления»[1], — рассказывала Феодосия Петровна.

Спустя некоторое время Леонтьева получила приглашение на коронацию Николая I, а в Москве императрица назначила ей прием, где лично представила бывшую воспитанницу Николаю. Увидев императрицу, Феодосия Петровна упала на колени, не пожалев белого муслинового платья с пунцовой вышивкой. Государю же она поклонилась в пол... Чувства восхищения

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Рассказ моей матери об императрице Марии Федоровне // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2003. С. 587.

и преклонения были искренними — до конца жизни она боготворила Романовых. Николай I по указанию матери обласкал не только саму Леонтьеву, но и ее сына, пообещав зачислить его в Пажеский корпус, — она приехала в Москву вместе со старшим, тринадцатилетним Петром. Благодетельница Анна Михайловна Хитрово, помня о бедности подруги, прислала Феодосии Петровне 200 рублей на обмундирование сына. Со временем Петр стал гвардии капитаном, а с 1847 года — надворным советником, директором шпалерной мануфактуры. Рассказ же Феодосии Петровны о приглашении ее на коронацию стал частью семейных преданий — об этом случае вспоминали все родные.

Надо сказать, что и следующий сын Феодосии Петровны, Борис, через год был зачислен в Пажеский корпус безо всяких на то прямых прав (сын изгнанного из гвардии прапорщика и бедного помещика вряд ли имел основания для приема в такое учебное заведение), но по особой милости императрицы Марии Федоровны. Двое других братьев Константина также были устроены по распоряжению Николая I в военные учебные заведения, а сестру, уже после смерти Марии Федоровны, определили в тот самый Екатерининский институт (пансионеркой Ее Величества), где училась Феодосия Петровна.

Неудивительно, что портрет Марии Федоровны висел в кабинете матери Леонтьева, причем не в ряд с остальными портретами, а выше, на почетном месте. Леонтьев писал позднее: «Я не стану выдумывать и уверять, что я часто размышлял о царской фамилии и любил ее членов вполне сознательно и в те ранние годы мои... но могу сказать, что монархическим духом веяло... в Кудиновском доме, и чрезвычайно сильная моя любовь к моей в высшей степени изящной и благородной, хотя вовсе не ласковой и не нежной, а, напротив того, суровой и сердитой матери, делала для меня священными тех людей и те предметы, которые любила и чтила она»[1].

В Кудинове у Феодосии Петровны был свой кабинет — «Эрмитаж», самая изящная и щеголеватая комната в небогатом доме. «...Эта комната казалась мне лучше всех; в ней было нечто таинственное и малодоступное и для прислуги, и для посторонних, и даже для своей семьи»[2], — вспоминал Леонтьев, описывая этот часто запертый на ключ кабинет. Окна в сад, обтянутые материей стены, цветы в вазах, граненый графинчик с духами, полосатый трехцветный диван в нише, книги... На стенах кабинета портреты — дети, государыня и еще три

[1] Там же. С. 360—361.
[2] Там же. С. 553.

посторонних человека, которых Феодосия Петровна считала самыми близкими своими друзьями и благодетелями.

На одном портрете был изображен молодой генерал «в латах, орденах» — Иван Сергеевич Леонтьев, двоюродный брат изгнанного во флигель мужа. Он умер 45-летним мужчиной в расцвете сил еще до рождения Константина, но тот с уважением относился к его памяти, помня рассказы Феодосии Петровны о том, как блестящий родственник не раз помогал их семье. Судя по всему, Иван Сергеевич восхищался красотой и умом Фанни, считая, что кузену незаслуженно повезло с женой. В кудиновском доме стояла подаренная им полупрозрачная белая ваза, которая озаряла комнату таинственным романтическим светом, когда внутрь ее опускалась горящая свеча и на вазе заметной становилась надпись: *Ellenes'eteindraqu'aveclavie*[1].

На втором портрете (превосходной копии с акварели Э. П. Гау) была изображена пожилая дама в белом чепце с розовыми лентами — Анна Михайловна Хитрово. Фанни изредка удавалось выбраться из дома, чтобы повидать благодетельницу своей быстро пролетевшей юности. Добрая, разговорчивая, наделавшая огромное количество долгов светская дама была той ниточкой, что связывала Феодосию Петровну с былым миром. Со временем, в воспоминаниях, этот мир стал представляться ей блистательным, и тем дороже были те, кто по-прежнему жил в нем. Отдав свою дочь Александру обучаться в Екатерининский институт, Феодосия Петровна приезжала в Петербург, чтобы навестить ее и вдохнуть воздух своей молодости...

А на третьем акварельном портрете кисти известного художника был изображен один из соседей — Василий Дмитриевич Дурново. Цветущий мужчина тридцати с небольшим лет в модном светло-коричневом сюртуке, золотых очках, слегка вьющиеся на висках волосы, тонкое красивое лицо с нежным румянцем. В 1883 году Константин Леонтьев, размышляя о своей судьбе, напишет: «Отец мой (Василий Дмитриевич Дурново) умер в 1833 году. — Я его, конечно, не помню»[2].

Константин Леонтьев не любил своего «официального» отца. На фоне благородной и изящной матери непомерно толстый, обрюзгший и ничем не примечательный отец не соответствовал его эстетическому чувству. В своих воспоминаниях он отзывался о Николае Борисовиче не слишком почтительно: «...отец мой был из числа тех легкомысленных и ни к чему не внимательных русских людей... которые и не отвергают ни-

---

[1] Она угаснет <только> вместе с жизнью (*фр.*).

[2] *Леонтьев К. Н.* Хронология моей жизни // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 28.

чего, и не держатся ничего строго... Отец был и не умен, и не серьезен»[1]. Разумеется, такое мнение о Николае Борисовиче отчасти отражало отношение Феодосии Петровны к мужу. В записках, которые постаревшая женщина оставила после себя, есть повторяющийся мотив: «Девицы! Когда вы возьметесь за ум?.. — то есть не будете выходить замуж!»[2] Для умной, независимой, обладавшей сильным характером Феодосии Петровны замужество и даже материнство стали не радостью, а долгом, в том числе из-за того, что она не уважала своего мужа.

По мнению боготворившего мать Константина, Николай Борисович был не достоин Феодосии Петровны «ни по уму, ни по нравственным свойствам, ни по воспитанию, ни даже по наружности»[3]. Совсем другое дело — Василий Дмитриевич Дурново! Знатный дворянский род, богатство, привлекательная внешность, блестящее образование... Конечно, красивый и богатый отец нравился Константину Леонтьеву гораздо больше неудачника из флигеля. Подтвердить или опровергнуть утверждение Леонтьева о своем происхождении не представляется возможным. Хотя косвенные подтверждения версии отцовства Дурново все же имеются. К моменту рождения сына Николай Борисович уже много лет обитал во флигеле. Кроме того, рассудительная и жесткая Феодосия Петровна вовсе не походила на сентиментальную барыньку, которая стала бы всю жизнь хранить записки постороннего ей человека, а в домашнем «Эрмитаже» не только висел подаренный ей соседом портрет, но хранились и «реликвии» в деревянной урне: вышитая разноцветная бабочка со сделанной рукой Феодосии Петровны надписью: «Embleme de m-r Dournoff» — и записка, написанная Дурново в ответ: «Il l'avait avant de vous avoir connu»[4]. А в 1829 году, когда Кудиново чуть не продали с публичных торгов, спасло имение вмешательство Дурново — он погасил долги Феодосии Петровны. Впрочем, Кудиново еще не раз закладывалось, выкупалось, закладывалось вновь... Увы, хроническое безденежье сопровождало Константина Леонтьева с самого детства.

За несколько лет до смерти Василия Дмитриевича Дурново Феодосия Петровна и он посадили в кудиновском саду два

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 793.

[2] *Леонтьева Ф. П.* Два кудиновских дубка // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 154.

[3] *Леонтьев К. Н.* Рассказ моей матери об императрице Марии Федоровне // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 573.

[4] Эмблема месье Дурново. — Таким он был до знакомства с вами (*фр.*).

дубка: один был назван его именем, другой — ее[1]. Через несколько лет после смерти Василия Дмитриевича дуб, названный в честь Фанни, засох. Действительно, после смерти Дурново Феодосия Петровна изменилась, будто какая-то часть ее души тоже умерла. Она вспоминала Дурново до самой смерти и, постарев, описала историю с двумя дубками, закончив ее горькими словами: «...а жизнь-то, жизнь моя! Становится невыносима; ни физических сил; — ни моральных; — ни утешения; — ни подпоры; — пора!!! А каково же и умереть одной, не имея при себе милого по сердцу человека»[2].

Константин родился раньше срока, 13 января 1831 года, семимесячным. Роды протекали тяжело. Но уже на следующий день ребенка крестили в церкви Рождества Христова в селе Щелканове — поблизости от Кудинова. Крестными стали старшие дети — брат Александр и сестра Аннушка. Ребенок был очень слаб, и если бы не тетка Екатерина Борисовна (младшая сестра Николая Борисовича Леонтьева), которая нянчила Костиньку днем и ночью, он бы вряд ли выжил. Тетушка души в мальчике не чаяла и баловала его, как могла. Она была горбатой, своей семьи не имела, жила в Кудинове приживалкой, и Костинька стал для нее предметом обожания.

Была и няня Матрена — безграмотная и «несколько злая», но умная женщина из дворовых. Феодосия Петровна принимала гораздо меньшее участие в жизни сына, пока тот был мал: она не очень любила грудных детей. Мать кормила Константина грудью сама (как и остальных детей), но младенцем он не раз «переезжал» в разные комнаты подальше от ее спальни, потому что слишком громко и много плакал. Люльку переносили, и горбатая тетка с няней переселялись из комнаты в комнату следом за малышом. Одно время они жили даже в бане! Став взрослым, Константин не забывал о старой тетушке, пытаясь выделить ей хоть что-то из своих скудных средств. Сохранился и ее небольшой портрет карандашом, который Леонтьев выполнил с любовью. Но все-таки солнцем его жизни была мать, которая уделяла ему тем больше внимания, чем старше он становился. «Я так ее любил и так охотно на нее любовался!» — вспоминал Леонтьев.

Вся жизнь мальчика вращалась вокруг Феодосии Петровны. С ней были связаны и его первые религиозные переживания. «Помню картину, помню чувство, — писал позднее

---

[1] Когда у Феодосии Петровны родился сын Константин, в его честь тоже было посажено дерево посреди цветника. Из саженца получился стройный серебристый тополь.

[2] *Леонтьева Ф. П.* Два кудиновских дубка // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 154.

Леонтьев. — Помню кабинет матери, полосатый, трехцветный диван, на котором я, проснувшись, ленился. Зимнее утро, из окна виден сад наш в снегу. Помню, сестра, обратившись к углу, читает по книжке псалом: "Помилуй мя, Боже!", "окропивши мя исопом и очищуся; омыеши мя и паче снега убелюся. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит!" Эти слова я с того времени запомнил... И когда мне было уже 40 лет, когда матери не было на свете, когда после целого ряда сильнейших душевных бурь я захотел сызнова учиться верить и поехал на Афон к русским монахам, то от этих утренних молитв в красивом кабинете матери с видом на засыпанный снегом сад и от этих слов псалма мне все светился какой-то и дальний, и коротко знакомый, любимый и теплый свет. Поэзия религиозных впечатлений способствует сохранению в сердце любви к религии. А любовь может снова возжечь в сердце угасшую веру»[1].

Феодосия Петровна была женщиной верующей, но ее религиозность носила скорее характер морали: она считала, что помощь ближнему важнее поклонов в церкви. Впрочем, она молилась утром и вечером, и запомнившаяся Константину картина зимнего утра как раз и была связана с такой обязательной молитвой — мать молилась с шестнадцатилетней Александрой, приехавшей из Екатерининского института домой. Но к обедням Феодосия Петровна ездила редко, да и то не в свой приход, а в соседний — там церковь была изящнее и чище. Леонтьев вспоминал: «Дом наш, вообще сказать, не был особенно набожным домом»[2]. Молитвам Константина научила не мать, а та же горбатая тетушка Катерина Борисовна. Зато навсегда осталась в памяти Константина совместная поездка с матерью и Катериной Борисовной в Оптину Пустынь — мальчика заворожили тишина и покой монастырской жизни, отталкивание от земного и несовершенного. Он заявил матери, вернувшись домой:

— Вы меня больше туда не возите, а то непременно останусь там навсегда.

Мысль о монастыре возникала у Константина и позднее, в юношестве. Во всяком случае, леонтьевский герой из первого автобиографического романа «Подлипки», Володя Ладнев, рассуждал о любви удивительнейшим для юноши образом: любовь приводит к «душному браку», в котором мешаются скука, сострадание, дети, «бедные проблески последней про-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 795.

[2] Там же. С. 791.

падающей любви». «О, Боже мой! Не лучше ли стать схимником или монахом, но монахом твердым, светлым, знающим, чего хочет душа, свободным, прозрачным как свежий осенний день?» Разумеется, молодого Леонтьева подобные мысли посещали под влиянием семейной жизни, что была у него перед глазами: задыхающаяся от такой жизни мать, которая была заточена в «душном браке», где не только «бедных проблесков любви», но и сострадания-то не осталось. Впрочем, альтернатива в виде монашеской жизни все равно была необычна для томящегося в ожидании первой страсти молодого человека. Хотя религиозная вера пришла к Леонтьеву гораздо позже, видимо, уже в детстве и юности он испытывал в ней потребность — он всегда искал то, что могло бы стать духовной основой жизни.

С матерью связан и «эстетический инстинкт», столь характерный для Леонтьева. Феодосия Петровна, несмотря на крайне стесненные средства, стремилась к тому, чтобы жизнь в Кудинове была красива и изящна. Пусть ее «Эрмитаж» был обит дешевой бумажной материей, зато комната была декорирована с большим вкусом. Даже из чулана под лестницей Феодосия Петровна смогла сделать таинственную нишу — самое уютное место в своем кабинете, где так любил находиться ее сын. Для него изящество и красота жизни тоже стали значить чрезвычайно много. С детства он даже людей оценивал по тому внешнему впечатлению, которое они производили на него.

Костя рос в женском обществе: Николай Борисович обитал во флигеле, старшие братья жили в учебных заведениях, его окружали мать, тетка, сестра. Они его наряжали, завивали ему волосы, душили одежду. Мальчиком он был женоподобным, любил примерять матушкины шляпки, называя себя в них: «Я сейчас мужская женщина». «Все детство он провел в деревне, но его воспитывали так по-женски, что он долго не знал, что значит ездить верхом»[1], — описывала его детство Мария Леонтьева, племянница и очень близкий ему человек. Правда, для игр к нему был приставлен крепостной мальчик, чуть старше его. Лет с шести Костя полюбил играть с ним в «островитян»: изображая дикарей, они сражались с врагами за свой остров в «сажалке»[2]. До этого же всё его окружение было женским. Даже в куклы (которым давал совершенно фантастические имена) он играл скорее по девчачьему «канону».

---

[1] *Леонтьева М. В.* Отрывок из воспоминаний // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 138.

[2] Сажалка — маленький искусственный пруд для хозяйственных целей, который использовался обычно для замачивания льна или конопли, для разведения рыбы (которую туда «сажали» — отсюда и название).

Константин с малолетства следил за своей одеждой, новый воротничок радовал его больше прогулки, он любил рассматривать себя в зеркале и радовался тому, что видел. Действительно, Константин с детства был хорош собой. Не случайно дворовый художник, рисуя его портрет маслом, изобразил мальчика в виде херувима. Воспоминания о детской ангельской внешности льстили и взрослому Леонтьеву — именно от него мы знаем об этом эпизоде. Да и одну из никогда не законченных автобиографических повестей он назвал «Записки херувима», настолько образ мальчика-ангелочка был ему дорог. Николай Бердяев и Юрий Иваск — два самых известных биографа Константина Леонтьева — в своих книгах писали о «муже-женственном строении души» (Бердяев) и об «андрогинном начале» (Иваск) Леонтьева.

С братьями и сестрами Константин не был близок из-за разницы в возрасте. Одно время Костя очень любил Александра, но и здесь речь шла об эстетическом восхищении и любовании, а не о душевной близости: Александр был на 11 лет старше, жил кадетом в Петербурге, никаких общих интересов с младшим братом у него быть не могло. Александр был всеобщим любимцем в семье (Константин Николаевич признавал, что «он был рожден с наилучшей из всех нас душой»[1]). Именно с этим, когда-то любимым братом, ставшим бедным пехотным прапорщиком (он недоучился до военного инженера, изгнанный за шалость из кадетского корпуса), во взрослой жизни отношения у Константина сложились особенно сложные и неприязненные. «Ни на ком в жизни так, как на этом брате Александре, я не видал, до чего хорошая, добрая, симпатичная *натура* может стать гадким, низким и жалким *характером* при вредных влияниях и дурном направлении»[2], — писал постаревший Леонтьев.

Феодосия Петровна была вспыльчива и сурова, детей не баловала, а за провинности — пребольно секла. Но именно с матерью — строгой, но прекрасной — была связана вся жизнь Константина. Маленькому Костиньке мать читала вслух по вечерам — сначала по-русски, потом по-французски. Такое чтение вслух относилось к разряду развлечений, но у Константина со временем появилась и «работа» — Феодосия Петровна учила его по тем самым своим институтским тетрадкам. А в 1841 году, уже десяти лет от роду, Константина отдали в Смоленскую гимназию.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года //*Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 135.

[2] Там же.

К этому времени Николая Борисовича Леонтьева уже не было в живых — он долго болел и ушел из жизни в декабре 1839 года. Константин смерти отца почти не заметил. Мальчику запомнилась только бедная риза приходского священника на похоронах, сшитая из разноцветных шелковых треугольников... Хоронить Николая Борисовича повезли в Мещовский монастырь его сестра и одна из дочерей, остальные, в том числе Феодосия Петровна, на кладбище вовсе не поехали. Смерть барина из флигеля не вызвала в семье горечи утраты.

Пристраивала своего младшенького Феодосия Петровна сама. Она отправила его в Смоленск под присмотр своего брата, Владимира Петровича Карабанова. Не случайно мотив жизни у родственников присутствует в романе «Подлипки» — Володю Ладнева, тоже в десять лет, забирают из дома, дорогого ему с раннего детства, из Подлипок (прототипом которых явно было Кудиново), к дяде. Реальный дядя, как и дядя из романа, был богат (ему принадлежало несколько имений под Вязьмой), имел звание генерал-майора, у него был единственный сын от первого брака, старше Константина. Феодосия Петровна надеялась, что брат поможет Константину встать на ноги. К сожалению, этого не произошло: Владимир Петрович скоро, Великим постом, умер. Константин закончил учебный год и уехал на лето в Кудиново.

Впрочем, вторая жена умершего Карабанова, Анна Павловна (в девичестве — Охотникова), овдовев, не отвернулась от родственников мужа. У нее не было своих детей, зато были добрый нрав, время и некоторые средства, чтобы помочь Константину. В имении Спасское-Телепнево, владеть которым после смерти дяди стала его вдова, Константин и Феодосия Петровна гостили каждый год. Располагалось имение в 90 верстах от Кудинова. Следующую зиму Константин провел в петербургском доме Охотниковых, летом же 1843 года стал усиленно готовиться к поступлению в Дворянский полк. Конкурсный экзамен он выдержал успешно.

Учился Константин хорошо, аскетический кадетский быт обладал в его глазах определенной романтикой — он любил форму, ему нравились желтые погоны без просветов на плечах, слаженность движений во время строевых смотров. Когда кадеты запевали песню полка — «Братья! Все в одно моленье / Души русские сольем...» — подросток замирал от восторга. Мечтая, он представлял себя молодым генералом в орденах — чем-то похожим на портрет дяди в материнском кабинете. Но плохо отапливаемые казармы, сырой питерский воздух привели к тому, что Константин стал кашлять. Кашель к весне усилился, и Феодосия Петровна встревожилась: не чахотка ли?

Это слово воспринималось тогда как смертный приговор. В результате в 1844 году — как раз перед тем, как кадеты должны были выехать в летний лагерь (чего мальчик ждал с нетерпением) — Леонтьев был уволен из полка по болезни.

Кудиново после возвращения из Петербурга показалось Константину особенно родным и близким. Длинная аллея, ведущая к дому полиняло-желтого цвета, двор, окруженный стрижеными акациями, подросший серебристый тополь, посаженный в год его рождения, заставили радостно биться его сердце. «Все, что двигалось и дышало здесь, плакало и веселилось, — дорого мне» — такие слова о родном имении вложил Леонтьев в уста Володи Ладнева, в котором легко угадывается он сам. «В Подлипках... — казалось Володе Ладневу, — никто не страдает — все цветет и зеленеет; лай собак, пение петухов, шум ветра многозначительнее, не такие, как в других местах; мужички все, встречаясь, улыбаются, собаки знают меня, и умирать там, должно быть, легче, чем где-нибудь в другом месте!»[1]

Всё шло по привычному, заведенному Феодосией Петровной порядку, отчего Константин чувствовал себя здесь особенно уверенно. Поняв, что мечта стать генералом, носить военный мундир, вызывающий восторги у дам, не сбудется, он стал примерять на себя гражданскую жизнь — «примерка» эта опять была прежде всего эстетическая, внешняя. Похожая эволюция образа произошла и в жизни Володи Ладнева: «К этому времени я уже решился быть статским. Самый гражданский костюм стал мне нравиться. Я слил в одно смутное представление множество образов... : Родольфа "Парижских тайн", каких-то умных и смелых людей... в модных фраках, с бакенбардами и бородами, с сияющим бельем, Байрона, Онегина, даже порочного, но непобедимого Сципиона из "Мартына-найденыша", артистов в острых шляпах... смелых студентов в широких клетчатых панталонах...»[2] Но для того чтобы мечта о сияющем белье, бакенбардах и модных фраках сбылась, надо было опять учиться.

В Дворянском полку кадеты изучали главным образом точные и естественные науки. Кроме того, они обучались пешему и конному строю, уставам, гимнастике, верховой езде, фехтованию. С латинским языком дело обстояло хуже — его не учили вовсе. Поступить же в гимназию без знания основ латыни было невозможно, поэтому всё лето Константин провел в Куди-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Подлипки // *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 81.

[2] Там же. С. 82.

нове с учебниками латинского языка, и осенью тринадцатилетний подросток поступил в третий класс Калужской гимназии.

Он проучился здесь пять лет, жил в Калуге под присмотром горбатой тетушки Екатерины Борисовны и закончил курс в 1849 году с правом поступления в университет без экзаменов. Феодосия Петровна тоже на зиму перебиралась в Калугу, и Константин не чувствовал одиночества. Да и родственники в Калуге были — хотя бы Семен Яковлевич и Варвара Михайловна Унковские, у которых Леонтьевы часто бывали. Дом был зажиточный, хозяева — приветливые и хорошо образованные, дочери и сыновья были рады визитам Константина. Именно у Унковских Константин впервые увидел Ивана Сергеевича Аксакова, известного в будущем публициста-славянофила. Аксаков служил в Калуге в уголовной палате, Константин же знал его как сына знаменитого писателя и как поэта.

Калужским вице-губернатором в ту пору был близкий Леонтьевым человек — Александр Николаевич Хитрово, сын Анны Михайловны. В его доме Константин, по некоторым сведениям, и жил во время обучения в гимназии[1]. Там у него появился друг — Михаил, четвертый по счету ребенок Александра Николаевича. Он был моложе Константина на шесть лет, но дружба с ним сохранилась у Леонтьева на всю жизнь.

Учился Леонтьев хорошо (проблемы ему доставляла только физика, в остальном же учителя были им довольны), синюю форменную фуражку с лаковым козырьком и кокардой из двух скрещенных лавровых веток и аббревиатурой «ККГ» (Калужская классическая гимназия) научился носить с едва уловимым шиком, но все же душою класса не стал и ничем особенным из числа других гимназистов не выделялся. Самым приятным временем для него оставалось лето с вакациями в любимом Кудинове.

Судя по произведениям Леонтьева, это была пора и первых влюбленностей. Володя Ладнев, литературная проекция Леонтьева, был «обвенчан» (конечно, в шутку! но шутка накрепко запомнилась) в девять лет, но по-настоящему влюбился позже, в четырнадцать, — уже в доме дяди, где жил, пока учился в городе. Там, вдали от родных Подлипок, он получает письмо с признанием в любви от барышни Людмилы Салаевой и, конечно, тут же влюбляется в ответ. Вслед за этой «любовью» Володя Ладнев переживает и другую — к Софье Ржевской, которая умна и весела и с которой они оба *играют* в любовь, следуя правилам жанра, но сохраняя трезвую голову.

---

[1] См.: Калуга в шести веках: Материалы 1-й городской краеведческой конференции. Калуга, 1997. С. 146.

В это же время Володя томится от предчувствия и потребности физической любви: с барышнями такое невозможно, проститутки оскорбляют его эстетическое чувство, значит, остается обратить внимание на девушек «из народа». Володя Ладнев ухаживает за Катюшей — крепостной из дворни, — которую знает еще по детским совместным играм. Но успеха добивается не он, а его соперник — бедный родственник Модест Ладнев, пообещавший на Катюше жениться, но своего обещания, разумеется, не выполнивший. Надоевшая вскоре Катюша была брошена им на произвол судьбы в чужом городе. Впрочем, спустя некоторое время выгодно женившийся Модест заглаживает грех своей молодости, регулярно посылая опустившейся Катюше деньги на жизнь. Остается только гадать, что в этих историях взято Леонтьевым из его прошлого.

В «Подлипках» много женских персонажей, в том числе тех, кто вызывает явный сексуальный интерес у Володи Ладнева. Например, «поповна» Паша, влюбленная в Володю девочка, которую он выманивает ночью из дома, имея в голове детально разработанный план ее соблазнения. Но благородство натуры побеждает — Володя не может обидеть доверчивую Пашу. Сама интонация, когда автор повествует об этом случае, позволяет предположить, что история — глубоко личная, некогда пережитая. Но, как понимает читатель, предположения и размышления — не факты, а вот с ними в этой области туговато... Одно очевидно: едва ли не с самого детства Леонтьев был необычайно влюбчив. Более того, женщины на протяжении всей его жизни часто отвечали ему взаимностью, их было в его жизни очень много, о чем говорил и он сам, хотя большинство их имен мы уже не узнаем.

Окончив гимназию, осенью 1849 года Леонтьев поступил в ярославский Демидовский лицей — высшее учебное заведение, готовившее гражданских чиновников, прежде всего юристов. Но провел в нем Леонтьев лишь два месяца: предметы давались ему слишком легко и не возбуждали любопытства. Константину стало скучно, он растерялся: что же делать? На семейном совете Феодосия Петровна постановила: учебу прервать, вернуться в Кудиново и поступать в университет. Так в конце октября Леонтьев вновь оказался в Кудинове, откуда и послал свои документы в Московский университет на медицинский факультет. Врачебную карьеру он избрал тоже по совету матери: та считала, что такая профессия сможет обеспечить сыну безбедное существование. На время его обучения Феодосия Петровна положила высылать ему по десять рублей серебром в месяц, жить же в Москве он должен был у богатых родственников — в доме Охотниковых.

Глава 2
УНИВЕРСИТЕТ

О молодость! Молодость!.. Может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать, а в возможности думать, что все сделаешь.

Иван Тургенев

В Москву Леонтьев приехал, когда занятия уже начались, и ему пришлось догонять других студентов. Сначала он снимал комнату на Остоженке, а потом поселился в доме Н. В. Охотниковой и ее дочери-вдовы А. П. Карабановой. На правах члена семьи при Анне Петровне жила компаньонка-немка Софья Карловна Грамберг — женщина чрезвычайно образованная и умная, к которой Константин искренне привязался. Трехэтажный дом, возведенный еще в XVIII веке и отстроенный заново после пожара 1812 года, стоял на Пречистенке — одной из наиболее аристократических улиц Москвы. Поблизости располагались усадьбы князей Лопухиных, княгини Салтыковой-Головкиной, богатые дома князей Долгоруких, генерала Ермолова. Недаром с легкой руки князя П. А. Кропоткина, родившегося неподалеку, Пречистенку окрестили «московским Сен-Жерменом». Константину выделили целые три просторные комнаты с большими окнами, выходящими на улицу. Комнаты находились в нижнем этаже, и у молодого человека был даже свой особый вход с крылечком.

Императорский Московский университет в то время имел четыре факультета — историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский. Число студентов было ограничено, их поступки и даже внешний вид строго регламентировались. Например, все студенты должны были носить треугольную шляпу; появившись на улице без оной, можно было угодить в карцер. Занятия начинались в девять утра, заканчивались около четырех, но студентам-медикам (которых каждый год принимали около восьмидесяти человек) редко приходилось просиживать весь день на Моховой,

где располагался университет. С каждым семестром все больше времени они проводили в анатомическом театре, университетских госпитальных клиниках (получивших название Клинического института) или Новоекатерининской больнице.

Леонтьеву довелось слушать лекции известных профессоров — Ф. И. Иноземцева и А. О. Овера, о которых потом не раз с благодарностью вспоминал, хотя и характеризовал их в основном эстетически: Иноземцев был «приятно-некрасив» и изящен, Овер — красив, но криклив, а помощник Овера, маленький плешивый К. Я. Млодзеевский, умел замечательно разъяснять студентам предмет, но в силу своей некрасивости производил «жалкое и досадное впечатление».

Леонтьевские описания по-своему поразительны. Он оценивал профессоров, как гобелены или вазы; его больше занимал вопрос, насколько они живописны, профессиональные же их качества для него были вторичны: «Овер был похож на храброго, распорядительного и злого зуавского полковника, на крикливого и смелого француза-*parvenu*. Иноземцев казался или добрым и вместе с тем энергическим русским барином с удачной примесью азиатской крови и азиатской серьезности, — или даже каким-то великодушным, задумчивым и благородным поэтом с берегов Инда или Евфрата, поступившим... на коронную службу к Белому Царю. <...> Всякий человек со вкусом и понятием... согласится, что последнее лучше... Это изящнее»[1]. Константин, при всем своем честолюбии, искренне считал: Бог с ними, с познаниями и со славой ученого, не нужны они мне, если за это у меня должно сделаться такое лицо, как у Млодзеевского!

Леонтьева тогда по-настоящему увлекла френология Франца Галля — околонаучная попытка определить характер по выпуклостям на черепе. Он пытался по буграм на голове «прочитать» знакомых и незнакомых людей, пробовал таким образом определить характер своих университетских преподавателей. Через год он разочаровался в этой теории, но стал интересоваться ее обновленной версией — физиогномикой. Константин штудировал немецкие книги К. Каруса, Р. Вирхова, И. Энгеля о костях черепа и лица, даже выписывал их брошюры из Германии, несмотря на то, что это оставляло заметную брешь в его ограниченном бюджете. Он мечтал, что со временем сможет указать людям, как надо устроить общество «на физиогномических основаниях» — справедливых и *при-*

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Воспоминание о Ф. И. Иноземцеве и других московских докторах 50-х годов // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб.: Русское Книжное Товарищество «Деятель», б. г. С. 60.

ятных. «Главное — *приятных*!» — подчеркивал Леонтьев. Ведь физиогномика поможет точно определить, кто способен управлять, кто — судить, кто вынашивает в себе преступление, а кто наделен талантами... Видимо, молодой студент полагал: выполнять публичные функции должны люди с привлекательной внешностью, что остальным будет доставлять удовольствие...

Учились студенты шесть дней в неделю, свободным был только один, да и тот приходилось тратить на подготовку домашних заданий. Вместе с тем у Леонтьева появились новые знакомые, причем большей частью — богатые (так как знакомства завязывались через богатых же родных), в результате его жажда светской красивой жизни, любви, успеха только усиливалась. Обеспеченный Володя Ладнев из «Подлипок» время от времени мог обращаться в Онегина — ему иногда позволялось прокатиться на своих санях с возницей, когда «морозной пылью серебрился его бобровый воротник», но у Леонтьева таких минут не бывало. Времени и десяти рублей, которые Феодосия Петровна ежемесячно посылала сыну, катастрофически не хватало для осуществления мечтаний.

Вспоминая свою молодость, Леонтьев характеризовал ее как несчастливую: тщеславие было огромное, а жизнь он вынужден был вести скромную, к тому же мучительно боялся, что «отцветет, не успевши расцвесть». Напротив университета находился трактир «Британия», где Константин любил читать журналы и пить чай; заказывать что-нибудь кроме чая он мог позволить себе лишь изредка, и то произведя в голове подробную калькуляцию своих средств. Это казалось ему унизительным и заставляло по-настоящему страдать.

Медицина тоже интересовала Леонтьева только в общих теоретических выводах, частности же — к которым практическая медицина и сводится! — тяготили его. Он хорошо учился, старательно зубрил названия костей и мышц, но не чувствовал призвания к врачебной практике, прежде всего потому, что на первых двух курсах не имел почти дела с настоящими больными и не мог ощутить нравственного пафоса будущей профессии. Реальность же анатомического театра со смрадными трупами бродяг, которые использовались для обучения студентов, отталкивала. В романе «В своем краю» он описывал впечатления студента-медика: «На воображение его раздирающим образом действовали трупы синие, зеленые, худые, раздутые водой, удавленники, замерзшие пьяные женщины, одинокие старички и старушки, которых никто не требовал для похорон и которых терзали на куски для студентов... Он должен был прожить целый год в борьбе с самим собою, чтобы

привыкнуть к постоянному созерцанию смерти во всех ее самых грязных, самых скучных видах...» К тому же Леонтьев попрежнему сильно кашлял, часто болел: его здоровье никогда не было крепким. В результате студенческие годы прошли у Леонтьева если не в депрессии, то в постоянной меланхолии.

Самое удивительное, что объективных причин для этого имелось не так уж много. Да, десяти рублей было маловато для нарядной одежды, театров, для обедов в приличном трактире, но по сравнению со многими своими однокашниками Леонтьев жил чуть ли не роскошно! Своя квартира в богатом доме у родственников, возможность не думать о хлебе насущном, не бегать по урокам для заработка были подарком судьбы. Константин, понимая это разумом, настроен был все же мрачно: он переживал из-за заношенности своих перчаток (ему казалось, что их потертость заметна всем!), его мучили сомнения в своих способностях...

Леонтьеву была свойственна та самоуверенность, оборотной стороной которой являлась крайняя неуверенность в себе. С одной стороны, он чувствовал в себе силы и таланты, которые, как полагал, дают ему право на неординарную жизнь — «право надежды на многое в будущем» дорого и Володе Ладневу, — с другой стороны, сомневался в себе ежечасно, ежеминутно и страдал от этих сомнений.

Сомнения усилились, когда в его жизнь вошел Алексей Георгиевский. Этот человек стал единственным настоящим другом Леонтьева в университете. «Меня не занимала грубая веселость моих товарищей, — вспоминал он позднее. — Видимо, они ни о чем почти не беспокоились и не думали, кроме экзамена и карьеры своей. Я же с утра до вечера думал и мучился обо всем»[1]. Георгиевский был двумя годами старше Леонтьева, тоже учился на медика и тоже родился в Калужской губернии. Он буквально поразил Константина неординарностью «независимого и мощного ума». Леонтьев считал друга гениальным, восхищался им и дорожил сложившимися отношениями, но вместе с тем интеллектуальное превосходство Георгиевского (реальное или кажущееся — не столь важно) подавляло, заставляло все больше сомневаться в себе.

Надо сказать, что и Георгиевский не отказывал себе в удовольствии поддразнить Леонтьева, посмеяться над его изнеженностью и «барскими замашками». Сам Георгиевский находился в гораздо более тяжелом положении: он был сыном очень бедного многодетного чиновника, денег из дома на

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 28.

жизнь не получал никаких, богатых родственников у него в Москве не было, а в университете он был «казенным студентом», то есть учился на государственный кошт. Георгиевский кормил себя уроками. Тяжелая жизнь озлобила его, и он иногда срывался на избалованном, с его точки зрения, Леонтьеве, делая того объектом своих ядовитых шуток. Леонтьев, искренне полюбивший Георгиевского, мучился еще больше от своей «второсортности», но продолжал восхищаться другом.

Друзья разговаривали часами о литературе, любви, религии (Георгиевский склонялся к атеизму), о предназначении человека. Они обсуждали Гомера и Гоголя, Тургенева и Пушкина. Под влиянием друга Леонтьев начал читать Белинского, Герцена, Жорж Санд — «прогрессивную литературу» того времени. Юношеская обостренность чувств сказывалась и тут: он мог плакать от жалости к миру над стихами Некрасова (которого терпеть не мог в зрелом возрасте) и Огарева. В политических взглядах Леонтьев стал склоняться к республике, чем вызвал искренний гнев матушки, для которой монархизм был так же непреложен, как дважды два четыре. Правда, республиканцем он вряд ли был настоящим, просто сказалось воздействие старшего товарища.

В ранних леонтьевских произведениях Георгиевский выведен под именем Юрьева. Ладнев мечтает соединить в себе ум Юрьева с грациозностью Яницкого (эту фамилию Леонтьев дал нескольким персонажам своих произведений; «бледный, красивый, с тонкими чертами лица, богатый, независимый» — так он описывает одного из этих Яницких). Рассуждения были таковы: пусть я не так умен, как Юрьев, пусть я не так грациозен, как Яницкий, зато я *полнее* их, так как сочетаю различные качества. Леонтьев никогда не мог удовлетвориться только умом, его обостренное эстетическое чувство требовало для ума соответствующей «оболочки». В этом смысле он был настоящим *денди*, вернее, стремился им быть, поскольку реализации идеала мешало отсутствие денег на покупку новых перчаток и туфель.

Русский дендизм, символом которого стал пушкинский Евгений Онегин, был целым явлением в отечественной культуре позапрошлого столетия и представлял собой попытку нахождения изящных внешних форм для утонченной умственной культуры. Страдания молодого Леонтьева были обусловлены невозможностью воплощения такого идеала в собственной жизни.

Во многих его романах встречается мотив любования героя самим собой, но чужими глазами (а в каждом леонтьевском герое немало автобиографических черт). Тот же Володя Лад-

нев из «Подлипок» мечтательно моделирует ситуацию в театре, когда на него смотрят со всех сторон и говорят друг другу: «“Кто этот прелестный молодой человек?” — “Это племянник генерал-губернатора”. — “Что за восхитительный молодой человек, не так ли?” — “О да, он очарователен”»[1]. В другом романе — «Египетский голубь» — герой, еще одно *alter ego* автора, некоторое время страдает от отсутствия красивой и модной одежды, но берет в долг и пополняет свой гардероб, после чего секретарь посольства сообщает ему с улыбкой, что все иностранцы спрашивают про него: «Кто этот молодой и элегантный консул, который давеча вышел из ворот русского посольства?»[2]

Им нельзя не восхищаться! — вот лейтмотив самоощущения молодого Леонтьева, приводивший к мучительной раздвоенности жизни: красивой и изящной в мечтах, обыкновенной и подчас грубой в реальности. Леонтьеву приходилось постоянно мирить в себе эти два мира, переходя от веры в себя к страху оказаться заурядным — и внешне, и внутренне. Георгиевский, не обладавший ни тонким леонтьевским вкусом, ни потребностью окружать себя красивыми вещами, постоянно подшучивал над другом, считая всё это барской блажью. В то же время он высоко ценил интеллектуальные способности Леонтьева, их беседы, потому эта подчас мучительная для Константина дружба продолжалась два года. Друзья виделись практически ежедневно, и у них не было тайн друг от друга («...я его года два подряд без ума любил», — напишет потом Леонтьев). Но после второго курса, в 1851 году, Леонтьев отношения с Георгиевским разорвал. «Я был тогда точно человек, с которого сняли кожу, но который жив и все чувствует, только гораздо сильнее и ужаснее прежнего. Оттого-то я и не мог долго выносить иронию и умственную злость моего разочарованного друга; его даже и шуточные замечания действовали как едкое вещество на живое окровавленное тело»[3] — так объяснял постаревший Леонтьев свой поступок. После окончания курса он не имел о Георгиевском никаких известий, но позднее каким-то образом узнал, что тот покончил с собой в 1866 году.

Вскоре после знакомства с Георгиевским в жизнь Леонтьева вошла и женщина — Зинаида Яковлевна Кононова. Он по-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Подлипки // *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 64.

[2] *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 329.

[3] *Леонтьев К. Н.* Тургенев в Москве (1851—1861 гг.) (Из моих воспоминаний) // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 698.

знакомился с ней в первый свой студенческий год. Она была немного старше Константина, не слишком красива, зато кокетлива, неглупа, изящно одевалась и сразу обратила на себя внимание молодого человека. Спустя годы он вспоминал ее прекрасные серые глаза. В леонтьевском романе «В своем краю» один из персонажей описывает свою возлюбленную: «Она была старше меня двумя годами, хитра, упорна, тщеславна и старалась скрыть свое тщеславие...» Речь явно идет о Зинаиде, которая тоже выделила стройного красивого Константина из круга своих поклонников. Довольно скоро они стали часто видеться, но отношения их в первый год оставались неопределенными, хотя и не без взаимного влечения.

Тем не менее когда однажды Зинаида капризно спросила Леонтьева:

— Вы кого больше любите — меня или своего противного Георгиевского? Только правду говорите!

Леонтьев ответил:

— Если правду — Георгиевского... Разве может молодая девушка понимать то, что он понимает?

Этот эпизод потом нашел свое место в «Подлипках» — в разговоре Володи Ладнева с Софьей Ржевской. Женщины никогда не занимали слишком большого места в душе Константина, потому, наверное, он и пользовался у них таким успехом.

Десятого июня 1850 года Леонтьев уехал в Кудиново на летние вакации. А следующий учебный год стал решающим в жизни Леонтьева — он начал писать. Причем сразу и одновременно большой роман, пьесу и поэму! Но меланхолия его от этого не стала слабее. «В 51-м году мне стало до того... уже грустно и больно, что я вовсе перестал понимать веселые стихи, веселые сцены и т. д. ... Я только понимал страдальческие болезненные произведения»[1], — вспоминал он.

Именно в таком состоянии Леонтьев прочел «Записки лишнего человека» Тургенева. Он читал их в трактире «Британия», и печальная история умирающего от чахотки юноши в прямом смысле заставила его плакать. Константин вынужден был закрывать лицо книгой, чтобы не вызвать любопытства посетителей. Конечно, он увидел в тургеневском лишнем человеке *себя*, в чем сказались и его боязнь чахотки, и неудовлетворенное самолюбие, и одиночество.

Зинаида Кононова не могла служить ему утешением — отношения с ней тогда были «какие-то нерешительные, неяс-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Тургенев в Москве (1851—1861 гг.) (Из моих воспоминаний) // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 698.

ные, шаткие, и даже они причиняли больше боли, чем радости». Думая о ней, Константин любил повторять строки из стихотворения Ивана Клюшникова:

Я не люблю тебя, но, полюбив другую,
Я презирал бы горько сам себя.

Он испытывал горькое удовольствие, шепча себе: «*Я не люблю тебя*», но каждый день приходил в дом Кононовых, чтобы увидеть Зинаиду, — это стало для него потребностью. «Не видать ее день один было для меня тяжело»[1], — признавался Леонтьев. Она даже не казалась ему красивой, он видел недостатки ее внешности, но оторваться от нее не мог.

«Я был на втором курсе и очень много страдал в этом году. <...> Я был очень самолюбив, требовал от жизни многого, ждал многого и вместе с тем нестерпимо мучился той мыслию, что у меня чахотка»[2] — так описывал Леонтьев состояние, в котором написал свое первое литературное произведение — пьесу «Женитьба по любви». «Несмотря на самые неблагоприятные и даже мрачные условия... в эту ужасную зиму из души моей каким-то неудержимым ключом и почти вдруг стало бить литературное вдохновение!»[3] — вспоминал он.

Сюжет пьесы во многом был автобиографичен: речь шла о молодом человеке, Андрее Кирееве, живущем в Москве с теткой. Ему понравилась девушка — молодая, *хитрая*, красивая, но бедная. Она пережила роман со своим кузеном — Буравцевым, который не захотел ни обольстить ее, ни жениться на ней. Буравцев хочет выдать кузину замуж за Киреева. В отличие от реального Леонтьева у Киреева есть небольшое состояние. Но Киреев и сам не знает, любит ли он девушку. Его друг Яницкий (как уже говорилось, Леонтьев не раз использовал эту фамилию), богатый, умный, но больной чахоткой и озлобленный на мир человек, «от скуки проливает свой яд на раны беспокойного Киреева»[4] (какие-то черты характера Яницкого явно срисованы с Георгиевского). Яницкий уверяет Киреева, что тот вовсе не способен любить. В конце концов Киреев, *чтобы доказать Яницкому*, что он способен на сильный поступок, делает девушке предложение. В последнем действии пьесы Киреев всячески мучит и свою новобрачную, и беззаветно любящую его тетку, ссорится с ними и вызывает на дуэль Яницкого — из чувства безысходности. Яницкий, несмотря

---

[1] Там же. С. 699.
[2] Там же. С. 696.
[3] Там же. С. 709.
[4] Там же. С. 700.

на то, что храбр, отказывается от дуэли. Он понимает мотивы Киреева, и это моральное мужество друга-врага окончательно Киреева унижает...

Пьеса, построенная на тонком анализе болезненных чувств героя, явно не предназначалась для сцены — она была «пьесой для чтения». Написав первые два действия, Леонтьев почувствовал облегчение, будто выплеснул на бумагу собственные страдания. Когда пьеса была готова, он прочел ее двум своим товарищам — Георгиевскому и еще одному, которого называл в воспоминаниях «Ер-в». С него он списал внешность Яницкого: Ер-в был светским человеком, имел деньги, прекрасно танцевал и ездил верхом, был насмешлив. Леонтьев вспоминал, что составил Яницкого из своей собственной телесной болезненности, светской внешности Ер-ва и ядовитости Георгиевского. Причем если Киреева (в котором тоже было так много от него самого!) Леонтьев презирал, то Яницкого любил и уважал.

Автобиографичность большинства литературных произведений Леонтьева очевидна, но его биограф неминуемо сталкивается с проблемой: насколько возможен перенос тех характеристик, которые автор дает своим героям, на самого автора? Даже в том случае, если Леонтьев сам (в письмах, разговорах с друзьями и т. п.) указывал на «родственность» персонажа, тождества, разумеется, не было, — ведь его герой принадлежал иной, художественной реальности, со своей логикой и законами развития. В то же время очевидно частичное совпадение автора и героя *за пределами* произведения[1], в пространстве реальной жизни, чем нельзя пренебрегать. Для Леонтьева такое совпадение чрезвычайно характерно, поэтому обращение к его произведениям не менее важно для понимания личности автора, нежели письма, мемуары, автобиографии.

Леонтьев решился прочитать свое первое творение друзьям. Спустя годы он рассказывал[2], что после чтения Георгиевский, без своей обычной насмешливости, обнял его и сказал:

— Ну вот, Костя, на что ты жаловался? Вот тебе награда за все страдания твои — настоящий талант!

Ер-в поддержал его:

— Так странно видеть в близком знакомом такого даровитого человека! Я и не думал, что ты можешь так серьезно и хорошо писать!

---

[1] См.: *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров; текст подг. Г. С. Бернштейн, Л. В. Дерюгина; прим. С. С. Аверинцева, С. Г. Бочарова. М.: Искусство, 1979. С. 141.

[2] См.: *Леонтьев К. Н.* Тургенев в Москве // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 702—703.

Леонтьев обрадовался похвалам друзей, но понимал, что без поддержки в литературном мире пьеса вряд ли будет напечатана. Кроме того, ему хотелось услышать мнение настоящего литератора. Кому же показать пьесу? Алексею Хомякову? Его сочинения не очень нравились Леонтьеву. Михаилу Погодину? Он лично не был ему симпатичен. Графине Евдокии Ростопчиной? Но ее стихи они так резко критиковали в беседах с Георгиевским. Александру Островскому? Он казался Константину «груб, мужиковат и горд»[1]... Больше других Леонтьеву «за глаза» нравился Тургенев, но Георгиевский не разделял его мнения:

— Талант он и сам не первоклассный! Описания природы у него скучны... У гениального писателя описания никогда не бывают точь-в-точь как жизнь, — они должны быть или лучше жизни, или хуже ее. У Гоголя, например, они преднамеренно хуже, а Тургенев твой мелочно следует за жизнью...

Гоголь не очень привлекал Леонтьева — в этом пункте он не был согласен с Георгиевским. Тургенев вызывал восторг, но он находился тогда за границей. Может быть, показать пьесу Евгении Тур? Евгения Тур, или Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, которая жила в Москве «соломенной вдовой» при живом муже-французе, высланном на родину после дуэли, не только писала восторженно встреченные критикой романы, но была хозяйкой известного московского литературного салона. Георгиевский и тут сомневался:

— Ты всем этим известностям не слишком верь, они тоже ошибаться могут. Ты себе больше верь, своему чувству...

Впрочем, в том, что литературный покровитель Леонтьеву нужен, Георгиевский с ним соглашался... Но кто?

Распорядилась судьба. В один из весенних вечеров Леонтьев сидел за столом в доме Охотниковых на Пречистенке и на глаза ему попалась лежащая тут же, на столе, газета. Он прочел напечатанное в ней объявление о том, что «Николай Сергеевич и Иван Сергеевич Тургеневы вызывают должников и заимодавцев скончавшейся матери своей». Ниже следовал адрес по соседству — на Остоженке. И на следующий день в девять утра Леонтьев подходил к большому серому деревянному дому маркшейдера Лошаковского, где жила ранее мать Тургенева, Варвара Петровна, увековеченная сыном в образе властной барыни, повелевшей утопить собачку Муму. Сердце Леонтьева часто билось. Причем билось оно не только из-за пьесы, но и из-за боязни разочароваться в кумире.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 35.

Леонтьев опасался увидеть человека скромного, некрасивого, в засаленном сюртуке, словом, «жалкого труженика». Опасения его усиливались тем, что персонажи изданных к тому времени произведений Тургенева были все «такие скромные и жалкие». «Терпеть не мог я смолоду бесцветности, скуки и буржуазного плебейства, хотя и считал себя крайним демократом»[1], — признавался в старости Константин Николаевич. Со стесненным сердцем он позвонил. Через несколько минут его ввели к Тургеневу. Слава Богу, опасения оказались напрасными! Навстречу Леонтьеву поднялся красивый тридцатилетний *барин* очень высокого роста, атлетически сложенный и прекрасно одетый.

Иван Сергеевич Тургенев считался красавцем, был богат[2] и вполне подходил к выработанному Леонтьевым идеалу соединения мысли и внешней изящности. Утонченный интеллектуал — Тургенев получил степень магистра философии в Московском университете, изучал древние языки в Берлине, в 1860 году стал членом-корреспондентом Императорской Академии наук по отделению словесности, — он чрезвычайно заботился и о своей внешности. Леонтьев описал, каким впервые он увидел Тургенева: «Росту он был почти огромного, широкоплечий; глаза глубокие, задумчивые, темно-серые; волосы были у него тогда темные, густые, как помнится, несколько курчавые с небольшой проседью; улыбка обворожительная, профиль немного груб и резок, но резок барски и прекрасно. Руки *как следует* красивые des mains soignees[3], большие, мужские руки. <...> Одет на нем был темно-малиновый шелковый шлафрок и белье прекрасное». Много лет спустя он помнил цвет тургеневского шлафрока и качество белья! Удивительное все-таки было восприятие мира у Константина Николаевича! Не случайно, а в согласии со своим «эстетическим инстинктом» Леонтьев написал об этом, вспоминая свой первый визит к Тургеневу: «Если бы он и дурно меня принял, то я бы за такую внешность полюбил бы его»[4]. Как он был рад, что Тургенев оказался *героичнее* своих персонажей!

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Тургенев в Москве // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 704.

[2] Некоторое время, до встречи с Леонтьевым, Тургенев испытывал финансовые затруднения — мать отказала ему в финансовой поддержке в связи с его увлечением певицей Полиной Виардо («проклятой цыганкой», как она ее называла).

[3] Ухоженные руки (*фр.*).

[4] *Леонтьев К. Н.* Тургенев в Москве // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 704.

Представившись, Леонтьев почти сразу начал читать своему кумиру «Женитьбу по любви». Тургенев слушал, закрывшись руками, около пятнадцати минут. Читал свою пьесу Леонтьев неумело, поэтому Тургенев, прервав Константина, попросил оставить ему текст для самостоятельного прочтения.

— Вы учитесь в университете? — спросил Иван Сергеевич взволнованного автора.

— Да.

— Учитесь словесности? — Сам Тургенев много лет назад, перед отъездом в Петербург с родителями, тоже год отучился в Московском университете на историко-филологическом факультете.

— Нет, я второй год учусь медицине, — ответил Константин.

Тургенев с интересом взглянул на молодого человека.

— А писать давно начали?

— «Женитьба по любви» — моя первая пьеса, — признался Леонтьев. — Потому мне так важно ваше мнение. Если вещь бездарна, я брошу писание, так как ни за что не соглашусь быть посредственностью... Я презираю посредственность в искусстве.

Тургенев вновь заинтересованно взглянул на Константина.

— Хорошо, приходите ко мне завтра утром — я прочту вашу пьесу и откровенно выскажу свое мнение, я вам обещаю.

Леонтьев не подозревал, что за полчаса до него к Тургеневу приходил другой молодой автор, армейский офицер. Накануне он оставил Ивану Сергеевичу свое произведение — повесть про графиню, благородного и обольстительного офицера (в котором, видимо, вывел самого себя), дуэль... Вещь показалась Тургеневу никуда не годной, и при повторном визите он автора не принял, а только выслал записку, что повесть не может быть опубликована. Не успел уйти разозленный офицер, как доложили о Леонтьеве. Тургенев был известен, обласкан критикой, и молодые литераторы буквально осаждали его, ища покровительства. Знай всё это, Леонтьев волновался бы еще больше. Но, как говорил потом Тургенев, леонтьевская пьеса была «совсем не то, что у офицера». Что-то в ней сразу же привлекло внимание писателя, и он почувствовал недюжинное дарование в нервном студенте.

На другой день Леонтьев подходил к знакомому серому дому с неменьшим волнением: должна решиться его судьба в литературе. Каково же было огорчение, когда он узнал, что Тургенев не сможет принять его. Накануне писатель почувствовал себя плохо, у него участилось сердцебиение и к нему вызывали даже профессора Иноземцева. Встретились Леонтьев с Тургеневым только через пару дней. После этой, второй встречи

Леонтьев был окрылен: его талант признан, он не посредственность! Его интуиция, обещавшая блестящее будущее, подтверждена мнением самого Тургенева! Действительно, Иван Сергеевич высоко оценил пьесу Леонтьева:

— Ваша пьеса — вещь болезненная, но очень хорошая, особенно для вашего возраста. Видно, что вы не подражаете никому, а пишете прямо от себя и очень искренно. Пьеса у вас не совсем кончена, — закончите ее полностью, и я с радостью ее напечатаю. Я постараюсь вам выхлопотать гонорар в 75 рублей за лист — столько получает только Писемский. Я и Григорович получаем по 50 рублей. Ну уж за эту-то цену я вам ручаюсь...

Алексей Феофилактович Писемский находился тогда на пике известности. В 1850 году была опубликована его повесть «Тюфяк», сразу выдвинувшая автора в первый ряд писателей своего времени. Тургенев, хотя и был не менее известен, финансово не столь зависел от гонораров, потому удовлетворялся меньшей суммой. На Леонтьева перевод разговора в практическую плоскость подействовал как бокал шампанского — его талант осязаем, речь уже идет о сумме гонорара! А Тургенев подлил масла в огонь, спросив, нет ли у него других произведений для печати. Леонтьев вспомнил про задуманный роман и обещал принести написанные им первые главы.

Замысел романа «Булавинский завод» был навеян Леонтьеву мечтами о своем будущем. Главный герой, доктор Руднев, жил вдали от столиц в маленьком домике на опушке леса. Он управлял заводом и имением богатого помещика и лечил его крестьян. Леонтьев и сам мечтал о такой жизни — здоровой и полезной другим, *независимой*. По сути, Киреев из «Женитьбы по любви» и Руднев из «Булавинского завода» раскрывали разные стороны личности самого Леонтьева: «И тот, и другой был я, и ни тот, ни другой не был мною. Если Киреев был богаче меня, был независимее и лучше моего поставлен в московском обществе, — Руднев зато был еще беднее, он нуждался в хлебе; он был сирота; у него не было как у меня прекрасного материнского прибежища, — родного имения, красивого, тенистого нашего Кудинова! Киреев был здоров. Руднев был болен грудью, как я. Руднев был доктор, как я. Все свое малодушное, все свое слабое я придал Кирееву; все солидное, почтенное, серьезное, что во мне было, я вручил Рудневу... В Кирееве была моя дворянская, “светлая”... сторона; в Рудневе — моя труженическая»[1].

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Тургенев в Москве // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 706—707.

Леонтьев, вжившись в образ Руднева, даже судьбу его выводил согласно мечтам о собственном будущем: в лесу, на здоровом воздухе, болезнь у Руднева проходит. Леонтьев томился жаждою любви, мечтал о молодой, кроткой и послушной возлюбленной — и Руднев получает такую в романе; Леонтьеву хотелось съездить в Петербург — и Руднева на два месяца вызывает в Петербург хозяин завода... Законченного плана романа у Леонтьева в голове не было, он не знал, что будет с его героем дальше, но эти первые главы писались легко и делали его волшебником — он исполнял свои мечты на бумаге.

Тургенев прочел начало романа очень быстро и нашел, что оно еще лучше, чем пьеса.

— У вас большой талант, — сказал он обрадованному Леонтьеву. — Руднев совсем не похож на Киреева, это другое лицо. И описания природы у вас очень милы... Заканчивайте ваш роман и вашу пьесу, я напечатаю их в Петербурге. Но не торопитесь! Не портите своего таланта! И в будущем не давайте редакторам эксплуатировать себя — не беритесь писать фельетоны и всякую дрянь...

Через несколько дней Тургенев уехал в свое имение в Орловскую губернию, а Леонтьев — к матери в Кудиново, на летние каникулы. Константин приехал домой счастливым и конечно же рассказал родным и знакомым о своих встречах с Тургеневым. Те смотрели на Константина с удивлением — трудно заметить талант у близкого человека. Феодосия Петровна и вовсе отнеслась к перспективам литературной карьеры сына скептически. Но это не поколебало его уверенности в себе.

Леонтьев провел замечательное лето — ездил на балы, устраиваемые соседями, любезничал с Анночкой Лаптевой, с которой познакомился еще зимой в Москве, но между этими приятными занятиями не забыл о главном. Он окончательно отделал за лето свою пьесу и послал ее Тургеневу. В конверт он вложил и начало поэмы, которую взялся писать *гекзаметром*!

Выбор этого стихотворного размера Леонтьевым удивляет. Одно дело, когда Гнедич гекзаметром перевел «Илиаду» Гомера, и совсем другое — первая поэма двадцатилетнего юноши. Размер этот, специально сконструированный в русской литературе для переводов античной поэзии, вызвал полемику в литературных кругах — спорили о самом праве на существование русского гекзаметра. И хотя дань ему отдали и Жуковский, и Пушкин, и Дельвиг, от этого выбор Леонтьева не кажется менее необычным. Гекзаметр — размер сложный, звучащий архаично; если с его помощью прекрасно можно описать Ахиллеса и передать музыку стихов Гомера («Слышу

умолкнувший звук божественной эллинской речи; / Старца великого тень чую смущенной душой», — писал Пушкин *гекзаметром* про перевод Гнедича), то описание таким стихотворным размером жизни некоего современного Леонтьеву имения (видоизмененного Кудинова?) и садовника Якова, работавшего там, приобретает забавный псевдоэпический оттенок.

Тургенев ответил буквально на следующий день после получения посылки от своего молодого знакомца. Письмо было длинным, на несколько страниц! Иван Сергеевич не поленился подробно, с примерами, экскурсами в историю литературы, схемами и таблицами, разобрать недостатки леонтьевских гекзаметров. Видимо, хотя гекзаметры Леонтьева и были *плохи*, в стихах чувствовался «ясный и спокойный поэтический взгляд», потому Иван Сергеевич и предпринял труд такого анализа. Тургенев подсластил пилюлю своей критики. Объяснив, что Леонтьев не имеет понятия о гекзаметре, он утешил его: «...вы владеете языком, выражения ваши живы и счастливы — овладеть размером вам будет легко»[1].

В этом же письме Тургенев написал и об исправленной пьесе: «...это сюжет не говорю несценический, но анти-драматический; интерес в нем даже не психологический, а патологический. Но со всем тем это вещь замечательная и оригинальная»[2]. Иван Сергеевич обещал послать «Женитьбу по любви» в Петербург А. А. Краевскому — редактору и издателю «Отечественных записок». Более того, он собирался написать сопроводительное письмо и С. С. Дудышкину — критику «Отечественных записок», который со временем сменит Краевского на посту редактора, чтобы привлечь его внимание к начинающему автору. К августу, был уверен Иван Сергеевич, Леонтьев уже получит свой первый гонорар. Закончил письмо Тургенев так: «Пока будьте здоровы, работайте. Смею думать, что вы теперь не сомневаетесь в желании моем быть по мере сил полезным вам и вашему таланту; надеюсь, что со временем к чувству литературной симпатии прибавится другое, более теплое — личное расположение. Желаю вам всего хорошего. Ваш покорный слуга Иван Тургенев»[3]. На мой взгляд, поразительные слова из уст мэтра — по отношению к начинающему коллеге. Ни тени высокомерия, менторского тона, подчеркивания своего превосходства, но искреннее желание помочь. Иван Сергеевич повел себя не просто как литератур-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Тургенев в Москве // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 711.

[2] Там же. С. 714—715.

[3] Там же. С. 715.

ный покровитель, но как старший друг, советчик и просто очень хороший, добрый человек. (Впрочем, он покровительствовал не только Леонтьеву — Тургенев введет в литературные круги и Льва Толстого.)

Письмо окрылило Константина. «Отечественные записки» были тогда одним из самых читаемых журналов в российском обществе, подписчиков у него насчитывалось более четырех тысяч (цифра фантастическая для того времени, сопоставимая сегодня с миллионами зрителей какой-нибудь популярной телепередачи). Он перечитывал строки Тургенева, представляя себе их автора — такого красивого, плечистого, умного, что одна мысль о нем вызывала в душе двадцатилетнего юноши чувство восторга. «Мне было приятно быть обязанным человеку, который мне так нравился»[1], — вспоминал Леонтьев.

Константин строил планы своей будущей жизни: он серьезный врач, известен не только тем, что лечит «счастливо», но и тем, что пишет, и пишет хорошо, без спешки, по роману в два-три года, и романы эти не проходят незамеченными, а повести тут же с радостью публикуются столичными журналами. Совсем отойти от нелюбимой медицины и заняться литературным трудом Леонтьев не хотел — не было тургеневского состояния. Ему сразу представлялся «жалкий» сотрудник многих журналов в поношенных ботинках и потертом сюртуке, бегающий по редакциям в надежде заработка. Нет, он предпочитал заниматься литературой не для денег, а для самовыражения...

Леонтьеву никто не мешал мечтать в то лето — старшие холостые братья не приехали погостить в Кудиново. Он никогда не был с ними близок, а сейчас и вовсе был рад их отсутствию — в его голове зародилась мысль о том, что поэт, писатель не должен иметь семьи. Гуляя по аллеям кудиновского имения, он размышлял о том, что в его будущей красивой жизни может найтись место для благородной, умной матери, для смирной и набожной, обожающей его горбатой тетушки, для стареющей няньки, для мужиков и дворни (они характерны и живописны), но не для братьев. В братьях нет поэзии! Для Константина и здесь эстетическая оценка была главной: братья были ни то ни се, и им в его картинке места не находилось. У Тургенева, правда, был брат (зачем он ему?!), но в своем орловском имении Иван Сергеевич жил и писал один... Такое отношение к родным надолго осталось у Леонтьева, не случайно спустя годы между ним и братьями произошел окончательный разрыв. Потребовался христианский переворот в душе, чтобы он ощутил, что смирение перед Божьей волей

[1] Там же.

проявляется и в принятии своих родных, которых ты сам не выбираешь.

Во время прогулок по кудиновским тенистым аллеям пришло решение порвать с Алексеем Георгиевским. Давно уже эта дружба не столько утешала Константина, сколько мучила его. С появлением в его жизни прекрасного, тонкого, умного Тургенева надобность в ядовитом Георгиевском ослабла. Леонтьев верил, что теперь сможет найти себе «собеседников наивысшего порядка». Решение разорвать с другом Константин осуществил уже в Москве, к тому же нашелся и формальный повод, судя по воспоминаниям Леонтьева, тоже связанный с Тургеневым.

В один из сентябрьских вечеров Георгиевский пришел к Леонтьеву на Пречистенку. У того уже сидел приятель — молодой человек, тоже из Калужской губернии, наполовину француз, Эжен Р. Георгиевский в своей развязной манере начал задирать Леонтьева:

— Как ты там ни толкуй, молодой писатель, а твой Тургенев мелкопоместен. Вот, например, его «Бежин луг»... К чему там столько описаний облаков? Не иначе, хочет побольше гонорару взять.

— Что ты говоришь! Он получает по 50 рублей за лист, за все это описание, может, рублей пять всего и выйдет! А у него больше тысячи душ крестьян, нужны ему твои пять рублей! — горячился оскорбленный таким отзывом о своем кумире Леонтьев.

— Да и вообще, прочел вот я недавно графа Соллогуба «Аптекаршу» и «Наташу». Вот это чувство, и искренность, и простота, и художественность настоящая! А у Тургенева все какие-то штучки вроде комизма и юмора, как будто что-то гоголевское. Ну да куда ему! Далеко кулику до Петрова дня! — продолжал Георгиевский, явно желая сделать Леонтьеву больно. — Я думаю, что он никогда не будет в силах написать длинную и серьезную вещь[1]. Вот Писемский — хоть тебе и не нравится его «Тюфяк» — а всё скорее Тургенева создаст объективное и сложное произведение!

Леонтьев, не желая начинать перепалки, ответил только, что не согласен с мнением Георгиевского и даже не всё из сказанного им понимает. Тогда Алексей, прицепившись к «непониманию», тут же продекламировал с выражением эпиграмму собственного сочинения на их общего знакомого, писавшего лирические стихи:

---

[1] Романы И. С. Тургенева («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» и др.) начали публиковаться позднее — после 1855 года.

Ты многого не понимаешь,
И многого, быть может, не поймешь!
Ты только то порядочно поешь,
Что сам в себе лишь замечаешь!

И хотя, заметив неудовольствие Леонтьева, он тут же оговорился, что последние строчки к нему неприложимы, и даже мгновенно изменил их — «Ты многое со временем поймешь, / Чего теперь не замечаешь» — эпиграмма все же идеально подходила к Леонтьеву. Уже упоминаемый Иваск, биограф Константина Николаевича, немало страниц посвятил его «нарциссизму». Для этого имелись, конечно, основания: молодой Леонтьев ощущал себя центром своей вселенной и даже не пытался этого скрывать.

Константин после обидных слов друга о Тургеневе и о себе вскипел, но сдержался: не хотел говорить об их отношениях при третьем человеке. Он вызвался проводить Георгиевского до ворот, и в темном дворе, залитом лунным светом, протянув Алексею руку на прощание, сказал:

— Я прошу тебя никогда больше ко мне не ходить и, встречаясь, не заговаривать даже со мной, а оставить меня в покое.

Георгиевский молча пожал руку Константину и ушел. Так закончились отношения с этим человеком, оказавшим очень большое влияние на Леонтьева. Правда, позднее Константин Николаевич назвал эту дружбу «сердечным и умственным рабством»[1], никогда более не повторившимся в его жизни.

Разумеется, молодые люди встречались в университете. Поначалу Леонтьева раздражал даже звук голоса бывшего друга, его манера покашливать время от времени. Если в лекционной аудитории раздавалось такое покашливание, Константин вскипал и «исполнялся злобою»[2]. Но постепенно он стал равнодушен к Георгиевскому. Один раз тот попытался восстановить былые отношения, подошел к Леонтьеву и сказал:

— Ты так поправился, посвежел... Я очень рад!

— Да, я стал лучше себя чувствовать, — ответил Леонтьев и тотчас отошел от Георгиевского, не желая продолжать беседу, после чего они перестали даже раскланиваться при встрече.

Тургенев не занял места Георгиевского в душе Леонтьева, несмотря на искреннее восхищение того старшим другом. «Тургенев не имел на меня и десятой доли его (Георгиевского. — *О. В.*) *умственного* влияния»[3], — признавался Леонтьев.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Тургенев в Москве // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 725.

[2] Там же. С. 724.

[3] Там же. С. 725.

Впрочем, Константин не раз мысленно «примерял» Тургенева к своей жизни: понравилось бы то или это Ивану Сергеевичу, если бы он оказался рядом? Такой «аршин» совершенно не касался гражданской позиции Тургенева, нет, он имел у Леонтьева опять-таки эстетический смысл: Кудиново барину Тургеневу понравилось бы — небогато, но со вкусом, «красивее и милее, чем у многих богатых», а вот старшие братья — вряд ли, «нет, нет, они не могут нравиться человеку с высоким вкусом»![1] Так, сам того не подозревая, Тургенев влиял на личную жизнь своего литературного протеже.

Осенью 1851 года Леонтьев не раз виделся с Тургеневым. Он приходил к нему в гостиницу Мореля на Петровку, они беседовали. Благодаря Ивану Сергеевичу студент-медик попал в литературный московский бомонд: Тургенев ввел его в салон графини Е. В. Салиас-де-Турнемир (Евгении Тур) на Садовой-Кудринской, представил графине Е. П. Ростопчиной, познакомил с поэтом Н. Ф. Щербиной, известным историком Т. Н. Грановским и редактором университетской газеты «Московские ведомости», критиком, переводчиком и публицистом М. Н. Катковым (позже Катков стал редактором и «Русского вестника», с которым Леонтьев долго сотрудничал). В салоне Евгении Тур Леонтьев дважды видел ее брата — драматурга А. В. Сухово-Кобылина, чья слава тогда подогревалась не только успехом «Свадьбы Кречинского», читавшейся во многих литературных кружках, но и тем обстоятельством, что пьеса эта была написана в тюрьме[2].

Некоторые знакомства были «запланированы» Тургеневым, некоторые произошли случайно. Так однажды Леонтьев познакомился с Василием Петровичем Боткиным. Константин сидел в гостиной у Тургенева, беседа шла конечно же о литературе — мэтр советовал Леонтьеву читать как можно больше и чаще Пушкина и Гоголя, даже не читать, а *изучать* их.

— А нас-то всех — меня, Григоровича, Дружинина — пожалуй, можно и не читать, — прибавил самокритично Тургенев.

Пушкиным Леонтьев восхищался; в гимназические годы он безусловно царил в его сердце над всеми поэтами. Но в последнее время ему куда больше нравился страстный и резкий Лермонтов, светлые же, примиряющие с миром стихи Пушкина стали казаться легковесными. Мнение Тургенева, разу-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Тургенев в Москве // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 729.

[2] А. В. Сухово-Кобылин был обвинен в убийстве своей любовницы, француженки Луизы Симон-Деманш, семь лет находился под следствием, дважды арестовывался и в конце концов был отпущен в связи с отсутствием каких-либо доказательств вины.

меется, не изменило его позиции сразу, но заставило задуматься. Позднее он благодарил Ивана Сергеевича за совет.

А вот с Гоголем было сложнее — его зрелые сочинения вовсе не нравились Леонтьеву. Николай Васильевич жил в то время в Москве, но Леонтьеву даже в голову не приходило попытаться с ним познакомиться. Гоголь вызывал у него «личное нерасположение». И лицом он на полового смахивает, и женщины в его произведениях на живых женщин не похожи — или старухи вроде Коробочки и Пульхерии Андреевны, или какое-то отражение красивой плоти, не имеющей души, вроде Анунциаты из «Рима». «Нерасположение» было вызвано «Мертвыми душами» и «Ревизором» — «за подавляющее, безнадежно прозаическое впечатление», которое производили на Константина эти гоголевские сочинения. Эстету Леонтьеву претила манера Гоголя обнажать убожество жизни. Даже фамилии гоголевских героев — Держиморда, Яичница, Подколесин — казались излишне уродливыми. Он спорил о Гоголе еще с Георгиевским, восхищавшимся талантом этого писателя. Леонтьев признавал «художественность» произведений Гоголя, но его отталкивало, что созданная в них реальность была безобразнее, грубее, *пошлее*, чем действительная жизнь. «Я слишком многое любил в русской жизни», — объяснял Леонтьев свое несогласие с гоголевским ее описанием.

— Но вспомните, в конце концов, «Вия», «Тараса Бульбу», — спорил с Леонтьевым Тургенев. — У Гоголя много романтики, а его описания природы прекрасны!

— Да, *эти* повести восхитительны, — нехотя соглашался Леонтьев, — но поздние его сочинения совсем иные...

Во время разговора в дверь постучали. В комнату вошел невзрачный мужчина средних лет, бледный, со лбом, переходящим в лысину («плешивый» — напишет Леонтьев). Тургенев представил их друг другу:

— Это Леонтьев, молодой начинающий писатель, а это — Боткин, писатель старый...

— Да, старый, совсем старый, — подхватил Боткин с усмешкой, — уж облысел...

«Плешивых» Леонтьев не жаловал. Вместе с тем он помнил, с каким восторгом год назад прочел в «Современнике» серию очерков Боткина «Письма об Испании». Но эстетическое восприятие победило — Константину даже досадно стало, зачем такой невзрачный человек побывал в поэтической Испании. «Тургенев и Сухово-Кобылин могли там жить, — подумал он, — но не человек с такой наружностью...»[1] Неко-

---

[1] Там же. С. 730.

торое время спустя, встретив Боткина, молодой человек нахально, но с невинной улыбкой задал огорошивший писателя вопрос:

— А вы на самом деле бывали в Испании?

От такой дерзости начинающего автора Боткин растерялся и не знал что ответить. Разумеется, он обиделся, хотя и не подал виду. Впоследствии Леонтьев считал, что эта обида повлияла на отношение Боткина к его сочинениям.

Новые знакомства льстили самолюбию молодого автора — он уже чувствовал себя *писателем*. Посланная Тургеневым в «Отечественные записки» пьеса Леонтьева была восторженно принята Дудышкиным, и отзыв известного критика еще больше укрепил веру Константина в свой талант. Увы! Публикация не состоялась из-за цензурного запрета, о чем в декабре написал из Петербурга Тургенев. (По иронии судьбы спустя 30 лет Леонтьев сам станет служить цензором!) Вряд ли в своей пьесе 22-летний автор «потрясал основы», просто это было время чрезвычайно строгой цензуры, введенной Николаем I.

История донесла до нас множество парадоксальных, подчас забавных случаев и анекдотов о «радениях» цензоров той поры. В феврале 1851 года, например, Главное управление цензуры подняло вопрос о цензуровании нотных знаков, под которыми якобы могут быть сокрыты «злонамеренные сочинения, написанные по известному ключу». А в 1852 году цензоров насторожило, что многие лошади, участвующие в скачках, названы именами святых (Магдалина, Аглая, Самсон и т. д.). Не компрометируются ли этим святые? Цензура того времени судила не только о политике, но и обо всех сферах жизни общества. Особым вниманием окружались вопросы нравственности. Видимо, «Женитьба по любви» Леонтьева была признана безнравственной и вредной. Впрочем, на закате жизни автор и сам согласился с такой оценкой своей пьесы. Современный читатель судить об этом уже не сможет: рукопись не сохранилась.

Неудача с первой пьесой несколько обескуражила, но не очень расстроила Леонтьева. Он не сомневался в том, что впереди у него немало пьес, повестей, романов. Да и Тургенев ободрял, призывал не унывать, работать (хотя в одном из писем своему близкому другу П. В. Анненкову Тургенев, давая характеристику Леонтьеву, признавал не только его талант, но и «сладострастное упоение самим собой», самолюбие, «исковерканность»). Более того, он обещал договориться с редакцией «Современника» о возможности выдачи Леонтьеву некоторой суммы авансом, в счет будущих публикаций. Так что

Константин, еще два года назад мучившийся мыслями о том, что «не успеет расцвесть», встретил новый, 1852 год с уверенностью в себе. «Конец 51-го и весь 52-й год — это было в моей юношеской жизни время вообще довольно хорошее, — вспоминал Леонтьев, — многое разом в эти полтора года неожиданно улыбнулось, многое улучшилось, просветлело, и сам я почти внезапно стал как-то крепнуть, мужать и сметь...»[1]

В феврале 1852 года Леонтьев получил очередное письмо от Тургенева. Иван Сергеевич сетовал на то, что финансы «Современника» истощены, и предлагал взять у него взаймы рублей сто. Просил он прислать и готовые главы «Булавинского завода» — возможно, их удастся печатать отрывками. Сто рублей! Сумма для молодого человека заманчивая. А отдать ее он, конечно, легко сможет — гонорары не заставят себя ждать. И Леонтьев принял предложение Тургенева. Вместе с просьбой о деньгах он послал Ивану Сергеевичу и план своего романа, чтобы тот выбрал отрывки, которые могут быть напечатаны отдельно. Тургенев, просмотрев внимательно план, от своей идеи отказался — роман нельзя было «расчленить» без потерь, да и через цензуру отрывки не прошли бы (в старости Константин Николаевич и этот свой роман называл «безнравственным»). Потому Тургенев напомнил юноше о задуманном небольшом рассказе: если бы Константин закончил его и прислал в Петербург, то он постарался бы «пристроить» рассказ в журнал.

Но всё хорошо не бывает никогда: подвело здоровье. Зимой Константин серьезно хворал. Опять болела грудь, мучил кашель, мешала слабость. Весну он провел в Кудинове, надеясь, что родные стены и свежий воздух помогут ему поправиться. Отчасти так и произошло. Он даже съездил летом в Нижегородскую губернию отдохнуть. Но осенью, когда Леонтьев попытался сдать экзамен за третий курс, он провалился, — слишком много пропустил занятий, — и учебный год вновь начал студентом третьего курса.

Сто рублей от Тургенева, хотя и с опозданием, пришли. Иван Сергеевич был отзывчив и деликатен, как всегда: «С удовольствием исполняю Вашу просьбу и посылаю Вам 100 р. сер. Я бы Вам выслал все 150 р., да хлеб у нас еще не продается по причине низких цен. С нетерпением ожидаю обещанной повести и как только прочту ее, пошлю к Краевскому. Будем надеяться, что цензура не окажется слишком строгою и Вам

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Тургенев в Москве // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 743.

Ваши "Немцы" принесут и деньги, и известность»[1]. Леонтьев в это время начал отделывать повесть о школьном учителе с первоначальным названием «Немцы» (роман на время — а потом и навсегда — был отложен). В основу повести он положил свои воспоминания о годах в Калужской гимназии. Два немца — молодой и пожилой — ухаживают за девушкой (тоже наполовину немкой), и одному удается похитить избранницу, а второй — добрый и смешной учитель гимназии, которому автор явно симпатизирует, — сходит от этого известия с ума. Повесть была немного старомодной, но характеры выписаны ярко и полно, причем автор сумел сохранить «дистанцию» при изложении сюжета, что вообще-то не свойственно начинающим писателям. Леонтьев чувствовал, что повесть удалась, и не сомневался в ее успехе.

Былые тоска и меланхолия, казалось, навсегда покинули его. Конечно, главным моментом в изменившемся мироощущении стала дружба с Тургеневым. Но было и еще кое-что очень важное. Отношения Константина и Зинаиды Кононовой («хитрой» и «хорошо пахнущей») определились. Леонтьев еще иногда сомневался в том, любит ли он Зинаиду, но ее любовь к себе чувствовал ясно. Константин стал спокойнее и увереннее в себе. Даже занятия медициной перестали тяготить его: «...я с радостью готов был трудиться над медициной по утрам, чтобы иметь возможность потом запереться и писать, что хочу. Любовь моя также заставляла меня больше трудиться на лекциях. — Приданое у этой девушки было невелико, и я думал много о необходимости кончить хорошо курс, чтобы жениться»[2].

Будущее рисовалось ему в том же радужном свете: преуспевающий врач, всегда хорошо одетый и элегантно живущий, известный умением лечить и своими романами и повестями, рядом с ним красивая светская жена... Он написал о своих планах жениться матери. Реакция Феодосии Петровны была резко отрицательной. Константину предстояло еще два с лишним года учиться, невеста небогата, казалась Феодосии Петровне лукавой, да и двумя годами старше сына...

Тургенев же, услышав от Леонтьева известие о том, что тот любит, любим и думает о браке, испугался за молодого друга:

— Нехорошо художнику жениться. Если служить музе — то уж ей одной, остальное надо приносить в жертву... Еще не-

---

[1] Письмо И. С. Тургенева к К. Н. Леонтьеву от 12(24) декабря 1852 г. // *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. 2-е изд. Т. 2. М.: Наука, 1982. С. 182.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 43.

счастный брак может способствовать развитию таланта, а вот уж счастливый никуда не годится!

«Хорошо пахнущая» Зинаида была необходима как воздух, но вдруг Тургенев прав и счастливый брак убьет его талант? Тургенев подлил масла в огонь:

— Я, например, вообще не понимаю любви к девушке — я люблю больше женщину замужнюю, опытную, свободную, которая может легче располагать собою и своими страстями... А с вашей внешностью вы могли бы сводить с ума многих женщин, что гораздо лучше было бы для вашего таланта!

Тургенев отрицательно относился к браку. Был момент в его жизни, когда женитьба могла бы состояться. Речь идет о Татьяне Бакуниной, сестре знаменитого теоретика анархизма. Иван Сергеевич, несомненно, был влюблен в нее (именно это чувство продержало его душевно несколько лет рядом с Татьяной — вплоть до встречи с Полиной Виардо), но так же несомненно, что он несколько отстраненно относился к этим сложным многолетним отношениям и мысль о семейных узах его не посещала. «С ранних лет невзлюбил Тургенев брак, семью, "основы", — отмечал в биографии Ивана Сергеевича другой известный русский писатель — Борис Зайцев. — <...> Во всех противоречиях его облика есть одна горестно-мудрая, но последовательная черта: одиночество, "не-семейственность"»[1]. Даже единственная дочь Тургенева родилась вне брака, от его связи с дворовой девушкой. Так что намерение Леонтьева жениться не могло встретить у Ивана Сергеевича поддержки.

Полученные от Тургенева 100 рублей (казавшиеся студенту большими деньгами) ждали своего применения. С одной стороны, Леонтьев тогда ни в чем особенно не нуждался, с другой — карманных денег у него почти не бывало, и тургеневской ссуде он искренно обрадовался. Как потратить деньги? Пораскинув умом, Константин решил навестить Тургенева в его орловском имении, чтобы иметь возможность поговорить с ним «на свободе», не спеша. Мысль эта настолько завладела им, что на Святки, в январе 1853 года, он отправился в тургеневское имение Спасское-Лутовиново без предупреждения. С собою Константин прихватил рукопись законченной повести о соперничестве двух немцев.

Липовые аллеи, ведущие к родовому поместью Тургенева, и старинный парк были по-зимнему голы и грустны, замерзшие пруды заметены снегом. В большом, изогнутом подковой доме, уставленном ампирной мебелью, жил управляющий

---

[1] *Зайцев Б.* Жизнь Тургенева. Париж: YMCA-Press, 1949. С. 56.

имением со своей большой семьей. Сам Иван Сергеевич разместился в одноэтажном флигеле. Тургенев отбывал в Спасском ссылку, находился под надзором полиции после публикации статьи на смерть Гоголя и не мог выезжать за пределы Орловской губернии. Приезд Леонтьева стал для него неожиданностью, но принял он гостя радушно. Леонтьева поселили в том же флигеле, в комнате с окнами в зимний сад; повар у Тургенева был «порядочный» (Иван Сергеевич ценил хорошую кухню); по вечерам семья управляющего поила Леонтьева и Тургенева душистым чаем.

Четыре дня в Спасском пролетели незаметно. Константин отдал своих «Немцев» Тургеневу, и тому повесть понравилась. Внеся некоторую правку в текст, Иван Сергеевич отослал рукопись Краевскому, а в письме Анненкову назвал ее «необыкновенно замечательной повестью»[1]. Тургенев был щедр душой и «протежировал» Леонтьеву искренне.

Леонтьев ждал публичного признания своего таланта. Тургенев же, судя по воспоминаниям Константина Николаевича, призывал его не торопиться, работать над каждой вещью в полную силу:

— Никто из нас не знает, выйдет ли из него Гёте или Шекспир. Но надо всегда метить как можно выше, быть строгим к себе. Не думайте, пожалуйста, что можно шутить с публикою — написать, как вы говорите, «что-нибудь полное лжи и лести» для денег, — а потом показаться в настоящем свете. Знайте: публику не надуешь ни на волос — она умнее каждого из нас! Знайте также, что, принося ей всего себя, всю свою кровь и плоть, вы должны быть еще благодарны ей, если она поймет и оценит вашу жертву — если она обратит на вас внимание. И это понятно, скажу более, это справедливо. Не вы ей нужны, она нужна вам, вы хотите завоевать ее — так напрягайте все ваши силы. Я этим не хочу сказать, что вы должны угождать ей, служить ее вкусам — нет, будьте тем, чем вас Бог создал, отдавайте всё, что в вас есть, — и если ваш талант оригинален, если ваша личность интересна, публика признает вас, и возьмет вас, и будет пользоваться вами — как, например — в другой сфере деятельности — она приняла гуттаперчу, потому что она нашла гуттаперчу вещью полезной и сподручной.

— Но цензура, как быть с ней?

— Не искажайте своих задушевных мыслей и предначертаний в видах цензурных, но старайтесь найти предметы без-

[1] Письмо И. С. Тургенева П. А. Анненкову от 29 января 1853 г. // *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. 2-е изд. Письма: В 18 т. Т. 2. С. 195.

обидные — описание жизни на хуторе, кажется, никого оскорбить не может. Этот сюжет безопасен...

Речь шла о новом рассказе Леонтьева — «Лето на хуторе». Начало его Тургенев уже прочел и одобрил. План литературного «покровителя» был таков: отдать «Немцев» в «Отечественные записки», а «Лето на хуторе» отослать в «Современник». «Вот у молодого автора и вырастут крылья», — рассуждал Тургенев.

К сожалению, цензура заставила поволноваться Леонтьева и во второй раз: «Немцев» не пропустили. Краевский, приехав в Москву по делам, пригласил Леонтьева к себе в гостиницу Мореля и показал молодому человеку листы его повести, испещренные пометками цензоров. Причиной запрета стало совпавшее впечатление двух цензоров[1], что автор симпатизирует немцам больше, чем русским, что немцы в повести — слишком положительны, честны и серьезны. Забавным было то обстоятельство, что один из цензоров, судя по фамилии Фрейганг, был немцем! (А может, именно поэтому он и хотел продемонстрировать свой русизм?) Удивительно, но Леонтьев и на этот раз не сильно расстроился. Повесть была им написана *играючи*, к тому же он был уверен, что впереди его ждет слава, и задержка его не испугала.

После летних вакаций 1853 года (во время которых он побывал в Нижегородской губернии вместе с Зинаидой Кононовой) Леонтьев закончил небольшой очерк «Ночь на пчельнике», который послал Краевскому. Публикация и этого сочинения была задержана цензурой (в очерке упоминался рекрут, что было сочтено непозволительным в связи с имевшими место рекрутскими наборами перед намечавшейся войной), и эта вещь увидела свет лишь через два года. Но очерк был *безделицей* по сравнению с запрещенными «Немцами».

Делу помог Тургенев. Вернувшись в декабре 1953 года из ссылки в Москву, он рассказал об истории с цензурным запретом графине Салиас-де-Турнемир, которая благоволила молодому Леонтьеву. Та передала возвращенных Краевским «Немцев» редактору «Московских ведомостей» Михаилу Никифоровичу Каткову. Ему повесть понравилась. Название ее изменили на «Благодарность» и опубликовали в литературном разделе «Московских ведомостей» в 1854 году, с шестого по десятый номер. Это была первая публикация Леонтьева! Он был горд и счастлив получить книжки журналов со своей повестью и около 75 рублей гонорара. Но публикация прошла незамеченной, да и имя Леонтьева не стало узнаваемым — он подписал повесть лишь инициалами.

---

[1] Цензорами были А. И. Фрейганг и А. Л. Крылов.

Однако несмотря на это, Леонтьев, начавший иногда бывать в доме Каткова, смотрел на него с невольным сожалением: у *бедного* Каткова отобрали университетскую кафедру, он редактирует бесцветную газету, жена его худа, с большим носом, квартира имеет вид труженический, а халат хозяин носит самый обыкновенный. Михаил Никифорович, по мнению Леонтьева, был уже немолод (ему на тот момент исполнилось 36 лет), жена его выглядела гораздо хуже душистой и страстной Зинаиды, и Леонтьев не только не ощущал себя зависимым от редактора безвестным молодым автором, наоборот, чувствовал свое превосходство, которое соседствовало в его душе с ноткой жалости к *увядающему* Каткову...

Жизнь всё расставила иначе: слава Каткова как публициста была еще впереди, издаваемые им «Московские ведомости» спустя десять лет стали одной из самых влиятельных и тиражных российских газет; сам же Леонтьев в литературе долгие годы был зависим от Михаила Никифоровича. Эстетическая оценка Константина тут дала сбой. Но, к его чести, он и сам признал это в воспоминаниях, приводя слова английского консула в Турции о том, что «в России два императора — Александр II и мосье Катков». Впрочем, Катков на пике своей известности и вовсе перестал ему нравиться.

Леонтьев был молод, красив, талантлив, любим, принят в литературных салонах, знаком со знаменитостями... Голова его не могла не закружиться! «Все продолжали меня хвалить и ободрять», — вспоминал он позднее. И еще: «Смолоду я даже жалел беспрестанно то Каткова, то Кудрявцева, то мад. Сальяс, то, пожалуй, и самого Грановского изредка, соболезновал, думая, как им должно быть жалко и больно, что они не я, что они не красивый и холостой юноша Леонтьев, доктор и поэт с таким необозримым будущим, с такой способностью внушать к себе любовь и дружбу и т. д.»[1].

Показателен случай, произошедший в салоне Евгении Тур. Тургенев, которого посещали в то время печальные мысли о конце литературной карьеры, полулежа на диване («в темно-зеленом бархатном сюртуке», — как вспоминал Леонтьев, оставаясь верным своему эстетическому восприятию действительности), рассуждал о судьбе писателя:

— Главное дело для писателя — умение вовремя слезть из седла. Садиться в седло ему страшно, он не умеет. Потом он научается управлять конем и собой, ему становится легко. Но

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года// *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 108—109.

приходит время даже более трудное, чем начинать: как понять, что пора уйти со сцены с достоинством?

Любопытно, что Иван Сергеевич думал о завершении своей писательской карьеры до того, как были опубликованы его главные романы — «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), «Отцы и дети» (1862). Не были еще напечатаны и его знаменитые повести «Ася», «Вешние воды»... До окончания творческого пути было так далеко! Но Тургенев, рассуждая о поисках *нового слова* в русской литературе, самокритично заметил:

— Ни от меня, ни от Гончарова, ни от Писемского нового слова уж не дождетесь... Его могут сказать лишь двое молодых людей, от которых много надо ожидать: Лев Толстой и вот этот. — Тургенев указал на Леонтьева.

«Я даже не покраснел и принял это лишь как должное»[1], — вспоминал Леонтьев. Тургенев — тонкий ценитель и знаток литературы, через его руки прошли произведения многих авторов, и факт, что он выделил именно эти два имени, ясно говорит: он почувствовал в молодых писателях несомненный и большой дар. Лев Толстой тогда только начинал, опубликовав рассказ «Набег» и первую часть своей трилогии «Детство». Тем не менее его манера писать сразу обратила на себя внимание Ивана Сергеевича. Видимо, он чувствовал не менее сильное дарование и в Леонтьеве. В начале литературного пути Леонтьев подавал большие надежды, многие — не только Тургенев! — прочили ему известность.

Даже деньги, от отсутствия которых Константин так страдал в первое время в Москве, перестали быть жгучей проблемой. Леонтьев вспоминал, как Тургенев, уговаривая его не торопиться с печатанием неотделанных вещей, предложил ему 175 рублей взаймы на неопределенный срок. «Краевскому я написал только два слова, и он выслал мне 50 рублей, — рассказывал Леонтьев. — Потом мне для одной простенькой любовницы занадобилось еще, — я поехал на три дня в Петербург, и он, ни слова не говоря, дал еще 150 рублей»[2]. Действительно, в феврале 1853 года Леонтьев побывал в Петербурге — он привез Краевскому три отрывка из «Лета на хуторе» и получил аванс за эту повесть. Все были уверены в будущем успехе молодого дарования, в том, что деньги он скоро заработает публикацией новых произведений.

Интересно и упоминание любовницы. Скорее всего речь идет о его связи с горничной, ставшей прототипом героини

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 53.

[2] Там же. С. 54—55.

«Лета на хуторе». Горничная, конечно, не могла стать серьезной соперницей Зинаиды Кононовой, но с мыслями о женитьбе всё было уже не так однозначно. В этом же 1854 году Леонтьев оказался перед важным выбором: оставить Зинаиду или жениться на ней? За кокетливой и яркой девушкой стал ухаживать некто Алексей Остафьев, который был не только старше Леонтьева, но и на социальной лестнице стоял выше его — он был предводителем дворянства Нижегородского уезда. Спустя некоторое время Остафьев посватался к Зинаиде. Остафьев был хорошей партией для девушки, хотя она его не любила.

В один из дней Леонтьев и Остафьев оказались в доме Кононовых одновременно. Оставшись с Константином наедине, Зинаида подтолкнула его к решению:

— Я готова ждать, пока ты окончишь курс. Если ты мне скажешь, что через год будешь любить меня так же, как и теперь, я откажу Остафьеву.

Леонтьев задумался. Ему представился бедный дом, дети, необходимый тяжелый труд, чтобы содержать семью, подурневшая Зинаида. Он даже вспомнил о разнице в возрасте и о неприятии Феодосией Петровной девушки в качестве невестки... А как же талант? Литература? Будущая слава? Он решил быть твердым.

— Теперь я тебя люблю. А что будет через год — не знаю. Выходи за него, — ответил Константин.

Зинаида была достаточно сильна и умна, чтобы не показать своего отчаяния. Она молча поцеловала Леонтьеву руку, вышла из комнаты и тут же дала согласие на брак Остафьеву, который беседовал в соседней комнате с ее теткой.

Решение далось Леонтьеву нелегко. Оказавшись в своей квартире, он даже дал волю слезам. «Я... плакал и рыдал два часа подряд после этого, вовсе уж как ребенок или как женщина»[1], — вспоминал Леонтьев. Константин понимал, что в его собственной жизни образовалась теперь страшная пустота, что он должен привыкнуть к отсутствию ощущения, что любим... К тому же родные и знакомые Леонтьева, которые знали в той или иной степени об их отношениях с Зинаидой (а таких было немало — ведь роман продолжался почти четыре года!), решили, что девушка предпочла более выгодную партию, и искренно жалели молодого человека. Это тоже было мучительно: «Я прошу кого угодно встать на место самолюбивого влюбленного, очень изощренного в мысли и неопытного

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 62.

на деле двадцатитрехлетнего юноши и спросить себя, каково ему было? И какими болями всех родов отзывалась эта жертва всесожжения долголетней страсти на алтаре Свободы и Искусства?»[1] — вопрошал постаревший Леонтьев.

Ему действительно было очень тяжело. Зинаида Кононова стала одной из самых сильных привязанностей в его жизни, но это была не жертва, а осознанный выбор. И вряд ли дело было лишь в любви к искусству: Леонтьев не чувствовал готовности взять на себя ответственность за семью, ограничить свою свободу, не был способен принять возлюбленную не только «в шелках», но и в заштопанных чулках. И, несмотря на страдания, о сделанном выборе он никогда не сожалел! Позднее, в романе «В своем краю», один из персонажей — Милькеев — рассказывает историю любви Леонтьева к Зинаиде Кононовой как свою. Слушающая его девушка, узнав, что Милькеев побоялся материальной неустроенности и потому не женился на возлюбленной, выносит приговор: «Значит, вы ее не любили!» Интересен ответ Милькеева на это категоричное замечание. «Может быть, — сухо отвечал Милькеев. — ...Я знаю только вот что, что через два года я был на другом конце России и сидел раз у камина с молодой вдовой... Она меня любила; красивее той была в десять раз; я любовался на нее и на камин, а сам думал: "Нет, это все не то!" Через три года повернул раз за угол на улице, и вдруг лицом к лицу встретил высокую, круглолицую женщину с прекрасными серыми глазами и в точно такой соломенной шляпке с лиловыми лентами, как у нее была. Ноги задрожали, и сердце дрогнуло! А все-таки прекрасно сделал, что не женился. Теперь у нее много детей. Что бы я делал?!»

Зинаида тоже страдала и, видимо, до самого дня свадьбы на что-то надеялась. Во всяком случае, уже после обручения у нее состоялось последнее свидание с Леонтьевым — в саду, куда она пошла вместе с сестрами. Сестры уехали кататься на лодке, чтобы оставить влюбленных наедине, и те долго прощались в беседке. Зинаида дрожащими губами говорила:

— Я постараюсь стать ему хорошей женой, — чем он, бедный, виноват! Но если мне станет очень трудно — я напишу тебе, а ты ответишь мне правду: любишь ли по-прежнему, и если да, то я приеду к тебе *так* жить...

Но и после этих слов Леонтьев не упал на колени, не стал просить ее руки...

Московская жизнь после разрыва с Зинаидой стала Леонтьеву не мила. Его раздражал сочувственный тон родных,

---

[1] Там же. С. 60.

казались докучными университетские занятия, свободного времени оказалось непривычно много. Он даже лег в больницу — так плохо ему было не только психологически, но и физически.

Когда началась Крымская война (1853—1856), правительство, видя недостаток в военных докторах, предложило студентам-медикам четвертого курса, пожелавшим поехать на театр военных действий, получить диплом досрочно. Леонтьев за эту мысль ухватился как за спасение. Пусть война! Пусть опасности! Он не может оставаться здесь и влачить прежнее существование! Тургенев советовал ему «бросаться в жизнь» — он последует его совету и поедет в Крым военным лекарем. Катков тоже одобрил его решение:

— В Крыму вы окуритесь порохом, поживете широкой действительной жизнью... Это так важно для писателя!

В результате Леонтьев написал бумагу о своем намерении университетскому начальству. Он был не один — желающих испытать себя на военном поприще нашлось немало.

Родные отговаривали его. Один из братьев, Николай, сам служивший на Кавказе, советовал отказаться от своего намерения в силу врачебной неопытности: как ты с твоей гуманностью будешь делать операции и ампутации, зная, что не подготовлен достаточным образом? Леонтьев отмел это возражение: теоретические предметы он уже все прослушал, на пятом же курсе студенты проходили акушерскую практику, ненужную в его случае (солдаты не рожают!), и стажировались в Екатерининской больнице. Конечно, Леонтьев понимал, что принимать решения самому, без помощи профессоров и опытных врачей, будет тяжело, но зато и научится он быстрее. Он неглуп, он будет стараться, надо пройти эту школу, чтобы состояться как врач и избавиться от тоски...

В воображении ему рисовались сражения, подвиги, благодарные и мужественные больные — всё будет другим, не похожим на московскую жизнь! «Я бы презирал себя до сих пор, если бы не поехал тогда в Крым; а что касается до нескольких больных, которых я мог убить, а может быть, и убил вначале по незнанию или по ошибке, то, во-первых, это случается с лучшими врачами, а во-вторых, состояние души моей в Москве от сердечных чувств и других причин было до того тяжело, что я был похож на человека, который в минуту какой-либо паники и опасности сталкивает в огонь и бездну других, чтобы спасти себя. Если он не столкнет, его столкнут другие!»[1] —

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 59.

вспоминал Константин Николаевич. А в одном из своих писем матери, уже из Крыма, он объяснил свое решение так: «...я чувствовал, что моей душе нужен крутой поворот, потому что в ней все было притупилось: вот Вам истинная цель моя и причина упорства, с которым я стоял за этот отъезд!..»[1]

Двадцатого июня 1854 года Константин Николаевич Леонтьев Высочайшим приказом был определен на службу батальонным лекарем в Белевский егерский полк.

Полный решимости и нетерпения, Леонтьев приехал в Кудиново — собраться, повидаться с матерью перед отъездом в Крым. Надо было доделать все начатые дела, прежде всего закончить «Лето на хуторе». Те самые первые три главки, что Леонтьев возил в Петербург Краевскому, он послал и Тургеневу — для прочтения. Тургенев, как всегда, был благожелателен и прислал ободряющее письмо. Немного погодя Леонтьев послал старшему другу и всю повесть. В августе повесть была отправлена на адрес «Отечественных записок». «Вчера послал я Вам "Лето на хуторе", — писал Леонтьев Краевскому. — Не знаю наверное, насколько Вы будете им довольны и как поступит с ним цензура, но кажется, что со стороны последней опасаться нечего»[2].

Действительно, сюжет был «невинен» — любовный треугольник в обрамлении деревенской жизни: дочь деревенского портного Маша, бывшая горничная, которой благоволит сосед — помещик Непреклонный, но в нее же влюблен и учитель Васильков. Заканчивалась эта — нельзя сказать, что удачная — повесть свадьбой Маши и Василькова. Впрочем, уверенным в мнении цензуры не мог быть никто — если в повести не усмотрят политического подтекста, то могут увидеть развращение нравов. Краевский обещал напечатать «Лето на хуторе» до конца 1854 года, но не отсылал текст в цензурный комитет до января следующего года — пока не счел, что обстановка в комитете стала более благоприятной из-за прихода нового цензора.

Сам Леонтьев спустя годы разочаровался в повести и даже не хотел видеть ее переизданной, да и рецензии после публикации она собрала не слишком благожелательные. Известный литературный критик И. И. Панаев счел повесть очень слабой, о чем и сообщил Тургеневу, поставив Ивану Сергеевичу

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Письма к матери из Крыма // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 165.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева А. А. Краевскому от 25 августа 1854 г. // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (СПб.). Фонд 391. Ед. хр. 482. Л. 7.

в вину излишнюю снисходительность к начинающим. Тургенев, поразмыслив, согласился с ним в оценке сочинения своего протеже. Боткин, недолюбливавший Леонтьева после его вопроса об Испании, тоже настроен был критически. В общем, и эта повесть, появившаяся в 1855 году в «Современнике», славы Леонтьеву не снискала.

Феодосия Петровна не отговаривала сына ехать на войну, хотя его намерение ее огорчало. Она была сильной женщиной, понимала необходимость подобных решений в жизни мужчины, поэтому, провожая сентябрьской ночью своего Костиньку в дорогу, не плакала. Константину снарядили тарантас, в который сложили не только провизию, но и необходимые на новом месте вещи — шерстяное одеяло, зеркало, книги (прежде всего по медицине) и перину, которая облегчила молодому человеку знакомство с российскими дорогами, — все дни пути он полулежал на ней. Ехать Леонтьев должен был на перекладных, то есть сменяемых на почтовых станциях лошадях. Подорожную до Керчи ему выписали за казенный счет, но самую простую, потому ехать ему пришлось целых семь дней: на станциях не всегда бывали лошади на смену. Феодосия Петровна ссудила сына не только тарантасом и периной, но и провожатым: с ним отправился в качестве слуги крепостной Дмитрий. Кроме того, она дала ему золотой фамильный ковчежец — образок с мощами и переписанную своей рукой молитву о здравии, наказав не расставаться с ними в минуты опасности. Для сохранности семейной реликвии Феодосия Петровна зашила ковчежец в синий бархат и повесила на снурок, чтобы его можно было носить на груди. Ее прощание было полно достоинства и выдержки — никаких причитаний:

— Adieu mon cher! Bon voyage![1]

---

[1] Прощай, мой милый! Счастливого пути! (*фр.*).

Глава 3

КРЫМСКАЯ ВОЙНА

Чего хочу? Всего со всею полнотою...
Николай Огарев

Исторически Турция не раз выступала военным противником России: русско-турецкие войны в общей сложности продолжались более 240 лет начиная с XVII века. Для молодых людей, принадлежавших к поколению Леонтьева, еще не ушла в глубину исторических преданий военная кампания Кутузова 1812 года, заставившая Османскую империю отказаться от Бессарабии в пользу России. Война же 1828—1829 годов, поводом для которой стало закрытие Турцией Босфорского пролива для российских кораблей, и вовсе была делом близким. В результате той войны получила независимость Греция, Турция вынуждена была признать автономию Сербии, к российской территории прибавились Анапа и Сухум, Дунайские княжества (Молдавия и Валахия) тоже получили автономию (хотя их автономия скорее походила на протекторат России), а российские суда получили право свободно проходить через черноморские проливы. На Кавказе военные операции принесли освобождение части Армении; Турция вынуждена была признать верховенство России над Грузией. Это был тяжелый удар для дряхлеющей Османской империи.

Именно тогда столь популярными в Восточной Европе стали идеи *панславизма*[1] — соединение всех славянских народов в рамках федерации. Такое объединение подразумевалось под сенью мощной тогда России, хотя ряд польских интелли-

[1] Большинство исследователей панславизма указывают на словацкое происхождение этой идеологии и апеллируют к работам Я. Коллара (1793—1852) и Л. Штура (1815—1856). Сам же термин «панславизм», как правило, приписывают чеху Я. Геркелю.

гентов предлагали для этой роли Польшу, а некоторые чехи-панслависты считали возможным использовать государственные формы Австрийской империи. Всеславянская федерация казалась делом вполне реальным. Споры велись о возможной столице для такого сверхгосударства, и чаще всего речь шла о бывшей столице Византии — Константинополе (Стамбуле) как источнике православной веры[1], проводились съезды панславистов, тема обсуждалась на страницах журналов и газет.

Разумеется, Франция, Англия, Австрия видели в такой идеологии обоснование возможной экспансии Российской империи. Потому, когда в июне 1853 года Россия ввела войска в Дунайские княжества (формально — она имела право это сделать по условиям Адрианопольского мирного договора 1829 года) и очередная русско-турецкая война стала казаться неизбежной, в коалицию с Турцией вступили Франция и Великобритания.

Распадающаяся Османская империя была лакомым куском для многих. Не случайно Николай I еще в январе 1853 года предложил английскому послу сэру Гамильтону Сеймуру вариант полюбовного раздела Турции[2]. Англичане отказались лишь потому, что усмотрели в плане Николая подвох, предполагая, что Россия в силу своей географической близости к Турции и большой сухопутной армии вскоре приберет к рукам все турецкие территории. Англичане были заинтересованы в ослаблении российского влияния на Кавказе, Франция же надеялась на реванш после войны 1812 года. К тому же Наполеон III чувствовал себя и лично оскорбленным: российский император счел нового французского правителя нелегитимным, так как он приходился племянником Наполеону I, а династия Бонапартов была исключена из престолонаследия Венским конгрессом. Поэтому в поздравительной телеграмме французскому императору по поводу восшествия на престол царь Николай I обратился к нему «дорогой друг», что было настоящим скандалом: по протоколу он должен был написать «дорогой брат».

Николай I изначально видел во Франции потенциального противника, но по поводу Великобритании искренне заблуж-

---

[1] Отличной иллюстрацией подобной позиции могут быть строки Ф. И. Тютчева:

И своды древние Софии
В возобновленной Византии
Вновь осенит Христов алтарь.
Пади пред ним, о царь России!
И встань, как всеславянский царь!

[2] См.: *Тарле Е. В.* Крымская война. В 2 т. М.; Л., 1941—1944. Т. 1. С. 143.

дался. Похоже, русский царь до последнего полагал, что Великобритания займет сторону России в грядущем конфликте или хотя бы станет соблюдать нейтралитет (а тогда и выступление Франции на стороне Турции становилось сомнительным), причем эту уверенность поддерживали в нем дезинформирующие письма высокопоставленных английских вельмож, послов, министров да и российских дипломатов.

Поводом для начала войны стали религиозные святыни в Палестине. Россия выдвинула Турции ряд требований — они касались гарантии прав православных и защиты святых для христиан мест на территории Турции. Хотя английские дипломаты (заверив российских коллег в нейтралитете Великобритании) пообещали Блистательной Порте поддержку в случае конфликта с Россией, а Наполеон III даже выслал французскую эскадру к берегам Константинополя, турецкий султан, не доверяя до конца западным *гяурам*, попытался сначала избежать войны и согласился выполнить выдвинутые Россией условия. Но, несмотря на первоначальную сговорчивость турок, конфликт не был улажен: посол царя князь А. С. Меншиков вручил Высокой Порте в Константинополе еще одну ноту с требованиями, среди которых были уже и такие, что турки просто не могли их удовлетворить — в частности, признание султанским двором прав российского императора как верховного защитника православного населения Порты. Подписание такого рода конвенции сделало бы суверенитет Турецкой империи призрачным. По сути, это был ультиматум. Но и после этого ультиматума английский посол в Турции навестил Меншикова и уверил его в английских симпатиях к России — англичане провоцировали войну, скрывая от русских свою настоящую позицию. Когда русские войска вошли в Молдавию и Валахию, война была объявлена. В ней Турцию поддержали Франция, Великобритания и Сардинское королевство.

Война, получившая название Восточной, или Крымской, стала для России военной и политической неудачей. Дунайская кампания прошла под знаком разворовывания казны. Русские солдаты строили укрепления и тут же покидали их, даже когда для этого не было никаких военных причин: в этом случае проверить расходование потраченных на укрепления казенных средств было невозможно. Дело дошло до того, что несколько раз солдаты отказывались строить укрепления, не желая отступать перед противником (причинно-следственная связь между строительством и отступлением стала понятна даже им). На Черном море дела сначала шли лучше: вице-адмирал Нахимов разбил турецкую эскадру в знаменитом Синоп-

ском сражении. Но именно победа Нахимова стала формальным поводом для военных действий со стороны Франции и Англии. Они получили повод обвинить Петербург в нарушении взятых на себя обязательств: ведь турецкая эскадра была расстреляна в собственной бухте, при этом бомбы черноморских линкоров вызвали пожары в городе. В ответ соединенный англо-французский флот в апреле провел бомбардировку Одессы и подошел к Севастополю. Крым стал главным театром военных действий, хотя бои велись и на Кавказе, на Балтийском и Белом морях, на Дальнем Востоке.

Антироссийские настроения в европейских газетах достигли своего пика. Соответственно, и в русском обществе нарастали антизападные настроения, все большей популярностью пользовались идеи панславизма. В своей повести «Сутки в ауле Биюк-Дортэ» Леонтьев описывал начало войны глазами своего персонажа, Муратова, — типичного помещика, добровольно вступившего в ополчение:

«Еще задолго до войны озлобился он на французов и англичан. Каждый листок газеты серьезно раздражал его. Он говорил, что французы и англичане отжили и сузились, что их надо освежить, окропить живой водою, и грозился при этих словах кулаком. Начались первые неудовольствия в Европе. Князь Меншиков поехал в Константинополь. Ненависть Муратова стала переменять характер отвлеченности на более живой... Он стал поговаривать, пугая жену, о военной службе... Слух о тяжкой битве при Альме[1] окончательно и искренно потряс его... Тогда ни слезы милой Лизы... ни агрономия, ни оранжерея, ни диван — ничто не могло удержать его.

И вот он ополченец!»[2]

Крымские события подняли волну патриотизма, стали формироваться ополчения. Мобилизационный потенциал Российской империи позволил развернуть почти двухмиллионную армию, но необходимость воевать на разных фронтах делала победу практически невозможной. Россия оказалась изолированной на международной арене, ей противостояли превосходящие по численности и вооружению союзные войска. Российские солдаты в большинстве своем были вооружены гладкоствольными заряжавшимися с дула кремневыми ружьями. Зарядить такое ружье было делом сложным, требую-

---

[1] Первое крупное сражение Восточной войны в сентябре 1854 года недалеко от Севастополя, в котором Российская армия потерпела поражение и потеряла от трех до семи тысяч человек.

[2] *Леонтьев К. Н.* Сутки в ауле Биюк-Дортэ // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 1. С. 234—236.

щим навыка, а дальность стрельбы была всего около двухсот шагов. Французы же и англичане имели на вооружении современные нарезные ружья: заряжались они быстрее, стреляли гораздо дальше и более метко. Техническое преимущество западных армий было очевидно, а с учетом воровства в Российской армии положение солдат становилось и вовсе не завидным.

Похожим образом дело обстояло и с флотом. Боевая подготовка матросов и офицеров на Черноморском флоте была гораздо лучше западной (сказались методы обучения, внедренные адмиралами М. П. Лазаревым и П. С. Нахимовым, В. А. Корниловым и В. И. Истоминым), но по численности боевых кораблей русский флот уступал Англии и Франции. К тому же Россия имела очень мало паровых судов — русские парусники зависели от направления ветра. Не спасло и то, что переброска союзных войск неприятеля из Варны в Крым была крайне плохо организована коалиционным командованием. Например, первый эшелон в 54 парусных французских судна с войсками покинул Варну 5 сентября и трое суток без всякого конвоя болтался в море в ожидании остальных. Видимо, это был тот момент, который мог решить судьбу всей Крымской военной кампании, — русский флот имел возможность успешно атаковать неприятеля. Но у русских не было в море разведки.

Второй раз Черноморский флот имел шанс изменить ход войны при высадке союзников на берег. Адмирал Нахимов, понимая это, решил направить корабли к Евпатории и уже поднял на мачте флагманского корабля сигнал «Приготовиться к походу». Но сначала дул северо-западный ветер, противный движению в направлении Евпатории, а потом и вовсе наступил полный штиль, продолжавшийся несколько дней. Парусные суда, зависимые от ветра, не смогли использовать имеющегося преимущества. Князь Меншиков не стал атаковать противников в момент высадки и с суши — он сосредоточивал войска в районе реки Альмы, чтобы преградить им путь к Севастополю.

В результате Евпаторию союзники взяли, Альминское сражение выиграли, а затем началась осада Севастополя, которая продолжалась 349 дней. В городе не хватало питьевой воды, солдаты и матросы питались сухарями, в зимние месяцы страдали без теплой одежды. Со всей России присылали для служивых не только крестики и образки, но и полушубки, сапоги, башмаки, однако из-за бездорожья, военной неразберихи и бесхозяйственности вещи приходили с большим опозданием... Но несмотря ни на что, севастопольцы продолжали героически обороняться. Союзники прозвали гарнизон горо-

да «стальным», а Россия из газет узнавала имена всё новых героев.

В такой обстановке было принято решение усилить армию врачами-добровольцами, среди которых оказался и Леонтьев. В своем прошении он изъявил желание служить в Севастополе, но направили его в госпиталь под Керчью. Поселился Леонтьев в доме у госпитального смотрителя в Еникале — построенной в начале XVIII века турками крепости, контролировавшей самое узкое место пролива между Азовским и Черным морями на северной окраине Керчи. Именно здесь, в пятиугольнике старых каменных крепостных стен, были размещены военный госпиталь и несколько береговых батарей с пороховыми погребами.

Крым Леонтьеву очень понравился своей живописностью, и если бы на территории Еникале росли еще и деревья (а их было всего три), он нашел бы местность прекрасною. Леонтьев сразу и навсегда влюбился в юг. К тому же нельзя сбрасывать со счетов и то, что сухой и теплый крымский климат был ему полезен. Он по-прежнему был слаб здоровьем, кашлял, а сентябрьское солнышко пригревало военного лекаря совсем по-летнему, воздух был свеж, он покупал у местных татар кумыс, молоко и надеялся вскоре поправиться.

Комната Леонтьева была небольшой, из двух окон виднелись бок горы, белые госпитальные домики и бушующий осенний пролив. Дверь выходила — а у него был отдельный вход с крыльцом — к крепостной стене и морю. Надев форменный долгополый вицмундир с красным кантиком, новоиспеченный лекарь продал кудиновский тарантас и на вырученные деньги купил самую необходимую мебель — три крашеных столика (на один поставил привезенное из Кудинова зеркало, на другой — *дедовскую* шкатулку из карельской березы для чая и сахара, которую любил с детства), кровать, стулья, полки. Полок явно не хватало, поэтому оба подоконника были завалены книгами и всякой всячиной. Кровать Леонтьев застелил кудиновским шерстяным одеялом, повесил на вбитый в стену крюк привезенный из дома халат — и обустройство нового жилья, в котором ему помог кривой денщик по фамилии Трофимов, на этом закончилось. Позднее на одном из столиков появилась присланная по просьбе сына большая фотография Феодосии Петровны.

В госпитале Леонтьев занял место единственного ординатора — прежнего тут же отослали в Феодосию, где раненых было больше. На долю Константина сразу же пришлось более ста больных! К тому же в скором времени обещали привезти еще столько же. Шли бои за Балаклаву на самых подступах к

Севастополю, и госпитали не пустовали. Опыта у Леонтьева, конечно, не хватало — в университетской клинике ему приходилось вести не больше десятка больных разом, — потому не раз он бегал из госпиталя в свою комнатку, чтобы пролистать привезенный с собой учебник или справочник. «Я решительно первые дни не знал, кто чем болен»[1], — вспоминал он.

Каждое утро Константин совершал обход своих подопечных и «записывал билеты» — назначал лечение. И каждое же утро сталкивался с одной и той же проблемой: в госпитальной аптеке катастрофически не хватало лекарств, а те, что были, безбожно разбавлялись. «Дела довольно много, и вдобавок дела, как я все более и более убеждаюсь, бесплодного, потому что я теперь не верю почти ни одной пилюле, ни одному порошку, которые я выписываю из казенной аптеки; лечить и не верить лекарству, не видать от него помощи и не иметь средств это поправить, согласитесь, недеревянному человеку невесело»[2], — писал он матери. Любое назначение, которое и так давалось молодому человеку нелегко, приходилось корректировать с учетом этого фактора. Советоваться было не с кем — на весь госпиталь первые два-три месяца леонтьевской службы из врачей были только он и старший доктор, которого судьба раненых мало интересовала. «Главный доктор думал только об доходах своих и об отчетах, ведомостях»[3], — с горечью отмечал Леонтьев. Боясь нанести вред неверным назначением, в первое время он зачастую прописывал невинные средства или просто продолжал начатое до его приезда лечение.

Распорядок жизни в Еникале у Леонтьева установился строгий: подъем в шесть утра, потом — до часу-двух дня обход больных, когда приходилось не только осматривать раненых, но и помогать фельдшерам с перевязками, проверять выполнение назначенного лечения, корректировать свои записи «в билетах» с наличием лекарств в казенной аптеке. Он вскрывал нарывы, налагал крахмальные сотеновские повязки, принимал новых больных. Потом — обед. Столовался он вместе с другими офицерами у того же смотрителя, платя за это три рубля серебром в месяц. После обеда справлялся о спорных случаях в своих учебниках и делал второй, краткий, обход больных — именно так было положено по уставу медицинской службы, хотя правило это обычно докторами не соблюдалось.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 61.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 10 марта 1855 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 171.

[3] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 62.

Зачастую по вечерам, в то время, когда смотритель, аптекарь, пехотные и артиллерийские офицеры играли по соседству в карты, Леонтьев запирался в своей комнате и перечитывал медицинские учебники, конспекты, литографированные лекции московского хирурга Басова и петербургского профессора Экка. По ночам его часто будили для приема новых больных.

Жизнь была занята делом, а не размышлениями и рефлексиями! Именно этого хотел Леонтьев, уезжая из Москвы. Он понимал свое медицинское несовершенство и в письмах матери просил прислать ему брошюры и книги о лечении разных болезней — вместо подарка к Рождеству. Нередко он проводил вскрытия умерших больных в крепостной часовне, чтобы удостовериться в правильности поставленного диагноза. А спустя некоторое время у Леонтьева появился и товарищ, который помогал ему советами, — Василий Владимирович Лотин. Константин писал о нем матери: «...общество наше оживилось много с приезда одного ординатора, молодого человека лет 25, очень неглупого, знающего врачебное дело и веселого. С ним можно иногда не без удовольствия провести время; да и позаимствоваться от него можно многим; и я стараюсь по мере сил ловить случай узнавать что-нибудь новое»[1].

В декабре пришло время первой ампутации, которая потребовала от Леонтьева мужества. Одно дело проводить ампутацию ноги у трупа в университетском анатомическом театре под присмотром доброжелательного профессора Иноземцева, и совсем другое — видеть умоляющие глаза солдата, имя которого ты уже знаешь, и погружать скальпель в живую плоть...

Впрочем, представить всё это трудно, потому приведем описание очевидца — Льва Толстого, участника обороны Севастополя: «Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товари-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 15 февраля 1855 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 166—167.

ща, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, — увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...»[1]

В первую зиму своей службы Леонтьев сделал *семь* ампутаций. Трое раненых после операции умерли, четверо вернулись домой увечными, но здоровыми. Статистика ужасающая для современного читателя, но вполне положительная для того времени, учитывая условия еникальского госпиталя и отсутствие многих уже привычных для нас медикаментов, которых тогда не было, прежде всего — антибиотиков. Заражение крови после операции было обычным делом.

Сам Леонтьев благодаря климату пошел на поправку, о чем не раз сообщал в письмах матери. Позже он вспоминал, как гляделся в зеркало и видел, «до чего эта простая, грубая и деятельная жизнь даже телесно переродила меня: здесь я стал свеж, румян и даже помолодел в лице до того, что мне давали все не больше 20-ти, а иные даже не больше 19 лет... И я был от этого в восторге и начинал почти любить даже и взяточников, сослуживцев моих, которые ничего "тонкого" и "возвышенного" не знают и знать не хотят!.. На радостях я находил в них много "человеческого" и ничуть не враждовал с ними... Я трудился, я нуждался, я уставал телом, но блаженно отдыхал в этой глуши и сердцем, и умом»[2]. Нравились ему крымская полудикая природа, греческие и татарские деревушки, нависающие над морем горы, редкие прогулки по зимней керченской набережной (часто ездить в город не получалось: не было ни времени свободного, ни денег). Леонтьев мечтал скопить денег и купить себе лошадь для прогулок по степи.

Сослуживцы о литературных притязаниях младшего ординатора не догадывались. Леонтьев не разговаривал ни с кем ни о Тургеневе, ни о Евгении Тур или графине Ростопчиной, ни о том, что пишет. Ему нравилось его *инкогнито*, его тайное превосходство над новым обществом. «Я считал себя... чем-то вроде Олимпийского бога, сошедшего временно на землю»[3], — вспоминал он с иронией. Леонтьев воспринимал военную

---

[1] *Толстой Л. Н.* Севастополь в декабре месяце // *Толстой Л. Н.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 2. М., 1960. С. 100.

[2] *Леонтьев К. Н.* Сдача Керчи в 55-м году (Записки военного врача) // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 189.

[3] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 64.

службу как короткую перемену в жизни, чтобы обострить свои чувства, испытать себя, ну и заодно овладеть профессией врача. Он писал об этом времени:

«...я считал себя если не орлом или королевским соколом (этого я, кажется, не думал), то уж наверное какой-то "райской птицей". Эта райская птица по своей собственной воле дала остричь себе крылья и снисходительно живет *пока* на заднем дворе и не боится никого, и сама никого не трогает. Это она *пока*!.. Она притворилась только на время "младшим ординатором и больше ничего". Она поэт; она мыслитель и художник, миру пока неизвестный... она, кроме того, "*charmant garcon*"[1], который нравится (кому следует)... и, наконец, калужский помещик, у матери которого в саду, в прелестном Кудинове...

Вблизи шиповник алый цвел,
Стояла темных лип аллея...

Думать так было, может быть, и глупо, но зато очень приятно!»[2]

Окружавшие его армейские офицеры были, конечно, «дюжинные люди», но и занимательные по-своему. Константин чувствовал себя среди них сторонним наблюдателем. Он понимал, что его крымская жизнь — временная, но тем она ему и нравилась. Лучше всего сказал об этом он сам в одном из писем матери: «...я ехал не на радость, не на карьеру сюда, и если бы мне пришлось здесь прожить несколько лет, я бы, кажется, принял хлороформа... Для чего я пошел в военную службу? Мне тогда по известным Вам обстоятельствам хотелось перемены, это раз; 2-е, я знал, что перемена мест, лиц и отношений пробудит во мне многое, что уснуло от прежней жизни; я угадал, и все это сбылось, т. е. я стал деятельнее жить поневоле, по совести, а после и по привычке: 3-е, я хотел на год, не более, южного воздуха и добился его; и вижу от него пользу. Вот что заставило меня ехать; прибавьте к этому желание иметь независимое жалованье и не отягощать Вас при Вашем настоящем положении и кроме всего — любопытство видеть войну, если можно, чего 2 раза в жизнь, пожалуй, не случится; да и не дай Бог; а один раз посмотреть недурно»[3].

В первые восемь месяцев своей службы в Еникале Леонтьев ничего не писал. На это не было времени — он старался

---

[1] Прелестный мальчик (*фр.*).

[2] *Леонтьев К. Н.* Сдача Керчи в 55-м году (Записки военного врача) // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 190.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 10 марта 1855 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 172.

сделать из себя настоящего врача, чтобы, помимо прочего, потом кормить себя и мать частной практикой. Отвлекаться на литературу невозможно было и с нравственной точки зрения — «совесть не позволяла мне тут заниматься ею; при виде стольких терпеливых страдальцев, порученных мне судьбою, я желал одного: делать как можно меньше ошибок в диагностике и лечении»[1]. Его писание в Еникале ограничивалось врачебными назначениями «в билетах» и письмами. Он писал Тургеневу и Краевскому — чтобы выяснить судьбу отосланных в редакции очерка и повести. Он писал горбатой тетушке — чтобы не волновалась за своего Костиньку. И конечно, он писал своему «дружку» — Феодосии Петровне, которая даже хотела навестить сына весной 1855 года, посмотреть на военное житье-бытье, а возможно, и остаться у него до окончания его службы («Вы, насколько я вас знаю, предпочтете гром пушек долговременной разлуке»[2], — писал ей сын).

Письма Феодосии Петровне сохранились частично. Читать их интересно, ведь мать у Леонтьева была незаурядной, и сын описывал ей не только свой быт, но делился мыслями и планами на будущее. Из писем Леонтьева встает образ женщины умной, властной, строгой. Не случайно у сына появляются заискивающие интонации, когда он просит о каких-то поблажках — и не для себя! — для старой тетушки Катерины Борисовны: «...не можете ли вы вообразить, что я все еще в университете и что вы мне даете 10 руб. в месяц; отдайте их тетушке на покупку в Москве минеральных вод, которые ей советовал через меня пить Ротрофи[3]... На всякий случай приложу записку к Ротрофи с просьбой выслать эти воды, в случае вашего согласия на это доброе дело. Я убежден, что они облегчат ее много, и так как с ее стороны вы не видали неблагодарности, то и надеюсь, что вы на это изъявите согласие»[4].

В описаниях Леонтьевым своей крымской жизни есть разница. В воспоминаниях он рисовал эти годы как вольные, спокойные и по-своему счастливые: «Так было сладко на душе. Здоровье было прекрасно; на душе бодро и светло от сознания исполняемого, по мере умения, долга; страна вовсе новая, полудикая, живописная, на Москву и Калугу ничуть не

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Сдача Керчи в 55-м году (Записки военного врача) // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 190.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 23 декабря 1854 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 159.

[3] Домашний врач Анны Павловны Карабановой (Охотниковой), за которого она впоследствии вышла замуж.

[4] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 25 ноября 1854 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 157—158.

похожая...»[1] А в письмах к матери тональность иная: с одной стороны, он успокаивал ее, сообщая, что выздоровел, с другой — немного кокетничал и жаловался: «А со мной что будет, то будет... Невозможно предполагать, чтобы вся жизнь была из одного труда да неудач. Бог даст, и выйдет что-нибудь»[2]. Или писал, что согласился бы даже быть раненым (и прибавлял — вполне по-леонтьевски! — «даже в лицо, но не слишком уродливо»), лишь бы пожить несколько лет по-своему, независимо.

Независимость, судя по всему, имелась в виду денежная: хотелось купить лошадь, хотелось ездить в Керчь по своему желанию, хотелось обустроить ветшающее Кудиново, хотелось ссудить деньгами старую тетушку, чтобы могла пить минеральную воду без оглядки и не зависеть от настроения Феодосии Петровны, хотелось выписывать интересные книги, хотелось замшевых перчаток от Дарзанса, хотелось многого... «Будь у меня деньги, хоть 500 руб. сер. в год своих, я бы многим, многим воспользовался!»[3] — мотив, часто повторявшийся в письмах Леонтьева той поры (да и позднее, до самой его смерти). А ему даже и небольшое жалованье в 20 рублей выплачивали нерегулярно — приходилось жить в долг. «По две недели сидишь с 3 коп. сер. в кошельке»[4], — жаловался Леонтьев. Феодосия Петровна, которая и сама была очень стеснена в средствах, два-три раза все же посылала ему небольшие суммы, да и богатая московская родственница, Анна Павловна Карабанова, баловала не только письмами, но время от времени присылала по 25—30 рублей, после чего Леонтьев с месяц «роскошествовал», покупая вдоволь чаю, табаку и сахару, которые обычно строго нормировал.

К безденежью быстро прибавилась скука. Настоящей войны с подвигами еникальские офицеры не видели, газет не было, новости из осажденного Севастополя до крепости доходили только в виде слухов, общество сослуживцев слишком сильно проигрывало в глазах Леонтьева тем литературным кругам, в которые он был вхож в Москве... Анна Павловна, поняв, что ее молодому родственнику скучно, написала в одном из писем, что Иосиф Николаевич Шатилов, богатый помещик Тульской губернии и знакомый Охотниковых, с кото-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мои дела с Тургеневым и т. д. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 146.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 23 декабря 1854 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 160.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 15 февраля 1855 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 167.

[4] Там же.

рым Леонтьев несколько раз встречался в Москве, приглашает Константина в свой крымский дом рядом с Карасу-Базар — погостить на Святки. Но отпуска Леонтьеву не дали, в Карасу-Базар он не поехал, хотя с Шатиловым в Крыму молодой лекарь еще встретится.

«Жизнь мы (т. е. я и мои здешние сослуживцы) ведем такую же, как и прежде вели — несколько растительную, тем более теперь, когда установилась зимняя погода и в пустой степи гуляется неохотно... Еникале же по-прежнему posse de tous les desavantages de la campagne sans en avoir la poesie et le comfort[1]», — писал матери Леонтьев[2]. И через три недели: «Все так старо, так однообразно и деревянно здесь, что и у меня нет никаких ровно мыслей, кроме ближайших ежедневных забот»[3].

В скором времени однообразие нарушили серьезные события. Умер император Николай I, уступив трон своему сыну, Александру II. Новый царь попытался переменить ход войны, среди прочего поменяв командование на разных уровнях. В Еникале пришло предписание от нового главнокомандующего: устроить в Керчи отделение от еникальского госпиталя. Леонтьев надеялся, что именно его назначат в керченское отделение, и даже строил планы. «Там жить будет немного дороже; смотрителя, у которого я так пригрелся насчет стола, не будет; ну да не беда; ограничу себя необходимым куском, насколько можно; все же лучше разнообразие, — писал он о грядущих переменах матери. — Там будет 50 человек больных; это немного; я буду один хозяин, а главный лекарь будет только наезжать по временам. Дай Бог, чтобы это удалось; все перемена что-нибудь новое да принесет с собой»[4].

Но керченское отделение всё не открывалось. Война шумела где-то рядом, а он слышал только ее отзвуки в рассказах раненых... Никому ничего не сказав, в один из своих свободных дней, Леонтьев отправился в Керчь — к генералу Карлу Врангелю, который стал командовать войсками в Восточном Крыму после всех перестановок среди военного начальства. Стоя перед генералом навытяжку, Константин обратился к нему с просьбой перевести его врачом в полк, где он сможет принять участие в военных действиях.

---

[1] Имеет все недостатки кампании без поэзии и комфорта (*фр.*).

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 24 января 1855 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 164.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 15 февраля 1855 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 166.

[4] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 23 марта 1855 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 175.

— Не знаю, есть ли теперь при полках вакансии, — вежливо ответил Карл Карлович. — Впрочем, если вы так желаете быть ближе к военным действиям, то я подумаю об этом. В случае чего-нибудь вас можно будет прикомандировать хоть к казачьему полку. Хорошо, я не забуду.

Леонтьев вернулся в крепость, так и не сказав никому ни слова о своей поездке. Врангель же не забыл своего обещания и вскоре прикомандировал его к 65-му Донскому казачьему полку, которым командовал полковник Попов.

Покидал крепость военный лекарь без сожаления. Нехитрые пожитки были быстро упакованы, и 12 мая Леонтьев планировал выехать на нанятой денщиком Трофимовым лошади в Керчь. Ехать мечтал не спеша, любуясь весенней крымской природой... Но неожиданный поворот в военных действиях смешал все планы.

Весной 1855 года союзные войска неприятеля решили перерезать коммуникации русской армии в Крыму. Севастополь снабжался и так недостаточно, осажденные терпели лишения, в случае же взятия Керчи сдача Севастополя становилась делом предрешенным. Потому 11 мая три французских корабля показались вблизи Керчи. Постояв немного в виду города, они ушли. Но на следующий день союзные корабли — уже около двадцати — вошли в Керченский залив.

День был яркий и солнечный, публика на керченской набережной отчетливо видела, как вражеский флот приближался к береговым батареям и суда его становились на якорь. «Не прошло и часу, как неприятельские суда открыли огонь по батареям, и в начале еще не пристрелявшись, многие снаряды давали перелет через укрепления, ложась в тылу их — на высотах, где собиралась любопытная публика», — вспоминал очевидец событий. Одновременно с бомбардировкой батарей неприятель начал высадку 12-тысячного десанта на берегу Камыш-Бурунской бухты, лежащей в четырех верстах к западу от русских укреплений, с тем чтобы обойти город с тыла. Именно в этот момент в жилище Леонтьева в 12 верстах от происходящих событий вбежал его денщик Трофимов, крича:

— Ваше благородие, англичан наступает!

Леонтьев выбежал из дома. Из Еникале самой Керчи видно не было, но со склона, где располагался домик смотрителя, просматривался Керченский залив, обычно пустынный. Леонтьев увидел на нем множество черных точек — то были корабли на рейде. Еникале зашевелилось после долгих месяцев размеренной жизни. Комендант крепости был хмур и озабочен, зато молоденький подпоручик Цеханович, командир

еникальской артиллерийской батареи, сиял — ему, как и Леонтьеву, давно хотелось дела, геройства, и вот война докатилась до их небольшого гарнизона. Леонтьев второпях простился с сослуживцами и сел в нанятые дроги. Рядом на двух больших узлах разместился Трофимов.

Пока дроги ехали вдоль моря, Леонтьев пытался сосчитать черные точки на морской глади, но все время сбивался. Спустя два часа они въехали на пустынные улицы керченского предместья. Куда ехать? В штаб? К генералу? Искать расположение 65-го Донского казачьего полка, куда он прикомандирован? Где оставить денщика с чемоданом и узлами?

«Как ни легкомысленно смотрел я тогда на жизнь, как ни глубоко и несокрушимо было в то время в сердце моем убеждение, что важнее всего *поэзия*... (то есть не стихи, конечно, а та реальная поэзия жизни, та восхитительная действительность, которую стоит выражать хорошими стихами), как ни идеален был я в то время, но я, хотя и довольно смутно, помнил же все-таки, что у меня в одном узле офицерская ваточная шинель с капюшоном и старым бобровым воротником, весьма полезная при случае для сохранения моего идеалистического тела; в другом узле что-то тоже нужное; в чемодане дюжина очень недурных настоящих голландских рубашек с мелкими (модными тогда) складками на груди (на той груди, где бьется еще юное сердце будущего, — не знаю какого, право, но все-таки какого-то, какого-то... очень дорогого мне человека!), — вспоминал позднее с иронией, но и теплым чувством Леонтьев. — И наконец, сверх ваточной шинели, сверх незаменимых здесь московских непромокаемых сапог, работы г-на Брюно, сверх голландских рубашек с мелкими складками и нежными воротничками... — сверх всего этого в багаже моем... были и другие, даже более всего этого идеальные и дорогие мне вещи. Были мои рукописи: начало романа "Булавинский завод"... был еще один отрывок — описание безлюдной и красивой усадьбы русской в зимнее утро... "Девственный снег, выпавший за ночь, на котором виден мелкий и аккуратный след хищной ласочки, ходившей на добычу этою ночью"... "Розовый дом с зелеными ставнями, осененный двумя огромными елями, вечно зелеными и вечно мрачными великанами"... Когда я прочел это в Москве, в доме одной графини, она воскликнула: "Quel magnifique table audegenre!"[1]

Как же мне было тогда, в 23 года, не беречь этих бумаг, этих неоконченных и еще в то время столь любимых, а впоследствии жестоко ненавистных мне сочинений?

---

[1] Какой замечательный рисунок жанра! (*фр.*).

...Куда ж мне все это укрыть, пока я сам поспешу к начальству и узнаю, что мне делать и куда мне ехать прикажут?»[1]

Поразмыслив, Леонтьев решил ехать к Лотину, своему знакомому по Еникале, который тогда уже служил при штабе генерала Врангеля. Леонтьев надеялся узнать от Лотина все новости, к тому же тот жил в просторной квартире, у него и переночевать можно было. Увы! Приятеля дома не оказалось: квартирная хозяйка сказала, что он с утра уж «у генерала». Леонтьев оставил денщика с вещами во дворе, а сам поспешил... Но куда? В штаб? В полк? Не тут-то было!

Сам он вспоминал потом этот день так:

«Я спешу в гостиницу Дмитраки; я проголодался на радостях, что пахнет хоть немного войной...

Для дел великих отдых нужен,
Спокойный сон и добрый ужин...

Положим, утром не ужинают; но утром зато пьют у Дмитраки в гостинице хороший кофей с превосходными сливками и свежим “францолем” (т. е. белым хлебом, по-нашему). К тому же гостиница Дмитраки гораздо ближе к той стороне, откуда идут союзники, и в случае бомбардировки я хочу быть в опасности, а не избегать ее... Мне бы нужно только поесть и выкурить сигару... А там пусть летят ядра и бомбы... Я их что-то не очень боюсь. Наконец, и штаб, и генерал, все это недалеко от Дмитраки, два шага: я мигом напьюсь, наемся, накурюсь, и к делу!..»[2]

После того как Леонтьев рассчитался за дроги, в кармане у него осталось 5 рублей с полтиной, да и те он занял у смотрителя в Еникале. Дмитраки он тоже уже был должен (13 рублей!), но молодому лекарю хотелось хорошего кофе, и кровь его закипала от приближения настоящей войны, которой он совсем не боялся... Ему теперь сам черт не брат!

В таком приподнятом настроении молодой человек оказался в чистой и уютной гостинице Дмитраки. Кофе был действительно хорош, к нему подали густые сливки... Блаженству мешала услышанная от хозяина новость о высадке десанта в Камыш-Буруне: «...если десант, если войско союзников идет к Керчи с сухого пути, то может случиться (почем я знаю!), что Донской № 45 полк (номер указан ошибочно; верно: № 65. — *О. В.*) будет действовать в поле, и тогда и долг, и самолюбие, и жажда сильных ощущений — все призывало меня туда, все за-

[1] *Леонтьев К. Н.* Сдача Керчи в 55-м году (Записки военного врача) // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 198—199.

[2] Там же. С. 201.

ставляло меня желать быть при полку»[1]. Надо торопиться! Вот и шум на улице какой-то поднялся... Леонтьев захотел выбежать на балкон, но услужливый Дмитраки взял маленький столик и стул, вынес их сам на балкон, поставил и приказал молодой гречанке принести молодому человеку еще кофе.

— Не спешите, — сказал он спокойно. — Выкушайте с сигарочкой, я вам хорошую дам... Поверьте, что союзники с сухого пути не придут сюда... Это, вероятно, ложный слух в городе...

Леонтьеву и самому, несмотря на волнение, очень хотелось допить этот прекрасный кофе с превосходною сигарою. Баловство, которое он редко себе мог позволить. При первом же выстреле или бомбе он сразу побежит в штаб — это же близко!

«Пока от времени до времени мчались мимо меня по улице куда-то пролетки, тянулись телеги, скакали изредка казаки, я продолжал не спеша пить мой кофе и курить, мечтая даже о том, как бы это было хорошо, если бы сейчас начали падать около гостиницы этой гранаты, бомбы и ядра, а я бы имел право, как частный человек и художник, смотреть с балкона на весь этот трагизм, взирать, ничуть и сам не избегая опасности, на эту внезапно развернувшуюся на интересном месте страницу из современной истории. Присутствовать безмолвно и философски созерцать... Прекрасная страница! Не только из истории человечества, но и из истории моей собственной жизни. Бомбы летят, а я смотрю!

Сижу и думаю — философ! Не боюсь — стоик! Курю — эпикуреец!..»[2]

Лев Толстой в это время воевал в Севастополе. Леонтьев же служил в тылу, хотя пуль не боялся. Так распорядилась его военная судьба. Но главное различие между их отношением к одной и той же войне очень точно подметил Иваск: «Толстой искал правду, а Леонтьев — красоту»[3]. Как верно!

Блаженствовал молодой человек не долго. По улице прямо под ним пронеслась тройка, за ней — другая. В одной сидел генерал Врангель, за ним — адъютанты, а следом — отряд казаков. Леонтьев растерялся, вскочил и отдал генералу честь. Врангель посмотрел на него снизу вверх и ответил поклоном. Что это? Куда они скачут? Не десант ли в самом деле высадился? Дмитраки принес весть с улицы: действительно, союзный десант около Керчи, генерал поскакал на Павловскую батарею. Тут уж Леонтьеву стало не до кофе... Он оставил свой парад-

---

[1] Там же. С. 202.

[2] Там же. С. 204.

[3] *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев (1831—1891). Жизнь и творчество // К. Н. Леонтьев: pro et contra. В 2 кн. Кн. 2. СПб.: РХГИ, 1995. С. 294.

ный вицмундир с красным кантиком у Дмитраки (пообещав прислать за ним денщика), переоделся в солдатскую шинель, чтобы не запачкать мундир кровью при перевязке раненых.

— А что же делать с теми тринадцатью рублями, что я вам должен? — спросил он Дмитраки.

— Покажите ваш кошелек, — потребовал тот.

Взглянув на жалкие пять рублей с мелочью, хозяин гостиницы махнул рукой:

— Да вам и самому деньги нужны... Бог даст, потом как-нибудь свидимся...

Действительно, они увиделись в 1856 году, и Леонтьев вернул Дмитраки долг.

Эпикурейское сидение на балконе припомнил генерал Врангель, когда два месяца спустя Леонтьев попросил выдать ему вперед 50 рублей в счет жалованья — на обмундирование:

— Ваше превосходительство, у меня новый мундир остался в Керчи в день выступления...

Карл Карлович пожурил Леонтьева:

— Вицмундир был бы цел, когда бы вы кофей не пили на балконе!

И, обращаясь к штабному офицеру, прибавил:

— Вообразите, в городе всё вверх дном... Я еду на Павловскую батарею, а он сидит с сигарой на балконе и барином пьет кофей! Вот и потерял платье.

Однако деньги лекарю Врангель выдать велел. Впрочем, Леонтьев вицмундира нового не сшил, истратил деньги на раздачу долгов и всю кампанию проходил в той самой серой солдатской шинели, в которой выбежал от Дмитраки.

Но всё это будет потом. А пока Леонтьев, выбежав от Дмитраки, взял извозчика и попытался найти хоть кого-то, кто мог сказать, где он должен быть в эту минуту. «Скачем мы с извозчиком куда-то... по улице, гремим! На улице опять тихо, безмолвно, безлюдно, — вспоминал он. — Гремим... Выстрелов никаких не слышно. Вдруг раздается ужасный гром... как сильный подземный удар»[1]. Это была взорвана Павловская батарея, защищавшая вход в Керченскую бухту со стороны Черного моря. Российские войска, меньшие по численности и растянутые по побережью, не могли оказать сопротивления союзному десанту. Потому Врангель приказал взорвать батарею, чтобы ее орудия не были использованы неприятелем. Керченский гарнизон поспешно отступал из города по дороге к Феодосии.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Сдача Керчи в 55-м году (Записки военного врача) // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 206.

Леонтьев бросился в городскую канцелярию — там всё было вверх дном. Кипы бумаг, растерянные чиновники... Леонтьев увидал полковника Антоновича, исполнявшего обязанности градоначальника. Константина поразило его серьезное и расстроенное лицо: «Изумился я потому, что сам был так весел и покоен и на *все,* как ужасное, так и приятное, как бы восторженно и тихо готов и *помню очень хорошо,* что я именно *удивился: "Что это с ним? Не притворился ли он?* Почему он, такой умный и образованный военный, не радуется, подобно мне, что жизнь наша вышла из обычного правильного порядка и русла своего!.. Ведь это такое блаженство!.. Странно!.."»[1].

Упоенному настигшим его *приключением* Леонтьеву трудно было понять полковника, ведь он не был обременен ответственностью за людей, за имущество наконец... Антонович не смог посоветовать Леонтьеву, как тому нагнать свой казачий полк. Почтовых лошадей в канцелярии, разумеется, не было. Что делать? Вернуться в Еникале? Но как? Идти до крепости пешком? Дорога была известна Леонтьеву, он уже не раз ходил по ней. Очевидно, что в крепости он будет нужен, — там раненые, да и сражение не может обойти Еникале стороной, там тоже будет *слава*... Да и как он сможет найти в незнакомой степи свой новый казачий полк?

Леонтьев уже совсем было решился вернуться в Еникале, но тут увидел офицера в черкесском платье и папахе. Это был его знакомый со времени короткой учебы в Дворянском полку в Петербурге, князь Хамзаев. В отличие от Леонтьева князь окончил курс и теперь состоял при гусарском Саксен-Веймарском полку, который точно так же, как и леонтьевский Донской 65-й, был где-то там, за городом, в большой степи. Столько лет они не виделись, а тут, в замершей перед нашествием неприятеля Керчи, встретились! Леонтьев кинулся к Хамзаеву и объяснил ему свое положение.

— Постойте, голубчик, вам нужно верховую лошадь, — не удивившись встрече, сказал Хамзаев. — Себе я достал кой-как. Я тоже здесь случайно, в таком же положении был, как и вы. Погодите, попробую.

Он постучал в какие-то крепкие ворота, из которых вышли два почтенных татарина в белых чалмах. Они поговорили пару минут с князем, и Хамзаев с сожалением сказал:

— Нет у них больше ни одной свободной лошади... они бы дали. Последнюю мне отдают, что ж делать, доктор, не моя вина. Спасайтесь как знаете, а мне самому пора убираться отсюда.

---

[1] Там же. С. 209—210.

Леонтьев вновь остался один. В голове стали проноситься тревожные мысли о возможности плена. Но солнышко пригревало, море было спокойно и прекрасно, и скоро эти мысли перестали пугать его: «И отчего бы на "казенный" французский, турецкий или английский счет не съездить за границу? Вероятно, особого зла мне не сделают; быть может, еще и работу где-нибудь как врачу дадут. Я, так и быть, так и быть, уж постараюсь быть любезным и понравиться им. Увижу две столицы, о которых я могу иначе (по недостатку средств) лишь мечтать и в книгах читать; увижу даром и при исключительных условиях Царьград... увижу, быть может, Париж... Боже мой! Да это прекрасно! Все к лучшему! И, наконец, разве я строевой офицер, которому без крайности стыдно отдаться в плен... Я ведь не от робости остаюсь... Быть может, и пленному будет грозить опасность... Я доктор военный... Офицеры необходимее для отчизны... Они полезнее в такое время; убивать и быть убитым *вернее,* гораздо вернее, чем лечить и спасать. В битве нет иллюзии; чем больше у нас своих храбрых воинов, тем больше мы убьем и прогоним чужого народа; а медицина? Я исполнял свой долг в больнице, как умел, но я *мало верил* в серьезный результат наших тогдашних докторских трудов. И статьи Н. И. Пирогова в "Военно-медиц. сборнике" мне очень нравились тем, что в них часто заметен был значительный скептицизм. Он, видимо, любил науку; но не верил в нее слепо и безусловно... И если *он,* Пирогов, великий хирург, так думает, то что же значит *наша* доля пользы. Что значит *один* молодой и малоопытный военный врач... Таких, как я, врачей довольно... Но во мне есть другое, я *будущий романист...* Я останусь в плену и потом напишу большой роман: "Война и Юг"...»[1]

Но тут Леонтьев вспомнил о Феодосии Петровне. Весть о взятии Керчи донесется до Кудинова, и до тех пор, пока она не получит от него письма (а когда оно дойдет из плена-то?), Феодосия Петровна будет мучиться неизвестностью. Он как будто бы увидел ее — в кисейном сером, с черными цветочками, платье, вспомнил ее благородный и суровый профиль, большой нос с горбинкой, круглую родинку с левой стороны на подбородке, величавую походку... Мысль о матери омрачила его странно-приподнятое настроение. Долг, честь и мать! Выбора не было — надо добираться к своим. Сзади раздался топот копыт по мостовой. Леонтьев оглянулся. Худой казак с рыжими усами, без пики ехал по улице. Он вел в поводу за со-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Сдача Керчи в 55-м году (Записки военного врача) // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 213—214.

бою другую лошадь без седока и без седла, только с деревянным седельным остовом. На погонах его был номер 65! Судьба! Пораженный удивительным совпадением, Константин спросил казака:

— Так ты из шестьдесят пятого полковника Попова полка... Откуда ж ты с этой лишней лошадью?

Оказалось, что казак возвращался в полк из еникальского госпиталя, куда отвозил больного товарища. Тут в бухту вошел первый пароход с английским флагом. Судно попытались обстрелять, но ядра с береговых батарей не долетали до него. Пароход величаво остановился посередине бухты. Скоро к нему присоединился и другой корабль. «Долг, честь и мать!» — пронеслось опять в голове Леонтьева. Он обратился к казаку:

— Я прикомандирован доктором к вашему шестьдесят пятому полку... Дай мне эту лошадь!

— Да как же, ваше благородие, лошадь не моя, товарища... Сотенный командир что скажет?..

— Он скажет тебе спасибо, что ты доктора им привез; будь покоен... А я тебе рублик дам...

Казак согласился, и они направились прямо в ту сторону, откуда должен был вступить в город сухим путем неприятельский десант. Казак объяснил, что так до их отряда ближе. Скоро их нагнал рысью другой казак того же полка, и вскоре они оказались за городом.

Вокруг тянулась весенняя зеленая степь, пели крымские жаворонки. Уже пятидесятилетний Леонтьев вспоминал: «Природа и война! Степь и казацкий конь верховой! Молодость моя, моя молодость и чистое небо!.. И, быть может, еще впереди — опасность и подвиги!.. Нет! это был какой-то апофеоз блаженства»[1].

Один из казаков увидел на горизонте что-то напоминающее вражескую пехоту, движущуюся к Керчи.

— Бери правее! — решил один из казаков. — Может, у них и кавалерия есть. Догонят — убьют или поймают...

Казаки — и Леонтьев за ними — припустили хорошей рысью. К вечеру они встретили аванпост своего 45-го полка под командованием молодого офицера. Поехали вместе и уже шагом. Навстречу попалось овечье стадо.

— Чьи овцы? — спросили татарина-пастуха.

— Багера, — ответил тот.

Леонтьев знал, что Багер — это испанский консул, не чуждый коммерции, у которого под Керчью есть богатое имение.

---

[1] Там же. С. 218.

— О, какие у него овцы хорошие, и как много! — произнес Леонтьев. — Взять бы одну, да и зажарить — что мы иначе будем в этой степи есть?

Казаки и офицер молчали. Но Леонтьев, воодушевленный сознанием, что *война*, что казаки — защитники, а он — голодный врач этих защитников, скомандовал одному из казаков:

— Ну, что смотришь, брат! Бери, чего зевать! У Багера много... Теперь война. Ведь нам тоже есть надо...

Казака не пришлось упрашивать: он схватил одну из овец и привязал ее к луке седла. Овцу потом, конечно, съели, но казацкие офицеры очень смеялись над наивным представлением Леонтьева о том, что во время войны можно брать требующееся у зажиточных людей без денег.

В этой истории поражает то, как изменился Леонтьев за неполной год крымской жизни! Вместо нервного юноши, недовольного собой и жизнью, страдающего от каждого пустяка, боящегося чахотки, перед нами довольно крепкий физически, способный скакать наравне с казаками 25 верст (без седла!), уверенный в себе, не боящийся опасностей молодой человек, который хоть и любуется собой по-прежнему, но способен на реальные, не только воображаемые поступки. Он уже не юноша, но муж. Московские страдания и условности слетели с него, как шелуха. Сам он вспоминал: «Практическая жизнь, независимая должность были полезны мне для независимости, для новых впечатлений, для жизни, для того самоуважения, которого бы мне не дала презираемая мною серая и душная жизнь столичных редакций. Теперь я больше любил, я больше уважал себя; я сформировался и стал на ноги»[1]. К нему обращались «высокоблагородие», он был ответственным за других — за их здоровье и жизнь, он не боялся опасности, он сам зарабатывал на кусок хлеба. Несколько месяцев назад это и присниться не могло склонному к депрессии московскому студенту!

Штаб Леонтьев с казаками нашли верстах в пятнадцати от города. Здесь был и полковник Попов, в ведение которого прибыл новый доктор. Они познакомились. Леонтьев, как всегда, оценил нового своего командира внешне: «Полковник Попов мне понравился с виду; лицо у него было солдатское, как бы испытанное трудами бури боевой, худое, строгое, выразительное; усы седые, и сам он был сухой и довольно стройный мужчина, на вид лет пятидесяти. Он казался теперь очень серьезным, да и для всех, конечно, минуты были тогда серьезны: мы еще не знали наверное, сколько у неприятеля войск;

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 67—68.

ходили только слухи, что 15 000; не знали, есть ли у союзников с собой кавалерия, и обязаны были с осторожностью с часу на час ожидать преследования и нападения в открытом поле. У нас войска было очень мало»[1].

В этот момент над степью вдали поднялся черный столб дыма.

— Еникале взорвали! — воскликнул кто-то.

Кто взорвал? Наши? Союзники? Леонтьев невольно задумался: останься он в крепости, какая бы его ждала судьба?

Батареи Еникале вступили в бой с английской эскадрой, но еникальские пушки давали недолет. Поэтому русское командование отдало приказ заклепать орудия, взорвать пороховые погреба и оставить позиции. Оставленная крепость была занята союзниками. Проезжавшие мимо степного штаба Врангеля жители Керчи рассказывали о том, что турецкая часть союзного десанта устроила в Еникале резню среди греков. Эта весть поразила Леонтьева: он вспомнил знакомые греческие купеческие семьи — Мапираки, Маринаки, Стефанаки, Василаки, красивых купеческих дочек, на которых заглядывался в церкви, и ему стало не по себе...

Керчь осталась незащищенной сразу после вывода войск в степь, еще в середине дня, и неприятелю представлялась возможность овладеть ею со стороны моря. Но союзники некоторое время не знали об отступлении гарнизона и не решались на такие действия. Поэтому Керчь была дважды подвергнута бомбардировке с судов. Многие керченские горожане, натерпевшись страху от неприятельского огня и видя свою беззащитность, спешно собирали скарб и бежали. Вскоре город был захвачен десантом из французов, англичан и турок. Керчь горела. Началось мародерство, особенно со стороны турок, с которым союзное командование пыталось бороться (XIX век был еще временем «джентльменских» войн, союзники даже повесили несколько солдат за случаи грабежа). Но если в самом городе турецкая часть десанта была невелика и контролировалась генералом Митчеллом, осуществлявшим общее руководство союзными войсками в Керчи, то крепость Еникале оказалась занятой именно турками и здесь «джентльменства» не наблюдалось... Керчь стала ключом для выхода союзников к Азовскому морю (его превращение в открытую морскую зону входило тогда в планы Англии). Но главное — были перерезаны водные артерии, по которым шло снабжение обреченного уже Севастополя...

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Сдача Керчи в 55-м году (Записки военного врача) // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 225.

После отступления Керченского гарнизона в степь перед генералом Врангелем встала сложная задача: надо было каким-то образом препятствовать проникновению союзников вглубь полуострова и вместе с тем не допустить окружения восточной группы войск. От Черного до Азовского моря протянулась линия передовых постов, чтобы сообщить о приближении неприятеля. В первую ночь после отступления из города две сотни казаков 65-го полка тоже были назначены нести караул. Леонтьев, укладываясь спать прямо на траве после длинного дня, видел, как расставляют пикеты для охраны, как подтягивается легкая артиллерия, как устраиваются на ночлег казаки и офицеры... Но еще до того, как совсем стемнело, он встретил своего приятеля Лотина, на квартире которого оставил пожитки и денщика. Каково же было изумление Леонтьева, когда он узнал, что вещи его не пропали, а денщик с чемоданом и узлами находится неподалеку. Лотин мрачно рассказал ему, как это произошло:

— Не ваши вещи пропали, а мои... Ваши все целы, и денщик ваш при штабном обозе! Завтра вы можете его разыскать. Я поручил все мое добро хозяйке, когда утром поехал в штаб... Сказал ей, что пришлю за ним... Потом уж, при отступлении, выпросил в штабе один фургон и послал поскорее за вещами. Посланный спрашивает: «Тут вещи доктора? Давай скорей», а ваш денщик говорит: «Тут!» — положил ваши вещи в фургон и приехал сюда...

Так Леонтьев неожиданно обрел вновь и свои голландские рубашки, и сапоги, и фамильный образок с мощами, и рукописи...

На следующий день Леонтьев написал записку матери. Он смог передать записку кому-то в штабе (чтобы отправили с оказией), когда разыскивал своего денщика Трофимова. «Chere maman! Я пишу вам только записку, чтобы Вы были спокойны на мой счет, — сообщал Леонтьев. — Я совершенно цел и невредим. Нахожусь на бивуаках в Арчине — с казаками, к которым я прикомандирован; здесь собран весь керченский отряд. Не пишите мне, потому что мы долго стоять не будем; я же буду по-прежнему по возможности аккуратно вас извещать. Что бы вы ни услыхали про Керчь или Еникале, будьте спокойны. Adieu. Saluez tout le monde[1]»[2].

Началась новая служба военного лекаря Леонтьева — в степи, на аванпосте, с казаками, под боком у постоянной

---

[1] До свидания. Приветствуйте каждого (*фр.*).

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 13 мая 1855 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 176.

опасности. Описание кочевой степной жизни Леонтьев также давал разное. В письмах матери сообщал, что жизнь эта однообразна: «Проснулся в 5, в 6 часов утра напился чаю; до полудня пролежал в палатке, покурил, в полдень пообедал большею частью у полковника; а там опять то же до ужина»[1]. А в воспоминаниях описывал свое житье иначе: «После восьмимесячной довольно тихой и правильной жизни в крепости Ени-Кале настало для меня время бродячей, полковой жизни. После взятия Керчи я прослужил до глубокой осени при Донском казачьем полку на аванпосте; был беспрестанно на лошади, переходил с полком с места на место, из аула в аул; пил вино с офицерами, принимал участие в маленьких экспедициях и рекогносцировках. Тут было много впечатлений и встреч, очень любопытных...»[2]

Медицинской практики здесь было, конечно, гораздо меньше, чем в госпитале: до настоящих сражений дело не доходило. Но вряд ли Леонтьев скучал без медицины. Он был здоров. От простуды, которой еще боялся по привычке, он предохранил себя: за седлом у него всегда находились теплая ваточная шинель (если придется ночевать в открытом поле) и высокие сапоги на гуттаперче. Усталости он не чувствовал, наоборот, отдыхал после госпитальной жизни. В деньгах он тоже не нуждался (редкий случай!). Во-первых, их всё равно негде было тратить, а во-вторых, один артиллерийский майор, услышав, что Леонтьев намеревается просить рационные деньги вперед за месяц, дал ему взаймы.

Шестого октября 1855 года кочевая жизнь сменилась видимостью оседлости: Леонтьева перевели в аул Келеш-Мечеть, который стал в отряде чем-то вроде центрального пункта. Там расположился небольшой лазарет, начальником которого и стал Леонтьев. Он нашел в ауле чистую татарскую мазанку, снял там комнату и устроил ее в татарском стиле. На глинобитный пол настлали войлок, поверх которого он бросил яркий ковер, кровать смастерил себе из татарских тюфячков, раскидал всюду цветные подушки, а для занятий позаимствовал табурет и складной столик у местного артиллерийского начальника. Больных в лазарете было совсем немного по сравнению с еникальским госпиталем — не больше десяти. К тому же Леонтьев чувствовал себя если не опытным врачом, то уже и не растерявшимся юнцом, бегавшим в свою комнату листать

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к матери, май 1855 г., б. ч. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 177.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 65.

учебники. В повести «Сутки в ауле Биюк-Дортэ» помещик-ополченец и офицер, родом из одной губернии, встретившиеся на Крымской войне, говорят о местном молодом враче, Федорове, в котором автор явно вывел себя:

«— Кажется, этот медик отличный человек? — заметил помещик.

— Я тебе говорил, отличный малый, и оператор какой лихой. Я ходил смотреть, как он ампутацию одному делал... Засучил рукава и начал... то есть минута — и отлетела нога пониже колена... Федорову не здесь бы служить... какая ему тут польза? Только что смотрительский стол, да что-нибудь от подрядчика. Прежде он служил в ***ском госпитале... так там больных была куча...»[1]

У Леонтьева появилось свободное время, он стал задумываться о литературе. В голове роилось сразу несколько сюжетов («Вы знаете мою манеру задумывать 10 повестей разом»[2], — писал он матери), в бумагах лежало несколько набросков, да и гонорар пришелся бы кстати — он хотел помочь Феодосии Петровне в ее финансовых затруднениях. Константин решил закончить повесть и пьесу[3], начатые ранее, послать их Краевскому и Каткову и уже начал прикидывать, как распорядиться будущим гонораром (рублей семьдесят пять?). Тургенев, знавший о замысле пьесы, в письме Леонтьеву обещал ее поддержать и сделать «все возможное» для ее напечатания.

Но работа двигалась медленно — из-за «лагерного одеревенения ума», как считал Леонтьев. Он не мог закончить ни одной вещи и стал мечтать о выходе со службы: «...видишь исписанной бумаги много, много положено дорогого сердцу туда, а конченого ничего еще нет! Так как вспомнишь, что уже 26 год пошел, как-то словно страшно станет, что ничего капитального еще не сделал. Нет, надо, надо ехать домой и, посвятивши целый год тишине и свободе, написать что-нибудь определительное, которое могло бы мне самому открыть, до какой степени я силен и в чем именно слаб!! А там, что Господь Бог даст»[4].

Осенью 1855 года Леонтьева перевели в феодосийский госпиталь. Феодосия ему понравилась даже больше Керчи. Город был зеленый, чистый, с живописными развалинами Гену-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Сутки в ауле Биюк-Дортэ // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 1. С. 252—253.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 7 октября 1855 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 179.

[3] Речь идет о пьесе «Трудные дни».

[4] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 6 марта 1856 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 180.

эзской крепости. Он снял там квартирку за шесть рублей в месяц у пожилой молдаванки Фотинии Леонтьевны Политовой, бывшей замужем за небогатым греком-торговцем. В доме жили и дочери хозяйки, настоящие красавицы, особенно Лиза, пленившая нового постояльца еще и кротким характером.

Елизавета Борисовна Политова[1] образованностью похвастаться не могла, книг не читала, о Тургеневе и литературных салонах не слыхивала, но была изумительно *живописна* и так не похожа на жеманных петербургских барышень! К тому же она прелестно пела романсы и греческие песни... Леонтьев влюбился. Лиза тоже не осталась равнодушна к стройному врачу с горячим взглядом темных глаз. Зинаида Кононова если и не была вовсе забыта, то стала *прошлым*. Всё свободное от службы время Леонтьев проводил с Лизой. Эта тайная любовь (ведь Лиза — мещанка, у нее были родители, которые надеялись со временем выдать ее, как и положено порядочным девушкам, замуж) ударила Леонтьеву в голову, наполняла до краев его жизнь. Даже письма матери писал он теперь гораздо реже, и литературные проекты отодвинулись на второй план. Но — несчастье! — он поссорился со своим медицинским начальником, и тот среди зимы перевел его в Карасу-Базар[2].

Неподалеку находилось имение Шатилова, куда его год назад приглашали погостить. Но зимой 1855/56 года это место было не для отдыха. В городе с четырнадцатитысячным населением разразилась эпидемия тифа, завезенного военными, люди гибли сотнями; церковные колокола целыми днями звонили о покойниках, а из четырнадцати врачей на ногах оставались двое — «остальные были уже в гробу или в постели»[3]. Леонтьев работал в переполненном госпитале, где недоставало лекарств, перевязочных материалов, даже пол был земляной... «Карасу-Базар скверный город... узкие переулки, иногда до того, что только двум человекам разойтись при встрече, а уж рядом идти и думать нечего... Вообще все точно так, как описывают восточные города... в переулках грязь такая, что я не видал нигде; едешь верхом — все сапоги забрызгаешь... собаки с окровавленными мордами грызутся вокруг вас за какую-нибудь кошку...»[4]

---

[1] Позднее известна как Елизавета Павловна: отчество «Павловна», по имени деда, было взято ею из-за нелюбви к отцу.

[2] Ныне город Белогорск в Крыму.

[3] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 65.

[4] *Леонтьев К. Н.* Письмо к матери от 1 февраля 1856 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 297.

Денег у Леонтьева не было вовсе, — его кормили знакомые и сослуживцы. «Я чуть не умер там», — вспоминал он позже. Несмотря на опасность, неустроенность, единственный двугривенный в кармане, думал он только о Лизе. И в один прекрасный день сбежал в Феодосию! Время было военное, Леонтьев же бросил своих больных, хотя и подал перед отъездом прошение об отпуске по болезни (его действительно мучила лихорадка), и ему грозил суд. Спасли друзья: они знали, что дело не в трусости, а в любви. Благодаря хлопотам и стараниям знакомых дело замяли, и Леонтьева в конце февраля 1856 года вернули в 65-й Донской казачий полк. «Опять степь; опять вино и водка; опять тишина, безделье, конь верховой и здоровье... Опять новая командировка в Симферополь, где было очень много раненых и больных. Опять больничные труды... но больше любовь, чем труды»[1], — описывал это время Леонтьев.

Феодосия Петровна писала сыну взволнованные письма, убеждала, что литературный хлеб ненадежен, да и частная медицинская практика не гарантирует благосостояния... Так стоит ли увольняться со службы? По ее мнению, хотя война и шла к концу, лучше сыну служить и дальше, хотя бы и не в армии, дослужиться до коллежского асессора, что даст надежный заработок. Сын отвечал, что он честолюбив, конечно, очень, «но не на наши русские чины, которые можно принимать только как выгодное следствие службы, а не как цель ее. Самолюбие мое немного повыше целит...»[2]. Он мечтал не о чинах — ему нужны были признание и деньги как путь к свободе. Служба же по определению — несвобода, да и денег даст мало. Леонтьев мечтал поехать в Италию, Париж, строил планы о том, как встанет на ноги и заберет мать жить к себе, как оживит денежными вливаниями разрушающееся Кудиново... Какая уж тут служба коллежским асессором!

В письмах он не писал о главном в своей жизни — что любит и любим. Хотя упоминание об «одной весьма милой девушке» в письме матери имело место. Дело кончилось тем, что Леонтьев и Лиза решили вместе бежать, хотя денег у влюбленных не было, а прошение Леонтьева об увольнении с военной службы не было удовлетворено, и ему полагался лишь отпуск. Правда, после падения Севастополя было объявлено перемирие, поэтому *чести* Леонтьева такое приключение повредить

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 65.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 25 августа 1856 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., 1913. С. 181.

не могло. Беглецов задержали, потому что — как на грех! — в это же самое время некий гусар увез девушку от родителей. Родители объявили дочь в розыск, и Леонтьева с Лизой приняли за разыскиваемую пару... Паспортов у них с собой не было. Уверенный в себе Леонтьев в военной форме подозрений не вызвал, а вот девушку, путешествующую без документов и сопровождения родственников, чуть не отвели в полицейский участок. «Мою бедную подругу хотели посадить в полицию, но я обнаружил в защиту ее столько энергии и решимости, что никто не решился на этот шаг; но целый день и ночь стояла стража у дверей наших; квартальный взял с меня взятку, последние пять рублей; один пьяный доктор, женатый человек, который отправил жену свою в Россию и жил с вовсе некрасивой "Наташкой", дал мне десять рублей. Меня вернули под стражей в Симферополь; девушку я сам, отстоявши ее от полиции, отправил к родным»[1] — так описывал окончание этой эскапады Константин Николаевич.

В его воспоминании об этом происшествии обращает на себя внимание слово «мимоходом»: «Мимоходом я увез одну девушку от родителей»[2]. Лизу он сильно любил, для нее такой побег был опасным приключением, которое могло испортить всю ее дальнейшую жизнь, почему же «мимоходом»? Конечно, Леонтьев немного рисовался перед читателями, описывая свою лихую молодость, но, видимо, он не думал о серьезном продолжении этого романа и планировал по окончании своей «временной» крымской жизни с Лизой расстаться.

Неудавшийся побег поставил Леонтьева на край финансовой катастрофы: занимать денег было уже не у кого — у всех занял. Он голодал несколько дней, питаясь только черным хлебом. Когда от недоедания стала кружиться голова, Константин отправился в госпиталь — на казенные хлеба. Своим сослуживцам-врачам молодой человек рассказал профессионально придуманную историю о том, что мучится ночными пароксизмами, — и всё для того, чтобы иметь пропитание! Эстет Леонтьев почти месяц ел «казенную гадость», пока не пришло избавление в виде денег от родных.

В это время Леонтьев получил назначение в госпиталь Симферополя. Жил за городом, снимал задешево́ квартиру у старика немца, бывшего ранее учителем рисования в гимназии, проедал и прокучивал полученные деньги: «Опять здоровье, трактиры, музыка, знакомство с английскими гвардей-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 65—66.

[2] Там же.

цами[1], портер и шампанское. Опять конец деньгам. Удаление на тихую дачу "на берегах веселого Салгира[2]". Немецкая честная семья; божественный вид из виноградника на Чатыр-Даг; кругом пышные сады. Беседы со стариком о крымской старине, о Боге, о природе! Две дочери-вдовы; меньшая молода и благосклонна... Меня хотят женить на ней...»[3]

Дачная идиллия на окраине Симферополя продолжалась недолго: несмотря на молодую вдовушку, Лиза не выходила у Леонтьева из головы. Он снял комнату в солдатской слободке у вдовы Бормушкиной и привез Лизу туда. «Моя *беглянка* опять со мной. Мы забываем весь мир и блаженствуем, как дети, на дальней слободке... На службу я не хожу... и не каюсь. Я как будто опять болен... По правде сказать, мне кажется, я больше думал о *развитии* моей собственной личности, чем о пользе людей; раз убедившись, что я могу быть в самом деле врачом не хуже других, и управлять, и лечить — я успокоился, и любовные приключения казались мне гораздо серьезнее и поучительнее, чем *иллюзия* нашей военно-медицинской практики! Здесь, на солдатской слободке, не было обмана, здесь достигалась *цель;* но в больнице?..»[4] К счастью, Леонтьеву «по болезни» продлили отпуск. Когда закончились леонтьевские деньги, Лиза стала шить наволочки и мебельные чехлы на продажу.

Опьяненного любовью Леонтьева по поручению родственников разыскал Шатилов. Увидев Лизу, он был покорен ее красотой и вместо нравоучений ссудил влюбленным 100 рублей для путешествия на Южный берег Крыма — в Ялту, Алупку, Гурзуф. Ни Леонтьев, ни Лиза еще не бывали там, потому приняли предложение Шатилова с восторгом. «Мы опять блаженствуем en tete-a-tete среди не виданных ни ею, ни мною никогда красот южной, приморской и горной природы. Мы возвращаемся без хлеба, закладываем ложки и опять расстаемся»[5] — так закончилась их вторая эскапада. Леонтьев вновь стал тянуть лямку военной службы. Правда, война к этому времени уже закончилась.

Тридцатого марта 1856 года в Париже был подписан мирный договор между Россией с одной стороны и Францией, Великобританией, Турцией, Сардинией, Австрией и Пруссией — с другой. День был выбран не случайно — таким образом фран-

---

[1] Речь идет о пленных.

[2] Река в Крыму.

[3] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 66.

[4] Там же.

[5] Там же. С. 67.

цузы объявили миру о своем реванше: именно 30 марта 1814 года победоносные русские войска, сокрушившие наполеоновскую армию, вступили в Париж. Мирный договор 1856 года нанес сильный удар по престижу Российской империи. Севастополь, Балаклаву, Керчь, Евпаторию и другие крымские города Россия смогла себе вернуть в обмен на захваченную во время войны турецкую крепость Карс. Но Черное море отныне должно было стать нейтральным, России запрещалось иметь там свои военные базы и флот. Были и другие потери со стороны России.

Александр II в манифесте о мире, перечисляя уступки, на которые Россия пошла по Парижскому договору, заявлял в утешение подданным: «...сии уступки неважны в сравнении с тягостями продолжительной войны и с выгодами, которые обещает успокоение Державе, от Бога нам вверенной...» Император, несомненно, был прав, но горечь от поражения не исчезла и после манифеста. В Крымской войне Россия была побеждена не только потому, что союзники выставили против нее огромные силы. Российская армия оказалась плохо вооруженной. Снабжение ее оставляло желать лучшего из-за отсутствия нормальных путей сообщения, что, в свою очередь, было связано с отсутствием в стране развитой промышленности и торговли. Если прибавить к этому иностранный шпионаж, медлительность административных решений, расстроенное состояние финансов (военные издержки приходилось покрывать усиленными выпусками бумажных денег, в результате рубль был обесценен), просчеты российской дипломатии и воровство, процветающее в армии, то понятно, почему многим в России после этого болезненного поражения стала ясна необходимость переустройства существовавшего положения вещей. Это понимал и новый император (взошедший на престол 19 февраля 1855 года), который остался в российской истории как реформатор, заслуживший наименование Царь-Освободитель после отмены крепостного права в 1861 году.

«Война кончилась; строй военный мало-помалу давно редел; полки расходились во все стороны с литаврами и пением... Помещики возвращались в свои имения. Больницы пустели. Боевые картины исчезали одна за другою, как степной мираж, и цветущая, разнообразная поэзия мирного и веселого Крыма становилась виднее и понятнее»[1], — вспоминал Леонтьев. Подав прошение об отставке, он ждал — бюрократическая машина переваривала его бумаги почти год. Конечно, Леонтьев мог покинуть Крым и раньше: по окончании войны

[1] Там же.

вышло распоряжение, согласно которому желающие уволиться могли практически сразу взять отпуск без выплаты жалованья и покинуть войска, дожидаясь приказа об отставке уже на «вольных хлебах».

Но вот с хлебами-то как раз и была загвоздка: не было денег даже на дорогу. Леонтьев ждал гонораров за посланные в Москву и Петербург литературные работы, чтобы на эти деньги добраться до Кудинова или до Москвы, а пока кормился на жалованье. Этих средств еле хватало на пропитание и табак (в курении тогда не видели особого вреда даже врачи). Опять в леонтьевских письмах звучал знакомый мотив: «Знаете, как вспомнишь, что уж скоро 25 лет, а все живешь в нужде и не можешь даже достичь до того, чтобы быть хоть одетым порядочно, так и станет немного досадно, вспомнишь, сколько неудач на литературном поприще пришлось перенести с видимым хладнокровием, сколько всяких дрязг и гадостей в прошедшем, так и захочется работать, чтобы поскорее достичь хоть до 1000 р. с. в год»[1]. И еще: «Тысяча рублей серебром дохода, посредственное здоровье (средним числом раза три в год болеть; это уж нам нипочем...) и как можно больше свободного времени для того, чтобы выбирать занятия по вкусу. Если и в подобную перспективу потерять веру, так плохо, и я за веру эту держусь изо всех сил»[2].

Сумма, о которой он грезил, менялась, но незначительно — Леонтьев сначала мечтал о 500 рублях серебром в год, потом — о тысяче, затем — о двух... Всю жизнь мечта о какой-то не слишком большой, но *гарантированной* сумме, которая сможет избавить его от забот о хлебе насущном, присутствовала в леонтьевских письмах: в Крыму, молодым, он надеялся достичь этого в скором времени работой, потом, постарев, так же мечтал о пенсии... Ему нельзя не посочувствовать: Константину Николаевичу не повезло так, как Тургеневу с орловскими имениями, да и известности того же Каткова, которого в Москве студент-медик свысока жалел, он при жизни не достиг — соответственно, не достиг и тех заработков, которые могли бы примирить его с действительностью. Впрочем, человеческая природа такова, что, получив две тысячи серебром в год, Леонтьев с той же горечью писал, что не в состоянии заработать трех или четырех тысяч... Средств всегда не хватало. Деньги как символ значимости, власти, успеха были для него

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к матери. Б. ч., 1855 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 177—178.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к матери от 23 марта 1855 г. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 175.

абсолютно не интересны; для него важны были деньги, которые позволили бы жить с комфортом. А представление о комфорте менялось. Ему нравилось любоваться собой в воображаемом зеркале, но для того, чтобы отражение доставляло радость, нужны были лошадь для прогулок, отремонтированное Кудиново, голландские рубашки... Судьба как будто испытывала его, не давая того, чего слишком хотелось.

Не дождавшись отставки, Леонтьев воспользовался все же своим правом взять отпуск — его пригласил в свое имение О. Н. Шатилов. Думается, сам Осип Николаевич, уже упоминавшийся на страницах этой книги, заслуживает нескольких добрых слов. Богатый помещик[1], прекрасный агроном, знаменитый лесовод, орнитолог, археолог-самоучка, общественный деятель, Шатилов был всего на семь лет старше Леонтьева, но уже состоялся во многих областях. Он начал самостоятельно хозяйствовать с девятнадцати лет и к моменту встречи с Леонтьевым в Крыму с блеском управлял огромным имением в 18 тысяч десятин, не забывая при этом и о своих естественнонаучных изысканиях: именно в те годы он собирал коллекцию птиц Таврического полуострова, которую подарил потом Зоологическому музею в Москве. Со временем Шатилов станет председателем Императорского общества сельского хозяйства, а в своем тульском родовом имении Моховое разведет образцовый «шатиловский лес»: его лесной орошаемый питомник был одним из первых в России, выращенные в нем саженцы дали начало многим лесам в округе, а желающих Осип Николаевич *бесплатно* обучал лесному делу. Деревья из питомника Шатилова есть даже в Ясной Поляне — Лев Толстой лично приезжал за ними в Моховое. Поразительно, что Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция существует до сих пор! Но в то время соседи-помещики считали нововведения Шатилова[2] если не глупостью, то блажью и судачили о нем как о чудаке.

Крымское имение Шатилова Тамак находилось на границе Феодосийского и Перекопского уездов Таврической губернии; здесь пять речек соединялись в одну и впадали в озеро Сиваш. Место чудесно подходило для охоты, наблюдения за птицами, прогулок. Леонтьев оказался в Тамаке не приживалкой: Шатилов предложил молодому врачу лечить крестьян и

---

[1] В начале XVII века Шатиловым за преданную службу царь пожаловал земли на территории современных Орловской и Калужской областей, а в XVIII веке — и в Крыму.

[2] Шатилов первым начал использовать на своих полях лесозащитную полосу, употреблял минеральные удобрения и т. д.

всех местных жителей, положив ему за это годовую плату. Кстати, плата приближалась к той сумме, о которой Леонтьев недавно мечтал в письмах: 800—900 рублей серебром в год. «Здесь медицина стала опять приятна; — здесь — виден результат, — здесь — было меньше иллюзии. — Я катался верхом, гулял, читал, — занимался сравнительной анатомией — и даже стрелял... Здесь наконец — я стал опять писать на покое. — Ничто не способствует так творчеству, как правильная жизнь после долгих треволнений и странствий»[1], — вспоминал Леонтьев.

Больных он навещал с утра, а вся вторая половина дня оставалась свободной для приятных уму и сердцу занятий. Леонтьев принялся за переделку пьесы «Трудные дни», писать которую начал еще в 1855 году. Текст уже был отослан в Петербург Краевскому для публикации, но Леонтьев попросил того вернуть посланный экземпляр для переделки и в январе 1857 года приступил к работе. Пьеса была далека от крымских впечатлений: девушка на выданье, бабушка, опекающая ее, брат — богатый помещик, а интрига заключалась в сложно переплетенных отношениях действующих лиц. Именно у Шатилова Леонтьев завершил пьесу, и она была опубликована в «Отечественных записках» в 1858 году.

Кроме того, в Тамаке Леонтьев закончил рассказ «Сутки в ауле Биюк-Дортэ». Вот в этом небольшом произведении отразился уже его крымский опыт, причем рассказ должен был стать частью задуманного романа «Война и Юг». Работал Константин Николаевич и над «Подлипками»: две главы этого романа уже лежали в редакции у Краевского, но до окончания было далеко...

В Тамаке Леонтьев прочитал одну из первых статей молодого Чернышевского, в которой тот предсказывал скорое появление в русской литературе больших писателей, выше Гоголя. Молодой врач задумался: не он ли станет тем большим писателем, о котором пророчит критик? Леонтьев верил в свой литературный талант и хотел написать по-настоящему прекрасную вещь («ты умрешь, а она останется»), но никак не мог выбрать сюжета. Писательская жар-птица всё не давалась в руки...

Зато жизнь в имении он вел замечательную! Одинокие мечтательные прогулки по древним скифским курганам, степная тишь, речка Карасу, которую было видно из окна леонтьевской комнаты, — всё его радовало после тяжелой походной жизни, нужды, лазаретных трудов. Хозяева Леонтьеву тоже

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 67.

очень нравились, более того, Осип Николаевич даже влиял на интересы Леонтьева своими естественно-научными занятиями. У Шатилова тогда жил приглашенный из Европы ученый-зоолог Г. И. Радде: он помогал Осипу Николаевичу в составлении коллекции птиц, да и сам Шатилов мог разговаривать о зоологии бесконечно. «Он был страстный орнитолог; — у него был прекрасный музей крымских птиц, — я еще в гимназии сам обожал зоологию, и мы сошлись»[1], — вспоминал Леонтьев. Под влиянием Осипа Николаевича он читал в Тамаке толстые тома Кювье и Гумбольдта, занимался сравнительной анатомией, штудировал медицинские трактаты.

Леонтьев начал даже писать медицинские статьи в научные журналы. Такие публикации могли облегчить ему в будущем поиск хорошего места в России. Он написал две небольшие статьи — о случае гипертрофии печени, что он наблюдал в еникальском госпитале, и о воспалении селезенки. (Одна из них появилась в «Московской медицинской газете» в 1858 году.) Кроме того, под влиянием Шатилова Леонтьев увлекся ботаникой — ездил в Никитский ботанический сад, изучал растительность Крыма, собирал гербарий: «Зоология, сравнительная анатомия, ботаника исполнены поэзии, когда в них вникнешь. — Разнообразие форм и общие законы, — соблазн новых открытий и новых соображений — самые прогулки и близость к природе с научной целью — все это очень увлекательно»[2].

В какой-то момент литература и естественно-научный подход к действительности стали видеться ему взаимодополняющими друг друга: он даже думал о том, что можно внести в искусство какие-то новые формы на основании естественных наук. Позднее точка зрения Леонтьева радикально изменилась — он стал видеть в воздействии естествознания на свое творчество вред: «...поэзия научных занятий и поэзия любовных приключений имеют между собой то общее, что они одинаково отвлекают вещественно от искусства. Но разница между ними та, что любовь и всякие приключения дают пищу будущему творчеству, влияют даже хорошо на форму его, ибо дают непридуманное содержание; а наука, отвлекая художника в настоящем, портит его приемы и в будущем; и надо быть почти гением, чтобы стиснуть, задавить в себе этот тяжелый груз научных фактов и воспоминаний, чтобы не потеряться в мелочах, чтобы вырваться из этих тисков мелкого, хотя бы и красивого реализма ввысь и на простор широких линий, чтобы:

[1] Там же. С. 68.
[2] Там же.

Обрести язык простой
И голос страсти благородной»[1].

Леонтьев считал, что со временем освободился от влияния науки в своих сочинениях. Но не думаю, что ему это на самом деле удалось: его будущая концепция исторического процесса дышала естественно-научным подходом, натурализмом, объединяя, сливая воедино историю отдельных народов, человечества с историей живого, природы, показывая и подчеркивая общую логику их развития. «Бесстрастие естественных наук» воздействовало на Леонтьева и в другом отношении: в то время он отошел от веры и склонялся к неясному деизму — «эстетическому и свободному», хотя этот период у него продолжался недолго — четыре-пять лет[2].

От этого времени естественно-научных занятий сохранился написанный Леонтьевым проект — он предлагал заложить на Южном берегу Крыма «учебницу естествознания». «У нас есть бездна военных школ, есть Университеты, есть специальные училища... но нет хорошего училища Естествоведения»[3], — писал он. Южный берег Крыма был выбран им за уникальное разнообразие климатических поясов на сравнительно небольшой площади. Степи, горы, субтропики — что может быть лучше и удобнее для наблюдений за природой? Кроме того, в Крыму находился принадлежавший казне ботанический сад, который мог стать базой для училища — абсолютно нового типа учебного заведения, где теоретические занятия могли быть подкреплены наблюдением за окружающей природой. Крымская земля имела основу для изучения не только зоологии, но и антропологии, геологии, палеонтологии, других наук. Леонтьев собирался показать этот свой проект Н. И. Пирогову, искал связи в Петербурге, чтобы проект был поддержан.

Дни Леонтьева были заполнены не только литературой, зоологией и прогулками. В 40 верстах от Тамака в имении Учкайя жила помещица Кушникова с дочерью Машей на выданье и маленьким больным сыном, у которых Константин часто бывал вместе с Шатиловым. Сам хозяин имения, Дмитрий Григорьевич Кушников, всегда был в отъезде — по делам ли службы, по собственной ли воле. Во время этих визитов Леонтьев сблизился с Машей Кушниковой, которой в ту пору было лет семнадцать. Невысокая брюнетка, не красавица, но обаятель-

---

[1] Там же. С. 68—69.

[2] См.: *Александров А. А.* Константин Николаевич Леонтьев // Русский вестник. 1892. № 4. С. 262.

[3] *Леонтьев К. Н.* О Крымском полуострове // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 275.

ная, стройная, прекрасно воспитанная, умная, она произвела на Леонтьева впечатление. Ее мать, как он вспоминал, тоже была еще удивительно свежа (ей было около тридцати пяти), красивее дочери, но Маша покорила его удивительным сочетанием сдержанности (идущей от аристократического воспитания) и скрытой страстности. Они почти одновременно прочли только что вышедшего тургеневского «Рудина», и Леонтьев был поражен глубоким пониманием тайных пружин романа, которое выказала совсем молоденькая девушка.

Маша чудесно играла на фортепьяно, читала Гёте и Шиллера в оригинале, любила Лермонтова, обладала легкой походкой и безупречным вкусом (спустя 30 лет Леонтьев еще помнил ее «кашемировое платье, клетчатое, малиновое и vert-pomme[1] и черный длинный бархатный cache-peigne[2]») — всего этого было достаточно, чтобы вскружить Леонтьеву голову. Видимо, и Маше молодой врач немного нравился, в противном случае вряд ли Леонтьев стал бы к ней свататься. Сватовство, состоявшееся весной 1857 года, закончилось неудачей. Маша была светской барышней, и Леонтьев в одолженном у Шатилова порыжевшем тулупчике не казался ей подходящим на роль избранника. Константин не слишком переживал из-за полученного отказа: этот роман был легким, придающим полноту жизни, не более того. Не будь у Маши 25 тысяч приданого и нескольких поместий, и Леонтьев, вероятно, не сделал бы ей предложения...

О том, что влюбленность не была серьезной, свидетельствует то, что Леонтьев не забывал тогда и Лизы — время от времени он навещал ее в Феодосии. «В 70-ти верстах от Шатиловых на берегу бушующего моря, в тени огромных генуэзских башен, — вспоминал Леонтьев, — молодая, страстная, простодушная любовница, к которой несколько раз в зиму возил меня сам Шатилов, говоря: "allonsa Cythere" или "Rienqu'un petitto ura Paphos"[3], и когда вдали на краю степи показывались в одном месте темно-синие высоты тех гор, за которыми жила моя безграмотная, наивная и пламенная наложница, — он декламировал: "C'est laque Roserespire... C'est le pays des amours... C'est le pays des amours...[4]"»[5]

Летом 1857 года Леонтьев, так и не получивший еще бумаг об отставке, вернулся из отпуска в феодосийский госпиталь.

---

[1] Цвета зеленого яблока (*фр.*).

[2] Прическа из длинных волос (*фр.*).

[3] Поедем на остров Цитеру; Небольшая поездка в Пафос (*фр.*).

[4] Здесь благоухает Роза... Это страна любви... Это страна любви... (*фр.*).

[5] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 120—121.

А 10 августа 1857 года бумаги наконец-то пришли, и он был уволен с военной службы. Возвращаться в Москву он собрался только поздней осенью — причины задержки были всё те же: отсутствие денег и Лиза. Возвращение Леонтьев описывал так: «Другие доктора возвращались с войны, нажившись от воровства и экономии; — я возвращался зимою, без денег, без вещей, без шубы, без крестов и чинов»[1].

В Россию он ехал на *долгих* — 18 дней; от Крыма до Харькова — с обозом, груженным виноградом (так было дешевле). В Курске понял, что денег добраться до Москвы все-таки не хватит. Ему пришлось прибегнуть к помощи своего попутчика, и вторую половину дороги он ехал впроголодь, обедая с мужиками за 15 копеек на остановках, а про табак и вовсе пришлось забыть. Он сидел в скрипучем возу и читал вслух Беранже, томик которого захватил с собою в дорогу. «Так я ехал, — вспоминал Леонтьев, — бедствуя и наслаждаясь сознанием моих бедствий; ибо я был один из очень *немногих,* которые могли из Крыма уехать, не краснея перед открывшимся тогда либеральным и *честным* движением умов; — и сверх того у меня осталась на руках одна бедная семья, которую я дал себе слово не оставлять и сдержал его»[2]. Под «бедной семьей» Леонтьев разумел семью Лизы, которую оставил в Крыму, — он собирался помогать ей деньгами из Москвы.

В Москве Леонтьев взял извозчика, хотя в карманах не было ни копейки. За него заплатили родственники, когда он приехал в дом к Охотниковым. Здесь он и поселился, пытаясь выстроить свою дальнейшую жизнь и судьбу.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 69.

[2] Там же.

Глава 4

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Чем больше развивается человек, тем больше он верит в прекрасное, тем меньше верит в полезное.

Константин Леонтьев

Москва встретила Леонтьева нерадостно. Он отчаянно нуждался, потому главным делом стали поиски места, чтобы обеспечить деньгами себя, постаревшую Феодосию Петровну, Лизу. К тому же московский воздух пробудил воспоминания о Зинаиде Кононовой. В одном из писем к матери Леонтьев не только мягко упрекал ее за то, что она помешала ему жениться на Зинаиде, но и признавался, что готов жениться на бывшей возлюбленной и спустя эти годы, если бы она оказалась вдруг вдовой... Зинаиды в Москве в то время не было, что помогло побороть искушение увидеть ее. А когда через несколько лет они встретились, Зинаида уже имела детей, привыкла к мужу и была вполне довольна своей жизнью. Говорить им было не о чем — они стали *посторонними*.

Подыскивая службу, Леонтьев обратился к профессору Иноземцеву. Тот бывшего студента прекрасно помнил, советовал ему остаться в Москве, обещал свою помощь. Но Леонтьеву очень хотелось получить место в деревне: как и герой его незаконченного романа «Булавинский завод», он мечтал покинуть суетливый город: «Так как я сам был тогда все в беспокойстве, в Sturm und Drang[1], то все, что располагало к спокойствию, к здоровью, *тишине и постоянству* — *мне нравилось*. Деревня, одиночество, мирный брак или простая “гигиеническая”, невзыскательная любовница, должность сельского врача, молоко, осенняя тихая погода»[2]. Ему необходимы были

[1] Буря и натиск (*нем.*).

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 50.

спокойствие и время для литературы, раздумий, осмысления происшедшего с ним в Крыму. Кроме того, опять болела грудь, и сельский воздух помог бы поправить здоровье. Были и другие резоны для отказа от московской жизни: «Я хотел быть на лошади... Где в Москве лошадь? — Я хотел леса и зимою: — где он? Я хотел многого...»[1]

К этому склоняли и эстетические соображения: в деревне он был бы окружен «народом», а кругом его общения стали бы богатые помещики (то есть «знать») — эти два полюса русской жизни вполне устраивали молодого человека. В Москве же он поневоле оказался бы посередине — среди небогатых и неживописных литераторов и профессоров, зарабатывающих себе на хлеб упорным трудом. Посередине Леонтьев никогда быть не хотел! Красивого и богатого Тургенева в Москве тогда не было, Фет («улан лихой, задумчивый и добрый») только собирался переехать в Москву после своей женитьбы, а остальные знакомые литераторы симпатии у него не вызывали: «Панаев и Некрасов оба были отвратительны и т. д. <Гончаров тоже epicier[2], толстый и т. д. Толстых я не встречал, ни Льва, ни Алексея. — Майков очень жалок. — Жена его носит очки! И потому — я на всех почти ученых и литераторов смотрел, как на необходимое зло... и любил жить от них далеко...>»[3]. Не стоит осуждать Константина Николаевича за такие мысли: они возникали и у других, соприкоснувшихся с профессиональным «писательством». С. Н. Дурылин, ценитель искусства и философ, общавшийся не только со «средними» писателями, но и с выдающимися, замечал тем не менее: «Как мелочны и скучно мелочны "литераторы"! Конечно, литературный круг — это один из самых невыносимых, неблагородных и мелких, мелких...»[4]

Вскоре Леонтьев принял предложение барона фон Розена стать домашним врачом в нижегородском имении Спасское под Арзамасом, принадлежавшем его супруге. Это место он получил отчасти благодаря Тургеневу — Розен был его приятелем.

При переезде в Спасское Леонтьев, памятуя матушкины наставления, написал прошение о зачислении его на государственную службу. Прошение было удовлетворено: 7 марта 1859 года Константин Николаевич был определен врачом с правами государственной службы при имениях Арзамасского

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 70.

[2] Бакалейщик (*фр.*).

[3] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 71.

[4] *Дурылин С. Н.* В своем углу. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 300.

уезда, где и провел два года — с 1858-го по 1860-й. К концу этого срока Леонтьев был даже произведен в титулярные советники по представлению Нижегородской врачебной управы.

К сожалению, о его жизни сельским врачом сохранилось не так много сведений. Главным их источником (хотя и ненадежным с точки зрения фактов) является роман «В своем краю». Константин Николаевич начал писать его тогда же, в Спасском, и сам отмечал позднее, рассказывая о романе: «Большинство лиц взято с натуры, в Нижегородской губернии»[1].

Известно, что Леонтьев принимал окрестных жителей в устроенном Розенами лазарете. Следил он за здоровьем и самих хозяев усадьбы. Судя по письмам, деревенская жизнь пошла ему на пользу — он перестал кашлять, да и финансовые дела его пришли в порядок. Леонтьев аккуратно отсылал часть своего жалованья Феодосии Петровне, чтобы она могла содержать надлежащим образом Кудиново и понемногу гасить долги[2], а также семье Лизы Политовой в Крым. Денег хватало и на книги — некоторые он выписывал даже из Германии.

Розены пришлись Леонтьеву по душе. «Добрый и честный Дмитрий Григорьевич», вышедший в отставку в чине полковника, жил в имении наездами, — у него было имение Новоскуратово на Кубани, где он проводил много времени. Приезжая в Спасское, он разговаривал с Леонтьевым о политике, о вере, по-отечески (он был на 16 лет старше) предостерегая нового домашнего врача от «прогрессистских» крайностей, свойственных молодости. К тому же Розен чрезвычайно интересовался восточным вопросом, отношениями России с Оттоманской империей (через несколько лет он даже перевел с немецкого книгу Георга Розена об истории Турции), поэтому Леонтьев, которого краем задела только что прошумевшая Крымская война, был ему дорог как собеседник.

Леонтьев вспоминал, что в этот период был не чужд либеральных взглядов: «...я смолоду имел глупость тоже либеральничать (вполне искренно, и это-то и глупо!)», Розен же мягко увещевал молодого человека. «Я тогда улыбался с гнусной тонкостью, — рассказывал Леонтьев, которого в зрелые годы «прогрессивная» печать иначе как «реакционером» не величала, — а теперь, когда я вижу у других эту тонкость, я не бью в морду одних — только потому, что они мне кажутся гораздо сильнее меня, а других, которые не страшны, не бью потому,

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Для биографии К. Н. Леонтьева // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 8.

[2] Кудиново было заложено дважды — в 1852 и 1854 годах, долг казне составлял несколько тысяч рублей, и до 1876 года владельцам усадьбы приходилось выплачивать заем и проценты.

что не хочу судиться у мирового судьи... Но что я чувствую!.. Но что я чувствую!.. О Боже!»[1] Розен, конечно, его не бил, но и не соглашался с пылкими молодыми суждениями.

С Марией Федоровной Розен (урожденной Ладыженской, а по первому мужу — Львовой) Леонтьев подружился. Баронесса стала прототипом графини Катерины Николаевны Новосильской в романе «В своем краю» (а фамилию «Львовы» Константин Николаевич использовал позднее для автобиографической эпопеи «Река времен»). Графиню Новосильскую любят все домочадцы (ее даже называют «сахар-медовичем» и «добрыней»), она умна, добра, сильна характером, но не скучно-идеальна — у нее есть слабости, которые только придают ей живое обаяние в глазах окружающих. Она — солнце, вокруг которого вращается вселенная леонтьевского романа. Если Мария Федоровна Розен была на нее похожа, то немудрено, что Леонтьеву она нравилась. Но главное — она ему не мешала. Один из героев романа, домашний учитель Милькеев, говорит Новосильской: «Я сам вас как в кармане ношу. Я вас никогда не слышу и не чувствую. Я был влюблен, у меня была мать, были, к несчастью, родные, приятели и друзья, пожалуй, но все они чем-нибудь же мешали мне... А вы, вы, поймите, вы — первый человек, с которым нет борьбы...»[2]

Леонтьев быстро «прижился» в усадьбе. «Дом, как полная чаша, простор, веселье; едят по-старинному: и много, и часто; большие комнаты под разноцветный мрамор; люстры с переливными хрусталями, колонны; на всех дверях резные фрукты, цветы, корзины с дрожащими колосьями; газеты, книги новые, гостеприимство; все старинное — хорошее, все новое — почтенное»[3], — описывал он усадебный быт в романе. Судя по всему, это описание относится и к вполне реальной жизни в Спасском.

У четы Розенов были дети — Гриша и Азя. Их воспитательница, мадемуазель Мари, стала прототипом синеглазой англичанки Нелли в романе (она явно вызывает симпатии автора), а их гувернер Грюнфельд получил свое литературное воплощение в правильно-скучном Баумгартене. Леонтьев тоже занимался с детьми — естествознанием; говорил о ботанике во время прогулок по парку, объяснял устройство человеческого организма, рассказывал о Крыме... Он даже изучал с ними — по просьбе баронессы — основы анатомии.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 124—125.

[2] *Леонтьев К. Н.* В своем краю // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 2. С. 52.

[3] Там же. С. 126.

Дети (больше всего старался Гриша) переписали начисто его крымский проект («Записку об основании особой учебницы естествоведения на Южном берегу Крыма, в Казенном ботаническом Саду, называемом Никитским») для отправки в Петербург, министру народного просвещения Ковалевскому. «Задача была та, — вспоминал потом Леонтьев, — что нигде почти в мире нельзя найти таких удобств для живого и наглядного изучения природы, как на Южном берегу Крыма (море, горы, дикие леса и близость степи в Крыму же, сады, тепличная флора, богатая воздушная, альпийская на высотах; — обилие перелетных птиц и рыбы; — возможность содержать лучше, чем в столицах, животных самого противоположного климата, ибо на горе наверху холодно, а у моря жарко; — садки для морских животных и т. д.; необыкновенное обилие этнографических и антропологических данных, *черепа*, *могилы* и т. д. Сверх того обращено было внимание и на нравственно-религиозное влияние тихой и здоровой местности на учащихся, *будущих профессоров*; отсутствие столичной злобы, нужды и пустоты»[1].

Леонтьев надеялся, что на его предложение обратят внимание, и строил планы: вот он едет в Париж для того, чтобы изучить устройство ботанических садов, музеев и других естественно-научных учреждений в Европе, а вот — возвращается в полюбившийся Крым, но уже не бедным подневольным лекарем, а основателем первого в России училища естествоведения, которое станет привлекать к себе все лучшие молодые силы... Мечты оказались напрасными: на проект было наложено несколько резолюций, министр прислал Леонтьеву благодарственное письмо, после чего бумаги похоронили в бюрократической могиле...

В романе, написанном «с натуры», Леонтьев вывел себя сразу в двух персонажах — докторе Рудневе (имя этого персонажа перекочевало в новый роман из «Булавинского завода») и студенте-юристе Милькееве. Наверное, не случайно оба — Василии: повторение имени намекает на общего прототипа обоих персонажей. Опуская полутона, можно сказать, что Руднев персонифицирует профессиональную сторону Леонтьева, Милькеев же — складывающийся у него в то время эстетизм. Впрочем, в Рудневе есть и черты проживавшего неподалеку от Розенов доктора К. Н. Дмитриева, приятеля Леонтьева в те годы, а в Милькееве можно найти черты другого знакомого, Н. А. Ермолова, часто бывавшего в Спасском.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Для биографии К. Н. Леонтьева // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 8—9.

Руднев, как и Леонтьев, врач. Он тоже беден, тоже окончил Московский университет, тоже прошел через трудные годы студенчества. Руднев мечтает благодаря своему докторскому званию освободиться от борьбы за кусок хлеба: «Вот я теперь врач: я имею право решать участь семейств; я могу спасать людей; могу иметь чины; лет через 20 уже буду не бедный мещанин Руднев, незаконный сын крестьянки, а доктор Руднев — генерал от медицины»[1]. Мысли о «генеральстве от медицины» (и «генеральстве от литературы» заодно!) и Леонтьеву не были чужды. Руднев увлекается наукой, естествознанием — еще одно явное сходство с автором. Руднев — последователь френологии, как и Леонтьев, он анализирует окружающих с точки зрения строения их черепов. Формально — именно Руднев является главным персонажем романа, именно о его жизни, мыслях, чувствах рассказывает автор.

Однако по сути супергероем повествования становится Василий Милькеев. Он красив, умен, всем нравится, влюблен сразу в двух девушек (Нелли и Любашу), но главное — суждения его совершенно не похожи на общепринятые мнения. В уста этого персонажа Леонтьев вложил многие парадоксальные идеи, вполне вписывающиеся в его собственную концепцию. Именно в нижегородском имении сложились основные черты «эстетического имморализма», в котором не раз упрекали Леонтьева. Разумеется, эта концепция не носила тогда законченного характера, она лишь складывалась, но эволюция его взглядов шла именно в этом направлении.

В одном из разговоров с Новосильской и другими Милькеев развивает теорию эстетизма, чрезвычайно близкую к леонтьевской. Речь зашла о равенстве — ценности, носящей безусловный характер в глазах либерально настроенных людей того времени. Милькеев же не только поставил под сомнение эту безусловность, но и вовсе выдвинул эстетический, а не моральный критерий на первый план:

«— Равенства должно быть настолько, чтобы оно не стесняло свободы и вольной борьбы.

— Я думаю, главное, чтоб не было насилия?.. — возразила Катерина Николаевна. — Это — главное... Или нет...

— Все условно-с.

— А как же оправдать насилие?..

— Все условно-с. Пожалуй, и не оправдывайте.

— Нет, надо оправдать.

— Оправдайте прекрасным, — говорил Милькеев, — одно

---

[1] *Леонтьев К. Н.* В своем краю // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 2. С. 7.

оно — верная мерка на все... Потому, что оно само себе цель... Всякая борьба являет опасности, трудности и боль, и тем-то человек и выше других зверей, что он находит удовольствие в борьбе и трудностях... Поход Ксенофонта сам по себе прекрасен, хоть никакой цели не достиг!

У Милькеева заблистали глаза и загорелись щеки; не видел еще Руднев его с таким лицом. Предводитель хотел что-то сказать, но Милькеев уже был в волнении и, откидывая назад свои кудри, продолжал, все больше и больше разгорячаясь:

— Что бояться борьбы и зла?.. Нация та велика, в которой добро и зло велико. Дайте и злу и добру свободно расширить крылья, дайте им простор... Не в том дело, поймите, не в том дело, чтобы отеческими заботами предупредить возможность всякого зла... А в том, чтобы усилить творчество добра. Отворяйте ворота: вот вам — создавайте; вольно и смело... Растопчут кого-нибудь в дверях — туда и дорога! Меня — так меня, вас — так вас... Вот что нужно, что было во все великие эпохи. Зла бояться! О, Боже! Да зло на просторе родит добро! Не то нужно, чтобы никто не был ранен, но чтобы были раненому койки, доктор и сестра милосердия... Не в том дело, чтобы никто не был обманут, но в том, чтобы был защитник и судья для обманутого; пусть и обманщик существует, но чтобы он был молодец, да и по-молодецки был бы наказан... Если для того, чтобы на одном конце существовала Корделия, необходима леди Макбет, давайте ее сюда, но избавьте нас от бессилия, сна, равнодушия, пошлости и лавочной осторожности.

— А кровь? — сказала Катерина Николаевна.

— Кровь? — спросил с жаром Милькеев, и опять глаза его заблистали не злобой, а силой и вдохновением. — Кровь? — повторил он. — Кровь не мешает небесному добродушию... Вы это все прянишной Фредерики Бремер начитались! Жан д'Арк проливала кровь, а она разве не была добра, как ангел? И что за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости, и что такое одно физиологическое существование наше? Оно не стоит ни гроша! Одно столетнее, величественное дерево дороже двух десятков безличных людей; и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры!

Все молчали»[1].

Да и как было не молчать?! Милькеев и его создатель высказали еретическую мысль: красота важнее морали; лучше живописное, молодецкое зло, чем скучное и бесцветное добро! Именно за эту теорию Константина Леонтьева, с легкой руки Василия Розанова, величали «русским Ницше». Дейст-

---

[1] Там же. С. 45—46.

вительно, немецкий мыслитель, философствующий «на 6 тысячах футов над уровнем человека», проповедовал о «свободных умах», которые находятся выше моральных ограничений, «по ту сторону добра и зла». В его работах тоже звучало языческое преклонение перед красотой и презрение к слабому и больному человечеству, к усталой европейской цивилизации. Уже в тех сочинениях, которые Ницше *сам* готовил к печати (а есть еще и другие, которые были опубликованы без его одобрения — во время его болезни или после смерти, и их аутентичность вызывает много вопросов), звучит настойчивый мотив: мораль — не более чем обычай, служащий смирительной рубашкой для сильных личностей. «Свободный человек аморален, потому что он настроен во всем полагаться на себя, а не на традицию: в каждом примитивном государстве человечества "зло" означало то же, что и "индивидуум" — "свободный", "спорный", "непривычный", "непредсказуемый", "непрогнозируемый"», — писал Ницше[1].

Леонтьев устами Милькеева утверждал, что в великом народе добро и зло, гуманность и жестокость взаимосвязаны. К похожему выводу пришел и Ницше, изучая античность. Если до него в древних греках видели расу «прекрасных детей», «золотой век» человечества, то Ницше впервые описал их как свирепый и воинственный народ, хотя и создавший уникальную культуру; они «имели склонность к жестокости, к брутальному удовольствию разрушать», но были и «самым гуманным народом античности». Для обоих мыслителей здесь не было противоречия: движущей силой истории является борьба, а не сонное благоденствие; творчество прекрасного — продукт состязания и страсти. В этом смысле добро и зло — две стороны одной медали и невозможны друг без друга. «Зло на просторе родит добро», — писал Леонтьев. И Ницше вторил ему: «Самые сильные и самые злые души до сих пор продвигали человечество более всех... злые побуждения столь же полезны, необходимы и спасительны для видов, сколь и добрые»[2].

Здесь необходимо сделать одно чрезвычайно важное замечание: Леонтьев свой «имморализм» высказал *до* Ницше. Когда Леонтьев наделял Милькеева своими мыслями, Ницше учился в школе под Наубургом и совершал первые пробы пера — вел дневник, писал стихи, сочинял музыку... Скорее Ницше можно назвать «прусским Леонтьевым»! Замечатель-

---

[1] *Ницше Ф.* Утренняя заря. Мысли о моральных предрассудках. Свердловск, 1991. С. 17.

[2] *Ницше Ф.* Веселая наука // *Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 326.

ный ученый, «дедушка» американской славистики, Джордж Л. Клайн, писал о соотношении леонтьевской позиции и ницшеанства: «Леонтьев был в высшей степени оригинальным и независимым мыслителем. Его «ницшеанские» взгляды были сформулированы почти на десятилетие раньше того, как появились первые работы Ницше, и он умер до того, как слава Ницше распространилась в России»[1].

Если уж говорить о предшественниках (да и то — условных!), то обсуждать надо было бы фигуру Томаса Карлейля. Именно он в 40-х годах XIX столетия читал публичные лекции о героях и великих людях, утверждая, что великие люди, личности — смысл и соль истории. «Из всех прав самое неоспоримое — это право умного (силой ли, уговорами ли) вести дураков» — так звучит один из его известных афоризмов. Карлейль пытался натуралистически проинтерпретировать историю, трактуя общества как организмы, проходящие различные стадии развития и в конце концов ослабевающие, дряхлеющие и умирающие. Применительно к творчеству этого шотландского мыслителя впервые было употреблено словосочетание *«героический витализм»*: таким определением стали обозначать подход, объединяющий аристократизм и натурализм; согласно ему логика истории ведет к господству сильных, благородных, интеллектуально развитых, что, по сути, противоречит демократическим тенденциям[2]. Ведь «кого небо сделало рабом, того никакое парламентское голосование не в состоянии сделать свободным», — был убежден Карлейль. И уже позднее «героическими виталистами» стали называть Рихарда Вагнера, Фридриха Ницше, Бернарда Шоу. Называли так и Леонтьева[3]. Правда, Карлейль тоже был предшественником «виртуальным»: *Леонтьев его работ не читал*. Речь можно вести не о заимствовании, а о перекличке идей, что свидетельствует о мало замеченной тенденции позапрошлого века.

Для Леонтьева было характерно не столько теоретическое обоснование «героизма», сколько выбор «героической» жизненной стратегии для себя. «Составные части “героического” способа жизни Леонтьева несложны, — пишет один из современных исследователей творчества Константина Николаевича Д. М. Володихин, — огромное честолюбие, отвага, верное служение государю и отечеству, покорение женских сердец.

---

[1] *Kline George L.* Religious and anti-religious thought in Russia. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1968. P. 40.

[2] См.: *Bentley Eric.* The Cult of the Superman. Peter Smith: 1969. P. 49—58.

[3] См.: *Lukashevich Stephen.* Konstantin Leontev (1831—1891): A Study in Russian «Heroic Vitalism». Pageant Press, Inc.: 1967, New York.

Цель — слава...»[1] Может быть, это излишне упрощенное представление о жизненном кредо молодого Леонтьева, но большая доля истины в таком понимании, несомненно, есть.

В студенческие годы до героизма Леонтьеву было далеко: нервный, страдающий, постоянно рефлексирующий юноша, в сознании которого, как сам позже признавался, любая мелочь могла вырасти до космических размеров. Но война и самостоятельная жизнь переродили его — он действительно играл роль героя, хотя бы в собственных глазах. Позднее на место героя придет — не без тяжелой борьбы! — монах, но пока именно героическая жизненная стратегия прослеживалась в его поступках и решениях. Причем леонтьевский герой сражался под знаменем эстетизма.

С точки зрения Леонтьева, эстетический критерий — самый широкий, он применим ко всему на свете. Он рассуждал так: религиозная мистика может быть критерием для оценки происходящего только в глазах единоверцев («ибо нельзя христианина судить по-мусульмански и наоборот»), этика и политика срабатывают только для оценки человеческих поступков, биология применима лишь к живому, но физика и эстетика — наиболее общие критерии, они работают «для всего». Прекрасны и Алкивиад, и тигр, и алмаз; эстетическая оценка — не только всеобщая, но и самая точная. Устами Милькеева Леонтьев убеждал читателя: «...нравственность есть только уголок прекрасного, одна из полос его. Главный аршин — прекрасное». Поэтому Нерон предпочтительнее Акакия Акакиевича, хотя и гораздо безнравственнее его. Позднее герой другого леонтьевского романа будет думать сходным образом: «Лучший критериум поступков — это что к кому идет»[2]. Постаревший и уверовавший в Бога Леонтьев говорил, что его умом завладела тогда «вредная» мысль о том, что нет ничего безусловно нравственного, что всё нравственно или безнравственно только в эстетическом смысле.

В имении Розенов Леонтьев вывел и собственную «формулу» красоты, которой придерживался до конца жизни: *красота есть единство в разнообразии*. Устремленность к прекрасному, жажда многообразия красок, пышного цветения, немыслимых без бурления страстей и борьбы, отталкивала его от идеала всеобщего равенства — он видел в нем однообразие и пошлость. Милькеев говорит: «Нам есть указание в природе, которая обожает разнообразие, пышность форм; наша жизнь

---

[1] *Володихин Д. М.* «Высокомерный странник». Философия и жизнь Константина Леонтьева. М.: ЗАО «Мануфактура», 2000. С. 10.

[2] *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 398.

по ее примеру должна быть сложна, богата»[1]. Леонтьев еще не отказался от либеральных взглядов и демократических идей, но они начинали приходить в противоречие с его эстетизмом.

Масла в огонь подлила книга Герцена «С того берега», которую П. В. Анненков не случайно охарактеризовал как «самое пессимистическое созерцание западного развития». Обращение Герцена к сыну из эмиграции, в котором очень критично оценивалась будущность Европы, описывалась «неустранимая пошлость мещанства», произвело на Леонтьева сильное впечатление. Схожие демократические порядки в разных странах, воспитание человеческих характеров в похожих условиях, утилитарный подход к жизни — всё это делает человеческие характеры в Европе одинаковыми. Откуда же возьмутся Байроны и Цезари, Гёте и Шекспиры? Порода великих людей исчезнет... Обезличенность жизни, унифицированная культура, однообразие — вот то, что не нравилось Леонтьеву в Европе, которую, впрочем, в отличие от Герцена он толком не знал.

На эстетизме Леонтьева сказалось и его естественно-научное образование: красота для него была синонимом силы, здоровья. Эстетический критерий соответствовал принципу естественного отбора в развитии всего живого: то, что сильно, — то и прекрасно! И вновь напрашивается аналогия с будущими работами Ницше, ведь оба мыслителя исходили из идеи о борьбе за существование как описывающей не только природу, но и человечество[2]. У Ницше этот «натуралистический» подход проявлялся прежде всего в понимании воли к власти как механизма естественного отбора, основы всех действий и главного побуждения жизни, — ведь «где бы ни встречал я живые существа, там же находил я и волю к власти».

Теория воли к власти вызревала в работах Ницше постепенно, она стала одним из оснований его философии, но задуманную работу, где эта теория получила бы полное выражение, он опубликовать не захотел или не успел из-за болезни. Недописанная (или забракованная автором?) работа была издана сестрой Ницше под названием «Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей», и именно эта работа долгие годы давала основания для обвинений Ницше в расизме, антисемитизме, апологетике государственности. Во времена нацизма

---

[1] *Леонтьев К. Н.* В своем краю // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 2. С. 152.

[2] О месте дарвинизма в формировании взглядов Ницше писал, например, такой знаток творчества немецкого философа, как Р. Дж. Холлингдейл: «Дарвин и греки... служили отправными точками философии Ницше». См.: *Холлингдейл Р. Дж.* Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души. М., 2004. С. 123.

Ницше попал «в лапы целого племени фабрикантов тевтонской мифологии»[1], но ко всему этому он сам уже не имел ровно никакого отношения. Ницше говорил о другом — о том, что воля к власти может стать критерием для оценки социальных явлений. И такой подход имеет нечто общее с натуралистическим эстетизмом Леонтьева: в обоих случаях речь идет о силе для борьбы (ведь у Леонтьева красота — выражение здоровья), о торжестве жизни, о свободе от связывающих человека по рукам и ногам норм и условностей.

Мораль виделась Леонтьеву если не «мошенничеством», как виделась она Ницше, то по меньшей мере таким явлением, которое может быть преодолено более общим принципом — установкой на красоту. Это было так не похоже на господствующую тогда точку зрения, так явно шло вразрез с русской литературной традицией, что не только слушатели Милькеева в романе не знали, как ответить на такие высказывания. Когда Леонтьев стал высказывать подобные идеи в своих статьях — его или старались не замечать (объявив чуть ли не сумасшедшим), или резко критиковали. В то время как русская интеллигенция мучилась вопросом, стоит ли прекрасное будущее человечества одной слезинки замученного ребенка, Леонтьев соглашался даже на зло — но великое и свободное, которое сможет породить добро. Лучше разгульная и пышная эпоха Возрождения, чем смирная и зажиточная Голландия или Швейцария XIX столетия...

Эстетический подход определил и отношение Леонтьева к революциям. Его «прогрессивность» в то время проявлялась отчасти и в том, что он приветствовал революции. Но совсем не так, как Белинский или — позже — Чернышевский. Он видел в них романтику борьбы, опасности, баррикады — «поэзию жизни», потому и принимал их. О целях революций, о «борьбе труда и капитала» он просто не задумывался. Милькеев сначала решает присоединиться к Гарибальди, потом — как довольно глухо (из-за цензуры) говорится в романе — оказывается среди «подрывателей устоев», революционеров. Объединение Италии или свержение самодержавия — какая разница! И то и другое — живописно, героично!

Леонтьев отталкивался от скучной размеренности существования, и демократически-утилитарные идеалы всеобщего уравнения (которые и были конечной целью *живописных* революционеров) его не удовлетворяли. Поэтому довольно короткий период либерально-демократических взглядов закон-

---

[1] *Холлингдейл Р. Дж.* Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души. М., 2004. С. 367.

чился у Леонтьева уже в самом начале 1860-х годов. Константин Николаевич выразительно описал свое разочарование, рассказав реальный эпизод 1862 года.

Однажды он и И. А. Пиотровский, сотрудник журнала «Современник», шли по направлению к Аничкову мосту в Петербурге. Леонтьев спросил у Пиотровского:

— Желали ли бы вы, чтобы во всем мире люди жили в одинаковых, чистых и удобных домиках?

— Конечно, чего же лучше! — с недоумением ответил Пиотровский.

— Ну так я не ваш отныне! — решительно сказал Леонтьев. — Если к такой ужасной прозе должно привести демократическое движение, то я утрачиваю последние симпатии к демократии!

«В это время мы были уже на Аничковом мосту, — рассказывал Леонтьев. — Налево стоял дом Белосельских, розоватого цвета, с большими окнами, с кариатидами; за ним по набережной Фонтанки видно было Троицкое подворье, выкрашенное темно-коричневой краской, с золотым куполом над церковью, а направо, на самой Фонтанке, стояли садки рыбные, с их желтыми домиками, и видны были рыбаки в красных рубашках. Я указал Пиотровскому на эти садки, на дом Белосельских и на подворье и сказал ему: Вот вам живая иллюстрация. Подворье во вкусе византийском — это церковь, религия; дом Белосельских в виде какого-то "рококо" — это знать, аристократия; желтые садки и красные рубашки — это живописность простонародного быта. Как это все прекрасно и осмысленно! И все это надо уничтожить и сравнять для того, чтобы везде были маленькие, одинаковые домики или вот такие многоэтажные казармы, которых так много на Невском.

— Как вы любите картины! — воскликнул Пиотровский.

— Картины в жизни, — возразил я, — не просто картины для удовольствия зрителя; они суть выразители какого-то внутреннего, высокого закона жизни — такого же нерушимого, как и все другие законы природы»[1].

Хотя сам этот «закон жизни» к моменту, о котором идет речь, Леонтьев еще не сформулировал, но эстетика уже определяла его мировоззрение. Кудиновское воспитание Феодосии Петровны постепенно воплощалось в *теоретический принцип*. Причем эстетику он искал не в искусстве (как Ницше), а в самой реальности — «картины жизни» для него были

---

[1] *Коноплянцев А. М.* Жизнь К. Н. Леонтьева, в связи с развитием его миросозерцания // Памяти Константина Николаевича Леонтьева (†1891). Литературный сборник. СПб., 1911. С. 53—54.

неравноценны «картинам для удовольствия зрителя». «Эстетика жизни гораздо важнее отраженной эстетики искусства», — напишет он позже, уже в конце жизни. И продолжит: «Будет жизнь пышна, будет она богата и разнообразна... придут и гениальные отражения в искусстве»[1]. Потому и революционеры нужны: они заменили средневековую поэзию «религиозных прений и войн» и по-своему служили развитию, хотя и считали, что служат идеалу уравнительности и одинаковых чистых домиков. Именно борьба революционных и охранительных, консервативных сил приводит к разнообразию, делает историю богаче и ярче.

Когда Леонтьев отправлялся из Москвы в деревню, одной из причин такой добровольной «ссылки» было желание избежать середины — выпасть из среднего слоя общества. Эта потребность к концу его пребывания у Розенов тоже получила теоретическое оформление: Леонтьев начал размышлять о необходимости «социального разнообразия» для появления великих людей, для развития «лица» (личности). Получалось, что общественное неравенство и существование аристократии были не вредны, а необходимы! Но эстетический принцип требует не только обособления разных слоев в обществе, но и обособления наций и углубления их культурных особенностей. «Всякая нация только тем и полезна другой, что она другая: уперлась одна нация в стену, не знает, что делать; поглядела на другую и освежилась!»[2] — говорит один из персонажей романа «В своем краю».

Два года в розеновской усадьбе стали чрезвычайно важными для выработки леонтьевского мировоззрения — он был материально обеспечен, имел досуг для размышлений. Возможно, это время было одним из самых спокойных периодов в его жизни. Сказалось это и на литературных делах Леонтьева: в «Отечественных записках» были опубликованы пьеса «Трудные дни» и рассказ «В ауле Биюк-Дортэ», и он работал сразу над несколькими новыми сочинениями.

У Розенов Леонтьев закончил повесть «Второй брак» и послал ее Тургеневу. Речь в повести шла о богатой вдове (Дуне — Додó) и бедном композиторе Герсфельде, о постепенно возникающем у них чувстве друг к другу. Фабула повести мало говорит о ней самой: такая фабула с одинаковым успехом могла стать основой как для сентиментально-слащавой интер-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* О Владимире Соловьеве и эстетике жизни (по двум письмам). М.: Творческая мысль, 1912. С. 36—37.

[2] *Леонтьев К. Н.* В своем краю // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 2. С. 155.

претации заезженной истины «не в деньгах счастье», так и для реалистического рассказа в духе пьес Островского, как один человек может цинично использовать чувство другого. В любом случае сюжет был не нов. К чести Леонтьева, он совершенно по-новому его переосмыслил. Речь, разумеется, шла не о «розовой водичке» идеальной влюбленности, перебросившей мост через неравенство. Не было тут и описания грубой корысти, хотя Герсфельд и понимал, что женитьба на богатой вдове — его единственный шанс на достойную жизнь; Леонтьев убедительно показал, что не будь у Додó состояния, композитор вряд ли обратил бы на нее внимание. Вместе с тем речь шла о том, как два достойных, хороших и не очень счастливых человека пытаются понять друг друга, как в процессе этого понимания у них возникает хрупкое, но потому и драгоценное чувство душевной близости... Да и конец повести — хотя завершилась она свадьбой — мало похож на голливудский *happy end*. Новобрачная спрашивает мужа:

«— Будем ли мы счастливы, как ты думаешь?

— Надо доказать, Дуня, — отвечал он, — что и мыслящие и болевшие душою люди могут жить, а не одни эти скучные, светлые и спокойные натуры. Надо надеяться, что во всяком случае мы не опошлимся...»[1]

Финал оставлял возможность самых различных толкований. Именно эта неопределенность, на мой взгляд, придавала повести очарование. Но Тургеневу повесть не понравилась. Он даже стал сомневаться, не ошибся ли в свое время в высокой оценке художественных достоинств леонтьевской прозы, но все же рекомендовал повесть к печати в журнал «Библиотека для чтения», где она и появилась в 1860 году.

В «Отечественных записках» ждали обещанного романа «Война и Юг» о Крымской войне (Леонтьев получил за него даже аванс). Но Константин Николаевич написал Дудышкину, что вместо него пришлет другое произведение — о современной жизни. Речь шла о романе «В своем краю», работа над которым продвигалась довольно быстро. Впрочем, в какой-то момент Леонтьев отложил его в сторону и закончен он был лишь к 1863 году. Главным же литературным «делом» Леонтьева в эти два года стал роман «Подлипки». Еще до Крыма, в Москве, он написал отрывок о зимнем утре в помещичьей усадьбе (описав утро в имении своего дяди Владимира Карабанова, Спасском-Телепневе) и получил одобрение у Тургенева, Краевского, Евгении Тур. Этот отрывок пропутешествовал

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Второй брак // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 1. С. 346.

в сундучке вместе с автором по крымским дорогам. Однако дальше второй главы дело двинулось только здесь, в имении Розенов. Весной 1859 года роман был практически завершен, но до 1861 года — момента публикации в «Отечественных записках» — дорабатывался и отделывался автором.

О чем роман? В самом общем плане «Подлипки» — повествование молодого человека о себе, своих детстве и юности, недаром ему дан подзаголовок: «Записки Владимира Ладнева». Роман, как уже говорилось, автобиографичен. Леонтьев предпочитал «картины жизни» придуманному, и «Подлипки» — рассказ о собственной жизни, хотя, разумеется, романтически переосмысленный и мифологизированный. Мифологичность подчас бросается в глаза: вполне обыкновенная пара молодых людей становится в глазах Володи Аполлоном и Венерой, всё переживаемое героем в Подлипках возвышается над бытом, приобретает символический оттенок. Да и сам Ладнев мечтает о Древней Греции, где мог бы найти себе любовницу без разврата, — отсылка к мифологическому ключу здесь тоже очевидна. Если Владимир Набоков был глубоко убежден, что «литература — это выдумка», а «всякий большой писатель — большой обманщик»[1], создающий и населяющий свой собственный, совершенно придуманный мир, то Леонтьев, возможно, был редким исключением: он не создавал абсолютно новых миров, а придавал своему реальному миру мифологический характер.

Володя Ладнев — сирота, прямой наследник богатой и бездетной тетушки-генеральши, Марии Николаевны Солнцевой. Фамилия не случайна: она — солнце усадебной жизни в Подлипках. Юрий Иваск в книге о Леонтьеве писал о «матриархате» в творчестве Константина Николаевича[2]: как в реальном Кудинове «матриархом» была Феодосия Петровна, так и в романах Константина Николаевича действуют «матриархи» — тетушка Солнцева, графиня Новосильская, Мария Павловна Львова (в романе «От осени до осени»). Старший брат Володи Ладнева списан со старшего брата автора, Александра Леонтьева, которым Константин Николаевич так восхищался, будучи маленьким мальчиком, и которого так презирал, став взрослым. Много и других моментов, явно указывающих на автобиографичность текста. Но роман — «исправленные» детство и юность автора, *отредактированная* им собственная жизнь.

---

[1] *Набоков В. В.* Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 2000. С. 28.

[2] *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев (1831—1891). Жизнь и творчество // К. Н. Леонтьев: pro et contra. В 2 кн. Кн. 2. СПб., 1995. С. 249—250.

(Прежде всего, Володя Ладнев богат, тетушка его любит и балует так, как Феодосия Петровна никогда не могла себе позволить по скудости средств.) Впрочем, в «Подлипках» автор не раз иронизирует над своими былыми мечтами и мыслями. Леонтьев всегда оставался удивительно искренен и самокритичен, он редактировал жизнь (превращая ее в мечту?), но не себя.

Роман изобилует действующими лицами — их всех даже трудно запомнить. Леонтьев, видимо, воссоздавал дорогое ему прошлое со всеми деталями не по законам литературы, а по законам собственной памяти. Особой любовью дышат описания усадебного быта Подлипок во всей их красе и патриархальности.

Леонтьев обладал удивительным даром: его роман визуален, со своими цветовыми гаммами для каждого происходящего на его страницах события. Если вернуть затертому от частого употребления выражению «художник слова» первоначальный смысл, то оно как нельзя лучше подходит Леонтьеву-писателю: он рисовал свой роман. Эстетическое восприятие жизни сказывалось в красках, оттенках, любовании мелочами. Володя Ладнев восхищается неким Николаевым, потому что его профиль «сух и благороден», белье — превосходно, иногда он надевает «изящный синий фрак с бронзовыми пуговицами», а Володю встречает у себя дома «в удивительном халате из черной шерстяной материи». Поповна Паша была «ростом невелика, увальчива и бледна, но бледностью свежей, той бледностью, которая часто предшествует полному расцвету». У Софьи Ржевской, в которую Володя отчасти влюблен, «кудри темные, румянец мраморный», у дворовой же девушки Катюши «свежее, не слишком белое лицо... было продолговато, каштановые волосы густы и мягки, хотя и пахли немного ночником», походка у Даши, живущей в Подлипках девушки, — «волниста»... Иваск писал о «размашисто-вольготном импрессионизме» леонтьевских сочинений, который, увы, не был оценен по достоинству читателями.

Работе над романом способствовало и то, что Леонтьев тогда жил в имении, и неторопливый усадебный быт чем-то походил на описанный в «Подлипках». Небольшая медицинская практика, занятия с детьми, долгие разговоры с баронессой Розен, приятельские беседы с живущими по соседству Дмитриевым и Ермоловым, занятия литературой, письма из Петербурга от Тургенева, Краевского, Дудышкина, из Кудинова от матери... Но Леонтьев не был бы Леонтьевым, если бы только к этому сводилась его жизнь. Для него всегда было важно внимание окружающих женщин. Учитель Милькеев, его прототип в романе, кружит головы девушкам. И Леонтьев, вспоми-

ная жизнь у Розенов, выделяет имя: *Любаша Панютина*. Так звали одну из соседок Розенов, молодую приятельницу Марии Федоровны. Любаша жила в селе Чуфарово того же Арзамасского уезда со своими братьями, Николаем и Иваном.

Судя по описаниям в романе, жизнь в имении не была замкнутой: к Розенам приезжали гости, те бывали с визитами у соседей, устраивали «пикники»... Одну из таких «вылазок» Леонтьев «нарисовал» так: «В тени стелют пестрые бархатистые ковры, готовят большую палатку для ночи, разводят костер для обеда, лошади ржут, и люди шумят, звонят бубенчики, и колокол сзывает к завтраку! Одна забава сменяется другой, отдых — развлечением... Одни ушли за грибами в березовую рощу, которая обогнула все заливы и заливчики озера с боков и спереди; другие лежат на коврах и читают... Кто взял ружье и сел на маленькую лодку, которую привез тотчас седой и согбенный великан-рыбак с того берега... Вот утка вылетела, и слышится уже выстрел молодца-повара... Принесли грибы — идут все, и люди, и дети, и взрослые господа за ягодами... Никому не скучно»[1]. Возможно, Леонтьев и Любовь Сергеевна Панютина познакомились как раз на одном из таких многолюдных пикников, кто знает? Именно эта девушка стала прототипом «доброй барышни» Любаши в романе «В своем краю».

Любаша в романе — рослая русская красавица с косой, из небогатой семьи. Она уговаривает доктора Руднева взяться за лечение ее отца. Руднев в мыслях сравнивает Любашу с полудиким кустом шиповника — красивым, пахнущим, но не таким парадным и ярким, как садовая роза. Она удивительно добродушна и проста в движениях и словах, ей вовсе не свойственно кокетство, она умеет искренно веселиться. Своей естественностью и свежестью Любаша притягивает мужские взгляды. Образование ее не назовешь блестящим: про Гоголя она говорит, что это полицмейстер из соседнего уезда (в этом замечании видна ирония, не без ехидцы, самого Леонтьева), смешат ее самые незатейливые шутки, а над книгой, которую ей посоветовал почитать Милькеев, она скучает... Тем не менее оба романные воплощения автора — Руднев и Милькеев — начинают за ней ухаживать. Милькеев — играючи, а серьезный Руднев — влюбившись всей душой и страдая от внимания Любаши к мнимым соперникам. Правда, вскоре оказывается, что и Любаша неравнодушна к Рудневу, — она не только холодна к чарам яркого Милькеева, но и отказыва-

[1] *Леонтьев К. Н.* В своем краю // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 2. С. 43.

ется от брака с богатым соседом, князем Самбикиным, из-за своего чувства к бедному лекарю, который не может похвастаться даже дворянским званием.

Всё это подсказывает, что и Леонтьев не остался равнодушным к соседке. Руднев в романе женится на Любаше, однако в реальности никакой свадьбы не было. Все-таки Леонтьев в большей степени отождествлял себя с Милькеевым — эмоциональным, *не пригодным для семейной жизни*, взрывным, как шипучее шампанское. Пока Руднев упивается семейным счастьем и испытывает нравственное удовлетворение от врачебной работы, Милькеев едет в Италию, чтобы присоединиться к Гарибальди. Возможно, будь в самом Леонтьеве меньше от «шипучего» Милькеева, Любовь Панютина и могла бы стать его избранницей. Но размеренная жизнь сельского врача не прельщала Константина Николаевича.

Через два года Леонтьев решил оставить имение Розенов. Мотивы этого тоже описаны в романе. Милькеев думает об отъезде, и Новосильская, которая не хочет этого, говорит предводителю Лихачеву:

«— Разве его деятельность здесь не полезна? И разве человек не имеет права быть покойным?..

— Он, именно он, не имеет права быть покойным! — сказал предводитель. — Здесь он перекипит бесплодно»[1].

Что-то схожее чувствовал и сам Леонтьев. Ему было хорошо в Спасском, но всю жизнь прожить деревенским врачом в чужом доме!.. Всё чаще в голову приходили мысли о том, что, имея признанный другими дар, он мало сделал в литературе. Лев Толстой, которого Тургенев наряду с ним называл надеждой русской литературы, к тому моменту стал уже известен, особенно после «Севастопольских рассказов». Он же, от которого так много ожидали, заявил о себе очень скромно... Леонтьеву было в ту пору 29 лет — возраст самоопределения, респектабельности, когда хочется интересного общества, деятельности, успеха, театров и ресторанов, наконец! Он был еще молод, ему хотелось не покоя, а бурь, борьбы, наслаждений. Он искал *нового,* он чувствовал себя *героем.*

После долгих раздумий Леонтьев решил оставить медицину и полностью посвятить себя литературной деятельности. Феодосия Петровна пыталась его отговаривать (она всегда с подозрением относилась к литературным занятиям сына), но безуспешно. Этому решению предшествовало важное для его внутренней жизни событие: в начале 1860 года Леонтьев послал Тургеневу свой критический отзыв о его романе «Накануне».

[1] Там же. С. 135.

Надо сказать, что былого восхищения старшим другом и литературным покровителем Леонтьев уже не испытывал. Леонтьев сильно изменился за прошедшие после расставания с Тургеневым годы, он стал другим. Не могли не измениться и его оценки, взгляды. Сам Леонтьев объяснял это так: «Тургеневу было уже за тридцать лет, когда мы с ним надолго расстались в 54-м году, а мне только за 20. К тому же надо заметить, что на степень и глубину изменения во взглядах, привычках и чувствах наших огромное и неотразимое влияние имеет степень резкости внешних перемен в нашем образе жизни за известный срок времени. Чем перемены крупнее, чем антитезы наших внешних положений резче за это время и еще, чем больше число душевных струн затрагивают в человеке эти изменяющиеся внешние условия, тем, разумеется, человек больше за это время прожил, тем опыт его разностороннее, тем дальше он отходит и *сам* от *прежнего себя,* и от тех близких, которые за это время жили несколько неподвижнее его и по внешним условиям, и по внутренним движениям ума, воли и сердца. Так случилось и с нами — со мной и с Тургеневым. С 54-го года до 61-го, в эти семь лет, я совсем переродился. Иногда, вспоминая в то время (в 60—61-м году, например) свое болезненное, тоскующее, почти мизантропическое студенчество, я не узнавал себя. Я стал за это время здоров, свеж, бодр; я стал веселее, спокойнее, тверже, на все смелее, даже целый ряд полнейших литературных неудач за эти семь лет ничуть не поколебали моей самоуверенности, моей почти мистической веры в какую-то особую и замечательную звезду мою...»[1]

Авторитет Тургенева как художника уже не был безусловен в глазах Леонтьева. Он невольно вспоминал свои студенческие споры с Георгиевским и признавал в глубине души, что его «почти гениальный» товарищ был прав в критических оценках тургеневской прозы. В то же время Леонтьев оставался искренне признателен Ивану Сергеевичу, который во многом определил его жизнь. Живя у Розенов, он изредка переписывался с Тургеневым, и тот по-прежнему помогал ему с публикациями и получением гонораров от редакций. Поэтому отзыв дался Леонтьеву нелегко, но таковы были литературные нравы того времени (об исчезновении которых можно лишь сожалеть): личная приязнь не мешала высказывать искренние суждения о том или ином произведении. Показательно и то, что Тургенев *сам* передал письмо Леонтьева в «Отечественные записки» для публикации, где оно и появилось в 1860 году под названием «Письмо провинциала к г. Тургеневу».

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мои дела с Тургеневым и т. д. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 139—140.

Леонтьев начал свой отзыв следующими словами: «Я прочел “Накануне” с увлечением, но оно неприятно потрясло меня...»[1] Почему? Леонтьев не мог согласиться с принесением художественно-эстетического начала в жертву *идее*, социальной тенденции, пусть даже и прогрессивной. Тургеневский роман рассказывал о любви Елены Стаховой к болгарину Инсарову, одержимому идеей освобождения своей родины от турецкого ига (действие романа происходит в 1853 году). Вместе с Инсаровым, покинув родных и привычную жизнь, Елена отправляется в Болгарию. Не добравшись до родины, Инсаров умирает от чахотки. Елена решает продолжить дело умершего мужа: говорят, ее видели сестрой милосердия в Герцеговине. Критики демократического направления увидели в Елене, полюбившей разночинца-демократа Инсарова и продолжившей его дело, «неотразимую потребность новой жизни, новых людей, которая охватывает теперь все русское общество», как писал Н. А. Добролюбов. Роман был «актуален» — он рассказывал о кипящих Балканах, показывал «новых людей», жизнь которых подчинена некой высшей задаче. Однако, по мнению Леонтьева, и Инсаров, и Елена были *поэтически* безжизненны. Тургенев выписал их как безукоризненные *типы*, а не как живых людей из плоти и крови.

Сквозь «математическую ясность плана» в романе просвечивало авторское намерение. «Разве такова жизнь?» — вопрошал Леонтьев. Где волшебная изменчивость, смута жизни? «Возьмите все лица: как ясно, что они собрались для олицетворения общественных начал!» В отличие от других критиков эстет Леонтьев не хотел обсуждать социальную сторону романа — он вел речь о красоте и сложности жизни, которые должны отражаться в произведении искусства. Его критика носила художественный характер, что было нехарактерно для того времени. Не случайно известный литературовед Б. А. Грифцов отмечал, что «“Письмо провинциала” производит впечатление совсем одинокого, затерянного в 60-х годах голоса»[2].

Для Леонтьева красота — главная идея жизни. Он оставался реалистом (при его естественно-научных склонностях), но понимал реализм не так, как понимали его Добролюбов, Тургенев, Писемский, Боткин. У Леонтьева не было критики и «редактирования» существующего, бытописательства и подробностей, зато было *восхищение* действительностью *как она есть*. Жизнь прекрасна, сложна, многообразна, она противна

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Письмо провинциала к г. Тургеневу // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 8. М., 1912. С. 10.

[2] *Грифцов Б. А.* Судьба К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. В 2 кн. Кн. 1. СПб., 1995. С. 324.

любой схеме, поэтому подлинный реализм *обязывает* показывать пышное цветение полутонов. «Если в творении нет истины прекрасного, которое само по себе есть факт, есть самое высшее из явлений природы, то творение падает ниже всякой посредственной научной вещи, всяких поверхностных мемуаров, которые, по крайней мере, богаты правдой реальной и могут служить материалами будущей науки жизни», — был убежден Леонтьев. В «Накануне» же, по его мнению, *бессознательное* принесено в жертву *сознательному*, прекрасное забыто ради полезного, в угоду общественной тенденции.

При таком понимании реализма Леонтьев и собственные тексты стал оценивать критически (например, описание зимнего утра в романе «Подлипки», которым прежде так гордился). «Описания хороши или очень величавые, неопределенные, как бы носящиеся духоподобно (таковы описания в Чайльд-Гарольде), или короткие, мимоходом, наивные. Мое зимнее утро и все почти описания Тургенева грубореальны, хотя и были согреты очень искренним чувством. Другое дело такие простые, мужественные описания старика Аксакова в “Хронике”! Тут нет тех фальшивых звуков, взвизгиваний реализма, которыми богат Тургенев и которыми платил дань и я... увы... под влиянием его и других...»[1] — писал позднее Константин Николаевич.

В леонтьевском «Письме провинциала» были и весьма обидные для Тургенева строки: «Вы недостойны сами себя как поэт в этом романе, недостойны творца “Рудина”, “Гнезда”, “Муму”, “Затишья”, даже “Записок Охотника”...» И то, что Иван Сергеевич все же способствовал публикации этого отзыва и написал Леонтьеву еще несколько писем (даже из Парижа он заботился о судьбе леонтьевских произведений), делает ему честь. Однако трещина в их отношениях становилась всё очевиднее. Назревал разрыв Леонтьева с либерализмом и либералами, к которым принадлежал Тургенев. Статью Леонтьева с проповедью эстетического подхода к искусству и жизни тогдашнее российское общество с его страстью к «полезной» и «прогрессивной» литературе практически не заметило, как и предыдущие его публикации.

Весной 1860 года Леонтьев покинул имение Розенов и переехал к матери в Кудиново. Его решение бросить медицинскую практику было окончательным, и через полгода, зимой, он отправился в Петербург, чтобы иметь возможность самому устраивать свои литературные дела.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мои дела с Тургеневым и т. д. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 128.

Глава 5
ПИСАТЕЛЬ? ДИПЛОМАТ?

Нет, не рожден я биться лбом,
Ни терпеливо ждать в передней,
Ни есть за княжеским столом,
Ни с умиленьем слушать бредни.
Нет, не рожден я быть рабом...

Аполлон Григорьев

Зимний Петербург встретил Леонтьева слякотной сыростью и серым небом. Он поселился в квартире старшего брата Владимира, в Баскаковом переулке. Владимир Николаевич тоже был литератором, к планам Константина относился с сочувствием и готов был ему помочь. Сам он изучал в то время практику уголовного суда и писал на эту тему книгу, публиковал журнальные статьи, сотрудничал с «Отечественными записками» и «Голосом» Краевского, а в 1862 году стал редактором либерального журнала «Современное слово», который вскоре был закрыт за «вредное направление». Позже Владимир Николаевич некоторое время издавал сатирический журнал «Искра». Леонтьев немного свысока относился к занятиям Владимира, не видел в старшем брате особых дарований, да и его политические взгляды казались ему упрощенными. Леонтьеву вообще было свойственно прохладное отношение к родственникам, за исключением матери, Феодосии Петровны.

Впрочем, именно в этот свой приезд он поневоле сошелся с племянницей, двенадцатилетней Машей, поскольку по просьбе брата давал ей уроки. Она была настолько необычным и не по годам мыслящим подростком, что у Леонтьева появилась еще одна родственная привязанность — и на всю жизнь. Маша дядю тоже полюбила и вспоминала его уроки с восторгом. Константин Николаевич преподавал ей словесность, историю, биологию, другие предметы — и все они благодаря учителю казались Маше чрезвычайно увлекательными. На уроках зачастую присутствовал и брат Маши, Володя, младше ее лишь на год с небольшим, но явно отстающий в развитии и от сообразительной сестры, и от своих сверстников.

Петербургская жизнь Леонтьева получилась не такой, как он ожидал, покидая имение баронессы Розен и Кудиново. «Все хорошо, что прекрасно и сильно, — думал он, собираясь в Петербург, — будь это святость, будь это разврат, будь это охранение, будь это революция, — все равно! Люди не поняли этого. Я поеду в столицу и открою всем глаза — речами, статьями, романами, лекциями — чем придется, но открою». Он мечтал о перевороте в умах современников, а окунулся в суетливую жизнь «плоского Петербурга», где его не знали и не замечали. Да и мечты о заработке литературным трудом остались лишь мечтами. Романы он писал долго, прожить на гонорары от них было невозможно, а писать заметки и статьи «на злобу дня» ему претило.

Леонтьев зарабатывал на жизнь уроками и переводами статей по естествознанию из немецких и французских журналов для «Товарищества общественной пользы», которое намеревалось издавать журнал «Музей». Леонтьев отнесся к данному проекту с воодушевлением: он считал тогда, что «правильное» понимание зоологии, анатомии и других естественных наук (к их числу он относил — вслед за Огюстом Контом — и социологию) подготовит общество к восприятию его эстетического миросозерцания и «заставит большинство стать умнее, великодушнее, энергичнее и даже красивее наружностью»[1]. (Наверное, это единственный в истории случай, когда занятия естествознанием увязывались с внешностью!)

Леонтьев жил в столице «литературным пролетарием». «Мне около 2-х лет в П<етер>бурге пришлось вращаться в обществе второстепенных редакторов, плохих и озлобленных фельетонистов, вовсе не знаменитых докторов и т. п., — вспоминал Константин Николаевич, — к тому же, несмотря на то, что полит<ические> убеждения мои тогда еще не выработались... ясно... — все эти люди принадлежали более или менее к тому демократическому направлению, к<ото>рое я прежде, в юности, так любил и от которого именно тут, в Пет<ер>бурге, стал все более и более отступаться, как скоро *вдруг как-то* понял, что идеал его не просто гражданское равенство, а полнейшее однообразие общественного положения, воспитания и характера; меня ужаснула эта серая скука далекого даже будущего...»[2]

На деле окончательный разрыв с либерализмом и демократическими идеалами длился более года и дался Леонтьеву

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Н. П. Игнатьев // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 402.

[2] Там же. С. 400.

гораздо труднее, чем он описывал в рассказе о своей прогулке с Пиотровским (когда увидел с Аничкова моста красные рубашки мужиков, желтые рыбные садки, помещичий дом в стиле рококо, коричневое церковное подворье и под влиянием минуты решил, что будущее не должно быть одноцветно и однообразно). Он много и тяжело думал, даже похудел и плохо спал. Раздумья были мучительны: можно ли совместить эстетический принцип (имеющий в его глазах объективный статус и естественно-научное обоснование) и требования социальной справедливости? Именно в этот момент был опубликован царский манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей».

Манифест ожидали давно. Еще при царствовании Николая I создавались десятки комиссий, разрабатывавших условия ликвидации крепостничества. И хотя деятельность этих комиссий встречала сопротивление со стороны помещиков, всем было очевидно, что рано или поздно соответствующее решение будет принято. И вот манифестом от 19 февраля 1861 года около трети населения Российской империи было объявлено лично свободным (хотя земля практически оставалась во владении помещиков). Разумеется, общество обсуждало и интерпретировало манифест с разных позиций.

Отношение Леонтьева к манифесту было сложным. Некоторые исследователи его творчества утверждают, что он встретил манифест с восторгом, причем это определение — «с восторгом» — кочует из книги в книгу[1], повторяя выражение первого леонтьевского биографа А. М. Коноплянцева[2]. Леонтьев действительно ждал крестьянской реформы (этому есть много свидетельств), он был против рабства. С одной стороны, в первое время он считал, что освобождение крестьян благотворно и будет способствовать развитию национальной самобытности — «взамен общественного мнения, которого у нас нет, проснется свежее народное мнение», с другой — не был уверен в таком развитии событий даже до реформы. В его письмах и романах не раз встречается опасение, что на смену

---

[1] См., к примеру: *Долгов К. М.* Восхождение на Афон: Жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева. М.: Отчий дом, 2008. С. 43; *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1991. С. 10; Русская социально-политическая мысль XIX века: К. Н. Леонтьев / Под ред. А. А. Ширинянца. М.: Изд-во Московского университета, 1995. С. 12.

[2] См.: *Коноплянцев А. М.* Жизнь К. Н. Леонтьева, в связи с развитием его миросозерцания // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911.

безмолвию народа придет «шумное и безличное царство масс». Поэтому «восторг» — вряд ли удачное определение, скорее со стороны Леонтьева была осторожная позитивная оценка, очень скоро сменившаяся скептической точкой зрения на реформу. Да и Феодосия Петровна ему писала, что ее положение кудиновской помещицы после реформы стало еще труднее.

Во всяком случае, именно в 1861 году Леонтьев окончательно отказался от демократических взглядов. В то время, когда со страниц многих журналов убеждали, что «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», Леонтьев доказывал, что «религия» всеобщего блага, которой столь охотно служили многие его современники, — скучна и *неорганична*. Это не могло не раздражать представителей «прогрессивной печати», и статьи Леонтьева не публиковались. Те его работы, которые казались политически «нейтральными», — например, статья по поводу рассказов Марко Вовчок[1], — тоже скрывали в себе жало, направленное против демократической «тенденции»: в этой статье Леонтьев не только восхищался произведениями украинской писательницы, но и резко отзывался о позиции Добролюбова и том направлении литературной критики, которое Добролюбов олицетворял.

В «Лекциях по русской литературе» Набоков замечал, что первой силой, стеснявшей писателей и художников в России XIX века, было правительство, а второй — «антиправительственная, общественная, утилитарная критика». «Левые критики боролись с существующим деспотизмом и при этом насаждали другой, свой собственный»[2], — не без справедливости утверждал он. Похожим образом рассуждал и Бердяев (сам прошедший через увлечение народничеством и легальным марксизмом и разочаровавшийся в них после революции 1905 года), упрекая русскую интеллигенцию в сборнике «Вехи» (1909) в грехе «народопоклонства»: ведь от писателя, мыслителя, художника требовали лишь «полезных» для дела освобождения народа идей, все остальные объявлялись не заслуживающими внимания.

Леонтьев с его убеждением, что сохранить красивое старое дерево не менее важно, чем купить лекарство крестьянину, оказался враждебным чужаком в демократическом лагере.

---

[1] См.: *Леонтьев К. Н.* По поводу рассказов Марка Вовчка // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 8. М., 1912. С. 15—64. Леонтьев чрезвычайно высоко ценил литературный талант украинской писательницы и поэтессы Марко Вовчок (настоящее имя Мария Александровна Вилинская; 1833—1907).

[2] *Набоков В. В.* Лекции по русской литературе. М., 1999. С. 9—10.

В личном плане вехой разрыва с демократическими кругами стало окончательное расхождение с Тургеневым. Оно не было обозначено какими-то разговорами или действиями. Просто — разошлись... За несколько месяцев до этого Тургенев, как помним, способствовал публикации критической статьи Леонтьева о своем романе «Накануне». Но, возможно, это стало толчком к тому, чтобы перестать поддерживать даже видимость прежних отношений. Позднее, в 1876 году, Тургенев прислал Леонтьеву последнее свое письмо с советом отказаться от написания романов и беллетристики, утверждая, что Константину Николаевичу больше удаются не художественные произведения, а «ученые, этнографические и исторические сочинения»[1]. Леонтьеву хватило выдержки, чтобы промолчать, но тургеневское письмо болезненно задело самолюбие — ведь его произведения отверг человек, который сам и благословил его на литературное поприще. Справедливости ради надо сказать, что и Леонтьев не раз довольно резко отзывался о романах Тургенева: то, по его мнению, автора «Рудина» и «Дворянского гнезда» «духовно не стало» после публикации «Отцов и детей», то Тургенев стал «ничтожен как прах», написав «Дым»... Думаю, до Тургенева доходили некоторые из этих оценок.

Позднее Леонтьев четко отделил свое доброе отношение к Тургеневу-человеку (красивый, добрый, светский человек, протянувший ему руку помощи в трудное время, — *благодетель*) от своего мнения о нем как писателе (талантливый, но *не оригинальный* писатель, уступавший по силе дара многим современникам). В конце жизни Константин Николаевич написал искренние воспоминания о Тургеневе, где попытался показать обе эти стороны. Там есть и такое рассуждение: «Нельзя, разумеется, и теперь не ценить таланта Тургенева, но нельзя же и равнять его, напр., хоть бы со Львом Толстым, а в некоторых отношениях его надо поставить ниже Писемского, ниже Достоевского, ниже Щедрина. По лиризму — гораздо ниже Достоевского; по широкой и равномерно разлитой объективности — ниже Писемского; по силе ядовитого комизма (от которого Тургенев был все-таки не прочь) и по пламенной сатирической злобе — ниже Щедрина, за которым и не разделяющий его направления человек должен все-таки признать эти свойства»[2].

---

[1] Письмо И. С. Тургенева от 4 (16) мая 1876 г. // *Тургенев И. С.* Полное собрание сочинений: В 28 т. Письма. Т. 11. С. 258.

[2] *Леонтьев К. Н.* Мои дела с Тургеневым и т. д. // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 95.

Наверное, Леонтьев слишком резок. Без «Рудина», «Дворянского гнезда», «Муму», «Отцов и детей» невозможно представить себе русскую литературу. В дневниках Дурылина есть прекрасные строки о том, как он перечитывал уже в советское время тургеневскую «Асю»: «Словно сжимал в руке старый, пожелтелый от времени, маленький, тонкий-тонкий платок, пропитанный нежными дорогими духами, тоже старый, благородный запах... Та девушка, кому принадлежал платок, давно в могиле, а от платка струится тот же запах, по-прежнему чистый и нежный, тонкий и милый... И подносишь, подносишь платок к лицу и бесконечно и благодарно вдыхаешь его драгоценный аромат»[1]. Драгоценный аромат многих романов и повестей Тургенева вряд ли когда-нибудь выветрится из русской культуры...

А вот Тургенев в определенной степени оказался прав в своих суждениях о Леонтьеве: беллетристические произведения Леонтьева полны очарования, некоторые просто превосходны, но они не производят впечатления полностью отделанных вещей, шедевров. В этом смысле Тургенев и Леонтьев были художниками, противоположными по стилистике. Произведения Тургенева — отточенные и выверенные, пусть подчас и холодно рассудочные, как, например, «Дым». Романы и рассказы Леонтьева — живые, исповедально-страстные, но не обработанные, с провалами в действии и отсутствием динамики повествования.

Впрочем, лучшие романы Леонтьева были еще впереди — Тургенев не читал ни «Исповеди мужа», ни «Египетского голубя», ни «Одиссея Полихрониадеса». И вместе с тем Грифцов справедливо писал о лирических романах Константина Николаевича: «Когда знаешь позднейшее учение Леонтьева, от его блеска меркнут эти романы»[2].

В 1861 году в «Отечественных записках» были опубликованы «Подлипки». Роман прошел незамеченным. Получив гонорар от редакции (и еще 500 рублей авансом, за следующий, пока не оконченный роман), Леонтьев, не поставив в известность родных, уехал в Феодосию, где 19 июля женился на Лизе Политовой.

Они не виделись три года, и объяснить этот поступок Леонтьева не так просто. Возможно, в хмуром Петербурге воспоминания о простой, но яркой крымской жизни, не замутненной журнальными склоками, о красивой и страстной

---

[1] *Дурылин С. Н.* В своем углу. М., 2006. С. 445.

[2] *Грифцов Б. А.* Судьба К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. В 2 кн. Кн. 1. СПб., 1995. С. 296.

любовнице, не требовавшей от него никаких обязательств, приобрели особые очарование и ценность. К тому же рядом с Леонтьевым не было тогда постоянной возлюбленной, и он чувствовал себя одиноко. Может быть, сказался и его эстетизм — свежая, естественная Лиза так резко контрастировала со скучными петербургскими дамами! В одной из повестей Леонтьев описывает разговор двух мужчин о необразованной, *простонародной* милой девушке. Один из собеседников, брат девушки, говорит: «Однако петербургская девица или дама не ей чета!» На что второй убежденно отвечает: «Какая дама! ...Я в Петербурге знал одну даму, Лизавету Гавриловну Бешметову; так она сама себя звала: *женщина-человек,* все искала обмена идей, а чтобы подать пример умеренности, носила все одно и то же платье из люстрина, цвета гусиного помета. И вы думаете, что я предпочту ее вашей сестре?»

Впрочем, в исследовательской литературе существует и другое объяснение этой загадочной и внезапной женитьбы. Так, С. Лукашевич, американский биограф Леонтьева, полагает, что он осознал свою гомосексуальность и решил подавить ее[1], женившись на женщине, с которой у него в прошлом были нормальные отношения. На это есть намек в письме 1892 года Василия Васильевича Розанова. Но не стоит забывать, что Розанов с Леонтьевым *никогда* не встречался, они были знакомы лишь по письмам. Более того, Розанов получил первую информацию о Леонтьеве от Н. Н. Страхова и С. А. Рачинского — оба откровенно не любили Константина Николаевича. К тому же и сам Розанов придавал *тайне пола* подчас чрезмерное значение в своих работах — не случайно проводят параллели между его взглядами и взглядами З. Фрейда. (Леонтьев — «русский Ницше», Розанов — «русский Фрейд», Данилевский — «русский Шпенглер»; все эти клише обозначают некую вторичность русской мысли, подчас неоправданно. И Леонтьев, и Розанов, и Данилевский развили свои концепции абсолютно самостоятельно и *до* своих западных «прототипов». Тем не менее эти штампы прочно вошли в наше сознание.)

Тема гомосексуальности Леонтьева нуждается в пояснении. С одной стороны, многие события и факты его жизни могут быть проинтерпретированы в этом ключе: его отношение к Георгиевскому и некоторым другим приятелям, напоминающее скорее влюбленность, чем дружбу; женоподобность, сохранившаяся у Леонтьева с детства; молодые красивые слу-

---

[1] См.: *Lukashevich Stephen*. Konstantin Leontev (1831—1891). New York, 1967. P. 55.

ги, которыми он себя окружал в период финансового благополучия, и нескрываемое им в то время сладострастие, желание всё испытать... Можно вспомнить и замечание Маши Леонтьевой, сделанное в разговоре с Дурылиным, о «своеобразии» семейной жизни дяди[1].

С другой стороны, неимоверное количество романов Леонтьева с женщинами позволяет говорить лишь о его бисексуальности, да и то в сослагательном ключе, потому что достоверных данных о его сексуальных связях с мужчинами нет; велика вероятность, что эта сторона его личности так и осталась латентной, неосуществленной. Леонтьева не раз сравнивали с красавцем Алкивиадом, намекая не только на характерное для него в начале жизни стремление к чувственным наслаждениям, но и на бисексуальность, присущую античному афинскому обществу. Не случайно и Иваск подчеркивает андрогинность Леонтьева в своей книге.

Действительно, Леонтьев ценил не только женскую, но и мужскую красоту — это видно из его литературных описаний. Что это? Крайний эстетизм, позволяющий любоваться буквально всем, даже бронзовой пуговицей на сюртуке, или приверженность «Афродите небесной», любви мужчины к мужчине, которой отдавали свою дань Фидий и Платон? Не знаю. Тут исследователь вступает на зыбкую почву предположений и догадок.

Вот что писал Василий Васильевич по поводу женитьбы Леонтьева: «А грехи его — тяжкие, преступные грехи — да простит ему милосердный Бог наш; а главное — да простит ему его великую вину перед женой, неискупимую, страшную. Вот в том, что будучи таковым, он все-таки женился и сделал несчастною неповинную женщину, — его тягчайшая вина; верно, он думал исцелиться ею, но не исцелел, а другую погубил»[2]. Тем не менее позволю себе не принимать мнение Розанова на веру, безоговорочно.

Если Леонтьев хотел «исцелиться», то повел он себя странно: женившись на Лизе, оставил жену в Крыму и вернулся осенью в Петербург один. Малограмотная Лиза, конечно, не была ему ровней ни в каком отношении, их брак — продлившийся до самой смерти Леонтьева — стал трагическим для обоих. «Только тогда легко жить с человеком, когда не считаешь ни себя выше, лучше его, ни его выше и лучше себя», —

---

[1] См.: *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 300.

[2] Письма В. В. Розанова к Н. Н. Страхову. 1892 год // Энтелехия. Научно-публицистический журнал. [Кострома], 2000. № 1. С. 90.

утверждал Лев Толстой. С Лизой у Леонтьева ситуация была совсем не подходящей под этот толстовский рецепт семейного счастья.

Впрочем, в браке Леонтьев никогда и не искал интеллектуального единения, «обмена идей». В лучшем случае искал дружбы, которую он понимал как свободу супругов жить так, как им нравится. Еще в письме к матери из крымского Тамака, сообщая о сватовстве к Маше Кушниковой, он высказал свое представление о семейной жизни: «...крепкая дружба, немного чувственных радостей... взаимное уважение и общие планы при полной откровенности, — вот что я хотел бы найти в женщине, чтобы быть ее мужем. — Небольшая ссора раз в месяц меня бы не обескуражила»[1]. С простодушной Лизой, в отличие от умной и светской мадемуазель Кушниковой, даже «общих планов» быть не могло, хотя «чувственные радости», судя по всему, имели больше веса.

В одном из поздних романов, «Две избранницы», Леонтьев описывал схожую ситуацию. Его герой, Матвеев, тоже оставил возлюбленную в Крыму (в образ этой героини автор вложил черты не только Лизы Политовой, но и другой своей любовницы — неграмотной молдаванки Лины из Стамбула) и тоже спустя несколько лет вернулся туда. Но, хотя сердце его забилось при виде гор, моря, белых домиков на берегу, оставленная девушка показалась ему изменившейся, не такой, как он рисовал ее в своем воображении. «Матвееву жениться вовсе не хотелось»[2]. Более того, у него стали появляться мысли, что вокруг много девушек его круга и он может составить очень хорошую партию — «взять девушку, равную себе по всему, по привычкам, по воспитанию, по красоте, а по средствам и гораздо выше себя»[3].

В романе есть и еще одно рассуждение — о том, что полюбить женщину во второй раз как любовницу трудно, но чувство к ней может видоизмениться, стать другим, любовью-заботой, без эротического оттенка. Наверное, так произошло и с Константином Николаевичем, когда спустя три года он увидел Лизу. Ощущения и мысли романного Матвеева Леонтьев описывал так: «Ходил я по саду один... и думал с утра до вечера — что мне сделать? Увезти ее куда-нибудь с собой? Но в каком обществе она будет жить? Кто ее примет? Не могу же я

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 347.

[2] *Леонтьев К. Н.* Две избранницы // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 135.

[3] Там же.

расстаться навек со всеми своими привычками... А если мне станет слишком скучно и она утомится моим равнодушием и... полюбит другого в развратном Петербурге, где так страшна нужда, где сносны только пышность и богатство, и станет она любовницей человека, который не сумеет и понять, что она *моя Лина*, что она *бедная Лина, глупая Лина*, — и втопчет ее в грязь, и оскорбит, и бросит, и осквернит ее уже одним пошлым приближением своим... И будет там кухня близко, и будет кухней пахнуть около нас; и на дворе будет идти дождь, и я буду ходить к дамам... Дома будет скучно; в гостях ужасно все это будет — женюсь ли я на ней, возьму ли я ее с собой просто...»[1]

У Матвеева нет и тени страстной любви, он *жалеет* Лину. В конце концов он спрашивает ее, чтó она предпочитает: чтобы он женился на ней и уехал без нее в Петербург или чтобы взял ее с собой любовницей? Девушка предпочитает уехать с ним, хотя бы и любовницей. Тогда Матвеев сознается, что любовь прошла, ему легче жениться, чем взять ее с собой. Лина отвечает: «Если уж ты непременно хочешь оставить меня, если я тебе надоела, тогда женись. Меня тогда меньше обижать будут»[2]. Матвеев решается на благородный поступок — ему легче будет дышать на свете, зная, что спас Лину от унижения и нужды. «За то добро, которое я ей сделал, за ту радость, которую ей доставил, — я требовал только одного, чтобы она меня не стесняла», — все же оговаривает Матвеев условие «благородного спасения». Фабула этой истории явно автобиографична, и приведенная в романе мотивация женитьбы героя, похоже, соответствовала реальным взаимоотношениям Леонтьева с Лизой Политовой.

Стоит привести еще одно суждение Леонтьева о семейных узах — его письмо другу, датированное 1873 годом. Константин Николаевич писал в нем, что брак — это тяжкий долг, налагаемый обществом, и сравнивал его с податями и войной. «Работа и война имеют свои поэтические и сладкие минуты, ими можно восхищаться, но надо помнить, что одна большею частью нестерпимо скучна, а другая очень опасна и тяжела. Отчего же на брак не хотят смотреть как на общественное тягло, которое иногда не лишено поэзии, но от войны и тяжелой работы отличается тем, что война опасна, но не скучна, а работа большею частью скучна, но не опасна физически? Брак же для женщины опасен физически, а для мужчины — скучен

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Две избранницы // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 136.

[2] Там же. С. 137.

большею частью крайне... Если я ни разу не каялся, что женился... то это оттого, что я шел в церковь без очарования и кроме худа для себя от брака ничего не ждал и все мало-мальски хорошее принимал за дар судьбы»[1]. Это удивительно честное признание также может служить доказательством угасшей влюбленности в невесту, сменившейся благородным намерением облегчить жизнь некогда любимой женщине — не более того.

Феодосию Петровну женитьба сына вряд ли обрадовала — это был явный мезальянс. Она была убеждена (и оказалась права!), что великодушный поступок сына сделает несчастными и его самого, и его жену. Впрочем, к ее чести надо сказать, что Лизу, так не похожую на нее саму, она потом искренно полюбила — за незлобивое сердце, смирение, любовь к Костиньке. Однако в тот момент ей было не до свадьбы сына — она очень плохо себя чувствовала, и даже уставной грамотой, которую необходимо было сделать в связи с Манифестом об освобождении крестьян, занимался сосед, барон фон Шиллинг.

На момент манифеста в Кудинове числилась 71 крепостная душа. До выкупа крестьянами своих наделов они платили Феодосии Петровне оброк общей суммой 567 рублей серебром в год. Остальная земля сдавалась крестьянам в аренду, что ежегодно приносило всего-навсего 450 рублей, уходивших на оплату процентов по займу (Кудиново было заложено). Небольшим подспорьем стали разрешение на ловлю рыбы в кудиновских прудах и отрабатываемая крестьянами барщина. Иными словами, наступило безденежье, а любимый сын, перебивающийся переводами, помочь ей ничем не мог. Отсутствие денег вынудило Феодосию Петровну спустя несколько лет продать кудиновский господский дом «на своз». В имении остались лишь три летних флигелька: «девичий» (где жила Феодосия Петровна, а также Маша и Лиза, когда приезжали в Кудиново), столовая и тот, где останавливался Константин Николаевич. На зиму Феодосии Петровне приходилось теперь уезжать к сыну Владимиру, в Петербург.

Продажа дома стала тяжелым событием для Феодосии Петровны. Когда в Кудинове раздался стук топоров и визг пил, поседевшая худенькая старушка зажала уши руками и горько заплакала. У Маши Леонтьевой сохранился последний портрет бабушки, на который Леонтьев не мог смотреть без горечи: его мать, «которая так долго держалась, которая была так

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 16 января 1873 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891) / Публ., предисл. и коммент. Д. Соловьева. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 86—87.

долго бодра, свежа, неутомима, горда, самовластна, хотя и всегда пряма и благородна... на этом портрете так жалка и так убита... На сморщенном лице, прежде столь открытом и надменном, в потухающих глазах, во всем видно столько уныния, столько немого отчаяния, такая мольба о пощаде...»[1]. Жизнь приготовила много горестей для гордой и умной Фенички Карабановой, но она всегда встречала удары судьбы с достоинством. В старости и ее терпение подошло к концу...

Для Леонтьева 1861 год стал переломным. Сам он со временем придавал все большее значение мистике цифр в своей жизни[2]. Начало десятилетий бывало связано с тяжелыми испытаниями и переворотами в его судьбе. 1831 — рождение; 1841 — он покинул родное Кудиново для учебы; 1851 — год первого писательского сочинения, одобренного Тургеневым; 1861 — женитьба, сыгравшая трагическую роль в его жизни, разрыв с Тургеневым, отход от либерализма; 1871 — год религиозного обращения; 1881 — потеря Кудинова; 1891 — год смерти... Однако в начавшемся десятилетии Леонтьева ждало и неожиданное пряное счастье — судьба ему готовила резкий поворот.

Жизнь в столице богата на встречи. Так, случайно (если есть что-то случайное в жизни) Леонтьев познакомился со служащим Азиатского департамента, будущим русским консулом на острове Сира Г. К. Дубницким. Дубницкий рассказал ему о своей дипломатической службе, о жизни на Балканах, чем Леонтьев был зачарован.

Балканы тогда будоражили умы и воображение русских. В 1861 году там полыхало очередное антитурецкое Герцеговинское восстание, к которому примкнула Черногория. Восстание было жестоко подавлено, но в том же году Сербия провозгласила полную автономию во внутренних делах и создала собственную армию, которая изгнала турецкий гарнизон из Белграда. Балканы кипели!

Леонтьев написал 7 марта 1861 года письмо Ивану Сергеевичу Аксакову, который издавал тогда в Москве еженедельную газету славянофильского направления «День», — в надежде, что «День» захочет иметь своего корреспондента в «горячей точке», и просил послать его на Балканы. Аксакова он помнил еще с гимназической поры, когда тот служил в Калуге и бывал у Унковских, хотя на подростка Леонтьева, конечно, внимания

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 122.

[2] См., к примеру: *Леонтьев К. Н.* Письмо кн. К. Д. Гагарину от 11 мая 1888 г. РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 33. Л. 1.

не обращал. Встречались они и в имении Шатилова в Крыму, куда Иван Сергеевич заезжал на пару дней погостить. Леонтьев надеялся (впрочем, напрасно), что Аксаков его вспомнит. Он писал Аксакову о своем желании «ехать туда, где есть жизнь и поэзия», убеждал, что может оказаться полезным в кипящих турецких владениях (в том числе своими познаниями в медицине, коли дело дойдет до сражений)... Командировка не состоялась, но мысль о Балканах прочно засела в голове Константина Николаевича.

К этому времени политические взгляды Леонтьева изменились: «...мне стали дороги: монархия, чины, привилегии, знатность, война и самый вид войск; пестрота различных положительных вероучений и т. д.»[1]. Еще совсем недавно, в усадьбе у баронессы фон Розен, Леонтьев стеснялся присвоенного ему чина коллежского асессора по Министерству внутренних дел: быть на службе у нелиберального государства казалось ему постыдным. Теперь же он стал «охранителем», сторонником иерархического устройства общества, убежденным консерватором, и идея службы Государю и Отечеству его не только не стесняла, но привлекала. Как Леонтьев относился теперь к либерализму, видно из его мимолетного замечания, хоть и сделанного по другому поводу: «Один молодой и умеренный либерал, не совсем дурак, но, конечно, и не умный...»[2] Великолепная убежденность, что либералом умный человек, способный к критическому мышлению, быть не может!

Нельзя не упомянуть о двух событиях, ускоривших «созревание» леонтьевской позиции. Первое событие — литературно-критическое. Речь идет о журнале «Современник». Журнал, основанный еще Пушкиным, при руководстве Н. А. Некрасова и И. И. Панаева сильно изменился. Как вспоминал Леонтьев, там всегда и всё злобно ругали. Журнал стал в его глазах олицетворением нигилизма и вредоносности, вызывал у него абсолютное неприятие, граничащее с отвращением. Он мог уважать лично Добролюбова, но позиция «Современника» его возмущала. К тому же ему не нравился Некрасов — ни лично, ни как поэт. В одном из поздних писем он вспоминал: «Некрасов просто был подлец, который эксплуатировал наши модные чувства, наши демократические

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Н. П. Игнатьев // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 400.

[2] *Леонтьев К. Н.* Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 17.

наклонности 40—50 и 60 годов, нашу зависть к высшим, нашу лакейскую злость, и писал обо всем этом, за немногими исключениями, “деревянными виршами”»[1].

Второе событие — вспыхнувшее в 1863 году польское восстание, которое сильно подогрело его патриотически-охранительные чувства. Его взгляды окончательно оформились под воздействием этих факторов, что он и сам признавал: «Нигилизм “Современника” пробудил в одних задремавшие воспоминания о церкви, столь родной семейным радостям детства и молодости; в других — чувство государственное, в третьих — ужас за семью. “Современник” и нигилизм, стремясь к крайней всегражданственности, насильно возвращали нас к “почве”. Наконец, поднялась буря в Польше... Поляки хотели посягнуть на целость нашего государства! Не довольствуясь мечтой о свободе собственно польской земли, они надеялись вырвать у нас Белоруссию и Украйну... Вы знаете, что было! Вы знаете, какой гнев, какой крик негодования пронесся по всей России при чтении нот наших непрошеных наставников... <...> С тех пор все стали несколько более славянофилы... и грубых европеистов стало все-таки меньше, я думаю...»[2]

Удивительно, что свою роль в отказе Леонтьева от демократических идеалов сыграл и либеральный философ-позитивист Джон Стюарт Милль. Статьи и книги Милля, известного логика и сторонника классической политэкономии, имели популярность среди русской интеллигенции XIX века, о его взглядах спорили на страницах журналов и в салонах, на него ссылались. Леонтьев читал английского мыслителя еще у Розенов, здесь же, в Петербурге, взялся за перевод книги Милля «О свободе». Казалось бы, что могло быть дальше от формирующегося леонтьевского охранительного консерватизма, чем Милль, мечтавший о всеобщем труде, эмансипации женщин, общественной собственности и равенстве! Но логика духовного развития подчас бывает парадоксальной: как на эстетизм Леонтьева оказал влияние демократ Герцен с его критикой мещанской Европы, так леонтьевский консерватизм получил теоретическую поддержку в работах Милля, обосновывающих реформы. Леонтьев увидел у Милля не его утилитаризм и веру в окрашенный в либеральные тона прогресс, а ярко выраженный индивидуализм.

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к И. И. Фуделю от 6 июля 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 495.

[2] *Леонтьев К. Н.* Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 298.

Он подхватил идею Милля о том, что во многих современных западных обществах демократические институты, сыграв положительную роль в прошлом, в настоящем начали стирать разнообразие и оригинальность. Яркая личность может появиться только в иерархическом, неоднородном обществе, где нет диктата общепринятой морали, общих мнений, требований равенства во всем. Следовательно, делал Леонтьев вывод, совершенно противоположный выводам Милля, — требования демократического уравнения убийственны для индивидуума. По Миллю, «достоинство государства зависит, в конечном счете, от достоинства образующих его личностей»; граждане же деспотических государств таким достоинством не обладают, они ничто, строительный материал для государственного величия. У Леонтьева логика иная: как раз тогда, когда государство не слишком печется о личностях, они и появляются, формируясь в борьбе, а не в тепличных условиях парникового равенства.

Впрочем, поскольку «исторический день» России и европейских стран не одинаков, то демократические принципы, уже ставшие губительными, например, для Англии, еще не столь вредны для России. «...деспотизм смертоносной золотой середины еще не так страшен для нас»[1], — был убежден Леонтьев. Россия разнообразна этнографически, да и крепостное право задержало смешение разных сословий, помогло сохранить иерархизм. В этой связи Леонтьев предложил довольно необычную оценку крепостничества: «глубокое, долгое разъединение сословий, *вчера* крайне вредное, дало, однако, возможность отстояться далеким друг от друга формам и *завтра* может стать полезным, благоприятствуя развитию самобытных личностей»[2]. Благодаря такому долгому «отстаиванию» провозглашенное юридическое равенство еще может «освежить» Россию, а не погубить ее в однообразии.

Сокращенный перевод двух глав сочинения Милля был опубликован весной 1862 года в журнале «Русский инвалид» без указания имени переводчика. Интерес Леонтьева к Миллю важен для понимания его духовной эволюции. Во-первых, на труды Милля он неоднократно ссылался в своих статьях, воздействие идей английского мыслителя на Константина Николаевича было значительным. Во-вторых, случай с Миллем показателен: даже испытывая влияние со стороны других, Леонтьев практически никогда не следовал в фарватере чужих

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мнение Джона-Стюарта Милля о личности // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 8—9.

[2] Там же. С. 8.

мнений, не был «последователем» и «учеником». Будучи *оригинальным* мыслителем, он причудливо переодевал заинтересовавшие его мысли.

Тогда же Леонтьев начал восхищаться великодержавными статьями Каткова, которого когда-то, студентом, свысока пожалел. Надо сказать, что особых симпатий человек Катков у него никогда не вызывал, — он считал, что у него нет «творческой искры», достаточного кругозора. Но публицист Катков, «государственный практик» Катков вызывал у Леонтьева подчас восхищение. Катков в это время (вместе с однофамильцем Константина Николаевича, П. М. Леонтьевым) редактировал «Московские ведомости», тираж и известность которых росли с каждым годом. Деятельность этого издания властями воспринималась как чрезвычайно полезная и нужная; достаточно сказать, что, хотя Катков не состоял на государственной службе, ему присвоили чин статского советника (а позднее он станет и тайным). Катков стал государственным деятелем без государственной службы.

Об отношении к Каткову «прогрессивной» интеллигенции лучше всего расскажет следующий случай. На открытии памятника Пушкину в 1880 году в Москве после знаменитой речи Достоевского, «помирившей» западников и славянофилов, радикалов и консерваторов, присутствующие обнимались, жали друг другу руки — это был момент великого политического примирения (недолгий!). Протянул руку и Катков стоявшему неподалеку Тургеневу. Тургенев демонстративно его руки не принял, чем заслужил одобрение всех либералов: Катков был для них пугалом. Именно тогда Леонтьев, эпатируя эту либеральную общественность, предложил в одной из статей «заживо политически канонизировать Каткова» и «открыть подписку на памятник ему». За что же, по мнению Леонтьева, стоило вознести такую «медную хвалу» Каткову? За то, что он последовательно защищал «Церковь, Самодержавие и Дворянство (отчасти и Народность)».

Леонтьев видоизменил известную уваровскую формулу — «Православие, Самодержавие, Народность», — внеся в нее дворянство: ведь яркие личности появлялись именно среди дворянства, без дворян лицо России потеряло бы своеобразие и оригинальность, потому его тоже стоит защищать от уравнительно-демократических нападок. В 1860-х годах Леонтьев еще не учил читателей «как делать реакцию», он был гораздо умереннее, но уже тогда позиции Каткова и Леонтьева в польском вопросе и в оценке других общественных событий стали близки — в результате Катков пригласил Леонтьева печататься в своем журнале.

Лето 1862 года Леонтьев провел в Кудинове. Туда же приехала и Лиза. В имении в это же время гостили две племянницы Леонтьева — Маша и дочь одной из его сестер Катя Самбикина[1]. Летнее Кудиново было красиво и оживленно по-прежнему, но осенью, когда Леонтьевы остались там втроем — Феодосия Петровна, Константин и Лиза, — поблекли не только краски за окном, но изо всех углов выглянула настоящая нужда. Экономили на всем, даже на дровах, и в доме было очень холодно. Особенно мерзла южанка Лиза. Леонтьев впал в настоящее уныние: он мечтал о блестящей жизни, был уверен в своей будущей славе, но к тридцати годам не только славы не было и в помине, но и денег недоставало на еду и дрова... Лиза переносила лишения с кротостью, но тем горше становилось Леонтьеву от сознания своей неспособности обеспечить близких. В конце концов Феодосия Петровна уехала в Петербург, к сыну Владимиру. Вскоре отправился туда и Константин, но Лизу с собой в столицу не взял, отправив ее на зиму к соседям Детловым, которых знал с самого детства, — они жили в десяти верстах от Кудинова.

В Петербурге судьба опять слегка подтолкнула леонтьевскую жизнь к новому повороту. Толчком стала встреча с другом калужского детства Михаилом Хитрово. Брат Леонтьева в один из дней неожиданно встретил «Мишу Хитрово» на петербургской улице. Они разговорились, и Владимир Николаевич упомянул, что Константин тоже в столице. Хитрово просил передать, что очень хотел бы с ним увидеться, но скоро уезжает по делам службы в Битолию, куда назначен консулом. Узнав об этом, Константин Николаевич в тот же день отправился в гостиницу «Наполеон» на Исаакиевской площади, где Хитрово остановился. Его в номере не оказалось, а слуга сказал, что наутро они с барином уезжают в Турцию. Почему Леонтьев решил дождаться друга и задержался в его номере до глубокой ночи, трудно сказать. Он и сам позднее не мог этого объяснить, но последующий полуночный рассказ Хитрово о дипломатической службе, борьбе за российское влияние в Балканских странах, о *другой* жизни, столь не похожей на петербургское *прозябание*, запомнился ему надолго. Немаловажным для Леонтьева был и тот факт, что Хитрово был красив, смел, остроумен, писал стихи, очерки — он не походил на «честных газетных тружеников», окружавших Константина Николаевича... Именно тогда Леонтьев впервые всерьез подумал о дипломатической службе. Осуществиться этим мыслям помогли два обстоятельства.

---

[1] В будущем Екатерина Васильевна Самбикина (1842—1911) стала игуменьей Казанской Амвросиевской женской пустыни в Шамордине.

Во-первых, брат познакомил его с вице-директором Азиатского департамента Министерства иностранных дел Петром Николаевичем Стремоуховым. Сын богатого курского помещика, Стремоухов довольно быстро сделал карьеру благодаря хорошей памяти и дару слова. Некоторое время он служил в Крыму — это и стало точкой соприкосновения с Леонтьевым, мечтавшим о службе на Балканах. Стремоухов «замолвил словечко» за Леонтьева директору департамента графу Николаю Павловичу Игнатьеву. А тут и еще одна случайность помогла Леонтьеву: в Петербург приехал Дмитрий Григорьевич Розен и познакомил Константина Николаевича с графом Н. Н. Зубовым, который тоже рекомендовал молодого человека графу Игнатьеву. Так судьба Леонтьева оказалась на несколько лет связана с этим неординарным человеком.

Граф Игнатьев[1] начинал свою карьеру на военном поприще: в 27 лет он уже был генералом. Николай Павлович участвовал в Парижской мирной конференции 1856 года, и благодаря именно его настойчивости российская граница вблизи Дуная по условиям Парижского договора была проведена не так, как настаивали представители Англии и Австрии, а более выгодным для России образом. С этого момента началась его сугубо дипломатическая деятельность. В 1861 году он был назначен директором Азиатского департамента, и не случайно: граф был известен своими панславистскими взглядами, хорошо знал ситуацию на Балканах, да и в Китае, Бухаре, Хиве побывал с дипломатической миссией. А через несколько лет Игнатьев стал чрезвычайным российским посланником при Оттоманской Порте.

Защита славян создала Игнатьеву громкую известность в Юго-Восточной Европе; в Болгарии же он стал национальным героем — в Варне до сих пор стоит памятник русскому генералу, а на картах болгарских городов можно встретить улицы и площади, носящие его имя. Николай Павлович был на год моложе Леонтьева; встретились они, когда один уже был большим начальником, а второй лишь собирался сдавать консульский экзамен. Но в чем-то они были схожи: оба умны, отважны, решительны, честолюбивы, оба верно служили самодержавной России, оба мечтали о времени, когда Константинополь станет Царьградом. Не случайно Игнатьев умеренно покровительствовал Леонтьеву.

---

[1] В исторической литературе встречается немало упоминаний о Н. П. Игнатьеве, человеке незаурядном и много сделавшем для России. Потомки графа издали очерк о его жизни, к которому я и отсылаю заинтересованного читателя: Они строили Россию. Игнатьевы // Альманах «Другие берега». М., 2008.

Благодаря содействию Игнатьева 11 февраля 1863 года Константин Николаевич, после сдачи необходимого экзамена, поступил на службу канцелярским чиновником в Азиатский департамент. «Поступил я на консульскую службу... гораздо более по эстетическому, чем по политическому побуждению; не знаю — каяться ли мне в этом, или гордиться? — вспоминал Леонтьев. — Предпочитаю гордиться; потому что правильная и глубокая эстетика всегда, хотя бы незримо и бессознательно, содержит в себе государственное или политическое чувство»[1]. Две залы департамента располагались на Певческом мосту; в одной зале помещались бумаги, касающиеся ближневосточных дел, в другой — весь Дальний Восток. Леонтьев оказался на «Ближнем Востоке».

За девять месяцев службы он смог «продвинуться» по иерархической лестнице до помощника столоначальника. Его работа заключалась в изучении архива Министерства иностранных дел. «В Петербурге я читал много консульских донесений, новых и старых, образцовых и плохих...»[2] — вспоминал Леонтьев. Там, в архиве, он познакомился с консулом Ступиным из Адрианополя. Консул приехал в Петербург с жалобой на посла. Леонтьев еще не знал, что в один прекрасный день он окажется в Адрианополе как преемник консула, но уже тогда Ступин ему очень понравился. «Идеальный русский консул» — так он охарактеризовал его. В конце концов 25 октября Леонтьев был назначен секретарем и драгоманом[3] консульства в городе Кандии, на острове Крит. Его мечта вырваться из Петербурга сбылась.

Еще до отъезда, в 1863 году, Леонтьев завершил «В своем краю». О работе над романом он рассказывал Маше, которая очень интересовалась всем, что выходило из-под пера дяди. Феодосия Петровна тоже знала о романе и в письмах внучке признавалась, что он «наводит на нее большой страх»: ей рассказали, что речь в нем идет о молодом человеке, который поступает не в согласии с правилами, а соответственно своим, оригинальным, взглядам. А ну как взгляды крамольные? За такие взгляды и наказать могут! (Феодосия Петровна как в воду глядела: Милькеев в романе попадает в тюрьму, хотя и говорится об этом в тексте глухо и неясно.) Маша, которая лучше представляла себе фабулу, успокаивала бабушку и ждала выхода романа с нетерпением.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Н. П. Игнатьев // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 399—400.

[2] *Леонтьев К. Н.* Мои воспоминания о Фракии // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 163.

[3] Переводчиком.

Надо сказать, что Маша изменилась за последние два года: из подростка она превратилась в худенькую девушку, глядевшую на дядю влюбленными глазами. Леонтьев не мог не заметить того, что Машино восхищение его талантом, неординарностью, умом перерастало во что-то большее. Он не знал, что делать: Маша была ему дорога, он привык к их долгим разговорам, к ее готовности помочь, его сердце теплело при взгляде на ее нежный профиль, но Маша была не только чрезвычайно молода по сравнению с ним, *женатым* мужчиной, она была его племянницей! Леонтьев старался не замечать явных признаков ее любви и нарочито делал вид, что всё в их отношениях остается по-прежнему.

В позднем романе Леонтьева «Подруги» его героиня Соня, жизнь которой удивительно напоминает жизнь Маши, влюблена с пятнадцати лет в двоюродного брата Александра, много старше ее. В один из его приездов в Петербург между кузенами происходит такая сцена: «...она вдруг кинулась к нему... стала перед ним на колени и начала целовать его руки. — А он руки не принимал, — но сам не целовал ее и сидел молча... Потом отодвинул ее слегка, встал и, задумчиво мешая щипцами в камине, сказал: “Молода ты еще слишком. — Вот что!” И больше помину об этом долго не было...»[1] Возможно, эта сцена была навеяна Леонтьеву реальными событиями; во всяком случае, в материалах для своей биографии он записал напротив 1863 года: «...первые признаки любви со стороны Маши»[2]. В романе Александр уезжает, а юная Соня пишет ему в Туркестан, что никому не хочет «впервые принадлежать», кроме него, что сочтет за честь стать его любовницей и что о замужестве ее думать ему не надо («не нуждается она в таком женихе, который не поймет ее прошедшего и даже не оценит его, как следует»)[3]. Леонтьев тоже вскоре уехал, правда, не в Туркестан, а в Турцию, и переписка с Машей у него не прерывалась...

Незадолго до отъезда в жизни Леонтьева появился друг — Софья Михайловна Майкова, двоюродная сестра поэта Аполлона Майкова. Она была известна своими литературными переводами с немецкого и английского языков. Благодаря ей русский читатель, к примеру, познакомился с романами Вальтера Скотта и Фенимора Купера, некоторыми историями барона Мюнхгаузена. Софья Михайловна была свободолюбива,

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Подруги // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 512.

[2] *Леонтьев К. Н.* Хронология моей жизни // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 31.

[3] *Леонтьев К. Н.* Подруги // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 512.

не терпела никакого принуждения и в результате ушла из обеспеченной семьи, чтобы быть независимой. Именно тогда они и познакомились с Константином Николаевичем: оба жили переводами, в бедности, оба бредили литературой. Леонтьев достаточно часто виделся со своей новой приятельницей и ее сестрой Ольгой Михайловной. Он ценил их острый ум, прислушивался к их мнениям. У него даже появилась манера приговаривать во время бесед с девушками:

— Вам *всё* можно говорить, вы *всё* понимаете. На то вы и Майковы.

Дружба эта продолжалась долгие годы и породила множество писем. (К сожалению, они не сохранились.) Перед отъездом на Восток Леонтьев познакомил с Софьей племянницу Машу, надеясь использовать их как доверенных лиц в сношениях с редакциями.

Роман «В своем краю» был опубликован в «Отечественных записках» в конце июня 1864 года, когда Леонтьева уже не было в столице. Дудышкину роман очень понравился — он говорил знакомым, что не ожидал такой интересной вещи. Ж. Каподистрия, знакомый брата Владимира, француз, был в восторге от романа и даже захотел перевести его на французский язык. (Маша радостно сообщила об этом дяде в письме.) Сестры Майковы поздравили Леонтьева с публикацией, еще некоторые знакомые прислали ему свои письма по этому поводу. И — молчание в печати, сопровождавшее публикацию почти всех произведений Леонтьева! В 1870 году Константин Николаевич жаловался в письме Страхову: «Я сам без помощи критики, без похвалы и осуждений, в молчании и забвении... пробовал разные пути, разные приемы, разные манеры... Нет, Вы попробуйте наедине с самим собою — менять кожу, как я менял ее от 61 до 71 года! Это трудно!»[1] Впрочем, в этот раз заговор молчания был все-таки нарушен Салтыковым-Щедриным. Через месяц после публикации романа появилась его критическая статья без подписи в «Современнике».

Статья Салтыкова-Щедрина была обидной и не во всем справедливой. Он издевательски назвал произведение Леонтьева «романом-хрестоматией», обвинив автора в компиляции литературных приемов, сюжетов, тем из произведений известных писателей. По его мнению, Леонтьев «в один и тот же сосуд кладет и сильнодействующие средства г. Тургенева, и тараканные отравы г. Григоровича, и гнилостно-заражающие припасы г. Писемского. От этого в результате выходит не яд, а

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Н. Страхову от 19 ноября 1870 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 78.

мутный сироп, отнюдь не вредный, а в то же время и не полезный». С убийственной иронией Салтыков-Щедрин отнес Леонтьева в разряд «литературных архивариусов»: «В самом деле, прочитать до тридцати томов, сочиненных в разное время гг. Тургеневым, гр. Л. Н. Толстым, Писемским, Авдеевым и друг., сделать из этих сочинений выборки, привести эти выборки в систему, — все это для современника, не слишком отдаленного от того миросозерцания, которое руководило упомянутыми выше авторами, еще может быть делом занимательным, но для потомства подобная работа должна сопрягаться с чрезвычайным утомлением. Облегчить эту работу крайне полезно, и вот тут-то именно являются те драгоценные литературные архивариусы, которые трудолюбием своим оказывают истории литературы гораздо более услуг, нежели даже писатели, хотя действительно даровитые, но не настолько, чтоб целиком перейти в потомство. Архивариусы эти берут полное собрание сочинений знаменитейших авторов известной эпохи, компилируют их, делают из них резонированные выборки и затем предают свой скромный труд тиснению, как бы говоря публике: зачем тебе читать Тургенева, Толстого, Писемского и друг.? прочти лучше меня: тут найдешь ты все, что тебе нужно знать об этих писателях»[1].

Можно представить, что пережил самолюбивый Леонтьев, читая статью! Позднее, в заметке «Где разыскать мои сочинения после моей смерти», вспоминая статью Салтыкова-Щедрина, Леонтьев писал, что его роман «заслуживает строгого разбора», но по мысли он, конечно, был *самобытен*, не вторичен. Думаю, в признании самобытности романа с Леонтьевым нужно согласиться. Если «В своем краю» и перекликается в чем-то с тургеневской прозой (в описаниях природы, помещичьей жизни), то речь можно вести лишь о неявной стилистике. Щедрин же упрекал Леонтьева в прямых заимствованиях — он писал даже о том, что действующие лица у Леонтьева и других авторов похожи! Статья была написана ядовито, ярко, но иногда кажется — про какой-то другой роман. Во всяком случае, когда критик хотел проиллюстрировать свое мнение о заимствованиях конкретными примерами, у него это не получилось: тургеневская тетушка Татьяна Борисовна, вяжущая целыми днями чулок[2], вовсе не похожа на сильную и умную графиню Новосильскую, дети в романах Толстого —

---

[1] *Салтыков-Щедрин М. Е.* «В своем краю» К. Леонтьева // *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 5. М., 1966. С. 455—457.

[2] Речь идет о сочинении И. С. Тургенева «Татьяна Борисовна и ее племянник».

иные, нежели дети Новосильской, а уж Милькеев и вовсе ничем не напоминает цыгана-шалопая в «Затишье» Тургенева.

Почему же тогда, по позднейшему мнению Леонтьева, роман «заслуживает строгого разбора»? Дело в том, что Леонтьев делил всех писателей на ярких, «махровых» и «бледных», простых по стилю. К первым он относил, например, Гоголя и Шекспира, ко вторым — Пушкина и Гёте (как прозаиков). «Махровая» литература отличается обилием натуралистических подробностей, длинными монологами, нарочитой грубостью тона, вниманием к мелочам. Она ярка, подробна, зачастую комична. Именно такова, по мнению Леонтьева, была основная тенденция в современной ему русской литературе — сказалось мощное влияние на нее Гоголя[1]. Леонтьев же предпочитал благородную «бледность»: его завораживала простота языка «Капитанской дочки», отсутствие грубых подробностей в «Муму» Тургенева, прозрачность сюжета в рассказах Марко Вовчок. Излишний натурализм, считал он, отвлекает от сюжета, засоряет внимание ненужными подробностями, еще грубее действует юмор — потому зрелый Леонтьев очень критично относился к своим первым романам, не свободным от «махровости». Но вовсе не об этом писал Салтыков-Щедрин, чьи произведения тоже были вполне «махровы» по классификации Леонтьева! Статья была запоминающейся и остроумной, но поверхностной, случайной.

До отъезда из Петербурга произошло еще одно важное событие, которое оставило след в душе Константина Николаевича: он познакомился с Аполлоном Александровичем Григорьевым. Леонтьев написал позднее о нем строки, которые помогают понять его впечатление от этого человека: «Чем знаменита, чем прекрасна нация? — Не одними железными дорогами и фабриками, не всемирно-удобными учреждениями. — Лучшее украшение нации — лица, богатые дарованиями и самобытностью. — Лица даровитые и самобытные не могут без деятельности творчества; — когда есть лица, есть и произведения, есть и деятельность всякого рода»[2]. Таким самобытным и творческим «лицом», без сомнения, был и Аполлон Григорьев.

---

[1] Леонтьев вспоминал, что в это время «стал находить, что Гоголь какой-то гениальный урод, который сам слишком поздно понял весь вред, приносимый его могучим комическим даром». См.: *Леонтьев К. Н.* Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 298.

[2] *Леонтьев К. Н.* Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 14.

Поэт, автор песен и романсов, которые поют и сегодня (например, «Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная...» или «Две гитары за стеной жалобно заныли»), литературный критик, переводчик, Аполлон Григорьев стал центром кружка талантливой молодежи, собравшейся вокруг славянофильского журнала «Москвитянин». В этот «молодой, смелый, пьяный, но честный и блестящий дарованиями» дружеский кружок (так его рекомендовал Григорьев в мемуарах) входили Островский, Писемский, Л. А. Мей и др. Самое удивительное, что никто из этого кружка, включая самого Аполлона Александровича, не был «правоверным» славянофилом. Речь скорее может идти о неприятии западничества — «Москвитянин» давал возможность на своих страницах развивать идеи, несхожие с «прогрессивными» идеями «Современника», пытался учитывать русскую, а не европейскую действительность.

Вряд ли будет преувеличением утверждать, что начиная с 40-х годов общественная мысль России XIX столетия определялась спором западников и славянофилов. Евразийское положение страны приобрело поистине символическое значение для национального самосознания, и проблема выбора исторического пути, «модели» дальнейшего развития предопределила напряженный диалог этих двух течений на протяжении нескольких десятилетий.

Хотя славянофильство возникло как своеобразный протест против слепого «ученичества» и утверждения западниками исторической модели европейской цивилизации как единственно возможной, славянофилы были скорее не антизападниками, а «внезападниками». Хомяков, называвший Западную Европу в своих стихах «страной святых чудес», и многие другие славянофилы не отрицали Запад, но относились к нему как к прошлому — великому, но уже оставшемуся позади. Для них главным было обосновать особость, самобытность России и славянства, которые позволяют говорить о том, что русско-славянский мир — мир будущего и он не повторит западного пути.

Славянофилов объединяло понимание православия как главного фактора развития России. Специфика православного христианства, семя которого упало на славянскую почву, рассматривалась ими как «ключ» к специфике русской истории, как «клей», который обеспечивал единство страны. «Русь, — живое, цельное тело, а не мозаическая сборка иноверцев и иноплеменных, — писал, например, Иван Сергеевич Аксаков. — К этому телу могут прилепляться прочие народные личности и тела... — но весь смысл бытия, вся сила, ра-

зум, историческое призвание, весь исторический raison d'etre[1] — заключается именно в *святой* Руси»[2]. *Органичность* и целостность России, которую славянофилы противопоставляли западной раздробленности, выводилась именно из общей веры. Отсюда — задача «воспитания общества», его преобразования в «общество христианское, православное, скрепленное в своей вершине законом живого единства и стоящего на твердых основах общины и семьи».

Такой строгий, патриархальный, основанный на церковных началах идеал был чужд Аполлону Григорьеву. Вместе с тем его не устраивало и присущее западникам отрицание возможности *другого* исторического пути для России, восприятие ее как еще одной европейской страны. Леонтьев в своих воспоминаниях о Григорьеве писал, что тот «стоял особняком» — и западники, и славянофилы с их кружковщиной отталкивали его. Это было так похоже на самого Леонтьева! Он тоже не был «своим» ни здесь, ни там. Постепенно он становился ближе к славянофилам по своим взглядам на историю, но слишком многое отделяло его позицию неопределенного деизма и эстетизма от их религиозной философии; более того, Леонтьев еще не отрицал в то время ценности западного опыта для России.

К тому же речь шла не только о теоретических взглядах. Славянофилы — это не только учение, это еще и особые *бытие*, быт. Показательна в этом смысле семья Аксаковых: это была та самая, скрепленная взаимным уважением, нерушимостью семейных уз и почитанием старших, патриархальная семья, которую проповедовали славянофилы в своей теории. Причем в этом Аксаковы не были исключением: можно вспомнить и других славянофилов — Ю. Ф. Самарина, А. С. Хомякова или семью Киреевских. Строгость нравственных оценок и требований славянофилов казалась чрезмерной Леонтьеву, который вовсе не отличался целомудренным поведением (позднее В. В. Розанов назвал его «славянофилом без добродетели»). Он, как и Аполлон Григорьев, справедливо замечал, что «московские славянофилы переносили собственную нравственность на нравы нашего народа»[3]. Он полагал, что строгая патриархальная семья не типична для русского народного быта, ведь «поэзия разгула и женолюбия... не есть

---

[1] Смысл (*фр.*).

[2] *Аксаков И. С.* Где органическая сила России? // *Аксаков И. С.* Полное собрание сочинений. Т. 2. М.: Типография Волчанинова, 1886. С. 217—218.

[3] *Леонтьев К. Н.* Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 10.

занесенная с Запада поэзия, — но живущая в самых недрах народа»[1].

В быту ему понятнее были западники. Некрасов, как известно, жил в одной квартире с Панаевыми, являясь фактически мужем Авдотьи Панаевой; сам Панаев довольно откровенно рассказал о своей личной жизни в мемуарах; не является секретом запутанная и мучительная история Герцена и Огарева, когда последние дети Н. А. Тучковой-Огаревой носили фамилию и отчество Огарева, но папой называли Герцена; я уже упоминала об абсолютной «несемейственности» Тургенева... Леонтьев был эстетом, и «шалости» Некрасова, конечно, могли у него вызвать брезгливую усмешку, но и на семейных обедах Аксаковых, которые начинались с молитвы и где собирались человек двадцать родных, ему было бы неуютно.

Чувственность слишком много значила в его жизни, потому строгость семейных нравов славянофилов казалась ему излишней («народ наш нравами не строг», — замечал Леонтьев). Личная жизнь Аполлона Григорьева тоже не отличалась строгостью нравов, будучи беспорядочной, богемной, и выпить он любил, и в долговой тюрьме, случалось, сидел... В глазах Леонтьева он был живым человеком, а не монументом нравственности.

На момент знакомства Леонтьева с Григорьевым славянофильский «Московитянин» уже перестал выходить. Аполлон Александрович сотрудничал с «почвенническим» журналом «Время», издававшимся братьями Достоевскими. Этот журнал своим направлением обратил на себя внимание Леонтьева, не случайно он сблизился с одним из его ведущих сотрудников, публицистом, литературным критиком и философом Николаем Николаевичем Страховым. Леонтьев объяснял, почему «Время» было ему близко в ту пору: «Под влиянием отвращения, которое во мне возбуждал “Современник”, я стал ближе всматриваться... в окружавшую меня русскую жизнь... я начинал уже чувствовать в душе моей зародыши славянофильских наклонностей; — но не дозрел еще, не дорос до отвращения к избитым и стертым... формам западной жизни...»[2]

«Время» же избегало и крайностей московского славянофильства, и нигилизма западнических кружков. Журнал не отрицал положительного значения некоторых *европейских* по сути заимствований в прошлом России, но скептически относился к будущему Европы. В «Дневнике писателя» Достоевский замечал: «...она накануне падения, ваша Европа, повсе-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 11.

[2] Там же. С. 8—9.

местного, общего и ужасного. Муравейник... подкопан». Такое мироощущение было близко и Леонтьеву.

Вообще, несмотря на отсутствие каких-либо личных контактов и несколько неприязненное отношение друг к другу, между почвеннической позицией Достоевского и консерватизмом Леонтьева можно провести определенные параллели. Убедительно это сделал А. Л. Янов[1]: он показал, что своеобразным генетическим кодом национально окрашенного консерватизма — будь то консерватизм Каткова, Достоевского или Леонтьева — является обращение к материку (потонувшей Атлантиде) «первозданной народной культуры», в котором задана историческая программа народа. Эта «первозданная культура» для Достоевского была ценна своим православием, для Леонтьева же — непохожестью на других, эстетическим своеобразием.

Итак, Григорьев сотрудничал со «Временем», Леонтьев — хотел с ним сотрудничать, считая этот журнал наиболее близким своей позиции. Увидев в один прекрасный весенний день Григорьева на Невском проспекте, Леонтьев решился с ним познакомиться и попросил своего спутника, литератора В. В. Крестовского, представить его Аполлону Александровичу. Григорьев понравился Леонтьеву даже внешне — полный, добрые глаза, нос с горбинкой, бородка, длинный сюртук и неторопливые движения; он был похож на умного русского купца из пьес Островского, узнаваем и самобытен, *не пошл*. Они разговорились и зашли в Пассаж, где товариществом «Общественная польза» (для которого Леонтьев переводил статьи) был устроен зал для публичных лекций и в холле которого можно было спокойно поговорить. Леонтьев с одобрением отозвался о статьях Григорьева, не преминув заметить, как они диссонируют с «позитивным» духом времени, когда всё меряется практической пользой и служением «прогрессу». Григорьев задумчиво ответил:

— Люди не должны жить для одних удобств, жить надо и для прекрасного... То, что прекрасно в книге, — прекрасно и в жизни, даже если оно неудобно...

Леонтьев загорелся: его эстетизм нашел сторонника!

— Но если так, то век Людовика XIV со всеми его мрачными, но пышными сторонами прекраснее, чем современная Голландия или Англия? — высказал он собеседнику давно вызревшую в голове мысль, проверяя свое первое впечатление от беседы.

---

[1] *Янов А. Л.* Три утопии. М. Бакунин, Ф. Достоевский, К. Леонтьев // Двадцать два. Москва — Иерусалим. Тель-Авив, 1978. № 4. С. 191—210.

— Да, разумеется! — Григорьев нисколько не испугался такого вывода Леонтьева.

— А если бы пришлось кстати, стали бы вы печатать такие мысли?

— Конечно, — отвечал Григорьев, — так и надо теперь писать!

С этого началось общение Леонтьева и Григорьева. Они почувствовали друг в друге нечто родственное — недаром в статьях Григорьева можно найти такие определения, которые Леонтьев признал бы «за свои»: «цветная истина», «растительная поэзия», «чутье и радость жизни», «цвет и запах эпохи»... Правда, Леонтьев напечатать во «Времени» ничего не успел: он отдал туда две статьи, но в 1863 году журнал был запрещен.

Аполлон Александрович редактировал еще и другое еженедельное издание — литературную газету «Якорь», где печатал свои необычные статьи: в защиту юродивых, о необходимости «почвы» для произведений искусства, о народах как организмах... Леонтьев читал эти статьи и не раз мысленно соглашался с их автором. Но и в «Якоре» ему тоже напечатать ничего не удалось — показанная им Григорьеву статья оказалась велика для газетного формата.

После первой встречи Леонтьев еще несколько раз встречался с Григорьевым, хотя настоящая дружба не успела зародиться: вскоре Леонтьев покинул Петербург, а через год Григорьева не стало — он умер от удара, 42-летним нестарым человеком, так и не оправившись после очередного запоя.

Лет через пять Леонтьев написал о нем воспоминания, которым придал вид письма, чтобы они носили более личностный характер (и чтобы осторожному редактору не пришлось брать на себя ответственность «за иные дерзости»[1]). Это «письмо» он послал Страхову для публикации в 1869 году, но оно так и не увидело свет. Страхов не только не напечатал его в своей «Заре», но и не передал текст в другой журнал, хотя Леонтьев — после двух лет ожидания публикации — попросил Страхова отдать рукопись в «Беседу». Возможно, Страхов не хотел печатать текст потому, что некоторые характеристики Аполлона Григорьева, с которым он близко сотрудничал, показались ему излишне откровенными и не вписывающимися в «официальный» облик критика. Так или иначе, статья появилась только полстолетия спустя — в 1915 году. А о смерти Григорьева Леонтьев узнал уже в Константинополе...

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Н. Страхову // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 11.

Глава 6

СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ

Общественной жизни, мой друг, здесь нет; а есть дивная... народная жизнь.

Константин Леонтьев

На Восток Леонтьев поехал не один — он взял с собой Лизу. Ехали по современным меркам долго: «за Петербургом прусские поля, зелень, чуть покрытая морозом; немки, немцы; Бреславль и его древний собор; ночью в Вене — пуховое одеяло, слуги, которые, по правде сказать, больше похожи на секретарей посольства, чем на слуг; Святой Стефан, Триест...» Путешествие Леонтьевых завершилось в Кандии (так тогда назывался город Ираклион) на острове Крит. Леонтьев был заворожен южной красотой острова, он сравнивал Крит с корзиной цветов, пляшущей на грозных волнах моря. Всё вокруг ничем не напоминало хмурый и слякотный Петербург; про то, что на дворе стоит глубокая осень, говорил только календарь; белесые от солнца греческие домики, казалось, стояли так со времен Геракла, а сильный морской ветер не стихал ни на минуту.

Население острова почти всё было православным — здесь жили по преимуществу греки, о чем напоминал старинный собор Святого Тита на одной из площадей города. Несмотря на мирный пейзаж, жители хорошо помнили страшную резню 1828 года. Так турки отомстили населявшим остров грекам за участие в военных действиях против турецкого владычества[1]. Волнения на острове почти не утихали: в горах жили скафиоты — полуразбойники-полуповстанцы, к которым присоединялись во время столкновений с турками многие греческие мужчины. Герой леонтьевской повести «Хризо», грек по нацио-

---

[1] В 1866 году на Крите вновь вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено Омер-пашой.

нальности, пишет своему другу про остров: «Здесь одно дело — восстание».

Неудивительно, что российское консульство пользовалось поддержкой местных жителей: они видели в русских единоверцев и возможных защитников в лихое время, помощников в освобождении от турок. Достаточно сказать, что для русского консула в местной церкви стояло специальное кресло, обитое красным сукном; к консулу греки шли с поздравлением в праздники; в деревенском доме можно было увидеть не только литографированный портрет будущего греческого короля Георгия, но и портрет российского императора. Русские дипломаты тоже видели в критских греках братьев по православной вере.

В «Очерках Крита» Леонтьев так описывал критскую свадьбу: «Надо видеть прелесть этого и полуденного, и вместе полурусского праздника, в ясный и теплый зимний день; надо видеть это синее море с белою пеной, эти сады перед опрятными домами, людей цветущих, бодрых и красивых; надо знать, что эти люди нам братья по истории, что священник, который венчает молодца и красотку, не итальянец, а наш православный священник, что он молился в церкви за Россию во время Крымской войны и был за это заперт в тюрьму... чтобы понять, как редки в мiре такие картины, которые пришлось нам в этот день видеть, и такие чувства, какие послал нам Бог в этот день испытать»[1].

Дел в консульстве было мало. Леонтьеву, который прибыл на должность секретаря, делать было почти нечего, но он не скучал. Много гулял, ездил верхом, заводил знакомства среди местных жителей, читал, писал... Маша прислала ему из Петербурга Гёте и другие книги. Критская жизнь дала материал для упомянутых «Очерков Крита» (1866), а также для прелестной повести в письмах о романтической любви гречанки и турка под названием «Хризо» (1868), рассказа «Хамид и Маноли» (1869), повести «Сфакиот» (1877). Дни тянулись лениво, но не тягостно. Устами героя повести «Хризо» Леонтьев говорил воображаемому другу: «...если бы ты знал, как здесь приятна лень! <...> Что за милый край! Как бы мне назвать мой божественный остров? Райский угол? Сад садов? Краса морей?»

Рядом была Лиза. Это было, наверное, лучшее их время вместе, если не считать любовной горячки в Феодосии. Финансовые проблемы тоже остались позади, в России. У Леонтьева было небольшое жалованье, которого, конечно, не хватало на

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Очерки Крита // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 3. С. 11.

погашение кудиновских долгов или даже на покупку хорошего платья, приличного дипломату великой державы, но и экономить на дровах больше не было нужды. На деревенских праздниках, куда считалось за честь пригласить русских дипломатов, Леонтьев ощущал себя почти Ротшильдом, раздавая монеты. Он наслаждался каждым днем на Крите. В 1883 году он записал, вспоминая то время: «Новая и счастливая жизнь». И прибавил — имея в виду свои отношения с Лизой: «Наш мир и любовь»[1].

Жили Леонтьевы в деревушке Халеппа, в консульском домике. Неподалеку находились консульства Англии и Франции, но общению с иностранными дипломатами Константин Николаевич предпочитал этнографические «вылазки» в греческие деревушки и селения.

Остров был гористым, жители выращивали апельсины и виноград, делали замечательное оливковое масло и вино, разводили коз и овец. Леонтьев любовался греками: критские мужчины почти все были рослыми, носили яркую одежду — гольфы, обтягивающие сильные икры, шаровары, подвязанные лентами, фески, куртки непривычного покроя — всё это придавало им в глазах Леонтьева поэтичность и своеобразие. Женщины были черноглазы, стройны и держались хотя и скромно, но с достоинством. «Семь месяцев прожил я в Халеппе и не видал ни пьянства, ни грязного бесчинства, ни драк. Когда и бывают семейные распри, их стыдятся, их прячут. Здесь мужья не гоняются с кнутами и палками за растрепанными женами по улицам деревни; не видать разбитых лиц и пьяных женщин. Идеал семейный строг, но строг он не для одних младших и не для одних женщин»[2], — писал он о критской жизни.

Молодой дипломат смотрел на критскую жизнь влюбленными глазами, через розовые очки. Овраги на Крите были «душистыми», дворики — «опрятными», глиняные полы — «чище паркета». Даже «язвы общества» здесь были живописны: «бедность здесь не ужасна и не гадка. В ней видно нечто суровое и мужественное. Горы, хижина, чистый воздух и прекрасный климат; здоровые, бронзовые дети». Как это было не похоже на чахоточные доходные дома для бедноты в Петербурге! Грек из повести «Хризо» пишет о Крите: «Когда бы ты видел, что такое здешний грек! Как чисто его жилище, какая

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Хронология моей жизни // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 31.

[2] *Леонтьев К. Н.* Очерки Крита // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 3. С. 14.

наша Халеппа веселая! У моря дома все белые, чистые, вместо крыш террасы, все в зелени. Тут лимоны и померанцы цветут, как снегом осыпаны; и чтобы ты знал, что это не театр, а сама жизнь, на ветках сушится простое, бедное белье... Представь себе только небо синее, море бурное, вдали снег алмазный на горах, как на московских полях, а над головой как жар горит, все в розовых цветах, наше старое персиковое дерево... Под оливами барашки гуляют и звенят бубенчиками!..» Настоящая идиллия!

Если несколько лет назад Леонтьев был захвачен Крымом, то Крит произвел на него даже более сильное впечатление: он был еще живописнее и ярче, еще патриархальнее. В то же время Леонтьев был разочарован критской «элитой», поддержкой которой пыталась заручиться российская дипломатия, — она оказалась скучнее и ограниченнее чиновников и служащих, с которыми доводилось сталкиваться Леонтьеву в России. Его удивляло, что грек, как только он достигал некоторого благосостояния или получал образование, сразу же без сожаления отказывался от красочных обрядов своего народа, рассуждал о газетных статьях расхожими фразами и — становился неинтересен. Леонтьев, сравнивая критских греков и русских, писал: «Вообще можно сказать без долгих объяснений, что *простой* народ на Востоке лучше нашего; он трезвее, опрятнее, наивнее, нравственнее в семейной жизни, живописнее нашего. Общество же высшее, руководящее, обученное, надевшее вместо великолепных восточных одежд плохо скроенный, дешевый европейский сюртук *прогресса* — хуже нашего русского общества; оно ниже, грубее, однообразнее, скучнее»[1].

Удручало его и то, что кипящий патриотизм критян, направленный против Порты, не выдвигал достойных политических вождей; он высказал это устами того же грека из «Хризо»: «Как прекрасен молодой грек, когда он в пышной и яркой одежде идет по тихой сельской улице гордою поступью! Как мила, как опрятна, как свободна в обращении и как чиста нравом наша девушка! Как величав, строг и прекрасен наш простой старик в высокой феске и седых усах! <...> О, если бы в этой дивной стране, у этого прекрасного народа, были достойные вожди! Но их нет пока... и не знаем, откуда их ждать».

Самое удивительное, что сочувствуя патриотическим чувствам греков, выполняя на острове по долгу службы определенную миссию (которая как раз и состояла в поощрении «антитурецких» настроений), Леонтьев не мог не любоваться и

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Очерки Крита // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 3. С. 7—8.

турками. Если уж исходить из эстетизма, то турок не менее живописен и своеобразен, чем критянин! Леонтьев, отказавшись от европеизма, не стал до конца и панславистом: не раз он бывал, к примеру, на стороне ярких греков, а не «скучных» и «буржуазных» болгар (хотя те как славяне были «братушками»). Критские греки ему очень нравились — явно больше болгар, но и туркам он симпатизировал — потому что они сохранили свою самобытность.

В повести «Хризо» он высказал крамольную для того времени мысль: турки — варвары, конечно, но как раз благодаря их варварству сохранилось православное и славянское своеобразие на Балканах. Православная вера столь ценна для грека, серба или болгарина потому, что является его отличием от турка (говоря языком современной социологии — *маркером*); именно поэтому так болезненно любит он свою культуру, язык; поэтому в повести родственники девушки-гречанки, полюбившей турка и согласной ради этой любви принять ислам, готовы убить не только жениха, но и ее за *измену вере*. Если бы над греками и славянами не было угрозы турецких гонений, их отличительные черты быстро потеряли бы свою ценность и они лишились бы своей самобытности.

Летом 1864 года с Леонтьевым произошел чрезвычайный случай. Он зашел вместе с Лизой по какому-то делу в канцелярию французского консульства. Во время необязательного светского разговора консул Дерше (Derche), с которым тоже была жена, позволил себе неуважительно обратиться к Леонтьеву — причем не как к молодому человеку Константину Леонтьеву, а как к представителю России. Гордый и вспыльчивый Леонтьев не смог этого стерпеть и ударил Дерше хлыстом, который держал в руках (взыграла кровь дедушки Карабанова!). Разразился скандал. Опешивший француз молчал, но его жена крикнула Леонтьеву:

— Miserable![1]

На что Леонтьев бросил (не даме, конечно, а французскому консулу):

— Et vous êtes juste triste Européenne![2]

На дуэль Дерше Леонтьева не вызвал — то ли струсил, то ли опасался, что после дуэли его карьере придет конец. Французское посольство тоже за него не вступилось: небрежные слова о России были неуместны в устах дипломата, и разрастание скандала французам было ни к чему. Леонтьев же никогда о своем поступке не сожалел, напротив, гордился им!

---

[1] Ничтожество! (*фр.*).

[2] А вы всего лишь жалкий европеец! (*фр.*).

Во-первых, он считал, что поступил как настоящий русский патриот, а во-вторых, не любил французов.

Удивительное дело: ход событий на Балканах определялся прежде всего российско-английским соперничеством в регионе, но именно французы, а не англичане вызывали у Леонтьева столь сильное неприятие. Возможно, потому, что в Англии он видел оппонента, сумевшего во многом сохранить свою самобытность в европейском смешении. Франция же казалась ему верхом буржуазности и олицетворением европейской уравнительности. Характерно, что героев своих критских произведений он тоже наделял нелюбовью к этой стране. Простая гречанка Катерина из рассказа «Хамид и Маноли» говорит: «Хуже всех это франки... Как я тебе скажу, господин мой? кабы моя сила была, я бы франков ко хвосту лошадиному привязывала, да чтоб рвали их лошади на части». (Никакой современной политкорректностью в XIX веке еще и не пахло!) Это тем более удивительно, что она и ее ребенок спаслись от турецкого погрома во дворе французского консульства. Но и на это у Катерины есть объяснение: «Знала я, что франки, хотя и злы на нас, а резать нас туркам простым, без причины, не дадут; не потому, чтобы они нас жалели... Господи избави — жалеть им нас! а потому, что свету хотят показать, будто в Турции закон и порядок есть. Эти дела политические у нас всякий ребенок глупенький знает!»[1] Впрочем, в этом же рассказе (а затем в романе «Египетский голубь») английский консул и вовсе дверей грекам, пытающимся спастись от резни, не открывает: Леонтьев использовал здесь реально имевший место факт.

Французы не вступились официально за Дерше, но Леонтьева отозвали в Константинополь. Там посол, которым как раз стал граф Игнатьев, сделал ему «выговор» по службе, хотя все понимали, что это лишь формальность. На деле поступок Леонтьева вызывал сочувствие, а он сам превратился в популярную личность в русском посольстве, в глазах же посольских дам стал настоящим *поликаром*[2]. Леонтьеву повезло: будь на месте Игнатьева кто-либо другой, неизвестно, как аукнулась бы ему эта история. Но Игнатьеву понравился подчиненный-смельчак.

В романе «Египетский голубь» героя тоже вызывают в Константинополь после того, как он ударил французского дипломата, и молодцеватый начальник (романное воплощение графа Игнатьева) говорит ему:

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Хамид и Маноли // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 3. С. 152—169.

[2] Героем, мóлодцем (*греч.*).

— Всякий русский может быть рад, что вы его <француза> съездили (чтоб он не смел русским грубить); но ведь нельзя *открывать новую эру* дипломатии побоев на основании вашего прецедента, который лично, положим, может все-таки нравиться. Держите русское знамя высоко; я буду, верьте, помогать вам; но старайтесь не прибегать уж слишком часто к таким voies de fait[1]...[2]

Думаю, Леонтьев достаточно точно передал смысл своего разговора с послом. Игнатьев продержал его около четырех месяцев в посольстве, чтобы скандал утих, причем за это время заметно сблизился со своим подчиненным.

В Константинополе Леонтьев находился без Лизы, которая уехала в Россию. В письмах ей он так описывал свои визиты к Игнатьеву: «У посланника в доме и в саду очень хорошо, обед отличный, жене его 21 год, она очень мила, красива, умна, образованная, они богаты...»[3] Игнатьев полностью соответствовал эстетическому вкусу Леонтьева (как когда-то холеный и умный Тургенев), да и взгляды посла на восточный вопрос были ему близки. Леонтьев испытывал искреннее уважение к Николаю Павловичу, и у Игнатьева незаурядный подчиненный вызвал интерес.

Счастливое леонтьевское время продолжалось. Константинополь-Стамбул-Царьград он полюбил не менее Крита. В большом кипящем городе, который многие видели чуть ли не столицей мира — не только грезившие о всеславянской федерации панслависты, но и социалист Фурье, например, — встречались Европа и Азия, но Азии, на радость Леонтьеву, было все-таки больше. Силуэты минаретов, вздымавшиеся над городом, прекрасная Голубая мечеть султана Ахмеда прямо напротив Айя-Софии, чей византийский силуэт выдавал в ней православную базилику, фонтан перед дворцом Топкапы, шумный базар Капалы-Чарсы... Леонтьев любовался восточными торговцами с корзинами, наполненными хлебом, фруктами, овощами. Ему нравились продавцы воды на стамбульских улицах с огромными медными кувшинами за спиной, увешанные колокольчиками.

В то же время османская столица неумолимо менялась. По Босфору начали ходить пароходы, части города соединил Галатский мост, на улицах открывались магазины с европейскими товарами. Стамбул того времени вызывал у чуткого путе-

---

[1] Насильственным действиям (*фр.*).

[2] *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 356.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к Е. П. Леонтьевой от 23 июля 1864 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). М., 1993. С. 44.

шественника ощущение, которое точно определил один из исследователей: «...многие русские, узнавшие восточный мир периода упадка, в той или иной мере испытывали чувство “ускользающей красоты”»[1]. Эта «ускользающая красота» брала за душу Леонтьева. Герой повести «Хризо» говорит, выдавая мысли автора: «...я полюбил Константинополь; все мне нравится здесь: и Босфор, и смесь пышности с грязью, и туманные, дождливые дни, когда все дальние улицы так пусты и задумчивы, а в тесной Пере так толпится, спешит и торгует народ».

Игнатьев, как обыкновенно делалось летом, перебрался в Буюкдер. Летняя резиденция посла располагалась в доме, купленном почти за 100 лет до этого у обанкротившегося английского купца. Дом с прекрасным садом был окружен каменной оградой. Почти весь персонал посольства находился там с мая по октябрь, когда жара в центре Стамбула становилась невыносимой. Леонтьев бывал в Буюкдере каждый день. У него появилось много знакомых. В письме Страхову он так описывал посольское общество: «Наше Посольство и наше Генеральное Консульство в Царьграде — это точно две обширные фаланстерии, в которых живут вблизи друг от друга самые разнообразные люди; там вы можете встретить и ученого и вместе с тем почти святого человека, как Архимандр<ит> Антонин, и диакона демагога, который говорит, что всех дворян надо на осину... бедных консерваторов и бедных нигилистов, богатых консерваторов и богатых нигилистов, увешанных орденами... Дам разных. Игнатьева сама две капли воды Татьяна Пушкина во втором периоде. — Только муж молодой и она его любит... Приезжают иногда генералы, писатели, художники...»[2] Леонтьев окунулся в посольскую жизнь с головой.

В Константинополе Леонтьев часто виделся с другом своего калужского детства Михаилом Хитрово, который исполнял обязанности первого секретаря посольства. Но особенно близко он сошелся с семейной парой Ону: Михаилом Константиновичем, большим знатоком жизни балканских народов, вторым драгоманом посольства, и его молодой супругой Луизой (Елизаветой) Александровной, обрусевшей иностранкой, выросшей в петербургском высшем обществе. Похоже, со временем она стала его любовницей. Во всяком случае, тональность леонтьевских писем мадам Ону из Адрианополя,

---

[1] *Жуков К. А.* Восточный вопрос в историософской концепции К. Н. Леонтьева. СПб.: Алетейя, 2006. С. 34.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Н. Страхову от 19 ноября 1870 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 840.

Тульчи и других мест говорит об их довольно близких отношениях.

Лиза была далеко, да она и не была сдерживающим началом. Леонтьев никогда не скрывал от жены своих романов, более того, подталкивал и ее к тому же. Он по-своему любил ее, но мысль о привязанности *навсегда* к одному человеку вызывала у него ужас. Он считал такую привязанность противоречащей самой жизни.

Говоря современным языком, Леонтьев был сторонником открытого брака, поэтому не стоит удивляться такому его письму Лизе: «Я каждый день 20 раз думаю о тебе», — признавался он уехавшей жене. Далее рассказывал о богатом Игнатьеве, о молодой и красивой мадам Игнатьевой и продолжал: «...я спрашивал не раз у себя, желал ли бы я его дом, его жену — вместо Лизы и нашей небогатой, но дружной жизни. Нет! Нет! Кроме Лизы никого не желал бы иметь женой! Любовницу какую-нибудь на время — для фантазии, это другое дело, но другом и женой только тебя»[1]. Трудно сказать, как реагировала простодушная Лиза на такие признания мужа, да он этим не слишком и интересовался: для него подобная модель брака была единственно возможной. Эта модель присутствует и во многих его произведениях («Две избранницы», «Исповедь мужа» и др.).

Дипломатическая служба оказалась тем делом, которое пришлось Леонтьеву по душе. Во-первых, он был благодарен ей за жизнь в другом мире. «Я давно мечтал жить в Турции, на Востоке, — говорит один из леонтьевских героев, — и вот мечты мои исполнились: я в Турции. Я хотел видеть кипарисы, минареты и чалмы; я вижу их. Я хотел быть как можно дальше от этих ненавистных, прямых, широких улиц Петербурга... я был далеко от них»[2].

Во-вторых, сама консульская работа удовлетворяла его патриотическому чувству, его честолюбию, его эстетизму и к тому же оставляла время для литературных занятий. Тот же персонаж, повторивший дипломатический путь автора, признается: «Службой своею я дорожил; скажу яснее: я ужасно любил ее, эту службу, совсем не похожую на нашу домашнюю обыкновенную службу. В этой деятельности было столько именно не европейского, не "буржуазного", не "прогрессивного", не нынешнего; в этой службе было тогда столько простора личной воле, личному выбору добра и зла, столько доверия со стороны

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к Е. П. Леонтьевой от 23 июля 1864 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 44.

[2] *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 358.

национальной нашей русской власти! Столько простора самоуправству и вдохновению, столько возможностей делать добро политическим "друзьям", а противникам безнаказанно и без зазрения совести вредить!»[1] Такое признание может удивить современного читателя — сегодня «простора личной воле» в дипломатической деятельности не так уж много...

В романе «Египетский голубь», написанном через 15 лет, Леонтьев описывал лето, проведенное в Константинополе героем по фамилии Ладнев (что само по себе, если вспомнить Ладнева из «Подлипок», является прямым указанием на автобиографичность повествования): «Меня задержало в Константинополе одно личное дело, одна "неприятность", одно столкновение с иностранцем, из которого я вышел очень удачно и лестно для моего самолюбия, но за эту *удачу* все-таки по службе нужно было отвечать "формально"... Переписка с *иностранцами* тянулась. Мне уже становилось скучно и тяжело быть здесь... *не у дел*, жить четыре месяца не то гостем, не то подсудимым за слишком смелое самоуправство, и очень хотелось вернуться скорее в провинцию, к освежающей и деловой борьбе»[2]. Поскольку возвращение к «деловой борьбе» откладывалось, Леонтьев занимал свободное время литературной работой, писал одно из самых известных своих произведений — «Исповедь мужа».

Начат был этот замечательный роман, по-видимому, еще в России, потому фон романа — крымский (Востока автор тогда не знал). Сюжет — необычен и помогает многое понять в характере и поступках Константина Николаевича. События разворачиваются в 1850—1856 годах, как раз тогда, когда Леонтьев участвовал в войне. Поживший на свете помещик К. (автор в будущем?) удалился от светского общества в свое крымское имение Ай-Бурун. Он богат («Слава Богу, я не беден!» — восклицает герой в первых же строках романа, и в такой торопливой констатации видно небезразличное отношение автора к данному вопросу), он может позволить себе ту жизнь, какая ему нравится, потому и уехал в Крым: «...здесь хорошо; зимы нет, рабства нашего нет. Татары веселы, не бедны, живописны и независимы. Общества здесь нет — и слава Богу! Я не люблю общества, на что оно мне?»[3]

Вместе с тем взаимоотношения с обществом у героя не так просты. В объяснениях преимущества одиночества явно слы-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 356.

[2] Там же. С. 314.

[3] *Леонтьев К. Н.* Исповедь мужа // *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 247.

шится голос болезненно честолюбивого автора: «Когда я один, я могу думать о себе и быть довольным; при других... мне этого недостаточно. Разве бы триумфальное вступление в город при криках народа, в прекрасную погоду, на лошади, которая играла бы подо мной, и не в нынешнем мундире, а в одежде, которую я сам бы создал и за которую женщины боготворили бы меня столько же, сколько и за подвиги мои; боготворили бы и шептали: “Зачем мы его не знали прежде, когда он был молод!” Это я понимаю. Иначе о чем заботиться?»[1] Всё — или ничего! Или быть героем, которым восхищаются все, или — не надо общества вовсе, коли ты в нем один из многих.

Имение К. описано лишь штрихами: с одной стороны, оно чем-то напоминает богатое имение Шатилова в Тамаке, с другой — отражает вкусы самого Леонтьева. Именно так он мог бы жить, имея средства. К. доволен своей уединенной и неторопливой жизнью. Хотя человек он поживший, но не старый (ему 45 лет), и его взгляд время от времени обращается на женщин. В Ялте живет небогатая девушка «в розовом холстинковом платье», читающая «дельные книги» и занимающаяся рукоделием. Герою она понравилась, и он сразу перестал ездить в этот дом: он *стар душою*, значит, не стоит пробуждать надежды на выгодное замужество у родни, не надо «соблазнять садом, кипарисами, мраморными ступеньками, коврами» молодую девушку...

Но жизнь в Ай-Буруне поменялась независимо от его желания. К. получил письмо от двоюродной сестры, Катерины Платоновны. Она бедна, вся в долгах, муж умер, у нее дочь. Повинуясь порыву, герой высылает ей 800 рублей. Результат оказывается неожиданным: заплатив долги, Катерина Платоновна приезжает в Ай-Бурун вместе с дочкой, *Лизой*. Лиза не похожа на жеманных барышень: сама доит корову, сажает деревья; она малообразованна, дурно говорит по-французски, зато искренна и неглупа (некоторые ее черты прямо указывают на Лизу Политову).

Герой привязывается к девушке и вынашивает планы устройства ее жизни. Его любовь имеет родительский оттенок, он желает Лизе счастья, а потому сразу отвергает ее брак с каким-нибудь никчемным мелким чиновником. Обеспеченного же и умного молодого человека Лизе встретить просто негде. К. начинает думать, а не выйти ли ей замуж за сына управителя? «Он вольноотпущенный, обучался садоводству в казенном саду[2],

[1] Там же. С. 247—248.
[2] Имеется в виду Никитский ботанический сад.

неглуп, пишет с небольшими ошибками, знает кое-что из ботаники, красив — настоящая русская кровь с молоком, 21 год, ловкий, глаза синие, сердце хорошее»[1].

Но это невозможный мезальянс (как и женитьба самого Леонтьева на Лизе Политовой). Дочь полковника, *барышня* — и вольноотпущенный! К. излагает в своих записях целую «теорию стекол», сквозь которые человек смотрит на мир: сквозь желтое окружающее кажется залитым солнцем, сквозь фиолетовое — будто гроза и буря приближаются... Леонтьевский персонаж предлагает поменять *гештальт*[2], взглянуть на мир сквозь другое, непривычное стекло: «...есть совсем, совсем другой мир, о котором и не думают»[3]. И через другое стекло ситуация выглядит иначе: по соседству с имением «белый домик с плющом и виноградом... он получает хорошее жалованье у какого-нибудь вельможи за садоводство; в доме чисто... воздух вокруг дивный...». Этакая идиллия, пастух и пастушка, к тому же никаких «высших потребностей ума» у Лизы ее дядя не находит, зато видит, что пишет она с теми же ошибками, что и садовник...

Лиза, которая «еще очень дика», никаких теорий не выстраивает. Но когда к ней сватается некий любитель французских романов Маринаки со стрижеными бакенбардами и томным взглядом, она ему отказывает, чем очень радует дядю: слащавый Маринаки не соответствует его чувству прекрасного. В романе даже появляется своеобразная классификация прекрасного в стиле Аристотеля: «А прекрасное бывает трех родов: красота живописная, пластическая; красота драматическая, или действия, и красота чувств, или музыкальная»[4]. В случае с молодым садовником можно надеяться на почти полное воплощение прекрасного (борьба с сословными предрассудками обещает даже драматическую красоту), а вот брак с Маринаки под определение прекрасного никак не подпадает...

Неожиданно для героя романа (но не для читателя, которому уже ясно, что хозяин имения Лизу любит) женится на Лизе он сам, а не садовник. Предложение руки и сердца является изложением кредо хозяина имения. Он был бы несчастен, если бы дал Лизе *погибнуть.* И далее следует примечательный диалог:

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Исповедь мужа // *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 255.

[2] Гештальтпсихология оформилась лишь в начале XX века, Леонтьев не был с нею знаком, потому термин *«гештальт»* можно употреблять здесь с оговорками.

[3] *Леонтьев К. Н.* Исповедь мужа // *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 255.

[4] Там же. С. 257.

«— Что такое “погибнуть”?

— Что такое “погибнуть”?.. Проще всего “погибнуть” — значит унизиться, упасть. <...> Если нужда тебя не унизила, если, напротив того, ты стала выше и прекраснее от ее тяжести — тогда ты не погибла. Если ты умерла от нужды в честной борьбе, ты тоже не погибла. С другой стороны: если ты ведешь богатую и разгульную жизнь, но при этом добра, великодушна, пряма, умна, даровита и пленительна <...> тогда ты не погибла, по-моему. А если беспорядочная жизнь обезобразила твою душу — ты погибла! Или, если ты можешь быть счастливой с Маринаки — ты погибла!

— Вот как! — сказала Лиза. — Вот вы что говорите! А с вами быть счастливой — это не погибнуть?

— Нет, — отвечал я смело, — влюбиться в меня, обнищавшего духом, с лицом старым, с сердцем бесстрастным — это своего рода гибель или жалкая ошибка. А выйти за меня замуж, чтобы быть независимой, порадовать больную мать, чтобы иметь в руках средства помогать другим страдальцам, чтобы жить вольно и широко, когда захочется, и в запасе иметь верного друга для черных дней, для дней болезни, отвращения и обманов — это не гибель. Это улучшение!»[1]

Удивительный жених, настаивающий на том, чтобы его не любили, а видели в нем лишь средство для улучшения жизни! Жених, который еще до свадьбы предлагает «жить вольно и широко», не оглядываясь на предрассудки и приличия. Недаром К. пишет в дневнике: «Будет ей привольно, будет и мне не стыдно».

Став мужем, герой романа предоставляет Лизе полную свободу. В Крыму начинается война, в имение заезжают то казаки, то французы с сардинцами. Казацкий юнкер пытается вызнать у прислуги, через какое окно ночью можно попасть в спальню Лизы. Но Лизин муж не разгневан: он дает совет жене как держать себя с юнкером в следующий раз, если он ей неинтересен, «а если влюблена — это твое дело, предупреждаю тебя только, что он очень груб и развратен». К. ведет себя не как муж, а как друг. Когда же в их доме появляется красавец грек Маврогени, волею судеб попавший на службу к французам, К. становится жене не просто другом, а наперсником.

Хозяин Ай-Буруна сам восхищается Маврогени: «Какое простодушие, какая искренняя, пламенная молодость во всем, в улыбке, в блеске синих очей, в черных коротких кудрях... в жажде жить и веселиться!»[2] А уж когда Маврогени при-

---

[1] Там же. С. 263—264.
[2] Там же. С. 278.

ходит в имение в албанском костюме — тут муж Лизы жалеет, что не родился живописцем: «Вошел он в густой белой чистой фустанелле[1], в малиновой расшитой обуви с кисточками на загнутых носках; золотой широкий пояс, полный оружия; синяя куртка разукрашена тонкими золотыми разводами; длинная красная феска набекрень, и с плеча на грудь падает пышная голубая кисть!»[2]

Лиза влюбляется в Маврогени. Муж не препятствует, наоборот, помогает советами, избавляет от возникших было в ее душе угрызений совести, даже пишет любовнику, когда тот покидает Крым, чтобы вернулся. Вот как такую необычную ситуацию оценивает Юрий Иваск: «Это жоржсандовская тема свободной любви; в России ее впервые “обработал” А. В. Дружинин в своей нашумевшей повести “Поленька Сакс” (1847). Позже ту же тему педантично “разработал”... Чернышевский (“Что делать?”). Но у Леонтьева все иначе освещено и мотивировано. Сандовско-дружининско-чернышевские мужья отпускали своих жен с миром — по соображениям принципиальным, но безо всякого энтузиазма! Между тем, читая “Исповедь мужа”, иногда трудно решить, кто больше восхищается третьим в любви — старый муж или его молодая жена»[3].

С Иваском можно согласиться лишь отчасти. Да, муж восхищается Маврогени, упивается страстью к нему своей молодой жены, но все-таки и страдает. «Все кончено! Все решено!» — пишет К. в дневнике, застав Лизу в объятиях Маврогени в саду. Переживания его неоднозначны: он не только жалеет себя, но и радуется за Лизу. Он — не ревнивец. К., узнав о том, что жена влюблена в другого, анализирует собственные чувства: «Зачем ты не ревнуешь? Как смеешь ты не ревновать? Но что же делать мне, если во мне нет ни искры ревности? Что делать мне, если она мне давно не жена, а моя дочь, мое создание?..»[4] (Возможно, в этих словах можно найти и отголосок пробуждающегося чувства к Маше, которая тоже отчасти леонтьевское создание, недаром К. и романная Лиза в родстве, хотя и более далеком, нежели Леонтьев и его племянница.)

К. пишет в дневнике напутствие жене: «Живи, живи, моя Лиза!» Жизнь не знает оков приличий и условностей, «рабства общих мнений»: «...пусть питается дешевой и безвредной пи-

---

[1] Фустанелла — мужская одежда со сборчатой юбкой.

[2] *Леонтьев К. Н.* Исповедь мужа // *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 278.

[3] *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев // К. Н. Леонтьев: pro et contra. В 2 кн. Кн. 2. СПб., 1995. С. 325—326.

[4] *Леонтьев К. Н.* Исповедь мужа // *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 285—286.

щей тот, кто не в силах вынести божественных напитков!» Но все же Лиза, которая делится с мужем радостью своей любви, замечает: «Однако вам больно что-то?.. Вы чаще вздыхаете». И хотя муж опровергает ее опасения, не так просто ему дается это упоение чужим счастьем.

В представлении Леонтьева жена — друг, но не любовница. *Страсть в браке не живет*. Его герою Лиза нужна как близкий человек, и он не хочет с ней расставаться. В дневнике К. имеются рассуждения о том, что любая страсть не вечна (Леонтьев думал именно так, потому и предпочитал открытый брак). К. ждет, чтобы чувства Лизы исчерпали себя, и даже отпускает молодую жену с любовником в Италию, понимая, что препятствовать этому — сделать Лизу несчастной. Но в дневнике пишет: «Об одном буду молить ее, чтобы она сохранила себя для меня... Пусть приедет больная, обезображенная, желчная, слепая, но лишь бы вернулась!»[1]

Конец романа трагичен. Лиза спустя год решает вернуться домой. В дневнике К. пишет: «Я без ума от радости!» Он ждет ее, два месяца подряд встречает пароходы, но ее всё нет... В конце концов выясняется, что турецкий пароход, на котором была Лиза, утонул. Она погибла, а старому мужу больше незачем жить — он стреляется.

Роман удивительный. Не только потому, что он «бледно» написан (по-моему, это лучшее художественное произведение Леонтьева), но и с точки зрения подсказок о том, что происходило в душе автора. Совершенно очевидно, что на хозяина имения Ай-Бурун Константин Николаевич смотрит как на свое второе «я» — об этом говорит множество совпадений: пожилого мужа из романа зовут К. (Константин), его жену — Лиза, в дневнике героя появляются воспоминания о Зинаиде К. (Зинаиде Кононовой), действие происходит в столь любимом автором Крыму, суждения, поведение, пристрастия героя — леонтьевские. Однако конец романа обескураживает: представить Леонтьева, убивающего себя от любви к кому бы то ни было, — трудно. Леонтьев слишком горд, честолюбив, слишком любит себя, слишком много вокруг него женщин, чтобы жизнь его зависела от одной из них. Думаю, в финале романа Леонтьев поменял «стеклышки», сквозь которые смотрел на мир; он смог вырваться из своей жизни и прожить чужую, с чужой логикой, чужими чувствами. И здесь мы имеем дело с редким в леонтьевском творчестве случаем, когда автор не воссоздает «отредактированной» свою жизнь, а создает новую.

---

[1] Там же. С. 299.

Впрочем, в литературе существует и другая «расшифровка» этого произведения. Уже упоминавшийся Стефен Лукашевич, следуя своему утверждению о гомосексуальности Леонтьева, считает, что в романе отражена одна из причин, почему Константин Николаевич взял с собою на Восток жену: Лиза тяготила Леонтьева, он осознал, что брак с нею был ошибкой и он не «излечился» женитьбою, потому мечтал найти для нее кого-то более подходящего среди молодых греков, окружавших его во время консульской службы[1]. Такое объяснение представляется искусственным и излишне замысловатым. Лиза была молода и красива, на нее обращали внимание не только греки на Балканах; если сознательно или бессознательно Леонтьев мечтал избавиться от жены, то для этого, во-первых, вовсе не обязательно было уезжать из Петербурга, а во-вторых, такое желание могло быть никак не связано с гомосексуальностью. Несомненно одно: реальный Леонтьев действительно убеждал Лизу найти себе возлюбленного, чтобы жизнь ее была полна. Здесь мнения К. и автора романа совпадали.

Сам автор в конце жизни называл роман «Исповедь мужа» безнравственным и осуждал его с христианской точки зрения. Он даже считал, что переиздавать это произведение в неизмененном виде не стоит (хотя кто может изменить текст, кроме автора?!). Но ни откровенных сцен, ни нескромных описаний в произведении найти нельзя: текст прост и прекрасен, в нем нет *разврата*, нет грубых подробностей, он даже аскетичен в деталях, хотя вся атмосфера романа эротична. Спорной можно назвать лишь общую идею произведения, которое превыше всего ставит право на чувственную красоту, на наслаждение и страсть. Современного же читателя удивить трудно, и ему может показаться непонятным столь критический подход автора к своему творению.

Впрочем, когда роман вышел в свет в «Отечественных записках» в 1867 году, Леонтьев относился к нему с гордостью — чувствовал, что эта вещь ему по-настоящему удалась. Он даже перевел «Исповедь мужа» на французский язык и послал текст во Францию известному писателю и литературному критику Просперу Мериме: Константин Николаевич хотел видеть роман напечатанным за границей. На Мериме произведение не произвело особого впечатления, он написал, что ему не ясна основная мысль романа. Возможно, это связано с несовершенством французского текста. Леонтьев знал разговорный французский блестяще (благодаря Феодосии Петровне), но не

---

[1] *Lukashevich Stephen*. Konstantin Leontev. New York, 1967. P. 66—67.





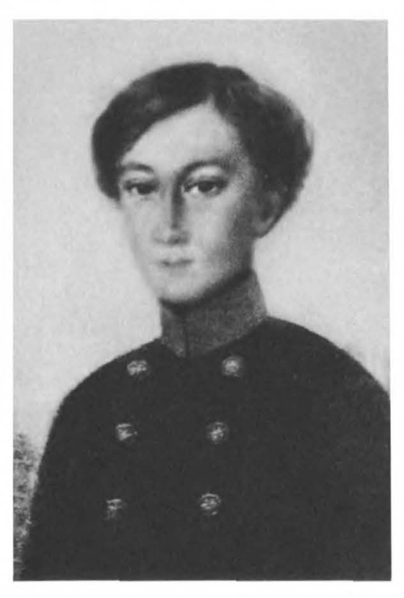
Свидетельство

Мещовского уезда Села Щелканова, Христо-Рождественской Церкви Священника Семиона Ефодотова съ причтомъ.

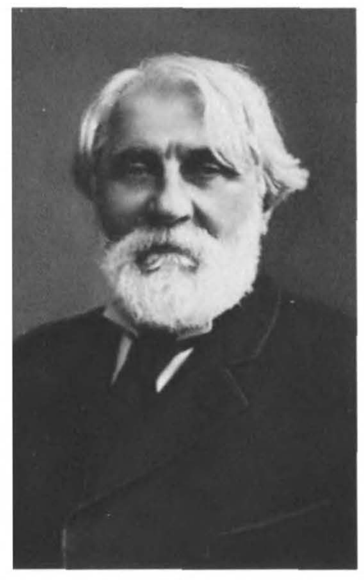
Прихода моего Сельца Кирилова у Г-на Гвардiи Прапорщика Николая Борисовича Леонтiева въ 1831мъ Году 13го Генваря, родился сынъ Константинъ — крещенъ приходскимъ означеннаго Села Священникомъ Василiемъ Георгiевымъ, въ чемъ свидетельствую Села Щелканова Священникъ Семионъ Ефодотовъ.
Того ж Села Дiаконъ Галактiонъ Никоновъ
Того ж Села пономарь Тимофей Андреевъ



Свидетельство о рождении и крещении Константина, сына гвардии прапорщика Николая Борисовича Леонтьева. *РГАЛИ*



Константин Леонтьев —
студент Московского университета.
Акварель неизвестного художника.
ГЛМ



Иван Сергеевич Тургенев,
первым приветивший
начинающего писателя

Московский университет в XIX столетии

Крепость Еникале. *Художник У. Симпсон. Крым. Середина XIX в.*

Пожар в Керчи 9 июня 1855 года. *Художник У. Симпсон*

Константин Николаевич Леонтьев.
Константинополь. 1867 г. РГАЛИ



Мечеть Султан-Ахмет (Голубая мечеть).
Художник Т. Аллом. Константинополь–Стамбул

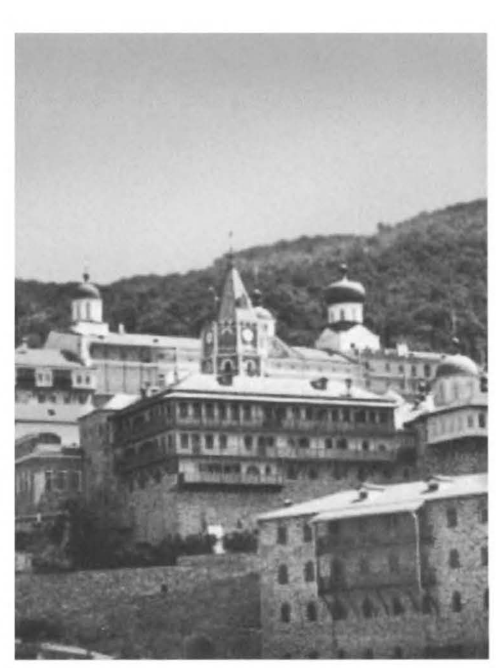


Старик-грек в фустанелле — национальной одежде балканских народов, которой восхищался К. Н. Леонтьев.
Фото XIX в.

Фонтан Султана Ахмета III в Константинополе.
Художник У. Г. Бартлетт. XIX в.

Пембе...

Автограф стихотворения К. Н. Леонтьева «Пембе». *РГАЛИ*



Свято-Пантелеймонов монастырь («Руссик») на Святой горе Афон. *Греция*

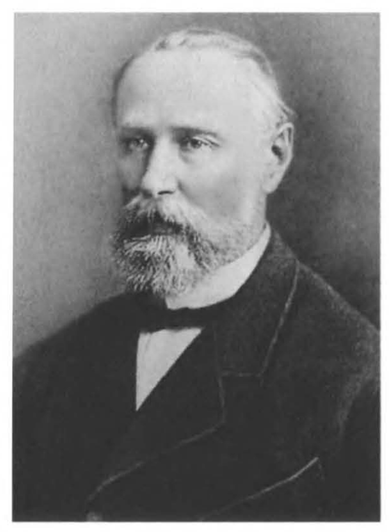
Афонские послушники: послушание на выделке кож. *XIX в.*



Константин Николаевич Леонтьев. *Конец 1870-х гг. РГАЛИ*



Тертий Иванович Филиппов



Михаил Никифорович Катков. *1880-е гг.*

Николо-Угрешский монастырь в Подмосковье

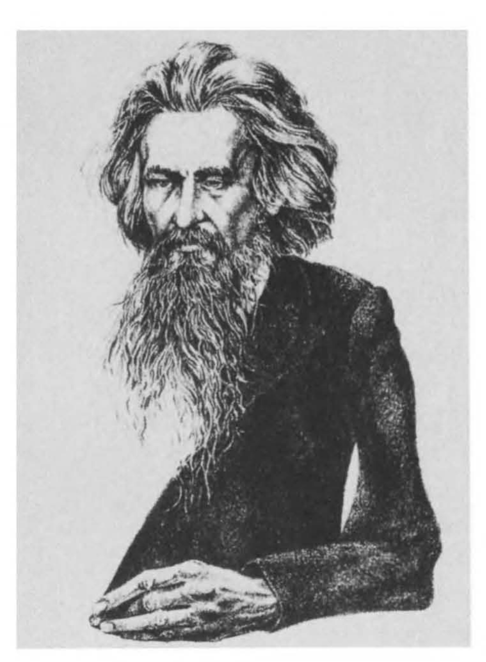
М. В. Д.

МОСКОВСКІЙ
ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТЪ
ВЪ МОСКВѢ.

дня 188 года.

№

Автограф шуточной записи К. Н. Леонтьева «Катков и Аксаков». Представив алфавит как последовательность чисел (а – 1, б – 2 и т. д.), Леонтьев получил числа, соответствующие фамилиям «Катковъ» (87) и «Аксаковъ» (87), так же вычислил и слово «караулъ» (89) – вышло: «Катковъ + Аксаковъ = 87+2 = 89», то есть «караул». *РГАЛИ*



Владимир Сергеевич Соловьев. *Портрет работы художника Ю. И. Селиверстова (цикл «...Из русской думы»)*

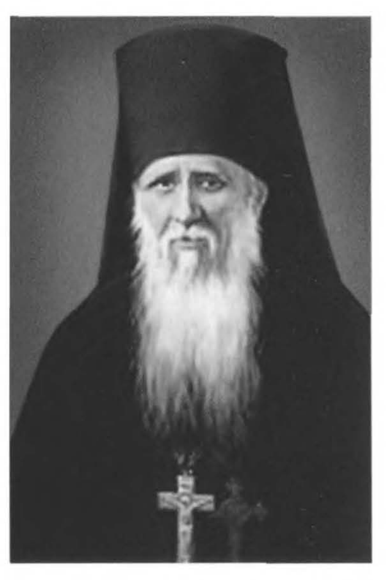


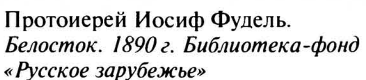
Аполлон Александрович Григорьев. *Портрет работы художника Ю. И. Селиверстова (цикл «...Из русской думы»)*



Константин Николаевич Леонтьев. *Портрет работы художника Ю. И. Селиверстова (цикл «...Из русской думы»)*



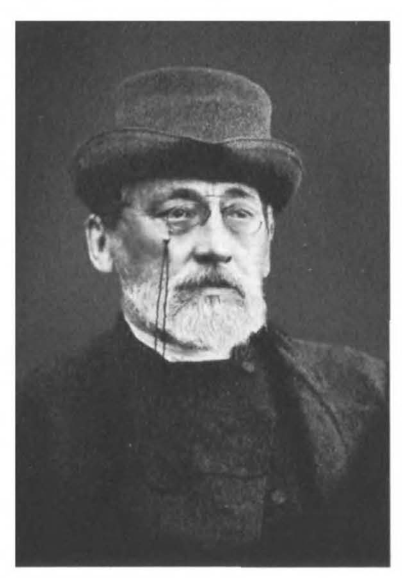




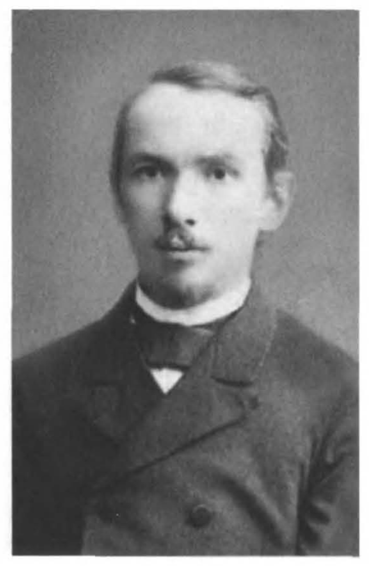
Протоиерей Иосиф Фудель.
Белосток. 1890 г. Библиотека-фонд «Русское зарубежье»

Старец Амвросий Оптинский

Оптина Пустынь. Справа от входной арки домик, где жил старец Амвросий



Константин Николаевич Леонтьев. *РГАЛИ*

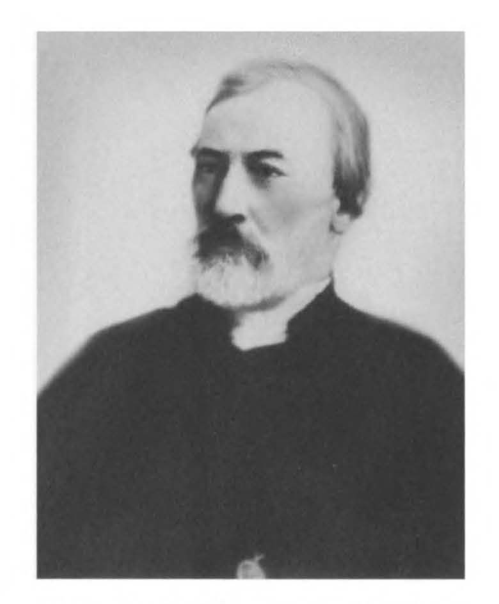


Василий Розанов в молодые годы



Страница из дневника М. М. Пришвина с планом расположения могил К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова

Константин Николаевич Леонтьев во второй половине 1880-х годов. *Одна из последних фотографий мыслителя*





Могила К. Н. Леонтьева в ограде Черниговско-Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры

был ни носителем языка, ни профессиональным переводчиком, и роман мог иметь изъяны с литературной точки зрения.

В Петербурге роман вышел под названием «Ай-Бурун». Изданием по поручению дяди занималась Маша. Уже в начале XX века она писала ученику и другу Константина Николаевича отцу Иосифу Фуделю, который готовил к изданию первое собрание сочинений Леонтьева, что название поменяли случайно и дядя не мог простить ей этой ошибки издателя. Так ли это, или название заменили на нейтральное, чтобы избежать сложностей с цензурой, трудно сказать. Но в первом собрании сочинений, вышедшем после смерти Леонтьева, роману вернули авторское название — «Исповедь мужа».

Двадцать седьмого августа 1864 года Леонтьев получил в посольстве новое назначение — секретарем и драгоманом консульства в Адрианополе с небольшим окладом в полторы тысячи рублей в год, зато при готовой квартире. Причиной назначения стал продолжительный (девять месяцев) отпуск адрианопольского консула М. И. Золотарева, который в 1866 году вновь на полгода уедет в связи с женитьбой. Во время его отсутствия Леонтьев будет самостоятельно управлять консульством и в общей сложности проведет в Адрианополе два с лишним года.

Отправился Леонтьев к месту своей новой службы осенью. Ему было немного жаль расставаться с Босфором, но и новая служба манила: хотелось показать себя, послужить на славу России. По совету знакомых он сел на маленький старый пароход, который должен был доставить его в Родосто (а оттуда до Адрианополя — рукой подать!) за один день.

Леонтьев терпеть не мог морских путешествий и смертельно скучал на пароходе. Мраморное море было унылым и серым, моросил дождь, он ощущал себя совершенно беспомощным на качающейся палубе, а пароходик тащился гораздо медленнее, чем предполагалось. Когда пароходик остановился в находившейся на полпути Силиврии на ночь, Леонтьев решил сойти и добираться в Адрианополь верхом.

Еще на пароходе Леонтьев обратил внимание на какого-то важного грека со слугой, который вышел вместе с ним на бревенчатую пристань Силиврии. Уставший от бессмысленного хождения по палубе и промокший, Леонтьев подошел к нему и спросил по-гречески (он неплохо выучил язык за несколько месяцев дипломатической службы):

— Я, господин мой, здесь ничего не знаю. Хочу ехать в Адрианополь сухим путем, но не имею никакого понятия, где достать лошадь, сколько заплатить... Не поможете ли мне советами?

И добавил ключевую в данном случае фразу:

— Я — православный.

На турецком Востоке, где христиан не раз подвергали гонениям, единоверие ценилось чрезвычайно высоко. Не случайно православие (и в меньшей степени — обращение к славянству) стало основой российской политики в этом регионе в XIX столетии. Именно поэтому Россия имела здесь политические преимущества.

Узнав, что Леонтьев не только православный, но еще и русский (а в русских и греки, и болгары, и сербы, и черногорцы видели тогда защитников), грек взял его с собой на ночлег в дом своего родственника. «...Все устроилось прекрасно, — вспоминал Леонтьев, — завтра я свободен от душной каюты, от седых волн, от плохого турецкого прогресса; я поеду в Адрианополь так, или почти так, как езжали в Турции еще в те времена, когда турки были грозны и страшны всей Европе, когда великий визирь на извещение французского посла о победе, одержанной его королем над австрийцами, имел еще возможность отвечать с оригинальной прямотой: "Хорошо; я доложу султану; но, по правде сказать, нам ведь все равно: собака ли ест свинью, или свинья ест собаку!"»[1] Ездили тогда с сопровождением и своеобразной «охранной грамотой» (*буюрулдой*), взятой у властей. Всё это Леонтьев и раздобыл в Силиврии.

Леонтьев любил путешествовать, но делал это своеобразно: путь держал обычно не долго, торопился на привал, а «с привала, — признавался сам, — меня поднять довольно трудно». Маша Леонтьева вспоминала, что кофе ее дядя по утрам пил часа два! Так и в этот раз: уже все его попутчики, ночевавшие в чистом доме приютившего их грека, разъехались по делам, а Леонтьев, проснувшись позже всех, не спешил: «пил обожаемый кофе, курил, курил, очень долго курил, и... наконец-то около полудня тронулся в путь верхом»[2]. Вместе с ним отправились *суруджи* (ямщик), *заптие* (жандарм) и вьючная лошадь.

Такая неторопливость на первый взгляд непонятна: его с нетерпением ждал в Адрианополе Золотарев, который мог волноваться, не встретив своего преемника на пристани. В стране случались частые разбои, а Леонтьев вез с собой ящик с казенным золотом на довольно значительную сумму и новый секретный шифр. Но в этом был весь Леонтьев: он был надежен в службе, но не считал нужным ради нее переступать

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мои воспоминания о Фракии // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 147.

[2] Там же.

через какие-то свои привычки. Если, по его мнению, излишняя торопливость, навязанная людям западным прогрессом, *противоречит человеческому достоинству*, он не торопился.

До Адрианополя Леонтьев добирался по унылой осенней Фракии дня три. «Закутавшись в бурку, я мок на мелком дожде и слушал с удовольствием песни суруджи, не понимая в них ни слова»[1], — вспоминал он. Маленькие поселения и городки — Чорлу, Баба-Эски, Луле-Бургас, Хапсу — казались унылыми и похожими друг на друга. Но, несмотря на грязные дороги и неудобства, он ни разу не пожалел, что поехал сухим путем.

На место назначения прибыли засветло. Об Адрианополе Леонтьев позже отзывался по-разному: то называл «смрадным» (город действительно был грязным), то писал о «видах восхитительных» и «поэтических». В целом с эстетической точки зрения Адрианополь, конечно, проигрывал цветущему Криту. Особенных природных красот там не было, а из старины сохранились только развалины бывшего дворца султанов и мечеть султана Селима.

Адрианополь располагался в 200 километрах севернее Константинополя, во Фракии — одной из самых важных с точки зрения русской дипломатии областей Османской империи. Как писал сам Леонтьев: «Фракия и южная Македония — две области европейской Турции, наиболее Босфору и Царьграду соседние, чрезвычайно важны для нас. Они важны не только соседством этим, но еще и тем, что обе страны эти смешанные»[2]. Действительно, в отличие, скажем, от греческого Крита или болгарской северной Македонии, здесь жили и греки, и болгары — два народа, на которые прежде всего опиралась балканская политика Российской империи. Именно здесь, задумываясь о роли греков в судьбе России, Леонтьев пришел к выводу, что панславизм, исходящий из племенного принципа, ошибочен. Будущее России должно быть связано не со Всеславянским союзом, а «с великим Восточным союзом», который объединит со славянами и греков, и румын, и армян, поскольку основой для такого объединения станет *вера*. В становлении этого грядущего Восточно-Православного союза (со столицей в Царьграде) именно болгары и греки сыграют решающую роль, был убежден Леонтьев[3].

---

[1] Там же. С. 149.

[2] Там же. С. 166.

[3] В одном из своих консульских донесений Леонтьев передавал разговор с адрианопольскими старшинами о том, что они с нетерпением будут ждать ситуации, когда Россия присоединит к себе всё пространство от Дуная до Босфора.

Фракия была непроста для понимания начинающего дипломата, в том числе и потому, что между самими греками и болгарами нарастало противостояние: болгары, как и все православные Османской империи, входили в греческий миллет[1], который возглавлял греческий Константинопольский патриарх. Постепенно болгар перестало устраивать такое положение дел. В местностях, где болгарское население составляло большинство, они требовали использовать в церковных службах не греческий, а церковнославянский язык, избирать болгар, а не греков на епископские кафедры и т. д. Дело шло к церковному расколу.

Леонтьев в этом вопросе был на стороне греков и считал, что русская дипломатия совершает ошибку, поддерживая *племенную* точку зрения в ущерб *вероисповедальной*. «Прекрасно, — писал он некоторое время спустя в одной из статей о болгарах, — освобождайте их *от власти султана, но не от канонических правил повиновения законной церковной власти*»[2]. Именно в связи с разными оценками греко-болгарской распри со временем ухудшились отношения Леонтьева и Игнатьева. Посол, стоявший на точке зрения панславизма, чаял в болгарах главную силу, на которую Россия опирается на Балканах, видел в болгарах братьев-славян, был на их стороне. Леонтьев же считал единство Православной церкви гораздо важнее для будущего России. Спор между послом и его подчиненным вспыхивал при каждом подходящем случае на протяжении нескольких лет.

Адрианопольское консульство помещалось в двухэтажном темно-коричневом доме, над дверями которого висели герб с двуглавым орлом и доска с надписью: «Consulat Imperial de Russie». Дверь Леонтьеву отворил молодой круглолицый человек в русской поддевке. Его «этнографический» вид очень понравился приехавшему. Консула Золотарева не оказалось на месте, и Леонтьев остался поджидать его в гостиной с пестрыми стенами и ярким ковром. Появившийся консул встретил Константина Николаевича приветливо и объяснил, что во время его отсутствия Леонтьев будет жить в самом консульстве. Золотарев оставлял преемнику собственную квартиру с мебелью и необходимой утварью.

У Золотарева было всего три дня на посвящение Леонтьева во все хитросплетения взаимоотношений в городе. Он позна-

---

[1] Милле́т (от *тур.* millet) — группа людей одной веры, имеющая свои, автономные, учреждения (суды, школы, больницы и т. д.) в мусульманских державах.

[2] *Леонтьев К. Н.* Письма отшельника // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 543.

комил его с турецким генерал-губернатором — старым толстым турком Сулейман-пашой[1], с западными консулами — английским, австрийским, французским и греческим. Потом они объехали почетных консулов Испании, Дании, Португалии, Бельгии и других стран, которые не имели в Адрианополе собственного представительства (потому и назначали, без жалованья, почетных консулов, не обладавших, по сути, никакой властью, из местных купцов). Имена, характеристики, лица перемешались в голове Леонтьева, и когда Золотарев уехал, он чувствовал себя несколько растерянным. Но оставленная консулом инструкция содержала подсказку: во всех спорных случаях прибегать к помощи драгомана консульства Эммануила (Манолаки) Сакелларио[2], который служил начиная с 1850-х годов при трех русских консулах подряд и знал положение дел в городе.

Консул на турецком Востоке был фигурой не только дипломатической. Он имел дело и с населением, среди которого были местные купцы с русскими паспортами (раздобыть русский паспорт для купца считалось тогда удачей, он был своего рода охранной грамотой). Друг Леонтьева, Губастов, сменивший его на этом посту, писал: «В Адрианопольском округе не было ни одного истинно русского, а проживало около 100 русско-подданных из местных греков, армян и болгар, превратившихся из турецких подданных в русские самым легким способом, а именно: покупкою в одном из портовых городов Черного Моря русского паспорта...»[3] Консул был нотариусом, а также судьей, поскольку турецкий суд носил религиозный характер, но требования шариата были чужды людям иных вероисповеданий, потому иностранных граждан, как правило, судили дипломаты соответствующих стран.

Леонтьев оказался на новом месте с целой грудой неоконченных тяжб, судебных дел, казенных книг, бумаг и донесений, с которыми необходимо было ознакомиться... Он понимал свою неопытность и позднее писал, что до этого «ничем, кроме больничных палат, не управлял и ни над кем, кроме крепостных слуг, фельдшеров и вестовых солдат, не начальствовал... Никого не *судил юридически*; стесняться в выражениях идей, вкусов и взглядов не привык; никаких нотариальных заметок в книги не заносил и книг таких не видывал; казенными деньгами никогда не распоряжался, а свои очень любил

---

[1] В 1864 году Сулейман-паша умрет и его место займет Хуршид-паша.

[2] Эммануил Сакелларио был выведен Леонтьевым в романе «Египетский голубь» под именем Михалаки Канкеларио.

[3] Мемуары К. А. Губастова // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 841.

тратить; статистикою никакою не занимался; с иностранцами дел не вел... А здесь нужно было сейчас, с завтрашнего дня... предстать во всеоружии: считать хотя бы не очень большие казенные деньги, судить, управлять, бороться с иностранцами, остерегаться всех и всего, и при этом быть все-таки смелым и твердым; подданных судить и сноситься с Портой, с представителями западных Держав, иногда защищать их с энергией, но и самих этих подданных, не всегда честных и покойных людей, держать в руках»[1]. Дело и облегчалось, и осложнялось тем, что предшественниками Леонтьева были влиятельные консулы, которые со всеми этими задачами справлялись блестяще.

О предшественниках Леонтьев много вспоминал. Прежде всего о Н. Д. Ступине, с которым познакомился еще в Москве и которому явно симпатизировал. Позже он вывел его в образе консула Бунина в романе «Одиссей Полихрониадес». Ступин оставил по себе хорошую память у местных жителей, да и Леонтьев вспоминал его добрым словом не раз, приезжая в учрежденное Ступиным вице-консульство в Филиппополе (Пловдиве), молясь в построенной им православной церкви или живя на ступинской даче в пригороде Адрианополя, болгарском селе Демердеше. Ступина сменил на посту консула Н. П. Шишкин, донесения которого Леонтьев считал образцовыми. И у молодого еще Золотарева было чему поучиться. Он знал все потайные пружины адрианопольских интересов, говорил по-турецки, а его отстаивание интересов России вызывало у Леонтьева искреннее уважение... Константину Николаевичу важно было стать не хуже предшественников в этом фракийском городе. На нем лежала большая ответственность — он был представителем России на всю область с населением «политически впечатлительным», как он любил говорить.

Леонтьев, сравнивая свою критскую жизнь (которую называл «медовым месяцем» своей дипломатической службы) и пребывание в Адрианополе, писал: «В Адрианополе было гораздо меньше картинности, меньше души, меньше поэзии, но зато было гораздо больше дела, всякого дела, политического и неполитического... Адрианополь был понедельник в школе после сладкого воскресенья на веселой даче»[2]. Но, несмотря на занятость, такая жизнь была ему по душе. «Все на этой службе мне ужасно нравится»[3], — писал он.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мои воспоминания о Фракии // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 161.

[2] Там же. С. 164.

[3] Там же. С. 208.

Одно вызывало у Леонтьева постоянное раздражение — «приматы», то есть сливки местного общества, старшины, архонты, в которых уродливо проявлялись западные влияния. Оторвавшись от народных корней, «приматы» не стали и европейцами. Леонтьев не раз писал об их торгашестве, продажности, рабском подражании Западу, о дурно сшитых европейских платьях, которые они носили... «Общество болгарских и греческих старшин, сухих, лукавых, скучных, однообразных купцов, докторов и учителей — мне не нравилось, и кому могло понравиться? — спрашивал Ладнев из «Египетского голубя», рассказывая о своей адрианопольской жизни. — ...Во время управления моего для целей политических я принужден был видеться с ними беспрестанно, так как именно в этом ужасном *полуевропейском* и деловом классе людей мы находили... главную опору нашим действиям...»[1] Не был исключением и Манолаки Сакелларио. Леонтьев виделся с ним часто, пользовался его помощью, ценил его преданность России, но не любил его[2]. В «Египетском голубе» Ладнев так оценивал своего драгомана: «Михалаки Канкеларио был человек очень злой и очень умный, очень преданный *нам* (русским) и очень *мне* (Ладневу) противный... В семье своей почти злодей; в политическом деле никем не заменимый друг и помощник. Около года я виделся с ним почти каждый день, и целый год подряд я то ненавидел его всем сердцем, то восхищался им»[3].

Важнейшей частью консульской деятельности было составление донесений. Друг Леонтьева Губастов, тоже дипломат, писал об этой части леонтьевской службы: «Донесения его отличались правдивостью, но он в них рисовал общие картины и развивал высшие соображения, а не давал фактического материала в экономическом и статистическом отношении, очень важного в Турции за отсутствием там подобных сведений»[4]. Действительно, Константина Николаевича никогда не интересовали цифры, описывающие экономику, импорт и экспорт продуктов, доходы купцов... Он предпочитал делать в донесениях политические прогнозы, раскрывать интриги западных дипломатов, предполагать направления политики российского посольства. Только однажды Леонтьев собрал статистический материал о вверенном ему регионе.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 360.

[2] Когда Золотарев вернулся в Адрианополь, Леонтьев резко сократил свое общение как с Манолаки Сакелларио, так и с другими «приматами».

[3] *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 377.

[4] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Литературный сборник. СПб., 1911. С. 190.

Да и сама дипломатическая служба так нравилась ему прежде всего потому, что в ней не было обязательных присутственных часов. Дипломаты могли работать дома, появляясь в консульстве или посольстве только в дни отправки донесений или приема населения. Это очень устраивало Леонтьева. «Чиновник в нем совсем отсутствовал, — писал Губастов о Константине Николаевиче. — У него не было ни бюрократических способностей, ни выдержки, ни вожделений. Из чувства самомнения, считая себя способным на всякую деятельность, Леонтьев не любил слушать, когда я ему это дружески доказывал, но думаю, что я прав, потому что он едва знал, какой на нем чин, и из всех чиновничьих отличий любил только ордена и то более с декоративной стороны...»[1]

Через несколько месяцев после приезда Леонтьев прошел испытание на пригодность к должности консула и выдержал его с честью. Зимой 1865 года разлились реки Марица и Тунджа, возле которых располагался Адрианополь. Такого сильного наводнения не помнили даже старожилы. Сотни домов были разрушены, склады товаров затоплены, некоторые жители оказались окружены со всех сторон водой и нуждались в пище и топливе, были даже утонувшие. Причем наводнение возобновлялось два раза: когда сошла первая вода и люди стали налаживать свою жизнь, реки разлились еще раз... «Число же людей, терпевших нужду или вообще экономически пострадавших при этом, — писал Леонтьев в консульском донесении послу, — тысяч около пяти»[2].

В этой ситуации консулам разных стран надо было реагировать быстро, не тратя время на согласования с начальством своих действий: имидж той или иной страны в глазах местных жителей зависел от того, какую помощь пострадавшим оказали иностранцы. Леонтьев сразу же снарядил лодки, в которых нуждающимся развозили хлеб, уголь, сальные свечи, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Русское консульство опередило других дипломатов, да и помощь, оказанная им, была значительной, хотя вначале Леонтьев тратил казенные деньги на свой страх и риск. После наводнения простой люд судачил на базаре, что их тяжелому положению больше всего помогли русские и «поляки».

«Поляками» они называли не столько реальных поляков (которых действительно было много в Адрианополе — поль-

---

[1] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Литературный сборник. СПб., 1911. С. 226.

[2] *Леонтьев К. Н.* Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты (1865—1872) / Сост. К. М. Долгов. М.: МГИМО, РОССПЭН, 2003. С. 72.

ская эмиграция в Турции к тому времени насчитывала уже несколько десятилетий[1]), сколько священников-униатов, независимо от их этнической принадлежности. Это было время «Пропаганды»[2], когда среди православного населения Османской империи усиленно проповедовали католические священники, чтобы ослабить российское влияние на Балканах. В Адрианополе, например, в результате убеждения, обещания помощи[3], а иногда и прямого подкупа около шестисот семей обратились в униатство, то есть стали греко-католиками. Разумеется, русское консульство всячески препятствовало «Пропаганде», и Леонтьев считал одной из своих главных задач «твердый отпор католицизму»[4], даже проводил совещания с местными болгарскими старшинами о том, как бороться с влиянием католических агентов. Хотя с *эстетической* точки зрения Леонтьев испытывал к полякам некоторую слабость.

Жизнь Леонтьева не сводилась только к службе. Консульство, а позднее, после приезда Золотарева, и жилье, которое он нанял себе, находились в живописном турецком районе Кыик. Леонтьев полюбил прогулки по адрианопольским улицам, но обязан был ходить с кавасом[5], чтобы все знали — идет русский консул (хотя он лишь заменял Золотарева и формально консулом не был), ему надо уступать дорогу. Быт Константина Николаевича был хорошо устроен — с ним вместе жили двое слуг: грек Яни, вывезенный им с Крита, «верный, добрый, умный, преданный как сын»[6], — говорит Ладнев в «Египетском голубе», и араб Юсуф — красивый гибкий юноша, которого Леонтьев несколько раз порывался выгнать за нерадивость, но каждый раз сменял гнев на милость.

---

[1] Многие поляки поступали на турецкую службу. Одним из самых известных случаев стала история Мохаммеда Садыка-паши (графа Михаила Станиславовича Чайковского). Писатель, участник Польского восстания 1830—1831 годов, он эмигрировал сначала во Францию, затем — в Турцию, принял там ислам и возглавил полк так называемых султанских казаков. Участвовал с полком в Крымской войне на стороне Турции, в 1867 году подавлял восстания болгар. В 1873 году обратился с просьбой о прощении к российскому императору, которая была удовлетворена, вернулся в Россию и принял православие.

[2] Имеется в виду Общество для распространения истинной веры (Congregatia de propaganda fide), основанное в 1642 году в Риме для распространения католичества.

[3] «Пропаганда» обещала платить за селян подати.

[4] *Леонтьев К. Н.* Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты. М., 2003. С. 93.

[5] Кавас (Kawwàs, Kavas — *тур.*) — почетный страж, облеченный определенной полицейской властью, который в Османской империи приставлялся к дипломатам и высшим турецким сановникам.

[6] *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 373.

Леонтьев был молод и находил время даже для танцев. Он рассказывал об этом в своих письмах Губастову: и о турецкой музыке, и о том, что у гречанок руки бывают толсты и грубы... А после танцев мог поехать читать вслух дамам полюбившегося ему Милля. В городе существовала своеобразная «светская жизнь»: Леонтьев общался с другими европейскими консулами, но чаще всего бывал у английского агента Джона Бланта (Blunt)[1] и его жены.

Джон Блант и Леонтьев были политическими противниками (и это имя не раз встречается в леонтьевских донесениях послу Игнатьеву), однако как светские люди они не избегали общества друг друга. Мадам Блант (фамилию ее Леонтьев почему-то писал через «о» — «Блонт»), женщина не только красивая, но и умная, прекрасно говорила на французском, турецком, греческом и болгарском языках, не чужда была литературных занятий; ее перу принадлежат несколько книг о Востоке[2]. Леонтьев напишет о ней несколько лет спустя упомянутому выше Губастову: «Поэзия Адрианополя в простом народе, в турецких кварталах, в мечетях, в кладбищах мусульманских, в банях, в хорошеньких девочках предместий и в madame Blont. Вы можете находить, что mademoiselle Blont[3] красивее ее, я готов это допустить, но только ухаживая за madame Blont и пользуясь хоть сколько-то ее благосклонностью (видимо, Константин Николаевич и ухаживал, и благосклонностью пользовался! — *О. В.*), можно постичь все силы и все дарования, которые в ней кроются. А ее царственный вид и оболочка мнимой холодности? А ее патриархальное обращение и доброта с прислугою? И т. д.»[4]. Губастов, который позднее познакомился с мадам Блант, тоже отмечал ее красоту, ум, но и «сомнительную нравственность»[5].

Вот уж это Леонтьева точно не волновало! Делясь опытом своей адрианопольской жизни, он писал Губастову: «Чтобы вполне постичь поэзию Адрианополя, послушайте моих сове-

---

[1] Джон Иладжа Блант (John Elijah Blunt) выведен в «Египетском голубе» под именем английского консула Виллатрона.

[2] Двухтомник «Народы Турции. Двадцать лет пребывания среди болгар, греков, турок, албанцев и армян дочери и жены консула» (*Blunt Fanny Janet*. The people of Turkey: Twenty years' residence among Bulgarians, Greeks, Albanians, Turks, and Armenians. By a Consul's daughter and wife. Vol. 1—2. London, 1878) и мемуары (*Blunt Fanny Janet*. My reminiscences. London, 1918).

[3] Вместе с четой Блантов жила сестра Джона, мисс Люси.

[4] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 29 февраля 1868 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 59.

[5] Цит. по: *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 842.

тов: 1, не откладывая, заведите себе любовницу, простенькую болгарку или гречанку; 2, ходите почаще в турецкие бани; 3, постарайтесь добыть турчанку, это уж не так трудно; 4, не радуйтесь вниманием франков и не хвалите madame Badetti; 5, гуляйте почаще на берегу Тунджи и вспоминайте меня; 6, подите когда-нибудь с кавасом к мечети Султана Баязета и устройте там на лужайке, около киоска[1], борьбу молодых турок (пехлеванов), под звуки барабана, это прелесть!»[2] Леонтьев и сам всё это выполнил — пуританским нравом он не отличался, а тогда и вовсе проповедовал гедонизм.

Здесь, на Востоке, Леонтьев дал волю своим чувственным фантазиям. Как писал его биограф Коноплянцев: «Леонтьев исповедовал тогда прямо-таки культ сладострастия, и его необузданной фантазии в этом отношении не было ни удержу, ни пределов». И еще: «Он любил жизнь, все сильные и красивые стороны ее, и, как язычник, этой жизни не боялся и хотел ею пользоваться без границ. Это не был пошлый разврат, которому предаются многие и средние, и мелкие люди, здесь был разврат, возведенный в поэзию... Он любил Алкивиада, завидовал Калигуле во всех его красивых пороках и распутствах и сам лишь жалел, что ограниченный круг его жизни не дозволял ему испить чашу красивых наслаждений до дна»[3].

В автобиографическом «Египетском голубе» Ладнев признается, что стал обращать внимание на пятнадцатилетнюю болгарку (и клянется, что речь идет лишь о мысленном соблазне), что не помешало ему влюбиться в жену греческого фанариота (купца) Машу Антониади — «в ней было нечто такое, что меня томило; в ней как будто таилось что-то изящно-растлевающее, нечто тонкое и сдержанно безнравственное, нечто едкое и душистое...»[4]. Причем в этом романе автор даже объясняет, каких мужей можно обманывать, а каких — стыдно (Леонтьев дал еще одну «аристотелевскую» классификацию по этому поводу).

Несомненно, всё это навеяно воспоминаниями о реальной адрианопольской жизни, ведь Леонтьев не жил там анахоретом. Ему всё удавалось по службе, он был полон сил, красив, умен, любовался собой, его кровь будоражила скрытая поли-

---

[1] Киосками называли маленькие домики-беседки, часто — с небольшим журчащим фонтаном, в которых можно было укрыться от жары.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 29 февраля 1868 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 59—60.

[3] *Коноплянцев А.* Жизнь К. Н. Леонтьева, в связи с развитием его миросозерцания // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 63—64.

[4] *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 352.

тическая борьба, которую вели дипломаты разных стран и в которую он ушел с головой, и его жизнь была бы не полна без влюбленностей. Ладнев в романе хорошо говорит об этом: «...Всем... наслаждаться я мог бы и в отсутствие Маши, но мне приятно было иметь близко "даму сердца", которая могла оценить и беседу мою "о мирах" и "загробной жизни", и голубую шубку русского покроя, и шапочку набекрень, и лошадку вороную, и доброту души... и политический такт по службе, и какой-нибудь удар хлыста, вроде того, за который меня, наказуя для вида, перевели сюда и повысили, поручив сразу серьезный и деятельный пост»[1].

Гарема Леонтьев в Адрианополе, конечно, не завел (о чем ходили слухи среди его знакомых), но были у него в пассиях и простые болгарки, гречанки, турчанки, которым он дарил золотые монеты на монисто, был и флирт с мадам Блант, была и дама сердца (хотя кто она — сегодня установить трудно), поговаривали и про слугу Юсуфа. На некоторое время в Адрианополь приезжала Лиза, но в 1866 году опять уехала в Россию.

В это время Леонтьев получал невеселые письма от матери. Феодосия Петровна начала сдавать, не хватало сил на хозяйственные дела, она остро чувствовала пришедшую старость, и у нее появились мысли о завещании. Мать советовалась с ним, младшим и любимым сыном, кому оставить Кудиново. Было ясно, что делить разоренное имение на всех детей бессмысленно — слишком мало́ было наследство. К тому же Феодосии Петровне хотелось сохранить Кудиново и нужен был такой наследник, который любил бы имение. Леонтьев в письмах настоятельно советовал ей оставить имение внучке Маше — та Кудиново обожала. Маша, узнав об этом, писала дяде: «Вы знаете, что такое для меня значит иметь собственность и независимость, — вы мне даете и то и другое... Буду читать, работать и, конечно, самый счастливый день для меня будет тот, когда прочту ваше: "молодец Машка"»[2].

Но Феодосия Петровна, наверное, не могла обойти в завещании самого «Костиньку» и решила оставить Кудиново двум братьям — Константину и отцу Маши, Владимиру, с условием, что после их смерти имение перейдет внучке. Однако в окончательном завещании 1869 года вместо Владимира Николаевича рукою Феодосии Петровны будет вписана его дочь, Мария Владимировна, хотя заверить это изменение она уже не успеет. Двум другим ее сыновьям — Александру и Борису —

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 406.

[2] Письмо М. В. Леонтьевой к К. Н. Леонтьеву от 30 апреля 1865 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 897.

наследники должны были выплатить по три тысячи рублей. Этот долг станет тяжелым обязательством для Константина Николаевича и Марии Владимировны.

Третьего декабря 1865 года Леонтьева назначили секретарем и драгоманом российского генерального консульства в Белград (по ходатайству Стремоухова), но ситуация быстро изменилась, и спустя пару месяцев решение отменили, да и сам Леонтьев эту должность принимать не очень хотел. Он остался на прежнем месте. После приезда Золотарева дел у Леонтьева заметно убавилось, он начал скучать без самостоятельной работы, к которой привык, и начал работать над *эпопеей*, в которой хотел представить в романтизированном виде историю своей семьи. Эпопея должна была состоять из шести (!) частей-романов и охватывать период в полвека — от 1812 до 1865 года. Леонтьев давно вынашивал этот замысел, теперь же, выработав план, с энтузиазмом принялся за его осуществление.

К эпопее своей Леонтьев относился как к историческому произведению и хотел использовать в ней семейные воспоминания, дневники, свидетельства. Потому-то Феодосия Петровна в своем Кудинове по просьбе сына писала воспоминания (к сожалению, по большей части утраченные). Леонтьев послал письмо и бабушке по материнской линии — А. Е. Карабановой. Но она уже не вставала с постели, писала с трудом, а старые дневники ее сохранились не все. Когда один из романов эпопеи, героем которой стал русский консул на Востоке, был почти готов, Леонтьев даже дал почитать его русскому вице-консулу в Филиппополе, болгарину Найдену Герову. Секретарь консульства переписал роман начисто, и Леонтьев послал рукопись в Петербург, Маше, но не для публикации: ему очень хотелось завершить всю эпопею и опубликовать ее целиком, так как романы были связаны друг с другом.

В конце 1866 года Константин Николаевич получил четырехмесячный отпуск и зимой уехал в полюбившийся ему Константинополь. В посольстве он надеялся выхлопотать себе место вице-консула где-нибудь в турецкой провинции.

Глава 7
КОНСУЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Да здравствует жизнь!.. Жизнь как она есть, со всей полнотой успехов и опасностей, тонкого наслажденья и лукавой борьбы!..

Константин Леонтьев

Несколько месяцев отпуска в Константинополе Константин Николаевич вспоминал как счастливое время в своей жизни. Здоровье не беспокоило, денежные дела находились в относительном порядке (долгов было много, но *бедности* он не испытывал — долги появлялись скорее оттого, что деньги он никогда не считал), благодаря обширной переписке с родственниками и друзьями он не чувствовал себя оторванным от родины, по службе надеялся на продвижение, появилось немало новых «босфорских» друзей.

Именно в тот свой приезд в Константинополь, будучи в гостях у давнего приятеля Хитрово, Леонтьев встретил человека, доверительные отношения с которым продлились до самой его смерти. Константин Аркадьевич Губастов, уже не раз упоминавшийся, был на 14 лет моложе Леонтьева, но это не помешало их дружбе. Спустя несколько месяцев он сменил Леонтьева на посту секретаря консульства в Адрианополе. Его дипломатическая карьера продвигалась чрезвычайно успешно. Со временем Губастов стал генеральным консулом, вице-директором Азиатского департамента, товарищем министра иностранных дел.

Друзья ежедневно гуляли по Константинополю, и разговорам их не было конца. Леонтьев, прекрасный рассказчик, вспоминал Крымскую войну, литературные салоны в столицах, свою женитьбу на Лизе, их критскую жизнь. Наверное, ни с кем до этого он не был так откровенен. Дружеские отношения с Губастовым стали еще ближе во время подготовки секретной «операции» — Леонтьев решил вызволить из публичного дома приглянувшуюся ему девушку.

При посещении одного такого заведения вместе с Губастовым Леонтьев познакомился с молоденькой молдаванкой Линой, которая под влиянием минуты пожаловалась друзьям, что хотела бы вырваться от «мадамы». Позднее Леонтьев описал похожую ситуацию в романе «Две избранницы». Главный герой, прапорщик Матвеев, зашел в публичный дом «от скуки и из любопытства с двумя товарищами. Он разврата стыдился и не любил. Когда в приемную вбежали толпою продажные красавицы... прапорщик обратил внимание на одну из них; ей казалось на вид не более 16-ти лет; она была смугла и красива, как нежное бронзовое изваяние. В приемах ее не было ни заученной игривости, ни томных взглядов на заказ, ни ложной грации, ни грубой наглости; она была как полудикое дитя»[1]. Реальная Лина была, что называется, «в леонтьевском вкусе» — худенькая и подвижная, она не могла усидеть на месте и минутки. Друзья стали прикидывать варианты освобождения девушки, но тут отпуск Леонтьева подошел к концу.

Девятнадцатого мая 1867 года Константина Николаевича назначили на должность вице-консула в Тульчу, небольшой город-порт на берегу Дуная (ныне территория Румынии), чему он был очень рад. Во-первых, он получил самостоятельный пост, что льстило его самолюбию (ведь ему было уже 36 лет и он отставал в карьерном росте от молодых приятелей-дипломатов); во-вторых, должность обещала ему интересную службу; в-третьих, обеспечивала более высокое содержание — 3300 рублей серебром в год. Его мечты о приличном жалованье, которые он когда-то высказывал в письмах матери с войны, исполнились с лихвой. Правда, денег все равно хронически не хватало: Кудиново, Феодосия Петровна, жена, слуги, возлюбленные... Деньги утекали незаметно, и Леонтьеву приходилось одалживаться. В Адрианополе он был постоянно должен еврею-ростовщику Соломону Нардеа. Так и в Тульчу уехал, не расплатившись: для погашения долга Леонтьев передавал деньги частями то через Губастова, то через других знакомых. Причем, как правило, чтобы отдать этот долг, занимал у других ростовщиков. Как он писал Губастову, «кручусь на одном и том же месте: у одного займу — другому в срок отдаю»[2].

Жена жила в Петербурге у брата, Владимира Николаевича, деньги на ее содержание Леонтьев тоже выкраивал из своего жалованья. Весной Лиза уехала в Кудиново вместе с Феодоси-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Две избранницы // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 93.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 26 апреля 1868 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 60.

ей Петровной. Добрая, хотя глуповатая и ленивая невестка и постаревшая, но по-прежнему деятельная свекровь нашли общий язык. Однако в Кудинове Лиза тосковала: она чувствовала себя сосланной мужем. Феодосия Петровна писала внучке Маше: «Несколько слов о Лизав<ете> Павл<овне> — она бедная так грустит, что на нее жалко смотреть. Получает ли, не получает ли известия, все равно тоскует и плачет. С такою сильною привязанностью, и с таким слабым рассудком, того и гляди что занеможет, или еще хуже, с ума сойдет... Вот примерный супруг! Ну да, поэт! Нельзя иначе; женился поэтически, а поступает философически. Как женился, так беспрестанно отдаляет ее от себя; прикидывает всякому, как будто нечем кормить. C'est infame!!![1]»[2].

Под влиянием материнских увещеваний Леонтьев обещал вызвать Лизу к себе на новое место службы, но не спешил. Да и сами обстоятельства не позволяли сделать это быстро: хотя о новом назначении Леонтьев узнал во время отпуска, официальная бумага пришла уже в Адрианополь. Золотарев опять отсутствовал, покинуть город до его возвращения он не мог, поэтому в Тульчу отправился лишь летом 1867 года. Причем ехать туда решил через Константинополь — Губастов, назначенный на его место, в Адрианополь еще не уехал и приглашал Леонтьева к себе.

В Константинополе Леонтьева ждал не только друг, но и Лина. В этот раз ее уход из «веселого» заведения был решен окончательно. Похищение друзья отвергли — Лина не хотела обижать хозяйку, которая была к ней добра, — и решили ее выкупить. Леонтьев начал собирать необходимые деньги, но не успел довести дело до конца, поручив его другу.

После отъезда Леонтьева слуга Губастова Антон передавал Лине то зонтик в подарок, то небольшие денежные суммы от Константина Николаевича, которые девушка тут же тратила на «конфекты», Губастов зачитывал ей вслух отрывки из его писем (Лина была неграмотной). Хотя «добрая» хозяйка купила Лину за 15 турецких лир у увезшего ее от родных любовника, продать ее она согласилась только за 30 лир. Лине Губастов объяснил, что жить после выкупа ей придется очень скромно (Леонтьев был весь в долгах). Она согласилась, хотя вряд ли понимала, что значит «скромно». Лина была чрезвычайно молода, никогда не жила самостоятельно, да и существом являлась совершенно непрактичным.

---

[1] Это бесчестно!!! (*фр.*).

[2] Цит. по: *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 647.

«Операция» едва не сорвалась: когда Антон с деньгами пришел к «мадаме» за Линой, ее в заведении не оказалось. Антон нашел ее в другом, гораздо более грязном публичном доме, куда разозленная «неблагодарностью» хозяйка перепродала девушку. Дело затянулось, но в конце концов осенью Лина оказалась в дунайском городке. Там вокруг Леонтьева снова оказалось несколько женщин: Лина, Розалия (хорошенькая дочь владельца тульчинской кофейни), мадам Эпштейн (жена местного доктора)...

С эстетической точки зрения Тульча Леонтьеву не понравилась — она напоминала захолустный новороссийский городок, турецкой живописности в ней было мало. «Бесцветный, бесхарактерный, белый городок, — вспоминал Леонтьев, — построенный амфитеатром на полугоре, у берега низменного, унылого, безлесного»[1]. Хотя кто только не жил в городе: турки, крымские татары, черкесы, молдаване, русские, украинцы... Леонтьев называл Тульчу «живым этнографическим музеем».

Здесь Леонтьев зажил на широкую ногу. Вот как он описывал себя константинопольскому другу: «<...> Я здесь точно русский помещик. Сижу с утра в чистом белье, в брусском бурнусе[2], которым обязан Вам, усы подкручены, лицо, как у Павла Петровича Кирсанова (“Отцы и дети”), вымыто душистым снадобьем, туфли новые, комната простая, но хорошая, кухарка русская, труд, так сказать, на поприще отчизны... Все у меня есть... и роман пишу... <...>»[3]. Сравнение с помещиком не было преувеличением. В одном из самых больших в городе домов, нанятом у русского раскольника, Леонтьев держал целый штат прислуги — горничная Акулина (прозванная «лихой вдовой»), скромная Аксинья, служившая кухаркой, слуги Яни и Юсуф, оставшиеся при Константине Николаевиче, кавасы, секретари, драгоман... Зимой, когда приехала Лиза, в доме появился еще один молодой слуга-молдаванин, Петраки Узун-Тома, который ей понравился своей сообразительностью и услужливостью.

Леонтьев любил окружать себя слугами, хотя всю жизнь был в долгах как в шелках. Губастов вспоминал: «По своей натуре Леонтьев был причудливый, деспотичный в домашней жизни русский барин с “нестерпимо сложными потребностями”, которых он был, на свое несчастье, всегда рабом. После

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мой приезд в Тульчу // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 322.

[2] В арабском плаще-накидке.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 12 августа 1867 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 53.

самого короткого с ним знакомства бросались в глаза черты русского помещика, родившегося и воспитывавшегося еще при крепостном праве. Неумение обходиться без многих слуг, любовь быть ими окруженным, патриархально-деспотическое обращение с ними, расположение к сельской жизни, к деревенским забавам и прочее»[1]. Как ни удивительно, это тоже способствовало исполнению консульских обязанностей. Один из современных исследователей творчества Леонтьева верно заметил, что «в то время русское правительство требовало от своих дипломатов двух вещей: знать хорошо, что делается и даже думается в стране... и держать себя так, чтобы помнили, что есть на свете Россия»[2]. Со второй частью консульской задачи Леонтьев справлялся инстинктивно, без усилий, по одному своему «барскому» характеру — русский консул в его исполнении был фигурой заметной и колоритной.

В письме Губастову, отправленному через несколько недель после приезда в Тульчу, Леонтьев описывал свою новую жизнь: «<...> Я пишу утром и ночью. По службе тоже много занимаюсь. Время есть на все. И я желаю одно — свить навек мое гнездо в Тульче. Я Вам объясню почему. Где жить? В России вообще — для сердца, для привычек хорошо, но нет той живой политической деятельности. За границею — в Европе, спаси Боже, тошно подумать. В Петербурге хорошо для литературы, но нездорово, дорого, буржуазно, прозаично. В Москве — поэтичнее, но все же нет той службы, что здесь. В нашем Кудинове — здорово, есть поэзия, нет доходов и службы. Внутри Турции? Нет, другой раз калачом не заманишь... Лучше вице-консулом останусь, если Тульчу не захотят повысить в консульство. Здесь есть и движение, и покой, и восток, и запад, и север, и юг, встречи беспрестанные на дунайских пароходах, можно устроиться помещиком, как в деревне, здесь и Россия, и Молдавия, и Турция, и Австрия, и простор деревенский, и вместе с тем как бы в центре Европы! Прелесть! <...>»[3]. Да и мадам Ону он написал: «Если Вы интересуетесь моей судьбою, то я вам скажу, что я ее благодарю за то, что она привела меня в Тульчу. Я бы желал одного, чтобы, когда придет время повышения, меня бы здесь сделали консулом. Это город совершенно русский; дом мой на берегу Дуная принадлежит русскому раскольнику и самый лучший в Тульче; мебели

---

[1] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 226.

[2] *Долгов К. М.* Восхождение на Афон. Жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева. М.: Отчий дом, 2008. С. 47.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 23 августа 1867 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 55—56.

хотя немного, но все прилично... Обед у меня тоже русский: щи, каша, пироги — я в восторге...»[1]

Тульчинский период Леонтьев считал самым успешным в своей дипломатической карьере. Его служба весной 1868 года была отмечена орденом Святого Станислава 2-й степени. С долгами он потихоньку рассчитывался (правда, и новые делал — только обустройство тульчинского дома обошлось ему в 600 рублей!). Личная жизнь была бурной. Беспокоила лишь Лиза: она приехала в Тульчу больной, и «если корень зла не уничтожится, — описывал состояние жены Леонтьев, — то болезнь ее может переродиться в помешательство»[2]. Он надеялся на лучшее. Лиза давно уже не была для него возлюбленной, но оставалась близким и дорогим человеком. Без многолетней заботы и тревоги о ней невозможно представить себе всю трагичность леонтьевской судьбы. Мария Владимировна, уже после смерти Леонтьева, заметила в одном из писем: «...Роль Лиз<аветы> Пав<ловны> в жизни дяди так велика, что равняться может разве только с борьбой его за свое призвание в литературе»[3].

Консульство в Тульче учредили в 1864 году. В его основные задачи входило противодействие польской эмиграции: речь шла не только о католической пропаганде, но и о ее общем противостоянии российской дипломатии. В одном из донесений Леонтьев прямо говорил об этом: «Поляки еще сами не знают, что предпринять, но, конечно, они ждут только общеевропейских замешательств, чтобы предложить свои услуги Франции, Австрии или Турции, одним словом, тому, кто будет иметь против себя Россию»[4]. А «замешательств» тогда ждали многие: запах европейской войны уже носился в воздухе. Леонтьев, как и многие другие, был уверен, что и Россия не останется в стороне от общеевропейского конфликта, присоединит к себе населенные славянами области Турции. Поляки же надеялись в результате войны стать независимыми.

Работы у нового вице-консула было не слишком много, он успевал писать (прежде всего, «Реку времен»), хотя обязанности его усложнились нарастанием политического компонента. В Добрудже (области вокруг Тульчи) проживали турки, татары,

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к Е. А. Ону от 12 августа 1867 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 53—54.

[2] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 199.

[3] Письмо М. В. Леонтьевой к о. И. Фуделю от 16 января 1910 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 4—5.

[4] *Леонтьев К. Н.* Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты (1865—1872). М., 2003. С. 168—169.

черкесы, болгары, евреи, цыгане, поляки, русские раскольники, молдаване, немцы. У каждой этнической группы были свои интересы, которые необходимо было учитывать при принятии решений. Главный нерв напряженности был связан с болгарами, хотевшими независимости.

Сам Леонтьев по-прежнему эстетически симпатизировал «живописным туркам»[1], а не скучным юго-славянам, хотя в одном из донесений на примере региона, где служил, сделал неутешительный вывод о том непоправимом вреде, который приносит Турции «европейский прогресс»[2]. Тульча с прилегавшими к ней землями управлялась не бездарным человеком: Сулейман-паша был умен, патриотично настроен, не брал взяток, обладал большим опытом. Но даже при таком искусном управлении все нововведения «подражательного прогресса» лишь ухудшали, по мнению русского вице-консула, положение в провинции: земельные отношения становились менее справедливыми, в создаваемые суды и советы попадало немало случайных людей, злоупотребления таможни увеличивались, и простые турки были недовольны либеральными новшествами.

Еще в Петербурге Леонтьев усомнился в «прогрессивном» либеральном идеале, а жизнь на Востоке сделала его резким критиком европеизации Турции и России. На смену национальной самобытности, сложной иерархии общественного уклада приходили разрушение традиций, злоупотребления, развращение людей, нарастание конфликтов, а специфика, своеобразие жизни страны (что он так ценил!) терялись.

Эстетизм заставлял Леонтьева ненавидеть эгалитарный прогресс, приводящий к распространению обезличивающих форм европейской цивилизации. Для него ужасно было думать, что «Моисей входил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы "индивидуально" и "коллективно" на развалинах всего прошлого величия»![3]

---

[1] Н. А. Бердяев в книге «Константин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной жизни» (Paris: YMCA-Press, 1926) писал даже, что «он был влюблен в турок и ислам».

[2] *Леонтьев К. Н.* Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты (1865—1872). М., 2003. С. 225.

[3] *Леонтьев К. Н.* Письма о восточных делах // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 90.

Леонтьев тогда лелеял романическую идею, которую не раз высказывал в официальных и неофициальных письмах, о возможном российском протекторате над Турцией: «Ввиду грозящего разрушения империи, утратив всякую надежду на возвращение к прежнему порядку вещей, местные Турки... предпочитают всякому другому исходу — подпадение под власть России. Предпочтению этому есть много разнообразных причин: фаталистические верования в нашествие и торжество "белокурых жителей Севера"; соседство России; хорошая дисциплина наших войск в 1829 году и уважение, которое они оказывали мечетям; — сожаления крымских татар о привольной жизни их в России и рассказы их о покровительстве у нас Исламу; убеждение в том, что у нас до сих пор Суды устроены на религиозном, а не на гражданском начале; страх подпасть под власть вчерашних рабов своих Греков или Сербов. О Западном владычестве они также не хотят слышать... — Все Западные народы, по их мнению, народы "безкнижные" (Китабоиз); т. е. Священные книги настоящие есть только у Мусульман, Евреев и Православных. Первым дан Коран, вторым Ветхий Завет, последним... Евангелие, искаженное впоследствии европейцами»[1]. Идея о том, что России, дабы избежать европеизации, надо стремиться не в Европу, а в Азию, была в то время совершенно оригинальна и нова (и стала первым ростком евразийства, которое сформируется в следующем столетии).

Как ни странно, этот вывод вновь привел Леонтьева к Миллю. В Петербурге он переводил Милля, в Адрианополе читал его вслух для кокетливой мадам Блант, а в Тульче — работал над ним для себя. Он попытался вступить с Миллем в заочную дискуссию с позиций складывающегося у него мировоззрения, а к весне 1868 года у него появилась мысль и об очной полемике. Леонтьев написал письмо своему непосредственному начальнику, послу Игнатьеву: «К осени или к этой зиме я думаю кончить на французском языке письмо к Дж. Ст. Миллю под заглавием "Что такое Россия и славянский мир и почему Россия может дать миру то, чего уже Запад не даст". Этот гениальный писатель не раз порицал Россию, не зная ее и не догадываясь, что она уже и теперь более всякой другой страны соответствует тому идеалу разнообразия развития... который на Западе уже невозможен и которого... он горько оплакивает в своей книге "Свобода". Если Бог поможет

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты (1865—1872). М., 2003. С. 121—122.

мне кончить этот труд... то я его представлю прежде отправки на одобрение Вашего превосходительства»[1].

Проект остался лишь в замысле — Леонтьев был слишком занят. Именно в Тульче он подготовил к печати одну из упомянутых ранее критских повестей — «Хризо» (и издал ее, несмотря на долги, с благотворительной целью — в пользу вновь восставших тогда против османского ига критян), трудился над «Рекой времен» и написал цикл статей для «Одесского вестника»[2]. Однако в 1868 году из-под его пера вышла статья «Грамотность и народность»[3], где он развил многие из тех мыслей, которые собирался изложить в письме Миллю.

Рукопись этой статьи получила одобрение Игнатьева. Понравилась статья и Страхову, который взялся помочь с ее публикацией в журнале «Заря». Но *более года* статья по неизвестным причинам не публиковалась. Леонтьев послал несколько писем Страхову, в том числе — возмущенных, на которые тот или не отвечал вовсе, или откликался с опозданием на месяц-другой. Напоминала Страхову о статье и Маша Леонтьева, послав ему несколько писем (о том, к примеру, что редактор журнала В. В. Кашпирев спустя полгода ничего не знает о леонтьевской рукописи; по всей видимости, Страхов просто не передал ее в редакцию). После долгой переписки, треволнений, обид «Грамотность и народность» появилась в журнале только в 1870 году. Сегодня эта статья рассматривается многими исследователями едва ли не как программная.

Леонтьев увязал в статье восточный вопрос (столь волновавший в то время русских) с отношением к европейской цивилизации. Он писал с горечью о том, что «единоплеменники и единоверцы наши (речь идет о славянах и греках. — *О. В.*) ценят нас настолько, насколько мы европейцы»[4]. Однако в наступающем европеизме Леонтьев видел не силу, а слабость России! И писал, что если «единоплеменники и единоверцы» думают иначе, то только потому, что они «еще слишком зелены»: из-за турецкого владычества они не успели пресытиться «однообразным идеалом западной культуры». Европу Леонть-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева графу Н. П. Игнатьеву от мая—июня 1868 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 61—62.

[2] Статьи в «Одесском вестнике» были подписаны псевдонимом, поскольку Леонтьев являлся официальным лицом и его позиция могла быть воспринята читателями не только как личное мнение; все статьи посылались Игнатьеву для предварительного просмотра.

[3] Такое название будет дано Н. Страховым при публикации статьи в журнале; сам Леонтьев назвал ее «О грамотности в России».

[4] *Леонтьев К. Н.* Грамотность и народность // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 95.

ев рассматривал как «мещанскую почву», на которой распространяется «мелкое» знание — в ущерб «высшему творчеству духа». Потому его особенно возмущало то, что при этом Европа смотрит на Россию свысока, ставя ей на вид безграмотность народа.

Но даже патриоты России обычно соглашались с этой *горькой* правдой. Лучшие — пытались бороться с народной безграмотностью. Соня Майкова, например, занималась с бедными петербургскими детьми. У всех на памяти «хождение в народ» — русский XIX век невозможно представить без барышень в строгих белых блузках и темных юбках, открывающих сельские школы. Леонтьев же совсем иначе посмотрел на проблему. «Да! В России еще много безграмотных людей; много еще того, что зовут "варварством". И это наше счастье, а не горе. Не ужасайтесь, прошу вас, — обращался он к читателю, — я хочу сказать только, что наш безграмотный народ более чем мы хранитель народной физиономии, без которой не может создаться своеобразная цивилизация»[1].

Разумеется, Константин Николаевич не был против того, чтобы крестьяне умели читать. Речь шла о другом: «Не обращаясь вспять, не упорствуя в неподвижности, принимая все то, что обстоятельства вынуждают нас принять разумно, без торопливости деревенского "*parvenu*", принимающего медь за золото, лишь бы медь была в моде у европейцев, мы можем... не только сохранить свою народную физиономию, но и довести ее до той степени самобытности и блеска, в которой стояли поочередно, в разные исторические эпохи все великие нации прошедшего. Замечательно, что в последнее десятилетие всякий шаг, который мы делали по пути *европеизма,* более и более приближал нас к нашему народному сознанию. Бесцветная и безвкусная, но видимо полезная (за неимением другого) вода всеобщего просвещения только подняла и укрепила русские всходы, поливая наши, нам самим незнакомые поля»[2].

Примеров тому, считал Леонтьев, много: отмена крепостного права в России вызвала к жизни *земскую общину*, которая не приблизила Россию к европейским порядкам, а напротив, подчеркнула ее своеобразие; распространение западного по своим истокам нигилизма привело к укреплению славянофильства, крайности западничества вызвали к жизни панславизм и т. д. Получалось, что попытки привнесения европейских порядков приводили к неожиданным результатам,

---

[1] Там же. С. 98.
[2] Там же. С. 99.

побуждали «обратиться внутрь себя», а не слепо заимствовать чужеродное, и «всеми этими результатами мы обязаны нашему простому великорусскому народу и, до известной степени, *его безграмотности»*[1].

Основная мысль статьи была пугающей для читателя, мыслящего в привычных категориях «хорошо — плохо»: просвещение не всегда полезно, оно бывает разрушительно для культурно-исторических устоев народа. Более того, неравномерное просвещение различных сословий в России не являлось злом — оно внесло «в нашу слишком простую и несложную славяно-русскую жизнь ту сложность и то своеобразие, без которых невозможно *цивилизованное, т. е. развитое своеобразие»*[2]. «Скандальный» вывод Леонтьева был таков: «...усердствовать с просвещением a l'europeenne вовсе нет нужды»[3]. Даже обычный «ликбез» (как у Сони Майковой) может подождать: пока высшие сословия не излечатся от космополитизма, привнесенное ими просвещение может содержать бациллы безнародности. Это было предвосхищением леонтьевского рецепта о «подмораживании» России — по сути, он говорил о ценности *добуржуазного* состояния общества.

Деятельная жизнь Леонтьева в Тульче омрачилась неожиданным испытанием: летом 1868 года у Елизаветы Павловны открылись признаки умственного помешательства. «Все было хорошо тогда, все весело! — вспоминал Леонтьев Тульчу. — Я был здоров и жаждал жизни, движения, дела; искал и поэзии, и практической борьбы... И все это было; все — и поэзия и практическая борьба!.. О жизни сердца моего я здесь молчу... И оно жило тогда; жило так, как любит жить человеческое сердце; и смело, и томительно, и бодро, и задумчиво, и тихо, и мечтательно... И впереди, впереди казалось столько долгих лет, столько успехов, столько силы, столько наслаждения...»[4] И вдруг — *страшное*... К счастью, к осени Лиза поправилась, и некоторое время казалось, что всё позади.

Биограф Леонтьева Коноплянцев считал, что виноват в помешательстве жены был Константин Николаевич. Определив с самого начала семейную жизнь как открытый брак, он не скрывал свои многочисленные влюбленности, измены, желания от жены, он даже обсуждал их с нею как с другом. Во-первых, Леонтьев считал такую откровенность правильной и

---

[1] Там же. С. 115.
[2] Там же. С. 117.
[3] Там же. С. 130.
[4] *Леонтьев К. Н.* Мой приезд в Тульчу // *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. Т. 9. СПб., б. г. С. 328.

честной; во-вторых, надеялся подтолкнуть Лизу к собственной личной жизни. Сам он жену не ревновал (как писал Губастову: «Не понимаю ревность к законной жене. Это что-то чересчур первобытное») и вряд ли мог подозревать, какие бури его откровенность вызывала в Лизиной душе. Коноплянцев полагал, что ревность и довела Елизавету Павловну до помешательства.

Видимо, в свое время о том же поговаривали и знакомые Леонтьева, раз в письме Губастову он отвергал подобные обвинения: «Здесь приписывают ее болезнь ревности, но это неправда, — она приехала из Петербурга уже больная»[1]. Маша, хорошо знавшая всех участников этой семейной драмы, находила версию биографа слишком простой и утверждала, что сумасшествие Лизы никак не связано с изменами мужа. Я бы прислушалась в этом вопросе к мнению Марии Владимировны. Несмотря на свою любовь к дяде и вытекающую из нее субъективность, она является одним из самых надежных свидетелей в данном случае.

Спустя некоторое время, в июне 1868 года, Леонтьев отправил жену лечиться в город Галац на берегу Дуная и время от времени навещал ее. Когда доктора уверили его, что опасность позади, он стал думать об отпуске и поездке в Россию — для устройства своих литературных дел. Некоторые части «Реки времен» были практически закончены, а денег, как всегда, не хватало, и Константин Николаевич надеялся договориться об их публикации. Подсознательно это было связано и с тем, что он прочел «Войну и мир». Прочел в гостях. Леонтьев тогда часто ездил в Измаил к русскому агенту П. С. Романенко и именно в его доме впервые раскрыл роман Льва Толстого и — не смог оторваться от него до утра.

После Крымской войны Леонтьев тоже задумывал роман — «Война и Юг», но у него не хватило упорства, чтобы воплотить свой замысел в книгу. Толстой же семь лет напряженно работал над «Войной и миром». Даже гениальному человеку кроме дара необходимо еще колоссальное трудолюбие для подобного произведения — в архиве писателя сохранилось 5200 мелко исписанных листов, из которых и вырос знаменитый роман. Возможно, на такой целенаправленный и каждодневный труд Леонтьев не был способен. Во всяком случае, Тургенев в своем прогнозе о будущем русской литературы, которое видел в двух молодых людях — Льве Толстом и Константине Леонтьеве, оказался прав лишь наполовину: имя

---

[1] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 199.

Толстого гремело в России, а вот Леонтьев был известен лишь немногим читателям. Константин Николаевич тоже хотел сказать свое слово в литературе: он надеялся, что и его эпопея станет событием.

Посол Игнатьев поездку Леонтьеву разрешил. Константин Николаевич отослал Маше рукопись одного из романов будущей эпопеи (пятого по порядку) — «От осени до осени», чтобы к его приезду в столицу она переписала текст набело. В Россию он ехал без жены — путешествие вдвоем было не по карману. Уговорить Лизу остаться в Тульче оказалось нетрудно: у нее появились там знакомые, и она не скучала. По крайней мере в хронологии своей жизни Леонтьев записал: «Мой отъезд в Петербург. Лиза в Тульче веселится одна»[1].

В Петербурге Леонтьев оказался в октябре 1868 года и остановился у брата, где его с нетерпением ожидала Маша. За пять лет, что они не виделись, она стала взрослой барышней, хотя и выглядела слишком юной из-за остриженных белокурых волос и худобы. Благодаря переписке они стали ближе за прошедшие годы. Маша в то время была одержима идеей «самостоятельности» и в письмах Леонтьеву заявляла, что замуж не собирается. Она хотела стать актрисой, потом передумала (или Леонтьев ее переубедил) и в конце лета поступила на службу в нотариальную контору, где работала с бумагами и делала переводы, за что получала около 20 рублей в месяц. (Сказалось в этом ее поступке и влияние «нигилистки» Сони Майковой, с которой они дружили.) Леонтьеву такая ее самостоятельность казалась надуманной, и вскоре нотариальной службе пришел конец.

Именно в этот приезд Леонтьева в Петербург их отношения с Машей начали принимать несколько иной характер, нежели у дяди с племянницей. Леонтьев знал, что Маша любит его, чувствовал, что она восхищается им, принимает его мнения и взгляды. Иногда он ощущал себя Пигмалионом рядом со своей Галатеей (в одном из его романов героиня, явно имеющая сходство с Машей, говорит герою, очередной инкарнации автора: «Ты кумир — я жрица твоя»[2]). То, что речь шла о влюбленности, сомнений не вызывает. Постаревшая Мария Владимировна сама призналась Дурылину в том, что любила Леонтьева[3], да и Леонтьев писал о «разрыве окончательном» с Марией Владимировной зимой 1883/84 года, что им даже

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Хронология моей жизни // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 32.

[2] См.: *Леонтьев К. Н.* Подруги // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 532.

[3] См.: *Дурылин С. Н.* В своем углу. М., 2006. С. 459.

видеться «грех», пока не станут чужими друг другу. Для того чтобы состоялся «разрыв», надо, чтобы было что рвать. Много и других похожих «проговорок» можно встретить в их письмах. Но вполне вероятно и то, что тогда, в Петербурге, всё свелось к разговорам и пожатиям рук. Константин Николаевич был не прост в отношениях с женщинами, иногда предпочитал *томление* осуществлению желаний, да и мысль, что перед ним дочь брата, несомненно, препятствовала развитию событий.

Кстати, мотив любви дяди и племянницы появится в его незаконченном романе «Подруги»: один из персонажей, Петр Васильевич, «был когда-то сильно влюблен в племянницу»[1], она отвечала ему взаимностью, подолгу гостила у него в имении, они вместе путешествовали. Похоже, Константин Николаевич пытался в романе легализовать ситуацию как не так уж редко встречающуюся в жизни.

В любви Леонтьев никогда не брал на себя никаких обязательств; любовь, с его точки зрения, — это безумие, в котором человек не волен. И уж тем более любовь невозможно сочетать с запретами и ограничениями. Во всяком случае, кроме трепетного романа с Машей, у него тогда была и вполне реальная связь с другой женщиной — Ольгой Алексеевной Новиковой. Скорее всего, именно про нее он написал Губастову: «Есть сердечные дела; и еще какие!»[2]

Ольга Алексеевна получила блестящее домашнее образование, в совершенстве владела английским, французским, немецким языками, в 19 лет удачно вышла замуж за делающего карьеру чиновника Министерства народного просвещения, но с мужем довольно скоро они стали жить по большей части врозь. С Леонтьевым же ее сблизила литература — Новикова писала статьи и книги[3], переводила с английского и немецкого, с юности вращалась в литературном кругу, поддерживала приятельские отношения с Тургеневым, А. К. Толстым, Писемским, Тютчевым, Катковым, И. С. Аксаковым.

Зимы она обычно проводила в Лондоне, где была хозяйкой светского салона. В нем собиралась английская интеллигенция, бывали и люди, облеченные властью. Из-за этого салона она приобрела репутацию «негласной представительницы

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Подруги // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 496.

[2] Цит. по: *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 820.

[3] О. А. Новикова опубликовала в Лондоне следующие работы: «Is Russia wrong» (1878), «Friends or foes» (1879), «Russia and England, a protest and an appeal» (1880), «Skobeleff and Slavonic Cause» (1884).

России в Англии» и чуть ли не шпионки. Карл Маркс, например, называл Новикову «неофициальным агентом русского правительства». По взглядам она была пламенной славянофилкой и немало способствовала изменению английского общественного мнения в пользу России. К. П. Победоносцев, вошедший в отечественную историю как обер-прокурор Святейшего Синода, а тогда сенатор, Новикову недолюбливал, но признавал, что «ее агитация в Лондоне и ее сношение с представителями тамошней интеллигенции были не без пользы». Помогали делу и статьи Ольги Алексеевны в английских газетах, появлявшиеся регулярно. В общем, судьба свела Леонтьева с блестящей в интеллектуальном отношении женщиной. Спустя 20 лет он даже напишет о ней короткую заметку для «Нивы» в рубрику «Статья к портрету». Маша вспоминала, что дядя часто говорил о Новиковой: «*хитрющая* эта женщина»[1], а в устах Леонтьева «хитрая» (и уж тем более — хитрющая!) являлось комплиментом.

Всепоглощающей страсти в их отношениях не было и в помине — всё было спокойно и легко, без обязательств и боли. Ольге Алексеевне льстило внимание красивого (хотя уже и с проседью в волосах) и талантливого Леонтьева, он любовался свежестью ее лица и прекрасными манерами... Дружба их сохранилась гораздо дольше промелькнувшего романа. Надо сказать, что Ольга Алексеевна не раз использовала свое влияние и знакомства для того, чтобы помочь Константину Николаевичу.

Леонтьев, желая «пристроить» в «Зарю» два написанных для эпопеи романа — ему срочно нужны были деньги, — читал отрывки из них сотрудникам журнала Страхову и П. В. Анненкову и его издателю Кашпиреву. Отрывки понравились, но когда переговоры перешли в деловую плоскость, Константин Николаевич соглашался отдать романы не меньше чем «по сту рублей за лист». Однако журнал не процветал, хотя в нем публиковались известные авторы (Достоевский, Писемский, Тютчев, Майков; там же появилось и сочинение Н. Я. Данилевского «Россия и Европа»), число подписчиков доходило лишь до семисот. Кашпирев предложил Леонтьеву 75 рублей за лист, да и то без аванса. Но деньги требовались сразу.

Леонтьев решил съездить и в Москву — обговорить возможность издания с Катковым — и провел в заметенной снегом Первопрестольной четыре дня. Катков принял его ласково (консульское звание Леонтьева немало тому способствовало),

---

[1] Письмо М. В. Леонтьевой о. И. Фуделю от 7 марта 1912 года // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 28.

дал авансом — под будущие публикации — 800 рублей (Катков тогда платил Леонтьеву по ставке 100 рублей за лист), уговаривал его писать больше для «Русского вестника», хотя до конкретных договоров о публикации романов дело не дошло. Константина Николаевича срочно вызвали на службу.

Леонтьев был на хорошем счету и у Игнатьева, и у Стремоухова, те полагали, что ему уже пора служить консулом, а не вице-консулом, надо лишь подождать удобного случая и места... Ждать Леонтьев не любил. В столице он несколько раз заходил в Азиатский департамент Министерства иностранных дел, рассказывал о важности Тульчи в российской политике на Балканах, надеясь, что его статус поменяется без перемещения: вице-консульство в Тульче «повысят» до консульства. Но ему дали понять, что этого не произойдет: городок маленький, русских подданных там мало... Тогда Леонтьев попросил послать его консулом в Адрианополь (где всё знакомо, где Губастов!) — в посольских кругах давно говорили о продвижении Золотарева по службе. Но и на это Константин Николаевич получил отрицательный ответ. В конце концов в январе его назначили консулом в Эпир[1], в город Янину. Леонтьев был явно разочарован, но все же согласился принять новую должность, прежде всего из-за денег. Жалованье консула было около пяти тысяч рублей серебром в год.

Всё шло хорошо, всё удавалось: деньги Леонтьев раздобыл, повышение получил (пусть и в нежеланной Янине), литературным кругам о себе напомнил, радовало его, что щегольски выглядел, никто не давал ему его лет, женщины обращали на него внимание... Лиза выздоровела, присылала редкие, но веселые письма.

Постаревшая и ослабевшая Феодосия Петровна, которую он навестил в Кудинове, хоть и скучала без сына, тоже радовалась его успехам и даже к его литературным занятиям стала относиться без прежнего подозрения (повесть «Хризо» ей очень понравилась), лишь мысль об имении всё не давала ей покоя. Леонтьев постарался внушить Феодосии Петровне, что Маша — самая подходящая наследница.

Константин Николаевич надеялся пробыть в столице до лета, но МИД настаивал, чтобы он отправился к новому месту службы немедленно. Леонтьев послал раздобытую с таким трудом тысячу рублей Лизе в Тульчу, чтобы она заплатила некоторые его тульчинские долги и переехала в Янину. Не закончив переговоры о романах, он и сам 7 февраля отправился в путь. Маше так коротки показались эти три месяца, что она

[1] Эпир — северо-западный гористый регион Греции.

даже заплакала. «Я очень огорчилась таким внезапным отъездом; отец мой обещал меня отпустить погостить к дяде в начале весны. — Дядя обещал просить, кого нужно, — чтобы мне оказывали покровительство при моем проезде по тем же городам, где он проезжал. — С дороги он мне писал мой будущий маршрут. — Хотя и ему не хотелось уезжать так скоро, но он очень был весел и доволен результатами своего пребывания в России относительно литературы. — Ему хотелось скорее приняться за окончание *Реки времен*: в Петербурге же писать было немыслимо; все-таки очень суетно было»[1].

Леонтьев ехал в Янину уже знакомым маршрутом — через Вену, Триест, остров Корфу, откуда на пароходе — всего за несколько часов — добрался до албанского берега. Дальше — верхом до столицы Эпира, города Янины, с его мечетями, монастырями и старинным еврейским кварталом. Янина была расположена на берегу озера Памвотис; на небольшом островке посередине озера стоял монастырь с несколькими византийскими церквями. В начале XIX века Янина стала резиденцией султанского вассала Али-паши, который вынашивал сепаратистские планы и даже поддерживал контакты с греками, готовившими восстание 1821 года. (Колоритная фигура Али-паши и Янина той эпохи упоминаются в «Графе Монте-Кристо» Дюма и в «Чайльд Гарольде» Байрона.) С началом греческого восстания султанские войска осадили Али-пашу, и он покончил с собой на этом острове. Во времена леонтьевского консульства на острове устраивали пикники; паша вывозил туда европейских консулов на завтраки, оказывая им уважение; состоятельные жители организовывали пирушки с танцовщицами и музыкой.

Надо сказать, что Янина оставалась турецкой дольше других греческих территорий — вплоть до начала XX века. Кто только не жил в этом старинном городе! Но тем и нравился Леонтьеву Восток, что там не было однообразия и одноцветности. Улочки в городе были столь узки, что конные экипажи не могли разъехаться. Потому единственная коляска принадлежала паше (он использовал ее для прогулок своего гарема), все остальные либо ходили пешком, либо ездили верхом.

Русское консульство размещалось в трехэтажном доме. В нижнем этаже находились канцелярия, комната охранников-кавасов (их теперь Леонтьеву полагалось трое!) и приемная, на втором этаже — кабинет, гардеробная и спальня Константина Николаевича, а на третьем — столовая, большая гостиная, две

---

[1] *Леонтьева М. В.* К. Леонтьев в Турции // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 95.

комнаты Елизаветы Павловны. Еще одну комнату на этом этаже Леонтьевы отдали «воспитаннику» — тому самому семнадцатилетнему юноше-молдаванину Петраки, который был взят в дом еще в Тульче.

Маша вспоминала о том, как Петраки оказался в Янине: «Он пожелал проводить Лиз<авету> Пав<ловну > до Янины. — Дяде понравилась его умная помощь, и он оставил его у себя на правах воспитанника. Он был очень умен и практичен; с прислугой умел прекрасно ладить и был общим любимцем. — Все домашнее хозяйство было на нем: — послушает планы К<онстантина> Н<иколаеви>ча, посоветуется кой в чем с Лиз<аветой> Пав<ловной> — и все прекрасно исполнит»[1]. Возможно, Елизавета Павловна нашла своего «Маврогени», и мечта Леонтьева о том, чтобы кто-то заполнил ее жизнь, исполнилась. Впрочем, с тем же успехом можно предположить, что Константину Николаевичу было приятно присутствие этого смуглого блондина с прекрасными серыми глазами. Во всяком случае, Маша писала, что «для самого дяди — он был истинным украшением его семейной жизни и дома»[2]. Не исключено и то, что современный взгляд, обремененный знанием человеческого «подполья», видит подтекст там, где его нет. Леонтьев и Лиза были добры к людям (об этом упоминали многие), они могли оставить у себя симпатичного юношу просто для того, чтобы облегчить ему вхождение в жизнь. «Воспитанника» научили говорить по-русски, обучали грамоте, читали ему вслух книги (особенно ему нравились пьесы Островского).

Несмотря на планы Константина Николаевича писать, писать и писать, первое время он редко обращался к неоконченным романам. Ему надо было войти в курс дел, познакомиться с расстановкой сил в городе, наладить отношения с пашой, да и консульство он хотел устроить по-своему.

Новый консул выдержал свою резиденцию в восточном стиле. Дом получился ярким, пестрым, как азиатские орнаменты, обставленным с большим вкусом. Стены оштукатурили белым цветом, на окна повесили пестрые кисейные занавеси, расставили по комнатам яркие турецкие диваны на разноцветных циновках и восточных коврах. «Дулапы» — шкафчики с резными дверками — очень украшали комнаты. Резными были и потолки, двери, окна. «Обстановкой своего дома К. Н-ч был очень доволен»[3], — вспоминала Маша. Кавасов

---

[1] Там же. С. 95—96.

[2] *Леонтьева М. В.* Янина // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 87.

[3] *Леонтьева М. В.* К. Леонтьев в Турции // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 98.

Леонтьев тоже принарядил: они ходили на службу в красных фесках с вышитым золотом российским гербом, белых фустанеллах, синих или красных куртках и чулках. Все они были молоды, и их нарядный вид и стать обращали на себя внимание.

И все же Янина не очень нравилась Леонтьеву. «Общество здесь еще хуже адрианопольского. Греки-приматы нестерпимы, — писал он Губастову. — Я только и жду, когда я уеду отсюда и отряхну прах с моих подошв. Вот Тульча — городок другого рода!»[1]

В городе располагались консульства Франции, Англии и Австрии, но с их дипломатами Леонтьев (в отличие от адрианопольской жизни) поддерживал лишь официальные отношения. Маша писала о позиции дяди в то время: «...Он любил тогда и чтил — только внешнюю политику... Государя и все то, что в народе не тронуто реформами (включая Манифест о свободе)... Европу с последним словом ее культуры (выражавшемся в подавлении всего национального), с главою ее — Францией — он ненавидел всеми силами своей души. — Поэтому с европейскими Консулами он был в самых сухих служебных отношениях»[2].

Доходило до забавного: Леонтьев злился, что на официальные приемы он должен надевать европейское платье и не может делать визиты в русской шелковой рубашке навыпуск, и даже высказывал свое несогласие с таким порядком в разговорах с европейскими дипломатами[3]. Несколько раз он принимал представителей европейских консульств, не переодевшись в европейский костюм. Дипломаты, не зная, как это расценивать — как чудачество русского консула или как намеренную попытку их оскорбить, — стали приезжать к Леонтьеву с визитами только по предварительной договоренности. В отличие от некоторых славянофилов, не бривших бород и носивших зипуны и рубашки с косым воротом по идеологическим соображениям, Леонтьев был движим не столько идеологией, сколько эстетикой — сюртук казался ему уродлив, а фрак — несуразен.

Местные греки — доктора, купцы, учителя — заходили к консулу по праздникам; такие посещения сопровождались

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева К. А. Губастову от 15 октября 1869 г. // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 207.

[2] *Леонтьева М. В.* Янина // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 89.

[3] Леонтьев не раз вспоминал слова Хомякова о том, что англичанину позволительно носить фрак, потому что для него эта безобразная одежда *народна*; но зачем русскому, у которого народная одежда красивее и удобнее, носить его?

обязательной беседой и чаепитием, но интереса для Леонтьева представляли мало: разговор (Леонтьев овладел греческим) велся, как правило, о торговых делах или о политике России по отношению к единоверцам. Всё это уже не имело для него новизны. Зато его радовали визиты турецкого губернатора Ахмета Расим-паши. Он был почти одного возраста с Леонтьевым, умен, прекрасно говорил по-французски, хорошо относился к русским (расхваливал русскую храбрость, отмечал отсутствие лукавства в русских женщинах и т. д.), да и сам русский консул вызывал у него непритворный интерес. Паша не мог ходить к Леонтьеву часто из-за своего официального положения, но не реже раза в месяц он и Леонтьев пили чай из самовара и беседовали, иногда за полночь.

Леонтьев не пренебрегал своими консульскими обязанностями, даже впервые написал — как ни чужда ему была эта область — основанное на собранной им статистике донесение о развитии торговли и промышленности в Эпире. Среди населения он тоже стал популярен благодаря личному бесстрашию. В одну из зим жители острова на озере Памвотис остались без продовольствия из-за тонкого льда, и Леонтьев лично доставил им припасы, рискуя жизнью — провалиться под лед было легче легкого. В его романе «Одиссей Полихрониадес» пожилой грек, провожая глазами заехавшего к ним в деревню русского консула, говорит сыну: «Вот это царский сановник; и взглянуть приятно: и собой красив, и щедр, и на коне молодец, и весел, и вещи у него все благородные такие, и ковры на вьюках хорошие, и людей при нем многое множество. Душа веселится. Таковы должны быть царские люди»[1]. Леонтьев и видел себя именно таким «царским человеком».

От нотариальных, судебных и других бюрократических мелочей, которых много было в консульской деятельности, его избавлял секретарь И. П. Крылов, опытный, хорошо разбиравшийся в консульских делах, которому можно было доверить утренний прием посетителей. Сам Леонтьев в это время занимался литературой или писал письма своим многочисленным корреспондентам. Однако «Реки времен» он в Янине почти не касался; его больше привлекала восточная жизнь. Здесь он написал повесть о критской жизни «Хамид и Маноли», а затем и рассказы: «Пембе» — навеянный уже янинскими впечатлениями, «Поликар Костаки», а также повесть «Аспазия Ламприди». Один из современников Леонтьева передал слова Льва Толстого об этих сочинениях: «Его повести из вос-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Одиссей Полихрониадес // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 4. С. 82.

точной жизни — прелесть. Я редко что читал с таким удовольствием»[1].

Именно с Янины критики обычно начинают отсчитывать «восточный период» творчества Леонтьева, когда он забросил доработку романов своей «русской эпопеи» и обратился к сюжетам, навеянным его тогдашним окружением. Хотя над одним романом «из русской жизни» он все же работал. В отличие от «передовых» литераторов, презрительно относившихся к высшим военным и гражданским чинам (ведь они на службе у «деспотического» государства!), Леонтьев хотел вывести в своем романе положительным героем молодого умного генерала Матвеева[2].

В начале мая 1869 года в Янину приехала Маша. Это была ее первая поездка «в чужие края». Отец отпустил ее к брату с тем большей охотой, что она была нездорова и врачи советовали ей покинуть Петербург. Да и Леонтьев звал ее к себе: «Он писал, что новый край ему как нельзя больше по сердцу, что он только и ждет меня, чтобы разделить со мной все прекрасные впечатления новой жизни»[3]. Маша взяла письма с собой, так как какие-то советы в них могли пригодиться ей в дороге. К сожалению, письма эти не сохранились. Леонтьев сам уничтожил их — не хотел, чтобы они были прочитаны посторонними.

Константин Николаевич сделал всё возможное, чтобы путешествие Маши было приятным: на Корфу ее встретил русский консул А. Н. Карцов, дальше сопровождали драгоман янинского консульства Шабер и старший кавас красавец Яни в полной форме и с саблей на боку. Леонтьев был настолько заботлив, что даже дал указание драгоману делать привалы через каждые три часа. «Я не успевала почувствовать никакой усталости, — как уж пестрый ковер и подушки были мне приготовлены», — вспоминала Маша.

Так они ехали пару дней и когда были уже в одном дне пути до Янины, Леонтьев сам встретил племянницу на дороге. Вот как это описала Маша: «Немного погодя — я очень далеко увидала какого-то всадника; мне он показался весь в белом... Я спрашиваю у Шабера — что это за человек так далеко виден; он улыбается и ничего определенного не говорит. —

---

[1] *Александров А. А.* Предисловие к книге К. Леонтьева «О романах гр. Л. Н. Толстого». СПб., 1911. С. 7.

[2] Речь идет о романе, который Леонтьев сначала хотел озаглавить «Генерал Матвеев», а затем дал ему название «Две избранницы».

[3] *Леонтьева М. В.* Янина // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 74.

Потом уже стало видно два человека, и один одетый, как наш Яни. — Они все приближались, я все глядела и скоро узнала, что это был дядя с другим кавасом. — Они ехали рысью; а я еще не умела держаться в седле при такой езде, и потому я просила меня спустить с моего креслица и просто побежала навстречу. — Дядя нашел, что я очень похудела, — а его мне трудно было и узнать; — никогда я его не видала в военном белом кителе, в высоких сапогах и в шляпе, накрытой каким-то белым шарфом, спускавшимся по спине, чтобы не загорала шея»[1]. Словом, сказочная встреча с героем в белом кителе и с развевающимся шарфом! От радости Маша была настолько вне себя, что даже плохо запомнила ночевку в православном монастыре.

Утром собирались выехать пораньше, чтобы успеть в Янину до полуденного зноя, но Леонтьев не мог пить свой утренний кофе торопливо. На заре один из кавасов отправился в соседнюю деревню за свежим овечьим молоком к кофе, потом начался сам утренний ритуал, и выехали только в девятом часу, когда солнце пекло уже довольно сильно. Неопытная Маша не покрылась вуалью и к полудню обгорела так, что до лица было больно дотронуться.

За час до города Машу ждал еще один сюрприз. Она увидела несущихся навстречу всадников в фустанеллах и фесках, они стреляли в воздух и смеялись. Проносясь мимо опешившей Маши, на скаку поцеловали ей руку и скрылись куда-то. Растерявшаяся девушка не знала что и думать. «Дядя объяснил, что один из них бывший слуга на Дунае, которого жена его привезла оттуда <...> а другой был брат Шабера... — рассказывала Маша потом. — Тут я только поняла, что дядя хотел меня повеселей встретить и придумал эту необыкновенную в своем роде парадную встречу. — Сельские молодцы в фустанеллах и юноши в фесках сначала впереди нас скакали, стреляли и весело вскрикивали, а потом все запели воинственные горные песни»[2].

Уже у самого города Машу встретила Елизавета Павловна с секретарем Крыловым. Под платанами устроили завтрак на расстеленных коврах, а потом для дорогой гостьи подали единственную в городе коляску, одолженную у паши. В консульском доме приехавших ждал парадный обед, музыканты на лестнице играли арию из итальянской оперы — Леонтьев встретил Машу так, как, наверное, никого никогда не встречал!

---

[1] Там же. С. 80.
[2] Там же. С. 82.

Роль Марии Владимировны в жизни и судьбе дяди огромна. Благодаря ей были напечатаны многие его произведения, она вела дела с редакциями журналов, сохранила для потомков его письма, написала о нем замечательные воспоминания, помогла подготовить к изданию первое собрание его сочинений, не раз становилась сиделкой для Леонтьева или больной Елизаветы Павловны. Иваск так писал о ней: «Всем друзьям Леонтьева нельзя не преклоняться перед этой замечательной русской женщиной, его ангелом-хранителем. Маша все отдавала и никогда ничего не требовала. Она так и не вышла замуж и жила только им — тщательно переписывала его рукописи, по-матерински-сестрински за ним ухаживала, хотя была на шестнадцать лет его моложе. Маша также увлекалась идеями Леонтьева, вообще во всем ему сочувствовала»[1].

Племянница пробыла в Янине в этот свой приезд два с половиной месяца. Серая петербургская жизнь с промозглой погодой и нездоровьем была на время забыта. Маша привезла с собой полный шкаф платьев («наш день с теткой был почти исключительно наполнен желанием нарядиться»), каждый вечер к обеду приглашались драгоман Шабер и секретарь Крылов, а по вечерам, когда спадала жара, Маша с дядей гуляли или читали. Тетка заразила Машу своей любовью к ленивой жизни: «Лиз<авета> Пав<ловна> умела провести весь день ничего не делая и ничего не мысля — так что это не только не производило тягостного впечатления... но даже очень нравилось; и ей, и другим от нее было весело»[2]. Правда, если Лизавета Павловна жила так всегда, то для Маши эти месяцы стали настоящими каникулами. К тому же «не мыслить» она просто не могла. Вместе с Машей Леонтьев много читал в то лето — не только Герцена («наслаждались остроумием, блеском и теплотой в его "Былое и думы"», — вспоминала Маша), но и Данилевского: в журнале «Заря» публиковались главы его книги «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому» (отдельным изданием впервые выйдет в 1871 году). Леонтьев просил Машу читать их ему вслух и находил, что в этом труде «почти все истина»[3].

Леонтьева очень часто называют продолжателем идей Николая Яковлевича Данилевского, да и сам он считал себя его

---

[1] *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 2. СПб., 1995. С. 392.

[2] *Леонтьева М. В.* Янина // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 86.

[3] Там же. С. 88.

учеником. Это требует некоторого уточнения. Во-первых, основы его мировоззрения были сформулированы *до* знакомства с книгой Данилевского; другое дело, что эти основы оказались созвучными теории культурно-исторических типов, изложенной в «России и Европе». Потому и читал ее Леонтьев с таким восторгом — происходило «узнавание» своих мыслей в чужом сочинении. Внимательному читателю видна явная перекличка идей Данилевского с теми, которые изложил Леонтьев в своих статьях «С Дуная» для «Одесского вестника» еще в 1867 году. Во-вторых, Леонтьев дополнил теорию Данилевского многими новыми положениями. Потому отличия в их подходах к человеческой истории несомненны.

Основной идеей Данилевского было утверждение, что история — это не единый процесс, скорее — мозаика из цивилизаций или *культурно-исторических типов*. В каждый момент истории мы видим несколько культурно-исторических типов, отличающихся по своим основам; они подобны живым организмам и находятся в непрерывной борьбе друг с другом и с окружающей средой. (Данилевский занимался естествознанием — ботаникой, географией, — отсюда его органицизм, натуралистический подход, присущий и Леонтьеву.) Так как любой организм смертен, то и культурно-исторический тип тоже не существует вечно. Так же как биологические особи, он проходит стадии зарождения, роста, расцвета, плодоношения и гибели.

История — это смена вытесняющих друг друга культурно-исторических типов. Цикл жизни каждого культурно-исторического типа продолжается около 1500 лет, из которых почти 1000 лет составляет подготовительный, «этнографический» период; примерно 400 лет — становление государственности и лишь 50—100 лет — расцвет всех творческих возможностей того или иного народа. Завершается цикл длительным периодом упадка и разложения. Данилевский писал: «Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения — относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу».

Всего Данилевский выделял десять культурно-исторических типов: египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитский (или аравийский) и германо-романский (или европейский). Кроме того, были еще два неоформившихся типа — перуанский и мексиканский, «погибшие насильственною смертью и не успевшие совершить своего раз-

вития»[1]. Разумеется, не обошел он вниманием и Россию: Россия со славянством, по его мнению, образуют совершенно новый, еще только формирующийся культурно-исторический тип, отличный и отдельный от Европы.

Эта мысль Данилевского вызвала особый отклик в душе Леонтьева: его отталкивание от европеизации нашло подтверждение в теоретических построениях автора «России и Европы». Уродливые сюртуки и фраки так же, как демократические конституции, чужеродны российскому обществу; ему больше подходят поддевки и монархия. «Принадлежит ли... Россия к Европе? — спрашивал читателя Данилевский. — К сожалению или к удовольствию, к счастью или к несчастью — нет, не принадлежит. Она не питалась ни одним из тех корней, которыми всасывала Европа как благотворные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы ею же разрушенного древнего мира, не питалась и теми корнями, которые почерпали пищу из глубины германского духа... Ни истинная скромность, ни истинная гордость не позволяют России считаться Европой». Леонтьев был совершенно с этим согласен!

В концепции Данилевского начала цивилизации одного исторического типа не передаются народам другого типа, хотя он и допускал ограниченные культурные влияния. Эти влияния он описывал, опираясь на свой сельскохозяйственный опыт (он купил имение в Крыму, боролся там с филлоксерой, какое-то время исполнял обязанности директора Никитского ботанического сада — агрономия была ему близка): пересадка, прививка и удобрение.

Наиболее простой и самый распространенный способ — пересадка или колонизация. Этот способ связан с лишением политической самостоятельности народов, мешающих распространению привнесенной цивилизации. Например, римляне, покорив бассейн Средиземного моря, насильственно передавали свою цивилизацию покоренным народам, уничтожая их собственную культуру.

Второй способ — прививка. Прививая одно растение к другому, мы, естественно, не уничтожаем дичок, но делаем его средством для развития привитого черенка; одна цивили-

---

[1] Созданная Н. Я. Данилевским теория культурно-исторических типов стала первым вариантом теории локальных цивилизаций, существенный вклад в разработку которой впоследствии внесли О. Шпенглер («Закат Европы»), А. Тойнби («Постижение истории») и другие известные западные историки и социологи. Но Шпенглер выделял уже восемь культурных организмов, Тойнби писал о двадцати одной цивилизации — это наталкивает на мысль, что объективного критерия для выделения культурно-исторических типов не существует, или, во всяком случае, он неочевиден.

зация служит материалом (улучшенным питанием) для другого организма. Чтобы прививка жила, обрезают родные ветви, идущие от ствола или корня. При этом привитое остается чужеродным прививаемому; «прививка не приносит пользы тому, к чему прививается, ни в физиологическом, ни в культурно-историческом смысле», — предупреждал Данилевский. Таким греческим черенком была Александрия на египетском дереве.

Третий путь — «почвенное удобрение», плодотворное воздействие развитой цивилизации на только еще складывающуюся. Это способ, которым Египет и Финикия действовали на Грецию, Греция — на Рим, Рим и Греция — на германо-романскую Европу. Результат вносит разнообразие в область всечеловеческого развития, не повторяя старого, уже пройденного. В этом смысле Западная Европа, как уже умирающий (по мнению Данилевского) организм, могла стать только удобрением для молодого славянского типа, но любые попытки пересадки европеизма или прививки его к другому культурно-историческому типу вызывали и у Данилевского, и у Леонтьева резкий протест и неприятие[1].

Каждый культурно-исторический тип имеет основание в определенной человеческой деятельности. Таких оснований Данилевский выделил четыре: религиозная деятельность, культурная («в тесном значении этого слова»), политическая и общественно-экономическая. Например, еврейский культурный тип — одноосновной, он базируется на религиозной деятельности; греческий культурно-исторический тип тоже имеет одно основание — культурную деятельность. Зато романо-германский тип — двуосновной, здесь единство базируется как на культуре, так и на политике. Славянский же тип, верил Данилевский, будет — впервые! — четырехосновным, наиболее полным и значимым в истории. Леонтьев был сначала согласен с этим выводом Данилевского, писал в письмах о «Великом Славянском будущем», но прошло немного времени — и он гораздо пессимистичнее стал относиться к перспективам славянства.

Данилевского (да и Леонтьева вслед за ним) порой называют «поздними славянофилами». Такая оценка берет свое начало из предисловия Страхова, написанного им к отдельному

---

[1] Высказанная Н. Я. Данилевским идея о неоднозначных последствиях межкультурных влияний впоследствии была «переоткрыта» и обстоятельно разработана в теории модернизации как зарубежными, так и отечественными исследователями. См., к примеру, работы И. Валлерстайна, М. Кастельса, С. Хантингтона, Э. Гидденса и др.

изданию «России и Европы»[1]. Вряд ли можно с этим согласиться, ведь славянофилы исходили из существования единого человечества и наличия у него некой общечеловеческой задачи. Леонтьев же и Данилевский разделяли фундаментальную натуралистическую установку, в соответствии с которой социокультурные образования рассматриваются как отдельные организмы[2], а история приобретает вид лоскутного одеяла. Отсюда следовало еще одно важное несогласие. Славянофилы верили в особую всемирно-историческую миссию России: молодая Россия покажет пример уставшему и исчерпавшему себя Западу, подскажет ему выход из тупика. С точки зрения теории культурно-исторических типов это невозможно: каждая цивилизация развивается по своим законам, и то, что отмирает (как цивилизация Запада), воскресить воздействием извне нельзя. В русле такого подхода вопрос о взаимоотношениях между Россией и Европой приобретал совершенно иное звучание: Данилевский и Леонтьев были не *внезападниками*, а *антизападниками*, и оба много, убедительно и ярко писали о враждебности Европы по отношению к России — ведь борьба этих двух культурно-исторических типов, по их мнению, определяла содержание современной им истории.

Данилевский подчеркивал агрессивный характер западной цивилизации по отношению к формирующемуся славянскому типу и настаивал на необходимости утверждения на Востоке Всеславянского союза, призванного служить гарантом всемирного равновесия. (Столицей такого союза должен был стать Константинополь — тут ни Данилевский, ни Леонтьев не сомневались[3]). Стоит отметить, что в будущий Всеславянский союз, по Данилевскому, должны «волей-неволей» войти и три неславянские народности: греки, румыны и мадьяры. (Этот утопический план основывался на его вполне реалистическом прогнозе о разделе Австрии и Турции.) Леонтьев же с самого начала мечтал о союзе, где не столько племенное родство будет иметь решающую роль, сколько вера, исторические судьбы, геополитические интересы.

---

[1] По книге «Россия и Европа», отмечал Страхов, «можно изучать славянофильство каждому, кто его желает изучать» (*Страхов Н. Н.* Жизнь и труды Н. Я. Данилевского [Предисловие] // *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. 3-е изд. СПб., 1888. С. XXI).

[2] См.: *Бажов С. И.* Философия истории Н. Я. Данилевского. М.: ИФ РАН, 1997.

[3] Н. Я. Данилевский писал: «...нет места на земном шаре, могущего сравниться центральностью своего местоположения с Константинополем. Нет на земле другого такого перекрестка всемирных путей». См.: *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. М., 1991. С. 341.

Более того, уже во время чтения труда Данилевского у Леонтьева появлялись сомнения в способности славян создать самобытную цивилизацию. Он боялся, что «европейская зараза» уже слишком глубоко проникла в славянскую жизнь, и в связи с этим свои надежды уже тогда, в Янине, начал связывать с азиатскими началами в российском «организме».

Эстетическое отношение к истории, любовь к красочному, яркому Востоку привели к своеобразному противоречию в леонтьевском мировоззрении: с одной стороны, будучи последователем теории Данилевского (согласно которой славянский культурно-исторический тип объявлялся наиболее полным и перспективным), Леонтьев должен был бы занимать «племенную» позицию в «балканском вопросе». Между тем он не мог заставить себя отдать предпочтение «унылой», «серой», «буржуазной» культуре южных славян перед красочностью турок, несмотря на то, что противостояние на Балканах того времени выглядело именно так: турки либо славяне. Постепенно Леонтьев пришел к выводу, что одно только «славянское» содержание исторического предназначения России *обеднило* бы ее миссию. Он высказал мысль, что Россия должна создать *новую восточную государственность*, заменить в истории человечества умирающую цивилизацию «романо-германской Европы» «ново-восточной цивилизацией».

Леонтьев обратился к Востоку и в своем творчестве. «...дядя между тем совсем оставил писать о русской жизни и принялся за описание Востока»[1], — замечала Маша. Наверное, самым ярким произведением янинского периода стал уже упомянутый рассказ «Пембе», названный по имени героини, молоденькой танцовщицы, завоевавшей сердце албанского бея Гейредина. Бей готов ради нее даже расстаться с женой, хотя прожил с ней душа в душу несколько лет. Неудивительно! Вот какой мы видим танцовщицу в начале рассказа глазами Гейредина:

«Но внезапно явилась предо мною девушка нежного возраста. Одежда ее была проста; однако и в ней она казалась прекрасною, как золотой сосуд, наполненный душистым напитком.

Обходя комнату искусными кругами, она уподоблялась молодой змейке, играющей в цветущих кустах.

Имя твое, Пембе[2], есть цвет розы, самого прекрасного из цветов.

---

[1] *Леонтьева М. В.* Янина // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 91.

[2] Обозначает «темно-розовая».

Ты сладка и свежа, как зерна граната, облитые розовою водой и посыпанные сахаром.

Я не ищу ни долговечности, ни богатого содержания; пусть жизнь моя будет кратка и содержание бедно; но чтоб я мог покойно веселиться с тобой.

Я молчу, Пембе. Пусть соловей громко поет о любви своей в садах персидских. Я не буду следовать его примеру. Я лучше буду нем, как бабочка: безгласная, сгорает она на любимом ею пламени!»[1]

Рассказ основывался на вполне реальном событии. Леонтьевы были приглашены на свадьбу к богатому еврею, где увидели бледную худенькую девочку лет пятнадцати, и поначалу даже приняли ее за переодетого мальчика. Маша вспоминала: «...вся она как-то изгибалась как змейка и как-то по временам дрожала и как будто встряхивала всем своим худеньким станом. — Не скажу, чтобы мне нравилась эта манера танцевать, но занимать, как новость, очень занимала»[2]. В рассказе описание намного поэтичнее: «И Пембе начала танцовать, звеня колокольчиками. Она плясала долго; выгибалась назад, кружилась и приседала, опять кружилась, и опять выгибалась назад как тростник... трепетала всем телом под звон меди и вдруг остановилась пред консулом, улыбаясь и звеня». Наверное, реальная Пембе тоже остановилась перед русским консулом: во всяком случае, спустя несколько дней Леонтьев разыскал ее и выяснил, что это не мальчик, а девочка-цыганка, и живет она с теткой.

А вот дальше трудно понять, как в этой истории переплетаются реальность и вымысел. Реальность мы знаем только в пересказе Маши (не забудем, влюбленной в Леонтьева): «Не раз в продолжение лета музыканты с этой турчанкой (то есть цыганкой. — *О. В.*) играли у нас и она плясала; вообще ее танцы вошли в моду временно этим летом — она и еще кое у кого плясала в домах. К нам же она раз или два приходила в гости, но уже с закрытым лицом, как настоящая турчанка. — Она очень ласкалась ко мне и к Лиз<авете> Павловне и называла нас ее благодетелями, потому что танцуя в нашем доме — она приобрела немало денег; а года через два — она сделала прекрасную партию: вышла за турецкого чиновника, служившего на телеграфе... пресчастливо зажила со своим мужем и, как говорили, постоянно молилась за дядю и за нас»[3].

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Пембе // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 3. С. 88.

[2] *Леонтьева М. В.* Янина // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 90.

[3] Там же. С. 90—91.

В рассказе консул упоминается лишь в зачине, далее речь идет о влюбленном бее, у которого Пембе выманивает немало денег и обещание взять ее в свой гарем. Рассказ заканчивается трагично: из-за сопротивления жены Гейредин не может «узаконить» свою связь с танцовщицей и вся его блестящая жизнь идет под откос. Из-за Пембе лавина неприятностей и несчастий обрушивается на голову молодого албанца. Гейредина изгоняют из Янины, но расчетливая цыганка, собравшая себе неплохое приданое от его щедрот, ехать с ним отказывается, предпочитая найти себе мужа. В результате молодой бей, хотя все его дела постепенно улаживаются, теряет вкус к жизни. И в конце концов его жизнь, ставшая пустой и тоскливой, обрывается случайной пулей во время похода против греческих повстанцев.

Рассказ «Пембе», поэтичный, по выражению Леонтьева, — «не махровый», написанный бледными акварельными красками, интересен не только литературными достоинствами, но и множеством совпадений с реальной жизнью Леонтьева в Янине. Поневоле возникает вопрос: не увлекся ли и сам Леонтьев девочкой-мальчиком Пембе? Да и в хронологии своей жизни он записал напротив 1869 года: «*Пэмбе* (не повесть, а девушка)»[1], а в письме Страхову упоминал свои поэтические отношения с «15-летней турецкой баядеркой».

Пембе под другим именем появится еще в одном сочинении Леонтьева — романе «Одиссей Полихрониадес». В нем юный грек Одиссей *томится* из-за четырнадцатилетней плясуньи Зельхе, которая внешне похожа на мальчика-подростка. Чарам Зельхе поддается в этом романе и русский консул Благов (очередное леонтьевское воплощение). Слишком много совпадений для *случайной* танцовщицы. Более того, работая в архиве, я наткнулась на стихотворные опыты Леонтьева (на мой взгляд, неудачные); одно из стихотворений называлось «Пембе» и начиналось так:

Я не скажу, что ты прекрасна,
Дитя восточной нищеты...

Бей Гейредин говорит в рассказе: «...люблю девушек таких, как эта Пембе, — бледных, болезненных и воздушных...» Именно таких девушек любил и Константин Николаевич! Присутствие Лизы и Маши вряд ли могло остановить его. В рассказе есть рассуждения Пембе о мусульманских обычаях: «Так я скажу: наш закон очень хороший. Жену ты свою лю-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Хронология моей жизни // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 32.

бишь, и меня возьмешь в гарем и будешь любить. А у гяуров все одна жена. Старая, старая она станет; а он все любит ее. Дурной закон». Никакого тяготения к исламу в целом Леонтьев, разумеется, не испытывал (тут трудно согласиться с мнением Бердяева), но вот в вопросах брачной жизни он находил тогда за мусульманскими обычаями больше жизненной правды, чем в христианской моногамии.

Лиза давно привыкла к таким взглядам мужа. Маше с ревностью справиться было труднее. Но и она в конце концов готова была ради Константина Николаевича на всё. Не случайно в письме отцу из Янины она писала: «Одной только отрады я не могла бы пожертвовать ему <...> это покоить вас»[1].

Рассказ «Пембе» был опубликован в 1869 году в катковском «Русском вестнике». Спустя год он появился в серии «Русская библиотека» в Лейпциге, а в 1883 году его перевели на сербский язык и издали в Белграде. Последующих переводов Леонтьев уже не дождался — они осуществились после его смерти. Зато в 1871 году «Journalde S.-Petersburg» в обзоре литературных журналов упомянули об этом рассказе — отмечались талант автора, его тонкая наблюдательность и глубокое знание восточных обычаев, — чему Леонтьев, не избалованный вниманием к своим произведениям, был очень рад.

В это время Леонтьев писал и роман «Генерал Матвеев» («Две избранницы») для журнала «Заря». Но когда первые части автор решил опубликовать, — редакция от романа отказалась. При помощи Сони Майковой Леонтьев попытался отдать его в «Беседу», но там решили, что роман «сален», после чего рукопись — уже в 1872 году — перекочевала к Каткову, и в «Русском вестнике» потребовали доработок и исправлений... О романе безрезультатно хлопотали знакомые Леонтьева; в 1883 году возникла надежда поместить его в «Санкт-Петербургских ведомостях», но и здесь ничего не получилось. В 1884 году Леонтьев продал-таки роман (и получил 500 рублей аванса) журналу «Россия», но и там публикация долго не могла состояться. В конце концов сам журнал был продан новому хозяину, который затеял судебную тяжбу с Леонтьевым, требуя закончить роман или вернуть деньги, и тяжба продлилась до 1891 года. В результате десять лет роман переходил из редакции в редакцию, полностью так и не увидев света. До нас дошли лишь его отдельные части, потому судить о нем как о литературном произведении затруднительно, зато он дает немало подсказок для понимания личности Леонтьева.

---

[1] Письмо М. В. Леонтьевой к В. Н. Леонтьеву от 7 июля 1869 г. // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1061. Л. 2.

Генерал Матвеев — еще один автобиографический персонаж в леонтьевском творчестве. Не случайно на полях рукописи романа остались Машины пометки: «весь Л.», «сам Л.». Молодой, умный, властный генерал, государственник по взглядам, служащий на Востоке и сделавший блестящую карьеру (то есть успешный, улучшенный Леонтьев с небольшой примесью посла Игнатьева), встречается с девушкой-нигилисткой Соней (в которой легко угадываются черты как Маши Леонтьевой, так и Сони Майковой). Генерал женат, причем история его женитьбы напоминает женитьбу Леонтьева на Лизе. Мезальянс даже усилен — жена генерала, молдаванка, когда-то спасена им из публичного дома (то есть в ее образе соединены черты Лизы Политовой и стамбульской Лины). Соня страстно влюбляется в генерала. Он тоже неравнодушен к худенькой, коротко остриженной девушке (внешне напоминающей Машу), но говорит ей откровенно: «Время сильных страстей для меня миновало». И еще более честно: «Не хочу забот и новых обязательств. Довольно!.. Поверьте, и я в жизни уже успел натерпеться вдоволь и теперь — хочу сердечного покоя, чтобы все мои силы пошли на службу тому Правительству, которое умеет ценить меня...»[1]

В конце концов Матвеев находит выход — предлагает Соне жить в его доме совместно с женой. Правда, условием ставит отсутствие физической близости с Соней («Я готов *навсегда отказаться от счастья владеть тобою вполне*, чтобы этой ценою купить навсегда твое присутствие в нашем доме»[2]). Думаю, условие это в романе было уступкой общественному мнению; реальный Леонтьев в то время не считал нужным ограничивать себя в плотских радостях; мысль об аскезе придет к нему позже. Соня шлет жене генерала письмо с просьбой разрешить ей приехать в их крымский дом. В этом письме есть знаменательные слова: «Позвольте мне сказать вам еще вот что: ни вы, ни я не можем каждая отдельно наполнить жизнь вашего мужа — ему слишком много надо. Он слишком выше нас обеих (это, я думаю, вы мне простите). Обе же вместе мы можем составить для него такое счастье, какое еще люди не видывали и не испытывали»[3]. Леонтьев писал о себе: он искренне полагал, что ему для счастья нужно больше, чем многим другим людям, его не могла удовлетворить одна женщина, даже если он ее любил.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Две избранницы // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 146—147.

[2] Там же. С. 184.

[3] Там же. С. 194.

Взаимоотношения женщин, окружавших Леонтьева, складывались непросто. Судя по целому ряду свидетельств, сначала, познакомившись в Кудинове с дядиной женой, Маша полюбила ее, но в Янине всё стало не так безоблачно. Леонтьев жаловался в письмах Губастову на ссоры Маши с Лизой. А в одном из неоконченных романов, повторявших отчасти фабулу «Двух избранниц», влюбленная в женатого героя (тоже Матвеева) девушка вспоминает, как гостила в его доме: «Гостила и делала все те позорные глупости, которые охладили его чувство... Она и теперь готова от стыда закрыть лицо свое руками, когда вспомнит о них!.. Ревновала к жене, и ревновала так грубо, так для себя самой неожиданно! В ее же доме говорила ей грубости... Ну, как не остыть... Какое тут благоухание любви!.. Всякий остынет! — Он прав — я сама задула его пламень...»[1] Судя по всему, нечто похожее случилось в то лето в Янине: на это намекал в своих воспоминаниях Губастов, да и Константин Николаевич не раз возвращался к теме «глупой ревности» Маши.

Это изменило отношения Маши и Леонтьева. Понять их характер поможет герой романа «Подруги», который пишет влюбленной в него молодой родственнице, своей бывшей уже любовнице: «Как бы я ни был тобою недоволен, как бы я ни был занят чем-нибудь другим — я помню, что у меня есть человек, которому я могу во всем открыться, все сказать; который понимает меня так, как *я хочу быть понятым*; которому нравятся даже все слабости мои... Кто же мне заменит тебя? — Разрыв между нами, ты сама знаешь, невозможен... — Ни тебя никто мне заменить не может (все *это* не то), ни ты никого любить не будешь *именно* так, как любишь меня. — Я видал в гористых странах реки; летом русло их совсем почти сухое... — А весной, когда на горах тает снег, эти ручьи становятся страшными реками и наполняют все русло до берегов. — Так и наша привязанность — она может слабеть на время; иссякнуть она не должна, да и не может...»[2]

Несмотря на все шероховатости, время первого пребывания Маши в Турции стало последними по-настоящему счастливыми месяцами в жизни Константина Николаевича. Как вспоминала Мария Владимировна: «К. Н. занимала в то время более всего его домашняя жизнь. — Все в ней было или красиво, или мило и изящно. — ...Мы — близкие его: жена, я, воспитанник — все были молоды, свежи, и будет ли хвастовством

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Подруги // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 490.

[2] Там же. С. 532—533.

сказать, что не лишены были немалой доли изящества... — Итак, все в нашем доме было молодо, свежо, мило, изящно и пестро. Такова была наружная обстановка семейной жизни К. Н. — Он желал только цветов свежих и душистых от своей семьи; он не думал тогда о том — что такое корень всякой семьи; что сила семьи не в цветах, а в корне. — Цветы его семьи были пышны, корень слаб — ...и скоро цветы опали...»[1]

Действительно, после отъезда Маши жизнь Леонтьевых стала рушиться. Через несколько месяцев опять заболела Лиза, вернулись и признаки умственного помешательства. Стало ясно, что оно будет повторяться и усиливаться. Да и сам Леонтьев заболел. Климат Эпира — самого влажного региона Греции — был неблагоприятен для склонного к легочным заболеваниям Константина Николаевича. Он начал кашлять и, что еще хуже, страдать от приступов «турецкой лихорадки». Леонтьев написал просьбу о переводе в другое место, но на быстрое решение этого вопроса рассчитывать было нечего. В письме племяннику (брату Маши) он писал: «А я, брат, все болею... Лихорадка изнурила меня до того, что я на днях, как только будет сила сесть на лошадь, уеду из Янины»[2].

В декабре Леонтьев с Лизой перебрались в Арту — небольшой городок неподалеку, где место было «не такое лихорадочное». Там же встретили и новый, 1870 год. В хронологии своей жизни Леонтьев записал: «Печальная зима». Чтобы отвлечься от всё чаще охватывающей его тоски, он пытался работать, написал очередной «восточный» рассказ — «Поликар Костаки», который Катков напечатал в «Русском вестнике». Тогда же Леонтьев начал писать «греческую повесть» «Аспазия Ламприди».

С наступлением весны Леонтьевы вернулись в янинский дом. Летом к ним вновь приехала Маша, но в этот раз не было ни пикников под платанами, ни смены нарядных платьев. Леонтьев был изнурен лихорадкой, издерган и мрачен, а вскоре и к Елизавете Павловне вернулась ее болезнь. Приступы помешательства становились все длиннее, и ранней осенью Леонтьев решил отправить жену к ее родным, в Одессу, надеясь на помощь одесских докторов и более благоприятный климат. Сопроводить Лизу взялась Маша.

Сам Константин Николаевич уехал на Корфу и провел там несколько месяцев. На этом греческом острове лихорадка его отпустила, он окреп. Но в ноябре Леонтьев вынужден был

---

[1] *Леонтьева М. В.* Янина // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 92—93.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к В. В. Леонтьеву от 10 декабря 1869 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 68.

вернуться в Янину — дела службы требовали его присутствия. Летом 1870 года предгрозовая политическая атмосфера разразилась войной между Францией и Пруссией, что осложнило дипломатическую обстановку. Надо сказать, что в результате этой войны расстановка сил в Европе несколько изменилась. Канцлеру Горчакову удалось аннулировать ту статью Парижского трактата, что запрещала России иметь военный флот на Черном море.

Леонтьев, оставшийся один, все свое время теперь отдавал службе и литературе; «об увеселениях я думать перестал», — писал он матери. Феодосия Петровна корила сына за то, что отослал от себя больную жену. Константин Николаевич объяснял свое решение: «Я убедился, что присутствие мое *ей* пользы не делает; а мне ее постоянная раздражительность не дает заниматься делом, к<ото>рое служит на *ее же* содержание, на ее лечение, на ее спокойствие, по крайней мере, вещественное. — Если я не сумел успокаивать и утешать ее во время физических страданий, мой долг, по крайней мере, позаботиться об ее... матерьяльном благоденствии... Вы видите и слышите, как идет моя служба. — Литературные дела хотя и не так идут, как бы я *заслуживал* (скажу без ложной скромности); по крайней мере везде мои сочинения охотно печатают, и если я печатал в этот год меньше, чем следовало, то этому нет иной причины, как эта болезнь ее, которая меня *бесплодно* сокрушала...»[1] Он посылал Лизе по 100 рублей в месяц — деньги по тем временам вполне достаточные для безбедной жизни.

Леонтьев не оставлял надежды уехать из Янины, но Стремоухов, ставший директором Азиатского департамента, сказал при встрече в Петербурге его брату, Владимиру Николаевичу:

— Пусть не торопится. Он на хорошем счету. Ему и до генерального консула недалеко... А если уж здоровье его совсем худо, пусть попросит несколько месяцев отпуска с сохранением двух третей жалованья — от департамента ему препятствий не будет...

На Леонтьева обратил внимание министр иностранных дел князь А. М. Горчаков. Он запомнил Леонтьева не только по его донесениям и отзывам о нем посла, но прежде всего благодаря Феодосии Петровне. Старушка случайно познакомилась с Горчаковым на одной из петербургских выставок. Они разговорились. Трезвый ум и благородные манеры Феодосии Пет-

---

[1] *Леонтьева М. В.* К. Леонтьев в Турции // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 101.

ровны произвели на князя большое впечатление. Узнав, что консул Леонтьев — ее сын, он стал относиться к нему с особым вниманием. Более того, Феодосия Петровна так запомнилась ему, что он до самой ее смерти не раз спрашивал Стремоухова, в Петербурге ли мать Леонтьева, здорова ли, не нужна ли ей помощь. Видимо, было в этой женщине что-то особенное, если даже в старости она вызывала к себе интерес.

Однако свободной должности генерального консула не было, и Леонтьев ждал, понимая, что такая должность — не только продвижение по службе, но и бóльшая зарплата (шесть тысяч рублей серебром в год), которая была ему необходима. По некоторым расчетам, его могли послать генеральным консулом в Прагу или в Рущук (на Дунае). Оба места вполне его устраивали, в том числе и тем, что были ближе к России, легче было бы навещать Лизу, старенькую Феодосию Петровну, да и литературные дела продвигались бы быстрее.

К сожалению, расчеты Леонтьева не оправдались. Очередной приступ лихорадки заставил его написать еще одно письмо послу с просьбой о переводе. Игнатьев предложил ему в начале февраля 1871 года временно принять консульство в Салониках (русские называли это место Солунь), где климат был лучше. Леонтьев, измученный болезнью, согласился.

Из-за хлопот с переводом он вынужден был отложить уже намеченный отпуск, когда собирался побывать у матери, а в конце февраля 1871 года 76-летней Феодосии Петровны не стало. Она жила тогда в Петербурге у Владимира Николаевича и Маши, но похоронили ее рядом с церковью в селе Велине, в 12 верстах от Кудинова. Перед смертью она звала Костиньку...

О смерти матери Константин Николаевич узнал еще в Янине. Поначалу он как будто бы не до конца осознал происшедшее. Горечь утраты пришла позже и уже не отпускала его до конца дней. Зимой же 1871 года обрушившиеся на него испытания — болезнь Лизы, собственное нездоровье, перемены по службе, долги — словно притупили его восприимчивость.

В конце марта Леонтьев сдал дела в Янине и в апреле приехал в Салоники.

В эпоху Византии этот греко-славянский город насчитывал свыше двухсот тысяч жителей и являлся вторым после Константинополя христианским центром империи. Но ко времени Леонтьева от былого греческого могущества не осталось и следа: в нем проживало около ста тысяч жителей, более половины составляли испанские евреи и основным языком города являлся ладино, значительная часть греков уехала, была продана в рабство или уничтожена за прошедшие века. В Салони-

ках появился большой мусульманский квартал Ходжакасым, где проживали турки и отуреченные народы (уроженцем этого места станет знаменитый Мустафа Кемаль Ататюрк, с кем связаны колоссальные перемены в жизни Турции). Но в целом город был более европейским, нежели остальные места службы Леонтьева: улицы заполняли экипажи европейского образца, на берегу моря располагались вполне европейские виллы, у многочисленных магазинов толпились люди, одетые чаще в нелюбимые Леонтьевым сюртуки, чем в фустанеллы... «К. Н-ч с самого приезда туда возненавидел самый город»[1], — вспоминала Маша.

Здание российского консульства было большим, но неуютным, вокруг него не было даже маленького дворика. Дом, построенный с архитектурными претензиями, требовал пышного убранства, на что денег у Леонтьева не было. Но главное, не было и желания обустроить новое жилище по своему вкусу.

Леонтьев чувствовал себя усталым и больным, хотелось покоя. Еще в Янине с ним стало что-то происходить: он, всегда такой жадный к жизни и удовольствиям, писал Губастову, что у него не осталось желаний. (Не случайно Маша, вернувшись из второй поездки в Турцию, сказала близким, что Константин Николаевич, несмотря на успехи по службе, стал подумывать иногда о монастыре.) В Солуни и сама служба ему перестала нравиться: в торговом городе у консула было больше коммерческих дел, чем политических задач, а такие дела Леонтьева никогда не привлекали. Ситуация осложнялась ухудшением отношений с послом Игнатьевым. Их мнения по поводу греко-болгарской церковной распри решительно расходились, и славянофил Игнатьев, стоявший на стороне болгар, заметно охладел к подчиненному.

С Константином Николаевичем остался только воспитанник Петраки. Больная Лиза — далеко и, судя по всему, не поправится; Феодосия Петровна никогда уже не пришлет ему писем со строгими наставлениями; Маша — тоже нездорова... А главное — он и сам ощущал себя больным и разбитым. В Салониках лихорадка его отпустила, но болели суставы и весь организм был расстроен... Он чувствовал, что Бог как будто наказывает его за *неправильную* жизнь, посылает испытания. Болезнь, совпавшая с другими несчастьями, заставила задуматься: не высший ли это знак о необходимости изменения себя?

Леонтьев, несомненно, был верующим человеком, однако вера его была тогда «рассуждающая»: он не был способен по-

---

[1] *Леонтьева М. В.* К. Леонтьев в Турции // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 106.

стичь, как неодушевленная высшей силой природа могла бы сотворить человека с его душой и сознанием, потому и не сомневался в Творце. Но к Церкви Константин Николаевич относился в то время скорее *патриотически* и *эстетически*, чем нравственно и духовно — он ценил предания, историю русской церкви, любовался облачением священников и обрядами, но вовсе не выстраивал своей жизни в соответствии с православным учением. Его эстетический критерий был несовместим с требованиями христианской аскезы и любви к ближнему. Герой «Египетского голубя» Ладнев так рассказывал о своем отношении к Церкви: «...всею моею нравственною жизнью тогда руководило не учение православия и не заповеди Божии, а кодекс моей собственной гордости... и внутреннее самоуничижение или заслуженная злая насмешка людей были мне страшнее гнева Господнего...»[1] Похожим образом обстояло дело и с самим Леонтьевым.

Природа болезни (болезней?) Леонтьева не раз обсуждалась в литературе. Если в молодости он боялся чахотки, то в зрелом возрасте у него находили целый «букет» других хронических заболеваний — от катара гортани до болезни печени и поражения суставов. В письмах Губастову через несколько лет он напишет об импотенции («...impotentia virilis, слава Богу, установилась прочно! Очень рад и считаю это благодатью Господней...»[2]). Один из исследователей жизни и творчества Леонтьева, К. А. Жуков, пишет о большой вероятности перенесенного венерического заболевания, довольно распространенного и вызывающего иногда похожие осложнения[3].

Культ сладострастия, который Леонтьев проповедовал в Адрианополе и Янине, открытый брак, многочисленные женщины, причем самого разного общественного положения, от «простых болгарок и гречанок», Лины из «веселого дома» и танцовщиц — до дам высшего света, не позволяют обойти эту тему, но оставим ее подробности медицине.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Египетский голубь. М., 1991. С. 398.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 15 января 1875 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 109.

[3] См.: *Жуков К. А.* Восточный вопрос в историософской концепции К. Н. Леонтьева. СПб.: Алетейя, 2006. С. 16.

Глава 8

ЧУДО?

Есть нечто бесконечно сильнейшее нашей воли и нашего ума, и это нечто сокрушило мою жизнь...

Константин Леонтьев

Спаситель, Спаситель,
Чиста моя вера.
Но Боже! И вере
Могила темна...

Алексей Кольцов

Святая гора Афон находилась не так далеко от Солуни, в двух днях пути. Большинство монастырской братии составляли греки, но немало было и славян. Среди двадцати «правящих» афонских монастырей[1] один — Пантелеймонов (Руссик) — традиционно считался «русским»: он был основан русскими иноками и там находилось много русских насельников, но игуменом в то время был грек, столетний старец Герасим. В последние годы своей земной жизни он фактически передал бразды правления монастырем отцу Иерониму (Соломенцову) и его духовному сыну, отцу Макарию (Сушкину)[2], причем последнего он на случай собственной смерти назначил своим преемником.

Отец Иероним обладал большим авторитетом не только среди русских монахов, но имел влияние и на всю святогорскую жизнь. Именно он воспитал и следующего русского игумена Пантелеймонова монастыря. Михаил Сушкин прибыл на Афон паломником, неожиданно заболел, и его, как безнадежного больного, постригли, минуя обычные ступени, сразу

[1] На Афоне существует 20 монастырей. Создание новых монастырей на Святой горе запрещено. Со статусом монастыря на Афоне сопряжены исключительные имущественно-правовые привилегии: монастыри участвуют в органах самоуправления Афона и имеют земельную собственность. Кроме монастырей на Святой горе находятся еще скиты (иногда не менее многочисленные, чем монастыри) и келии, но они зависят от монастыря, на чьей земле располагаются. Кроме Пантелеймонова монастыря «русскими» в то время были также Андреевский и Ильинский скиты.

[2] См.: Великая стража. Жизнь и труды блаженной памяти афонских старцев иеросхимонаха Иеронима и схиархимандрита Макария. М.: Изд-во Московской патриархии, 2001.

в схиму. Но он выздоровел, полюбил монашескую жизнь и уже никуда не хотел с Афона уезжать. Отец Макарий признавался в письмах, что Афон кажется для него раем, а также писал о том, какое колоссальное влияние имеет на него отец Иероним, его духовник. После кончины игумена Герасима в 1875 году отец Макарий стал первым русским игуменом на Святой горе.

Пантелеймонов монастырь и русское консульство в Салониках были связаны: все пожертвования из России монастырь получал через консульство, там же оформляли паспорта паломников, а главное — сами русские монахи желали официального признания российской юрисдикции за монастырем (иначе они становились турецкими подданными). В начале 1871 года Леонтьеву была отправлена специальная инструкция о позиции русского консульства по отношению к монастырю Святого Пантелеймона. В инструкции напоминалось, что монастырь этот пользуется покровительством Императорского Правительства и задачей консула является поддержание русского влияния на Афоне, «не возбуждая притом ни опасений, ни подозрений Турецких Властей, ни зависти Греческого Духовенства».

Таким образом, Леонтьев по долгу службы оказался связан с Афоном, хотя долго не мог собраться туда съездить. Зато афонские монахи время от времени навещали Константина Николаевича — дача, которую он снял по примеру других дипломатов, спасаясь от летней жары, находилась в Каламарии, рядом с подворьем Пантелеймонова монастыря. Монахи даже подарили ему икону Богоматери. Всё как будто провиденциально готовилось для кульминации леонтьевской жизни — и Святая гора оказалась рядом с местом его службы, и строгий лик Богородицы смотрел на него со стены в его комнате...

Летом 1871 года Маша вновь навестила дядю. Она собиралась отдохнуть в Крыму вместе со своей приятельницей Ольгой Кошевской (сестрой Сони Майковой). Ехали они туда кружным путем, через Константинополь. Узнав об этом, Константин Николаевич уговорил Машу и ее подругу провести лето у него. Жара стояла страшная, потому жили в Каламарии, прямо на берегу моря, в 50 верстах от Афона. Ни с кем там не приятельствовали — Леонтьев даже гулять ходил редко, чтобы не повстречаться с другими дачниками. Единственные соседи, с кем Константин Николаевич хотя бы изредка общался, — это семья молодого английского консула, да и он понравился Леонтьеву лишь потому, что похвалил богослужение в Пантелеймонове монастыре.

Губастов вспоминал, что его друг «с иностранными коллегами своими... поддерживал... только официальные отноше-

ния. Между женами их он не нашел второй Madame Блонт, которая могла бы рассеивать его мрачные думы и услаждать его одиночество. Будничная, консульская деятельность удовлетворить его не могла»[1]. На службу Леонтьев ездил редко и был мрачен. «Прошло упоение жизнью», — написал о состоянии Леонтьева в Салониках Бердяев.

Константин Николаевич тосковал. Лихорадка, изнурявшая его уже около года, какая-то очередная любовная драма («сердечные дела», на которые он намекнул спустя несколько лет Василию Розанову), мысль об ушедшей матери... И на фоне этой тоски — с ним происходит событие 1871 года (вот она, мистика цифр — самое важное с Леонтьевым случается всегда в начале десятилетия!), которое заставило Константина Николаевича полностью изменить свою жизнь. Версий случившегося существует несколько. Попробуем разобраться в них.

Маша, которая была рядом с Леонтьевым в это время, довольно обыденно описывает произошедшее: «Внезапно заболевает К<онстантин> Н<иколаеви>ч расстройством, которое он счел холерой. Доктор, приехавший из города, не нашел этой болезни. <...> К<онстантин> Н<иколаеви>ч был вне себя от ужаса смерти. Несколько дней он не выходил из темной комнаты, чтобы не знать, когда кончается день и начинается ночь, которой он особенно страшился. — Я поочередно с приятельницей и его воспитанником проводили дни в его темной комнате. — <...> Доктор ему помог, хотя и говорил мне, что К<онстантин> Н<иколаеви>ч сам себя прекрасно лечит. — В первые же дни болезни, ожидая быстрого конца своего, К<онстантин> Н<иколаеви>ч дал клятву перед образом Божией Матери (этот образ ему привезли монахи-греки с Афона) принять монашество, если останется жив. <...> — Как только последовало улучшение его здоровья — он решил ехать сухим путем на Афонскую гору и просил меня проводить его»[2].

Итак, Леонтьев неожиданно и сильно заболел, ошибочно диагностировал у себя холеру, воспринял болезнь как наказание за грехи и, испугавшись смерти и вечной погибели, дал обет стать монахом. Таков взгляд со стороны. Говоря словами Тургенева, «старая штука смерть, а каждому внове».

Несколько иначе, нежели у Маши, выглядят факты в изложении самого Леонтьева. Наверное, ярче всего Константин

---

[1] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 209.

[2] *Леонтьева М. В.* К. Леонтьев в Турции // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 108.

Николаевич рассказал о пережитом в письме Василию Васильевичу Розанову.

Леонтьев писал ему о том, как в 40 лет, будучи консулом в Салониках, заболел и, лежа на диване в страхе смерти от «сильнейшего приступа холеры», посмотрел на икону Божией Матери, привезенную ему монахами с Афона.

«Я думал в ту минуту не о *спасении души* (ибо вера в *личного Бога* давно далась мне гораздо легче, чем вера в *мое собственное бессмертие*), я обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли от телесной смерти и, *будучи уже заранее подготовлен...* целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я *вдруг*, в одну *минуту*, поверил в существование и могущество *этой Божией Матери*; поверил так ощутительно и твердо, как если бы *видел перед собой живую, знакомую,* действительную женщину, очень добрую и очень могущественную и воскликнул: "Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в *высшей степени развратную, утонченно* грешную жизнь! Подними меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в *простого и настоящего* православного, верующего в *среду* и в *пятницу*[1], и в чудеса, и даже подстригусь в монахи..."

Через 2 часа я был здоров; все прошло еще прежде, чем явился доктор; через три дня я был на Афоне; подстригаться немедленно меня отговорили старцы; но *православным* я стал очень скоро под их руководством. К *русской* и эстетической *любви* моей к Церкви надо прибавить еще то, что недоставало для исповедания "середы и пятницы": *страха* греха, страха наказания, страха Божия, страха *духовного*. Для достижения этого страха — нужно было моей гордости пережить только 2 часа физического (и обидного) ужаса[2]. Я смирился после этого... Физический страх прошел, а духовный остался. И с тех пор я от *веры* и *страха* Господня отказаться *не могу*, *если бы даже и хотел...* Религия не всегда утешение; во многих случаях она тяжелое иго, но кто истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не расстанется!»[3]

---

[1] Среда и пятница у первохристиан назывались «днями стояний». Эти дни — дни скорби: в среду Иисус Христос был предан Иудой, а в пятницу распят на кресте. Еще апостолами в эти дни был установлен пост.

[2] Симптомами холеры являются сильная диарея и рвота. Леонтьева не просто страшила смерть, но и отвращала *такая* обидная и унизительная (с его точки зрения) смерть.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову от 14 августа 1891 г. // *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1991. С. 180.

Согласитесь, рассказ Леонтьева — совершенно искренний рассказ о мистическом событии, о *чуде*, которое невозможно объяснить обыденным образом, и в этом смысле он противоположен описанию Маши.

Существуют и другие описания того, что произошло. Со слов Леонтьева об этом случае потом вспоминали Губастов, Лев Тихомиров, Евгений Поселянин. В их пересказах много неточностей и расхождений, но это кажется вполне объяснимым, если учитывать и особенности восприятия каждого в зависимости от личных взглядов, и свойства памяти. Похоже, рассказ Маши и леонтьевское письмо Розанову являются самыми точными. Во всех почти версиях (кроме Машиной) наличествует холера. Конечно, безрелигиозному человеку легче поверить в диагностическую ошибку Леонтьева: у страха глаза велики, никакой холеры у него не было, а значит, не было и чуда.

Однако не стоит забывать, что Леонтьев был врачом и симптомы этой болезни хорошо знал, к тому же случаи появления холеры в тех местах не были тогда редкостью. Доводов в пользу того, что Леонтьев *не* ошибся, — немало. А версия, изложенная Тихомировым, кажется, может удовлетворить и рационалистов, и мистиков: Леонтьев, рассказывая Тихомирову о своем спасении, упомянул одну немаловажную деталь. После обращения к иконе Богоматери Леонтьева охватило чувство полной покорности высшей воле. «И тут произошло нечто, показавшееся ему чудом. Он вдруг вспомнил — точно кто-то шепнул ему, что у него есть опиум»[1]. Тогда врачи лечили холеру именно опиумными препаратами. В связи с распространением болезни Леонтьев возил опиум с собой. Как он мог забыть о нем? С трудом поднявшись с постели, он принял максимально возможную дозу лекарства и впал в забытье. Проснулся он чуть ли не через сутки — слабым, но здоровым[2].

Исследователь леонтьевского творчества Д. М. Володихин уверен в том, что произошло чудо: «или, во всяком случае, произошло нечто столь сверхъестественное по виду, что утонченный интеллектуал, мало верующий человек[3] с образованием естественника и практикой высокопоставленного чиновника-дипломата должен был поверить в чудо»[4].

---

[1] *Тихомиров Л. А.* Тени прошлого. К. Н. Леонтьев // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 2. СПб., 1995. С. 14.

[2] По «чудесной» версии он был здоров уже через пару часов.

[3] Старец Иероним в одном из своих писем упоминал, что Леонтьев прибыл на Афон рационально мыслящим деистом.

[4] *Володихин Д. М.* «Высокомерный странник». Философия и жизнь Константина Леонтьева. М., 2000. С. 47.

Очевидно, что на протяжении нескольких лет в душе Леонтьева зрела потребность изменить свою жизнь. По его собственному свидетельству, он жил в пантеистическом тумане, хотя и «весело». Такая «внешняя» жизнь перестала удовлетворять его, недоставало «внутреннего» содержания. Духовные искания чаще всего связаны с религией — достаточно вспомнить религиозные метания Толстого или мучительные раздумья о Христе Достоевского («Бог меня всю жизнь мучил», — запишет он в дневнике). Для Леонтьева обращение к Абсолютному совершилось июльским днем 1871 года, когда он, лежа в темной комнате, ощутил над собой власть непостигаемой высшей силы и, потрясенный, испытал *страх*, что вся его яркая, нацеленная на удовольствия и наслаждения жизнь окажется бессмысленной с точки зрения иных, вечных ценностей. То, что зрело в его душе, обрушилось на него грозовым ливнем, в котором он чуть не погиб, но выжил и начал строить совсем иную жизнь.

Образ ливня пришел мне на ум еще до того, как я прочитала замечательные дневниковые записи Сергея Дурылина, который был не только знатоком наследия Леонтьева, но и священником, — он был рукоположен в сан Алексеем Мечевым (святым праведным Алексием Московским) — и знал, о чем писал. Тем интереснее мне показались его рассуждения:

«Над одними Бог стал густой тучей, над самой их головой — и пролился ливнем с грозой, с громом, с молнией. Это — Паскаль, Гоголь, Л. Толстой, К. Леонтьев.

Другие не попали под середину тучи: их только редким дождем покропило. Это немногие сердечно и искренно религиозные люди.

А третьих лишь краешком задело: капнуло на них двумя-тремя каплями. Это огромное большинство считающих себя религиозными людьми.

Первых — насквозь, до ниточки, до голого тела промочило ливнем — Богом. Оттого Паскаль пишет (неразб.), Гоголь жжет “Мертвые души”, Леонтьев принимает тайный постриг, Толстой бежит в Астапово.

На вторых смочено верхнее платье, но внутри сухо. У них есть какая-то не всецелая, не до глубины идущая, но все-таки религиозная боль в жизни.

А на третьих все сухо. Эти исполняют обряды и бранят безбожников — тех, кого и краешком тучи не задело, — забывая, что и на них самих-то попало лишь две-три капли, да и те высохли»[1].

---

[1] *Дурылин С. Н.* В своем углу. М., 2006. С. 454.

Леонтьева не только «до голого тела промочило» Божиим ливнем, его при этом чуть не убило молнией, и *страх* остался с ним на всю жизнь. Потому христианство Леонтьева не было светлым и радостным — он пришел к Богу, принеся в жертву то, что составляло всю его жизнь, его личность, — как Авраам готов был принести в жертву единственного и долгожданного сына.

«*Богу угодно было убить меня*»[1], — с горечью напишет Константин Николаевич, рассказывая о своей жизни. И еще яснее: «...именно с тех пор как я *обратился* (с 1871 года) все мирские дела мои пришли в упадок. — *С тех пор как я стал православным, я нигде себе места не найду*»[2]. Он веровал в Бога карающего, а не милосердного и любящего. Характерно, что и для Леонтьева-теоретика были очевидны только две стороны в Византийском православии: «...для государственной общественности и для семейной жизни оно <православие> есть религия *дисциплины*. Для внутренней жизни нашего сердца — оно есть религия *разочарования*, религия безнадежности на что бы то ни было земное»[3]. Соответственно, вся его жизнь после лета 1871 года была мучительной попыткой сломать себя, подчиниться, отдать свою волю — *кому-то:* духовнику ли, настоятелю монастыря, старцу...

Он писал позднее, что образованному человеку труднее стать искренне верующим: ведь тому, кто знает мало, надо бороться только со своими греховными привычками, страстями и пристрастиями — ленью, злостью, гневом, распутством, но не надо бороться с идеями — их у него слишком мало. «Образованному же... человеку борьба предстоит гораздо более тяжелая и сложная, ему точно так же, как и простому человеку, надо бороться со всеми этими перечисленными чувствами, страстями и привычками, но, сверх того, ему нужно еще и гордость собственного ума сломить и подчинить его сознательно учению Церкви; нужно и стольких великих мыслителей, ученых и поэтов, которых мнения и сочувствия ему так коротко знакомы и даже нередко близки, тоже повергнуть к стопам Спасителя, апостолов, Св. Отцов и, наконец, дойти до того, чтобы, даже и не колеблясь нимало, находить, что какой-нибудь самый ограниченный приходский священник или самый грубый монах в основе миросозерцания своего ближе к исти-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 133.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 228.

[3] *Леонтьев К. Н.* Четыре письма с Афона // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 173.

не, чем Шопенгауэр, Гегель, Дж. Ст. Милль и Прудон... Конечно, до этого дойти нелегко, но все-таки возможно при помощи Божией»[1]. Так рассуждал Леонтьев! Гордый до высокомерия человек в своей попытке смирения готов был признать истиной миросозерцание простого приходского священника...

С. Н. Булгаков, ставший священником в 1918 году, — когда принять сан мог лишь человек, готовый к мученичеству за веру, — говорил, что во всех писаниях Леонтьева после обращения звучит «какой-то изначальный и роковой, метафизический и исторический испуг, дребезжащий мотив страха», что «древний ужас» сторожит леонтьевскую душу. Главным в жизни Константина Николаевича отныне стал *страх Божий*, стремление спасти свою душу. Булгаков же проницательно заметил: у Леонтьева чем дальше от религии — тем веселее, радостнее; «южным солнцем залиты его великолепные полотна с картинами восточной жизни, а сам он привольно отдается в них влюбленному очарованию, сладострастно впитывая пряную стихию. Но достаточно, чтобы пронеслось дыхание религии, и все темнеет, ложатся черные тени, в душе поселяется страх... Это была вымученная религия, далекая от детской ясности и сердечной простоты»[2].

Парадокс: несмотря на глубину и серьезность личной веры Леонтьева, ради которой он нещадно ломал и перемалывал себя, приносил жертвы великие, леонтьевская религиозность не раз ставилась под сомнение именно из-за «темного лика» его христианства. Отец Константин Аггеев был убежден, что Леонтьев так и не смог преодолеть своей языческой природы; отец Георгий Флоровский считал, что, несмотря на искреннюю религиозность, Леонтьев не усвоил христианского мировоззрения. С. Н. Трубецкой был убежден, что Леонтьев исказил христианское представление о страхе Божием, извратил основания христианской этики. Бердяев укорял Константина Николаевича за то, что тот «не любил Бога и кощунственно отрицал Его благость», а Ф. Ф. Кукляревский (сам будучи неверующим!) и вовсе обозвал «сатанистом»... Претерпев многое ради веры, полностью подчинив свою жизнь поискам спасения, в глазах многих Леонтьев так и не стал до конца христианином.

Биография Леонтьева как будто разрублена карающим мечом на две части — *до* и *после*. Причем *после* — самый тра-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 500—501.

[2] *Булгаков С. Н.* Победитель — побежденный // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 376—377.

гический и трудный период его земной жизни, тем более поражающий воображение, что в трагедию эту Леонтьев вошел добровольно. Как писал Грифцов, наслаждавшийся жизнью Леонтьев «добровольно от кубка оторвался, вовсе еще не утоленный, до конца испортив себе даже условия земного существования. В этой его добровольности проявляется почти недоступная нашему разуму метафизическая неизбежность. <...> Но катастрофа эта вызывает и другое чувство. Трудно поверить, что она разразится так театрально и так правдиво»[1]. Катастрофа — или спасение? Разумеется, ответ на этот вопрос зависит от точки зрения. Но если даже *спасение*, то такое трудное и долгое, что по-человечески Леонтьева до слез иногда жаль.

Итак, Леонтьеву на приморской даче стало лучше. Слабый и исхудавший, он решил, не откладывая, ехать на Афон и попросил Машу быть его спутницей, так как не был уверен в своих силах. Его должен был сопровождать и кавас[2]. Конечно, Маша согласилась: она не могла оставить Константина Николаевича без своей помощи, хотя его намерения стать монахом не одобряла. Они спорили об этом и раньше — когда эта мысль впервые, пару лет назад, мелькнула в его голове. Нерассуждающая вера монахов и строжайшая дисциплина монастырей Машу пугали: для душевно и физически прихотливого Константина Николаевича такой образ жизни мог стать смертельным. К тому же у Маши тогда было много скепсиса относительно того, кто обычно «идет в монахи»[3].

— Если бы я могла верить, что есть на свете хоть один добросовестный, умный, хороший православный монах, я поняла бы твое желание жить при монастыре... Но разве эти люди могут понять порядочного, развитого человека? Что они сделают из него, если он им отдаст себя в руки? — рассуждала она. — Я еще могу понять, когда женщины пытаются спрятаться за монастырскими стенами от жестокостей мира, от одиночества, но мужчины должны не прятаться, а бороться!

— Тоскующая душа бывает не только у женщин, — отвечал Леонтьев. — Маша, меня еще, может, и не постригут, но я дол-

---

[1] *Грифцов Б. А.* Судьба К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 313.

[2] По версии Е. Поселянина и Л. А. Тихомирова, Леонтьев отправился на Афон с целой свитой и его там встречали торжественно, с колокольным звоном — как русского консула.

[3] Когда, спустя много лет, постаревшую Машу встретил С. Н. Дурылин, он назвал ее «*полумонахиней*»; действительно, она долго жила в монастырях, работала в монастырских школах, беседовала со старцами. Былой ее скепсис по отношению к монастырской жизни рассеялся.

жен себя испытать... Это и есть настоящая борьба — борьба со злом и грехом в собственной душе...

Скептичный и рационалистичный Губастов писал, что в религии Леонтьева было много от римско-правового *do ut des*; это латинское изречение в данном случае можно перевести так: дашь (здоровье) — дам (себя). Леонтьев как будто бы исполнял уговор с Богом, и, к его чести, исполнял его без всяких послаблений. Но возможно, что Губастов был не прав, что вера давно *вызрела* в леонтьевской душе и нужен был лишь внешний толчок для того, чтобы вся его судьба изменилась.

Леонтьев и Маша ехали верхом, среди гор. Леонтьев думал, что останется на Афоне надолго (навсегда?), он собирался просить консула Н. Ф. Якубовского из Битолии управлять за него. В деревне Ровеники они простились — дальше женщинам ехать было нельзя. Когда прощались, думали, что вряд ли еще увидятся. Маша, грустная, вернулась на дачу — Леонтьев хотел, чтобы она для поправки здоровья еще некоторое время «пользовалась виноградом». Девушки решили пробыть на море до сентября, а уж потом отправиться в Россию.

На Святой горе Константин Николаевич остановился сначала в Зографе, а не в Руссике. В Зографе находилась одна из чудотворных икон Божией Матери — «Епакууса» («Отвечающая на молитвы»). История этой иконы связана с неким иноком Косьмой, который просил в молитвах Богородицу указать ему наилучший путь для спасения души. Однажды он услышал исходящий от иконы голос — Матерь Божия повелела ему уйти из монастыря и стать отшельником. Леонтьев хотел увидеть эту икону, потому что был уверен, что именно Богородица услышала и его молитвы.

Зограф был одним из «правящих» монастырей на Афоне, славянским по составу: в нем было очень много монахов-болгар и сербов (постепенно обитель стала почти исключительно болгарской). Монастырь находился в лесу, на высокой горе, над пропастью. Леонтьева, как и полагалось по афонской традиции, встретили бокалом холодной воды, блюдом с нежным лукумом и стопкой виноградной водки, ракии — так до сих пор принято встречать всех, оказавшихся на святой земле. Русский консул остановился в келье для паломников.

В монастыре, как и везде на Афоне, не было газовых фонарей, экипажей, многоголосой людской толпы. Святогорскую тишину нарушали лишь птицы да монах-канонарх[1], который обходил монастырь, выстукивая ритмичную дробь деревян-

---

[1] Канона́рх (*греч.*) — правящий [пением], возглашающий перед пением строки из молитвословия, которые вслед за ним повторяет хор.

ным молотком по длинной доске-билу. По афонскому преданию, именно так Ной созывал всех в свой ковчег при потопе. Канонарх же сзывал иноков и паломников на службу. Русский консул сначала не мог выстаивать долгих монастырских богослужений — недоставало физических сил. По полдня он проводил полулежа в постели. Но именно там, в Зографе, Леонтьев, в перерывах между чтением Иоанна Лествичника и житий святых, сформулировал и записал историческую гипотезу *триединого процесса*. С точки зрения механизмов развития он рассматривал историю органистически (соглашаясь в этом с Данилевским); с точки зрения цели и направления развития он рассуждал уже как *религиозный* мыслитель.

Опираясь на теорию культурно-исторических типов, Леонтьев нашел некий алгоритм развития культур. Начинается развитие культурного организма всегда с простоты, слитности, недифференцированности. На этой стадии все организмы похожи («все яблоки незрелые зелены и кислы», — писал Леонтьев). Постепенно организм развивается, растет, складывается более сложная его система. Общество становится сословным, более расчлененным. Сложность и неравенство являются условиями напряженного творчества — в науке, философии, искусстве, ибо здесь менее всего ценятся усредненность и безликость. В конце концов культурно-исторический тип достигает высшей фазы своего развития — состояния *цветущей сложности*. Такой была Европа в эпоху Возрождения, такова была Византия для Востока.

В эпоху цветущей сложности в устройстве общественного организма много несправедливости, боли, жестокости. «...Увеличивается, с одной стороны, богатство, с другой — бедность, с одной стороны, ресурсы наслаждения разнообразятся, с другой — разнообразие и тонкость (развитость) ощущений и потребностей порождают больше страданий, больше грусти, больше ошибок и больше великих дел, больше поэзии и больше комизма...»[1] — писал Леонтьев. Единство в разнообразии не исключает борьбы и страданий, наоборот, требует их — «ничто великое без страданий не обходится».

Постепенно притеснений становится меньше, люди делаются свободнее, хотя страдания никогда не исчезают до конца; ткань общественного организма расползается, наступает упадок — стертость некогда ярких красок и обыденность причудливых ранее очертаний. Наступает стадия вторичного смесительного упрощения, предсмертного существования, когда

[1] *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 386.

выравниваются индивидуальные и социально-политические различия, сглаживаются крайности, распадаются структурные связи и происходит смесительное уравнивание людей; за этой стадией следуют уже распад и гибель.

Этот закон определял, по мнению Леонтьева, ступени в развитии *всего*: «Этот триединый процесс свойствен не только тому миру, который зовется собственно органическим, но, может быть, и всему, существующему в пространстве и времени. Может быть, он свойствен и небесным телам, и истории развития их минеральной коры, и характерам человеческим; он ясен в ходе развития искусств, школ живописи, музыкальных и архитектурных стилей, в философских системах, в истории религий и, наконец, *в жизни племен, государственных организмов и целых культурных миров*»[1], — писал Константин Николаевич[2].

Таким образом, Леонтьев выделил три стадии развития любого культурно-исторического типа: 1) первичная простота; 2) цветущая сложность; 3) вторичное упрощение. Поскольку каждый культурно-исторический тип, по подсчетам Леонтьева, живет около 1000 — 1200 лет[3] (культурные проявления могут пережить государственную форму), то современная европейская цивилизация переживает «вторичное смесительное упрощение», то есть разложение, упадок, дряхлость (вслед за французским историком Гизо он отсчитывал европейскую государственность от IX века). Ее разноцветье осталось позади, в настоящем же — похожие друг на друга конституции и законы, одинаковое платье и схожие обряды в разных странах, один и тот же образ жизни и образ мысли, однообразные вкусы и потребности... Европа — кладбище национальных культур.

Розанов, излагая позднее учение Леонтьева, писал о европейской «вторичной простоте»: «Нет более одиноких вершин в философии и науке, есть их бесчисленные “труженики”, однообразно способные или неспособные. Взамен поэзии появилась литература, но и она скоро сменилась журналистикой, которая уже убивается газетой. Стили смешались... Удушливая атмосфера коротких желаний и коротких мыслей носится над всем этим...»[4] Европа стала однообразно демократической и неумолимо идет к своему закату. Она стара и дряхла.

---

[1] Там же. С. 379.

[2] Написанные на Афоне отрывки о триедином процессе вошли потом в трактат К. Н. Леонтьева «Византизм и славянство».

[3] По подсчетам Н. Я. Данилевского, немного дольше.

[4] *Розанов В. В.* Теория исторического прогресса и упадка // Русский вестник. 1892. Март. Т. 219. С. 289—290.

Демократические порядки сами по себе являются признаком умирания, считал Леонтьев. С его точки зрения, на начальной стадии развития в обществе превалирует аристократическая форма правления; на стадии цветущей сложности появляется тенденция к единоличной власти (хотя бы в виде сильного президентства, временной диктатуры, единоличной демагогии или тирании — как у эллинов в их цветущем периоде), а к старости воцаряется демократическое, эгалитарное и либеральное начало.

Леонтьев даже предрекал слияние состарившихся европейских государств в одно Все-европейское государство (иногда просто удивляешься, как предсказания этого эстета, реакционера и полумонаха оказывались точны, — гораздо точнее многих рационально выстроенных и просчитанных моделей «прогрессивно мыслящих» современников![1]). Эта перспектива Леонтьева не радовала: «Не должно ли будет это новое Все-европейское государство отказаться от признания в принципе всех местных отличий, отказаться от всех, хоть сколько-нибудь чтимых, преданий...» И в этом предвидении Леонтьева оказалось много правды — не случайно в странах Европейского союза столько недовольства политикой унификации: европейцы шутят, что скоро даже корень сельдерея должен будет иметь одинаковые длину и вес во всех странах Объединенной Европы...

Леонтьев приехал на Святую гору, чтобы научиться *верить*, всё остальное казалось ему не столь важным после пережитого. Но даже здесь, на Афоне, его не отпускала мысль о судьбе России, о ее месте в истории, о том, как развиваются культуры и цивилизации. Он почти не выходил из своей комнаты и писал, излагая свою историческую гипотезу и чередуя это занятие с молитвами. «Я по очереди раскрывал то Прудона, то Апостола Павла, то Иоанна Лествичника, то Бокля; Апостола Павла и Лествичника *для себя, для души,* для того чтобы повиноваться им, чтобы любить их, чтобы подражать им; тех двух буржуа *для ума, для сочинения,* которое я считал уже *посмертным,* чтобы ненавидеть их, чтобы бороться с их влиянием...»[2] — вспоминал Леонтьев.

Две недели спустя Леонтьев добрался и до Руссика. Насельников в монастыре в это время было довольно много, учитывая, что всего число монахов на Афоне доходило тогда до

---

[1] Еще Бердяев отмечал удивительный дар предвидения, свойственный Леонтьеву: «...он оказался более прав, чем все славянофилы и западники, чем Достоевский и Соловьев, чем Катков и Аксаков».

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 130.

восьми с лишним тысяч. Встретили его не как простого паломника, а как российского консула[1]. Но уже в день прибытия Леонтьев открыл цель своего приезда старцу Иерониму: он отчаялся во всем земном и хочет принять монашеский постриг. «Мне отказали не столько потому, что я женат, сколько потому, что я на службе... — Иначе О. Иероним опасался Синода и Посольства»[2], — вспоминал потом Леонтьев.

Думаю, это только часть правды: старец не мог не заметить его неспокойного душевного состояния. Константин Николаевич хотел уверовать, но желание и свершившийся факт — не синонимы. Недаром Леонтьев молился тогда подобно евангельскому мытарю: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Афонские старцы увидели гордость, страстность, сильный и непокорный ум, страх за свою жизнь, нетвердую веру — всё это надо было изжить, чтобы стать монахом. Но была у Леонтьева и решимость смирить себя, стать другим. Потому старец Иероним и будущий прославленный игумен Руссика, отец Макарий, стали духовными наставниками Леонтьева. С ними он начал свой трудный и долгий путь к монашескому смирению.

Губастов скептически оценивал способность Константина Николаевича к иноческой жизни и позднее давал такое объяснение отказу ему в постриге: «Монастырский духовник понял, вероятно, что из Леонтьева, с его барскою избалованною и капризною натурою, при всей пламенности и искренности его религиозной экзальтации и преклонения пред византийско-аскетическим идеалом, настоящего, стойкого, покорного, немудрствующего по своему, монаха и подвижника никогда не выйдет. Когда у него пройдет пыл, восторг, боязнь смерти, то к нему вернется его барство, его непокорность и желание заниматься мирскими вопросами и их решать. В таком строго общежительном монастыре, как Пантелеймоновский, он мог бы сделаться соблазном для других»[3]. Думаю, доля правды в этом рассуждении была — Леонтьев только начинал переделку себя.

В августе Леонтьеву пришлось вернуться в Салоники. Он хотел помочь монастырю решить какой-то вопрос в русском посольстве и поехал за необходимым документом. Как это принято в монастырях, поехал не один — с ним отправился монах Григорий. Маша не ожидала увидеть Константина Ни-

---

[1] Возможно, здесь и звонили в те самые колокола, о которых рассказывали Е. Поселянин и Л. Тихомиров.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 228.

[3] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 211.

колаевича, обрадовалась, но не могла не заметить перемены, произошедшей с ним. По вечерам Леонтьев читал вечерню, пересказывал Маше жития святых, рассказывал об Афоне. Маша вспоминала: «В эти 3 недели до моего отъезда — он много беседовал со мной о монашестве, о котором я не имела никакого понятия, но с чужих слов *громила* его; — тем более что увлечение дядино монашеством — отнимало у меня его, столь мною любимого»[1].

Леонтьев остался в Салониках до начала сентября, чтобы проводить Машу с ее подругой в Россию, но главное — здоровье его было скверно и ему надо было отлежаться. Однажды он позвал Машу в кабинет и сказал радостно, что нашел ту служебную бумагу, которую разыскивал. Маша не сразу обратила внимание на горящий, несмотря на жару, камин и стоящий неподалеку раскрытый чемоданчик, в котором Константин Николаевич имел обыкновение держать рукописи романов «Реки времен». Оказалось, он наткнулся на нужный ему для отца Иеронима документ в месте, где он, казалось бы, *никак не мог оказаться*, — среди листов почти законченной эпопеи. Леонтьев решил, что это указание свыше, бросил листы в камин и поджег их. Когда Маша поняла, что произошло, рукопись спасти было уже невозможно.

Леонтьев, в отличие от «Ай-Буруна», против этих своих романов никогда ничего не говорил, не считал их «вредными». Возможно, это была искупительная жертва с его стороны — таким жестом он подвел итог своей прежней жизни. Сам он объяснял сожжение восьмилетнего труда тем, что намеревался отныне писать только духовные произведения. Впрочем, спустя восемь лет в письме Всеволоду Сергеевичу Соловьеву[2] он высказался более откровенно, что сжег романы отчасти «от гордости», отчасти — «от тоски». «От гордости» — потому что считал себя способным создать совершенно новые литературные формы, которые положили бы конец гоголевскому влиянию на российскую словесность. «От тоски» — потому что планировал опубликовать всю эпопею разом, «чтобы всех сразить», пока же печатал «фарфоровые чашечки» — «Хризо», «Пембе», другие рассказы, надеясь, что они будут замечены критикой. Но годы проходили, а «никто не сказал ни слова». «Это молчание не смирило меня и только усилило мою гор-

---

[1] Письмо М. В. Леонтьевой к о. И. Фуделю от 20 октября 1912 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 581.

[2] *Вс. С. Соловьев* (1849—1903) — писатель, старший сын историка С. М. Соловьева и брат философа Вл. С. Соловьева, известен своими историческими романами. В течение многих лет был приятелем Леонтьева.

дость, мое самомнение, хотя и погрузило меня постепенно в неисцелимую тоску»[1], — признавался Леонтьев.

Из всех романов эпопеи «Река времен», повествующей о жизни семьи Львовых, сохранился лишь черновой вариант начала «От осени до осени», потому что рукопись этого романа была послана Маше для переписки еще в 1867 году. В романе действует Мария Павловна Львова, явно списанная с Феодосии Петровны, тетушка Екатерина Борисовна (портрет реальной Екатерины Борисовны), Дмитрий Львов (прототипом которого стал брат Владимир), его дочь Катя (Маша Леонтьева). Сам Константин Николаевич выведен под именем Андрея Львова, который служил лекарем во время Крымской войны и там встретил свою «добрую, ветреную и необразованную жену» (Елизавету Павловну). В уцелевшем фрагменте много автобиографических деталей, и исследователям жизни Леонтьева он, конечно, интересен, но для обычных читателей роман погиб. (В полном собрании сочинений К. Н. Леонтьева опубликована шестьдесят одна страница этого незавершенного произведения.)

Маша, подавленная случившимся, горько плакала и хотела уехать домой с первым же пароходом. Она не писала отцу о переменах, произошедших с его младшим братом, но тот узнал о его «монастырских» планах из письма Ольги Кошевской. Владимир Николаевич не поверил в искренность религиозных исканий Константина, приписал желание стать монахом эстетизму брата — ведь монах был даже самобытнее и колоритнее консула! А его желание «ухнуть на Афон» назвал «совершенно диким намерением». Позднее Леонтьев процитирует слова брата, не называя имени: «*...в наше время* монахом может стать только идиот или мошенник»[2]. Многие знакомые Константина Николаевича думали почти так же.

Узнав об эпидемии холеры в Константинополе, куда из Салоник должна была плыть Маша с подругой, Леонтьев отправил девушек в Россию по суше, через Македонию, а сам вернулся на Афон.

Войдя в Руссик через Великие монастырские ворота, Леонтьев пробыл там почти год. В мужестве и решимости Константину Николаевичу не откажешь! Трудно не сóгласиться с Иваском, когда он сравнивает поведение Леонтьева и многих религиозных мыслителей прошлого века: «...как непохоже об-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к Вс. С. Соловьеву от 18 июня 1879 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 786—787.

[2] *Леонтьев К. Н.* Четыре письма с Афона // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 169.

ращение Леонтьева на обращения русских интеллигентов в начале XX века. Почти никто из них не помышлял о трудных азах религии — об аскезе. Вообще не было серьезности, не было решимости в их духовном опыте. Серьезны были немногие: поэт-символист Александр Добролюбов, ставший странником; марксист, а потом "идеалист" С. Н. Булгаков, принявший священство; и, наконец, деятели христианского подполья в годы гражданской войны. Серьезен был, конечно, и Толстой, с церковью порвавший. Большинство же занималось т. н. "религиозными вопросами" за письменным столом или на разных собраниях»[1].

Афонский год был очень труден для Леонтьева. Жизнь на Святой горе сурова. Он мало ел и мало спал — наравне с монахами. Заутрени начинались затемно, около пяти часов утра. Праздничные всенощные службы длились всю ночь. Леонтьев не мог привыкнуть к монастырской скудной и грубой пище — он слабел, страдал желудком, головокружениями, как вспоминал позже, «рыбная пища изнуряла меня до того, что я ходить почти не мог...»[2].

Несколько раз, почувствовав, что еще немного, и он сляжет, Константин Николаевич ездил в близлежащие городки Кавадлу и Серрес, чтобы подкрепить себя мясной пищей. Но это были редкие послабления: он упорно готовил себя к иночеству, к тому, чтобы стать одним из монахов-афонитов — «людей разных наций, простых или ученых, бедных или когда-то богатых в миру, которые столько молятся и трудятся, так мало спят, так много поют по ночам в церкви и постятся...»[3].

Аскеза же перед Пасхой, в Великий пост, была особенно сурова. «Церковные службы, и в обыкновенное время, по нашему мирскому суду, слишком долгие и слишком частые, во время поста наполняют почти весь день и всю ночь; ограничение в пище доводится до самого крайнего предела»[4], — писал Константин Николаевич. Он вспоминал, что иноки при начале Великого поста приветствовали друг друга так: «Желаю тебе благополучно преплыть Четыредесятницы великое море!»[5] И он, испытавший эту афонскую аскезу на себе, восклицал:

---

[1] *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев // К. Н. Леонтьев: pro et contra. СПб., 1995. С. 398—399.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 229.

[3] *Леонтьев К. Н.* Панславизм на Афоне // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 231.

[4] *Леонтьев К. Н.* Пасха на Афонской горе // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 373.

[5] Четыредесятница — 40 дней Великого поста.

«Истинно великое море! Море голода и уныния, море усталости и насильственной молитвы, от которой, однако, сама совесть, сама личная воля не позволит отказаться без крайнего изнеможения!»[1]

Говея на Страстной неделе, Леонтьев ничего не ел, кроме темного хлеба и кваса, и к Великому четвергу был так истощен и измучен, что не мог идти в церковь, лежал в своей келье. «Отец Иероним, сам изнеможенный и больной, пришел нарочно в мою келью и почти гневно прогнал меня в Церковь только на минуту, чтобы приложиться по Афонскому обычаю к иконе, на которой было изображено Распятие, — вспоминал Константин Николаевич свой первый опыт монастырской жизни. — Я с трудом подчинился. — Я помню, какие телесные муки я вынес три ночи подряд на этой Страстной неделе; три ночи подряд О. Иероним заставлял меня ходить на бдения, которые длились по 8 и более часов. — На последнюю заутреню (под Пасху) мне сделалось уже до того дурно, что О. Макарий вышел из алтаря и велел монаху увести меня и положить в постель, и я лежал, а этот монах читал мне причастные молитвы. Такие понуждения духовной любви превосходили, однако, мои телесные силы... — Я мучался нестерпимо на Афоне то тем, то другим...»[2]

Еще труднее давались ему духовные изменения. Отец Иероним помогал ему перебороть себя. «Твердый, непоколебимый, бесстрашный и предприимчивый; смелый и осторожный в одно и то же время; глубокий идеалист и деловой донельзя; физически столь же сильный, как и душевно; собою и в преклонных годах еще поразительно красивый, отец Иероним без труда подчинял себе людей, и даже я замечал, что на тех, которые сами были выше умственно и нравственно, он влиял еще сильнее, чем на людей обыкновенных. Оно и понятно. Эти последние, быть может, только боялись его; люди умные, самобытные, умеющие разбирать характеры, отдавались ему с изумлением и любовью, — вспоминал Леонтьев. — Я на самом себе, в 40 лет, испытал эту непонятную даже его притягательную силу»[3].

Леонтьев был не единственным мирянином в монастыре — приезжали купцы и крестьяне, прибыли двое-трое дво-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Пасха на Афонской горе // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 374.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 229—230.

[3] *Леонтьев К. Н.* Воспоминания об архимандрите Макарии, игумене Русского монастыря Святого Пантелеймона на Горе Афонской. М.: АНО «Переправа», 2009. С. 25.

рян из России, приходили греки из окрестных селений, молдаване с Дуная... Для всех старец находил слова ободрения на духовный подвиг; Леонтьев же часто беседовал с ним подолгу — о вере, монашестве, загробной жизни, дьяволе. Старец даже обсуждал с необычным монастырским гостем статьи Хомякова и Герцена, рассказывал о своей молодости и прошлой мирской жизни.

Отец Иероним говорил тихо, ровно, редко улыбался, никогда не шутил, но и огорчения на его лице было трудно заметить. Похудевший Константин Николаевич его «трепетал», чувствуя в нем ту аскезу, к которой сам не был способен. Много лет спустя в одном из писем Леонтьев не без восхищения вспоминал его: «Для меня отец Иероним Афонский был и катехизатор, и старец[1]... <...> У Иеронима были *оба* ума — и теоретический, и практический, он и рассуждал замечательно, и делал дело превосходно, и *учил* общему, и *руководил частностями*»[2].

Но проще ему было общаться с ближайшим учеником отца Иеронима, «покорным ему постриженником и сыном», отцом Макарием: «Это был великий, истинный подвижник и телесный, и духовный, достойный древних времен монашества и, вместе с тем, вполне современный, живой, привлекательный, скажу даже — в некоторых случаях почти светский человек в самом хорошем смысле этого слова, то есть с виду изящный, любезный, веселый и общительный»[3]. В тяжкие минуты Леонтьев не раз приходил к отцу Макарию за помощью, и не раз он слышал от монаха:

— Понудьте себя, — только понуждающие себя восхищают Царствие Небесное.

И Леонтьев понуждал себя, день за днем.

Тогда, в Руссике, Леонтьев задумал православный роман, рассказывающий о религиозном перерождении, и отец Иероним поддержал эту его идею. Такой роман не был написан. Леонтьев в конце жизни спрашивал себя, почему этот план не сбылся: Бог ли не допустил или он сам не смог выполнить задуманного? Рассказать о пережитом перевороте казалось важным. «Хочется, чтоб и многие другие образованные люди

---

[1] Катехизатор — проповедник, открывающий миру христианское учение. Старец — духовный руководитель, наставник; считается, что он, ведомый Духом Святым, — прозорливец, который может дать верный совет.

[2] Цит. по: *Тихомиров Л. А.* Тени прошлого // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 2. СПб., 1995. С. 16—17.

[3] *Леонтьев К. Н.* Воспоминания об архимандрите Макарии, игумене Русского монастыря Святого Пантелеймона на Горе Афонской. М., 2009. С. 7—8.

уверовали, читая о том, как я из эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращенного, сладострастного донельзя, до утонченности, стал верующим христианином и какую я, грешный, пережил после этого долголетнюю и жесточайшую борьбу, пока Господь не успокоил мою душу и не охладил мою истинно сатанинскую когда-то фантазию»[1], — объяснял позднее Леонтьев.

Отложив «романные» планы, он решил написать о своей афонской жизни в жанре писем, чтобы повествование воспринималось как нечто глубоко личное, а потому убедительное. Своим адресатом Леонтьев представлял Машу, продолжая начатый с нею спор об иночестве. Сам Константин Николаевич рассказывал о замысле писем так: «Это письма человека нашего времени, искренно и даже пламенно обращенного в Христианство и желающего обратить на тот же путь и любимую когда-то женщину»[2].

«Письма с Афона» при жизни Леонтьева не были напечатаны[3]. В 1886 году больной Леонтьев, отчаявшись «пристроить» «Письма...» для опубликования, хотел подарить их Маше, но та отказалась — боялась потерять рукопись, живя «на чужих хлебах». Леонтьев, обиженный этим отказом, сжег письма, и они считались утраченными. К счастью, уже после смерти автора их рукописная копия (Машиной рукой) была обнаружена в библиотеке Московской Духовной академии, и они были изданы. Сохранились четыре «Письма...», но первоначально их было больше.

«Письма с Афона» Леонтьев задумал в монастыре, а закончил позже, в Константинополе. Они выразительно рассказывают, с чем сражался Константин Николаевич в тот трудный и важный для него год. Вот несколько характерных цитат:

«Уничтожь в себе волю! Тебе не хочется сегодня молиться? Молитвы тебе кажутся сухими; они ничего не говорят твоему воображению и сердцу. “Молись! — говорит духовник. — Поверь мне, сын мой, что начнешь ты с досадой и тоской, а встретишь потом одно или два слова в этих заказных молитвах, от которых вдруг раскроется душа твоя в радости и ты будешь утешен и награжден тут же за твое усилие”. И это правда. Я это сам испытал...

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 495.

[2] Цит. по: *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 576.

[3] Леонтьев предложил «Письма с Афона» для публикации Каткову, но тот отказался; возникла мысль издать их отдельной брошюрой, но у Леонтьева не было на это денег.

Уничтожь в себе *волю!* Ты хочешь спать? Звонят к заутрене в полночь. Ты хочешь есть? Потерпи. Ты хочешь разговаривать вечером с другом, особенно если ты молод? *Старый батюшка,* старший духовник, обходит коридоры и стучит в вашу дверь, предлагая разойтись и не договариваться по неопытности до предметов, которые могут после смутить вас и быть вам вредны. Хочешь ты прочесть новую книгу? Без *благословенья* нельзя. Сижу я теперь, перед вечерней, в моей келье; минута свободная нашлась. Я видел у приезжего мирянина, кажется, хорошую книгу на столе; духовную, вероятно, книгу, писанную светским человеком: "Сущность христианства". Отчего бы не прочесть ее? Но духовник, измученный недугами и бдением ночным, лег отдохнуть. *Старец* мой (особый наставник иноческой жизни, которому я поручен) занят теперь делом. Я не смею прочесть эту книгу. Потом, улучив минуту, прошу благословить. "Нет благословения читать тебе эту книгу"»[1].

«Знаешь ли ты, например, что за наслаждение отдать все свои познания, свою образованность, свое самолюбие, свою гордую раздражительность в распоряжение какому-нибудь простому, но опытному и честному старцу? Знаешь ли, сколько *христианской воли* нужно, чтобы убить в себе *другую волю,* светскую волю?..

Я улыбаюсь отсюда, воображая твой гнев и твое удивление при чтении этих *моих* строк...»[2]

Итак, Леонтьев методично *убивал* в себе волю. Его мистический опыт начался с ужаса смерти (впрочем, как и у Августина Блаженного, которого подтолкнул на христианский путь страх смерти и будущего Высшего суда, как и у многих, многих других), его вера основывалась на страхе Божием (Леонтьев считал *страх* корнем религиозной веры), а воцерковление заключалось в отказе от собственной воли. Это был тяжелый путь. Для гордого, умного, светского человека (гедониста в придачу!) смириться, признать над собой внешний авторитет — почти невозможное самоотвержение. И давалось оно Леонтьеву ох с каким трудом!

В написанном через несколько лет эссе «Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе» Леонтьев объяснял, как его гордый ум мог прийти к нерассуждающей вере:

«Что мне за дело до всех этих великих умов и открытий! <...> Они меня уже ничем не удивят... Я у всех этих великих умов вижу их слабую сторону, вижу их противоречия друг дру-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Четыре письма с Афона // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 140—141.

[2] Там же. С. 150.

гу, вижу их недостаточность. Может быть, они и умом ошиблись, не веруя в Церковь; математически не додумались... упустили из вида то и другое... И если уж нужно каждому ошибаться, то уж я лучше ошибусь умом по-своему, так, как я хочу, а не так, как они меня учат ошибаться... А мне отраднее и приятнее ошибаться вместе с апостолами, с Иоанном Златоустом, с митрополитом Филаретом, с отцом Амвросием, с отцом Иеронимом Афонским, даже с этим лукавым и пьяным попом (который вчера еще, например, раздражил меня тем-то и тем-то), чем вместе со Львом Толстым, с Лютером, Гартманом и Прудоном... <...>

Вот как и гордость моего ума может привести ко смирению перед Церковью. Не верю в безошибочность моего ума, не верю в безошибочность и других, самых великих умов, не верю тем еще более в непогрешимость собирательного человечества; но верить во что-нибудь всякому нужно, чтобы жить. Буду же верить в Евангелие, объясненное Церковью, а не иначе.

Боже мой, как хорошо, легко! Как все ясно! И как это ничему не мешает: ни эстетике, ни патриотизму, ни философии, ни неправильно понятой науке, ни правильной любви к человечеству»[1].

Не трудно принять чужую мысль, если она кажется тебе истиной. Смирение же Леонтьева — иного рода: веруя в духовный авторитет, он подчинялся ему даже против своего разума, вопреки обретенному жизненному опыту, привычкам и вкусам. «...Я с радостью падаю в прах перед учением церкви, даже и тогда, когда оно мне кажется не особенно разумным (Credo quia absurdum[2])...»[3] — признавался самолюбивый Леонтьев.

На деле смирение давалось Леонтьеву тяжело, с борьбой, но уехал русский консул с Афона уже не рационально мыслящим деистом, а православным человеком. Он вспоминал: «На Афоне внутреннее состояние мое было ужасно; оно было гораздо хуже московского; я не хотел умирать и не верил, что буду еще жить, я думал, что меня все забыли и сам искал только забыть всех; но я со скрежетом зубов, а не с истинным смирением покорялся этой мысли о забвении мира и смерти... Я не мирился с нею; я думал больше о спасении тела своего, чем о спасении души; и только чтение духовных книг и беседы Иеронима и Макария поднимали меня на те тяжкие, тернистые высоты христианства, на которых человек становится в

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 502.

[2] Верую, ибо абсурдно (*лат.*). Выражение, приписываемое Тертуллиану.

[3] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 134.

силах хоть на минуту говорить себе: “чем хуже здесь, тем лучше: так угодно Богу; да будет воля Его...”»[1]

Маша в Петербурге тщетно ждала от него писем, волновалась, но смогла убедить себя в том, что такой разрыв отношений объясним: их жизни — ее собственная, Константина Николаевича, Лизаветы Павловны — дошли до той точки, когда должны кардинально измениться. Она тоже уповала на Божью волю, потому что из двух (всего!) полученных с Афона писем поняла, что состояние Леонтьева оставалось угнетенным, «ибо телом он совершенно изнемогал, а оставить Афон не решался, думая, что может умереть»[2].

Вместе с тем Леонтьев оставался консулом. Он послал в октябре в посольство ходатайство о четырехмесячном отпуске «для поправления расстроенного здоровья», но до декабря (когда его официально в этот отпуск отправили) продолжал посылать консульские донесения. Более того, он ставил на них пометку «Солунь», а не «Афон» — не хотел, чтобы посол знал, что он покинул консульство еще *до* официального разрешения. Дело закончилось нехорошо: 23 декабря 1871 года Игнатьев прислал холодное письмо, где указывал на противоречия в донесениях Леонтьева «из Солуни»: «Так как будучи на месте, Вы легко могли бы лично удостовериться в том, основательно ли было дошедшее до Вас известие или нет, — то можно бы заключить из сомнения Вашего, что вы не находились в это время в Солуне... Действительно, из других донесений Ваших... оказывается, что в продолжении Ноября месяца Вы пребывали на Афоне... Прошу Вас, Милостивый Государь, разъяснить эти противоречия и вывести меня из недоразумения, сообщить, где именно пребывали Вы в последнее время, в Солуне или на Афоне...»[3]

Леонтьев вынужден был оправдываться (но так и не сознался, что находился на Афоне не только в ноябре, но и в октябре, и в сентябре!). По официальной версии, Леонтьев поехал на Афон *как консул* в ноябре (этот округ находился в его юрисдикции), а потом вынужден был задержаться там из-за болезни и из-за прискорбного для святогорской жизни события: волнений в русском Ильинском скиту.

В скиту жило в то время около полусотни монахов, преимущественно малороссов, а подчинялся скит греческому

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 130.

[2] *Леонтьева М. В.* К. Леонтьев в Турции // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 111.

[3] *Леонтьев К. Н.* Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты (1865—1872). М., 2003. С. 441.

монастырю Пантократору. Когда в результате долгой болезни игумен скита скончался, там начались волнения по поводу избрания следующего игумена. В результате в дело вмешались пантократорцы, но иноки Ильинского скита не вняли их увещеваниям и «бунтовали». Тогда в скит явился, по приглашению Протата[1], турецкий чиновник в сопровождении довольно многочисленной стражи. Леонтьев по просьбе братии вмешался в это щекотливое дело и смог его разрешить. «...кончилась пока благополучно эта прискорбная распря, грозившая принять... очень серьезные размеры»[2], — докладывал консул послу. Но в посольстве Леонтьевым все равно были недовольны — такая длительная отлучка с места службы без разрешения посла считалась недопустимой.

Неожиданно зимой из Одессы в Салоники приехала Лиза вместе со своей младшей сестрой Лелей, которую Леонтьев очень не любил. В Одессе Лиза лечилась не только от нервного расстройства, но и — по словам Маши — от «серьезной женской болезни»[3]. Лиза чувствовала себя хорошо, в очередной раз казалось, что все болезни ушли безвозвратно. Некоторое время спустя сестры отправились в окрестности Афона. Они поселились в гостинице для паломников Ватопедского монастыря, и Леонтьев несколько раз навещал их, покидая Афон на несколько часов. В один из таких визитов он попросил Лизу дать ему разрешение на пострижение — он еще надеялся, что сможет в ближайшее время стать монахом. Елизавета Павловна бумагу подписала. На Востоке такого письменного разрешения жены обычно бывало достаточно для монастыря (в России бюрократических преград в подобных случаях было гораздо больше), но отец Иероним считал, что Леонтьев не готов к монашеской жизни, — и бумага не помогла. К тому же Леонтьев всё еще был русским консулом — его пребывание на Афоне и так породило немало слухов о том, что Руссик с помощью российского посольства и поселившегося в нем консула становится *оплотом панславизма* на Афоне. Эти нелепые слухи дошли даже до Игнатьева и заставили его еще раз нахмуриться...

Новый, 1872 год Леонтьев встретил на Ватопедском Пирге вместе с женой и свояченицей. Прежде всего потому, что считал Лизу беременной. Беременность оказалась воображаемой,

---

[1] Протат — центральный орган управления Святой горы Афон, в который входят представители всех двадцати монастырей Афона.

[2] *Леонтьев К. Н.* Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты (1865—1872). М., 2003. С. 403.

[3] Письмо М. В. Леонтьевой к о. И. Фуделю от 5 января 1914 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 53.

но, видимо, у Елизаветы Павловны были основания волноваться по этому поводу. В письме архимандриту Леониду[1] от 8 июля 1873 года Леонтьев писал: я женат, но «с женой брачно не живу уже около трех лет»[2], то есть с 1870 года. Либо это не соответствовало реальному положению дел, либо причиной «беременности» был не он. Лиза заставила всех поволноваться: рождение ребенка означало бы коренное изменение жизни. Написали Маше с просьбой стать крестной матерью будущего младенца, крестным же отцом хотели сделать Крылова (бывшего секретаря Леонтьева).

Будущий отец задумался о возвращении на службу ради денег. Леонтьев получал тогда две трети жалованья (как находящийся в отпуске), но долгов было так много, что и полумонашеская жизнь не спасала: если бы он даже ничего не тратил на себя, все равно потребовалось бы не меньше года, чтобы расплатиться с кредиторами. Пока же он выполнил необходимую процедуру: поехал в начале января в Солунь и официально передал дела консульства Якубовскому. Лиза и Леля сопровождали его. В Солуни выяснилось, что новогодние волнения оказались напрасными: Лиза не беременна. Константин Николаевич после этой истории чувствовал себя совершенно опустошенным, потому был рад, что Лиза, свояченица и Петраки решили уехать в Галлиполи. Сам он поехал в городок Каваллу, но, не доехав до него, слег от лихорадки, а потом вернулся на Афон.

К Пасхе Лиза вновь приехала к границе Афона. Она выглядела отдохнувшей и свежей, Леонтьев же совсем изнемогал: его болезни усилились — вернулась лихорадка, он страдал от непривычной монастырской пищи, худел. Один мирянин, который некоторое время наблюдал за ним на Афоне, однажды сказал ему:

— Вы здесь не поправитесь, Константин Николаевич... Езжайте-ка вы в Константинополь, наймите там дачу на море — у вас и лихорадка пройдет, и от привычной пищи вы окрепнете. Вот тогда и вернетесь сюда, если желание будет...

Но Леонтьев продолжал испытывать себя, надеясь на пострижение. Когда невозможность пострига стала очевидной, он все чаще вспоминал этот совет, хотя собирался пробыть на Афоне до осени.

---

[1] Архимандрит Леонид (Кавелин) был настоятелем церкви русского посольства в Константинополе, а затем стал настоятелем Воскресенского монастыря в Московской епархии; Леонтьев писал ему с просьбой помочь устроиться в одном из подмосковных монастырей, но помощи от него не дождался; по словам Губастова, архимандрит Леонтьева не любил.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к архимандриту Леониду от 8 июля 1873 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 101.

В августе Константин Николаевич получил два письма от посла Игнатьева: одно — официальное предписание за номером 843 от 15 августа 1872 года, второе — частное «внушение» подчиненному, с которым в последнее время стали твориться странные вещи. В предписании консулу Леонтьеву указывали на нежелательность его дальнейшего пребывания на Афоне. Он был официальным лицом, и его слишком тесная связь с «русскими» Пантелеймоновым монастырем и Андреевским скитом вызывала ненужные осложнения с греками, которые трактовали это как вмешательство русского посольства в религиозную жизнь страны, как попытку распространения панславизма. В частном письме Игнатьев, с одной стороны, несколько смягчил приказной тон официального предписания и обещал Леонтьеву свою поддержку, с другой — укорял подчиненного за многочисленные долги.

Оба эти письма сокрушили Леонтьева. Во-первых, он рассчитывал пробыть на Афоне до октября, а потом тронуться в Петербург. Таким образом, ему, больному и слабому, не пришлось бы путешествовать по жаре. Кроме того, к этому времени он планировал написать кое-что для «Русского вестника» и получить от Каткова деньги, чтобы оплатить свое путешествие и рассчитаться с некоторыми долгами. Ультиматум же, полученный из посольства, делал эти планы невыполнимыми. Во-вторых, его больно задели упреки в долгах и в том, что он недостаточно средств выделяет на содержание жены.

В ответ он написал Игнатьеву довольно сумбурное частное письмо (на официальное предписание отправил официальный же ответ), где пытался отвести эти обвинения. Начал он с того, что его долги никогда не влияли на его службу, а потому — дело личное. Ведь бездарность без долгов вреднее для дела, чем долги без бездарности! К тому же, напоминал он послу, «у нас на константинопольской и вообще на дипломатической службе долги — обычай», но сам он никогда не просил казну отвечать за его одалживания. Это было не совсем так. Не случайно Леонтьев рассказывал в письме, как Лиза, получив от него из Петербурга тысячу рублей перед отъездом в Янину, предпочла заплатить долги мужа, а не тратить деньги на свой переезд. В результате ей не на что было уехать из Тульчи, она обратилась в посольство, где ей выдали 10 лир (около 100 рублей, в несколько раз меньше, чем Леонтьев заплатил за выкуп Лины!), а Леонтьев в связи с этим получил обидное и «глупо-наставительное» письмо от казначея. «Видите, Ваше Превосходительство, как трудно угодить людям в этом случае, — восклицал Леонтьев. — Платишь долги — ви-

новат, жене мало дал, говорят; жене много даешь — зачем долгов не платишь!»[1]

Леонтьев, конечно, понимал, что расплатиться с долгами в ближайшее время не сможет, более того, если он поедет в Россию, ему придется опять брать взаймы. В письме Игнатьеву он объяснял, что приказ уехать раньше октября с Афона лишает его возможности заработать гонорар у Каткова: «и придется мне именно вследствие этого изгнания занимать где попало еще лир сто»[2]. В официальном же ответе послу полумонах-полуконсул Леонтьев просил выделить ему из посольской кассы 100 турецких лир — «взаимообразно (если иначе нельзя)»[3]. Финансовые обстоятельства Константина Николаевича были совсем плохи — он вспоминал позднее, что его даже отец Макарий ссужал деньгами.

В начале сентября отец Иероним и отец Макарий благословили Леонтьева «ехать в Царьград» и, коли желание его стать иноком искреннее, — выйти в отставку (но они отнюдь не настаивали на этом, что бы потом ни говорил Леонтьев). Константин Николаевич покинул Афон и поехал в Константинополь через Салоники и Адрианополь. Поездка заняла больше месяца: Леонтьев моря не любил, ехал в фургоне в сопровождении двух слуг. Лиза же решила остаться на некоторое время в Салониках и приехала в Константинополь позже.

К тому времени и планы самого Леонтьева уехать в Россию изменились: не было денег, здоровье не позволяло предпринять такое длительное путешествие, да и со службой надо было что-то решать. Он вспоминал: «Я уехал с Афона в Царьград в самом конце 1872 г., взволнованный и огорченный теми серьезными размерами, которые приняла уже тогда греко-болгарская распря, и впервые начиная прозревать вовсе не церковные и не богомольные цели тех самых болгар, которых и мне не раз в должности консула приходилось поддерживать. Я написал тогда две статьи для “Русского вестника”: одну, общеполитическую, “Панславизм и греки”, а другую, более специальную, о начинавшихся национальных распрях и на Св. Горе: “Панславизм на Афоне”»[4].

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к графу Н. П. Игнатьеву от 28 августа 1872 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 83.

[2] Там же.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к графу Н. П. Игнатьеву б/д, август 1872 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 85.

[4] *Леонтьев К. Н.* Воспоминание об архимандрите Макарии, игумене Русского монастыря Святого Пантелеймона на Горе Афонской. М., 2009. С. 43—44.

В мае 1872 года, вопреки прямому запрету Патриархии, болгарские архиереи совершили в запечатанном по приказанию Константинопольского патриарха болгарском храме литургию, во время которой был торжественно прочитан акт о провозглашении Болгарской церкви автокефальной[1]. Болгарская церковь в одностороннем порядке заявила о своей самостоятельности. В ответ Константинопольский Патриарший Синод объявил непокорных архиереев отлученными от Церкви. В сентябре, пока Леонтьев ехал в Царьград, на босфорских берегах состоялся церковный Собор, признавший Болгарский экзархат состоящим в расколе (схизме) и обвинивший болгарских архиереев в филетизме[2]. Превозношение племенного (национального) начала было грехом с христианской точки зрения, ведь по словам апостола Павла — «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Единство Церкви для христианина важнее племенной гордости. Именно так рассуждал и Леонтьев, который стоял на стороне Константинопольского патриархата (а значит — греков) в этой долгой распре.

Большинство российских политиков (граф Игнатьев в том числе) рассуждали иначе. Надо сказать, что даже Русская церковь склонялась больше на сторону Болгарской церкви, так как считала, что малыми уступками Константинополь мог бы сохранить церковный мир и предотвратить череду последовавших событий. Русская церковь неофициально продолжала снабжать Болгарскую церковь святым миром[3] и принимать болгар в свои духовные школы. Позиция Леонтьева снова была позицией одиночки, он — как всегда! — шел против течения.

Посол Игнатьев готов был принять отставку Леонтьева: ему надоело спорить с подчиненным, но главное — служба Константина Николаевича в последний год вызывала нарекания: посольству нужен был деятельный консул, а не кающийся паломник. (Как сказал канцлер Горчаков, прослышав о

---

[1] Автокефальный статус Болгарской церкви был признан Константинопольским патриархатом только в 1945 году.

[2] Филетизм (от *греч.* φυλετισμός — национализм) — привнесение племенного начала в дела Церкви.

[3] Святым миром помазывают христианина во время крещения. Правом приготовления мира обладает только глава автокефальной Церкви (патриарх, митрополит). В Москве, например, Патриарх Московский и всея Руси совершает чин мироварения один раз в несколько лет и затем освященное миро раздается в приходы; таким образом, благословение Патриарха получает каждый, кто принимает крещение.

леонтьевской истории: «Монахи нам не нужны».) Да и финансовые неурядицы Константина Николаевича посла раздражали. Опять некий Макеев пожаловался Игнатьеву, что Леонтьев не возвращает ему долг в 25 турецких лир! Послу пришлось еще раз написать Константину Николаевичу — и Леонтьев попросил казначея выдать Макееву нужную сумму из причитающегося ему жалованья. Но долгов было так много, что на всё жалованья не хватило бы...

Леонтьев не раз говорил, что вышел в отставку по совету афонских старцев. Здесь требуется небольшое уточнение. Он *захотел* выйти в отставку, и старцы не были против такого решения. Константин Николаевич предполагал, что рано или поздно станет монахом, и шел к этой цели. Позднее, уже в Оптиной Пустыни, с высоты прожитых лет, Леонтьев писал, что приехал с Афона в Царьград «полуразрушенным», вспоминал, что в нем тогда «происходила... жестокая борьба светских вкусов и развратных страстей с искренностью и глубиной нового в то время религиозного чувства»[1], потому для него уход со службы был необходимым шагом в этой борьбе.

Прошение Леонтьева об отставке было удовлетворено — с 1 января 1873 года он был свободен от службы. Вместо продвижения по карьерной лестнице, чина генерального консула и зарплаты в восемь тысяч рублей, о чем он строил планы совсем недавно, Леонтьев получил пенсию 600 рублей в год — совсем немного при том «консульском» образе жизни, к которому он привык. Это была еще одна жертва, которую Леонтьев принес пробудившейся в нем вере и решению изменить свою жизнь.

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 26—31 мая 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 369.

Глава 9
ВИЗАНТИЗМ И СЛАВЯНСТВО

Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас?..

Александр Пушкин

В Константинополе здоровье Леонтьева поправилось за пару месяцев — он окреп благодаря привычной пище, его отпустили лихорадка и боли в суставах. Сначала он остановился в гостинице «Hotel de France», затем перебрался в более дешевый отель в районе Кады-Кей в азиатской части города. Несмотря на отставку и расхождения с послом, Константин Николаевич не стал изгоем — его приглашали на дипломатические приемы, встречи в гостиной Игнатьева, в гости. Как отметил Иваск, «русские послы (во всяком случае, в то время! — *О. В.*) низкопоклонства не терпели, поощряли всякий почин, и именно поэтому Леонтьев... сделал карьеру на консульской службе, и даже после резкого расхождения с начальством двери в посольство для него закрыты не были»[1].

В этот раз Леонтьев появился в посольских кругах овеянный духом Афона. В гостиных шептались, что он уже без пяти минут монах. У него даже появилось шутливое прозвание: «апостол Константин» — после своего обращения к вере он полюбил проповедовать. «Посольским дамам он читал наставления и уверял их, что они для него больше уже не женщины»[2], — писал в леонтьевской биографии Коноплянцев.

Приятель Леонтьева Михаил Хитрово женился. Жена его, Софья Петровна, урожденная Бахметева (Бахметьева), Константину Николаевичу чрезвычайно понравилась — он уже и

---

[1] *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 2. СПб., 1995. С. 415—416.

[2] *Коноплянцев А. М.* Жизнь К. Н. Леонтьева, в связи с развитием его миросозерцания // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 86—87.

не знал, кому из этой пары больше симпатизирует. Во всяком случае, именно Софье Петровне Леонтьев посвятит свою автобиографию («Моя литературная судьба»). Молодая женщина покоряла сердца многих умных мужчин, способных оценить не только ее «стройность газели»[1], но и блестящее образование и неординарность мышления. Про нее и ее мать Софью Андреевну (жену поэта А. К. Толстого) Николай Страхов писал Льву Толстому, что они «большие охотницы до философии, много читают и даже ходили для этого в Публичную библиотеку». А в историю отечественной мысли Софья Петровна вошла как многолетняя несчастливая любовь философа Владимира Сергеевича Соловьева. Он посвятил ей не одно стихотворение; например, такие строки:

Вижу очи твои изумрудные,
Светлый облик встает предо мной.
В эти сны наяву, непробудные,
Унесло меня новой волной.

Ты поникла, земной паутиною
Вся опутана, бедный мой друг,
Но не бойся: тебя не покину я, —
Он сомкнулся, магический круг.

Софья Петровна сохраняла с Леонтьевым некоторую светскую дистанцию, но они приятельствовали, хотя, как и в случае с Михаилом Александровичем Хитрово, безоблачным их общение назвать трудно. Позднее Леонтьев использовал парадоксальный образ для описания того впечатления, которое производила на него эта чета: «Породистая, дорогая собака кусается иногда; можно прятаться от нее, можно ее прибить, убить, толкнуть (как иногда и я старался бивать и толкать словами Хитровых, когда они очень бывали злы или невежливы в своей изящной prepotence[2]), но нельзя же сказать, что собака не умна, не красива, не декоративна, оттого что она меня укусила. А если приручить ее (как мне удалось под конец моей жизни в Царьграде приручить немного Хитровых, то лаской, то дракой, то терпеньем), — то воспоминание остается очень хорошее»[3].

И хотя Софья Петровна родила «Мише» троих детей, с мужем она рассталась, но без развода (потому влюбленный в нее Соловьев и писал в стихотворении о «земной паутине»). Леонтьев продолжал ей симпатизировать и после расставания со

---

[1] Как писал про С. П. Хитрово В. С. Соловьев.

[2] Всемогущество (*фр.*).

[3] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 76.

своим приятелем, к тому же со временем он критичнее стал относиться к самому Михаилу Александровичу. В одном из писем Губастову в последний год своей жизни Леонтьев заметил, что все свои таланты, знатность, светские связи, прекрасное образование Хитрово не смог употребить с толком. Изящную, умную и ловкую жену потерял, стихотворный дар не развил, в политических взглядах был непоследователен и неоригинален, карьеру сделал менее заметную, чем мог бы: «все невпопад; и энергия вся — без пользы себе и другим». А вот Софью Петровну Леонтьев уважал, писал ей письма, вспоминал, как в Константинополе они вместе ездили в Игнатьевскую больницу[1], как по вечерам он читал в ее гостиной свои статьи и романы, а среди слушателей были мадам Ону, Губастов, князь Церетелев...

Алексей Николаевич Церетелев[2], семнадцатью годами моложе Леонтьева, стал его самым юным «босфорским» приятелем (большинство леонтьевских друзей были моложе его). В то время Церетелев был вторым секретарем посольства, а затем управлял консульствами в Адрианополе и Филиппополе, причем в последнем он оказался в самый разгар устроенной турками резни болгар. Во время русско-турецкой войны Алексей Николаевич поступил в военную службу, даже состоял ординарцем у генерала М. Д. Скобелева и отличился при взятии Тырнова русскими войсками. Леонтьеву молодой человек чрезвычайно понравился — прежде всего незаурядным умом и безупречной внешностью. По словам Леонтьева, Церетелев «до того был даровит (и быть может, даже гениален)... <...> так молод и так красив; так остроумен и весел, здоров и силен, хитер и ловок (ловок иногда и до цинизма!), любезен до неотразимости и по-печорински зол и язвителен»[3]. В 1883 году Леонтьев напишет о нем очерк, где Церетелев предстанет в образе человека «военного мужества», «героя».

Леонтьев вспоминал один разговор, когда сказал Церетелеву:

— Вы до того способны, князь, до того даровиты, что вам среднего в жизни ничего даже и не может предстоять. — Вы или будете знаменитым человеком... или...

---

[1] Больница была построена по инициативе графа Игнатьева; в ней бесплатно лечили не только славян, но и турок, что увеличило популярность русского посла среди населения турецкой столицы.

[2] В литературе, как и в сочинениях Леонтьева встречается двоякое написание его фамилии: Цертелев и Церетелев. *Цертелевы* (Церетелевы) — обрусевшая ветвь рода грузинских князей Церетели.

[3] *Леонтьев К. Н.* Князь Алексей Церетелев // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 388.

Церетелев угадал мысль Константина Николаевича:

— Или меня убьют?.. Не так ли?..

— Да, что-нибудь в этом роде, — согласился Леонтьев, — умрете рано или на поединке вас застрелят за некоторые ваши выходки...

Церетелев поклонился с шутливой почтительностью и переменил тему разговора. Леонтьев оказался прав: он пережил своего молодого знакомца.

Церетелева можно было любить или ненавидеть, но *средних* чувств он не вызывал. «При первых же встречах я почти влюбился в него, — вспоминал Леонтьев, — его юношеская красота, мужественная и тонкая в одно и то же время, его веселость и неутомимая энергия, его отважный патриотизм, его оригинальные шутки и серьезно-образованный ум, равно способный и к теоретической мысли, и к самым быстрым и основательно-практическим соображениям; его настойчивость и даже злость его языка и некоторых его действий, — пленили меня... <...> Я тогда все болел и ужасно тосковал и собирался все в тот же дальний и страшный путь, из которого нет более возврата; — при этом мне казалось, что я овладел некоторыми истинами, которых развитие и распространение было бы в высшей степени полезно. — Что успел, то написал и напечатал; что не успел — хотел передать другим; мне тогда было сорок с лишком лет; — Церетелеву едва ли было в то время двадцать пять»[1].

Константин Николаевич попытался сделать из молодого дипломата своего последователя, сторонника собственных взглядов на историческое развитие в целом и на восточный вопрос в частности — «я возмечтал быть чем-то вроде его предтечи», — писал он.

Попытки Леонтьева сделать из князя «ученика», как и его искреннее восхищение молодым красавцем и героем, сам Церетелев воспринимал с иронией. Константин Николаевич заинтересовал его, но князь не раз пикировался с ним по самым разным вопросам и подшучивал над его манерой одеваться. Именно тогда Леонтьев придумал себе особое одеяние — нечто среднее между поддевкой, кафтаном и подрясником — «альтернативу» ненавистным европейским сюртуку и фраку (этот же *кафтан* носил он позднее и в России). Почувствовав симпатию Леонтьева, Церетелев испытал «непреодолимую жажду той небольшой тирании, которой подобного рода характеры любят подвергать расположенных к ним людей»[2].

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Князь Алексей Церетелев // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 390.

[2] Там же. С. 391.

Князь мечтал о большой карьере, поэтому дружба с чудаковатым бывшим консулом, спорившим с официальной российской политикой в «болгарском вопросе», ему была не нужна. Вскоре это стало очевидным и Леонтьеву:

«Я, проживши около года на Афоне, — обвеянный его святыней, его поражающими строгостями, *впервые* понял тогда сущность вопроса с настоящей *духовной* точки зрения; т. е. что это просто *великий грех* нарушать так сознательно, лукаво и преднамеренно Уставы Церкви, как нарушали их болгарские либеральные вожди по соглашению с турками, обманывая и свой простой народ, и нашу дурацкую интеллигенцию.

Я трепетал за единство Церкви, у которой есть только две могучие опоры: русский Государь и русский народ, с одной стороны, и греческое духовенство, с другой... Я верил заодно с Св. Царем Константином, что *и с политической точки зрения чистота и строгость Православного учения важнее нескольких провинций...*

Князю Церетелеву ни до чего этого дела не было; для России он, видимо, желал только *немедленного успеха,* силы и влияния; для себя?.. Для себя — *тоже немедленного успеха*, силы и влияния... Я не мог ему этого доставить; иные из тех многих, которые были за болгар и которые были со мной не согласны, — *могли...*

На что же я ему годился?

Ему нужны были движение, борьба, карьера... а не отеческая дружба человека вовсе не влиятельного и не властного... Вот если бы я был облечен властью — тогда было бы, вероятно, иное!..»[1]

Хотя мечты об «ученике» и «последователе» не осуществились, Леонтьев вспоминал умного и красивого Церетелева всегда с искренним уважением. А позднее познакомился и с его младшим братом Дмитрием — философом и публицистом, хорошим знакомым Владимира Соловьева.

Жизнь отставного консула была наполненной и нескучной, да и времени для литературной работы стало больше. Леонтьев написал несколько статей в расчете на журнал «Русский вестник» — он предложил Михаилу Никифоровичу Каткову и его соредактору по «Вестнику» и газете «Московские ведомости» Павлу Михайловичу Леонтьеву собственную кандидатуру в качестве «восточного» корреспондента. Ему ответили, что в его статьях для журнала и для газеты редакция заинтересована, но корреспондент в этом регионе у них уже есть. Тем не менее Катков пообещал Леонтьеву 1800 рублей

[1] Там же. С. 392—393.

серебром в год с условием, что тот будет регулярно присылать статьи для публикации. Константин Николаевич был рад и тому, что у него будет трибуна для высказывания своих взглядов и мыслей, и тому, что поправит свои материальные дела.

Леонтьев хотел писать статьи «в защиту Церкви», а с церковными вопросами тогда была тесно связана тема панславизма. Причем тема эта стала чрезвычайно болезненной не только для Запада, но и для греков. Как писал Леонтьев, греки боялись, «чтобы русские не обрусили всех Православных». Освободившаяся (хотя и не до конца) от турецкого ига Греция видела в России уже не только союзника, но и конкурента за влияние в регионе — потому такой политический резонанс приобрел спор Константинопольского патриархата с Болгарской церковью. Леонтьевские статьи «Панславизм и греки» и «Панславизм на Афоне» затрагивали самые сложные и актуальные проблемы восточной политики России, спорили с панславизмом.

Леонтьев сравнивал Россию с планетой, вокруг которой вращаются многие спутники, да и сама она неоднородна этнографически: «Россия чисто славянской Державой никогда не была... ее западные и восточные владения, расширяя и обогащая ее культурный дух и ее государственную жизнь, стесняли ее Славизм разными путями...»[1] Племенной подход не применим к России, в том числе и потому, что среди вращающихся вокруг нее «спутников» есть румыны, мадьяры, греки — то есть *не*славяне. Про румын и мадьяр Леонтьев говорил, что они самим своим географическим положением «вставлены... в славянскую оправу» (так же думал Данилевский), что же касается греков — он надеялся на то, что экономические интересы должны будут оттолкнуть их от Западной Европы и сблизить с Россией.

Более того, в отличие от мечтаний панславистов Леонтьев доказывал, что «образование *одного сплошного и всеславянского государства* было бы началом падения Царства Русского. <...> "Русское море" иссякло бы от слияния в нем "славянских ручьев"», так как всеславянское государство не смогло бы сохранить твердость власти самодержавной России. «Непременно выработается у юго-западных славян такая мысль, что крайнее государственное всеславянство может быть куплено только ослаблением *русского единого государства,* причем племена, более нас молодые, должны занять первенствующее место не только благодаря своей молодой нетерпимости, своей по-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Панславизм и греки // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 184—185.

давленной жажде жить и властвовать, но и необычайно могучему положению своему между Адриатикой, устьями Дуная и Босфором»[1], — предупреждал Леонтьев. Значит, убеждал он читателя, панславизм *опасен* не только для греков, но и для России!

Россия гораздо теснее должна быть связана с Грецией, чем с юго-славянами. Более того, Леонтьев считал, что русские не заинтересованы и в падении Турции. «Всегдашняя опасность для России — на Западе», значит, ей надо искать союзников, а не врагов на Востоке. Греки тоже заинтересованы в сохранении Османской империи как противодействии панславистской политике, болгары нуждаются в турецкой власти, пока их собственная «зеленая» государственность не созреет. Интересы России, греков, болгар и турок, по мнению Леонтьева, противоположны интересам западноевропейских стран: «...для Германии и Австрии выгодно было бы... ослабление России и разрушение Турции», для России же лучше всего «*постепенное, осторожное* развитие греков и юго-славян под владычеством султана; сохранение добрых отношений и с турками, и более или менее со всеми восточными христианами, прежде всего, на случай какой-нибудь западной грозы»[2].

Но как бы ни необычна была предложенная геополитическая модель, основная мысль в статьях о панславизме была *принципиальнее*. Речь шла о враждебности Запада русским интересам. Восточный вопрос должен был стать, по мысли Леонтьева, глобальным вопросом *борьбы с Западом*, а отнюдь не частным вопросом об устроении Балкан. Именно так и понял статью «Панславизм и греки», когда она была напечатана в «Русском вестнике» (1873), Достоевский: он расшифровал смысл статьи как необходимость борьбы «*со всей идеей* Запада». Этот вывод был ему близок, недаром и сам Федор Михайлович верил, что «...в грядущих судьбах наших... Азия-то и есть наш исход»[3].

Леонтьевская статья привлекла внимание историка М. П. Погодина, о ней хвалебно отзывался член Славянского комитета В. И. Ламанский, турецкое посольство в Петербурге перевело леонтьевские статьи о панславизме и послало в Порту... Редкий случай: публикации Константина Николаевича были замечены, о нем говорили и спорили! Но обе статьи вышли за подписью «Константинов», и истинного автора угада-

---

[1] Там же. С. 184.

[2] Там же. С. 204.

[3] *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 27. Л.: Наука, 1984. С. 32—40.

ли не многие. Катков передал Леонтьеву благодарность за блестящие статьи. Вместе с тем афонские старцы попросили ничего пока не писать об Афоне — хотя большинство афонитов жили «своею *особою афонскою,* не русскою, не греческою и не болгарскою жизнью»[1], до них тоже доходили отголоски политической борьбы, и старцы не хотели смущать братию. Леонтьев послушался.

Тогда же, в Константинополе, Константин Николаевич начал писать свой самый большой роман, который считал лучшим, — «Одиссей Полихрониадес». (Не прошло и двух лет, как Леонтьев сжег «Реку времен», решив писать в будущем только на религиозную тему. Но сначала появились геополитические статьи, а потом был начат и «Одиссей».) Роман задумывался давно — еще в Янине, да и действие происходило там. Вновь обратившись к этому замыслу, в центре которого история молодого грека, сначала он относился к его осуществлению как к «грубой» работе для денег.

В этом произведении Леонтьев нарушил свои принципы «бледного», «акварельного» письма. В «Одиссее» масса этнографических подробностей, изображений быта, описаний. «Я переступил, быть может, за нужные пределы, утратил... чувство меры... — и в то же время — не насытился, не исчерпал себя, не истощил не только... “океана” моих воспоминаний и проектов, но и одн<ой> Эпирской жизни моей...»[2] — признавался автор. Постепенно он увлекся рассказами о яркой восточной жизни, ввел в фабулу романа русского консула Благова, сплавленного из своего предшественника на дипломатической службе консула Ионина (друга Михаила Хитрово) и себя самого. Образ доктора Коевино был навеян реальным доктором из греков, его янинским приятелем; романная танцовщица Зельха стала еще одним напоминанием о Пембе и т. д. Роман начал доставлять ему радость — он будто заново переживал свои счастливые, деятельные годы.

Казалось, что «Одиссей» будет написан быстро, на одном дыхании, — Константин Николаевич обещал П. М. Леонтьеву прислать роман в мае 1874 года для публикации, но он не был готов и много позже. Спустя некоторое время к роману он охладел и дописывал его, будто тащил в гору тяжеленный камень... Может быть, потому продолжение романа и было названо им «Сизифов камень», как знать?

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Панславизм на Афоне // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 231.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к Вс. С. Соловьеву от 18 июня 1879 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 4. С. 949.

Роман публиковался частями в «Русском вестнике» вплоть до 1882 года. Редакция требовала продолжения, а продолжение было делом непростым. Как писал Леонтьев, «такой обширный, *объективный* труд требовал большого досуга воображению; нужно в таком произведении, чтобы оно вышло недурно, обдумывать беспрестанно всё, даже самые внешние обстоятельства, иногда и вовсе придумывать их[1]... Героя я выбрал *неудобного*: красивого и умного юношу, Загорского купеческого сына, но боязливого, осторожного, часто хитрого, в одно и то же время и расчетливого, и поэта, как многие греки. Всё изображается тут *не русское*; надо большими усилиями воображения и мысли переноситься в душу такого юноши, становить себя беспрестанно на *его место*, на котором никогда я *не был*... К тому же разнообразных лиц — турок, греков, европейцев в Одиссее много...»[2].

Текст романа поражает знанием деталей быта, обычаев, традиций и даже песен Эпира. Роман чем-то напоминает «Подлипки»: в нем тоже много персонажей, основная тема — становление мужчины из юноши (только здесь юноша этот — грек), хотя фабула «Одиссея» гораздо определеннее и четче (сказался литературный опыт автора). Иваск высказался об «Одиссее» так: «Это очень мужской роман, в котором любовь — только слабый мотив, а вся оркестровка развивает другие темы: тут и честолюбие, и корыстолюбие, тут и политические споры и интриги...»[3] Жаль, что этот «мужской» роман так и не был закончен.

Из соображений экономии Леонтьев весной перебрался в дачное место недалеко от Константинополя — на остров Халки в Мраморном море, где прожил около года. С ним вместе отправился слуга Георгий, эпирский грек; немного погодя приехала и Лиза в сопровождении верного Петраки. Отношения супругов, напряженно-натянутые последние годы из-за увлечений Леонтьева, болезни Лизы, ее мнимой беременности, его желания принять постриг, вновь стали дружескими. Леонтьев вспоминал: «С женой, с которой у меня было 3-летнее расстройство, мы в Константинополе помирились, жили честно и по возможности мирно. — От. Макарий, бывший духовником жены, советовал мне взять ее с собою туда и продер-

---

[1] Это замечание косвенно подтверждает мое утверждение, что в основе практически всех художественных произведений Леонтьева лежат реальные факты.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 73.

[3] *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 2. СПб., 1995. С. 376.

жать около себя подольше, чтобы беседами укрепить в ней веру. — Я послушался»[1].

Халки Константин Николаевич полюбил. Неподалеку от места, где он остановился, находилась знаменитая греческая Духовная академия, и он ходил в ее храм на обедни, часто подолгу беседовал с монахами-профессорами и ректором — митрополитом Анхиольским. Сам остров был застроен живописными двухэтажными домиками с черепичными крышами, в центре располагалась сравнительно новая церковь Святого Николая (Айос Николаос), в которой Леонтьев тоже часто бывал.

Константин Николаевич нанял отдельный домик в турецком стиле (заплатив хозяину за год вперед 40 лир из занятых денег) — очень чистый и, как он писал мадам Ону, «какой-то провинциально-наивный». Домик был расположен на горе, из окон открывался живописный вид — он был своим жильем доволен.

На Халках Леонтьев работал над «Афонскими письмами», статьей «Еще о греко-славянской распре» и своим центральным теоретическим трудом — «Византизм и славянство». Позднее Константин Николаевич говорил, что этот труд (как и роман «Одиссей Полихрониадес») смог появиться только после проведенных им на Афоне месяцев, чтения аскетических писателей и жесточайшей борьбы с самим собой. Про свою жизнь на острове Леонтьев писал так: «От прежних привычек блуда я воздерживался там строго, хотя искушения были; посты содержал; Богу молился, духовное читал и других считал долгом приохочивать к тому же; писал статьи Каткову в защиту церкви и имел одобрение от духовенства»[2]. А за несколько месяцев до смерти в письме Розанову Константин Николаевич отметил, что именно «личная вера... докончила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое»[3].

Не споря с Леонтьевым, необходимо все же отметить, что первые идеи «Византизма и славянства» появились у него еще *до* его афонского опыта. Мысль о триедином процессе родилась у него *по дороге* на Афон, а некоторые части будущей работы (посвященные данной органической гипотезе) он начал писать в первые же свои дни на Святой горе. Но завершенный вид книга «Византизм и славянство» приобрела только на Халках (хотя десять лет спустя, в 1884 году, Леонтьев добавил к ней новые примечания).

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 230—231.

[2] Там же. С. 231.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову от 13—14 августа 1891 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 587.

Сначала Леонтьев думал о двух книгах: в первой он хотел рассмотреть историческое развитие, показать его несводимость к прогрессу, обосновать «триединую гипотезу»; вторая книга задумывалась как размышления о судьбах славянства. Позднее эти замыслы соединились в один труд — «Византизм и славянство». С одной стороны, это был трактат, написанный на злобу дня, — в нем обсуждался острый «восточный вопрос» (назревала очередная русско-турецкая война); с другой — теоретическая работа, в которой излагалась оригинальная философия истории.

Леонтьевская концепция базировалась на гипотезе триединого процесса. Но у трактата было еще одно теоретическое основание — ***византизм***, ведь рассматривая историю как смену самодостаточных культурно-исторических типов, Леонтьев не мог пройти мимо России. Но что можно считать сущностью российской жизни? «Сильны, могучи у нас только три вещи: византийское Православие, родовое и безграничное Самодержавие наше и, может быть, наш сельский поземельный міръ»[1], — считал Леонтьев. Упоминания о православии, самодержавии и крестьянской общине («сельском міре») можно было найти в статьях и работах многих из тех, кто искал корни самобытности России, но Леонтьев нащупал нерв ***византизма*** в православии, пришедшем на Русь из Византии и в дальнейшем существенно повлиявшем на формирование российского самодержавия.

Византизм олицетворял собой не просто восточную ветвь христианства, но особый тип образованности, иерархичность общества, специфическую форму государства и многое другое. Получилось, что ***вместе с крещением Русь получила «византийскую выправку» всего культурного организма***. «Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь, — убеждал Леонтьев читателя. — Византизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое данничество. Византийский образ Спаса осенял на Великокняжеском знамени верующие войска Димитрия на том бранном поле, где мы впервые показали татарам, что Русь Московская уже не прежняя раздробленная, растерзанная Русь! Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 323.

новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости!»[1]

«Византизм» у большинства читающих людей того времени вызывал негативные коннотации. Леонтьев снова шел против течения. Он и сам это понимал, когда писал, что многим «Византия представляется чем-то... сухим, скучным, поповским... жалким и подлым»[2]. Действительно, что приходило в голову «типичному» интеллигенту того времени при слове «византизм»? Обожествление государственной власти, рабская психология подданных, знаменитая византийская «симфония», означающая особую близость отношений между Церковью и государством[3], столетия интриг, века противостояния Европе...

На византизм как качество, присущее жизни русского общества, обратил внимание еще Чаадаев, но, в отличие от Леонтьева, он расценивал его как главное препятствие на пути прогресса. Для Чаадаева «византизм» был синонимом азиатчины, застоя, восточного коварства и лицемерия. Леонтьев принцип византизма характеризовал иначе: в государственном отношении — как самодержавие, в религиозном — как истинно православное христианство, в нравственном — как отрешение от идей обретения сугубо земного благополучия. По мнению Леонтьева, именно на фундаменте этих начал возможно создание по-настоящему прочных и «красивых» общественных и жизненных форм. И только византизм — в этом пункте он был согласен с бытующим представлением о византизме! — как раз и даст России силы противостоять Западу.

Исторически Леонтьев помещал византийскую цивилизацию между греко-римской и романо-германской. Пережив расцвет в IV—VI веках, Византийская империя была разрушена «турецкой грозой», и ее обломки «упали на две различные почвы». На Западе они стали катализатором эпохи Возрождения: в Европе уже сформировался свой романо-германский культурный тип, «все было уже развито, роскошно, подготовлено», нужен был лишь небольшой толчок, напоминание об античном мире, которые и принесла Византия, чтобы началось блистательное и сложное цветение Ренессанса.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 323—324.

[2] Там же. С. 311.

[3] В византийском богословско-правовом сочинении «Эпинагога» (IX век) принцип «симфонии» иллюстрировался так: государство сравнивалось с живым организмом, состоящим из многих членов и имеющим две головы; одна голова символизировала власть императора (кесаря, царя), другая — власть патриарха.

Другая почва, на которой оказались обломки византизма, — Россия. «Соприкасаясь с Россией в XV веке и позднее, Византизм находил еще бесцветность и простоту, бедность, неприготовленность, — писал Леонтьев. — Потому он глубоко перерodиться у нас не мог, как на Западе, он всосался у нас общими чертами своими чище и беспрепятственнее»[1]. Если в Западной Европе византизм сыграл роль «дополнения» к собственной культуре, то на российской почве византийские идеи стали фундаментом, матрицей для складывания нового цивилизационного типа: «византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм»[2]. Византизм, по Леонтьеву, стал основным генотипом российской культуры.

Леонтьев сравнивал византизм и славизм не в пользу последнего. Для Константина Николаевича славизм — что-то неопределенное, аморфное, слабое, «нечто подобное виду дальних и обширных облаков, из которых по мере приближения их могут образовываться самые разнообразные фигуры»[3]. Он неоднократно говорил, что в славизме важно лишь то, что отличает славян от Запада, делает их особенными. Но такие отличия становятся очевидными только тогда, когда на племенные начала накладывается культурный принцип, сам по себе определенный и оформленный, — например, византизм. В противном случае славизм мало чем отличается от других наций и «культурных миров» и, скорее всего, сольется с романо-германской цивилизацией, только будет «как-то жиже, слабее... беднее». Получалось, что без византизма племенной принцип теряет свое особое содержание.

Часто цитируют леонтьевский афоризм: «Славянство есть. Славизма нет». *Племенной принцип был чужд Леонтьеву*, он был убежден, что «любить племя за племя — натяжка и ложь». Славянство, по Леонтьеву, стало материалом для воплощения принципа византизма, потому *славизм как идеология возможен только при признании ведущей роли византийских начал*. Именно византизм — та *внутренняя идея*, которая оформила славянский материал. Внешней же силой стала крепкая *государственная власть* — значит, будущее славянских народов тесно связано с судьбами российского самодержавия. «Сила государственная выпала в удел великорусам. Эту силу великорусы

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 303.

[2] Там же. С. 326.

[3] Там же. С. 300.

должны хранить, как священный залог истории, не только для себя, но и для всеславянской независимости»[1], — предсказывал автор «Византизма и славянства».

Итак, Россия и славянство должны выпестовать свою особость, чтобы устоять перед влиянием Европы. Как и Данилевский, Леонтьев видел главную миссию России в противодействии «исторической экспансии» Запада. Почему? Да потому что западная цивилизация несла с собой ненавистный ему либеральный прогресс, идею всеобщего блага, комфорта, религию пользы, космополитизм и прочие *эстетически* отвратительные Константину Николаевичу вещи, которые должны будут в скором времени привести к обезличиванию всех и всего — «равенству лиц, равенству сословий, равенству (т. е. однообразию) провинций, *равенству наций*»[2].

Жизнь, одинаково удобная, но пошлая, похожая в своих чертах и проявлениях от края до края, — ничего ужаснее Леонтьев себе и представить не мог! Он был сторонником сильной и неделимой России, монархистом, ненавидел холопские бунты и революции, но все-таки был убежден, что мирно и законно принятая демократическая конституция, убив своеобразие страны, повредит России гораздо больше, чем пугачевщина или Польское восстание. Демократические учреждения подорвут саму основу российской государственности и восточнославянского культурного типа: они уничтожат сословную сложность, иерархизм, склонение пред государственной властью — то есть убьют византизм, а за ним — и самобытность. Бунты же Стеньки Разина или Пугачева, протесты староверов сами коренятся в византийском духе.

С Европой всё ясно — она *умирает*. По его подсчетам, она переступила за роковые тысячу лет в XIX столетии, хотя европейская цивилизация и культура еще живут и будут жить долго. Европейские государства вскоре сольются в какую-нибудь федеративную республику, Все-европейское государство, что и будет означать окончательное уничтожение национальных организмов: «для ниспровержения последних остатков государственного строя Европы не нужно ни варваров, ни вообще иноземного нападения: достаточно дальнейшего распространения и укрепления той безумной религии эвдемонизма, которая символом своим объявила: “Le bien-etre materiel et moral de l'humanité”[3]».

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 356.

[2] Там же. С. 333.

[3] Материальное и моральное благополучие человечества (*фр.*).

Для иллюстрации своей мысли Леонтьев использовал аналогию из врачебной практики: он сравнил эгалитарно-либеральный процесс с холерой. Болезнь тоже превращает весьма разнообразных и непохожих людей «сперва в более однообразные трупы (равенство), потом в совершенно почти схожие (равенство) остовы и, наконец, в свободные (относительно, конечно): азот, водород, кислород и т. д.»[1]. Правда, сама Европа не чует своей смерти — она поверила в прогресс и либеральное уравнение, приняла жар изнурительной лихорадки за прорезывание молочных зубов.

А как же страдания народа? Ведь либеральные реформы облегчают народную участь! Ощущение неоплатного «долга перед народом» было свойственно российскому интеллигенту XIX столетия. Спасти, освободить, научить, облегчить жизнь народа — для этого, считалось, и жизни не жалко. Подобный подход увлекал своим романтизмом не одно поколение. (Надо, впрочем, отметить, что любовь русской интеллигенции к народу была в высшей степени платонической и невзаимной.) Однако Леонтьев от «народопоклонства» был совершенно свободен. Он готов был идеализировать народ только как эстетическую противоположность буржуа; «ему нравились сельские церковки, полукрестьянские монастыри, избы под соломенной крышей, мужики под сохой. К простому народу в России, на Балканах, в Турции у него было эстетико-этнографическое отношение»[2], — замечал Бердяев.

Народ страдает? Это не повод для либеральных реформ! Уж если берешься оценивать происходящее не с личной, а с исторической точки зрения, то «какое мне дело... не только до чужих, но и до моих собственных неудобств, до моих собственных стонов и страданий?»[3] — восклицал Леонтьев. В одном из первых своих романов он вложил в уста героя, Милькеева, рассуждения о том, что кого-то могут и затоптать в дверях, если широко их открыть для добра, зла, великих деяний, творчества. Жертвы представлялись Леонтьеву неизбежными в «героический» период его жизни, но не пугали они его и после религиозного обращения. Эстетизм и естественно-научный взгляд на вещи броней защищали его от сентиментальности. Не уменьшением страданий надо оценивать развитие (да и как измерить эти страдания?), а усложнением жизни, ее цве-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 384.

[2] *Бердяев Н. А.* Константин Леонтьев. Очерк из истории религиозной мысли. Paris: YMCA-Press, 1926. P. 184.

[3] *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 385.

тением, для которого судьбы отдельных людей могут быть лишь почвой.

Одним из основных положений концепции Леонтьева являлся тезис об эстетической и культурно-исторической неравноценности демократических и деспотических обществ: демократические общества — менее «красивые», менее «сложные и противоречивые», чем общества деспотические. Усложнение всегда тесно связано с сильным государством, иерархизмом власти, сословностью. А государственная форма всегда *принудительна*: она не позволяет обществу распасться.

В древних обществах государство было простым, с непредсказуемой судьбой; в процессе развития государственный организм дифференцируется — власть укрепляется, сословия разделяются. Цветущие эпохи всегда связаны с существованием аристократии, с сильной властью, со *страданиями многих*. «Все болит у древа жизни людской!» — эти слова Леонтьева часто цитируют. Он рассуждал как врач: страдания сопровождают любую жизнь, являются ее нормальным проявлением, более того, «никакой нет статистики для определения, что в республике жить лучше частным лицам, чем в монархии... в эгалитарном государстве лучше, чем в сословном; в богатом лучше, чем в бедном»[1]. Раз так, если измерить страдания нельзя, — единственным мерилом прогресса должно стать развитие самого государства. (В отличие от Данилевского Леонтьев вел речь не столько о культурно-исторических типах, сколько о «государственных организмах», зачастую употребляя эти термины как синонимы. Государство для него было тем скелетом, без которого культурная плоть не способна выполнять свои функции.)

Английский консерватор Дизраэли сказал когда-то: «Народы управляются только двумя способами — либо традицией, либо насилием». В концепции Леонтьева эти два способа объединяются: каждой нации присуща своя, уникальная государственная форма (традиция), которая неизменна по сути «до гроба исторического», но меняется в проявлениях. Эта форма отчетливо видна в период цветения. Афинам, например, была свойственна демократическая республика, Спарте — деспотическая форма аристократического республиканского коммунизма с чем-то вроде двух наследственных президентов, Франции — в высшей степени централизованная и крайне сословная самодержавная монархия и т. д. Причем в пору цветения эта форма приобретает жесткий, авторитарный характер.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 388.

После окончания цветущего периода, в эпоху вторичного упрощения, побеждают демократические установления, государства гниют и сохнут, а «*все прогрессисты становятся неправы в теории, хотя и торжествуют на практике*». Ведь в мире угасания и разрушения подталкивать события — значит торопить смерть. Зато «все охранители и друзья реакции правы... когда начнется процесс вторичного упростительного смешения; ибо они хотят лечить и укреплять организм. Не их вина, что они не надолго торжествуют; не их вина, что нация не умеет уже выносить дисциплину отвлеченной государственной идеи, скрытой в недрах ее! Они все-таки делают свой долг и, сколько могут, замедляют разложение, возвращая нацию, иногда и насильственно, к культу создавшей ее государственности»[1].

Леонтьев — консерватор. Но консерватизм его особенный, не присущий его эпохе. «Охранительный» консерватизм *status qvo*, представленный в XVIII веке Гегелем, Берком, Новалисом, в XIX столетии (и тем более позже, после Леонтьева), когда в общих чертах уже сложилось правовое общество, не может не вобрать в себя определенные либеральные моменты, если он выполняет функции *консервации* существующих общественных форм. Общество-то уже изменилось, значит, сохранение этого измененного общества требует признания некоторых новых принципов. (Например, именно таким, «реформированным», был консерватизм Каткова.) К подобным принципам можно отнести примат правовых средств над насильственными для решения социальных вопросов, признание неотъемлемых прав личности и т. п. То есть современный Леонтьеву консерватизм уже не отрицал полностью демократических достижений и в этом смысле был «с либеральным душком».

Леонтьевскую же позицию можно назвать *мифологической*. Эта позиция тоже встречается в истории общественной мысли отнюдь не единожды. Под таким мифологическим неоконсерватизмом я подразумеваю достаточно распространенный род *политического романтизма*[2], выдвигающего в качестве своей задачи осуществление некоего вневременного социального мифа в духе национального традиционализма. Отсюда — поиски особой судьбы, ориентация на абсолютную уникальность национального пути.

Такой мифологический консерватизм противопоставляет должное и сущее: наличная действительность критикуется, а

[1] Там же. С. 393.
[2] Не случайно Н. А. Бердяев назвал К. Н. Леонтьева «философом реакционной романтики».

как альтернатива предлагается некое архетипическое, вневременное бытие («Святая Русь» или «прусская идея» — в зависимости от «почвы» произрастания). В случае леонтьевской концепции — речь идет о византизме. В этом типе консерватизма четко прослеживаются две взаимосвязанные идеи: проповедь патерналистской модели государства[1] и требование духовной общности народа. Налицо установка подчинения личности целому (нации, например). Леонтьев пытался безоговорочно подчинить себя духовному водительству старцев; эта же «матрица» действует у него всюду: без подчинения, без «водительства» невозможна нормальная жизнь. Принцип «по своей глупой воле пожить» приведет только к анархии и смуте; в леонтьевском идеале *каждый* должен подчиниться чему-то высшему (Церкви, государству, византийскому идеалу).

Но где находилась современная Леонтьеву Россия — поднималась ли в гору к пышному расцвету, переживала эпоху цветущей сложности или уже катилась вниз? Сольется ли Россия с Европой и подчинится уравнительным процессам, которые в ней происходят, или устоит в своей отдельности?

Шанс устоять небольшой. Ведь Россия вовсе не молода! По всем подсчетам — начинать ли нашу историю от Рюрика или с Крещения Руси — возраст российского государственного организма получается солидным. В первом случае мы не моложе Европы, во втором — очень близки к тысячелетнему сроку. Леонтьев расходился в своих оценках с Данилевским, — считавшим славянский тип молодым, полным сил и энергии, — и обоснованно задавался вопросом: «Разве есть положительные доказательства, что мы молоды? Иные находят, что наше сравнительное умственное бесплодие в прошедшем может служить доказательством нашей незрелости... Но так ли это?» Ответ был грустен: «Тысячелетняя бедность творческого духа еще не ручательство за будущие богатые плоды»[2]. И заключал с горьким чувством: «Молодость наша... *сомнительна*. Мы прожили много, *сотворили духом мало* и стоим у какого-то страшного предела...»[3] (Иногда пророчества Леонтьева поражают!

---

[1] Патерналистская модель государства соотносит государство с семьей. Как семья управляется отцом, старшими, так и государство строится на подчинении низших высшим и опеке высших над низшими. Если говорить упрощенно, государство рассматривается по аналогии с руководством отца (государственной властью) своими детьми (гражданами) при удовлетворении только тех потребностей граждан, которые признаются государством (ведь неразумные граждане могут хотеть и чего-то вредного, ненужного).

[2] *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 440.

[3] Там же. С. 442.

Как он почувствовал этот страшный «предел» за несколько десятилетий до него?! Когда все ждали, что Россия вот-вот «расцветет», покажет миру себя, займет достойное место в мировом оркестре и даже даст ему свою мелодию, он предощущал катастрофу, страшился ее, пытался быть не «парусом», а «якорем», чтобы удержать страну от пугающей судьбы.)

Итак, основа для воплощения идеи византизма, *плоть*, не молода, но вероятность того, что будущее страны еще не исчерпано, все же имеется. В письме Губастову Леонтьев писал: «...все-таки надо признать, что мы хоть на один век да моложе Европы». Надежда не очень крепкая, и с годами она становилась у Леонтьева всё слабее...

Бердяев в книге о Леонтьеве замечал, что тот «мучился о России»[1]. Но верил он не в русский народ, а в византийские начала (церковные и государственные), пустившие корни на русской почве. «Если он верил в какую-нибудь миссию, то в миссию Византизма, а не России»[2], — считал Бердяев, и с ним можно согласиться. Это совсем иная постановка проблемы, чем у славянофилов! Леонтьев без экивоков отверг идею славизма, противопоставив славизму — византизм. Основанием российского государственного организма, по мысли Леонтьева, стали *византийское* православие, *византийское* самодержавие и *византийские* нравы. То есть — славянской «племенной» составляющей здесь нет. Да и мечтал Леонтьев не о всеславянской федерации, а о восточно-православном союзе под эгидой русского царя, куда, по его мнению, нет дороги католикам-полякам или «онемеченным» чехам, несмотря на их славянство, но где он очень хотел бы видеть неславянских греков и армян. Не случайно в конце жизни он назвал славянофильство «мечтательным и неясным учением». Для леонтьевской же органической теории, явно имевшей естественно-научный оттенок, мечтательность была чужда.

В «Византизме и славянстве» Леонтьев предостерегал от опасности славизма: юго-славянские племена (и особенно столь милые русскому сердцу болгары!) могут заразить страну европейской заразой: «...страшнее всех... брат близкий, брат младший и как будто бы беззащитный, *если он заражен* чем-либо таким, что, по неосторожности, может быть и для нас смертоносным»[3]. И снова голос Леонтьева был одинок: русское общество простило болгарам даже церковный раскол, никто не мог поверить в опасность слишком тесного союза с

---

[1] *Бердяев Н. А.* Константин Леонтьев. Paris, 1926. С. 175.

[2] Там же. С. 176.

[3] *Леонтьев К. Н.* Византизм и славянство // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 443.

ними. (Впрочем, тогда против «болгаробесия» зазвучал и другой голос — Тертия Ивановича Филиппова, высокопоставленного государственного чиновника и авторитетного знатока богословских вопросов, статьи которого Константин Николаевич читал на Халках.)

«Довольно! Я сказал и облегчил себе душу», — завершил свой трактат Леонтьев. Он испытывал душевный подъем, закончив рукопись, и вновь верил в то, что будет услышан, что труд «Византизм и славянство» обратит на себя внимание. В глубине души надеялся, что это сочинение его *прославит*. Когда он читал отрывки из него в константинопольских гостиных — он выбирался в столицу с острова два-три раза в месяц (Лизу, не привычную к светскому обществу, не брал), — его страстные строки мало кого оставляли равнодушными: с ним спорили или соглашались (чаще — спорили), но успех у слушателей его сочинение, несомненно, имело. Потому он надеялся на скорую его публикацию и на публичное обсуждение поставленных в нем вопросов.

Еще не закончив свой труд, Константин Николаевич послал первую его часть П. М. Леонтьеву. Он хотел не только напечатать трактат в «Русском вестнике», но и издать его отдельной книгой с помощью Каткова, причем думал посвятить книгу Игнатьеву. Вторую часть «Византизма и славянства» Леонтьев намеревался привезти в Москву сам — он собирался ехать в Россию.

Константину Николаевичу нравилась его жизнь в Константинополе. Он писал Губастову, что те полтора года, которые он провел после Афона в Константинополе и его окрестностях, были одними из самых приятных в его жизни. Почему же он задумал вернуться в Россию? Это объяснялось несколькими причинами. Прежде всего литературными делами: Леонтьеву, как всегда, казалось, что личное присутствие в Москве или Петербурге сразу сдвинет с мертвой точки публикацию его работ и их признание читающей публикой. Уже не раз он ездил в столицы, движимый подобными ожиданиями, и ни разу они не оправдались. В этот раз надежды были те же. Он спрашивал Каткова даже о возможности литературной работы в Москве (а Катков молчал, причем молчание это продолжалось восемь месяцев!).

Второй причиной возвращения были финансовые недоразумения с Катковым. Катков, не разделявший позиции Леонтьева в славянском вопросе, его статьи на эти темы печатать не хотел и перестал отвечать на письма. Леонтьев даже телеграмму ему послал, но ответа так и не дождался. В результате Константин Николаевич, получая ежемесячно деньги из

Москвы, но ничего не публикуя в журнале, задолжал редакции более трех тысяч рублей. По его подсчетам, он послал в «Русский вестник» текстов даже на бóльшую сумму, но Катков этих подсчетов не признавал, так как статьи к публикации им не были одобрены, потому и распорядился прекратить высылать в Константинополь ежемесячные 120 рублей. Леонтьев остался без денег. Он надеялся, что законченная работа «Византизм и славянство» поможет уладить дело: Катков зачтет гонорар в счет долга.

Еще одной причиной стали кудиновские проблемы и смерть брата, Владимира Николаевича, в 1873 году. Маша с отцом приехали в Кудиново в мае 1872-го — год с лишним спустя после смерти Феодосии Петровны. Владимир Николаевич не был удовлетворен завещанием матери, в котором наследниками были объявлены его брат и дочь. Ему же Феодосия Петровна права распоряжаться какой-либо долей имения не оставила из-за того, что он занял деньги на издание «Искры», не поставив ее в известность и представив себя заимодавцу будущим владельцем Кудинова. И тот факт, что он приехал жить в имение, не написав об этом Константину Николаевичу, был своего рода демонстрацией его несогласия с волей матери.

Владимир Николаевич не имел тогда постоянного заработка, был весь в долгах и в Кудинове прятался от кредиторов. Может быть, это тоже приблизило смерть 55-летнего мужчины: он умер после непродолжительной болезни на руках у дочери. Похоронив отца и не до конца придя в себя, Маша написала дяде о смерти отца, рассказав о его неожиданной и мучительной кончине.

После расставания в Салониках письма от Константина Николаевича были очень редкими. Мария Владимировна терзалась почти год, пока не получила наконец весточку из Константинополя. Потому и ее письмо получилось горестным, но холодным. Ей казалось, что она осталась совсем одна — отец и бабушка на кладбище, Константин Николаевич в Турции и забыл ее, а больше у Маши никого не было. Кудиновские заросшие аллеи, обветшавшие стены заставляли сжиматься сердце: Маша вспоминала время, когда имение звенело от молодых голосов, а Феодосия Петровна наводила вокруг порядок одним своим присутствием. На Машу навалилась тоска, с которой она не знала как справиться. Горничная, наблюдавшая за осунувшейся и постаревшей молодой барыней, сказала ей однажды:

— Уехали бы вы куда-нибудь погостить, что ли... А здесь вас *стены съедят*!

Мысль уехать запала в душу. Но куда? Спустя некоторое время пришел ответ от Леонтьева: он звал Машу к себе, на Халки. Подумав несколько дней, Маша отказалась: она не могла забыть годового молчания Константина Николаевича, к тому же понимала, что ее приезд подорвет и без того крайне непрочное финансовое положение дяди. Он писал, правда, что постарается найти Маше место учительницы русского языка где-нибудь в посольских кругах, но она понимала, что шансы на это ничтожны. В Кудинове же затворническая сельская жизнь почти не требовала денег. Промаявшись лето в одиночестве, на зиму Маша решила попроситься на житье к Раевским.

Большое семейство Раевских проживало в шести верстах от Кудинова — в Карманове. Хозяйка семейства была скупа и расчетлива, но ее дочери (их было шесть) искренне привязались к Маше. Особенно близка она стала со старшей, 25-летней Людмилой, бывшей всего на год с небольшим моложе ее. Раевские не были богаты, девушки подрабатывали шитьем, «умных» разговоров в доме не велось, быт мало отличался от быта зажиточных крестьян, но простая и размеренная жизнь в этом доме пошла Маше на пользу. Она вспоминала позднее: «Жили мы очень тихой, деревенской жизнью... Чтение и рукоделие были нашими занятиями... были прогулки и катанье на розвальнях и песни хором... ходили мы и по избам в гости к разным кумушкам “барышень”, которые необыкновенно сжились со своими крестьянами»[1]. В этой многолюдной семье ей стало гораздо легче, а к Людмиле она и вовсе привязалась всем сердцем.

Эта история Маши легла в основу сюжета одной из редакций леонтьевского романа «Подруги». Героиня романа Соня после смерти отца находит утешение в дружбе с одной из дочерей соседа по имению, Зинаидой. Ей даже кажется, что былая любовь к Матвееву оставила ее сердце, но она не верит себе до конца... «А если бы теперь, сейчас — он бы взошел; или прислал бы из Куреева (прообраз Кудинова. — *О. В.*) весть, что он только что вернулся в родной дом; или даже ответил на... письмо, что, понимая ее горе, он бросит все и поспешит приехать... Ну разве бы она не обрадовалась... Ведь если с каждым днем все больше и больше угасает ее прежняя страсть к нему, то разве все кончено? — рассуждает про себя Соня. — Ведь сначала, до внезапного разгара этой страсти... было же

[1] *Леонтьева М. В.* Отрывок из воспоминаний (Как проводил время К<онстантин> Н<иколаевич> в Кудинове) // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 117.

долголетнее идеальное обожание?.. Была же дружба, полная поэзии... Тогда была весна, потом настало краткое, очень краткое лето, и благоуханное и бурное... ну а теперь будет, если он приедет, тихая, теплая и светлая осень, с немного грустным оттенком...»[1] Леонтьев (как и Матвеев в романе), отвечая на Машино письмо о смерти отца, не написал, что приедет, напротив, осторожно дал понять, что жизнь на Халках ему нравится и лучшей жизни он для себя не желает...

Однако кудиновские дела потребовали вмешательства Леонтьева. По завещанию Феодосии Петровны, новые владельцы Кудинова должны были выдать двум его братьям, Александру и Борису, «отступные» — по три тысячи рублей. Опустившийся и пьющий Александр стал требовать от племянницы причитающихся ему денег, а вскоре она получила письмо о деньгах и от Бориса. Дядья угрожали ей судебным разбирательством. Гордой Маше пришлось просить помощи у Леонтьева в разрешении семейных неурядиц.

Таковы были причины, по которым весной 1874 года Леонтьев покинул столь любимый им Восток. Денег у него не было даже на дорогу. Он попросил в посольстве за год вперед свою пенсию: часть взял себе на проезд, бóльшую же часть оставил Лизе. Жену Константин Николаевич решил с собой не брать — надеялся вернуться, не подозревая, что покидает Константинополь навсегда. (Впрочем, это не совсем так. Он вернется в Константинополь-Царьград-Стамбул через много лет после своей земной кончины: в 2006 году на здании российского генерального консульства в Стамбуле будет установлена мемориальная доска, посвященная дипломату, монаху и мыслителю Константину Николаевичу Леонтьеву.)

В сопровождении Георгия, своего преданного слуги-грека, Леонтьев отправился в Россию.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Подруги (Другая редакция) // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 5. С. 530.

Глава 10

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КУДИНОВО

Богу было не угодно, чтобы сочинения мои имели успех.

Константин Леонтьев

Мимоходом приходят в голову мысли — политические, литературные, социальные — одна другой свежее, но я так привык к тому, что не мне суждено их сообщить людям, что они, как падающие звезды, только мелькают, а я их и не поддерживаю...

Константин Леонтьев

В июне 1874 года Леонтьев приехал в Москву. Первым делом он отправился в Иверскую часовню — помолиться Иверской Божией Матери. После этого поехал на Страстной бульвар — в «гадкую редакцию» «Русского вестника». Константин Николаевич ни редакции, ни ее хозяина не любил. Охлаждение в отношениях Леонтьева и Каткова было чем дальше, тем заметнее. Катков для Леонтьева был «сер» (не зря Михаил Хитрово шутил, что Катков уже вступил в период вторичного упрощения), Леонтьев же для Каткова — «завирален» («может до чертиков договориться», — замечал Михаил Никифорович). Объединяли их редакционно-издательские дела: Леонтьеву нужны были трибуна и заработок, Каткову — яркие статьи для журнала.

Хотя первая часть «Византизма и славянства» после беглого просмотра Каткову не очень понравилась, окончательного решения о публикации он пока не принял. К тому же в «Русском вестнике» хотели печатать «Одиссея Полихрониадеса». Потому Леонтьев смог отчасти разрешить финансовые вопросы, возникшие у него с Катковым, и даже получить 700 рублей в счет будущих публикаций (в результате его долг «Русскому вестнику» составил более четырех тысяч рублей!).

Из Москвы Константин Николаевич отправился в Кудиново, где не был более десяти лет. Он покинул имение зимой 1863 года, когда Феодосия Петровна была жива, дорожки в парке с вековыми липовыми и березовыми аллеями аккуратно чистились, большой господский дом стоял на возвышеннос-

ти, к нему примыкали два простых флигеля, был еще и третий, позади дома. Теперь же дорожки заросли, яблоневый сад вырубили, дома не было, между флигелями зияло пустое пространство. Маша тоже сильно изменилась, похудела и постарела.

Константину Николаевичу отвели место в самом светлом флигеле, где осталась знакомая ему мебель, но и это не радовало: совсем недавно именно здесь скончался брат Владимир. Леонтьев корил себя за то, что не смог сберечь дорогой для матери дом, не смог возродить имение... Да что там — имение, он даже на памятник ей до сих пор денег собрать не смог!

«В первые же дни — почувствовал дядя нестерпимую тоску, — вспоминала Маша. — Его преследовали тени всех умерших, которые были все так близки Кудинову. Напал на него ужас — не спрятали бы и его скоро (как он выражался) "под ту же зеленую травку", которой были покрыты могилы матери и брата и тех дворовых, которых он не застал в живых!»[1] Сам Леонтьев описывал позже свое впечатление так: «Везде разрушение, смерть, старость, нужда, одичание вида самой усадьбы и тому подобное. — Даже Марья Влад<имировна>, которая три года перед этим была такая молодая, красивая, нарядная, — теперь была печальна, худа, больна, убита и всем тяготилась... С Марьей Влад<имировной> у меня тотчас же по приезде вышли недоразумения и неприятности... Но это я бы все перенес, если бы не страх внезапной смерти, который начал вдруг преследовать меня день и ночь на родине»[2].

Маша, заметив мрачное настроение Константина Николаевича, предложила ему съездить в Карманово, к Раевским, у которых тот раньше никогда не бывал. Сестры Раевские соседу были рады, а отец семейства, Осип Григорьевич, хотя поначалу встретил Леонтьева довольно сухо, потом оттаял. «Знакомство это немного рассеяло угнетенное состояние К<онстантина> Н<иколаеви>ча», — вспоминала Маша. После этого Леонтьевы не раз ездили в имение Раевских, да и девушки часто навещали Кудиново.

Людмила Раевская еще до приезда Константина Николаевича расспрашивала о нем подругу, и Маша «заразила» ее своим восхищенным отношением к Леонтьеву. Так что почва для девичьей влюбленности была подготовлена. К тому же шансов выйти замуж у Людмилы было не много: родители ее по

---

[1] *Леонтьева М. В.* Отрывок из воспоминаний (Как проводил время К<онстантин> Н<иколаевич> в Кудинове) // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 119—120.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 235—236.

бедности не водили светских знакомств, приданого не имелось — да и за кого выходить в деревенском захолустье? Леонтьев же всё еще был хорош собой, его окружал ореол невероятной какой-то жизни: война, Тургенев, литературные салоны, Восток, Афонский монастырь, журналы с его повестями и романами.

Константин Николаевич тоже обратил внимание на девушку. Людмила, по его словам, «оригинальная, хитрая, необыкновенно твердая и решительная»[1], вызвала у него интерес, которого он испугался. В «Исповеди» Леонтьев вспоминал: «*Я не забываю*, что *тотчас же* по приезде в Кудиново впал в блудное искушение, от которого *около 3-х лет* (с 1971 года) был избавлен. — Этого я не забывал *и тогда* и потому немедленно, помолясь усердно, раскрыл Св. Писание, чтобы знать, от чего мое невыносимое томление. — Мне вышло из Апостола, что “пес возвращается на свою блевотину”. — Я так и сам чувствовал и немедля решился ехать в Оптину Пустынь»[2].

В Оптину Леонтьев собирался ехать и по совету афонских старцев, которые передали туда несколько писем. В монастырь он отправился через месяц, в августе, взяв с собой Машу.

Самый вид монастыря Константин Николаевич нашел прекрасным. Река Жиздра, вьющаяся по лугам, огромный бор с исполинскими соснами и елями, сады и домики Козельска чуть в стороне... Всё было живописным и каким-то очень русским. Маша вскоре вернулась домой, Леонтьев же пробыл в монастыре две-три недели. По совету афонских монахов, он хотел повидать оптинского старца иеросхимонаха Амвросия и отца Климента, к тому же привез для них письма с Афона.

К Амвросию Оптинскому (в миру Александр Михайлович Гренков) шел и ехал народ со всех концов России за советом, помощью, утешением, его навещали Лев Толстой, Владимир Соловьев, Федор Достоевский (исследователи полагают, что отец Амвросий стал прототипом старца Зосимы в «Братьях Карамазовых»). Когда Леонтьев приехал в Оптину, старец находился верстах в семи от монастыря, в небольшой избе, куда иногда уезжал отдохнуть от многолюдства и посетителей.

Впрочем, паломники находили старца и там. Туда же отправился и Леонтьев. «Вокруг избы на лугу уже было довольно много народа: монахи, крестьяне, крестьянки, монахини, дамы... Все терпеливо ждали: иные сидели на траве, другие

---

[1] Назвав Людмилу «хитрой», Леонтьев поставил ее в один ряд с женщинами, которые ему нравились, — Зинаидой Кононовой, мадам Ону, Ольгой Новиковой и др.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 236.

стояли... в надежде, что старец, проходя мимо, благословит их или скажет хоть два какие-нибудь слова. Многие... желали только одного, чтобы... старец молча перекрестил их. Больше ничего. Для этого многие приходили издалека... — вспоминал Константин Николаевич. — Когда очередь дошла до меня, то старец, уже утомленный ходьбой, позвал меня в комнату, и там я увидал перед собой монаха небольшого роста, белокурого и с чрезвычайно приятным и веселым лицом. Это был Зедергольм...»[1] Так Константин Николаевич впервые увидел и второго адресата привезенных с Афона писем — отца Климента (в миру Константин Карлович Зедергольм), письмоводителя старца.

Отец Климент произвел на Леонтьева большое впечатление — возможно, потому, что его путь в монастырь, как и у Леонтьева, не был типичным. Родившийся в немецкой протестантской семье, блестяще окончивший историко-филологический факультет Московского университета, друживший в студенческие годы с Тертием Филипповым, лично знавший многих известных славянофилов, Зедергольм постепенно пришел к православию, а затем и к монашеству. Иваск в биографии Леонтьева пишет об их сближении: «Леонтьева к нему тянуло. Ведь он уже годы мечтал о пострижении и, может быть, ему хотелось понять, проверить на о. Клименте: как живется в монастыре человеку из его культурного мира»[2]. В 1879 году Константин Николаевич напишет о Зедергольме эссе, в котором помимо всего заметит, что «отец Климент был замечательный человек и еще более замечательный инок»[3].

Общих тем у них нашлось много — о Турции и Греции, где отец Климент бывал по поручению Синода, о Святой Афонской горе, посещение которой Зедергольмом когда-то окончательно определило его выбор монашеского пути, о славянофильстве и литературе. Беседовали они почти каждый день. Константин Николаевич с «дружеским вожделением» высматривал нового знакомца из окна своей комнаты в паломнической гостинице.

Наверное, разговоры с Леонтьевым слишком живо напомнили отцу Клименту мирскую жизнь, потому что в один из

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 265.

[2] *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 2. СПб., 1992. С. 480.

[3] *Леонтьев К. Н.* Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 253.

дней, когда Константин Николаевич пришел к нему, чтобы побеседовать, монах принял его ласково, но тотчас предложил вместе помолиться. Леонтьев понял, что предложение не случайно: так же поступал святой Исаак Сирин, испытывая праздного посетителя. «Я тотчас спохватился, понудил себя и отвечал ему, что очень рад, — описывал этот случай Леонтьев. — Мы помолились: отец Климент успокоился и мы после "девятого часа"[1] все-таки очень приятно побеседовали за чаем. Я думаю, что он хотел испытать меня и, увидев, что я стал на молитву так охотно, решил в сердце своем, что мои посещения и беседы не слишком вредны»[2].

Леонтьев вспоминал, что для отца Климента был свойствен «нередко до тревоги доходивший страх греха». Константину Николаевичу этот страх тоже был знаком — он не мог не осознавать своей вспыльчивости, гордости, страстности, он боялся умереть неожиданно, не искупив и не замолив грехов... И хотя аскетический монашеский быт подвергал отца Климента гораздо реже искушениям, чем мирская жизнь — Леонтьева, этот *страх* сблизил их. К тому же отец Климент не был чужд литературных занятий — он писал, публиковал свои работы. Леонтьев нашел в Оптиной глубоко верующего друга, духовный авторитет которого ему легко было признать. «Отец Климент мог превосходно действовать доводами, — вспоминал Константин Николаевич, — его значительные светские познания, авторитет его учености, его обширная и основательная духовная начитанность, логическая ясность его речи и в особенности его умение говорить именно тем языком, каким мы все говорим (умение, которому, к сожалению, так чужды многие из лучших монахов), вот что придавало особый, исключительный вес его словам в глазах образованных людей такого рода, которые не в состоянии стать прямо на духовную точку зрения»[3]. Таким человеком был и сам Константин Николаевич.

Леонтьев понимал, что хотя отец Климент — блестящий катехизатор, старцем он быть не может. «Катехизатор убеждает, старец руководит»[4]. Отец Климент даже не исповедовал — страшился своего несовершенства, опасался брать на себя ответственность за руководство чужой жизнью. (Впрочем, пре-

---

[1] Часы — ежедневные молитвы, освящающие определенное время суток. В «девятом часе» вспоминается крестная смерть Иисуса Христа.

[2] *Леонтьев К. Н.* Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 305.

[3] Там же. С. 322.

[4] Там же.

красно зная по-новогречески, он сделал исключение для слуги Георгия, эпирского грека, который сопровождал Леонтьева в Оптину.) В эти несколько недель отец Климент не раз беседовал с Константином Николаевичем о старчестве, о необходимости духовного водительства, о *радости* отречения от своей воли, будто подсказывал ему будущий путь:

— Надо только иметь полное доверие к старцам, ведь без старчества и внутреннего послушания трудно понять, как живут иные монахи...

Сам отец Климент был духовным сыном старца Амвросия. К отцу Амвросию и отправился Константин Николаевич исповедоваться. При ближайшем знакомстве он оказался не похож на афонских старцев — ни на отца Макария, ни на отца Иеронима. Маша вспоминала: дядя «высказал мне, — до чего ему трудно беседовать с о. Амвросием, который вести долгую беседу с ним не может, как это делал Афонский старец»[1]. И все-таки эта поездка в Оптину многое дала Леонтьеву: «Здесь сошел на душу мне такой мир, какого я давно не знал... Близость духовника и беседы О. Климента успокаивали и услаждали меня. — Я без труда забывал мир. — Отчего я не остался? — Я думал остаться, я надеялся! *Но денежные дела противу воли* вывели меня в Калугу»[2].

По дороге Леонтьев заехал на несколько дней к Иосифу Николаевичу Шатилову (крымский знакомый, повлиявший когда-то на мировоззрение Константина Николаевича, в 1864 году перебрался в свое родовое имение Моховое Тульской губернии). Деятельный Шатилов и в Моховом пытался идти впереди своего времени, хозяйствовал, сообразуясь с сельскохозяйственной наукой, — до сих пор известен сорт овса «шатиловский», а выведенная в имении пшеница получила бронзовую медаль на выставке в Париже. Да и чего только не было в шатиловском хозяйстве!

Но вряд ли Леонтьев вдохновился хозяйственным примером Шатилова: ни стартового капитала для этого не имелось, ни шатиловской страсти к сельскому хозяйству. Зато в Моховом он познакомился с Павлом Дмитриевичем Голохвастовым, автором оригинальной теории русского стихосложения и хорошим знакомым Льва Толстого. Встреча оказалась полезной. Павел Дмитриевич, узнав суть написанной новым знакомцем работы «Византизм и славянство», посоветовал

---

[1] *Леонтьева М. В.* Отрывок из воспоминаний (Как проводил время К<онстантин> Н<иколаевич> в Кудинове) // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 120—121.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 236.

обратиться за поддержкой к Погодину. К тому времени Константин Николаевич понял, что Катков не торопится печатать его сочинение, и стал думать о том, чтобы показать «Византизм и славянство» Ивану Аксакову. Но Голохвастов считал, что Погодин поможет опубликовать трактат гораздо вернее, чем Аксаков. Этот совет Леонтьеву пригодится во время следующей поездки в Москву.

Из Мохового Леонтьев отправился в Калугу — вплотную заняться кудиновскими делами. Официально вступив в права наследования, он попытался уладить денежные вопросы. Но жалобы братьев в различные инстанции привели к тому, что решением Калужского окружного суда от 5 ноября 1874 года на имение было наложено запрещение «в обеспечение выдачи» предназначавшихся братьям шести тысяч рублей. А незадолго до поездки в Калугу Леонтьев получил известия из Константинополя: Елизавета Павловна прожила все оставленные им деньги (даже продукты из лавок ей в долг не отпускали) — и в Россию не на что было возвращаться, и в Турции оставаться было не с чем...

К счастью, в Калуге жил хороший знакомый Леонтьева, князь Константин Дмитриевич Гагарин, калужский вице-губернатор. Константин Николаевич встречался с ним на Корфу, не раз они коротали на Востоке вечера в дружеских беседах. Женат Гагарин был на гречанке — Елене Алкивиадовне Аргиропуло, что тоже расположило их друг к другу (ведь и в жилах Елизаветы Павловны текла эллинская кровь). Князь предложил Леонтьеву остановиться в его доме. У Гагарина Константин Николаевич и одолжил деньги для жены, причем отправил их Лизе с правом выбора, куда ехать — к матери в Крым или к нему в Кудиново.

Чтобы хоть частично расплатиться с братьями, Леонтьев обратился за ссудой в Калужский Малютинский банк. Деньги ему выдали на 12 лет под залог кудиновской земли. Получив четыре с половиной тысячи рублей серебром (вместо нужных шести), он тут же отправил их братьям.

На некоторое время финансовые проблемы отступили, но о том, чтобы пожить месяц-другой в гостинице в Оптиной Пустыни, как сначала планировал Константин Николаевич, речь уже не шла — на это средств не было. Кудиновскую землю сдавали крестьянам в аренду, но почти все вырученные деньги уходили на уплату процентов по займу. Леонтьеву жизненно необходима была работа, и он поехал в Москву — улаживать свои литературные дела.

В Первопрестольной Константин Николаевич остановился в гостинице Мамонтова на Тверской улице и по заведенно-

му уже обычаю поехал помолиться Иверской Божией Матери. «Я просил (конечно!) о продлении моей *земной жизни* и о том, чтобы в *делах литературных* мне суждено было, наконец, *узреть правду* себе *на земле живых*»[1], — вспоминал он.

С собой у Константина Николаевича была переписанная набело первая часть «Византизма и славянства» (вторая по-прежнему лежала в редакции «Русского вестника»), и он отправился с рукописью к Каткову. Их встреча успеха не принесла: Катков решил не печатать эту работу и отказался выплачивать Леонтьеву помесячное жалованье за сотрудничество, напомнив к тому же про те несколько тысяч, которые Константин Николаевич задолжал редакции.

Заметив, что отношение к нему Каткова сильно изменилось с тех пор, как он покинул службу (с *консулом* Леонтьевым Михаил Никифорович обращался гораздо уважительнее!), Константин Николаевич рассказал в редакции о своих планах служить дальше: «...мне бы очень неприятно было, если бы Катков и <П. М.> Леонтьев сочли бы меня одним из тех несчастливых идеалистов и бестактных людей, которые ссорятся с начальством, теряют хорошие должности, из-за пустяков бросают службу и т. п. Мне самому такие люди противны и жалки не в хорошем смысле, а в худом, особенно когда они имеют какие-то воображаемые убеждения... И я никогда бы, никогда не променял своей службы на поденное писательство, если бы не клятва пойти в монахи»[2].

Константин Николаевич и в самом деле стал думать о поступлении на службу в Архив Министерства иностранных дел. Вел он переговоры и о возможной работе в Синодальной типографии, где издавались за счет государства богослужебные и религиозные книги. Устроиться на работу в Синодальную типографию не удалось, хотя и хлопотала за Леонтьева знакомая дама. И в Архив его не взяли: мест свободных не было, да и слава чудака, способного на неожиданные поступки (как, например, бросить службу и уехать в монастырь), не способствовала леонтьевскому трудоустройству...

Вместе с тем Катков заказал Леонтьеву статью. Константин Николаевич никогда раньше не писал на заказ, к определенному сроку, независимо от своих настроений. Эксперимент закончился неудачно. Статья Каткову не понравилась, поскольку не совпадала с его позицией. Леонтьев вспоминал: «...ему все хотелось точь-в-точь заставить меня думать по-сво-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 72.

[2] Там же. С. 80.

ему; я и рад бы *да не могу*. — У меня свои мысли. — Смирение мысли перед Церковью дело иное; высокое; — смирение моей мысли перед умом Каткова *невозможно*, а продавать мои убеждения я не могу, *не умею...*»[1]

Впрочем, несмотря на нелюбовь к Каткову и его «гадкой редакции», именно там Константин Николаевич познакомился со многими людьми, сыгравшими заметную роль в его жизни. Вот и в тот приезд в редакции «Русского вестника» Леонтьев познакомился с Федором Николаевичем Бергом, поэтом, переводчиком Гейне, публицистом. Они знали друг друга заочно, по публикациям, но лично встретились впервые. Берг был одним из леонтьевских почитателей, он даже собрал все сочинения Константина Николаевича в одну большую книгу, которую сам переплел. Леонтьев был польщен, к тому же ему импонировали русофильские и консервативные взгляды нового знакомого.

Хотя Берг начинал свою общественную жизнь как оппозиционно настроенный к власти студент (и даже посидел в Петропавловской крепости за свои убеждения), после пережитой трагедии, смерти возлюбленной, он резко изменился — порвал с привычным окружением, уехал из Петербурга. Вернулся Берг к общественной деятельности уже консерватором. На смену стихам пришла публицистика такой направленности, что печатали ее только в консервативных «Русском вестнике» и «Заре».

По совету Берга Леонтьев переехал в гостиницу «Мир» на Лоскутной, которую держала немолодая француженка. Новое место обитания Константину Николаевичу понравилось. Проживание там стоило дешевле, чем в гостинице Мамонтова, да и хозяйка, мадам Шеврие, стала Леонтьеву едва ли не другом и не раз в будущем его выручала, когда денег на гостиницу не хватало. Вскоре здесь же на несколько дней остановилась и Елизавета Павловна, оказавшаяся в Москве проездом из Турции в Кудиново.

Константин Николаевич решил показать отвергнутую Катковым рукопись «Византизма и славянства» Михаилу Петровичу Погодину, как советовал ему Голохвастов. Старенький историк, узнав, что Леонтьев и есть тот самый Константинов[2], статьи которого ему так понравились, стал выражать ему свою симпатию и называть ***авторитетом*** в восточных делах. Прав-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 238.

[2] Свои статьи о панславизме Леонтьев подписывал псевдонимом «Н. Константинов».

да, читать текст отказался, сославшись на возраст и плохое зрение. Он попросил Леонтьева изложить вкратце его теорию исторического процесса и внимательно слушал около часа, не перебивая и даже не шевелясь.

Закончив, Леонтьев спросил у Погодина его мнение.

— Что вам сказать! — вздохнув, ответил 75-летний Михаил Петрович. — Я так подавлен обилием и разнообразием изложенных вами мыслей и идей, что сразу не нахожу ответа...

Во всяком случае, Константин Николаевич историка заинтересовал. Погодин тут же написал записку Аксакову. (Сам Михаил Петрович в то время был председателем Славянского комитета[1], а Аксаков исполнял в комитете обязанности секретаря.) В записке Михаил Петрович рекомендовал Леонтьева так: «Это человек примечательный: он мог бы, я думаю, стать редактором славянофильского журнала; но мне кажется, его необходимо придерживать за полу». И дал прочесть записку рекомендуемому. Леонтьев, дочитав до предостережения, рассмеялся, поблагодарил старика и отправился с такой рекомендацией к Аксакову.

Приехал Леонтьев к Аксакову в неудобное время — в пятом часу, в самый обед, но решил все же Ивана Сергеевича подождать. Когда Аксаков спустился к посетителю, Леонтьев так объяснил свой визит в неурочный час:

— Меня надо извинить, если я приехал не вовремя. Я прослужил консулом в Турции десять лет и не знаю, когда в Москве принято обедать.

После такого представления Аксаков с бóльшим интересом посмотрел на посетителя. К тому же припомнил встречи с ним в крымском имении Шатилова. А признание Константина Николаевича, что это именно он публиковал статьи под псевдонимом «Константинов», повысило его акции в глазах московского славянофила. Потому, когда он попросил Ивана Сергеевича прочитать рукопись «Византизма и славянства», просьба была встречена благосклонно. Да и беседа выявила много общего у хозяина и гостя; они встречались еще несколько раз в течение октября 1874 года, общество друг друга было им тогда приятно, Аксаков пригласил Леонтьева бывать на своих *четвергах*.

Такое «отеческое отношение» со стороны Ивана Сергеевича сохранялось не долго. Как только Аксаков прочел «Визан-

---

[1] Славянский комитет был создан в 1858 году кружком московских славянофилов во главе с М. П. Погодиным для помощи славянам. Комитет поддерживал русские школы в Турции, финансировал открытие православных церквей, организовывал учебу болгар, помогал переселению чехов в Россию, издавал книги и т. д.

тизм и славянство», он «прозрел». Его возмутил в работе Леонтьева культ сильной личности и неравенства, он был не согласен с установкой автора на защиту государства («Чорт возьми это государство, если оно стесняет и мучает своих граждан!»[1] — бросил он Леонтьеву), а главное — ему претило отношение Леонтьева к истории как к процессу, подчиняющемуся объективным законам. Он увидел в гипотезе о трех стадиях развития фатализм и предопределенность; о чем хлопотать, если вторичное упрощение неизбежно? Да и леонтьевский византизм вызывал у него возражения. Аксаков считал, что нельзя рассматривать Россию в виде индифферентной почвы, на которую воздействовал византизм, славянство тоже повлияло на византизм. Аксаков был уверен, что у России и славян есть нечто свое, самобытное, даже в церковной жизни.

Леонтьев рассуждал иначе: своеобразие России сформировано византизмом, а не славянством, и слияние с «юго-славянами», уже попавшими в орбиту европейской цивилизации, приведет к утрате Россией последней культурной оригинальности, сохранить которую возможно только при укреплении государственности и последовательном противодействии всем западным влияниям: «для достижения своей цивилизации русским выгоднее проникаться турецкими, индийскими, китайскими началами и крепко охранять все греко-византийское», чем любезничать со славянами[2]. Надо сохранять не славянство, а самобытность!

Иван Аксаков и другие славянофилы оказались для Леонтьева слишком либеральны. «Я убедился и узрел очами своими, что если снять с них пестрый бархат и парчу бытовых идеалов, то окажется под этим приросшее к телу их обыкновенное серое, буржуазное либеральничание, ничем существенным от западного эгалитарного свободопоклонства не разнящееся»[3]. При обсуждении «Византизма и славянства» с Аксаковым Леонтьев понял, что между ними «бездна», да и Иван Сергеевич вскоре к Леонтьеву стал относиться с опаской и нелюбовью. Известна его едкая острота, которую многие повторяли: Леонтьев, мол, стоит за «сладострастный культ палки».

Однако поначалу Аксаков с удовольствием представлял Константина Николаевича своим знакомым — А. И. Кошелеву, Ю. Ф. Самарину, князю В. А. Черкасскому и др. Леонтьев излагал свои взгляды в московских гостиных, читал отрывки

---

[1] См.: *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 115.

[2] Там же. С. 106.

[3] Там же. С. 97—98.

из «Одиссея» и «Генерала Матвеева», рассказывал о Востоке — и принимали его заинтересованно. Он даже стал подумывать о том, чтобы остаться в Москве на время — в качестве постоянного сотрудника какого-нибудь журнала, хотя его больше привлекали цветущий Крит или Константинополь, а не московские редакции.

Леонтьев писал Губастову, как он мечтает вернуться на Восток, но *пока* готов год-два *потерпеть* для того, чтобы расплатиться с долгами и помочь своей семье и старым слугам, которым он выплачивал «пенсию». Деньги нужны были и для слуги-грека Георгия: молодой человек сам напросился взять его в Россию, но потом ужасно затосковал на севере и захотел вернуться домой. Средства на это он требовал у Константина Николаевича.

Леонтьев надеялся достичь прочного литературного положения и тогда уже вернуться на Босфор — «доживать остаток дней своих, деля их между отшельником Арсением, богословами-греками и моим милым посольством, в котором для меня соединилось все добродушие и теплота семьи со всем оживляющим блеском и умом высшего света»[1].

С таким настроением Леонтьев взялся писать следующую статью (по поводу сборника повестей и очерков «Складчина»), в которой хотел изложить свой взгляд на современную ему русскую литературу. У него, как он и сам понимал, «критический вкус давным-давно опередил творчество»[2], и ему важно было высказаться против грубого реализма. «Даже "Война и мир", произведение, которое я сам прочел три раза и считаю прекрасным, испорчено множеством вовсе не нужных грубостей»[3], — считал Леонтьев. Если французских писателей не раз упрекали в том, что они чересчур *поднимали* жизнь (как говорили тогда — на каблуки и ходули), то русские писатели, по мнению Леонтьева, *принижали* ее.

От работы над статьей Константина Николаевича оторвало скандальное письмо брата Александра. Он требовал немедленно прислать ему 200 рублей серебром, в противном случае грозился отыскать в Петербурге кредиторов покойного брата Владимира и взять у них доверенность на судебное преследование за долги его дочери, Марии Владимировны. Этого Леонтьев допустить не мог. Он опять занял денег у знакомых и остался буквально без средств к существованию. В гостинице бывший консул с солидным когда-то жалованьем жил в долг,

---

[1] Там же. С. 119.
[2] Там же. С. 126.
[3] Там же.

да и приглашениями отобедать у знакомых не пренебрегал. Александр иск в Мировой суд все-таки подал — Леонтьева осудили и вручили исполнительный лист на 500 рублей.

С деньгами стало совсем туго. Всё, что появлялось, Леонтьев отсылал Маше и Лизе, которые тоже экономили каждую копейку. В Кудиново на зиму перебралась и Людмила Раевская. Так и коротали зиму женщины втроем. Лизавета Павловна ужасно томилась, не имея привычки к чтению или работе. «...У нас находилось всегда дело, — вспоминала Мария Владимировна, — но Лиз<авета> Пав<ловна> ужасную скуку и тоску терпела»[1]. Из флигеля она выходила лишь затем, чтобы пообедать и выпить чаю — стол накрывали в другом флигеле, где Маша жила с подругой.

К тому же в ту зиму Лиза и Маша часто ссорились. Леонтьев вспоминал: «Марья Владимир<овна> жену мою оскорбляла, а жена со своей стороны делала всякий вздор, и все это до меня доходило!»[2] Константин Николаевич всем этим мучился, но выхода не находил — всё упиралось в деньги, которых не было.

В прошлый свой приезд в Москву он познакомился с архимандритом подмосковного Николо-Угрешского монастыря Пименом (Мясниковым) и имел с ним разговор о возможности пожить при обители некоторое время. В конце концов туда Леонтьев и решил перебраться на зиму. Гостиница для паломников там была действительно очень дешевой, но и на это средств у него недоставало... Константин Николаевич, как всегда, надеялся, что всё каким-то образом устроится, деньги откуда-нибудь возьмутся. К тому же в «Русском вестнике» собирались печатать «Одиссея» (правда, в счет погашения образовавшегося долга). Он надеялся как следует поработать в Угреше — монастырь казался для этого подходящим местом: всего в десяти верстах от Москвы (и московских редакций), гостиница достаточно уединенна и тиха, никто не будет отвлекать от писания.

В Угрешь Леонтьев отправился в ноябре 1874 года. В неизданной при жизни «Исповеди» он писал о своих невольных странствиях: «С Афона меня согнала болезнь; из Царьграда — удалила нужда. — Из Кудинова изгнал меня в Оптину Пустынь — страх. — Да! Страх телесный и духовный; и худой и хороший»[3]. Перечень можно продолжить: из Оптиной в Калу-

---

[1] *Леонтьева М. В.* Отрывок из воспоминаний (Как проводил время К<онстантин> Н<иколаевич> в Кудинове) // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 123.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 238.

[3] Там же. С. 234.

гу его изгнали денежные проблемы, из Калуги в Москву — они же, а теперь заставили ехать в Угрешь.

Основан был монастырь еще в 1380 году князем Дмитрием Донским. По преданию, во время похода к Куликову полю русское войско остановилось на отдых в этом месте, где князю Дмитрию явилась икона Святителя Николая Чудотворца, укрепившая его верой и надеждой на победу в предстоящей битве. Воодушевленный князь воскликнул: «Сия вся угреша сердце мое!» («угреша» — согрела). Отсюда пошло название обители. Монастырь знал хорошие и плохие дни из-за близости к Москве, не раз страдал от набегов, но и монаршие милости не обходили его стороной. В пору пребывания там Леонтьева обитель переживала расцвет: отстраивалась, принимала большое количество паломников, да и монахов-насельников в Угреши было немало. Пимен, вышедший из купеческой семьи, имел организаторский талант и отлично управлялся со сложным хозяйством.

В монастырской гостинице Леонтьев прожил всего несколько дней, как денег не осталось даже на обед. Архимандрит Пимен посоветовал Константину Николаевичу стать послушником, которому полагалась своя келья. И Леонтьев надел подрясник, увидев в этом перст судьбы: его обет стать монахом, не исполненный на Афоне, теперь мог исполниться.

Сначала новая жизнь «брату Константину» даже понравилась; он писал Губастову, что архимандрит к нему милостив, келья опрятна, а сам монастырь очень красив. Однако мирские мечты о светлой келье, где можно было бы в уединении писать статьи и романы, не сбылись. Отец Пимен весьма строго относился к соблюдению монастырского устава: на Леонтьева было возложено *послушание*. Константин Николаевич подавал кушанья в трапезной, носил воду на коромысле, дежурил зимой, на морозе, у главных ворот монастыря с колотушкой, собирал на стройке щепки для растопки... Если Леонтьев надеялся на какое-то снисхождение со стороны архимандрита, он ошибся. Архимандрит, помимо духовного служения, был занят большим хозяйством, у него не было времени «нянчиться» с новым послушником, он не понимал, почему тот требует к себе большего внимания, чем прочие послушники и монахи.

Отец Пимен был самоучка, даже школы не закончил; барин Леонтьев, с его утонченным и прихотливым умом, привычками недавнего высокопоставленного чиновника дипломатического ведомства, не приспособленный к физической работе и строгому монастырскому быту, видимо, архимандрита раздражал. К тому же, судя по письмам Константина Николаевича

друзьям, и отношения с насельниками у него не сложились. Братия была «груба и завистлива», «рясофорного послушника Константина» в монастыре невзлюбили, а Пимен, обладавший «гневным характером», не раз называл его «дураком»[1].

Вскоре Леонтьев сильно ослаб, его организм не мог привыкнуть к грубой и скудной монастырской пище, денег же на еду не было вовсе. Он покупал себе лишь самый дешевый табак, привычный кофе стал роскошью, при этом он должен был еще как-то содержать слугу Георгия, который жил с ним при монастыре. Константин Николаевич вспоминал: «Георгия возбуждали грубые Угрешские послушники, и он ужасно оскорблял меня всячески, требуя от меня денег, которых у меня не было. — Он даже грозился или себя убить или меня убить, а прекрасная братия Угрешская веселилась»[2]. Белье себе гордый консул стирал сам, потому что Георгий отказывался ему служить. Писать он не мог, а написанное ранее негде было печатать. Известие о том, что Леонтьев надел подрясник, произвело на Каткова крайне невыгодное впечатление, и надежда получить от него деньги растаяла.

В один из дней, отпросившись у настоятеля на сутки в Москву, Константин Николаевич приехал в редакцию «Русского вестника» и, смирив свою гордость, умолял Каткова выделить ему 50 рублей в месяц, потому что голоден, а еды купить не на что. Катков сделал вид, что дремлет и не слышит. Леонтьеву ничего не оставалось как уйти. Думаю, этот момент своего унижения он Каткову простить не смог, потому так много едких слов о Михаиле Никифоровиче встречается в леонтьевских воспоминаниях. С удовольствием он повторял и злой отзыв Герцена о Каткове — «московский публичный мужчина».

И все же Константин Николаевич был к нему не вполне справедлив. В «Русском вестнике» публиковались произведения Л. Толстого и Достоевского, Фета и Лескова — литература мирового уровня! — и в этом, несомненно, была заслуга Каткова. Обиды же Леонтьева вполне объяснимы: он считал, что в редакции к нему относятся как к «литературному пролетарию» и «должнику неоплатному» (хотя и это не совсем так — иначе не выдавали бы ему денег вперед), и это его гордости претило.

---

[1] Леонтьев, нелестно характеризовавший архимандрита Пимена в письмах друзьям, вряд ли был объективен. Спустя годы Архиерейский собор Русской православной церкви причислил преподобного Пимена Угрешского к лику святых.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 239.

В монастыре Константина Николаевича навещала его племянница (служившая в Москве гувернанткой) — Екатерина Васильевна Самбикина, привозила гостинцы. Изголодавшийся Леонтьев радовался ее визитам как ребенок. «Пища и безденежье такое, — описывал он свою угрешскую жизнь, — что когда Катерина Васильевна прислала мне 3 рубл<я>, то я от радости прослезился; — и как дитя бывал рад куску сыра или рыбе»[1]. К общей трапезе Леонтьев так и не смог привыкнуть: «Бывало посмотришь, посмотришь, вздохнешь и не коснешься, а поешь одного чорного хлеба с квасом. — Так и питался по неделям. — Ел только, чтобы прекратить боль в желудке; — а сытым быть и забыл как это бывают сыты!»[2] Он убеждал себя в том, что телесные мучения ему посланы для смирения, и старался *радоваться* испытаниям, но к концу зимы изнемог так, что уже и службы в церкви не мог выстаивать, хотя все равно считал, что пребывание в монастыре приносит ему пользу — духовную.

В Угреше Леонтьев познакомился с Николаем Яковлевичем Соловьевым, который служил по найму учителем в монастырском народном училище, а в свободное время писал пьесы. Нечастые беседы с Соловьевым, знакомство с которым продолжилось и после монастыря (Леонтьев поможет ему войти в литературный мир, познакомит с А. Н. Островским), стали для Константина Николаевича единственной интеллектуальной «отдушиной» в эту монастырскую зиму. Леонтьев тосковал — уже не только о Босфоре, но и о более досягаемом «милом Кудинове». «Он надеялся, что поправится на питательной пище в Кудинове и примется зарабатывать, т. е. начнет писать как следует»[3], — вспоминала Маша.

В январе в монастырь приехал Александр Николаевич и просил архимандрита Пимена отпустить брата в Москву и Калугу, чтобы тот закончил дела по наследству. Маша и Константин Николаевич оставались ему должны около тысячи рублей. «Здоровья нет, денег нет, но есть долги»[4], — вспоминал свое состояние Леонтьев.

По дороге в Москву Константин Николаевич простудился, у него открылось кровохарканье. В юности он боялся умереть от чахотки, и вот теперь, в 1875 году, эти тревоги снова верну-

---

[1] Там же. С. 238.

[2] Там же. С. 239—240.

[3] *Леонтьева М. В.* Отрывок из воспоминаний (Как проводил время К<онстантин> Н<иколаевич> в Кудинове) // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 123.

[4] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 126.

лись. Более месяца он оставался в Москве, безвылазно находясь в гостинице мадам Шеврие и пытаясь лечиться. В это же время в Москве находились его братья — Александр и Борис, которые несколько раз приходили в нему в гостиничный номер, чтобы уговорить сдать им в счет долга в аренду Кудиново, выселив оттуда Машу и Лизу. Леонтьев от такого предложения, конечно, отказался.

Губастов, приехавший в Москву из Турции и узнавший о болезни друга, навестил его и нашел сильно похудевшим и очень постаревшим. На три дня приезжали Маша с Лизой. «Я был рад их видеть, — писал Константин Николаевич Губастову, — они теперь мирны в общем горе и общей нужде... Они меня ждут в Кудиново пить кумыс»[1]. Врачи по поводу его состояния оптимизма не высказывали, да и сам ослабевший Леонтьев уверился, что скоро умрет. Это была спокойная уверенность. Те, кто видел Константина Николаевича в то время, говорили о силе его духа.

Под влиянием мыслей о смерти Леонтьев, едва немного окреп, решил вернуться в монастырь и просить у отца Пимена благословения на то, чтобы «поехать умереть у себя в Кудинове летом, когда все будет зелено», не снимая подрясника, — ведь его так пугала мысль, что он может умереть, не успев замолить грехи! Архимандрит не очень охотно, но позволил Леонтьеву подрясник сохранить.

Позднее, вспоминая, как в Угреше он в очередной раз сошел со своего пути к монашеству, Леонтьев, будто оправдываясь, говорил, что поехал в Кудиново *не самовольно*, а по тройному благословению. Его отпустил отец Пимен, он спрашивал совета у епископа Леонида (Кавелина), да еще получил письмо от отца Макария с Афона: тот советовал Леонтьеву делить время между Кудиновом и Оптиной Пустынью. В результате Константин Николаевич весной покинул Николо-Угрешский монастырь. Но в Оптину он попал только спустя четыре месяца — ему надо было восстановить силы и закончить очередную тяжбу с братьями, которую те начали в апреле 1875 года, по поводу кудиновского имения. Братья надеялись оспорить завещание Феодосии Петровны как незаконное: ее приписка, лишающая Владимира Леонтьева наследства, не была заверена свидетелями. В этот раз разбирательство закончилось в пользу Константина Николаевича и Марии Владимировны Леонтьевых.

Леонтьев чувствовал себя совершенно больным и раздавленным обстоятельствами жизни. Его гордость (которую ему

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 15 апреля 1875 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 110.

чрезвычайно трудно было смирить, несмотря на все попытки монастырского послушания) была уязвлена: чувствуя в себе недюжинные способности, талант, он не мог добиться признания и тесно связанного с признанием финансового благополучия для себя и родных. В его автобиографии есть берущие за душу строки. «Теперь, — писал он летом 1875 года в Кудинове, — когда внутренние силы стали слабеть в неравной и долгой борьбе, когда разнородные бури души моей износили преждевременно мою от рождения несильную плоть, когда я, просыпаясь утром, каждый день говорю себе memento mori и благодарю Бога за то, что я жив, и даже *удивляюсь каждый день*, что я жив, тогда как бревенчатые стены моего флигеля все увешаны портретами стольких покойников и покойниц, несравненно более крепких при жизни, чем я... Теперь, когда мне нужны деньги не для того, чтобы дарить 5-тичервонные австрийские золотые на монисто какой-нибудь янинской 16-летней турчанке (Пембо? — *О. В.*), не для того, чтобы с целой свитой скакать по горам и покупать жене обезьян и наряды, лишь бы только она не скучала и не мешала мне делать что хочу... но для того, чтобы сшить себе *дешевые сапоги*, чтобы купить жене *калоши*, чтобы *голод*, наконец, не выгнал меня и близких моих отовсюду, из монастыря или из самого моего Кудинова на какую-нибудь работу не по силам и не по вкусу... Теперь *я смирился*, если не в самомнении, то по крайней мере в том смысле, что сила солому ломит... и что прежним *величавым удалением* среди восточных декораций, прежней независимостью я уже ничего не сделаю... Я смирился литературно в том смысле, что иногда... даже... (каюсь, каюсь и краснею этого чувства)... я подобно другим желал бы быть членом обществ разных, принимать участие в юбилеях, в чтениях публичных, над которыми я всю жизнь мою так смеялся...»[1]

Леонтьев говорил, что злой рок, «*fatum*» преследует его сочинения. Сначала неохотно печатали его беллетристику, потом та же судьба постигла и его публицистику, хотя многие и признавали за ним «талант высшего размера»; его произведения не замечали читатели и критики. Действительно, история почти каждой статьи, повести, романа Леонтьева начинается с его оптимистичных надежд на быстрое появление произведения в печати, интерес читателей, гонорар, а заканчивается запутанным маршрутом рукописи по редакциям, сопровождается многочисленными письмами Константина Николаевича («Согласитесь, мне было бы крайне досадно видеть, что она

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя литературная судьба. 1874—1875 года // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 107—108.

<рукопись> не находит себе места!»), хлопотами его знакомых, которые часто заканчивались ничем. Почему? Рационально объяснить это трудно. Несмотря на то что Леонтьев никогда не шел в ногу с какими-то бы то ни было течениями, его литературный талант и оригинальность мысли должны были заставить редакторов ждать его статьи! Тем не менее публиковать работы ему было непросто.

После Угреши родное Кудиново показалось Леонтьеву райским уголком. Он поселился со слугой Георгием в дальнем флигеле (в одном жили Маша и Людмила Раевская, в другом, где он останавливался прежде, — Елизавета Павловна). Этот флигель был теплым и — главное! — с большим итальянским окном, выходившим во двор. Из окна были видны небольшой сохранившийся цветник с розами и серебристый тополь, посаженный в год рождения Константина Николаевича; вход во флигель весь зарос акацией и сиренью.

Поначалу Леонтьев был слаб до того, что задыхался при ходьбе. Но постепенно заботами трех женщин он окреп. Его лечили кумысом — он пил его два месяца. «Полный покой в уютном уголке, простая, но прекрасно приготовленная пища, вкусное печение... к кофе; благоприятная весна — скоро восстановили силы К<онстантина> Н<иколаеви>ча», — писала Мария Владимировна. Леонтьев отказался от приглашения Софьи Петровны Хитрово погостить у нее в имении Красный Рог — ему нужны были тишина и покой, а не светские разговоры и интеллектуальные беседы в тот момент, — но по ее просьбе взялся за автобиографические «Записки» (эти неоконченные воспоминания о его жизни в 1874—1875 годах, известные сегодня как «Моя литературная судьба», были посвящены им Софье Петровне).

Большим утешением для Константина Николаевича стало то, что Катков публиковал «Одиссея», и в 1875 году первые главы романа были доброжелательно встречены публикой и критикой. Катков поднял гонорар Леонтьеву (по-прежнему удерживая часть денег в счет долга), и он смог собрать средства, чтобы отправить Георгия на родину. Прислуживали ему теперь домашние. Людмила Раевская (которую домашние ласково прозвали «Ласточкой») иногда просиживала на крыльце у Константина Николаевича по часу и больше, чтобы только иметь возможность подать ему кофе и посидеть рядом с ним, пока он этот кофе пил...

Она была влюблена в Леонтьева, да и Леонтьев не смог устоять. В «Исповеди» он писал о своей любви «к Л...». Маша прекрасно знала о возникшем у них чувстве и, похоже, поначалу только радовалась этому (хотя до сих пор ревниво ссори-

лась с Елизаветой Павловной). Сама Маша давно была для Леонтьева лишь другом. Коноплянцев в биографии Леонтьева писал о Людмиле Раевской, что к ней Константин Николаевич «почувствовал, при своих 47—48 годах, более чем простую симпатию. Афон не подавил в нем расположения к женщинам... Конечно, теперь эти увлечения сопровождались и угрызениями совести, страхом загробного наказания»[1].

Среди лета в Кудиново неожиданно приехали мать и младшая сестра Елизаветы Павловны, Леля. Все кудиновские обитатели собирались вместе на обед и чаепития, причем прислуживали за трапезами по очереди Маша, Людмила и Леля, поскольку никакой прислуги после отъезда Георгия в доме не осталось. В остальном приехавшая родня обитателей имения сторонилась, даже в общих прогулках гости не участвовали, Елизавета Павловна неотлучно находилась при них. Константин Николаевич, «Ласточка» и Маша вовсе этим не тяготились — наоборот, «устранение» Лизы из кудиновской жизни уменьшило раздражительность Марии Владимировны, и всем легче дышалось.

Довольно часто из Карманова приезжали или приходили пешком сестры Раевские (кудиновские обитатели называли их «платочки» — за разноцветные головные платки), и тогда в Кудиново затевался хоровод из молодых барышень и крестьянок, работавших на покосе. Жизнь текла размеренно, Леонтьев много работал — да и грех было не работать, когда всё в имении вращалось вокруг него. Здесь Константин Николаевич был «патриархом» (и диктатором заодно)[2]. Он сам писал Николаю Яковлевичу Соловьеву (учителю, с которым познакомился в Угреше): «В Кудиново, когда я сел за письменный стол, то петух и тот знает, что под моим окном громко кричать нельзя». Правда, «Одиссей», вызвавший поначалу интерес читающей публики, тоже не принес автору известности, — началась публикация «Анны Карениной» Толстого, и об «Одиссее» все забыли.

Зато удалось напечатать «Византизм и славянство» благодаря Погодину, который обратился к пожилому слависту О. М. Бодянскому с просьбой помочь автору с публикацией.

---

[1] *Коноплянцев А.* Жизнь К. Н. Леонтьева, в связи с развитием его миросозерцания // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 103.

[2] Губастов писал, что смирения и послушания Леонтьеву в Угрешской обители хватило ненадолго, после чего Константин Николаевич перебрался в Кудиново и «подвергнул там послушанию себе других». См.: *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 217.

Так леонтьевское сочинение в феврале 1876 года впервые появилось в ежеквартальном издании — «Чтениях Императорского Общества истории и древностей российских», а весной того же года было выпущено 300 отдельных оттисков этого трактата. Автор хотел посвятить «Византизм и славянство» Игнатьеву, но раздумал — работа вышла в свет без упоминания имени посла.

Удивительно, но и эта публикация практически не была замечена: на самое знаменитое произведение Леонтьева поначалу отозвались лишь Погодин да Страхов. При жизни Константина Николаевича трактат публиковался трижды: в 1875, 1876 и 1885 годах. Однако на протяжении нескольких десятилетий главный труд Леонтьева оставался фактически невостребованным. «Русское общество, завороженное прекраснодушными идеями славянской взаимности, не желало внять холодному и в то же время страстному голосу Леонтьева...»[1] — писал о «Византизме и славянстве» один из исследователей леонтьевского творчества. В то же время многие выдающиеся люди того времени знали об идеях и взглядах Леонтьева. Например, «Эпилог» «Анны Карениной» свидетельствует о знакомстве Льва Толстого с позицией Леонтьева[2] (возможно, Лев Николаевич узнал о «Византизме и славянстве» и других принципиальных работах Леонтьева через Голохвастова).

Из материалов, не вошедших в трактат, Леонтьев подготовил статью под названием «Еще о греко-болгарской распре». Она являлась по своей сути дополнением к книге и содержала те подробности и частности, которые в нее не вошли. Леонтьев послал эту работу в катковский «Русский вестник» в 1874 году и надеялся увидеть ее напечатанной уже в ноябрьском номере журнала. Статью набрали для февральского номера 1875 года, но в последний момент, просматривая корректуру, Катков решил статью не печатать. Обиженный Леонтьев передал рукопись в редакцию «Гражданина», но и там медлили с ее опубликованием. Статья «Еще о греко-болгарской распре» при жизни автора так и не увидела свет.

Основная мысль статьи — что «Турция не только в политическом отношении, но и в... религиозном в наше время скорее полезна Православию, чем вредна»[3] — противоречила господствовавшему в русском обществе настроению. (Через два года,

---

[1] *Косик В. И.* Константин Леонтьев: размышления на славянскую тему. М.: Зерцало, 1997. С. 104.

[2] См.: *Жуков К. А.* Восточный вопрос в историософской концепции К. Н. Леонтьева. СПб., 2006. С. 100—103.

[3] *Леонтьев К. Н.* Еще о греко-болгарской распре // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 274.

в 1877-м, начнется очередная русско-турецкая война, поводом которой станет жестокое отношение к христианам в Османской империи и подъем национально-освободительного движения на Балканах.) В 1875 году в России развернулось массовое движение поддержки освободительной борьбы славян — после кровавого подавления турками восстания в Боснии и Герцеговине. На страницах печати шла дискуссия о возможных целях назревающей войны. «Западники» обосновывали ее освободительные цели, консерваторы рассуждали о ее возможных политических перспективах, таких как захват Константинополя и создание Славянской Федерации во главе с Россией. Позиция Леонтьева не подходила ни тем ни другим.

В кудиновской тиши угрешская жизнь постепенно отошла в сторону, стала казаться нереальной. Растаяла и уверенность в необходимости вернуться в обитель, как только позволит здоровье. От монастырской жизни остались обязательные общие молитвы утром и вечером да монастырское одеяние, которое Леонтьев продолжал носить. «На выход» же Константин Николаевич сшил себе длинную черную поддевку, которая тоже была ближе к иноческому облачению, нежели к светскому платью. Маша вспоминала: «Месяца два жизнь наша текла ровно и тихо; утро мы все были заняты; а после вечернего чая ходили все гулять. — Возвращаться в Угрешь К<онстантин> Н<иколаеви>ч не думал и, кажется, уведомил об этом начальника монастыря»[1].

Дни походили один на другой, и «событием» становилось даже малозначительное происшествие. Леонтьев начал скучать и подумывать о возвращении на дипломатическую службу. В своих планах он видел себя в Адрианополе, о чем писал Губастову, но заветной мечтой оставался Константинополь, где он был готов даже «уроки посольским детям давать»[2]. Константин Николаевич часто писал своим босфорским друзьям и приятелям, князю Гагарину и его жене — тем, кто напоминал ему о былой жизни на Востоке, той жизни, которую он «до сих пор оплакивал»[3].

«Помещичьей» жизни препятствовало полное отсутствие денег: проценты за заем в Малютинском банке в Калуге со-

---

[1] *Леонтьева М. В.* Отрывок из воспоминаний (Как проводил время К<онстантин> Н<иколаевич> в Кудинове) // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 124.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 15 апреля 1875 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 110.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к кн. К. Д. Гагарину от 16 июля 1875 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 114.

ставляли 360 рублей, но надо было платить и повинности — всё вместе выходило как раз около 600 рублей, то есть вся годовая пенсия Константина Николаевича. Небольшие поступления от аренды земли (около 400 рублей) уходили на уплату многочисленных долгов, которые Леонтьева нравственно мучили, поскольку он был не в состоянии рассчитаться с кредиторами. Кроме того, на иждивении кудиновского «барина» находилось несколько стариков — бывших слуг. (В теперешней кудиновской жизни о прислуге давно забыли — Мария Владимировна даже траву для двух имеющихся у них коров косила сама, прямо в усадебном одичавшем парке.)

Кормились гонорарами. От леонтьевского пера (и настроения Каткова) зависели шесть человек — Маша, Лиза, ее сестра Леля и мать, Людмила Раевская, сам Константин Николаевич. Леонтьев имел разговор с тещей о том, что он всегда готов покоить ее старость и будет рад, если она останется жить в Кудинове, но вот незамужнюю Лелю просит устроить у других родных. Во-первых, денег на лишний рот не было, а во-вторых — и это было главным! — он не любил сестру жены, считал, что она плохо влияет на Лизу. Неприятный этот разговор состоялся накануне его поездки в Оптину Пустынь.

Леонтьев собрался ехать в монастырь во время Успенского поста, в августе, вместе с Елизаветой Павловной, против чего она не возражала. Перед поездкой обедали, как обычно, все вместе, потом разошлись собираться. Когда подали лошадей, стали звать Елизавету Павловну, но ни ее, ни Лели, ни их матери нигде не было. Через час-полтора поисков, суеты и недоумений кто-то из крестьян сказал, что видел Елизавету Павловну с родными, идущими по дороге к городу Юхнову, то есть к железнодорожной станции. Стало ясно, что они решили уехать.

Константин Николаевич зашел во флигель, где жила жена: письма та не оставила, да и вещи свои не взяла... Леонтьев был очень обижен и зол и решил немедля ехать в Оптину (в сопровождении Маши и Людмилы), чтобы посоветоваться со старцем, как ему быть в подобной ситуации. Он предполагал, что Елизавета Павловна вернется за своими вещами — чтобы уж совсем уехать от него. (Так и произошло: как ему потом рассказали, Елизавета Павловна появилась вечером, наняла телегу, погрузила свои вещи и уехала на станцию.)

После нескольких дней, проведенных в Оптиной, Константин Николаевич немного успокоился. Он побеседовал со старцем Амвросием и отцом Климентом, которые не сочли его виноватым в семейной неурядице. Поддержали они и его решение не возвращаться в Угрешский монастырь — оба счи-

тали, что Леонтьев надел подрясник слишком поспешно — и посоветовали ему пока заняться литературой, а дальше что Бог даст. Маша вспоминала, что «дядя вновь стал много заниматься, т. е. писал для Рус<ского> Вестника, кроме того, стали его посещать больные крестьяне, сначала только кудиновские, а потом и окрестные. — От земства, через соседа, получено было небольшое пособие для приобретения необходимых аптекарских средств; Людмила взяла на себя помогать в перевязках ран (от ушибов, порезов, запущенной золотухи) и составление некоторых лекарств»[1].

Обиду Леонтьева заглушили повседневные заботы. Но некоторое время спустя от Лизы пришло письмо, где она объясняла свой отъезд нежеланием «ездить по монастырям» и сообщала, что жить будет в Одессе[2] у старшей замужней сестры. Письмо произвело на Константина Николаевича очень тяжелое впечатление. Сам он отвечать жене не стал, но поручил Маше написать ей, что напрасно она «бежала», могла бы уехать с его ведома и позволения, так как насильно держать в Кудинове он бы ее никогда не стал. Кроме того, Леонтьев попросил Машу, которая ведала кудиновским хозяйством, ежемесячно посылать Елизавете Павловне небольшую сумму на жизнь и *никогда* более не заводить с ним разговора о ней, а если придут письма от нее — *никогда* ему их не показывать. Леонтьев хотел вычеркнуть жену из своей жизни после ее такого нелепого и обидного побега.

Тогда же в кудиновском имении появился новый персонаж — Варя[3]. Для тех нескольких коров, что снабжали обитателей имения молоком, понадобился пастушок, который мог бы выгуливать их в окрестностях до заморозков. Одна из работниц предложила взять свою дочь Варю. Она оказалась довольно рослой и смышленой девочкой лет девяти и с коровами справлялась хорошо.

Леонтьев как-то заметил, что Варя все время щурится, и расспросами добился от нее признания, что ее часто мучают ячмени. Он подобрал девочке лекарства, но глотать таблетки и микстуры она не любила. Пришлось Людмиле строго следить за лечением *Варьки*, и ячмени прошли. К дичившейся людей и молчаливой девочке все привязались. По вечерам ее стали приглашать вместе со всеми пить чай. «Сидит она, пьет чай не

---

[1] *Леонтьева М. В.* Отрывок из воспоминаний (Как проводил время К<онстантин> Н<иколаевич> в Кудинове) // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 127.

[2] В некоторых источниках встречаются сведения, что Лиза уехала в Мариуполь.

[3] Варвара Лукьяновна Пронина (ок. 1866—1950).

спеша, — вспоминала Маша, — и глубоко молчит»[1]. По желанию Константина Николаевича Варя стала носить русский сарафан, Маша подарила ей разноцветные бусы — вид у круглолицей девочки с темной косой стал вполне «этнографический» и радовал глаз. Так у Леонтьева появилась полуслужанка-полувоспитанница, которая останется рядом с ним до самого конца его жизни. Он даже одно время хотел написать рассказ «Варька», прототипом которого планировал сделать кудиновскую девочку.

В октябре Константин Николаевич поехал в Мещовский монастырь Святого Георгия. Он не забывал свой обет стать монахом, в мечтах же рвался на Босфор, тосковал по консульской деятельности, политической борьбе, чувствовал себя оттесненным на обочину жизни. Леонтьева раздирали внутренние противоречия, он никак не мог успокоиться, *смириться*. «...лучше бедность на Босфоре, чем богатство здесь», — написал он в одном из писем. А Губастову признался: в Кудинове или в Мещовском монастыре он не живет по-настоящему, а только заглушает тоску «по жизни и блестящей борьбе». Несколько лет он постоянно переезжал с места на место — Кудиново, Калуга, Москва, монастыри, Юхнов, имение княгини Дарьи Петровны Оболенской[2]... — будто убегал от тоски по былой жизни.

Вот и теперь: сразу после Мещовского монастыря Константин Николаевич принял решение провести зиму в близлежащем городке Юхнове. В письмах из Юхнова он спрашивал Машу уже не только о Людмиле, но и о Варьке: как у нее дела, есть ли успехи *по разговорной части*. Маша в это время приучала девочку к домашней работе, чтобы сделать из нее себе помощницу — «кое-что она убирала, что было по ее силам», и вскоре девочка привыкла к комнатам, заменив Машу в некоторых делах.

В Юхнове Леонтьев пробыл недолго — около месяца, а когда житье в полусонном городишке стало невмоготу, отправился в Москву, где и встретил новый, 1876 год. Благо и повод для поездки появился: Катков печатал его «восточные повести» в «Русском вестнике» и, поскольку они нравились читателям, намеревался выпустить их на следующий год отдельным изданием.

---

[1] *Леонтьева М. В.* Отрывок из воспоминаний (Как проводил время К<онстантин> Н<иколаевич> в Кудинове) // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 127.

[2] *Д. П. Оболенская* — соседка Леонтьева, чрезвычайно набожная женщина — любила слушать рассказы Константина Николаевича об Афоне, беседовать с ним на духовные темы.

Действительно, произведения, вошедшие в цикл «Из жизни христиан в Турции», которые сам Леонтьев называл «восточными повестями», были прелестны, что признал и невзлюбивший автора Аксаков. Именно об этих повестях, напомню, высоко отозвался Лев Толстой. Помимо художественных достоинств повести представляли и несомненный этнографический интерес. Возможно, поэтому русская читающая общественность, болевшая тогда «восточным вопросом», и обратила на них внимание.

Еще в 1874 году Леонтьев почувствовал этот интерес и попросил Берга помочь ему найти издателя для «восточных повестей», но хлопоты того успехом не увенчались. В 1875 году в журнале «Русский мир» с доброжелательной статьей о творчестве Леонтьева выступил В. Г. Авсеенко[1]. И тогда, в конце 1875 года, Леонтьев предложил свои повести в «Русский вестник». Как ни язвил на катковский счет Константин Николаевич, но большинство своих сочинений он опубликовал именно у Михаила Никифоровича.

В 1876 году типография Каткова издала трехтомник «Из жизни христиан в Турции. Повести и рассказы» с небольшим предисловием. Надо сказать, что кроме собственно «восточных повестей» в него вошла и часть романа «Одиссей Полихрониадес». Шумного успеха не получилось (да и неполнота трехтомника почти сразу вызвала у Леонтьева желание подготовить более полное, исправленное издание восточных «акварелей»), но критикой эти сочинения Леонтьева наконец-то были замечены. Первыми на выход трехтомника отозвались знакомые — Вс. С. Соловьев и дипломат В. С. Неклюдов (который тоже был экспертом по «восточному вопросу» и даже написал книгу о взаимоотношениях России и Европы с Османской империей). Благодаря этим и немногим другим отзывам трехтомник понемногу продавался.

Кроме безрезультатно пересылавшейся из редакции в редакцию статьи «Еще о греко-болгарской распре», от «Византизма и славянства» отпочковалась также статья «Русские, греки и юго-славяне. Опыт национальной психологии». Эта работа увидела свет в «Русском вестнике» в 1878 году, но перед этим тоже претерпела мытарства по редакциям. Сначала Леонтьев отправил статью в «Гражданин», который ее не напечатал (хотя переговоры с редакцией вели Берг, Вс. Соловьев, Страхов). Вновь выручил Катков, но и у него статья «отлежалась» перед публикацией. Видимо, критический подход Ле-

[1] К. Н. Леонтьев считал рецензию В. Г. Авсеенко первой статьей о себе в периодической печати.

онтьева к «братьям-славянам» царапал глаз журнальных редакторов. Ведь в русском обществе к юго-славянам было совсем иное отношение.

В тот момент всем казалось, что узел противоречий, завязанный историей на юго-востоке Европы, должен вот-вот быть развязан (или разрублен). Леонтьев соглашался с этим; он считал, что «Турция не может продолжать своего существования в Европе по сю сторону Босфора и Дарданелл не потому вовсе, чтобы все турки поголовно были изверги и звери, и не потому, чтобы христиане все были люди симпатичные, честные или прекрасно воспитанные, но потому, что управление миллионами иноверцев, сознавших уже свои политические права, на основании Корана в наше время невозможно»[1]. Но вот каким образом этот узел можно развязать или разрубить? Какова должна быть роль России в этом? Здесь позиция Леонтьева расходилась с распространенным тогда славянофильским оптимизмом, что было особенно заметно, на мой взгляд, именно в этой статье — «Русские, греки и юго-славяне».

Леонтьев представлял болгар как простой народ (пребывающий в состоянии первичной простоты), мало отличающийся в своих нравах, личных характерах, традициях от греков: «...та же крепкая, честная семья, то же трудолюбие, почти та же восточная одежда, те же обычаи, та же осторожность, скрытность, та же наивность первобытная и нередко очень милая и приятная»[2].

Анализируя же болгарскую интеллигенцию, Леонтьев пришел к такому заключению: «...насколько греки кажутся суше русских и... однообразнее русских, настолько болгары кажутся для человека, пожившего и с ними и с греками, суше и однообразнее греков. И у тех и у других, если сравнивать их с нами, преобладают: практичность, лукавство, выдержка, осторожность, дух коммерческий, какой-то дипломатический, над порывом, чувством, идеальностью... Член болгарской интеллигенции — это буржуа par excellence...»[3]

Итак, приговор произнесен: болгарская интеллигенция *буржуазна*. Ловкие доктора, негоцианты и учителя в плохо сшитых европейских сюртуках не успели еще многому научиться (так как совсем недавно вышли из мужицких или мещанских семей), но зато стали «пламенными фанатиками сво-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Русские, греки и юго-славяне. Опыт национальной психологии // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 447—448.

[2] Там же. С. 456.

[3] Там же. С. 458.

его национального дела». Именно эта буржуазная по духу интеллигенция управляла, по мнению Леонтьева, болгарским народом, причем народ этот был *послушнее* греческого, избалованного своей великой историей и традициями: «...у греков труднее старшине, епископу и учителю обмануть народ, например, в церковном деле и представить ему чорное белым — каноны не канонами и т. п.»[1]. Леонтьев рассуждал тенденциозно — он был и оставался эллинофилом, причем решающую роль в его любви к грекам сыграл тот факт, что православие пришло на Русь именно в греческих одеждах. Он любил не по племени, а *по вере*.

Для Леонтьева гораздо важнее политического единства, о котором мечтали сторонники всеславянской федерации народов, было единство церковное. Эту же мысль он проводил и в других своих статьях[2]. Православный дух, возвеличение Церкви — вот главное противоядие европейскому влиянию, то, что может противостоять идущему с Запада вторичному упрощению. Конечно, такие мысли, такая критика южных славян (подчас совсем несправедливая) не могли найти отклика у массового читателя того времени. Антитурецкое восстание в Герцеговине в 1875 году, потопленное в крови Апрельское восстание в Болгарии в 1876 году, война Сербии с Турцией — всё это не просто будоражило умы, но и приводило к вполне реальным последствиям: достаточно сказать, что в 1876 году на стороне сербов под командованием генерала Михаила Григорьевича Черняева[3] сражалось несколько тысяч русских добровольцев.

Русское общество кипело, дело освобождения «славянских братьев» большинством воспринималось как национальная задача, «все славянские струны в русских сердцах пришли опять в сотрясение»[4], и голос Леонтьева звучал на этом фоне явным диссонансом. Как сказал о своем друге Тертий Иванович Филиппов, «Леонтьев был мыслитель самобытный; он торговал *своим* (выделено мной. — *О. В.*) товаром и жеванным

---

[1] Там же. С. 461.

[2] Например, в статье «Храм и церковь» (1878).

[3] М. Г. Черняев, в прошлом туркестанский генерал-губернатор, самостоятельно вступил в переписку с сербским правительством и был приглашен в Белград для руководства военными действиями восставших. Опасаясь политических осложнений, власти решили не выпускать его за границу. Но в 1876 году Черняев все же оказался в Сербии, где стал главнокомандующим сербской армией. Его назначение явилось сигналом к наплыву добровольцев из России на Балканы.

[4] Письмо К. Н. Леонтьева к О. М. Бодянскому, сент. 1875 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 672.

никогда никого не кормил»[1]. Публика же во все времена предпочитала именно что «жеванное», знакомое.

Константин Николаевич вернулся в Кудиново, где провел с Машей и Людмилой лето и осень 1876 года. В имении он не только писал, но и продолжал лечить крестьян, даже обратился в Мещовскую уездную управу за официальным разрешением врачебной практики — без такого разрешения по рецептам Леонтьева не могли отпускать лекарства в местной аптеке. В июне он разрешение получил. Поскольку денег по-прежнему катастрофически не хватало, у Константина Николаевича мелькнула мысль, не «добыть» ли себе место земского врача. Осуществлению этого плана мешало неприятие Леонтьевым тихого и размеренного деревенского быта — без кружения лиц, событий, борьбы. Он скучал, чувствовал себя заживо погребенным в глуши, да и отношения с Машей становились всё сложнее.

Мария Владимировна была очень нервна в то время, не раз обвиняла Леонтьева во всех возможных грехах, указывала на него как на источник своих бед, устраивала сцены... В конце концов, после очередного бурного выяснения отношений она решила уехать из Кудинова. Маша по-прежнему любила Константина Николаевича, понимала, что многие ее претензии были несправедливы, и поклялась перед образом не возвращаться в Кудиново до тех пор, пока Леонтьев сам не позовет ее. Она уехала в Белевский монастырь и прожила в гостинице для паломников около месяца. Потом решила ехать к матери, в Рязань, и искать там место домашней учительницы или компаньонки. Отец Климент, к которому она заехала в Оптину Пустынь, поддержал ее намерение.

Удивительно, что Константин Николаевич, который остро переживал бегство Лизы, к отъезду Маши отнесся гораздо спокойнее. Он писал Губастову об отъезде из Кудинова двух своих самых близких женщин: «Все-таки ведь их по симпатичности и теплоте и сравнить невозможно. — Когда Лиза меня бросила, я был два месяца так печален, что запретил имя ее в Кудинове произносить пока не пройдет боль моего сердца. — А когда Мар<ия> Влад<имировна> уехала, то я кроме радости не чувствовал ничего! Радовался, что уже не видал перед собой ее худого лица, ее узких плеч, не слыхал больше ее резкого голоса и т. д.»[2]. Но и «радость» не была полной, иначе

---

[1] «Брат от брата помогаем...» (Из неизданной переписки К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова) / Подг. текста, вступ. и коммент. О. Л. Фетисенко // Нестор. 2001. № 1. С. 167.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 5 декабря 1876 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 136.

не написал бы он в этом же письме: «Кажется, что для меня все живое кончено...» Он просто очень устал, и без Машиных сцен («Геркулесовых столпов безумия, несправедливости и нравственного расстройства») ему стало легче.

Позднее он так объяснял произошедшее Губастову: «Она (Мария Владимировна. — *О. В.*) сама и вопреки моему мнению взяла Людмилу в Кудиново и потом, увидавши, что мы с этой последней хорошо уживаемся и никогда не ссоримся, убедившись еще раз наглядно, что все раздоры от нее лишь самой и что мне угодить очень легко, начала выходить постепенно из себя и нападать на всех. Разгадка в том, что она сама очень страстно привязывается к людям и тогда уже хочет насильно быть милой настолько, насколько милы ей самой предметы ее выбора. А когда она равнодушна к людям, тогда она очень приятна и ровна... Вот беда ее в чем»[1]. Маша любила Леонтьева, обожала Людмилу (от одной мысли, что ей придется расстаться с подругой, рыдала), но ее *душная* любовь стала невыносимой для близких.

Лиза писала Константину Николаевичу и просила разрешить ей вернуться в Кудиново — ее мать умерла. Измученный Леонтьев мягко посоветовал жене оставаться у сестры. Людмилу он отослал в Карманово, чтобы не давать повод для сплетен и злословия, живя в имении с ней наедине. Он остался один, и его жизнь, казалось, катится под горку: Восток оставался несбыточной фата-морганой, признание обошло стороной, жена бросила, душили долги, попытки найти подходящую службу были безуспешны, сочинения печатались с трудом, да еще и страх наказания за невыполненный обет постричься в монахи не давал покоя. В «Исповеди» Леонтьев писал об этом времени с горечью: «И зачем же мне даны были такие способности, такой ум? Зачем, наконец, именно с тех пор — как я стал веровать — эти способности ни на что, даже на служение Церкви Божией не годятся. — Отчего я не встречу умного Епископа или Игумена, который придумал бы, как устроить меня около себя, чтобы обратить мои еще не совсем упавшие силы на пользу Церкви и отечеству? <...> Что мне делать! — Куда деться! Тоска, скука, уныние мое без живой деятельности, без общества, без сношений — ужасны...»[2] Не в силах оставаться больше в Кудинове, Леонтьев уехал в Москву, где встретил новый, 1877 год в одиночестве.

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 22 февраля 1877 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 146.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 244—245.

В январе Константин Николаевич повидался с Розенами. Они были рады встрече, вспоминали, как 17 лет назад в Спасском устраивали пикники, спорили о политике, собирали гербарии. Узнав о неустроенном положении Леонтьева, Розены пригласили Константина Николаевича пожить в Спасском столько, сколько он захочет. Предложение было заманчиво, но Леонтьев все же к Розенам не поехал. Он не потерял надежды получить место по дипломатическому ведомству — за него хлопотал родственник его константинопольской приятельницы, мадам Ону.

Леонтьев решил съездить в Петербург. Там он лично познакомился с Тертием Ивановичем Филипповым, хотя переписывались они уже два года. Наведался он и в Министерство иностранных дел, чтобы посмотреть в архиве донесения консула Ионина, о котором хотел написать, но главное — узнать, не возьмут ли его на службу. Но в министерстве знали и о плохом состоянии здоровья Константина Николаевича, и о его бегстве в монастырь, и о раздраженном отношении Горчакова к «странностям» бывшего консула. Работы для Леонтьева не нашлось. Сам он тоже не был настойчив и писал Губастову, что «...не стал ничего просить на этот *роковой* год и опять *успокоился в Боге*»[1]. Настроение у Леонтьева было подавленным. Весной 1877 года его мучили предчувствия скорой смерти. «Я не знаю какое сегодня число, но чувствую что-то страшное близко...»[2] — писал он Маше. Хотя происходившее вокруг, казалось бы, заставляло забыть о хандре, ведь на Востоке разворачивались события, которые не должны были оставить его равнодушным. Он и сам понимал, что смотрит на разворачивающуюся перед ним историю как будто с обочины: «...события... все растут... а я все умаляюсь, смиряюсь, все гасну для мира»[3].

В апреле 1877 года Россия объявила Турции войну. Сама Порта сделала всё для того, чтобы столкнуться с Россией в этой военной кампании один на один, без поддержки Англии и других западных держав. Жестокое подавление болгарского восстания и внутренняя политика Турецкой империи привели к тому, что по инициативе России и при участии западных стран была созвана Константинопольская конференция (позицию России на ней представлял граф Игнатьев). Попытки договориться на этой конференции о каких-то компромиссах

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 15 января 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 56.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой, б/д, 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 6.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 2 августа 1877 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 153.

не удались — турки воспринимали все рекомендации как вмешательство в свои внутренние дела. Такое игнорирование Турцией воли ведущих европейских держав и дало возможность России воевать с Портой один на один. К тому же война эта была столь быстрой (в рамках одной военной кампании), что Англия просто не успела бы провести мобилизацию своих войск для помощи туркам, а у России план военных действий был подготовлен заранее, еще в 1876 году. Расчет был на молниеносность и поддержку войны местным населением.

Русская армия форсировала Дунай, захватила Шипкинский перевал и, после пятимесячной осады, принудила лучшую турецкую армию Осман-паши к капитуляции в Плевне. Дорога на Константинополь была открыта. Именно с этим городом были сопряжены заветные мечты той части русского общества, которая видела Россию наследницей Византии. Мечтал о взятии Константинополя-Царьграда и Леонтьев, полагавший, что этот город завещан Российской империи Византией. Известие о форсировании Дуная застало его в Оптиной Пустыни, где он провел три месяца после посещения столиц. Немного спустя, уже в Кудинове, он узнал о взятии русскими войсками древней болгарской столицы — Тырново.

Когда Леонтьев вернулся в Кудиново, Людмила уже перебралась к родным в Карманово, зато в июне приехала на каникулы Маша из Нижнего Новгорода (где она нашла себе место). Он сам позвал ее, остро ощущая необходимость в близком человеке, да и *жалея* ее. Война стала одной из основных тем их кудиновских разговоров. Леонтьев ждал взятия Константинополя, считая это историческим шансом для России. Подобные настроения блестяще отразил Тютчев в стихотворении с символическим названием «Русская география»:

Москва, и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы...

Мария Владимировна, как всегда, разделяла с дядей его чаяния. Их отношения вновь стали доверительными, но несколько суше — они подолгу разговаривали, совсем не ссорились. В августе Маша уехала. Провожала ее и Людмила, к которой Константин Николаевич охладел. Если раньше его завораживали простонародность «Ласточки», ее непосредственность, то теперь он замечал иное. «Ласточка поразила меня при проводах твоих своей ужасной неопрятностью и неинтересностью. — Я этому очень рад»[1], — писал он Маше.

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 31 августа 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 3.

Розовые очки влюбленности, сквозь которые Людмила Раевская казалась лучше, нежели была, спали. В предчувствии скорой смерти Леонтьев был рад избавлению от мирских соблазнов. Свое новое отношение к Людмиле он так выразил в письме племяннице:

«Когда я гляжу на нее, я думаю:

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я...

Она как будто довольна моей ласковой и братской манерой, а что думает — не знаю...»

Как всегда, очень нужны были деньги. Иногда Леонтьев не знал, хватит ли средств прожить неделю. Гонорары приходили нерегулярно, с редакциями у него были сложные расчеты — из причитающихся ему денег вычитали то, что было получено авансом. «По 3, по 6 руб. получаю оттуда и отсюда и живу»[1], — описывал Константин Николаевич свое положение. И еще откровеннее: «...денег всего *2 рубля.* У кого займу — не знаю... Ни на жалование, ни на провизию. Это удивительно. Этого-то еще никогда со мной не бывало. Так что именно одна надежда на Бога»[2]. Конечно, подобное с ним, увы, нередко бывало, но Леонтьев никак не мог привыкнуть к своему финансовому *ничтожеству.* Мысль устроиться земским врачом посещала его всё чаще.

Константин Николаевич пытался закончить «Одиссея» — писал его продолжение, «Камень Сизифа», но к роману окончательно охладел. Он не раз говорил, что медицинская практика богоугоднее, чем «Одиссей»... В конце концов в августе, после отъезда Маши, решил перевести вопрос в практическую плоскость. Леонтьев поехал в Мещовск — на выборы гласных. По приезду он «отчитывался» Маше: «Я справлялся о возможности устроиться в Кудинове участковым земским врачом; вообще начало было, кажется, удачно; но решено это может быть только в конце сентября...»[3]

Медицина его никогда не привлекала, но он все равно пользовал местных крестьян. В его положении лучше было это делать за жалованье, а не бесплатно. Вместе с тем Константин Николаевич понимал, что, став земским врачом, будет привязан к Кудинову и не сможет уезжать в Москву или Оптину

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 10 сентября 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 5.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой, б. д., 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 6.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 31 августа 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 2.

по своему желанию. Постоянная же жизнь в имении тяготила его: «...вещественные неудобства Кудиновской жизни, теснота флигелей[1], ненависть моя к жизни все в одной и той же комнате и т. д.»[2]. Всё это делало участь земского врача менее желанной.

Леонтьев спрашивал совета, как ему быть, у отца Амвросия. И страшился получить в ответ благословение, ослушаться которого он уже не смог бы. «Сознаюсь тебе, — по мере приближения минуты и возможности стать... *обязательным врачом*, на меня находит некоторый ужас, который ты легко поймешь, — писал он Маше. — Это *умственный гроб*! И я буду очень рад, если О. Амвросий не благословит мне это...» Старец не запретил, но и не настаивал, чтобы Леонтьев вернулся на медицинское поприще; надежды Константина Николаевича, что кто-то примет решение за него, не оправдались.

Константин Николаевич по-настоящему затосковал. «Эти дни мрака, раздражения, невольного бездействия и сердечной пустоты»[3], — описывал он лето 1877 года. Первая и вторая части «Одиссея» были уже напечатаны, редакция ждала продолжения, а он не в силах был его предоставить... «Я беру рукопись с утра, беру после обеда... и не могу прибавить, ни изменить ни строки... Мне кажется, что все написано скучно, вяло, бездарно...»[4] — жаловался он Маше. Письма его были горькими: «Ах, когда бы только Господь душу нашу спас... а эта жизнь земная наша (по крайней мере *наша*, *наша*) — это мука, позор и оскорбление, больше ничего... Я начинаю завидовать впервые тем русским, которых теперь убивают в бою... Лучше — право лучше! Лишь бы душа спаслась...»[5]

Скрашивала тоску только Варька. Она вносила в кудиновское существование искру жизни. Константин Николаевич ходил с ней и ее матерью Агафьей по грибы, учил девочку грамоте, рассказывал разные истории. Впрочем, состояние Константина Николаевича было столь депрессивным, что даже Варьку он старался держать от себя на некотором расстоянии — боялся слишком уж по-отечески привязаться к ней. «Слава Богу, я каждый день помню о непрочности всего земного и новой боли...» — писал он Маше в связи с девочкой.

---

[1] В каждом флигеле была лишь одна комната.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 31 августа 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 3.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 10 сентября 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 5.

[4] Там же. Л. 4.

[5] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 17 сентября 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 11.

В сентябре Леонтьев опять поехал в Мещовск — переговорить с предводителем дворянства Рогозиным о месте врача. В этот раз Константин Николаевич постарался узнать всё подробнее. Полученные сведения его огорчили: как оказалось, земскому врачу платили только тысячу рублей в год, что вряд ли позволило бы Леонтьеву выплатить долги и вернуть в Кудиново Машу. Более того, врач должен был каждую неделю ездить «на пункты» по уезду, причем дополнительные деньги «на прогоны» не выдавались. Но главное — нужно было *каждый день* присутствовать в больнице. При таких обязанностях утром писать будет нельзя, понимал Леонтьев. А ведь он привык работать именно с утра! Но другого выхода измученный безденежьем Константин Николаевич не видел — надо впрягаться в лямку земского врача, а писать статьи придется по вечерам. Может быть, пенсия, докторское жалованье и гонорары помогут удержаться на плаву.

Тогда, осенью, у него впервые появилась мысль продать Кудиново. Как ни больно было расставаться с имением, Леонтьев строил планы, как после продажи рассчитаться, хотя бы частично, с долгами (только «турецкий» долг составлял около семи тысяч рублей!), а потом, если повезет продать Кудиново выгодно, купить маленький домик тысячи за полторы в Оптиной. Эта мысль стала повторяться в его письмах: с одной стороны, Константин Николаевич уже мечтал о маленьком домике рядом с монастырем, с другой — молил: «...хоть бы не брали у меня эти липовые аллеи, эти березовые рощи, эти столетние огромные вязы над прудом, который в постные дни дает мне карасей для ухи...»[1]

Пока же надо было где-то найти 784 рубля на уплату процентов в калужский банк. Маша написала, что смогла скопить из жалованья 150 рублей и готова их прислать. Леонтьеву было горько, что он, мужчина, не мог содержать родовое имение... Деньги от Маши он принять отказался: «Много ли твои 150 руб. помогут? Не лучше ли тебе твои маленькие избытки (???) употребить на наем квартиры, чтобы тебе был отдых?»[2]

Людмила Раевская, которая жила между Кармановом и Кудиновом, помогая Леонтьеву в кудиновской «больнице», в это время решила круто поменять свою судьбу. Страна бурлила от военных новостей, и она решила стать сестрой милосердия. Людмилу в лéкарских делах заменила Варя. Она же вместо

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 2 августа 1877 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 153.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 7 октября 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 18.

«Ласточки» и кофе подавала Леонтьеву по утрам — на серебряном подносе и с белой салфеткой. А Людмиле, вернувшейся из Оптиной, где она получила благословение отца Амвросия, Константин Николаевич пообещал помочь, чем может, — у него осталось немало знакомых, связанных с событиями на востоке Европы.

Сам он тоже послал письмо Каткову с предложением стать его корреспондентом на Балканах. Губастову он писал, что если Катков на его условия не согласится, «он будет рад», но вряд ли это соответствовало действительности. Во всяком случае, в письмах Маше о возможности уехать он писал совсем в иной тональности, да и в Москву собирался, чтобы лично всё обсудить с Катковым. Ему хотелось оказаться в гуще событий, к тому же и многие денежные проблемы такая командировка бы разрешила. Он уже советовался с Машей, сколько жалованья попросить у Каткова: «...как видно, нельзя взять меньше 700—800 руб. в месяц, ибо я сам мелких корреспонденций писать не буду, а проживая там 300—400 руб., остальные буду тратить на помощника»[1].

Мне не удалось выяснить, почему Людмила Раевская не стала сестрой милосердия, — уже весной 1878 года она оказалась под Петербургом. А вот ответ на вопрос о том, что предпринял Леонтьев для реализации своих планов, архивные материалы дают. Известно, что в Кудинове он долго в одиночестве не оставался — отправился в Москву с надеждами устроить там каким-то образом свою судьбу.

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 13 октября 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 19.

Глава 11
В ПОИСКАХ СЛУЖБЫ

Нет, я знал другую жизнь... И мне было легче и меня уважали больше, когда я был неверующим!

Константин Леонтьев

Период от возвращения с Востока и до поселения в Оптиной Пустыни был самым тяжелым и несчастным в жизни К. Леонтьева. Вся его жизнь стоит под знаком нужды, болезней, духовного одиночества и непризнания.

Н. Бердяев

В конце октября 1877 года Константин Николаевич приехал в Москву. Там он встретился с предводителем дворянства Рогозиным и отказался от места земского врача, решив, что овчинка выделки не стоит. Зато возник другой план «на черный день»: если не получится уехать на Балканы корреспондентом, он может стать земским «деятелем» в своем Мещовском уезде. Рогозина Леонтьев спросил: не баллотироваться ли ему в мировые судьи? Предводитель ответил: всё возможно. Но Константин Николаевич надеялся, что до этого не дойдет, и уже писал Маше, что когда он устроится на Востоке, она сможет приехать к нему.

Пока же Леонтьев решил подлечиться перед возможной поездкой. Пользовал его доктор Медведев, принимавший на Спиридоновке. Корень многих леонтьевских хворей он увидел, судя по письмам Константина Николаевича, в некой запущенной болезни, которую можно вылечить при соблюдении всех требований врача. Похоже, речь шла об осложнениях после давнего заболевания.

Вместе с тем, несмотря на трудности, мрачные предчувствия, долги, Леонтьев еще обращал внимание на окружавших его дам. Во всяком случае, в письмах племяннице из осенней Москвы он описывал знакомство с дочерью одной своей знакомой: «Сама мать простодушно уверяет меня, что она боится за дочь, потому что я могу еще нравиться...»[1] Такие эпизоды по-прежнему тешили мужское самолюбие Леонтьева.

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 24 октября 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 20.

Но и прошлое не отпускало. Он думал о Людмиле, молился за нее («...Сегодня в Университетской церкви молился особенно за Л... и еще за то, чтобы Бог наконец помог мне заплатить долги мои»[1]), хлопотал о месте для Маши в Москве, получал письма от Лизы («Ведь правда, что *корень зла* был во мне, а она была прекрасная жена!»[2]) — и обо всем советовался с Марией Владимировной. Даже свое письмо Людмиле Раевской сначала отправил племяннице: «О Л. пока сказать нечего больше. Написал ей письмо. Не знаю, как ты найдешь его? Посылаю его тебе; если что-нибудь уж слишком ясно — зачеркни *хорошенько*»[3]. Конспирация? Возможно, ведь узел личных отношений, завязавшийся в Кудинове, со стороны мог показаться скандальным. Потому Леонтьев и не отвечал на письма Раевской без обсуждения с Машей: «...мало ли, что ей приятно! — но надо прежде всего *тайну*; — ты ее знаешь; она, пожалуй, в иные минуты и не прочь компрометировать нас, чтобы больше нас с собой связать. Но этому не надо потворствовать. Помолимся за нее Богу, и пусть терпит, а при первой возможности материально помочь — поможем»[4].

Некоторые письма Лизы Леонтьев тоже пересылал Маше — он уже не был уверен в своей правоте по отношению к жене, хотя по-прежнему не отвечал ей. Весной 1878 года он писал Н. Я. Соловьеву о Лизе: «Она прекраснейшая, благородная и простодушная женщина; она наделала ошибок очень крупных под влиянием негодных родных. — Теперь — она искренно кается; ... — Бог видит, до чего я желал бы не то чтобы жить с ней вместе — нет, это вовсе не нужно (ни с какой точки зрения, ни с духовной, ни с хозяйственной, ни с сердечной), я желал бы успокоить ее матерьяльно и нравственно»[5]. Выходило, что с помощью денег можно решить серьезные жизненные проблемы, но именно их и недоставало.

Заработков особых не предвиделось. Чтобы прокормиться, Леонтьев решил написать несколько небольших вещей о своей службе на Востоке для журнала «Русский архив». Так появились его «Воспоминания о Фракии». Правда, П. И. Бартенев, редактор «Архива», печатать «Воспоминания» без сокращений отказался, и Леонтьева вновь выручил Катков с его

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 30 октября 1877 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 27.

[2] Там же.

[3] Там же. Л. 30.

[4] Там же. Л. 28.

[5] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Я. Соловьеву от 7 марта 1879 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 658—659.

«Русским вестником». В январе 1878 года в «Русском мире» появилась короткая статья Леонтьева. Редактором этой газеты был старый приятель Берг, по его просьбе Леонтьев и подготовил статью «Враги ли мы с греками?». В ней он развивал свою мысль о том, что русские и греки не только не враги, несмотря на столкновения некоторых политических интересов, но естественные союзники.

Тогда же Леонтьев начал писать для Берга другую статью, «Храм и церковь», которая в итоге вышла в «Гражданине». Речь в статье шла о возможности восстановления храма Святой Софии в Константинополе. Константин Николаевич вновь доказывал, что в мечтах о Царьграде «настоятельный вопрос — не столько даже в удалении... турок, сколько в непременном уничтожении враждебного нам и губительного для единоверцев наших — нестерпимого *европейского на турок давления*. Иметь дело с самими турками было бы нам возможно, если бы Турция была посамобытнее относительно Запада и если бы на ее почве не разыгрывались бы так свободно и бесстыдно западные интриги и подкопы»[1].

Леонтьев мечтал о «Великом Восточно-Православном Союзе», — в котором объединятся все христианские нации региона, — как о противоядии от упростительного европейского влияния, причем для него такой союз был важнее, чем формальное занятие Россией Царьграда и Босфорского пролива. «Не восстановление храмов вещественных важно: утверждение духовной Церкви»[2], — писал он. Что толку даже в бережной реставрации Айя-Софии, если не помирятся болгары с греками, если не будет единства в Константинопольском патриархате?![3] Церковь важнее храма; именно церковное единство станет залогом будущего Союза, в который войдут и славянские народы.

Дни в Москве летели быстро: редакции, лечение, встречи, да и знакомых было много — и они навещали Константина Николаевича в гостинице на Лоскутной, и он наносил им визиты. По воскресным вечерам бывал у Иониных[4], где гостей потчевали ужином. Часто навещал он и «милых Неклюдовых»[5],

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Храм и церковь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 509.

[2] Там же. С. 517.

[3] Константинопольский православный патриарх считается преемником апостола Андрея и является «первым среди равных» по отношению к другим православным патриархам.

[4] С дипломатом А. С. Иониным Леонтьев был знаком еще по службе на Востоке.

[5] В. С. Неклюдов, камергер, действительный статский советник, публицист, опубликовал ряд рецензий на работы К. Н. Леонтьева. Его жена, М. Г. Неклюдова, благоволила к Леонтьеву и часто приглашала его в гости.

проводя у них поистине «константинопольские вечера», хотя жили они уже не на Босфоре, а рядом с кремлевскими стенами.

Но скоро Леонтьев опять заскучал: «Скука! Скука!» — восклицал он в очередном письме. Когда читаешь его переписку, складывается впечатление, что он нигде не находил себе места — ни в Кудинове, ни в Калуге, ни в Москве, ни в Петербурге. Он начинал томиться, последние деньги тратил на переезды и гостиницы... Как будто застрял на развилке судьбы: блестящая жизнь дипломата на экзотичном Востоке осталась в прошлом, куда хотелось вернуться, но и не получалось, и страшно было, боялся душу погубить; а новая жизнь — иноческая — тоже пугала своей безвозвратностью. Бог словно подталкивал Леонтьева к монашеству, потому что радости мирской жизни большей частью были ему недоступны, а жизнь без этих радостей быстро ему надоедала; но он еще не был готов к постригу.

На Святки к Леонтьеву приехали племянницы — Катя Самбикина и Маша. Обе были в отпуске. Маша учительствовала, Катя заведовала частным детским приютом бывшего министра П. П. Мельникова под Петербургом, в Любани. Константин Николаевич был рад видеть обеих — с ними, близкими людьми, он мог говорить обо всем. Катя, узнав, что дядя подумывает о поездке в Северную столицу, пригласила навестить ее там. (Она и неприкаянную Людмилу Раевскую к себе позвала.) Почти каждый день приезжал к ним в гостиницу и Николай Яковлевич Соловьев (благодаря Леонтьеву, познакомившему его с Островским, на сцене тогда появилась пьеса «Женитьба Белугина», написанная Соловьевым в соавторстве с известным драматургом[1]).

Время отпусков промелькнуло быстро. Сразу же после отъезда племянниц Леонтьева ждало еще одно разочарование: Катков отправил другого человека корреспондентом «Русского вестника» на Дунай. Константин Николаевич жаловался: «Маша, Катков не хочет решительно отправлять меня в Турцию... Сердце мое так болит, так болит!.. Я тебе выразить не могу. — А чем я буду жить? — И думать не хочется!..»[2] К тому же Катков, несмотря на договоренность забирать из леонтьевских гонораров не более 25 процентов в счет уплаты долга, «конфисковал 950 руб<лей> за “Камень Сизифа”»[3] и оставил

---

[1] Судя по письмам Леонтьева, А. Н. Островский согласился на сотрудничество с Н. Я. Соловьевым небескорыстно: соавторство стоило Соловьеву денег, зато пьеса «Женитьба Белугина» имела успех.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 10 января 1878 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 41.

[3] Из дневника К. Леонтьева // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 15.

его без ожидаемого заработка. Константин Николаевич даже размышлял, не вернуться ли в Угрешь. А если неудачи не случайны? Может, Бог направляет его таким образом в монастырь? Две попытки монашества — на Афоне и в Угреше — закончились ничем («срамом!» — напишет Леонтьев в «Исповеди»), и его неудачи в мирской жизни могли быть расплатой за неисполненный обет. Но с долгами как быть? Отец Климент не раз повторял, что сначала долги надо заплатить, чтобы рассчитаться с миром в прямом и переносном смысле, а потом уж об иноческой жизни думать...

Расстроенный, Леонтьев отправился в январе в Петербург, надеясь все-таки выхлопотать себе дипломатическое место. Если его возьмут на службу, как будет хорошо! И самому жить станет на что, и Машу от учительства спасет. Племянницу в письмах ободрял: «...если только будет малейшая возможность, я не только в Царьград, но и на комиссию в Эпир и Фессалию возьму тебя с собой (конечно, если О. Амвросий благословит)»[1]. Он заготовил два рекомендательных письма для Горчакова и рассчитывал на успех.

В Петербурге Леонтьев неожиданно встретил Губастова. Поселились они вместе — в меблированных комнатах на Большой Морской. Днем Константин Николаевич хлопотал в Министерстве иностранных дел в надежде получить место второго драгомана в Константинополе для контактов с патриархией (о консульстве речи давно не шло!), а вечера проводил с другом. Как правило, они с Губастовым ездили на Миллионную улицу в гости к семейству Карцовых, с которым оба очень сблизились.

Екатерина Сергеевна Карцова жила с детьми — дочерью Ольгой и сыновьями Юрием и Андреем. Младший, Андрюша, «милый и лукавый», был еще слишком юн, чтобы участвовать в долгих беседах («всенощных бдениях»); 23-летнего Юрия Леонтьев находил одним из умнейших людей с большим будущим (и был прав!); а старшая, Ольга, восхитительная, прелестная, покорила сердца обоих друзей. Юрий пошел по стопам дяди, Андрея Николаевича Карцова — его и Леонтьев, и Губастов хорошо знали по Турции, — он только что поступил на дипломатическую службу[2]. Леонтьев прозвал Юрия и Ольгу «тигрятами» — за грацию, красоту, смелость в суждениях. Прозвище много говорит о его отношении к молодым знако-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 24 января 1878 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 48.

[2] Ю. С. Карцов (1857—1931) стал выдающимся дипломатом и геополитиком, его перу принадлежит несколько книг. После революции 1917 года эмигрировал во Францию.

мым, ведь хищные звери ему нравились много больше травоядных.

Февральские письма Леонтьева из Петербурга племяннице полны описаний встреч и разговоров с Ольгой Карцовой. Только месяц назад он писал Маше, что «больше всего... рад, что борьба сердечная во мне утихла», — и опять его корреспонденция дышала новым чувством.

«Дело пошло очень скоро, но мы оба спешим каждый посвоему, ставим себе тесные рамки и не хотим выходить из них, — описывал он племяннице происходящее. — Она удивительно мила, и хитра и смела донельзя. Ее развивать — куда! — Едва ли уже не она меня развивает. — Во всяком случае, она заставляет меня упражняться в такой тончайшей дипломатии, что мне и передать тебе трудно, как это делается. — Напр., иногда, накануне (я почти каждый день там бываю) что-нибудь было не по мне, сомнение, досада и т. п. А мы не одни и очень долго не одни, то мать, то брат, то гости, как быть? — Время дорого. — И вот я — то с матерью начинаю такой общий разговор, которого $^1/_2$ ведется для дочери... и мы понимаем друг друга. — То с братом читаем Пушкина, Ламартина и Мюссе. —

"Мне не к лицу и не по летам...
Но узнаю по всем приметам...
Болезнь любви в душе моей..." и т. д.

Она улыбается... Что ни день, то у нас новый оттенок...»[1]

Несколько страниц деталей, подробностей, разговоров лучше любых свидетельств говорят о том, что Леонтьев был влюблен. Сам предмет своей влюбленности он описывал так:

«Ольга Сергеевна — это восхитительная скала из яшмы дикой с белыми и розовыми жилками, поросшая жасмином и розами, на которых петь только персидским соловьям»[2]. Описание дано было с юмором, но реальное впечатление, произведенное на него Ольгой, оно, конечно, отражало, ведь Константин Николаевич, по его же словам, был «бескорыстно побежден».

Ольга Сергеевна, видимо, действительно была хороша собой. Губастов тоже не остался равнодушным к ее чарам. Леонтьев, который и Лизу-то не знал, как пристроить в жизни, никаких «планов» на Ольгу не имел, потому советовал жениться на ней приятелю. Губастов же — полушуткой — отве-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 11 февраля 1878 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 52.

[2] *Карцов Ю. С.* Письма К. Н. Леонтьева к Екатерине Сергеевне, Ольге Сергеевне и Юрию Сергеевичу Карцовым. 1878 год // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 271.

чал, что предпочитает жениться на девушке после ее романа с Леонтьевым, потому что ему нравится то «легонькое развращение ума», которое остается у девушки после отношений с Константином Николаевичем.

Ольга Сергеевна много читала, знала несколько иностранных языков, играла на арфе. Несколько лет спустя она выйдет замуж за помещика Ивана Хрисанфовича Колодеева, переболеет оспой, подурнеет, арфу забросит и превратится в обыкновенную провинциальную даму. Но тогда, в 1878 году, она стала *«последним безумием»* Константина Николаевича. Несколько недель счастья и влюбленности! Губастов вспоминал: «С юным и блестящим Юрием Сергеевичем Карцовым, только что поступившим в Азиатский департамент, Леонтьев пускался в политические разговоры и пререкания, а умной, талантливой и прелестной сестре его, Ольге Сергеевне, развивал свои мистико-эстетические теории, в то время когда прочие гости, не особенные любители до отвлеченных предметов, сражались в винт...»[1]

Леонтьев признавался Марии Владимировне: «В Петербурге оттепель, тиф, дифтерит, ужасная смертность, а я все это время редкий день ложился раньше 3-х часов ночи и вставал все в 8, и при этом так бодр и лицом свеж, что удивляюсь»[2]. Константин Николаевич парил в облаках, но за гостиницу платить было нечем... Он вспомнил о приглашении Кати Самбикиной и уехал в Любань — местечко в семидесяти с лишним верстах от столицы, где поселился на одной из пустующих дач.

На дорогу в Петербург приходилось тратить три часа, зато жизнь за городом была намного дешевле столичной. Туда же вскоре приехала и Людмила Раевская. Она и Катя не раз исполняли роль переписчиц сочинений Константина Николаевича (но тот их работой редко оставался доволен — почерк Маши ему нравился куда больше). В Любани Леонтьев, по просьбе Берга и Вс. С. Соловьева, подготовил биографические материалы для заметки о себе в «Ниве»: в журнале существовал такой жанр, как «статьи к портрету» (именно такую «статью к портрету» Леонтьев написал о своей бывшей возлюбленной, Ольге Алексеевне Новиковой).

Константин Николаевич ждал этой статьи о себе. Он надеялся, что ее появление станет своеобразной рекламой: поможет лучшей продаже его «восточных повестей» и повлияет на Каткова — чтобы «самодержец» «Русского вестника» увели-

---

[1] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 217—218.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 11—14 февраля 1878 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 186.

чил ему гонорары. В конце концов после довольно долгой переписки статья Вс. С. Соловьева о Леонтьеве вышла в «Ниве» в мае 1879 года. Константин Николаевич был доволен публикацией, хотя стареющего эстета не обрадовало указание его возраста. Он писал: «Извольте, многоуважаемый Всеволод Сергеевич, извольте — пейте мою кровь. — Я родился (увы!) *в 1831 году*. — Согласитесь, что это ужасно и что лучше бы умолчать об этом печальном обстоятельстве... <...> — Но монахи выучили меня “послушанию”. — Повинуюсь...»[1]

Из дачного захолустья Леонтьев приезжал иногда к Карцовым, но чаще писал им письма. Леонтьев любовался и вторым «тигренком» — Юрием Карцовым; вряд ли Константин Николаевич заметил бы «темные очи» и «немеющий взгляд» Юрия, о которых упоминал в письмах его матери, если бы был отстраненно-равнодушен к юноше. Он просил Юрия навестить его в Любани, когда по состоянию здоровья (или финансов?) не мог выбраться в столицу, — и «тигренок» приехал.

Когда Константин Николаевич уедет из Петербурга, он еще около года будет писать письма Юрию и Ольге, рисуя в них то идиллическую картину откровенной душевной дружбы между пожилым человеком и прекрасной девушкой, то не менее душевную дружбу между умудренным жизнью наставником и мыслящим молодым человеком. Но и здесь ничего у Константина Николаевича не получилось, — «тигрята» писали скучные письма, а вскоре и вовсе замолчали.

Леонтьев постепенно разочаровался и в Ольге, и в Юрии. Во всяком случае, в своем дневнике он сделал о молодых Карцовых такие записи: «У Ольг<и> Серг<еевны> *стиль* дурной... Отчего она так хорошо говорит и так фельетонно a la Сорокин пишет?.. Она так много хорошего читала! Странно! <...> Это незрелость, полуразвитие вкуса; хуже необразованности и простоты»[2]. Юрия же Леонтьев стал укорять за «серые вкусы» в политике: «Я довольно беспристрастен и за идеи ненавижу живее, чем за личности. — Довольно о Юрие. — Вспомнит он обо мне позднее. — Не созрел еще!»[3]

Переписка с их матерью, Екатериной Сергеевной, оказалась гораздо оживленнее. В леонтьевских письмах к ней впервые зазвучала тема разочарования в историческом предназначении России. «Вот, вот посмотрите, нечаянно возьмем в мае Царьград, — писал Леонтьев, — ...вобьем мы на Босфоре ряд

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к Вс. С. Соловьеву от 1 марта 1879 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 611.

[2] Из дневника К. Леонтьева // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 13.

[3] Там же.

простых осиновых колов, и они зазеленеют там хоть на короткое время. Долгого цветения нельзя ждать от такой нации... Какой долгой жизни можно ждать от этой нации, кроме мгновенного цветения осиновых колов, согретых случайно... солнцем юга. Да! Царьград будет скоро, очень скоро наш, но что принесем мы туда. Это ужасно! Можно от стыда закрыть лицо руками...Речи Александрова, поэзию Некрасова, 7-ми этажные дома, европейские (мещанские, буржуазные) кэпи!.. Карикатура, карикатура!»[1]

Приближавшийся к тысячелетнему возраст российского государственного организма и зараженность его европейским упростительным смешением заставляли Леонтьева быть пессимистичным; он видел движение страны «к царству мелкого мещанства, к господству серой жакеточки, куцой, к выдохшейся и утратившей всякое raison d'etre[2] якобинской республике!» Правда, он еще надеялся на короткое цветение под босфорским солнцем — всплеск, который может произойти в результате возвращения к византийским основам российской культуры, но даже в этом не был уверен... Он оставался патриотом, но иногда боялся самому себе признаться, что любит свою родину «как мать», но и в то же время и презирает — «как пьяную, бесхарактерную до низости дуру».

Не оправдались надежды на интеллектуальную дружбу с молодыми знакомцами, не получилось ничего и со службой, мечты о должности второго драгомана в Константинополе быстро развеялись. Но тут граф Игнатьев, вспомнив о своем бывшем подчиненном, пообещал Леонтьеву место в Болгарии. Константин Николаевич Болгарии не любил, но шесть тысяч рублей жалованья заставили его с радостью принять такое предложение. Увы, Игнатьев не успел устроить Леонтьева — буквально через два дня после разговора с ним он был переведен на другую должность, в Вену. *Fatum* преследовал Леонтьева! И константинопольские набережные, и тырновские улицы остались лишь мечтами. Места отставной консул не получил, лишь понес напрасные расходы. Подумал было поехать к Розенам — пожить в их имении с год, в достатке и окружении хороших, умных людей, но старец Амвросий не дал ему на это благословения.

В момент душевного уныния Леонтьев получил тяжело поразившее его известие из Оптиной Пустыни о смерти отца

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к Е. С. Карцовой от 23 апреля 1878 г. // *Карцов Ю. С.* Письма К. Н. Леонтьева к Екатерине Сергеевне, Ольге Сергеевне и Юрию Сергеевичу Карцовым. 1878 год // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 275—276.

[2] Разумное основание, смысл (*фр.*).

Климента Зедергольма, к которому он был так сердечно расположен. Под влиянием этих ударов и слякотного петербургского климата Константин Николаевич сильно заболел... «Мне нет судьбы... ни в чем!»[1] — написал он Екатерине Сергеевне с горечью. Его мучили сильные невралгические боли в спине и ногах, болело горло... Даже пост не смог держать — спустя пару недель начал есть мясо, так как сильно ослабел. Тема продажи Кудинова вновь обозначилась в письмах, хотя теперь Леонтьев мечтал, чтобы после уплаты долгов на домик в Оптиной осталось не полторы, а уже три тысячи рублей. Так в начале жизни в письмах матери из Крыма он мечтал о службе, которая приносила бы ему полторы, две, нет, — три тысячи дохода. Уже и Любань стала ему не по карману.

Рассказ об этой петербургской поездке будет неполным без упоминания еще одного важного события. Константин Николаевич познакомился — даже не просто познакомился, а подружился — со знаменитым русским философом Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Многие исследователи жизни и творчества Леонтьева пишут, что познакомились два мыслителя в 1883 году[2]. Судя по леонтьевским письмам Маше, это не так, знакомство состоялось зимой 1877/78 года.

Владимир Соловьев пришел к Леонтьеву представляться первым. Он слышал о Константине Николаевиче и от своего брата Всеволода, и от Софьи Петровны Хитрово, с которой недавно познакомился и в которую так безнадежно влюбился. Леонтьев тоже давно хотел встретиться с философом — он читал некоторые его работы и был заворожен глубиной и самостоятельностью мысли молодого еще человека, готовящегося к защите докторской диссертации в университете.

Четырнадцатого февраля 1878 года Леонтьев написал Маше: «С философом Соловьевым очень подружились»[3]. Об интеллектуальном «романе» между Леонтьевым и Соловьевым, продолжавшемся не один год, писали многие — отец Иосиф Фудель, К. В. Мочульский, В. В. Розанов. «*Я его очень* люблю лично, сердцем», — писал Константин Николаевич о своем отношении к новому другу. Он считал Владимира Сергеевича человеком гениальным и признавал его несомненное превосходство в сфере абстрактной мысли.

---

[1] *Карцов Ю. С.* Письма К. Н. Леонтьева к Екатерине Сергеевне, Ольге Сергеевне и Юрию Сергеевичу Карцовым. 1878 год // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 269.

[2] Например, К. В. Мочульский («Владимир Соловьев. Жизнь и учение»), А. Ф. Лосев («Владимир Соловьев и его время») и др.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к М. В. Леонтьевой от 14 февраля 1878 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 55.

Они были совсем разными — и по взглядам, и по жизненному опыту, но имелись и точки соприкосновения. Сближал их религиозный мистицизм; в рассказе Леонтьева о произошедшем с ним в Солуне *чуде* Соловьев не усомнился. Сам Владимир Сергеевич тоже пережил мистический момент: 23-летний философ услышал голос Софии, Премудрости Божией, во время своих занятий в библиотеке Британского музея и отправился по велению этого голоса в египетскую пустыню, где София явилась ему «в пурпуре небесного блистанья», с «очами, полными лазурного огня».

Владимир Соловьев был близок Леонтьеву и в понимании приоритета *церковного* начала над национальным и государственным. Правда, если Леонтьев мечтал о Патриаршестве в освобожденном от турок Константинополе, Соловьев думал о Римском Престоле и писал о грядущем слиянии Православной и Католической церквей (в этом Леонтьев, отдавший немало сил борьбе с католической «пропагандой» на Востоке, не был ему товарищем!). Отец Иосиф Фудель отмечал еще одну общую черту — «особенность» этих двух русских мыслителей: «...оба они были "одинокие мыслители", вернее сказать, одинокие поэты-мечтатели, как рыцари, отдавшие свою жизнь одной любимой женщине — мечте. Почуяли ли они инстинктивно друг в друге эту особенность, эту свою роковую одинокость, или сблизили их друг с другом долгие беседы за полночь, но сближение это скоро перешло в самые теплые отношения искренней дружбы, хранившейся обоими, несмотря на размолвки, до конца жизни»[1].

Один из известных биографов Владимира Соловьева, К. В. Мочульский, описывал взаимоотношения этих двух людей как не совсем равноправные. Леонтьев искренно восхищался новым другом и расточал ему комплименты. «Соловьев принимал эту любовь, позволял себя любить, но сам оставался сдержанным и холодноватым. Леонтьев писал о. Фуделю о Соловьеве: "Что он гений, это — несомненно, и мне самому нелегко отбиваться от его обаяния (тем более, что мы сердечно любим друг друга)". Соловьев тоже отдавал Константину Николаевичу должное — он считал Леонтьева "умнее Данилевского, оригинальнее Герцена и лично религиознее Достоевского". Но он ни разу не высказался по существу о творчестве Леонтьева; когда тот выбрал его судьей в своем споре с Астафьевым по национальному вопросу, Соловьев уклонился от этой роли. Леонтьев говорил о Соловьеве с восхищением и

---

[1] *Фудель И.* К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях // Русская мысль. 1917. Ноябрь—декабрь. С. 18.

преклонением. “Но лучше я умолкну на мгновение, и пусть говорит вместо меня Вл. Соловьев, человек, у которого я недостоин ремень обуви развязать”. Так отдавать себя Соловьев не умел»[1]. Да и при расставании с новым другом Соловьев сразу предупредил, что «писем писать не в силах» — поставив заранее некий барьер между собой и уезжавшим Константином Николаевичем (который как раз письма писал охотно и талантливо). Тем не менее завязавшаяся тогда дружба оказала влияние на обоих мыслителей, и даже первую энциклопедическую статью о Константине Леонтьеве напишет после его смерти именно Владимир Соловьев.

Неожиданно, когда Леонтьев, истощив свой кошелек, собрался ехать в Кудиново, Катков предложил ему поехать в Царьград. Условия были такие: 500 рублей редакция выдавала на дорогу туда, 500 — на дорогу обратно; кроме того, ежемесячно Леонтьев должен был получать не менее 200 рублей. Сумма в 700 рублей ежемесячно, о которой он писал Маше, осталась в мечтах. Но Константин Николаевич предложение «Русского вестника» принял. Заехав на пару дней в Кудиново, он собрался, взял с собой Машу, понимая, что помощь племянницы будет ему необходима при обустройстве на новом месте (кроме того, он надеялся, что она сможет писать для него «фон корреспонденций»), — и отправился в Одессу.

Доехали Леонтьевы только до Киева. По дороге Константин Николаевич почувствовал себя дурно — и физически (очень заболели ноги), и психологически. Тень умершего отца Климента преследовала его. Отец Климент, конечно, спасся. А спасется ли он сам? Не погибнет ли его душа вдали от монастырей в корреспондентской суете? Страх *погубить душу* поглотил его. В результате Леонтьев с полдороги вернулся. Сам он объяснял свой поступок так: «Возвращаюсь потому, что *духовник благословил* внимать внутреннему чувству... Если бы он велел *не внимать*, я бы доехал. — Итак, опять *вера* и *послушание* помешали еще больше страха; — ибо страх и тоска были *не от меня*; а *послушание* было в *моей воле*; — *ехать насильно*, вопреки чувству, было в *моей воле*. — Но такого приказания не было, и опять, *из послушания и веры*, потерял много. — И солдат иной боится идти в битву; но идет из *послушания*; так и я мог бы сделать, если бы велели»[2].

Отношения с Катковым были окончательно испорчены. Михаил Никифорович больше не воспринимал всерьез прось-

---

[1] *Мочульский К. В.* Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Париж: YMCA-Press, 1936. С. 354.

[2] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С.248.

бы Леонтьева о постоянной работе. Да и денег теперь не было вовсе, поскольку долг вырос: всё, что было потрачено на дорогу, следовало Каткову вернуть. «Поездка в Петербург, — вспоминал Константин Николаевич, — разрешается жестокой болезнью и долгами новыми»[1].

Весной Леонтьев вернулся в Кудиново. Он надеялся дома поправить здоровье, да и поработать планировал. Нигде не было у него тех условий для литературного труда, которые создала ему в свое время Маша и которые прочно вошли в кудиновский быт. Сам Константин Николаевич в одном из писем Екатерине Сергеевне Карцовой писал: «Скоро я буду, наконец, у себя в своей милой деревне, где петухи даже не смеют кричать громко, когда я пишу Одиссея, ибо люди бросают за это в них камнями; где племянница обходит задами флигель мой, опасаясь нарушить поэзию мою тем, что, может быть, что-нибудь в походке ее мне в эту минуту покажется некрасивым и мое созерцательное блаженство будет чуть-чуть нарушено, и обходит, заметьте, с любовью, без ропота, не сомневаясь, что я в этом только прав (так она умна). Опять зелень двора моего, опять столетние вязы над прудом; опять 13-летняя Варька в красивом сарафане, которая подает мне прекрасный кофе и все по-моему, на японском подносе, и все там стоит, где я хочу, и лежит там, где я желаю...<...> Опять лечить крестьян; опять всенощная на дому по субботам. <...> И шелест бесподобных рощ, и свирельки, и цветы полевые, и свидания с Оптинскими старцами...»[2]

Зимой, когда в Кудинове не было хозяев, за домом присматривали две девочки — Варя и помогавшая ей дочь повара Феня. Коровами и хозяйством занималась Агафья, мать Вари. Потому Кудиново встретило Леонтьева и Марию Владимировну уютом — казалось, что и не уезжали отсюда. Летом из Любани приехали Екатерина Васильевна Самбикина и Людмила Раевская. Распорядок дня установился прежний: с утра Константин Николаевич писал (Маша, если не была занята по хозяйству, в это время набело переписывала его рукописи в своем флигеле), потом принимал больных, обедал, а вечером кудиновские обитатели гуляли, пили чай, беседовали.

Немаловажным делом было и украшение дома. Варя и Феня приносили Леонтьеву целые снопы полевых цветов, из которых он в послеобеденное время любил составлять букеты,

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 248.

[2] *Карцов Ю. С.* Письма К. Н. Леонтьева к Екатерине Сергеевне, Ольге Сергеевне и Юрию Сергеевичу Карцовым. 1878 год // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 272—273.

как когда-то делала Феодосия Петровна, украшая *изящное* тогда имение. Теперь хозяевам Кудинова было уже не до изящества, но заложенное в Леонтьева материнским воспитанием стремление к красоте все-таки ощущалось — в белоснежной скатерти и блестящем самоваре на чайном столе, в вазах с цветами или засушенными осенними листьями, в русских нарядах прислуживающих Вари и Фени.

В деревне Константин Николаевич узнал, что Губастова послали управлять Генеральным консульством в Константинополе. Леонтьевское сердце заныло при воспоминании о Босфоре. Он написал другу, что готов занять самую скромную должность, стать «вольнонаемным» в посольстве. Но Губастов не смог ему помочь: его назначение было временным, и через несколько месяцев он покинул турецкую столицу.

Босфор опять лишь поманил, но в руки не дался. В одном из писем Игнатьеву Леонтьев (надеясь на помощь бывшего посла в поисках новой службы) рассказывал о себе: «О моих делах что сказать? Они так невеселы, что даже мне и стыдно иногда говорить о них. Вот у меня-то нет "звезды". Некстати заболел в 71-м году, не вовремя уехал с Востока, не вовремя поправился в здоровье; "новые люди" вовсе не знают меня и не думают обо мне, кто знает, тот не у дел. В столице жить постоянно — денег нет, и после каждой поездки надо расплачиваться с Катковым срочной и принудительной работой. Политические мои мнения глохнут в сердце моем без исхода; они не подходят ни к Каткову, ни к петербургской журнальной демагогии, они слишком самобытны. Брошюры издавать — надо средства свои или громкое имя, безвыходный круг! Большую часть года надо жить в своей деревне, живя в деревне, не получишь хорошего места, не получа места и не имея чем вносить в банк, надо ждать, что через два года продадут с аукциона и это самое имение, не доходное, положим, но доставляющее мне убежище покойное, здоровое, красивое и дорогое для меня по воспоминаниям детства и молодости, убежище, в котором я, по крайней мере, могу писать»[1].

Леонтьев по-прежнему рассчитывал, что вернется на дипломатическую службу. Он ожидал благоприятных известий со дня на день, думал даже занять денег и поехать в Турцию, чтобы там дождаться приказа о зачислении. Но отец Амвросий, узнав, что его духовный сын хочет отправиться на Восток, идею эту не поддержал: велел всем Леонтьевым приехать в Оптину. «И без того его вызовут на службу, когда надо», — рас-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. П. Игнатьеву от 29 октября 1878 г. // *К. Н. Леонтьев*. Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 218.

судил старец. Потому в конце лета, на Успенский пост, Константин Николаевич, Маша, Екатерина Васильевна отправились в Козельск. Варю и Людмилу тоже взяли с собой.

Сначала они поселились в гостинице для паломников, где прислуживали местные козельские мальчики. Особенно им приглянулся один из них, Николай[1], так он был сообразителен и ловок. Его и взял себе в услужение Константин Николаевич (денег свободных не было, но барские привычки были у него врожденными, да и жалованье подростку требовалось маленькое). Когда Леонтьевы поняли, что задержатся в Оптиной, они переехали из гостиницы в дом Иноземцева в Козельске: снять дом было дешевле, чем оплачивать несколько гостиничных комнат.

Для Леонтьева осень 1878 года стала тем временем, когда он полностью отдался под духовное водительство старца Амвросия. Константин Николаевич вспоминал, как сидел в зальце отца Амвросия в ожидании, чтобы старец его позвал, и молился Спасителю: «Господи! Наставь же старца так, чтобы он был опорой и утешением! Ты знаешь мою борьбу! (Она была так ужасна, ибо тогда я еще мог влюбляться, а в меня еще больше!)». Бог внял леонтьевским молитвам: старец Амвросий стал главным человеком в дальнейшей судьбе Константина Николаевича. Без его совета и одобрения Леонтьев ничего важного старался не предпринимать. Об этом состоянии Константина Николаевича замечательно сказал Дурылин, когда назвал его «прекрасным Алкивиадом, смирившимся до инока Климента». Действительно, в эти годы Леонтьев был уже ближе к иноку, чем к Алкивиаду.

В декабре Константин Николаевич начал писать исповедь для отца Амвросия. Взяв тетрадь, он вывел на первой странице: «Моя исповедь. Батюшке Отцу Амвросию — от К. Леонтьева. Декабрь; 1878. Козельск». Несколько дней он писал, рассказывая старцу о своей жизни после произошедшего с ним чуда в Солуни, — из-под его пера выходили горькие строки... Текст трех рукописных тетрадок впервые был опубликован только сто с лишним лет спустя после смерти Константина Николаевича.

«Исповедь» — удивительный документ. Ее признания напоминают крик о помощи: «Я до того теперь подавлен обстоятельствами, что у меня нет никакого почти желания. — Читать я пробовал и светское и духовное. — Не могу. — Светское возбуждает во мне гнев и зависть; духовное не трогает меня ничуть. — О Боге я помню, взываю к Нему почти беспрестанно; но стать на правильную молитву мне наказанье. — Я ее почти бро-

[1] Николай Сергеевич (Кузьмич) Орлов, служивший Леонтьеву много лет.

сил. — В Церкви я долго стоять не могу: — все меня раздражает»[1]. Леонтьева терзала мысль, что с тех пор, как он *обратился*, все его дела пришли в упадок: «...во всем какая-то унылая, гнусная, унизительная середка. — Слабый монах, без рясы; — помещик без дохода и ценза; политик, понимающий много, но без власти и влияния; — семьянин без семьи настоящей; писатель без славы и веса; старик прежде времени; — работник без здоровья; светский человек без общества... Что такое я стал и на что и кому я нужен?.. А жить хочу... Принуждать мне себя в чем бы то ни было трудно; а принуждать надо себя беспрестанно. — Была отрада — любовь моя к Л.[2]... И ту *вера* принудила оставить. — Скука и пустота непомерная! — Постоянная»[3].

Ничего не удалось в миру — нет признания таланта, нет детей в доме, нет подвигов, о которых мечталось в молодости... Гордый Леонтьев признавался в исповеди, что боится остаться без крова и средств, умереть нищим и никому не нужным, ведь он даже не знал, будет ли завтра сыт! Но и уйти в монастырь не мог: долги мешали, а главное — не хватало решимости. «Да и как иметь решимость, когда в течение пятишести лет, *все, все* разом не удается. — Семейные и сердечные дела, литературные предприятия, поправка и выкуп имения, издание сочинений, *расхваленных в газетах*[4], и то не раскупается... <...> Решимости у меня так мало, что мне жутко даже теперь в *скит* переехать, хотя жизнь моя в Козельске до того суха и пуста, что *почти минуты нет*, чтобы мне хоть что-нибудь нравилось. <...> Где же взять решимости, когда она убита и Богом и людьми!..»[5]

Былое казалось Леонтьеву «веселыми днями тщеславного ничтожества», но какой контраст составляло его нынешнее существование, когда жизнь стала лишь «скотской привычкой», тому языческому и счастливому упоению, которое он испытывал на Востоке! В глазах Константина Николаевича рок отбирал у него поочередно всё, что скрашивало его бытие:

«Любил чисто отца Климента. — Нет его. Любил греховно, но сладко Людмилу; нет ее. — Любил и жалел жену. — Ушла, и деньгами мало могу помочь ей. — Люблю хорошее общество высшего круга и сам любим в этом кругу. — Нет его.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 228.

[2] К Людмиле Раевской.

[3] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 243—244.

[4] Речь идет о трехтомнике с «восточными повестями».

[5] *Леонтьев К. Н.* Моя исповедь // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 1. С. 248—249.

Люблю свое родное Кудиново хоть полгода в году. — Но — долго жить в нем нельзя, а скоро, если Господь чем *особым* не поможет, его и совсем продадут с аукциона. — Люблю Царьград — не могу попасть в него. — Люблю Церковь (земную, *русскую* Церковь); — не знаю, чем служить ей: не найду, и она сама во мне не нуждается, не ищет меня, не зовет...

Люблю литературу. — Она теперь вся почти у нас в руках нигилистов. — Охранитель у нас один *Катков*: — и тот с грехом пополам. — Глядишь, и он умрет. — Он стар. — Литература в упадке у нас. — Даже мелочи; — люблю изящное, хотя бы и простое убранство дома, опрятность и порядок. — В Кудинове летом я это имею. — Там *по нашему*; — но зимой там нельзя жить. — Здесь в доме все старо, грязно, безвкусно; стыдно даже. <...>

Люблю вот даже эту девочку Варвару, которая у нас (*по совести* отеческим чувством); и она предана, честна, добра... Но стыдлива и безгласна до глупости. — Пошутить как с дочерью невозможно... Молчит. — Робка. <...>

Я с утра, как встану — только и думаю обо всем этом... и до ночи. — Если бы еще не было обязательных забот "о хлебе насущном" для себя и для близких, то я был бы покойнее в сердце и мог бы иметь побольше времени и духовным чтением заняться...»[1]

К этому горестному перечню жизненных неудач было сделано примечание, обжигающее своей безысходностью: Леонтьев рассказывал, как занял в Турции, будучи консулом, 1050 рублей у одного человека, умершего недавно *в бедности*. Еще будучи на Востоке, Леонтьев вернул ему около половины, но оставшиеся 550 рублей вернуть не смог и спустя несколько лет. То, что кредитор умер в бедности, мучило должника. Теперь уже наследники просили вернуть долг — но денег у Леонтьева так и не появилось!

Надо сказать, что «восточные» долги заставляли Константина Николаевича страдать до конца жизни: забыть о них ему не позволяла совесть, а выплатить — не хватало средств. Так годами и тянулась эта финансовая агония... Вот и тут, в Козельске, деньги кончились, за дом платить стало нечем. Леонтьев надеялся на гонорар от Каткова за «Камень Сизифа», а отец Амвросий посоветовал Леонтьеву перебраться в скит. Константин Николаевич не хотел этого — воспоминания об ужасной монастырской пище пугали его, но вскоре деваться было некуда: Катков гонорар не прислал — удержал все деньги в счет оплаты неудавшейся поездки в Турцию. В декабре

---

[1] Там же. С. 249—251.

Леонтьев писал Н. Я. Соловьеву: «Когда я нуждался в Угреше, — то я по крайней мере знал, что Маша и жена моя без особой нужды живут в Кудинове; тогда еще крестьяне не были на выкупе и платили 500 руб<лей> оброка... — А теперь кроме процентов в Банке нет ничего! Ни жену, ни Машу мне содержать нечем. — Чтобы расплатиться в Козельске... и обеспечить себя, Машу и слуг хоть на *один месяц*, я должен был до 1-го апреля вперед занять всю пенсию...»[1]

Леонтьев перебрался в монастырь. Николай служил ему и там. Остальные разъехались: Людмила вернулась к родным, в Карманово, Варя уехала в Кудиново, смотреть за домом, Маша — с помощью и по благословению старца — поступила в качестве домашней учительницы в услужение к М. И. Матвеевой, калужской помещице и духовной дочери отца Амвросия. Даже Екатерине Васильевне Самбикиной старец помог устроиться к матушке Амвросии Ключаревой: Катя стала учительницей двух ее внучек. Старец (после леонтьевской «Исповеди»?) почувствовал, что его духовному сыну нужна не только духовная, но и вполне материальная помощь — если не облегчить хоть немного груз его забот о родных, у него не останется сил на духовное.

В марте 1879 года Леонтьев писал из оптинского скита Н. Я. Соловьеву: «У меня же просто ни гроша нет теперь... Не имею средств даже что-нибудь рыбное купить себе в Козельске... или заказать себе какие-нибудь постные пирожки». Леонтьев предлагал Соловьеву свое любимое Кудиново (за исключением одного флигеля) в качестве дачи — на год или на два, если тот заплатит хоть половину суммы процентов в Малютинский поземельный банк (нужно было внести 360 рублей)... Один из учеников Леонтьева, А. А. Александров, рассказывал о Константине Николаевиче: «...срочные платежи Калужскому банку оставались для него кошмаром до конца его жизни»[2]. Судя по всему, так и было. Сделка с Соловьевым тогда не состоялась.

Отец Амвросий, видя леонтьевскую финансовую катастрофу, послал Елизавете Павловне немного денег, чтобы Константина Николаевича не мучили мысли о жене, чтобы он мог писать — как мечталось Леонтьеву — на церковные темы. Об этом времени Леонтьев написал в своей «Хронологии»: «Пол-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Я. Соловьеву от 29 декабря 1878 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 607.

[2] *Александров А. А.* Примечания к письмам К. Н. Леонтьева // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 3.

ное расстройство и безденежье. 1-ые слухи о Лизе»[1]. Что за слухи? Видимо, речь идет о письмах, в которых Лиза просилась в Кудиново. Не исключено, что были и какие-то иные тревожные знаки, которые Леонтьев обсуждал со старцем. Константин Николаевич писал Н. Я. Соловьеву, что отец Амвросий «ее куда-то хочет определить пока к месту в России, совершенно независимо от меня, чтобы мне никто дела делать не мешал, и все говорит мне: "Пишите. Еже писах — писах и только!"»[2].

Леонтьев писал тогда свои воспоминания об отце Клименте Зедергольме. Рукопись он не раз показывал старцу, советуясь с ним. Только получив одобрение отца Амвросия, Леонтьев отослал текст в «Русский вестник» Каткову, где воспоминания и появились в 1879 году. Через пару лет вышла и отдельная брошюра с этим сочинением, причем Леонтьев до конца жизни гордился тем, что Киевский митрополит Платон рекомендовал эту книжечку для чтения священникам своей епархии. Деньги за брошюру (небольшие, конечно) Константин Николаевич полностью отдал на нужды больницы в Оптиной Пустыни, где лечились не только монахи, но и местные жители.

Настроение Константина Николаевича оставалось подавленным. Он — как в молодости! — чувствовал себя «лишним человеком». «С этой весны, с моей болезни в Любани, которая как ножом отсекла у меня возможность продолжать в Петербурге столь удачно начатые хлопоты, и после моего возвращения из Киева (плоды этого возвращения я пожинаю теперь) я стал, по крайней мере, сердцем, если не разумом, религиозно настроенным, понимать самоубийц, — признавался он в письме Н. Я. Соловьеву. — Все думаешь, что никому не нужен, ни России, ни растерзанной семье своей, ни даже Варьке какой-нибудь, которой до смерти хотелось бы дать хорошее приданое и устроить ее, как отец устраивает дочь... ни Каткову, который снимает с меня, с живого, кожу и от которого я освободиться не могу, ни Министерству, которое предпочитает мне людей бездарных, ни монастырю какому-нибудь, ибо недуги и усталость моя не выносят надолго телесных отречений, необходимых в обители... Никому, ни Маше, которую я не всегда прокормить могу, ни жене, которой я не в силах помогать много и которая после смерти моей будет получать по закону почти столько же из пенсии, сколько я могу ей помогать теперь»[3].

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Хронология моей жизни // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 34.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Я. Соловьеву от 31 марта 1879 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 659.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Я. Соловьеву от 4 января 1879 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 225—226.

Если прибавить к этой невеселой картине многочисленные недуги и леонтьевские барские привычки («никакой волей не победимые», — признавался сам Константин Николаевич), то причины леонтьевского уныния станут ясны. К тому же горечи прибавляла и ситуация с Людмилой. «Разве бы я оставил Людмилу, если бы не религия? — признавался Леонтьев. — Мы до сих пор друг друга любим...»

До мая Леонтьев пробыл в Оптиной, а потом отправился вместе с Николаем в Кудиново. Мальчик сменил в услужении Феню. С месяц Константин Николаевич был в имении один — за ним ухаживали Варя с Николаем. Подростки подружились, причем, как считал Леонтьев, Варе эта дружба пошла на пользу: разговорчивый Николай помог девочке избавиться от излишней робости. Вместе с робостью ушла и замкнутость. Спустя год Константин Николаевич писал Губастову, что Варя «вдруг развилась умом; ужасно поумнела, стала даже слишком много понимать; со мной держит себя прекрасно, совершенно как добрая и откровенная дочь. — Учится шить, читать, писать, усердно молится и превосходно с чувством пляшет»[1]. Леонтьеву было за 50, у него не было семьи в обычном значении этого слова, наверное, потому и появились эти отеческие чувства к деревенской воспитаннице.

В июне в Кудиново перебралась Людмила Раевская — благодаря ее редкому умению хозяйствовать жизнь в имении стала еще удобнее. Но настроение у Леонтьева оставалось мрачным. Он признавался в письме Н. Я. Соловьеву: «Я задыхаюсь под бременем прожитой мною жизни... Я сам виноват; идеал мой был несообразен ни с веком, ни со здоровьем моим, уже смолоду испорченным, ни, может быть, даже с моими нравственными силами (хотя в этом и сознаваться больно)... Это с одной стороны; а с другой — я думаю, что уже ничего больше серьезного и крупного не сделаю...»[2]

Тем не менее Константин Николаевич писал. Он работал над серией статей под названием «Письма отшельника» для еженедельной московской газеты «Восток». О планах издания этой газеты Тертий Филиппов писал Леонтьеву еще в Оптину Пустынь. Редактор издания, Николай Николаевич Дурново, человек строго православный (у него даже был псевдоним Orthodox) и придерживающийся консервативных взглядов, знал Леонтьева по публикациям и просил Филиппова быть между ними посредником, чтобы привлечь Леонтьева к со-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Я. Соловьеву от 3 сентября 1880 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 92.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Я. Соловьеву от 18 июня 1879 г. // *К. Н. Леонтьев.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 237.

трудничеству с газетой[1]. Газета избрала себе задачей «разъяснение текущих вопросов, вызванных политическими и религиозными событиями на Балканах, среди родственных нам по вере и крови народов», причем Дурново занимал схожую с леонтьевской позицию в вопросе о греко-болгарской распре. Узнав обо всем этом от Тертия Ивановича, Леонтьев еще из Оптиной списался с Дурново.

Леонтьев хотел регулярного жалованья сотрудника. Он так и написал Дурново: если хотите видеть меня энергичным постоянным сотрудником, обеспечьте жалованье хотя бы 150 рублей в месяц. Но для начинающейся газеты такие обязательства были не под силу: Дурново мог гарантировать гонорары, но не постоянный заработок. С помощью Филиппова Константину Николаевичу все-таки удалось договориться так: пусть построчная плата у него будет ниже, чем это изначально планировалось, зато Дурново будет ежемесячно присылать ему 50 рублей. Кудиново в тот момент не только не приносило дохода, но, наоборот, требовало денег на свое содержание. В 1879 году прошли и первые торги по Кудинову, хотя имение тогда удалось сохранить.

Первая статья для «Востока» называлась «Наше болгаробесие». Дурново статья очень понравилась, и это первое «письмо отшельника» было без задержки (чуть ли не через пару дней по присылке!) напечатано. Леонтьев получил возможность говорить о восточных делах то, что он думает.

Пафос статьи был в русле его размышлений. Леонтьев убеждал читателей, что «самый жестокий и даже порочный, по личному характеру своему, православный епископ, какого бы он ни был племени, хотя бы крещеный монгол, должен быть нам дороже двадцати славянских демагогов и прогрессистов»[2]. Он снова предостерегал, что болгары и другие юго-славяне могут быть *опасны* для России, потому что они уже втянуты в сферу либерального влияния разлагающейся Европы и их национальные особенности не исчезли только благодаря противостоянию туркам. «Жалко, скучно и страшно за будущее Славянства!»[3] — восклицал Леонтьев. А в письме Тертию Филиппову высказал эту мысль еще откровеннее: «Я нередко думаю и боюсь, что именно разрешение "Восточного Вопроса" ускорит наше разложение. И если бы я видел хоть какой-нибудь прок в этих юго-славянах, то я бы сказал себе: что ж, сла-

[1] Н. Н. Дурново весной 1879 года пытался установить контакт с Леонтьевым не только через Т. И. Филиппова, но и через Н. Я. Соловьева.

[2] *Леонтьев К. Н.* Письма отшельника // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 540.

[3] Там же. С. 545.

вянский союз будет еще богаче содержанием, чем та Россия Петровского стиля, в которой мы родились. Но увы! Чего ждать, напр<имер>, от болгар... Вы сами знаете. <...> Прямо из пастырской грубости в европейское хамство»[1].

В июле 1879 года газета «Восток» получила второе «письмо отшельника» — «О пороках фанариотов и о русском незнании». Фанариотами звали влиятельных греков, живших в Турции, — греческая элита предпочитала селиться в константинопольском районе Фанар, рядом с резиденцией Вселенского Патриарха. В конце XIX столетия слово «фанариот» приобрело негативный оттенок — фанариотом называли того грека, который сотрудничал с турками, удачно приспосабливался к жизни в Оттоманской империи. Именно в таком смысле «фанариотской» назвали новую газету «Восток» в одной из публикаций «Нового времени».

Газета «Новое время» издавалась А. С. Сувориным, ее критиковали представители самых разных политических взглядов, но при этом газета была живой, по-европейски информативной в отношении новостей и имела много подписчиков. В тот период «Новое время» поддерживало позиции славизма. И с этой точки зрения статья Леонтьева «Наше болгаробесие», — где он описывал, как во время пребывания в Турции понял «с ужасом и горем, что благодаря только туркам и держится еще многое истинно православное и славянское на Востоке»[2], — разумеется, была фанариотской! Ответом на эту критику в суворинской газете и стало второе леонтьевское «письмо отшельника» — «О пороках фанариотов...».

Прозвище «фанариот» Леонтьева не обидело: вот если бы его назвали «либералом» — он бы вскипел! (Ведь либералом может оставаться или «очень неспособный и слишком простодушный человек», или подлец, желающий получить выгоду от таких взглядов, — считал Константин Николаевич.) Леонтьев попытался объяснить свой «эллинско-турецкий коллаборационизм» (в чем его обвиняли). Он искренне считал, что влияние турок благотворнее либерального влияния Европы, как не менее искренне и горячо принимал сторону греков в их споре с болгарами... «Избави нас Боже от Христианства Чомаковых и Каравеловых!» — писал он, используя фамилии болгарских лидеров как общее обозначение попыток болгар решить частные племенные проблемы путем забвения церковных заповедей. Леонтьев показывал, что россий-

---

[1] «Брат от брата помогаем...» (Из неизданной переписки К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова) // Нестор. 2001. № 1. С. 171.

[2] *Леонтьев К. Н.* Письма отшельника // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 546.

ское общественное мнение трагично заблуждается в оценке происходящего: «...национально-либеральное начало *обмануло* всех. <...> Болгарское национальное движение противу Патриарха и канонов для России опаснее и вреднее *всего остального на свете*; это самый злокачественный припадок проклятой либерально-прогрессивной (т. е. *космополитической*) заразы!»[1]

Филлипов был от статьи в восторге (жене написал: «А молодец Леонтьев!»). Зато газета Суворина откликнулась на второе «письмо» еще более резкой критикой. Полемика не подогрела интереса читающей публики к «Востоку», напротив, помешала подписке: общественное мнение было на стороне болгар и критические отзывы о направлении новой газеты препятствовали расширению ее аудитории. Некоторые издания («Русская правда», «Сын отечества») даже отказывались печатать на своих страницах *платные* объявления о подписке на «Восток» по идейным соображениям! Казалось, дни газеты сочтены. Но газета просуществовала довольно долго — до 1886 года, несмотря на цензурные и иные трудности.

Тертий Иванович Филиппов, понимая ненадежность газетных заработков, начал хлопотать о месте для Леонтьева. В то время Филиппов получил повышение: он стал вторым человеком в Государственном контроле — ведомстве, следившем за исполнением государственного бюджета, а позже поднялся и выше — до государственного контролера (по сути, министра). Ходатайство такого «большого человека» обнадежило Леонтьева — речь шла о месте в Цензурном комитете с содержанием в три тысячи рублей годовых.

Хлопотал о месте для него и Губастов; константинопольский друг был назначен в Варшаву чиновником при генерал-губернаторе. К концу 1879 года окончательное решение о месте в Цензурном комитете так и не было принято, зато Леонтьев получил приглашение на работу в русскоязычную газету «Варшавский дневник» от ее редактора князя Николая Николаевича Голицына.

Условия были предложены заманчивые: построчная оплата плюс постоянное жалованье в четыре с лишним тысячи годовых. Леонтьев, для которого более стабильное место цензора было предпочтительнее, все же согласился стать сотрудником «Варшавского дневника», опасаясь в ожидании журавля в небе упустить синицу из рук.

Рождество Константин Николаевич встречал уже в Варшаве.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Письма отшельника // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 1. С. 558.

Глава 12
«ОХРАНИТЕЛЬ»

Надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не «гнила».

Константин Леонтьев

Леонтьев предлагал заморозить Россию, дабы остановить процесс надвигающейся революции. Леонтьеву не вняли. Славянофилы считали его чудаком, цари, очевидно, тоже. А зря, совет был дельный. Россию заморозили уже большевики, и до поры до времени заморозка действовала.

Эдуард Лимонов

«Варшавский дневник» был официальной газетой Польского края (Царства Польского). Сначала газета выходила на двух языках — польском и русском, но с 1874 года польскую часть упразднили (правда, официальная часть газеты все же оставалась двуязычной). В первое время газета успешно выполняла свое назначение и расходилась в количестве двух тысяч экземпляров, но постепенно количество подписчиков уменьшилось до ста человек. В результате в декабре 1879 года «Варшавский дневник» был передан в ведение варшавского генерал-губернатора. Чиновник, назначаемый генерал-губернатором (тогда это был Губастов), осуществлял цензуру публикуемых материалов. Редактором «Варшавского дневника» был назначен князь Николай Николаевич Голицын — человек, по словам Леонтьева, «благородный, даровитый, убежденный, твердый». Князь, историк и юрист по образованию, до этого некоторое время исполнял обязанности подольского вице-губернатора, служил в Собственной Его Императорского Величества канцелярии по делам Царства Польского, писал книги и статьи, но газетного опыта не имел.

Приезд Леонтьева казался Голицыну спасением всего дела. Он был уверен, что публицист такого уровня возродит издание. Не случайно в январе 1880 года, сразу после приезда Константина Николаевича, в газете появилась небольшая заметка: «Редакция “Варшавского дневника” приобрела дорогого сотрудника в лице К. Н. Леонтьева, автора столь известных

читающей публике статей о Востоке и церковной жизни». Леонтьев, хоть и поехал в Варшаву только из-за острого безденежья, тоже воодушевился тем, что «Варшавский дневник» может занять достойное место среди периодических изданий Российской империи с читателями и подписчиками далеко за пределами Польши.

Константин Николаевич, приехавший в Варшаву вместе со слугой Николаем[1], снял скромную квартиру и довольно быстро устроился на новом месте. Губастов вспоминал, что его друг, «обласканный князем и княгинею Голицыными, почуяв возможность говорить все, что хочется, принялся излагать свои воззрения на страницах "Дневника"»[2]. Действительно, в том же январском номере, где редакция приветствовала нового сотрудника, была напечатана и статья Леонтьева «Болгарские дела и "Русские ведомости"», а через день появилась первая передовица, написанная Константином Николаевичем.

В ней Леонтьев в сжатом виде изложил те мысли, которые давно оформились в его мировоззрение. Не случайно темой стал столь ненавистный ему либерализм, названный им «разрушающим злом». И следующие передовицы эту линию продолжили. Во-первых, убеждал читателей Леонтьев, либерализм безнационален и космополитичен по определению. Можно сказать «русский консерватизм», но «русский либерализм» будет уже оксюмороном, эдаким «горячим льдом». «Всё созидающее, всё охраняющее то, что создано историей народа, имеет характер более или менее обособляющий, отличительный, противополагающий одну нацию другим... Всё либеральное — бесцветно, общеразрушительно, бессодержательно в том смысле, что оно одинаково возможно везде»[3], — писал он. Для него, сторонника плюрализма культур, общей правды для всех («свобода, равенство, братство!») не бывает, у каждой культуры — правда своя.

Во-вторых, либерализм вреден, потому что он — идеология мещанской середины, большинства. И что это за большинство! Леонтьев использовал слова Милля для его определения: «со-

---

[1] Губастов писал в воспоминаниях, что с Леонтьевым приехала и Варя, но, видимо, ошибся: Мария Владимировна вспоминала, что Варю Константин Николаевич перед отъездом устроил в Калуге у одной дамы, «у которой она не была вполне за прислугу, а подучивалась шить и немного грамоте». Кроме того, сам Леонтьев в «Хронологии моей жизни» напротив 1879 года написал: «*Варя в Калуге*».

[2] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 221.

[3] *Леонтьев К. Н.* Передовые статьи «Варшавского дневника». Варшава, 9 января // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 7.

бирательная бездарность». Большинство всегда против любых крайностей (даже высоких), против любого насилия, а такой подход противоречит принципам организации общества, ведь *неравенство — органично*, естественно, значит, сословные общества, связанные с репрессиями, эксплуатацией, несправедливостью, больше отвечают объективным законам истории.

Либерализм проповедует свободу, но просто давать свободу, считал Леонтьев, — вредно; свобода нужна *для* чего-то, освобождать надо во имя новых, созидающих принципов, а такие принципы всегда *стесняют*, предполагают новую дисциплину, новые жертвы. Свобода же для свободы означает разрушение общества, ибо оно невозможно без ограничений и иерархии. (Но существует ли критикуемая Леонтьевым «свобода для свободы»? Это тоже «горячий лед», в реальности не встречающийся.)

Благодаря либерализму происходит постепенное выветривание и подмывание великолепных зданий сословных государств, что уязвляло леонтьевский эстетизм, но дело было не только в культе красоты. Лучше ли стали люди, выше, полнее ли прежнего? Счастливее ли они в либеральных государствах? Константин Николаевич уверенно отвечал: «Нет! Они не стали ни лучше, ни умнее, ни счастливее!.. Они стали мельче, ничтожнее, бездарнее; ученее в массе, это правда, но зато и глупее»[1].

Гражданское равноправие, установившееся в Европе, не сделало людей счастливее по сравнению со средневековыми горожанами или рыцарями, потому что появились новые страдания, новое зло. Какие-то бедствия были устранены, зато люди стали эмоционально впечатлительнее и требовательнее к условиям жизни — «претензий в толпе больше». И вот тут Леонтьев был прав: разные социологические опросы показывают, что субъективное ощущение себя счастливыми не зависит ни от демократичности общественного устройства, ни даже от экономического процветания — жители Панамы и Коста-Рики чувствуют себя счастливее американцев.

Общее счастье человечества вообще недостижимо, глупо даже верить в этот несбыточный идеал как во что-то реальное, — считал Леонтьев. Земная история всегда тесна для воплощения абсолюта. «Смешно служить такому идеалу, не сообразному ни с опытом истории, ни даже со всеми законами и примерами естествознания. Органическая природа живет разнообразием, антагонизмом и борьбой; она в этом антагонизме обретает единство и гармонию, а *не в плоском унисоне*. Если история есть лишь самое высшее проявление органической жизни на земле (с чем глубоко верующий Леонтьев, конечно, не

---

[1] Там же. С. 8.

был согласен. — *О. В.*), то и тогда разумный реалист не должен быть ни демократом, ни прогрессистом...»[1]

Если наличие конституции нигде еще не сделало людей добрее и нравственнее, то забвение религиозной веры не раз в истории приводило общества к анархии и падению. Начало религиозного чувства лежит в страхе Божием; жизнь в обществе без такого страха тем более невозможна: «начало христианской премудрости есть страх Божий. А за неимением страха Божия недурен страх Бисмарка, Муравьева-Виленского[2] и императора Николая... Очень недурен этот страх!..»[3]

Человеческие общества должны жить «смесью страха и любви»: «...священный ужас перед известными идеальными пределами; любящий страх перед некоторыми лицами... благоговение при виде даже одном иных вещественных предметов, при виде иконы, храма, утвари церковной... Вот что созидает нации, вот что их единит, ведет к победам, славе и могуществу»[4]. Сильная власть и «мистическая дисциплина» одни могут противостоять всемирному усреднению.

Леонтьев не учитывал, что страх «склеивает» общество в лучшем случае на два-три десятилетия: невозможно слишком долго бояться. (Уж на что «любящий страх» сталинского времени был «искренним» и «непритворным», но и тот закончился довольно быстро с исторической точки зрения.)

Парадоксально, но проповедь страха и жесткой иерархии в социальной жизни отнюдь не значила в случае Леонтьева отрицания значения личности. Сильное государство, по его мысли, как раз и создает гарантии для существования личности, ее безопасности. Индивидуальная свобода возможна только в государственных рамках, — Леонтьев воспевал «священное право насилия» со стороны государства, но и его роль в создании сильных личностей и героев не забывал. Консерватизм в его устах не противоречил индивидуализму, наоборот, *индивидуализм становился несовместим с либеральным прогрессом.*

«Государство обязано всегда быть грозным, иногда жесто-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Передовые статьи «Варшавского дневника». Варшава, 9 января // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 9.

[2] *М. Н. Муравьев-Виленский* (1796—1866) — чрезвычайно противоречивая историческая фигура: либералы называли его «вешателем», консерваторы видели в нем эффективного политика; был виленским, гродненским, ковенским и минским генерал-губернатором, известен своими жесткими методами управления.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Я. Соловьеву от 1 марта 1879 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 230.

[4] *Леонтьев К. Н.* Передовые статьи «Варшавского дневника». Варшава, 9 января // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 10—11.

ким и безжалостным, потому что общество всегда и везде слишком подвижно, бедно мыслью и слишком страстно...»[1] — писал Константин Николаевич, обосновывая необходимость *стеснения* для существования социума. Потому либеральная деятельность крайне вредна — она разрушает стесняющие ограничения во имя иллюзии — царства разума и правды с электрическими солнцами и телефонными линиями от Камчатки до мыса Доброй Надежды.

Леонтьев обращался к готовящим такое несбыточное будущее либералам, показывал вредность и абсурдность их деятельности: «Готовьте! Готовьте, честные граждане, готовьте будущее! Учите детей ваших роптать на власти... Учите их не любить *никаких* крайностей, учите набожность звать ханжеством... Готовьте, готовьте будущее! Рассылайте поскорей по народным школам анатомические атласы, чтобы крестьянские дети... узнали бы скорей, что души у человека нет нигде, а все одни нервы и нервы»[2].

Противоядием для либерализма, был убежден Леонтьев, должна стать религиозная вера, ведь «когда веришь, тогда знаешь, во имя чего стесняешься и для чего <...> переносишь лишения и страдания»[3], — религия в общественной жизни подобна сердцу в организме. Пока «религия жива, все еще можно изменить и все спасти, ибо у нее на все есть ответы и на все утешения. А где нет утешений, там есть кара и принуждение, оправданные не притворными фразами "горькой необходимости" и т. п., а правом Божественным, вполне согласным с законами вещественной природы, ненавидящей равенство»[4].

Такие статьи центральной ежедневной газеты Польского края не могли не обратить на себя внимания. Уже первые номера «Варшавского дневника» после назначения Голицына и изменения состава редакции были встречены ироничной критикой либеральных журналистов. Причем критиковали не только позицию газеты, но и ее профессиональный уровень, писали, что обновленный «Дневник» сух, вял и бесцветен. Вряд ли это относилось к передовицам Леонтьева, но в целом газета действительно не стала в одночасье увлекательной и живой. Число подписчиков росло, но мечты князя и Леонтьева о превращении «Дневника» в популярное, но солидное издание оказались несбыточными.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Передовые статьи «Варшавского дневника». Варшава, 10 января // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 15.

[2] Там же. С. 15—16.

[3] Там же. С. 16.

[4] Там же. С. 22.

Губастов в воспоминаниях объяснял, почему желать этого было легко, а сделать трудно: «Прежде всего потому что “Дневник”, будучи официозным органом главной местной власти, поневоле стеснен в своих суждениях... А потом, сотрудников, кроме девицы Писаревой, сестры знаменитого писателя-радикала... князь от Берга[1] не наследовал. <...> Выяснилось, что материальные средства редакции “Дневника” вовсе не так значительны, как рассчитывал князь Голицын»[2].

Хорошая газета не может определяться одним человеком — Леонтьеву нужны были коллеги. Князь писал статьи редко, то ли по недостатку идей, то ли по журналистской неопытности (Губастов среди возможных причин называл и лень). Передовые статьи писал Леонтьев (у него-то недостатка в идеях не было), иногда — Губастов (о внешней политике), а кое-каких авторов Леонтьев пригласил к сотрудничеству из круга своих знакомых, разослав интересным, с его точки зрения, людям письма с предложением написать для «Дневника».

«Босфорский друг» называл и еще одну причину того, почему тираж газеты рос медленнее, чем ожидалось: «Мало знакомый с русско-польскими отношениями, он (Леонтьев. — *О. В.*) не касался их, а выбирал темы наиболее ему дорогие — громил либерализм во всех его проявлениях в России и в Европе, или рассуждал о предметах мало интересных для Варшавян: об убийстве Куммерау[3], об истории г. Петербурга и пр.»[4]. Действительно, читая статьи Леонтьева из варшавской газеты, понимаешь, что он не смог стать настоящим *журналистом*, умеющим на лету схватывать специфику своей читательской аудитории. Леонтьев писал так, как будто его читатели жили на Невском проспекте или Тверской улице, совершенно пренебрегая польской тематикой. В письме Филиппову он признавался: «“Варшавский дневник” мог бы, конечно, совершенно поглотить меня, если бы он был не Варшавский, а Московский»[5].

---

[1] Предыдущий редактор «Варшавского дневника» Н. В. Берг (однофамилец приятеля Леонтьева).

[2] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 220—221.

[3] Речь идет о трагическом происшествии в Константинополе: турок (которого потом признали сумасшедшим) напал на представителя российского правительства в Порте М. К. Ону (приятеля Леонтьева), но случайно убил находившегося рядом полковника Куммерау.

[4] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 221.

[5] Письмо К. Н. Леонтьева к Т. И. Филиппову от 22 февраля 1880 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 771.

К тому же Леонтьеву решительно не нравилась сама Варшава. Город казался ему слишком европейским и провинциальным одновременно. Он даже в одной из передовиц (рискуя ранить чувства жителей города) писал: «Как бы долго русский человек ни жил в Варшаве, он вполне дома себя чувствовать здесь не может. Чуждый вид города, не имеющего ни того всемирного значения и тех вещественных удобств, которыми богаты европейские столицы, ни дорогих сердцу нашему национальных особенностей, привлекающих нас к Московскому Кремлю, неудобные холодные квартиры, безумная дороговизна, общество, в сношениях с нами сдержанное и недоверчивое... Все это, вместе взятое, действует невесело на русского жителя Варшавы»[1].

Помимо передовиц, Константин Николаевич вел в газете рубрику «Сквозь нашу призму», опубликовал несколько очерков и больших статей, организовал доставку корреспонденций из Москвы и Константинополя и т. д. Потому, «поработав усердно в течение 4 месяцев, Леонтьев, по непривычке к принудительным условиям газетного труда, почувствовал в мае утомление», — вспоминал Губастов. Константин Николаевич собрался в Кудиново, обещая Голицыну присылать оттуда статьи. Но главное — он планировал заехать в Москву и Петербург, чтобы поискать там для «Дневника» денежную поддержку. Несмотря на выросшую подписку (теперь ежедневно продавалась уже тысяча экземпляров «Дневника»), финансовое положение газеты оставляло желать лучшего и Леонтьев был ей не по карману как слишком дорогой сотрудник.

В Петербурге поиски денег для «Варшавского дневника» оказались безрезультатными. Он продолжил поиски меценатов в Москве. Побывал у князя Мещерского, просил содействия у Филиппова, даже обоих викарных епископов посетил... Однако раздобыл лишь около тысячи рублей, которые тут же отослал Голицыну. Газету хвалили, она «входила в моду» у властей, но денег на нее никто давать не хотел.

В Кудиново он приехал совсем больным и расстроенным, но все же отправил еще одно письмо в поисках денег — Константину Петровичу Победоносцеву. «Высокое внимание, которым Вы удостоили литературную деятельность мою в Варшавском дневнике, побуждает меня обратиться к Вам с полной откровенностью по поводу... этой газеты»[2], — писал

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Передовые статьи «Варшавского дневника». Варшава, 21 февраля // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 62.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. П. Победоносцеву от 27 мая 1880 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 3. Ед. хр. 2. Л. 1.

он и просил десять тысяч рублей для поддержания «Дневника», сообщая, что князю Голицыну очень трудно выпускать газету без достаточного финансирования, а сам он уже сделал «все что мог в обеих столицах». Победоносцев действительно обратил внимание на статьи Леонтьева — написанные «так, как у нас еще не решались писать», но финансовой помощи проситель и здесь не получил.

Впрочем, «Варшавский дневник» не всем нравился даже в консервативном лагере. Тот же Иван Аксаков, например, удивлялся существованию газеты на казенный счет: мол, для поляков настрой «Дневника» неприемлем, русских в Польском крае немного, а в самой России издание не читают. Статьи Леонтьева ему тоже, разумеется, не нравились: он считал его «фанатиком-фанариотом», который лишь компрометирует консервативную точку зрения разными крайностями.

Думаю, Аксаков не был прав в оценке публикаций Леонтьева в «Варшавском дневнике». Наверняка Константин Николаевич не раз «перегибал палку» в своей защите веры, Церкви, сильной власти, в своем отталкивании от Европы. Но зато не раз он замечал в своих статьях то, мимо чего проходили другие трибуны и общественные деятели, видел слабые стороны непогрешимых, казалось бы, точек зрения, а многие его «невероятные» прогнозы сбылись. Да и темы, которые затрагивал идейный охранитель, — о смертной казни, возможности труда без принуждения, о неравенстве, — не устарели даже сейчас; они могут найти место и на сегодняшней газетной полосе.

Именно в одной из статей «Варшавского дневника» Леонтьев дал свой знаменитый рецепт «подмораживания» России[1], чтобы остановить либеральное гниение. Он характеризовал, например, того же Победоносцева как человека полезного именно потому, что тот «подмораживал» всё вокруг себя. Победоносцев — «реакционер в самом тесном смысле слова», «“невинная девушка” и больше ничего!», но в ситуации разложения и расползания тканей общественного организма, когда наступает вторичное упрощение, мороз благодетелен, и деятели, подобные Победоносцеву и Каткову, — нужны и полезны.

Газетная необходимость работать каждый день заставила Леонтьева высказаться по самым разным вопросам. Высказывался он как идейный охранитель — ничего демократического и либерального в его писаниях того времени не осталось, былые юношеские убеждения рассматривались им как глу-

[1] *Леонтьев К. Н.* Передовые статьи «Варшавского дневника». Варшава, 1 марта // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 73.

пость и недомыслие. Государство — это крепкая власть, власть — это всегда насилие, развитие без насилия — невозможно, что же стенать по этому поводу и изобретать несбыточные химеры всеобщего счастья? Бесперебойное функционирование общественного организма возможно при наличии *страха* в сердцах подданных. «Неужели мы не поймем, наконец, что афонский монах или набожный московский купец, которые говорят: Бога бойтеся, Царя чтите, и при слухе о надеждах прогресса, с удивлением и неверием пожимают плечами, гораздо даже более — реалисты, гораздо ближе к реальной истине, чем те европейцы, которые какой-то свободой без страха хотят дисциплинировать государства... Берегитесь! Близок страшный час... Откуда может начаться пожар в Европе, мы не знаем, но пламя таится под пеплом»[1], — предостерегал Леонтьев. Как мы знаем, пожар действительно начался... Вместе с тем знаем мы уже и о том, что «терпение и любовь к предержащим властям за то уже только, что они Власть» тоже ничем хорошим не заканчиваются — XX век богат на иллюстрации, опровергающие эту «охранительную» идею.

В этот период жизни Леонтьев выработал свой идеал общественного устройства. Позднее в одном из писем он описывал его так:

1) государство должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно;

2) Церковь должна быть независимее нынешней;

3) быт должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном от Запада, единстве;

4) законы, принципы власти должны быть строже; люди должны стараться быть лично добрее, одно уравновесит другое;

5) наука должна развиваться в глубоком презрении к своей пользе[2].

Прав был Тертий Иванович Филиппов, когда назвал своего друга «вдохновенным жрецом священных охранительных начал»!

Темы для статей Леонтьев выбирал те, которые интересовали его самого (никакого «заказа» от Голицына не существовало). Потому не случайно появилась его статья о полемике И. С. Тургенева с публицистом консервативного направления Б. М. Маркевичем. Маркевичу принадлежало крылатое выражение, довольно популярное в то время: в одной из статей он

---

[1] Там же. С. 21—22.

[2] Так описал свой социальный идеал К. Н. Леонтьев в письме священнику Иосифу Фуделю спустя несколько лет. См.: *Фудель И.* Культурный идеал К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 169—170.

назвал либеральных журналистов «мошенниками пера, прелюбодеями мысли и разбойниками печати». Суть же полемики была такова: Маркевич напечатал в «Московских ведомостях» письмо, обвинявшее Тургенева в потворстве «нигилизму». Раздосадованный Тургенев ответил, назвав своего противника «низкопоклонником». После этого в спор включились многие столичные газеты.

Не остался в стороне и «Варшавский дневник». Леонтьев, думаю, не мог быть равнодушен к тому, что было связано с Тургеневым, — они были слишком близки в молодости, он слишком восхищался когда-то своим старшим другом и покровителем, слишком сильно разочаровался в нем позднее, слишком обидным было письмо Тургенева с советом бросить литературу и заняться историческими статьями... Всё было «слишком» для равнодушного отношения.

Разумеется, Леонтьев принял в споре сторону Маркевича — они были «одной группы крови», оба являлись консерваторами, охранителями разрушающихся на глазах остатков благородной старины. «Все изящное, в каком бы то ни было роде, являясь в действительности, не может не крепить национальной жизни, оно красит и славит ее. Указывая людям на это прекрасное, писатель служит родине», — писал Леонтьев, считая, что Маркевич именно так и поступает, любуясь дворянским бытом, противопоставляя дворянские идеалы наступающему мещанству. Тургенева же Константин Николаевич обвинил — не больше и не меньше! — в отсутствии честности художника, поскольку считал, что Иван Сергеевич «идейность» ставит выше художественного вкуса.

Леонтьев был убежден, что *художник всегда должен плыть против течения*:

«Именно эстетику-то приличествует во времена неподвижности быть за движение, во времена распущенности за строгость; художнику прилично было быть либералом при господстве рабства; ему следует быть аристократом по тенденции при демагогии; немножко libre penseur[1] (хоть немножко) при лицемерном ханжестве, набожным при безбожии... то есть не гнуть перед толпой

"Ни помыслов, ни шеи"»[2].

По тональности статьи получалось, что Тургенев перед толпой заигрывает, шею гнет и старается быть в русле либераль-

---

[1] Libre penseur — свободомыслящий (*фр.*).

[2] *Леонтьев К. Н.* Передовые статьи «Варшавского дневника». Варшава, 19 января // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 33.

ных воззрений, господствующих среди интеллигенции. (Леонтьев как будто не допускал возможности, что «тенденция» в сочинениях Ивана Сергеевича может быть обусловлена его искренними убеждениями, не только «модой».) Дошла ли эта обидная статья в провинциальной варшавской газете до Тургенева, нет ли — неизвестно.

Статьи в «Варшавском дневнике» не были просто откликами на злобу дня. Не случайно Леонтьев стал думать об их переиздании буквально через год. Это свидетельствует о том, что статьи эти сам автор ценил (как он заметил Ольге Новиковой, написано было *«хорошо и не слабо»*). Потому вряд ли прав Иваск, когда замечает, что «все его (Леонтьева. — *О. В.*) варшавские писания производят жалкое впечатление»[1]. Да, с леонтьевской позицией можно не соглашаться (мне тоже отдельные его тезисы кажутся сомнительными), но жалкого впечатления леонтьевские статьи уж точно не оставляют: перед глазами встает уверенный в своей правоте, последовательный в отстаивании избранной позиции консерватор, наделенный даром слова.

Впрочем, мы забежали немного вперед, потому что летом 1880 года о переиздании варшавских статей речи еще не было. Леонтьев, сильно простуженный, не выходил два месяца из своего кудиновского флигеля. Он был так слаб, что даже письма диктовал, а не писал сам. Ухаживать за ним приехала Мария Владимировна. В июле ему стало лучше, и в солнечные дни он грелся на крылечке своего флигеля.

Тогда же в Кудиново заехала погостить на пару дней Людмила Раевская и буквально сразу заболела там дизентерией. В то время это могло стоить ей жизни. Всё обошлось, но «Ласточка» провела в постели около месяца, что перевернуло тихую кудиновскую жизнь вверх дном. В помощь Константину Николаевичу пригласили доктора из Калуги. Только через месяц Людмила смогла покинуть Кудиново. Леонтьев писал Губастову: «Я первый раз в жизни был рад, что она уехала, до того я был измучен!»[2]

В конце июля в имение приехала Елизавета Павловна. Она давно хотела вернуться к мужу, и Константин Николаевич решил принять ее — хотя бы ради прошлого. Он признавался Н. Я. Соловьеву: «Ни одну женщину я так не любил душою, да, именно душою, как ее; я много грешил, много изменял ей

---

[1] *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 2. СПб., 1995. С. 483.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 3 сентября 1880 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 90.

фантазией и плотью... но все соперницы ее знали, что душой я ее более всех люблю. Да она и стоила больше всех»[1].

Леонтьев послал жене деньги на дорогу, но в Кудинове тогда Елизавета Павловна так и не появилась. Константин Николаевич собирался уже послать за женой Машу или Катю. Однако Лизу в Кудиново привезла ее сестра Леля. Леонтьев Лелю даже видеть не захотел и попросил Машу передать ей, чтобы она тут же, на тех же самых лошадях, уезжала. Обида за бегство жены, на которое ее подбила сестра, в душе осталась.

Леонтьевых поразил вид Елизаветы Павловны: одежды на ней было мало, да и та изорвана и грязна, в волосах нашли вшей (и долго потом выводили их скипидаром). Ни Маша, ни Константин Николаевич поначалу не поняли, что Лиза не в себе.

Леонтьев даже беседовал с ней долго наедине, а когда она засмеялась в ответ на его слова: «Лиза, что же ты сделала?!» — он обиделся и выбежал из комнаты. Однако через несколько часов стало очевидно, что Елизавета Павловна сошла с ума. Леонтьев описывал ее состояние в письме Губастову: «...она по причинам мне неизвестным и о которых мы даже не спрашиваем, *впала в слабоумие* и в какое-то полудетское бесстрастие. — Ее кормят, поят; прогуливают; следят за ней; — она молится; меня очень боится; слушается даже Варю охотно и вообще тиха и безвредна; стыдится при мне есть и больше все сидит по углам молча и с работой. — В лице ужасно и не по годам постарела!»[2]

Маша с согласия Константина Николаевича отвезла Елизавету Павловну в Оптину Пустынь к отцу Амвросию. Поговорив с беглянкой, старец посоветовал Маше оставить ее на время в Оптиной, а там видно будет.

Маша поселилась с ней в монастырской гостинице, потом сняла небольшую квартирку в Козельске, нашла Елизавете Павловне доктора, который лечил ее от истощения, и, пригласив для ухода за ней мать Николая, вернулась в Кудиново. Лизу часто навещала Катя Самбикина (которая по-прежнему жила в Оптиной Пустыни гувернанткой внучек монахини Ключаревой).

Помогали Лизе и беседы с отцом Амвросием, которого она очень полюбила: после разговоров с ним заметно успокаива-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Я. Соловьеву от 7 марта 1879 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 233.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 3 сентября 1880 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 662.

лась, веселела, иногда даже что-то напевала... Что с ней произошло за последние годы, ни старец, ни близкие старались ее не спрашивать, потому что при расспросах Лиза сразу становилась беспокойнее, в глазах появлялся испуг, иногда она плакала. Маша была убеждена, что с ней произошло «что-то ужасное». Через месяц состояние Лизы стало заметно лучше, и отец Амвросий благословил ее вернуться в Кудиново.

Леонтьев был рад возвращению жены. В письме Губастову он так объяснял свое отношение к болезни Лизы: «Я считаю милостию Божией и счастием, что она в таком положении; она покойна, ничего кроме одежды, сна, пищи и молитвы изредка *не желает*; и мне гораздо приятнее заботы по-христиански и с истинным прощением любви Христианской о женщине *убогой* и смирной; чем видеть перед собой жену здоровую, но беспокойную и требовательную»[1]. Некоторый эгоизм в такой оценке произошедшего, несомненно, можно усмотреть.

В состоянии Елизаветы Павловны довольно часто бывали моменты просветления, когда она вела себя почти как здоровый человек, и кудиновская жизнь потекла своим обычным чередом. Маша описывала эту жизнь так:

«Утро до 1 часу дня — К<онстантин> Н<иколаеви>ч занимался у себя во флигеле; вставал он не ранее 8 часов; утренний кофе подавала ему Варя, и несколько минут он с нею беседовал. <...> — После занятий... шел иногда в сад пройтись, или принимал больных.

Здесь не лишне будет упомянуть об отношениях К<онстантина> Н<иколаеви>ча к больным. — Медицину он терпеть не мог, т. е. именно свою невольную профессию. — Но к больным относился с искренним состраданием, а пустой чувствительности к ним ни в ком не терпел. — К серьезно больным он необыкновенно был добр; не говоря о медицинской помощи, лекарствах, — он просто помогал им матерьяльно. — Если бы были средства — в Кудинове, конечно, была бы устроена больница»[2].

Маша вспоминала о том, как Леонтьев вылечил мальчика с ревматизмом в суставах, хотя лечение требовало ежедневных перевязок в течение двух месяцев, и таких случаев было в кудиновской жизни немало.

«В 2 часа обедали, — продолжала Маша, — после обеда до вечернего чая (в 5 часов) — время проходило или на крылечке

---

[1] Там же. С. 662.

[2] *Леонтьева М. В.* Отрывок из воспоминаний (Как проводил время К<онстантин> Н<иколаевич> в Кудинове) // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 135.

в общих беседах, или К<онстантин> Н<иколаеви>ч уходил к себе во флигель на отдых; или же шел с молодежью за цветами или за грибами, смотря по сезону. — Вечерний чай пили все вместе: мы и Николай, и Варя, и Феня, если она нас навещала; прислуживать она уж не ходила. — После вечернего чая предпринималась дальняя прогулка по окрестностям Кудинова. — Если мы только вдвоем шли — разговоры были, конечно, деловые или планы — как устроить К. Н-чу будущую зиму; но большею частию Варя и Николай были с нами, и тогда шла веселая беседа»[1]. Дни разнообразились, если приходил кто-нибудь из «кармановских платочков».

Мария Владимировна вспоминала, что у обитателей и гостей Кудинова в то лето было предчувствие, что имение скоро обезлюдеет, что сохранить его вряд ли удастся: «Всеми как-то чувствовалось, что скоро и летом Кудиново запустеет»[2]. Константин Николаевич получил известие о финансовом крахе «Варшавского дневника». Денег на жалованье Леонтьеву газета более не имела (хотя на дружеские отношения с князем Голицыным прекращение сотрудничества не повлияло). Это известие сильно удручило Леонтьева — ведь с приездом Лизы, которой нужен был постоянный присмотр, денег требовалось больше.

Губастов писал о семейной жизни своего друга: «Леонтьев неоднократно утверждал, что он счастлив в супружестве. Нисколько не противореча ему, я скажу только, что по временам семейные заботы и дрязги были ему тягостью. При его неумении, несмотря на большой талант и работоспособность, зарабатывать деньги и при еще большем неумении распоряжаться ими, ему приходилось, как семейному человеку, испытывать лишения, угнетавшие его и служившие иногда помехою писать»[3].

Да, действительно, безденежье мучило и угнетало Константина Николаевича почти всю жизнь, но особенно остро он его почувствовал после отставки. Все его заботы теперь были о вещах простых и понятных, но иногда для него трудно достижимых — «о кофее в ноябре, о *теплой* шапке новой, о старых слугах, оставшихся в имении, которым тоже надо есть и которых бросить я *не могу*!» Он написал Т. И. Филиппову, что место в Цензурном комитете было единственным спасением от окончательной катастрофы.

---

[1] Там же. С. 135—136.

[2] Там же. С. 136.

[3] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 228.

Тертий Иванович, пытаясь ободрить его, отвечал, что место должно освободиться со дня на день, к тому же задумывается и новая большая газета с участием самого Филиппова, Победоносцева и графа Лорис-Меликова[1]. Если эти планы осуществятся, то Леонтьева конечно же пригласят к сотрудничеству.

В конце августа Мария Владимировна вернулась к своим обязанностям гувернантки в семью, которая находилась в то время в Козельске. Константин Николаевич тоже отправился в Оптину Пустынь на Успенский пост и вместе с прислуживавшим ему Николаем занял келью в монастырском скиту. Елизавету Павловну с Варей определили на козельскую квартиру, неподалеку от Машиного жилья.

Настроение Леонтьева после неудачи с «Варшавским дневником» было подавленным. Письма Филиппова о скором его назначении в Цензурный комитет не ободряли. Он отвечал Тертию Ивановичу, что ему уже ничего не хочется — ни нового места, ни новой газеты, ни монашеского послушания. «Еще лучше цензорства в Москве здесь каких-нибудь 75 руб. серебром в месяц *до гроба и ровно ничего не делать.* — Вот блаженство!.. Вот счастье!.. ни газет не читать, ни *сочинять* ничего самому к сроку и за деньги»[2].

Однако нужда заставляла браться за перо. Он попытался закончить для Каткова «Египетского голубя», но жаловался, что не может заставить себя писать. Тем не менее в 1881 году «Русский вестник» начнет публиковать повесть. Публикация не раз будет останавливаться, работа над повестью растянется на годы (сюжет ее будет меняться в соответствии с возрастом и взглядами Леонтьева). И, в конце концов, когда в 1885 году Константин Николаевич в очередной раз пообещает Каткову окончание, тот от него откажется: читатели уже забудут про

---

[1] М. Т. Лорис-Меликов в последние месяцы царствования Александра II занимал пост министра внутренних дел (назначен 8 августа 1880 года). Получил прозвище «бархатного диктатора» как сторонник либеральных реформ: по его инициативе в августе 1880 года было упразднено Третье отделение (орган политического надзора и сыска); являлся автором конституционного проекта, обсуждение которого было назначено на 4 марта 1881 года, но 1 марта Александр II погиб от бомбы народовольцев. Многие винили Лорис-Меликова в недостаточных мерах по охране государя; на следующий день после обнародования Манифеста Александра III «О незыблемости самодержавия» от 29 апреля 1881 года вынужден был подать в отставку. Его преемником стал граф Н. П. Игнатьев, бывший начальник К. Н. Леонтьева по дипломатическому ведомству.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к Т. И. Филиппову от 10 октября 1880 г. // Цит. по: *Коноплянцев А. М.* Жизнь К. Н. Леонтьева, в связи с развитием его миросозерцания // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 114.

повесть. Леонтьев напишет еще несколько тетрадок текста, но «Египетский голубь» так и не будет завершен[1].

В Оптинском скиту один день был похож на другой. Леонтьев даже запрещал Маше, получавшей за него «Московские ведомости», рассказывать ему о прочитанном. Он усердно молился, несколько раз навестил поправившуюся Елизавету Павловну, раз в неделю беседовал с отцом Амвросием, а по вечерам играл с Николаем «в бирюльки». Походило на то, что нарочитой монотонностью жизни Константин Николаевич пытался излечить себя от излишних надежд, отгородиться от мира.

Впрочем, мир напоминал о себе унизительной необходимостью где-то изыскивать деньги, что подчас вытесняло из головы все остальные мысли. Как писал Леонтьев Филиппову: «Действительность вопиет громко: "Смотри! Ты лишен и того, что имеют многие скотоподобные люди, и у тебя нет и не будет ни 75, ни 50 руб. в месяц верных и обеспеченных. У тебя есть лишь 49 руб. пенсии, которые ты должен отдавать своей доброй и убогой (умом убогой) жене и ее служанке на содержание в Козельске..."»[2]. Подавленному настроению способствовало и плохое самочувствие: возобновился хронический катар горла. Леонтьев воспринимал свои болезни как медленный распад организма и с ужасом ощущал, что стар.

В конце осени леонтьевское прозябание было прервано. 19 ноября 1880 года хлопотами Тертия Ивановича Филиппова Леонтьев был назначен исправляющим должность цензора Московского Цензурного комитета с тремя тысячами рублей содержания в год. Хотя должность эту он принял лишь по необходимости, новое назначение вывело его из того оцепенелого состояния, которое овладело им в последние месяцы.

В декабре 1880 года он уехал на службу в Москву.

---

[1] Ю. П. Иваск назвал эту повесть «самым тонким и музыкальным произведением» К. Н. Леонтьева.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к Т. И. Филиппову от 10 октября 1880 г. // Цит. по: *Коноплянцев А. М.* Жизнь К. Н. Леонтьева, в связи с развитием его миросозерцания // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 116.

Глава 13

ЦЕНЗОР

Но неужели мы, русские (и все славяне с нами вместе), в самом деле раз навсегда уже прикованы к разбитой колеснице Запада?..

Константин Леонтьев

В Москве Леонтьев обосновался неподалеку от Новинского переулка в дешевой квартирке, с двумя слугами — пожилой кухаркой, Таисой Семеновной Латышевой, которую он привез из Кудинова, и неким Сергеем, заменявшим ему некоторое время Николая. Новый, 1881 год Константин Николаевич встретил один.

Ему очень не хватало жены и Вари — именно они были для него теперь семьей. Леонтьев признавался в письме Губастову: «Я никогда ее (Елизавету Павловну. — *О. В.*) так еще не любил и не жалел... Равнодушие мое к литературе и т. п. — полное и все растет и растет... Я не знаю, как избавиться даже от повестей для Каткова (которого деньги мне нужны), и хотя время найдется, когда я больше привыкну к тонкостям новой службы, но, Вы понимаете, мне все равно, кроме жены и Вари, с которою они очень сошлись (Бог-то как милостив!), а Варя вдобавок становится такая прекрасная, верная, сериозная дочь, что поискать таких! Оптинские старцы ее уважают. Вся моя жизнь теперь в них и для них!.. Все мои мечты — это оставить им что-нибудь... <...> Я счастлив теперь в своей семье и не боюсь более смерти — чего же большего человеку желать?.. Благодарю Бога — и за место, за "хлеб насущный", и за примирение с женой, и за Варю, и за равнодушие мое к России и к своей собственной славе, и за друзей, которые меня не оставляют»[1].

Елизавета Павловна с Варей и Николаем перебрались из Козельска в Москву только в феврале. А летом — в отпуск — и

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 20 декабря 1880 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). С. 252.

Маша пожаловала. Никому из них не суждено было вернуться в Кудиново (только Николай, равнодушный к кудиновскому очарованию, съездит туда на несколько дней за вещами барина). Начинался следующий этап их жизней.

Цензором Константин Николаевич прослужил шесть с лишним лет. С начальством ему повезло: председатель Московского Цензурного комитета[1] был одних лет с Леонтьевым, тоже учился в Московском университете, в новом подчиненном видел творческого человека и службой не стеснял. Цензорская работа показалась Константину Николаевичу легкой — он необыкновенно быстро справлялся с заданиями (правда, подчас из нежелания читать те или иные произведения), причем работу можно было исполнять дома, посещая лишь заседания Цензурного комитета. Свободного времени оставалось достаточно, хотя само по себе цензорство Леонтьеву мало нравилось — он сравнивал его со стиркой чужого (большей частью грязного) белья. Потому и друзьям о своей службе рассказывал мало. Тот же Губастов ничего не смог вспомнить об этой стороне леонтьевской жизни, а приятели из новых коллег не оставили воспоминаний. В биографиях Леонтьева упоминаются лишь три забавных факта, которые хорошо его характеризуют как цензора.

Одна история о том, как Леонтьев получил анонимное письмо, состоящее всего из двух слов: «г..., брат». Константин Николаевич положил записку в конверт и долгие годы хранил в своем столе — «чтобы не зазнаваться».

Второй случай характернее. На проверку к Леонтьеву попало стихотворение, где была строка: «воруют даже генералы». Забавляясь, цензор переделал ее так: «воруют даже либералы», и в таком виде стихотворение пошло в печать.

Третий же дошедший до нас факт — рассказ о том, как однажды в десятом часу вечера домой к Леонтьеву явился незнакомый купец. Константин Николаевич не сразу понял, в чем дело, столь сбивчивы были объяснения посетителя. В конце концов выяснилось, что некий литератор публикует роман, в котором описывает любовное приключение дочери купца, делая его достоянием всех знакомых и родственников. Узнал о своем позоре несчастный отец от самого автора — купец романов не читал и наверняка остался бы в полном неведении о происходящем. Но «благородный» автор попросил у него две тысячи рублей за прекращение публикации. Леонтьев был возмущен и пообещал купцу, что печатание романа будет остановлено. Тот решил его «отблагодарить», дав 300 рублей. Безденежный Леонтьев был взбешен:

---

[1] Вениамин Яковлевич Федоров.

— Если ты еще раз осмелишься мне сказать про деньги, я вышвырну тебя вон! Иди... Всё будет сделано.

Действительно, публикация романа была остановлена.

«Канонический» перечень историй о цензорстве Леонтьева можно дополнить эпизодом из воспоминаний его молодого друга Г. И. Замараева о том, как Константин Николаевич нажил себе врага в лице другого цензора. Однажды один из сослуживцев Леонтьева — с брюшком и в модном дешевеньком пиджаке — спросил, философствуя на досуге:

— Что такое, по-вашему, хамство?

Леонтьев ответил отвлеченно, абстрактно, но собеседник продолжал недоумевать и настаивать. Тогда раздраженный Леонтьев, отказавшийся от европейской одежды еще на Халках, воскликнул:

— Ах, Господи, как вы не хотите понять? Ну вот вы, например, хам, потому что на вас не кафтан, не поддевка, а европейский некрасивый кургузый пиджачок... Разве вас, например, художник захочет перенести на полотно? А какого-нибудь старого боярина, черногорца, грека в феске перенесет, и будет красиво...

Эти дошедшие до нас истории показательны: Леонтьев не слишком серьезно относился к своим цензорским обязанностям, но забыть рыцарский кодекс чести или отказаться от своего эстетического подхода к действительности его не могли заставить ни нужда, ни служба.

Наступивший 1881 год (начало десятилетия!) стал для Леонтьева временем жизненных изменений.

В начале весны, 1 марта, «охота на царя», объявленная Исполнительным комитетом «Народной воли», завершилась убийством Александра II Освободителя (как стали именовать государя после отмены крепостного права в 1861 году). Поднятый над Зимним дворцом черный траурный флаг свидетельствовал, что Россия вступает в новую эпоху. Несмотря на то что Константин Николаевич критично относился к проводимой Александром II реформаторской политике[1], цареубийство усилило его трагическое ощущение *разложения* России. Леонтьев считал, что в ситуации, когда строго наказываются все виды преступлений, кроме антигосударственных, когда «прогрессистски» настроенной общественностью жизнь царей и их ближайших помощников поставлена вне закона, государство не может нормально существовать.

---

[1] К. Н. Леонтьев считал, что его политика либеральных реформ приблизила Россию к Западу даже больше, чем нововведения Петра I; 25-летие царствования Александра II Леонтьев называл «космополитическим погромом» Российского государства.

В то же время трагическая гибель российского самодержца привела к изменению политики — власть «поправела». Вступивший на престол Александр III под влиянием смерти отца стал проводить гораздо более жесткую политику. Россию пытались «подморозить» — вполне в духе пожеланий самого Константина Николаевича.

Полагая, что теперь его взгляды привлекут более широкое внимание, Леонтьев задумал выпустить свои статьи из «Варшавского дневника» отдельным сборником. Он обратился с идеей его издания к всесильному К. П. Победоносцеву, послав ему письмо с подборкой статей для совместного сборника.

Консервативно мыслящий Победоносцев, учивший когда-то наследника правоведению, теперь стал одним из ближайших советников нового императора. В это время Победоносцев готовил текст Высочайшего манифеста «О незыблемости самодержавия», который будет обнародован 29 апреля 1881 года. Не до сборника было.

От мысли переиздать свои статьи Леонтьев не отказался, но загорелся другой идеей — созданием новой консервативной газеты «Санкт-Петербургские ведомости». В архивах сохранилась составленная им для высокопоставленных сановников «Записка о необходимости новой большой газеты». Он даже ненадолго съездил в Петербург, чтобы обсудить с Филипповым этот проект. Редактором такой газеты Леонтьев видел хорошо известного ему по «Варшавскому дневнику» князя Голицына. Предполагалось, что финансировать газету станет С. М. Третьяков, но вскоре миллионер, известный не только своей страстью к коллекционированию живописи, но и широкой благотворительностью, от идеи поддержки газеты отказался. «Записка» Леонтьева побывала в руках Филиппова, Победоносцева, Игнатьева (ставшего при новом императоре министром внутренних дел), других облеченных властью лиц и обсуждалась более года. Дело закончилось ничем.

Изменения происходили не только в общественной жизни, но и в личной. В 1881 году в Карманове умер Осип Григорьевич Раевский. Похоронив отца, Людмила приехала в Москву к Леонтьеву. Благодаря приезду «Ласточки» Константин Николаевич оставался окружен заботой и вниманием, когда летний отпуск у Марии Владимировны закончился и она уехала. Но покоя в доме все же не было: начались проблемы с Николаем.

Еще в Кудинове у повзрослевших Николая и Вари начался «роман». Константин Николаевич тешил себя мыслью, что «дети» (как иногда он называл их в письмах) поженятся и будут жить рядом, покоя его наступающую старость. Но вместо

свадьбы Леонтьев стал свидетелем серьезной ссоры. Варя решительно оборвала все ухаживания юноши и наотрез отказалась выходить за него замуж. Константин Николаевич, узнавший все обстоятельства, решение ее поддержал. Николай почувствовал себя обиженным, часто «фанфаронил» перед Варей и хозяином. Посоветовавшись с отцом Никодимом[1], Леонтьев отправил Варю к Марии Владимировне в Орел, где она теперь учительствовала.

На смену Варе в Москву выписали Феню — ту самую, что когда-то помогала Маше в Кудинове. Феня превратилась в хорошенькую кокетливую девушку, «вроде куклы», и Николай, конечно, не остался равнодушен к ее чарам, хотя его интерес к Фене поначалу не был взаимным. Юноша очень изменился. Леонтьев писал Губастову, что «из того веселого ветреника, которым мы его знали, он под влиянием... не знаю, чего: болезни ли головного мозга, которую в нем находят доктора, или неудачного выбора в любви, превратился в мрачного, ежеминутно сердитого, и даже опасного человека»[2]. Зимой 1882 года Леонтьев, рассердившись на Николая за непослушание и дерзость, выгнал его из дому, запретив даже показываться на глаза.

Николай устроился дворником в одном из московских монастырей, но о Леонтьевых искренне скучал. Встретив однажды в монастыре Н. Я. Соловьева, попросил его поговорить с Константином Николаевичем, замолвить за него словечко. И Леонтьев, посоветовавшись с духовником, опять принял его в дом.

Первое время юноша вел себя примерно, но вскоре возникла иная трудность — от него забеременела Феня. Речь зашла о свадьбе. Константин Николаевич искренне хотел помочь молодым, дать им какие-то средства на обзаведение хозяйством, но был, как всегда, в долгах. Священник посоветовал ему обратиться за помощью к знакомым (сказав, что бедности стыдиться не надо), и Леонтьев устроил своеобразный сбор средств в пользу молодых. Набралось 225 рублей — сумма, заметная для Николая и Фени. Ну а скромную свадьбу в октябре 1882 года Константин Николаевич им устроил сам, пригласив своих знакомых и друзей — Михаила Хитрово, профессора Астафьева, дипломата Ионина. Леонтьев стал посаженым отцом.

---

[1] С отцом Никодимом, настоятелем Иерусалимского подворья в Москве (в 1883 году он станет Патриархом Иерусалимским), Леонтьев очень сблизился; к Никодиму на подворье часто ходила помолиться и Елизавета Павловна.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 1 января 1883 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 106.

Константин Николаевич отвел молодоженам комнатку в своей квартире, причем сам занимался ее убранством «в русском вкусе». Несмотря на леонтьевские хлопоты, из этого брака ничего хорошего не получилось. Николай действительно был серьезно болен, и болезнь его прогрессировала. Он впадал в бешенство из-за каждого пустяка, Елизавета Павловна подчас боялась его. С болью в душе Константин Николаевич в 1883 году отправил слугу-воспитанника в Оптинскую больницу, потому что жить с ним под одной крышей стало невозможно. Феню он отослал к матери Николая в Козельск и некоторое время помогал им деньгами, ежемесячно посылая небольшую сумму.

История эта помогает понять отношение Леонтьева к домашним и слугам. С одной стороны, он — барин, все должны ему служить и угождать (даже петух не имел права мешать ему кукареканьем в Кудинове!). С другой — он хлопотал о свадьбе для прислуги, готов был идти на унизительную для себя ситуацию сбора денег у знакомых, терпел приступы ярости собственного слуги, выкраивал из скудного бюджета деньги для людей, которые уже на службе у него не состояли... Был ли Леонтьев добр? Конечно. Но он был еще и *патриархален* — чувствовал себя главой семейства не только по отношению к родным, но и по отношению к слугам и воспитанникам. Иваск отмечает в этой связи: «В политике (государства) Леонтьев утверждал жесткое социальное неравенство, но в домашней жизни социальные различия никакого значения для него не имели. Он это и проповедовал: будем свирепы в политике и добры в быту...»[1]

Показательно и его отношение к Варе, которая стала ему полуслужанкой-полудочерью. Как отмечал тот же Иваск, никто из «народников» и «демократов»-писателей не принял в *свою семью* тех самых представителей народа, которых они призывали любить, а вот защищавший сословное неравенство и жесткую власть Леонтьев принял, причем вполне естественно, без надрыва и желания произвести впечатление на окружающих.

Неплохого цензорского жалованья Леонтьеву не хватало. Сначала слишком дорого обошлось обзаведение хозяйством на новом месте — в 1881 году ему даже грозили выселением из нанятой квартиры за неплатежи. Он съехал на другую квартиру, в Малом Песковском переулке. Но ситуация не изменилась вместе с адресом. Он занимал у знакомых по пять, по десять рублей. «Уж я и стыдиться перестал», — жаловался он Филиппову. Известен случай, когда Марии Владимировне

---

[1] *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 2. СПб., 1995. С. 493.

пришлось заложить свое платье, чтобы заплатить за квартиру. А ведь надо было по-прежнему вносить в банк деньги за Кудиново! На его бюджете сказались дорогая московская жизнь, необходимые траты на лечение жены, себя, содержание слуг, без которых обходиться он не мог, да и относился к ним как к родным. Скоро стало ясно: Кудиново не сохранить.

В начале 1882 года имение было продано юхновскому крестьянину Ивану Климову, и долг Малютинскому банку, кошмаром преследовавший Константина Николаевича в течение семи лет, был наконец-то погашен. Кудиновская мебель и портреты из «Эрмитажа» Феодосии Петровны были частично вывезены в Москву, частично отданы на хранение леонтьевскому приятелю Николаю Михайловичу Бобарыкину, имевшему дом недалеко от Оптиной Пустыни.

Леонтьев болезненно переживал потерю родового гнезда, воспоминания о Кудинове мучили его долгие годы. Ситуация с продажей имения была типичной для того времени: большая часть дворянства в результате реформы 1861 года обеднела, так как после обязательной продажи земли крестьянам помещик оказывался не в состоянии организовать рациональную обработку земли. Соответственно, многие хозяйства остались без прибылей, помещики вынуждены были закладывать их и жить на банковские проценты, становясь заложниками курса ценных бумаг. Дворяне разорялись, и нередко имения покупались разбогатевшими крестьянами. Впрочем, в результате реформы таких крестьян-богатеев тоже было мало, для большинства крестьян освобождение от крепостной зависимости обернулось обнищанием: земли выкупались ими дороже рыночной стоимости, да и крестьянские наделы стали меньше, чем были в их реальном пользовании до реформы. Говорили, что реформа ударила «одним концом по барину, другим — по мужику». (Не случайно Леонтьев довольно скоро после 1861 года стал отрицательно относиться к Манифесту об освобождении крестьян: он не был против отмены крепостного права, но экономические и социальные механизмы, запущенные этой реформой, его возмущали.)

Отныне Леонтьев перестал быть помещиком и мог рассчитывать только на собственный заработок. Мечтой стала большая пенсия, на которую можно было бы жить. Константин Николаевич понимал, что его возвращение на государственную службу создает для этого определенные основания, и намерен был продолжать свое цензорство до тех пор, когда вопрос о приемлемой пенсии можно будет решить положительно. О таких его планах знали и Филиппов, и князь Гагарин, и многие друзья.

В декабре 1882 года Леонтьев сильно захворал, и из Орла приехала Маша — еще одним членом семьи, жившим на цензорское жалованье, стало больше. Мария Владимировна трогательно ухаживала за Константином Николаевичем и говорила дяде, что теперь всю оставшуюся жизнь проведет рядом с ним («а мне приходится заставлять себя верить в это, потому что я этого всегда желал»[1], — писал Леонтьев Губастову). Незадолго до приезда Маши у Леонтьева произошел окончательный разрыв с Людмилой Раевской (может быть, возвращение Марии Владимировны отчасти было связано и с этим). Разрыв не был болезненным. По словам Константина Николаевича, это произошло само собой.

Всю зиму «Ласточка» провела с Леонтьевым практически взаперти в московской квартире: он болел, не выходил на улицу и почти никого не принимал. Однообразная жизнь не могла не надоесть молодой еще женщине. Она откровенно сказала Леонтьеву, что жить так дальше не хочет. Он спокойно встретил ее заявление. Как писал Губастову: «Я всегда говорил, что эта женщина много волноваться не станет, а когда ей человек надоест — она его бросит без разговоров и только! — Это имеет свои удобства, и прилично, — но зато кроме равнодушия за это ничем другим заплатить нельзя»[2].

Было время — Леонтьев страстно любил Людмилу Раевскую, но и она готова была пожертвовать ради него отношениями с родными, своим будущим. Около шести лет ее жизнь полностью зависела от леонтьевских настроений, самочувствия, занятий. Людмила занималась кудиновским хозяйством, освоила навыки медсестры, чтобы помогать ему в лечении крестьян, ухаживала за ним самим. Вскоре после расставания с Леонтьевым Людмила Раевская оказалась в женской обители в Шамордине, неподалеку от Оптиной Пустыни[3].

Леонтьев по-прежнему рассказывал о своей жизни К. А. Губастову в частых письмах. Встречались они с «босфорским другом» теперь редко: Константин Аркадьевич получил назначение в Вену, где и прослужил 14 лет подряд. Тем не ме-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 1 января 1883 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 666.

[2] Там же.

[3] Этот монастырь — Казанская Амвросиевская женская пустынь — был образован старцем Амвросием по завещанию его духовной дочери, монахини Амвросии (Ключаревой), у внучек которой учительствовала Екатерина Самбикина. Имение Шамордино было куплено матушкой Амвросией для внучек, но в случае их смерти она завещала устроить там женскую обитель. Девочки-близнецы умерли подростками в 1883 году от дифтерии, а в имении были созданы обитель и сиротский дом. Екатерина Самбикина в 1904 году станет в Шамордине настоятельницей.

нее каждый раз, бывая в отпуске, он проезжал через Москву, чтобы повидать Константина Николаевича. Губастов вспоминал: «Он жил в самой скромной обстановке; обязанности цензора он выносил только ради насущного хлеба и содержания семьи, подумывая охотнее всего об отставке и о переселении в Оптину Пустынь»[1].

Служебному рвению мешало и здоровье. В Москве Леонтьев много болел, зимой неделями не выходил из квартиры, помимо обострявшегося катара гортани, досаждали сильные боли в спине, другие недуги. Тело, когда-то каждодневно требовавшее стольких удовольствий и получавшее их, теперь стало источником каждодневных страданий. В 1882 году дело едва не дошло до операции, которая в то время нередко заканчивалась смертью. Леонтьев, зная, что ему грозит, написал заметку, в которой указал, где можно разыскать его сочинения после смерти. Текст этого «литературного завещания» был отправлен им «хитрой» Ольге Новиковой, а копия — К. Н. Бестужеву-Рюмину.

Близкие надеялись, что деревенский воздух поможет ему окрепнуть. Потому с 1883 года Леонтьевы на лето снимали дачу в Мазилове[2]. Дача была самой простой, зато дешевой.

В Мазилове в жизни «сериозной дочери» Вари произошли важные перемены. Она познакомилась с местным парнем — Александром Тимофеевичем Прониным. Александр был молод, красив и для деревенского парня даже образован. Константину Николаевичу он понравился, но главное — он понравился Варе. Леонтьев-эстет вспоминал, как они впервые увидели Александра: «...*Его красота поразила нас*». Вспыхнувшая между молодыми людьми любовь закончилась женитьбой: 1 июня 1884 года Варя пошла под венец. Свадьба состоялась в Мазилове, шафером у Вари был один из молодых друзей Константина Николаевича[3], а сам Леонтьев вновь выступал в роли посаженого отца.

Вместе с тем Леонтьев продолжал болеть, и чем дальше, тем больше. Были случаи, когда Маша и друзья думали, что Константин Николаевич при смерти.

Коноплянцев в своей биографии Леонтьева запротоколировал его хвори — бессонницы, мигрени, кашель, трещины на руках и ногах, отеки и другие мучительные проявления нездоровья: «<...> ...вот ужасная картина физического состоя-

---

[1] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 220.

[2] Мазилово — подмосковное село возле Кунцева.

[3] Григорий Замараев.

ния Леонтьева за 84, 85 и след. годы. В 1886 году Леонтьев опять был тяжело болен. Великим постом этого года он заболел гнойным заражением крови и воспалением лимфатических сосудов в правой руке, но благодаря принятым решительным мерам печальный конец был скоро отвращен»[1]. Не успел Леонтьев поправиться, как заболел гриппом, и опять чуть не умер. Весной 1886 года Тертий Иванович Филиппов довез его в своем вагоне в лежачем положении до Калуги (предварительно исхлопотав другу продолжительный отпуск от службы), откуда он — также лежа — доехал до Оптиной Пустыни. Там слабый и измученный Константин Николаевич кое-как поправился (но постричь его в монахи отец Амвросий не согласился — старец считал, что его духовный сын еще не готов к иночеству).

Константин Николаевич воспринимал свои болезни как крест за прошлые грехи; они в немалой степени способствовали «внутреннему пострижению души». Даже гордость свою Леонтьев научился в большинстве случаев смирять — постепенно он становился совершенно другим человеком. Впрочем, в болезнях и хворостях своих он всегда бывал под присмотром. Но зимой 1883/84 года в его отношениях с племянницей произошел перелом. Маша в силу своего характера всегда хотела от Константина Николаевича всевозможных доказательств собственной незаменимости, ревновала к окружающим (даже к Варе!), обижалась на пустяки... Им опять стало *душно* вместе. В результате, посоветовавшись со старцем Амвросием, они разъехались.

В «Хронологии» Леонтьев написал: «Окончательный разрыв с Машей»[2]. Об этом же он написал Ольге Новиковой, добавив: «...нет — мы вместе невозможны, и жить и видеться нам даже грех *пока совсем* не станем друг другу чужими... Она до того утомила меня, наконец, что я ее отъезду рад как празднику»[3]. Отец Амвросий нашел Марии Владимировне место в Тульской губернии — она жила там в семье как воспитательница юной девушки.

Трудно сказать, что на самом деле произошло между Леонтьевым и Марией Владимировной, но долгие годы эти близкие люди почти не будут общаться. Перед самой смертью

---

[1] *Коноплянцев А. М.* Жизнь К. Н. Леонтьева, в связи с развитием его миросозерцания // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 120.

[2] *Леонтьев К. Н.* Хронология моей жизни // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 35.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к О. А. Новиковой от 1 января 1884 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 667.

Леонтьев, узнав, что его новый друг, Василий Розанов, собирается жениться, давал ему советы в длинном письме и косвенно упомянул о произошедшем: «...*Нынешние* женщины привыкли безнаказанно говорить мужьям, любовникам, братьям, знакомым, даже отцам или воспитателям (дядям? — *О. В.*) такие вещи, за которые телесное наказание весьма еще слабое возмездие. Ибо боль от телесного наказания скоро проходит, а боль от некоторых слов бывает так глубока, что *десятки* лет дает себя... чувствовать. Я не верю даже, что самый искренний христианин мог *вполне забыть* **эти** обиды; он может простить (и то после долгих *молитв* и *размышлений духовного рода*, иначе он пустой человек); может не мстить, даже с радостью заплатить добром; но *боль* и *негодование* при случайном воспоминании останутся навсегда!»[1]

Исходя из других его писем друзьям и логики поведения (Леонтьев хотя избегал в дальнейшем встреч с племянницей, посылал ей деньги, когда та осталась без места) очевидно, что писал он здесь о себе и Маше. А Губастову он так объяснит причины разрыва: «...она довела меня до крайностей неустанной злостью, ежедневным, ежечасным почти излиянием тончайшего яда (даже часто бессознательным — заметьте, это еще сильнее, до чего, значит, глубоко была пропитана озлоблением и ревностью ко мне, что сама, видимо, не чувствовала, что она мне преспокойно говорит!)»[2].

Они даже не переписывались. Впрочем, известие о Маше Константин Николаевич получил от племянника Владимира, брата Маши, жившего в Туле, который пытался их помирить. На попытку племянника Леонтьев ответил с раздражением: «...она (Мария Владимировна. — *О. В.*) себя еще не знает, а я и свои немощи, и непостоянство ее чувств, быструю смену покаяния, самоотвержения, любви, гнева, зависти, злобы изучил хорошо. А моя немощь вот какая: она не должна ни о чем почти думать даже иначе, как по-моему, особенно когда это до меня, до нее самой, до моего дома и до близких мне людей <касается>, если она желает, чтобы я был ею доволен. Разумеется, я требую почти невозможного. Но ведь я это знаю, знаю, что это немощь моя, даже грех, потому что до глубины души, до ненависти раздражаюсь, если узнаю, что она (именно она, а не кто-нибудь другой) обо всем вышеперечисленном рассуждает несогласно со мной. Пусть Господь мне простит — с

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову от 24 мая 1891 г. // *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991. С. 139.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 14 мая 1891 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 571.

ней иначе не могу. Я боюсь ее мнений, чтобы не раздражаться и не грешить. Поэтому боюсь и писем, и тем более свиданий, сплетен и даже вообще рассказов об ней без моего спроса»[1].

Удивительное дело: больной Лизе Леонтьев прощал многое, даже нечесаные волосы его от жены не отвращали, к Маше же он предъявлял такие требования, исполнение которых граничило чуть ли не с душевным рабством! Его оценки Марии Владимировны показательны. Леонтьев переделать себя не мог. Он признавался племяннику: «...мои от нее требования так неосуществимо велики, что даже тончайшее несогласие с ее стороны, даже подозрение в несогласии, даже какая-нибудь едва заметная улыбка невпопад... поднимает во мне целую бурю»[2]. А в письме Губастову есть такие строки: «Одним словом, моя жизнь сердечная сложилась так: когда дело идет о Лизе — я не умею ни в чем почти себя оправдать, когда речь идет об Маше — я не умею себя почти ни в чем обвинить! Тут и христианство не помогает...»[3]

Конечно, Маша не была ангелом во плоти: характер у нее был непростой. Вот и в письме племяннику Леонтьев, чтобы доказать, как тяжело было жить вместе с его сестрой, рассказал о визите Вари к ней. «Марья Владимировна накинулась вдруг на нее, как безумная, и мать свою она ограбила, и Александр меня грабит и т. п., и т. п., — пересказывал с Вариных слов Леонтьев. — Говорят, ужасно кричала. <...> Думал я: отчего же это она так на Варю и на ее мужа восстала вдруг? И что же — Лиза все нам объяснила, она рассказала, что при ней в Туле, у вас Наташа (жена Владимира. — *О. В.*) ей, М<арье> В<ладимировне>, сказала: “А Константин Николаевич у Вари руки целует” и т. п. (Это я помню, правда, при Наташе случилось, когда Варя из Мазилова приезжала за мной больным ходить. Так вот отчего “сыр-бор” загорелся.)»[4].

Этот рассказ свидетельствует о том, что Мария Владимировна по-прежнему Леонтьева любила и ревновала. Но и для него, как покажет будущее, она оставалась дорогим и нужным человеком. Когда Леонтьев тяжело заболел в 1886 году, он захотел Машу увидеть. Бобарыкин отправил ей телеграмму, и она тут же приехала в Москву (хотя остановилась не у дяди, а

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к В. В. Леонтьеву от 1 ноября 1885 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 289—290.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к В. В. Леонтьеву от 27 февраля 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 307.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 15 марта 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 311—312.

[4] Письмо К. Н. Леонтьева к В. В. Леонтьеву от 1 ноября 1885 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 290—291.

у того же Бобарыкина). Через неделю Леонтьеву стало лучше, и она собралась уезжать. На прощание дядя хотел подарить ей «Афонские письма», для нее когда-то и написанные, — она отказалась, так как хранить их ей было негде. Отказ Леонтьева оскорбил, и расстались они тяжело. Позднее Маша вспоминала: «Хотя он ничего ясного не говорил, но мне казалось, что он желал бы, чтоб я высказала желание опять вернуться к нему. — Я этого желания не высказала. Мы опять расстались...»[1]

Вернувшись в 1884 году после свадьбы Вари из Мазилова в Москву, в двухэтажный темно-коричневый деревянный дом в Денежном переулке, Константин Николаевич прошелся по опустевшей квартире: Людмила от него ушла, Маша уехала, Варя осталась в Мазилове, рядом была только *убогая* Лизавета Павловна... Она мужу не мешала: как маленький ребенок, послушно уходила в свою комнату, где любила играть на гитаре, пока он работал, большей частью была тиха и послушна.

Почти каждый день Лиза гуляла по бульварам — в сарафане, с нечесаными волосами, с куклой или котенком в руках — сорокалетний добрый ребенок, которого так легко было не только обрадовать (арбузом, леденцами), но и обидеть, напугать... Помощи от жены, разумеется, не было никакой — за нею самой был нужен уход. Поэтому осенью Варя с мужем перебрались-таки в Москву и стали жить вместе с Леонтьевыми. Отношения между *барином* и *слугами* сложились полуродственные: они ухаживали за часто болеющим постаревшим Константином Николаевичем, а он по вечерам читал им Пушкина и Толстого и называл их «дети души моей».

Сохранился рассказ Константина Николаевича о характерном эпизоде его московской жизни. «Жена моя последнее время веселее, но привыкла вылезать из окна на улицу и назад влезать, — писал он Новиковой. — Все соседи уже привыкли к ее "психозному" состоянию, и я не останавливал ее, пусть развлекается, бедная, мне бы только лишь заниматься не мешала. К несчастью, это увидел вчера околоточный и хотел составить акт, и должны были заплатить тогда 25 рублей штрафу за "бесчинство" ее. Отделался взяткой в 3 рубля и упросил его сделать ей притворно строгое замечание. Она перепугалась и, надеюсь, прекратит эти шутки»[2].

Много хлопот доставляла Лиза и своей неопрятностью — расчесать ей волосы было проблемой, а помыться домашние

---

[1] Письмо М. В. Леонтьевой к И. И. Фуделю от 20 октября 1912 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 7. Кн. 2. С. 582.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к О. А. Новиковой от 21 августа 1882 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 260.

уговаривали ее сообща и несколько дней. Но Леонтьев своих домочадцев очень любил, называл их «сборной семьей». В 1884 году, когда он в очередной раз болел, друзья решили определить Елизавету Павловну на постоянное проживание в больницу. Леонтьев поначалу не противился. Нашли одну из лучших больниц, стали вести переговоры, но когда дело было почти решено, Константин Николаевич отказался от этой идеи. Не смог расстаться с женой. Да и Губастову признавался: «С женой мы так сжились опять, как никогда...»[1]

В положенное после свадьбы время у Вари родился мальчик, но прожил лишь около месяца. Вещь тогда обычная, да и Варя не слишком долго горевала, рассудив, что у них с Александром будут еще дети. Действительно, вскоре она вновь забеременела. Леонтьев маленьких детей не любил, они его раздражали; он жаловал уже подросших, с которыми можно было разговаривать почти как со взрослыми. Зато Лизавете Павловне нравилось нянчиться с малышом. Так вот *семейно* Леонтьевы и жили; если бы не болезни и не тяготившая Леонтьева цензорская служба — то и жаловаться было бы грешно.

В эти московские годы Леонтьев был окружен друзьями. Константин Николаевич писал Губастову: «...душевно меня трогает больше всего то, что почти ни один из моих прежних сослуживцев, проезжая через Москву, не минует моей провинциальной гостиной: Ону, Ионин, Теплов, Хитров и т. д. Не знаю почему, но я их посещения особенно ценю»[2].

Появились и новые друзья. Благодаря цензорской службе в Москве завязалось знакомство Леонтьева с Афанасием Афанасьевичем Фетом. Стихи Фета Константин Николаевич любил смолоду, и в зрелом возрасте любовь не стала меньше, хотя после религиозного обращения он считал их опасными для неокрепших душ. Личность Фета тоже его привлекала: тот факт, что автором стихов был улан, служивший в гвардейском полку, всегда придавало в его глазах фетовским строфам особое очарование. В те годы Афанасий Афанасьевич был давно в отставке и жил в полном достатке в доме на Плющихе[3], где Леонтьев не раз бывал в качестве желанного гостя: ему импонировал образ жизни Фета; его взгляд богатого помещика на крестьянство, далекий от демократических иллюзий, был ему

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 20 декабря 1880 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 252.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 1 января 1883 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 270—271.

[3] А. А. Фет в 1857 году женился на М. П. Боткиной, дочери богатого чаеторговца.

близок, — взаимная симпатия связала этих людей на долгие годы. Одно смущало Леонтьева: Афанасий Афанасьевич склонялся к атеизму, потому в письмах и при встречах Константин Николаевич страстно, и отбросив светский этикет, *проповедовал* ему христианскую веру.

Леонтьев очень сблизился с философом Петром Евгеньевичем Астафьевым, заведовавшим университетским отделением катковского лицея (Петр Евгеньевич приходился родственником другому его другу — Бобарыкину). Астафьев был моложе Леонтьева, но дружбе способствовали общие воспоминания и знакомые: Петр Евгеньевич тоже когда-то учился в Московском университете, затем читал лекции в Демидовском лицее и хорошо знал Каткова.

Астафьев устраивал у себя «пятницы» для молодежи — прежде всего для учащихся катковского лицея, хотя приходили на эти собрания и профессора, и артисты, и художники. Не раз появлялся там Владимир Соловьев. Стал завсегдатаем на «пятницах» и Леонтьев, читал там свои готовящиеся к печати воспоминания о Тургеневе, начало романа «Две избранницы», другие сочинения. Но главное — в астафьевской гостиной он познакомился с молодыми людьми, в которых стал видеть своих учеников, — А. А. Александровым, И. И. Кристи («Ваничкой»), Г. И. Замараевым, Я. А. Денисовым («хитрым Дениской»), Н. А. Умановым, П. М. Маликовым и др.

Показательно впечатление, которое произвел Леонтьев на 23-летнего Анатолия Александрова[1], когда они встретились впервые у Астафьева. «Несмотря на ясно уже начинавшие сказываться следы расстроенного здоровья, это был все еще очень живой и бодрый, согретый неистощимым пламенем внутренней энергии человек, с отпечатком благородной и красивой барственности как в изящных, тонких чертах лица, так и во всей его видной, представительной фигуре, — вспоминал Александров. — Умные красивые карие глаза, высокий прекрасный лоб, при взгляде на который невольно приходило в голову выражение “ума палата”, тонкий, правильный, словно искусно выточенный профиль, волосы в скобку... хорошо сшитая русская поддевка, которую он постоянно носил, не желая иметь дела с европейским костюмом, привлекали к нему внимание повсюду, где бы он ни находился. Приятный громкий голос, интересная, живая, крайне своеобразная, самобытная речь, полная ярких образов, неожиданных метких

---

[1] Анатолий Александрович Александров (1861—1930) стал филологом, доцентом Московского университета, редактором журнала «Русское обозрение» и газеты «Русское слово».

сравнений, искрометного остроумия довершали чарующее впечатление»[1].

Под впечатлением встречи молодой человек написал про Константина Николаевича стихотворение с говорящим названием — «Чародей». Леонтьев, узнав про это, попросил дать ему это стихотворение прочитать. В архиве сохранилась леонтьевская правка восторженных виршей. В варианте, представленном Александровым на суд Константина Николаевича, были такие строки:

Вокруг него внимательной толпою
Стояли мы... Глагол его звучал,
Лился широкой, бурною рекою,
Небесным громом громыхал.

Громил он дух мельчающего века
И отживающей Европы торжество
И рабство русского пред нею человека,
Холопство давнее его.

Наверное, такое описание Леонтьеву понравилось — во всяком случае, эти строки сохранились неизмененными. Зато после просмотра Леонтьева Александров добавил к своей первоначальной версии еще одну строфу:

Поклонник красоты, всего другого прежде,
За прозу жалкую он с веком враждовал,
В истории, в характерах, в одежде, —
Во всем прекрасного искал[2].

Подсказал ли ему Леонтьев обратить внимание на свой эстетизм или автор сам заметил эту черту, — не знаю. Но позднее Александров вспоминал, что эстетизм Константина Николаевича заставлял его учить хорошим манерам не только своих домочадцев — Варю с Александром, но даже нищих, обращавшихся к нему за подаянием (и обыкновенно не встречавших отказа). Он хотел, чтобы и подаяние просили живописно — так велико было в нем отталкивание от всего уродливого и неизящного.

Другой молодой поклонник Леонтьева, Григорий Замараев, рассказывая о вечерах у Астафьева, тоже подметил некоторые присущие Леонтьеву особенности, вытекающие из его развитого эстетического чувства. Иногда на этих вечерах, после

---

[1] *Александров А. А.* Памяти К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 365.

[2] Письмо А. А. Александрова к К. Н. Леонтьеву и стихотворение «Чародей» от 2 июня 1884 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 5.

оживленных философских споров, пели. Но Константин Николаевич, слушая пение, «весьма редко глядел на поющего: для этого нужно было иметь певцу особенно счастливую, изящную наружность, которая не портила бы впечатления». Еще характернее другое наблюдение Замараева: Леонтьев не любил, чтобы ему подавали зажженную спичку, когда закуривал свои папироски, — «из опасения увидать не совсем чистые ногти он всегда спешил взять спичку в свои пальцы»[1].

На «пятницах» Леонтьев и Астафьев не раз горячо спорили — «пока наконец слабый здоровьем и очень нервный Константин Николаевич не заявлял, что больше спорить он с Петром Евгеньевичем не может, потому что и голосу для этого не хватает, и для здоровья вредно, и слух раздражается»[2]. В конце концов из-за этих споров произошел «маленький раскол» — Леонтьев перестал приходить на «пятницы». Некоторые молодые люди, продолжая посещать Астафьева, стали бывать и у Леонтьева. Так зимой 1883/84 года вокруг Константина Николаевича постепенно сложился небольшой кружок «избранных»; встречались в его квартире, похожей убранством и строгим порядком на монастырскую келью. Иногда у Леонтьева собирались 10—15 человек — кто-то больше не приходил, а кто-то, подпав под обаяние личности Леонтьева, становился его преданным учеником. Ближе всех, наверное, к Константину Николаевичу стал Иван Кристи, на которого он возлагал большие надежды.

Собирались по вечерам (на двери квартиры Леонтьев даже повесил специальную табличку, где указал, что звонить можно только после семи часов вечера — утро было неприкосновенным временем для писем, работы, раздумий, молитв, да и в Цензурный комитет надо было ходить). Сидели до 10—11 вечера, спорили, слушали старшего друга, говорили о том, что каждый может сделать для идеи, для общего дела — проповеди православных ценностей, самобытности, критики либерализма. «...Спешили мы послушать этого удивительного, ни на кого другого не похожего старика с сильным, острым, гибким умом, чутким, добрым, нежным сердцем и огненною, смелою, своеобразною речью»[3], — вспоминал Александров. Ему вторил Замараев: «Константин Николаевич очень любил молодежь, стараясь привить ей свои идеи. Он говорил прекрасно, образно, интересно. Все мы, имевшие счастье быть близко

---

[1] *Замараев Г. И.* Памяти К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 204.

[2] Там же.

[3] *Александров А.* Из воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 146.

знакомыми с Константином Николаевичем, значительною долею нашего мировоззрения обязаны ему»[1].

Леонтьев видел в молодых друзьях своих последователей, потому на встречах с ними, как правило, выступал в роли проповедника. Молодые люди и не возражали: равенства между ними не могло быть в силу разницы лет, опыта, знаний, известности. Темы бесед и их продолжительность тоже зависели от Константина Николаевича, причем Леонтьев зачастую пояснял свои рассказы рисунками и схемами, чтобы «ученикам» было понятнее, снабжал их «конспектами», где излагал свое учение, полушутя называя его «эптастилизмом».

Если расшифровать этот греческий термин, то получится «семистолбие» («эпта» — семь, «стилос» — столб, основа), — в отличие от выделявшего четыре основания в культурно-исторических типах Данилевского, Леонтьев говорил о системе «отвлеченных идей», являющихся «столбами» здания культуры, и столбов этих (как показала в своих работах исследовательница творчества Леонтьева О. Л. Фетисенко[2]) — семь: религиозные, политические, юридические, философские, бытовые, художественные и экономические идеи. До нас дошел конспект, который Константин Николаевич дал Денисову; в нем он перечислил «великие столпы» нового здания Славяно-Восточной культуры[3]: в качестве религиозных идей назвал сосредоточенное в Царьграде Православие, политические идеи увидел в программе создания Великого Восточного союза с Россией во главе, экономические идеи связал с обоснованием принудительной организации собственности и труда, неотчуждаемой собственностью и т. д. Содержание «семи столбов» менялось, уточнялось, было текучим, но сама задача «создать себе... тот *культурный храм*, который будет утвержден на этих 7 столпах»[4], оставалась постоянной темой обсуждения членов «кружка».

Поначалу молодые люди, боясь показаться старшему другу назойливыми, нет-нет да и поглядывали на часы — не пора ли прощаться с хозяином? Леонтьева это злило:

— Оставьте вы в покое вашу европейскую машинку. Я сам скажу, когда вам надо будет уходить!

---

[1] *Замараев Г. И.* Памяти К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 200.

[2] См.: *Фетисенко О. Л.* Гептастилисты: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX — первой четверти XX века). СПб.: Пушкинский Дом, 2012. С. 82—90.

[3] Там же. С. 133—134.

[4] Там же. С. 134.

Однажды Константин Николаевич встретил Григория Замараева и с озабоченным лицом протянул ему листки бумаги — он получил письмо от Ванички (Кристи), который в то время слушал лекции по философии в Гейдельбергском университете.

— Вот, читайте... Наш Ваничка пишет, что хочет быть священником, потому ему надо думать о спасении души, а не о *нашей идее*. Никак от него этого не ожидал: разве священник не может служить *нашему делу*?

И Леонтьев в лицах изобразил, как священник может быть полезен *их* задаче:

— Вы вообразите только: Ваничка, человек образованный, кончил курс в университете, кончит скоро и в академии[1], дворянин, со средствами, и вот вы представьте себе такого священника или, может быть, архиерея в облачении[2], поучающего народ на молебне при открытии какой-нибудь железной дороги. «Помолимся, мол, братья, о путешествующих, чтобы им не погибнуть, но не будем особенно радоваться появлению у нас чугунных дорог, как всякому вообще утилитарному прогрессу, а рассмотрим лучше, сколько вреда приносят нам все эти дороги». Разве это не была бы такая именно проповедь пастыря к своей пастве, которая теперь нужна? Наш Дениска-профессор[3] стал бы говорить в том же духе с кафедры...

Замараев, судя по его воспоминаниям, верно понял излишнее волнение Леонтьева по поводу письма Кристи: «Ваничка затронул ту именно черту между преходящим, земным, и неизвестным, вечным будущим, над которой К. Н. Леонтьев сам часто задумывался. В моменты такого раздумья он скептически смотрел на всех и на вся, на свою плоть и на свои заботы о благе России, находя успокоение своему порывистому уму и сердцу в вере и надежде на тот неведомый мир, “идеже несть болезнь, ни воздыхание”. Но этот мистицизм, проходивший непрерывной нитью через всю жизнь Константина Николаевича, хотя и выражался иногда во всей своей православно-христианской силе и простоте, однако не убивал в нем ни энергии духа, ни ясности ума, ни восприимчивости сердца. Достаточно было малейшего импульса, чтобы К. Н. из мистического кратковременного квиетизма быстро перешел к активной живой деятельности во имя будущности России»[4].

---

[1] Имеется в виду Московская духовная академия.

[2] И. И. Кристи вскоре заболел душевной болезнью и умер молодым.

[3] Я. А. Денисов, в будущем — профессор Харьковского университета.

[4] *Замараев Г. И.* Памяти К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 202.

Леонтьев понимал и сочувствовал порыву Ванички, но ему и досадно было, что Ваничка не станет талантливым проповедником *его* дела... Он написал Кристи, что поддерживает его желание принять сан, но считает этот поступок вполне совместимым с «культурной проповедью».

Думаю, Леонтьев привел Замараеву пример с железной дорогой, потому что сам путешествовать поездом (и пароходом) терпеть не мог. Он предпочитал неторопливое путешествие верхом или в повозке, как путешествовали люди в старину: чтобы было время для путевых впечатлений, чтобы скорость передвижения зависела от самого путешественника, а не от силы пара... Его мало кто поддерживал в этом неприятии достижений прогресса. Но через год газеты опубликовали проповедь Херсонского епископа Никанора при освящении железнодорожного вокзала в Одессе, где архиерей высказал ту же мысль, что и Леонтьев: мы слишком торопимся жить. «Самодельная одуряющая скорость движения по железным путям, на крыльях ветра, на парах и электричестве, по морю и под водою, и под землею, на аэростатах, посредством нагретого воздуха, водорода и чего-то там еще: скоро, быть может, понесется человек и посредством солнечного света. А что электричество будет запряжено... это не подлежит сомнению. Это вопрос не только близкого будущего, но уже и настоящего времени. Не все же молниям праздно бороздить небо, а на земле только жечь и крошить. Скоро, скоро обуздают их и погонят и возить, и мельницы вертеть, и всякие тяжести двигать», — говорил епископ.

Но ведь за всё это приходится платить! Раньше человечество тратило запас лесов, воды, руды умеренно, «современный же человек истощает этот запас так, что природа явно уже отказывается восстановить его». Когда Замараев, пораженный совпадением мыслей Леонтьева и Херсонского епископа, указал на заметку Леонтьеву, тот воодушевился: он не одинок в понимании *страшных* последствий технического прогресса! Константин Николаевич написал даже статью по этому поводу, где привел большую часть речи епископа Никанора. Удивительно, как еще в XIX столетии архиерей и далекий от техники писатель смогли предвидеть те проблемы, которые стоят перед современным человечеством. В понимании Леонтьева именно технический прогресс был также стержнем эгалитарно-либерального прогресса, смешения.

Писал в Москве Леонтьев не много. «Египетский голубь», рассказы в «Ниве», воспоминания — всё больше для денег. Удалось продать начало романа «Две избранницы» в журнал «Россия». Были небольшие статьи «на злобу дня». Так, Леонть-

ев не мог не ответить на воскресный фельетон, попавшийся ему на глаза, — о том, что монахи Оптиной Пустыни стерегут яблоневые сады с ружьями и стреляют в воров. Прочтя это, Леонтьев вскипел. Оптинские порядки были ему хорошо известны, и он знал, что стерегут сады не монахи, а наемные работники или, в крайнем случае, послушники, что стреляют они одним порохом без заряда, чтобы знали — они тут, не спят, а вовсе не для того, чтобы из-за яблока кого-то ранить и искалечить. Возмутило его и упоминание фельетониста (им был Д. А. Мансфельд, которого Константин Николаевич лично знал) о «довольных и сытых монахах» — Леонтьев знал грубую и простую скитскую пищу не понаслышке, для него она не раз становилась настоящим испытанием, потому залихватский антиклерикальный выпад фельетониста, ничего толком не знающего о жизни обители, его до глубины души возмутил.

В 1882 году Леонтьев возобновил свои отношения с еженедельной газетой «Гражданин» и ее издателем князем Владимиром Петровичем Мещерским[1]. Газета (ее можно было считать и небольшим журналом) и издатель, придерживавшийся крайне правых взглядов, прославились своим предложением «поставить точку» реформам Александра II. Такая позиция импонировала и Леонтьеву. Мещерский с удовольствием предоставил страницы своей газеты Леонтьеву, и Константин Николаевич задумал цикл статей под названием «Письма о Восточных делах» — своеобразное продолжение «Писем отшельника», написанных в 1879 году. Мещерский (чья газета частично финансировалась из казны) пообещал Леонтьеву выплачивать ежемесячно по 100 рублей, если тот станет постоянным автором «Гражданина», и Константин Николаевич согласился.

Всего Леонтьев написал десять «писем» для «Гражданина». В этом цикле статей явно сказалось влияние «Дневника писателя» Достоевского. Темы автор выбирал для себя близкие и интересные — внешнеполитические проблемы на Балканах, положение христиан в Турции, славянский вопрос, греко-болгарская распря. Ничего принципиально нового в позиции автора по сравнению с его более ранними статьями здесь не появилось, но было и несколько интересных моментов. Во-

---

[1] Князь В. П. Мещерский — писатель и публицист; с издаваемой им газетой «Гражданин» некоторое время сотрудничал Ф. М. Достоевский. Репутацию князь имел противоречивую: с одной стороны, он пользовался влиянием при дворе, был хорошо знаком с К. П. Победоносцевым, писал популярные романы, издавал газету, которую поддерживали власти, с другой — его преследовали скандалы, на которые с иронией намекал Владимир Соловьев, прозвав Мещерского «Содома князь и гражданин Гоморры».

первых, в этих «письмах» ясно виден росток будущего евразийства. В 20-е годы следующего века среди послеоктябрьской эмиграции в той самой, казавшейся Леонтьеву «унылой», Болгарии зародилось течение, отголоски которого до сих пор слышны в современной России. Евразийство не было однородным, но основные его идеи все же удивительным образом перекликались с позицией Леонтьева, в частности — с его «Письмами о Восточных делах». В определенном смысле Леонтьев стал предтечей этого направления отечественной мысли.

Евразийцы считали, что Россия представляет собой особый мир, который правильнее было бы назвать Евразией. Евразия — не просто указание на географическое местоположение России, но это название некоей этнической, культурной, исторической общности, принципиально отличной как от Европы, так и от Азии: «Евразия-Россия — развивающаяся своеобразная культуро-личность»[1]. Похожим образом рассуждал и Леонтьев: «Россия — не просто государство; Россия, взятая во всецелости со всеми своими азиятскими владениями, это — целый мир особой жизни, особый государственный мир, не нашедший еще себе своеобразного стиля культурной государственности...»[2]

«Культуро-личность» имела явные отличия от европейской культурной традиции, соответственно, евразийцы резко отрицательно относились к попыткам «повернуть» Россию лицом к Западу (а уж про Константина Николаевича с его неприятием европеизма и говорить нечего!) — они отказывали западной культуре в ее претензиях на универсальность. Европейская культура рассматривалась евразийцами как культура романо-германская, то есть *этнически и исторически ограниченная*. Не стал бы спорить с этим и Леонтьев: он был сторонником концепции культурно-исторических типов Данилевского, значит, тоже не мог относиться к европейской культуре как к универсальной.

Своей задачей евразийцы считали внедрение в сознание российской интеллигенции мысли о решительном отказе от европоцентризма и необходимости новой попытки национального самопознания. В результате такой попытки, согласно их утверждениям, очевидным станет наличие в российском характере и культуре туранских элементов, азиатской составляющей российской самобытности (недаром программный

---

[1] Евразийство. Опыт систематического изложения. Париж: Евразийское книгоиздательство, 1926. С. 35.

[2] *Леонтьев К. Н.* Письма о Восточных делах // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 44.

сборник статей был назван евразийцами «Исход к Востоку»). Но и этот элемент евразийского кредо не был нов: Леонтьев за 50 лет до изданного в Софии сборника страстно критиковал европоцентризм и убеждал читателя, что российская культура не может быть сведена к славянской, что в ней велика доля восточной составляющей. Константин Николаевич писал, что «в характере русского народа есть очень сильные и важные черты, которые гораздо больше напоминают турок, татар и др<угих> азиятцев... чем южных славян»[1], и называл русских «славяно-туранцами».

Евразийцы были убеждены, что здоровое общество может быть основано только на вере, на связи человека с абсолютным началом, с Богом. Они подчеркивали, что историческое бытие России-Евразии на протяжении столетий определялось не только социально-этнографическим своеобразием, но и православными основаниями культуры. Поэтому, с их точки зрения, требование национального самопознания, создания подлинной национальной культуры невозможно без православия. И опять — родственность такого подхода леонтьевскому! Леонтьев предлагал именно православие, а не племенной принцип положить в основание грядущего Восточно-Православного союза, с которым связывал будущее России. В этом пункте евразийцы были приглушеннее, чем их предтеча, но перекличка идей не вызывает сомнения.

Представители евразийства вызвали раздражение многих представителей русской эмиграции, выдвинув идеократическую концепцию государства. По мысли евразийцев, идеократия — надклассовое государство, подчиненное не интересам отдельной социальной группы, а некой высшей идее. Это государство «социальной справедливости и правды», в котором классовый принцип должен быть заменен принципом наднациональной общности. Вряд ли Леонтьев согласился бы на то, чтобы государство вдохновлялось социальной справедливостью. Его *идеей* надклассового государства, напротив, стало бы неравенство: «...опыт столетий доказал *везде*, что... они (люди. — *О. В.*) *не должны быть равны* или *равно поставлены* и что “благоденствия” никакого никогда не будет»[2]. Но государство у Леонтьева тоже было *идеократией*, он тоже вел речь о подчинении идее, а не классовым интересам. Возможно, Леонтьев был даже последовательнее евразийцев, поскольку не сомневался, что тенденции эгалитаризма, уравнительности как раз и являются результатом европейского влияния, от которого

[1] Там же. С. 49—50.
[2] Там же. С. 47.

надо освобождаться. Если бы существовала машина времени, евразийцы и Леонтьев вполне могли бы оказаться приятелями.

Второй момент, который обращает на себя внимание в «Письмах о Восточных делах», — неуверенность в том, что будущее России будет связано с *цветением* и развитием, что Россия *непременно* новое слово скажет миру. Пессимистические нотки на этот счет встречались в письмах Леонтьева, но одно дело — личная переписка, другое — статья. Константин Николаевич не сомневался, что у России заметная будущность, но вот какая? Явит ли Россия миру культурное здание, «небывалое по пестроте своей», или восторжествует над всеми только для того, чтобы «всех смешать и... погубить»? «Вредна или полезна будет эта будущность России для остального человечества, разрушительная она будет или созидающая, — это другой вопрос»[1], — писал Леонтьев. Со временем его надежды на *цветение* будут становиться всё слабее.

В этом цикле леонтьевских статей содержался и прогноз развития событий на Босфоре. Он был уверен, что главным врагом России в этом регионе является Англия («не столько Мусульманство, сколько Англия наш *естественный* и *вечный враг на Востоке*»[2]). Но и без падения Австрии (в котором он не сомневался, и история его ожидания подтвердила) развязывание узла славянских проблем в Юго-Восточной Европе невозможно. Потому наилучшим сценарием развития событий для России является *война* — с Англией, с Австрией, не суть важно. Восточный вопрос быстрее и правильнее можно решить с помощью военных действий, чем дипломатических переговоров. «Чем скорее война, тем выгоднее для высшего идеала!»[3] Леонтьев, в отличие от Льва Толстого, вооруженное насилие считал *естественным* способом разрешения проблем. Подчас — благодетельным, сплачивающим нацию, дающим ей ясную цель.

В результате *удачной* войны (а Леонтьев верил в успех России) Константинополь-Царьград может стать общеполитическим, культурным и религиозным центром православного объединения. Леонтьев специально оговаривался, что столицей России (вместо Петербурга) Царьград быть не может, — он не должен стать частью Российской империи, только тогда речь можно будет вести не о *присоединении* восточных христиан к России, а об *объединении* с ними. Завоевание Царьграда «освежит» и саму Россию: «...будут тогда две России, нераз-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Письма о Восточных делах // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 79.

[2] Там же. С. 109.

[3] Там же. С. 90.

рывно-сплоченные в лице Государя: Россия — Империя с новой административной столицей (в Киеве) и Россия — Глава Великого Восточного Союза с новой культурной столицей на Босфоре»[1]. А как же Петербург, это российское «окно в Европу», прорубленное Петром? «...Чем скорее станет Петербург чем-то вроде балтийского Севастополя или балтийской Одессы, тем... лучше... для нас»[2].

В то, что Константинополь несомненно будет «нашим», верили многие — славянофил Аксаков, почвенник Достоевский, анархист и панславист Бакунин[3]. Да и про Восточный союз они тоже мечтали — хотя и по-разному его представляли. Но главная неудача предвидений Леонтьева все-таки не в том, что Константинополь стал Стамбулом, а не Царьградом. Для Леонтьева важнее всего было размежеваться с Европой, отгородиться от нее, спастись от бацилл либеральной холеры, грозящих заражением. Не получилось. Вернее, «железный занавес» в российской истории, конечно, был, но уже *после заражения* и болезни — тогда от бацилл уравнительности спасаться приходилось уже Европе...

История пошла таким путем, который Леонтьеву тогда было трудно вообразить. Он описывал фантасмагорическую, с его точки зрения, картину: «Вообразим себе *ретроспективно* ужасную для русского сердца и, слава Богу, теперь уже невозможную вещь. Вообразим себе на минуту, что в <18>81 году торжество нигилистов в России было бы полное. В России республика; члены дома Романовых частью погибли, частию в изгнании. Монастыри закрыты; школы “секуляризованы”; некоторые церкви приходские, так и быть, пока еще оставлены для глупых людей. Чернышевский президентом; Желябов, Шевич, Кропоткин министрами; сотрудники наших либеральных газет и журналов — кто депутатами, кто товарищами министров...» Но ведь именно так и получилось! Только фамилии у министров и народных комиссаров были другие...

Леонтьев дрожал от отвращения при мысли о господстве серого безличного буржуа, но не меньшее отвращение вызы-

---

[1] Там же. С. 86.

[2] Там же. С. 89—90.

[3] В реальность такого развития событий верили и многие западные политики и пытались препятствовать этому. Ведь, как писал Ф. Энгельс, «Царьград в качестве третьей русской столицы, наряду с Москвой и Петербургом, — это означало бы... не только духовное господство над восточнохристианским миром, это было бы также решающим этапом в установлении господства над Европой». См.: *Энгельс Ф.* Внешняя политика русского царизма // *Маркс К., Энгельс Ф.* Полное собрание сочинений. 2-е изд. М.: Государственное издательство политической литературы, 1962. Т. 22. С. 18.

вали у него и мечты о «земном рае» для рабочих, освещенном электрическими фонарями. Ужасная прозаичность! По его мнению, беспокойство за отдаленных пролетарских потомков, которые будут гулять под этими электрическими «солнцами», противоречит любви к реальному человеку, чьи слезы мы видим, а вздохи слышим, к кому и должны проявлять милосердие. Христианская любовь к ближнему не бывает «демократической» — она не может быть направлена только на рабочих, рабов, крестьян, сострадать можно и нужно всем — королям, римскому папе, генералам... Либеральный псевдогуманизм оптимистичен — он верит в прекрасное завтра. *Подлинный христианский гуманизм пессимистичен*, утверждал Леонтьев, он отмечен «храброй покорностью» несовершенной земной жизни. В этом пункте Леонтьев сознательно дистанцировался не только от «либералов», но и от властителей дум того времени — Толстого и Достоевского.

В 1882 году Леонтьев выпустил брошюру «Наши новые христиане», в которую включил свою статью из «Варшавского дневника», написанную по поводу знаменитой речи Достоевского на открытии памятника Пушкину в Москве[1]. Кроме этого, в брошюру вошла его статья «Страх Божий и любовь к человечеству, по поводу рассказа гр. Л. Н. Толстого “Чем люди живы”». Под прицел леонтьевской критики попали два столпа русской литературы XIX столетия. Но речь в этой брошюре шла вовсе не о литературе, а о христианстве, которое стало для Леонтьева центром жизни. Он уже не мог представить своего существования без поездок в Оптину Пустынь, Сергиев Посад, бесед со старцем, без молитв и *послушания*, а главное — без *страха* погубить свою вечную душу, не спастись.

Леонтьев противопоставил «общегуманитарному» христианству Достоевского и Толстого с его пафосом всечеловеческого братства свое понимание «настоящего церковного православия» (с которым тоже можно поспорить, и многие спорили!), базирующегося на страхе Божием и церковной дисциплине. «Как ни разнятся между собой Толстой и Достоевский и по складу художественного таланта, и по выбору предметов для творчества своего, и по столькому другому, — но они сходятся в одном — они за последнее время стали проповедниками того одностороннего христианства, которое можно позволить себе назвать христианством “сентиментальным” или “розовым”», — считал Леонтьев. Никогда не будут

[1] Судя по некоторым фактам, К. Н. Леонтьев и Ф. М. Достоевский были знакомы, но после критики Леонтьевым Пушкинской речи Достоевского личное общение стало невозможным.

люди жить в любви и братстве, никогда не воцарится всеобщее счастье — «розовое» христианство с его лихорадочной заботой о благе будущих поколений забывает о *трагизме* человеческой истории, о ее неизбежном конце. Мир вокруг нас не так уж хорош, да и не должен быть таким: «Все положительные религии, создавшие своим влиянием, прямым или косвенным, главнейшие культуры земного шара, — были учениями пессимизма, узаконившими страдания, обиды и неправду земной жизни»[1]. Религиозная вера — это не стремление «устроить» несовершенный мир, это неутолимая жажда по иному миру, жажда вселенского исхода из естественного порядка природы, несовершенного и испорченного.

Верующий человек не может не знать, что этот мир конечен — и будет царство Антихриста, и Страшный суд, и конец света. Потому заботиться надо не о «розовых» невыполнимых мечтах, а о спасении своей души, о загробном существовании (эти чувства Леонтьев назвал «*трансцендентным*[2] *эгоизмом*») — то есть Бога надо бояться, установлений Церкви — слушаться. Ведь «начало премудрости (то есть настоящей веры) есть *страх*, а любовь — только *плод*. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом», — писал Константин Николаевич. В одном из писем он замечал: «Любовь может на земле восходить лишь как благоуханный дымок, “яко кадим пред Тобою!”, не она жжет... жжет курение наше, огонь страха... а любовь есть лишь тонкий и высший продукт страдальческого самосгорания всей нашей жизни земной... Она ведь ужасна, эта жизнь, и никогда не поправится!»[3] Леонтьев противопоставил суровое «истинное христианство» социально ориентированному и замешенному на любви «розовому христианству».

По сути же, критика Леонтьевым Толстого и Достоевского за «сентиментальное» христианство была возрождением на очередном витке российской истории давнего спора волоколамского игумена с заволжскими старцами, когда явно обозначились два пути русского религиозного сознания. Сорский игумен Нил, нестяжатель по своим взглядам, был не только против монастырских вотчин и угодий, но и рисовал в своих проповедях кенотический[4] кроткий образ Христа, с которым

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Восток, Россия и славянство. Т. 2. М., 1886. С. 166.

[2] Трансцендентное (от *лат.* transcendens — переступающий, превосходящий) — то, что выходит за пределы и границы опытного знания и недоступно нашему разуму.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Я. Соловьеву от 1 марта 1879 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 231.

[4] Кенозис — богословский термин, означающий Божественное самоуничижение Христа через вочеловечение вплоть до принятия Им крестного страдания и смерти.

связывались терпимость, сострадание к людям. Игумен Волоколамский Иосиф вдохновлялся суровым византийским образом Христа-Вседержителя (Пантократора), грозного судии, и верил в необходимость для Церкви строгой дисциплины и безоговорочного повиновения. Видимо, эти два «лика» христианства не отрицают друг друга, их противопоставление ошибочно. Некоторое время спустя, уже в XX веке, протоиерей Георгий Флоровский в работе «Пути русского богословия» говорил о взаимодополнительности завоевания мира на путях внешней работы в нем и преодоления мира чрез преображение и воспитание человека.

Достоевский же, прочитав статью Леонтьева в «Варшавском дневнике», возразил ему в записной тетради: «*Леонтьеву (не стоит желать добра миру, ибо сказано, что он погибнет)*. В этой идее есть нечто безрассудное и нечистивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живи в свое пузо»[1]. Публично ответить Леонтьеву Достоевский, ушедший из жизни в 1881 году, не успел.

Брошюра была замечена критикой, заметки о ней появились в разных изданиях. Интерес к этой публикации был вызван прежде всего персонажами, которых критиковал автор, — Достоевский и особенно Толстой уже воспринимались как «классики». Три очень резкие статьи опубликовал Н. С. Лесков, опровергая «ядовитую» точку зрения Леонтьева (причем Лесков выступил в защиту не только Толстого, которым восхищался, но и Достоевского, с которым сам часто полемизировал). Цитируя Новый Завет, Лесков убеждал читателя, что религиозный страх — удел людей ветхозаветных, а удел христиан — любовь. Соответственно, и социальная программа Леонтьева, тоже основанная на принуждении и «стеснении», вызвала возражения Лескова. Он даже приписал Константину Николаевичу мысль, что профессоров можно сечь[2]. Ничего подобного, конечно, Леонтьев не писал, но откликнулся на этот пассаж писателя в письме Губастову с юмором: «...не скрою от Вас, что я против этого, не шутя, ничего не имею: не в ж... (извините) профессорской сосредоточено все достоинство человеческое)...»[3]

За Достоевского «вступился» в 1883 году и Владимир Соловьев. Он попытался отвести от Федора Михайловича обви-

---

[1] *Достоевский Ф. М.* Дневник писателя: 1881 // *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 27. Л.: Наука, 1984. С. 51.

[2] Леонтьев утверждал, что со стороны государства хороши самые жесткие способы борьбы со свободомыслием.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 4—12 июля 1885 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 281.

нения в «новом христианстве» (промолчав про такие же обвинения в адрес Толстого и тем самым неявно согласившись, что по отношению к Толстому критика имеет под собой основания). Соловьев в своей заметке писал, что вера во всемирную гармонию у Достоевского означала «не утилитарное благоденствие людей на теперешней земле, а именно начало той новой земли, в которой правда живет»[1]. Леонтьев с позицией Соловьева не согласился, но публично в полемику со своим молодым другом вступать не захотел.

В 1883 году Леонтьев задумал переиздать «Византизм и славянство». Помогать взялся Владимир Михайлович Эберман, с которым Леонтьева познакомил Владимир Соловьев. Эберман был корректором, жил на краю нищеты с женой и тремя детьми. Константин Николаевич, сам всегда остро нуждавшийся, предложил ему взять на себя хлопоты, связанные с изданием его работ, и обязался уплатить Эберману десять процентов из своих гонораров или выручки от продажи. Думаю, в первую очередь такая договоренность была вызвана тем, что Константин Николаевич хотел помочь бедствующему знакомому.

Эберман очень активно взялся за дело, но довольно долго с переизданием ничего не получалось. Почти все издатели и владельцы типографий хотели денег вперед, чтобы застраховаться от коммерческого риска, если тираж будет плохо продаваться, а у Леонтьева денег не было. Пока шли переговоры, замысел расширялся: Константин Николаевич стал думать о двухтомнике, причем во второй том решил поместить статьи, написанные для «Варшавского дневника». Двухтомник автор решил назвать «Восток, Россия и славянство». Он написал для него всего одну новую статью, зато отобрал для этого издания самые важные и удачные, по его мнению, работы прежних лет и некоторые значительно переработал.

В конце концов Эберман нашел издательство, где сборник согласились напечатать в кредит из расчета 15 рублей за лист (что было дешево): 200 экземпляров отдавали автору, остальные должны были пойти в продажу для уплаты типографских издержек. Надеялись, что двухтомник появится в 1884 году, но печатание задерживалось, — в том числе из-за самого Константина Николаевича, который очень медленно вычитывал текст. Первый том вышел из типографии в июне, а второй — в декабре 1885 года (хотя на титульном листе был поставлен уже следующий, 1886 год). Планировал Леонтьев издать и третий

[1] *Соловьев В. С.* Заметка в защиту Достоевского в «новом христианстве» // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881—1931 гг. М.: Книга, 1990. С. 57—58.

том, куда должны были войти воспоминания, но не получилось. В сборнике имелось посвящение: «Тертию Ивановичу Филиппову в знак невыразимой признательности за неизменную поддержку в долгие дни моего умственного одиночества». Филиппов был растроган.

Получив авторские экземпляры книг, Леонтьев стал рассылать их друзьям — Губастову, Новиковой, Вл. Соловьеву, другим. Послал экземпляр и Победоносцеву (хотя и знал, что всесильному обер-прокурору не понравится посвящение Филиппову — тот Тертия Ивановича недолюбливал). Леонтьев надеялся на поддержку сановника в своих хлопотах о пенсии. Победоносцев в ответ прислал довольно теплое письмо и включил сборник в список рекомендованных книг для гимназий и кадетских корпусов.

Зато Катков, получив книжку, посвящением был ревниво удивлен: как можно говорить об «умственном одиночестве», если многие из статей сборника были напечатаны в его «Русском вестнике»?! Сам же Леонтьев не сомневался, что именно из-за «умственного одиночества» и многочисленных отзывов на его двухтомник не будет.

Все же сборник не прошел незамеченным: сначала появилась заметка в библиографическом отделе «Русской мысли», затем Леонтьева поддержал «Гражданин», потом откликнулись и другие издания, хотя отзывы содержали не только похвалы, но и критику. Не остались в стороне и близкие друзья Леонтьева: отклик на книгу опубликовали «Ваничка» (И. Кристи), Уманов и Денисов, и даже Мария Владимировна (под псевдонимом «Русская Женщина») напечатала статью «Женщина — женщине о новой книге» в газете «Свет». Леонтьев очень надеялся также на отзыв Владимира Соловьева.

Надо сказать, что после переезда в Москву дружба Леонтьева с Соловьевым возобновилась, несмотря на частые разногласия в теоретических вопросах. Соловьев не раз бывал у Леонтьева дома и даже на дачу в Мазилово к нему приезжал. Один из близких Леонтьеву людей, Иосиф Фудель, вспоминал: «Константин Николаевич находился все время под обаянием личности Вл. Соловьева. Этого он нисколько не скрывал, а по свойственной ему честной прямоте публично высказывал и, как влюбленный, смотрел на предмет своей страсти слишком большими глазами, преувеличивая его достоинства и стараясь найти оправдание его недостаткам. Под личностью я разумею, конечно, не только душевный склад лица, но и его умственное своеобразие. И в этом смысле из всех современников К. Леонтьева, конечно, один только Соловьев мог удовлетворять его прихотливому и требовательному вку-

су... В своеобразии литературного таланта Соловьева, а еще больше в оригинальности его богословских идей, Леонтьев видел как бы зарю осуществления своей мечты о своеобразии русской культуры»[1]. Итак, Леонтьев своим молодым другом открыто восхищался, хотя и не всегда с ним соглашался.

Преподавательская деятельность Соловьева в это время завершилась. 28 марта 1881 года он выступил с публичной лекцией, в которой призывал помиловать цареубийц, исходя из идеи христианского всепрощения. Возникла шумиха в газетах, и Владимир Сергеевич прекратил преподавание (не без облегчения в душе, так как занятие это не любил). После ухода из университета Соловьев написал несколько сочинений на церковные темы — «Духовные основы жизни», «Великий спор и христианская политика», «История и будущность теократии» и др. Это был период симпатий философа к католицизму, когда он переписывался с видными католическими деятелями (епископом Штроссмайером и др.) и мечтал о скором объединении православной и католической церквей. Леонтьев не мог сочувствовать католическим склонностям Соловьева, но прощал ему эти идеи за обоснование исторической роли России в грядущем соединении христиан. (Первоначально сведение Соловьевым исторической миссии России только к религиозной задаче — быть «мостиком» для соединения Церквей — казалось Леонтьеву недостаточным, но в последние годы жизни он согласился с Владимиром Сергеевичем.) 1883—1886 годы стали временем наибольшего их сближения и взаимного влияния. Так, католические увлечения Владимира Сергеевича отразились на идее церковной централизации в работах Леонтьева, интерес Леонтьева к китайской теме сказался на соловьевском предвидении волны «панмонголизма», которая захлестнет в будущем Европу, и т. д.

Леонтьеву очень хотелось, чтобы Владимир Сергеевич откликнулся в печати на публикацию «Востока, России и славянства», особенно с учетом того, что во многих отзывах на сборник автора резко критиковали за византизм, за фанариотство, за недооценку исторических перспектив южных славян. К тому же сборник плохо продавался, и отклики в печати были нужны для того, чтобы исправить это положение. Соловьев даже пообещал Константину Николаевичу опубликовать рецензию, но обещания своего не сдержал. Судя по всему, «равноправия» в этой дружбе не было.

---

[1] *Фудель И. И.* К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях // Русская мысль. 1917. № 11—12. С. 18—19.

В московские годы Константин Николаевич продолжил работу над статьей, начатой еще на Афоне, — «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения». Впервые она была опубликована после его смерти, когда Иосиф Фудель начал издание первого двенадцатитомного собрания сочинений Леонтьева. Статья получила широкую известность благодаря «плотности» идей и мыслей в этом небольшом произведении. По смыслу «Средний европеец...» явно примыкает к «Византизму и славянству», но во многих отношениях развивает его идеи. Кстати, в работе над этой статьей Леонтьев не полагался только на свою память, но работал с различными источниками (что вообще было ему не очень свойственно) — книгами и статьями Прудона, Бокля, Спенсера, Шлоссера, Луи Блана и др. Анатолий Александров разыскивал для Константина Николаевича книги в московских библиотеках, а Губастов присылал из Вены то, что в России сыскать не удавалось.

Многие современные Леонтьеву авторы уповали на прогресс — мол, он приведет к стиранию противоречий, человечество повсюду достигнет одинакового уровня развития. Победит «всеобщий разум», жизнь устроится рационально, наука всех осчастливит своими плодами... Немало подобных прогнозов дал и следующий, XX век. Леонтьева же еще 150 лет назад такая мечта отвращала, прежде всего по эстетическим соображениям. Ведь кем будет этот средний европеец, счастливый буржуа? Пошлым существом без особой физиономии. Смесительное упрощение Европы приведет к однородности личностей — у среднего европейца не будет национальных особенностей, веры, отличающей его от других, одеваться он станет почти так же, как сосед, всем будут нравиться одни и те же книги и песни, и даже дома будут чрезвычайно похожи.

В XX веке о «грядущем хаме» напишет Д. С. Мережковский, об «одномерном человеке» расскажет Г. Маркузе, о «человеке массы» заговорит Х. Ортега-и-Гассет... Во времена Леонтьева про «массовидного» человека еще не писали. Да, ругали «буржуа». Да, был Герцен с его письмами о торжествующем на Западе мещанстве. Но говорить о появлении человека толпы как о *закономерном* итоге существующей тенденции развития западных обществ еще не начали. Леонтьев опять опередил время: один из современных исследователей назвал его «преждевременным мыслителем» вполне обоснованно[1]. В 1910 году И. Фудель писал: «Удивительно, как точно оправ-

---

[1] *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб.: Издательство СПбГУ, 1991.

дываются все предвидения К. Леонтьева... Торжество “хама” во всех областях жизни такое полное, стремление к демократизации у всех такое бессознательно-бешеное, а самое “уравнение” и “всеобщее смешение” идут такими гигантскими шагами, что, если бы теперь К. Леонтьев встал из гроба, он ничего не сказал бы, а только махнул бы рукой и опять лег в могилу»[1].

Константин Николаевич, получивший естественно-научное образование, к концу жизни стал видеть в рационализме науки опасность, ведь союз научного рационализма «с рационализмом капитала» порождает технический прогресс со всеми его проблемами. При бесконтрольном увлечении «оргией изобретений» в один прекрасный день люди сделают такую исполинскую физическую ошибку, что и «воздух как свиток совьется» и «сами они начнут гибнуть тысячами», — предупреждал Леонтьев.

Перед техническим прогрессом одинаково равны «царь и нищий, богатый и убогий», и при таком положении дел любая иерархия становится бессмысленной и разрушается: «Машины, пар, электричество и т. п., во-первых, усиливают и ускоряют... *смешение* <...> и дальнейшее распространение их приведет неминуемо к насильственным кровавым переворотам; вероятно, даже к непредвиденным *физическим катастрофам*; во-вторых, все эти изобретения выгодны только для того класса средних людей, которые суть главное орудие смешения, и представители его, и продукт»[2]. Рассуждая о негативных последствиях технического прогресса, Леонтьев заметил то, о чем другие заговорили только лет сто спустя, — неизбежное размывание социальной иерархии, стирание различий.

Конечно, главным вопросом для Леонтьева оставался вопрос о судьбе России. Есть ли у нее шанс не попасть в котел европейского смесительного упрощения? Признав, что в будущем неизбежным станет столкновение «мещанства» и «голода», он начал задумываться над возможностью «оседлать» социалистическое движение, использовать его для предотвращения «расползания» обществ в их вторичном упрощении. Избежать пугачевщины и анархии можно будет, придав социалистическому движению государственные формы. У него даже появились мечты о *социалистической монархии* — как чисто российском, своеобразном пути в истории.

---

[1] *Фудель И. И.* Судьба К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 250.

[2] *Леонтьев К. Н.* Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 168.

Леонтьев видел два пути развития социалистических идей: один вел к уравнительности, к однородному обществу всеобщего смешения. Другой — когда социализм станет «феодализмом будущего», «хроническим деспотизмом», вырастающим из неотчуждаемости собственности, из ограничения экономических свобод. Если либерализм, по мнению Леонтьева, — всегда разрушение, то *социализм может стать как разрушением, так и созиданием*, он может дать надежду на новое неравенство, на новую *разнородность*, на *развитие*. Социализм может стать противоядием либеральной заразе, если он будет проинтерпретирован не в европейской уравнительной парадигме, если «славянский православный царь возьмет когда-нибудь в руки социалистическое движение... и с благословления Церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной», — писал Леонтьев.

А в одном из писем Губастову Константин Николаевич рассуждал, что социализм проходит период мучеников и первых общин (как когда-то раннее христианство), что для него найдется еще свой святой Константин[1], причем провидчески писал, что этого «экономического, венчанного Константина» будут звать Александр, Николай, Георгий, но ни в коем случае не Вильгельм, Лудовик, Георг или Джемс. Леонтьев был уверен, что *крайняя революция* со временем станет крайним *охранением* и пустит корни именно на *русской* почве (и он оказался прав!). Если же Россия не устоит в противодействии европейскому смешению (с помощью «государственного исполина Китая» или «глубоко-мистического чудища Индии»?[2] или с помощью социализма?), то именно она, по мысли Константина Николаевича, и окончит историю, погубив человечество — «ибо ни новых диких племен, ни старых уснувших культурных миров тогда уже на земле не будет»[3].

Геополитические схемы Леонтьева выглядят вполне современно, но у них было слабое место, которое, возможно, и препятствовало их распространению, — они ничем не были подкреплены, кроме авторской интуиции. Если у Леонтьева и присутствует аргументация, то, как правило, эстетическая или — реже — теологическая. Обе срабатывают лишь в леонть-

---

[1] *Константин Великий* — римский император, провозгласивший христианство государственной религией.

[2] Некоторые исследователи (Б. В. Межуев, С. В. Хатунцев) считают, что именно К. Н. Леонтьев подтолкнул В. С. Соловьева к размышлениям на китайскую тему.

[3] *Леонтьев К. Н.* Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 201.

евской системе координат и убедить противника вряд ли могут. Они и не убеждали — имя Леонтьева по-прежнему оставалось неизвестным широкому кругу читателей. Хотя монах всё больше побеждал в нем консула и писателя, тот факт, что почти все его сочинения встречало глухое молчание, по-прежнему вызывал у Константина Николаевича уныние. «Задушили!» — напишет он в письме Филиппову про себя.

Леонтьев хотел отставки, мечтал о переселении в Оптину Пустынь, но нужно было сначала выхлопотать хорошую пенсию. Денег по-прежнему не было: известен факт покупки Леонтьевым в рассрочку старой ношеной шубы у своего ученика Замараева, потому что новая ему была не по карману.

О пенсии хлопотали многие друзья и знакомые — Филиппов, министр народного просвещения граф И. Д. Делянов, князь Гагарин. У Леонтьева была заведена специальная книжечка, куда он вписывал имена людей, которых поминал в молитвах, — эти благодетели тоже нашли себе там место. Почва для «усиленной» пенсии подготовлялась с лета 1886 года. «Дирижировал» отправкой писем и прошений опытный Филиппов. Он же задумал представить Государю леонтьевский сборник «Восток, Россия и славянство», что и было осуществлено в 1887 году. Леонтьев получил официальное письмо от министра Делянова о Высочайшей благодарности — после этого вопрос об «усилении» пенсии был практически решен: к обычной пенсии в 1500 рублей статскому советнику Константину Николаевичу Леонтьеву Высочайшим повелением была добавлена еще тысяча — за литературную деятельность. На 2500 рублей серебром в год можно было неплохо жить.

Седьмого февраля 1887 года Константин Николаевич официально вышел в отставку с государственной службы в Цензурном комитете, получив свое последнее жалованье в 40 рублей. Пенсия ему была назначена с мая того же года. Для Леонтьева наступило относительное финансовое благополучие, когда он помогал другим и предлагал взаймы молодым знакомым, но главное — пытался рассчитаться со своими прежними долгами, о которых, наверное, уже и сами заимодавцы забыли. Он пытался разыскать своего бывшего каваса Яни, чтобы вернуть небольшую сумму, занятую у него в Турции. Нашел портного Матвеева, которому был должен 50 рублей еще со студенческих времен. Ходил вместе с Владимиром Соловьевым к Льву Толстому — просил его почитать что-нибудь для сбора денег в пользу многодетной семьи. Он хорошо знал бедность сам, потому не отворачивался от нуждающихся.

Оценивая свои московские годы, Леонтьев писал про них Губастову: «...эти семь лет службы в Москве — годы тихие,

правильные, скромные, но в высшей степени во всем средние, во всем "в обрез" — доконали меня. В денежном отношении — ни нужды и ни тени даже самого скромного избытка, в отношении труда — не трудно и не льготно, в отношении здоровья — одно лучше, другое хуже. <...> Вот где был "скит"! Вот где произошло "внутреннее пострижение" души в незримое монашество!.. Примирение со всем, кроме своих грехов и своего страстного прошедшего, равнодушие, ровная и лишь о покое и прощении грехов страстная молитва... Величайшее желание не писать, разве для наследников (для Лизы, для Вари, для Марьи Владимировны). Да и почти уже не пишу давно... На что?»[1] Не мучило былое уныние, но не осталось и сильных желаний — может, только желание умереть в положенный срок легко, без мучений. Да и то, оговаривался Леонтьев, тогда этого желать можно, если подобные мучения не нужны для искупления грехов. («Страх загробного расчета» преследовал Леонтьева!)

Московская жизнь была дорога, а служба больше не удерживала в городе. Константин Николаевич собирался уехать в Оптину. Впрочем, признавался он Губастову, — сильно его туда не тянет: «Нет, на время — да, с радостью, а надолго — все равно везде телесные страдания, везде равнодушие...»[2] Зато на Босфор даже постаревший и больной Константин Николаевич отправился бы с восторгом. Впрочем, мечте положено оставаться не исполненной. Вот и Леонтьев уже не рассчитывал оказаться вновь на Востоке, довольствуясь воспоминаниями в письме Губастову: «Вспоминаю я часто Вас и Ваш совет в 1874 году в Константинополе: "Поезжайте в Россию, сделайтесь 'литературным генералом' и лет через пять возвращайтесь сюда на отдых". Не пять, а тридцать лет прошло с тех пор; "генералом" меня все-таки критики и редакторы не сделали, а разве, разве непопулярным полковником, — и рад бы я умереть на Принцевых островах, но чтобы подняться отсюда покойно, нужно 1000 или 1500 руб<лей>. Долги мне надоели до смерти, и должать мне стало теперь донельзя противно... Все это во мне изменилось, но стеснять себя еще ниже и еще строже, чем я стесняю себя эти семь лет, не могу... И потому да будет воля Господня!..»[3]

В этом же 1887 году Леонтьев покинул Москву и переехал в Оптину Пустынь.

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 2 февраля 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 298.
[2] Там же. С. 299.
[3] Там же. С. 299—300.

Глава 14
«ПРЕДСМЕРТНЫЙ ОТДЫХ»

Христианство личное есть, прежде всего, трансцендентный (не земной, загробный) эгоизм. Альтруизм же сам собою «приложится». «Страх Божий» (за себя, за свою вечность) есть начало премудрости религиозной.

Константин Леонтьев

В мае 1887 года Леонтьев оказался в Оптиной Пустыни. Сначала он, по благословению старца, поселился в скиту — послушником, потом начал присматривать жилье для своей «сборной семьи» — Вари и Александра с детьми, жены. Елизавета Павловна гостила в то время у его племянника Владимира Леонтьева, но Константин Николаевич намеревался забрать ее к себе. Губастов, болея душой за друга, советовал ему не брать жену с собой в Оптину, а отправить Лизу в Крым, к родным, куда она часто просилась.

Леонтьев такое предложение решительно отверг: «Что Вы это, мой друг, это бесчеловечно и ненужно. Она опять ко мне очень привыкла, и в ее беспомощном состоянии "Божьего" человека кому ее там поручить. Не думаете ли Вы, что она меня очень обременяет? Если это иногда изредка и случается, то это очень легкое и несерьезное с моими винами наказание за мое прошлое; а вообще ее присутствие и близость вносят в мою жизнь нечто очень хорошее, религиозное, мистическое, нечто для моей совести и сердца очень дорогое и незаменимое. Без нее — надолго — все суше и холоднее»[1]. Больная сумасшедшая жена была крестом Константина Николаевича, и нес он этот крест без ропота.

Вскоре Леонтьев нанял жилье у монастыря за 400 рублей серебром в год — с дровами, водой и даже молоком с монастырского скотного двора. Это был белый каменный двухэтажный дом с красной крышей совсем рядом с монастырскими

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 25 февраля 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 306.

воротами (не парадными). Дом стоял на пригорке, был теплым, удобным, без всяких архитектурных излишеств.

Леонтьев отделал дом заново, по своему вкусу («очень недорого» — не забывал отметить он в письмах), перевез от Бобарыкина кудиновскую мебель (с разрешения Марии Владимировны — ведь по завещанию Феодосии Петровны движимое имущество принадлежало ей), нанял мальчика Петрушу в помощь по хозяйству, повара из местных. Сюда Леонтьев и выписал Елизавету Павловну. Варя с мужем и детьми приехали позже, в конце лета. Со временем появилась у Константина Николаевича и лошадка — он мог теперь навещать знакомых соседей-помещиков (того же Бобарыкина, например, или князя А. Д. Оболенского) и кататься по окрестностям; ходить пешком ему было тяжело — болели ноги. И зажил в Оптиной Константин Николаевич «совершенно своеобразною, полупомещичьей жизнью, полной религиозно-трогательной, милой и тихой поэзии и пленительной красоты патриархального старинного православно-русского уклада, добродушно барского и в то же время удивительно изящного...»[1] — вспоминал Анатолий Александров, не раз навещавший его на новом месте.

Монахи и околомонастырский люд прозвали Леонтьева «консулом»; домик, соответственно, получил название «консульского». Единственное, что не устраивало в нем нового хозяина, — цвет. Белые стены казались Константину Николаевичу «хамским» выбором — то ли дело покрашенные розовым скитские ворота! (Забавно, что сейчас стены этого хорошо сохранившегося домика стали как раз персикового цвета.) На первом этаже устроили большую гостиную и столовую, обставив их кудиновской мебелью. В углу стояло кресло причудливой формы на постаменте, которое Леонтьев шутя называл «мой трон» и где он любил сидеть после обеда, покуривая сигару. На первом же этаже жила Елизавета Павловна и располагалась комната для гостей.

В коридоре находилась узенькая крутая лесенка наверх. На втором этаже жил хозяин дома. Там был кабинет, из окон которого открывался чудесный вид на реку, поля и рощицы. На горизонте виднелась даже колокольня и строения Козельска. На стенах кабинета висели старинные портреты — Феодосии Петровны, Василия Дмитриевича Дурново, других дорогих хозяину людей. Рядом была и спальня Константина Николаевича.

---

[1] *Александров А. А.* Памяти К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 368.

Неподалеку от Леонтьевых жила Екатерина Самбикина — она приняла тайный постриг, стала монахиней. Из Шамордина приехала навестить их и Людмила Раевская. Елизавета Павловна поначалу была очень довольна новым местом — она часто ходила в храм, полюбила гулять с Людмилой, да и одна бродила по окрестностям. Из-за вечно растрепанных черных волос и явно неславянского типа лица ее часто принимали за цыганку — и она радовалась этому как ребенок. Но после возвращения Людмилы в Шамордино Лиза заскучала, стала часто хныкать и проситься в Тулу, к «моське» и «Терентьихе» (у племянника Владимира была собачка, а его жену, которую Елизавета Павловна полюбила, звали Наталья Терентьевна). В конце концов в середине июля Леонтьев отправил-таки ее опять в Тулу — погостить на месяц (и оговоренные 20 рублей на пропитание жены родственникам послал). Но в письме крепко пьющего своего племянника строго предупредил, чтобы ни он, ни его жена Елизавете Павловне вина не давали, — «если я раз увижу ее пьяной, я при моих теперь связях запру ее в дом умалишенных непременно, и на вашей душе будет уже не грех, а целое преступление»[1].

Этим же летом к Екатерине Самбикиной дней на десять приехала и Мария Владимировна — поговорить со старцем, побывать в Оптиной, но и с надеждой увидеть Константина Николаевича. Она в тот момент осталась без места, гостила у родных и знакомых. Двоюродная сестра, часто бывавшая в консульском домике и знавшая настроения Леонтьева, не советовала Маше искать с ним встречи. Впрочем, однажды они нечаянно столкнулись в садике. Леонтьев описывал потом эту встречу Губастову: «...я молча подал ей руку (потому что мы были не одни). Она ушла в дом, а я к себе, вполне счастливый, что так легко отделался и что не было и тени волнения в душе. Отец Амвросий говорит: “Однако должно быть сильно эта женщина оскорбила вас! И в Турции, и где только вы ни были, ни против кого у вас нет такого памятозлобия, как против нее. Конечно, видеться не нужно. А так как сказано: ‘любите и врагов’, то надо деньгами помогать ей и молиться о смягчении сердца!”»[2].

Леонтьев так и делал: передавал через Екатерину ежемесячно по 15 рублей для отправки Марии Владимировне (позднее сумма увеличилась до 20 рублей) и пересылал ей половину

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к В. В. Леонтьеву от 12 июля 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 371.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 26—31 мая 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 371.

поступающих время от времени денег от продажи «Византизма, Востока и славянства» — двухтомник стал расходиться даже немного лучше, чем сразу после выхода в свет. Константин Николаевич рассуждал таким образом: «После того, что уже было между нами и в такие зрелые годы, христианское чувство требует одного — забвения и, если нужно и можно, вещественной помощи, вообще какого-нибудь чисто практического добра, без разговоров и свиданий»[1]. Но былого Машиного «служения» Леонтьев не забывал никогда! «Если бы я и 1000-чи ей достал и дал, то за ее труды и преданность я этим никогда не заплачу, они слишком велики», — писал он племяннику Владимиру. И позже, уже в 1888 году, признавал: «Сестра твоя душу свою за меня полагала...»[2]

В это время «босфорский друг» Губастов стал подумывать о женитьбе, детях, семейном очаге. Константин Николаевич решительно отговаривал его от этого шага (хотя свой необычный брак с Лизой считал вполне удавшимся!). Леонтьев написал другу длинное письмо, где разобрал «по косточкам» всех знакомых дам, дабы показать, что на тихую семейную гавань и счастье рассчитывать трезвомыслящему мужчине трудно. Начал Леонтьев с некоторых общих тезисов — предупреждал Губастова, что русские дамы «до того избаловались, что ужас!» (видимо, турчанки или гречанки представлялись ему менее испорченными прогрессом): «Я не говорю уже о “плотской” измене; я убежден, что умной и кроткой жене с этой стороны пожилой и тоже умный “русский” муж часто может многое простить; я говорю об их “правовом”, так сказать, “фырканье”, об их крайне неделикатном отношении к слабостям и недостаткам мужа, об их дурацком воображении, что они, дуры, поголовно обязаны иметь свое мнение обо всем и т. д.»[3]. Идеи женского равноправия и эмансипации никогда не находили отклика в душе Константина Николаевича; даже у почитаемого им Милля он этих идей как будто бы не заметил, прошел мимо. А в письмах Анатолию Александрову с недоумением спрашивал: зачем его сестры учатся?!

Убеждая друга, Леонтьев перешел и к конкретным примерам. Позволю себе привести выдержку из этого письма, дающего представление о том, как он оценивал некоторых из своих знакомых. «Вспомните своеволие и неуважительность к

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 26—31 мая 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 371.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к В. В. Леонтьеву от 10 октября 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 406.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 15 марта 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 310.

мужу мад<ам> Ону, ехидство Хитровой, грубое сердце “Вашей” Ольги[1] (она очень жестока и груба; я ее жалел, Вы знаете, пока не узнал случайно ближе), истинное зверство и подлость Марии Николаевны Новиковой[2], более благородное, конечно, но очень лукавое и несокрушимое своеволие Ольги Новиковой (относительно мужа), вспомните, кстати, и ужасный характер моей Марьи Владимировны (я ведь ее знал с детства, да и то жестоко ошибся в ней!), — заклинал он друга. — Ведь я еще целую хартию имен напишу подобных “козлиц” семейной жизни, и все будет то же. Исключений мало; Катерина Дмитриевна Тимофеева[3], которая, изменяя мужу физически, никогда не пользовалась его недостатками, а покрывала их всячески и никогда не оскорбляла Николая Васильевича, несмотря даже на весь его идиотизм. Игнатьева, быть может, но ведь она зато деревянная или каменная, а Николая Павловича и пронять чем-нибудь трудно, кроме его тщеславия и честолюбия, а в этом они с женой солидарны»[4]. Впрочем, вольно рассуждать в таком тоне о женщинах, когда ты уже сед и почти монах, — в молодости Константин Николаевич вряд ли думал так же...

Служба в Цензурном комитете не была обременительной, но все же, когда необходимость в ней отпала, Константин Николаевич почувствовал облегчение. Как будто бы какой-то тяжкий долг, повинность ушли из его жизни. Настроение его явно улучшилось, он даже моложе себя почувствовал! Губастов советовал ему не размениваться на мелочи, а засесть за большой роман. Но с 1887 года Леонтьев писал всё меньше и меньше. Здоровье ли тому виной, возраст, неуспех у читателей или в нем все больше стал брать верх монах? Д. М. Володихин пишет: «С 1887 года угасание очевидно. В подавляющем большинстве случаев новые статьи Леонтьева представляют собой отклик — на событие, книгу, идею. <...> Леонтьев редко в эти годы взлетает сам»[5]. Надо было продолжать работу над «Двумя избранницами», «Египетским голубем», хотелось закончить «Среднего европейца», появлялись мысли о завершении «Одиссея», но не писалось, не было охоты. Исключением были небольшие статьи для «Гражданина».

---

[1] Ольга Сергеевна Карцова, в которую Леонтьев тоже был когда-то влюблен.

[2] Жена Евгения Петровича Новикова, писателя и дипломата, служившего в русском посольстве в Константинополе.

[3] Одна из «посольских дам», близкая константинопольская приятельница Леонтьева.

[4] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 15 марта 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 310—311.

[5] *Володихин Д. М.* «Высокомерный странник». М., 2000. С. 65.

«Гражданин» в то время стал ежедневной газетой. Князь Мещерский надеялся на сотрудничество с Леонтьевым, а Тертий Иванович Филиппов прямо советовал своему другу соглашаться на такое предложение: «Зиму Вам придется жить здесь; ранней весной будете уезжать...»[1] Молодые «ученики» Леонтьева (Уманов и др.) тоже обрадовались перспективе его работы в «Гражданине»: они надеялись, что Константин Николаевич будет бывать в Москве, что его голос станет слышнее в российском обществе. Но Константин Николаевич не рвался вернуться в Первопрестольную — он был доволен своим положением, умиротворен. В то же время он не отказался от предложения Мещерского полностью. Леонтьев написал князю, что согласится на постоянное сотрудничество с газетой с некоторыми условиями: во-первых, летом он будет уезжать в Оптину, а во-вторых, его жалованье должно быть гарантированным и высоким — восемь тысяч рублей в год, если он переедет в Петербург, и три тысячи серебром, если местом жительства станет Москва (тогда Петербург по стоимости жизни был много дороже Москвы).

Суммы были названы значительные. Князь подумал — и отказался, предложив Леонтьеву остаться желанным автором с построчной оплатой. Константин Николаевич был даже рад такому повороту событий. Князю Гагарину он писал: «...я обеспечен (по здешнему месту), и с избытком, я свободен, я теперь имею все то, что мне привычно и дорого, — монастырь близко, дома жизнь вроде помещичьей, всенощные служат и часы читают в доме, монахи посещают, родина (Калужская губ.), летом природа прекрасная, лес, река, луга большие, вещи родовые кое-какие, а с ними и воспоминания... и, наконец, возможность писать, что хочу (или почти что хочу), в "Гражданине"»[2]. Свои последние годы в Оптиной Леонтьев называл иногда «предсмертным отдыхом». Натерпевшись в прежней жизни материальных лишений, отказаться от большого жалованья он, наверное, побоялся бы, но и впрягаться в ежедневную газетную работу не было уже ни сил, ни желания.

Да и человек, который лучше всех мог заставить его работать, умер. В июле 1887 года в своем подмосковном имении скончался Михаил Никифорович Катков. Отношение к этой смерти у Леонтьева было двояким. Он Каткова не любил, но понимал, что с его уходом закончилась целая эпоха в российской консервативной журналистике. Потому в письмах друзь-

---

[1] Письмо Т. И. Филиппова к К. Н. Леонтьеву от 25 июня 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 2. С. 969.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к кн. К. Д. Гагарину от 7 ноября 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 323.

ям он писал о необходимости установки памятника, но в то же время верил, что «пуговку-то электрическую на Страстном бульваре (где помещалась редакция «Московских ведомостей». — *О. В.*) сам Господь вовремя прижал»[1].

Анатолию Александрову Леонтьев объяснял свою позицию: «Не знаю: велика ли потеря для всех нас смерть Каткова? Нельзя, разумеется, не писать и не говорить публично, что утрата велика. Он был истинно великий человек, и слава его будет расти. Надо воздать ему должное. Но я спрашиваю у себя вот что: 1) Должны ли мы заботиться об укреплении православной Церкви, несмотря на то, что последние времена по всем признакам близки? Конечно, должны. Надо приготовить паству для последней борьбы. 2) Что важнее всего для этой цели? Важнее всего, чтобы учительствующая часть Церкви, т. е. иерархия православная, стояла в уровень века не только по учености, но и по воспитанию и по всему... 3) Есть ли надежда на это? Есть. Церковь может жить (т. е. меняться) в частностях, оставаясь неподвижной в основах; на жизнь ее (земную) имеет большое влияние положение духовенства и другие исторические условия... Взятие Царьграда даст возможность сосредоточить силу и власть иерархии, хотя бы и в форме менее единоличной, чем на Западе, а более соборной. 4) При чем же тут Катков? Он был жестокий противник этой централизации, в частных беседах упрекал меня и Филиппова за такое желание, а в печати молчал пока, ограничиваясь постоянной травлей греческого духовенства, которое при всех недостатках своих более нашего способно будет, по историческим привычкам своим, к властной роли. Он заранее очень обдуманно старался унизить его в глазах русских читателей»[2]. Вот так! Катков и не *успел еще* ничего написать против централизации Церкви, и Царьград еще не взяли, но одних только *приватных* разговоров, в которых Михаил Никифорович высказался *против* подобной централизации, было для Леонтьева достаточно, чтобы решить, что Катков умер вовремя, не успев *навредить* важному делу! Всё происходящее вокруг Константин Николаевич мерил одной мерой — церковной.

Для Леонтьева стали потребностью беседы со старцем — он часто ездил к нему в скит. Отец Амвросий был стар и немощен, редко выходил из своей кельи, бóльшую часть времени лежал, но Константина Николаевича без своего водительства

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к В. С. Залетову от 24 июля 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 315.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к А. А. Александрову от 24—27 июля 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 316—317.

не оставлял. А вскоре расхворался и сам Леонтьев: опять появились раны на отекших ногах, мучили кашель, боли в спине. Он перестал выходить, даже в церковь не ездил. Заказывал иногда всенощные на дому. «Но унывать — ничуть не унываю, благодаря Бога. Все мои — около меня»[1], — писал он в октябре Александрову. Князю же Гагарину объяснял, что уже привык к своим болезням: «Чтобы у меня что-нибудь и где-нибудь не болело хоть один день — этого я давно уже не помню, а в особенности с 84 года». Впрочем, и тут Леонтьев видел милосердие Божие: «...не болей я беспрестанно, я бы по живости моего ума и легкости моего характера забывал бы слишком часто о том, "что едино есть на потребу"»[2].

Болезни мешали не только в церковь ходить, но и писать. Тем не менее осенью 1887 года им был начат цикл статей для «Гражданина», над которым он работал до последних своих дней. Цикл, получивший название «Записки отшельника», продолжал «Письма отшельника», написанные в 1879 году. Цикл включал разные статьи — и написанные на внешнеполитические темы, и эстетические эссе, и статью о Каткове (Леонтьев хотел оценить вклад этого человека спокойно и беспристрастно). Через год публикация «Записок отшельника» прервалась для того, чтобы возобновиться в 1890 году. Одной из наиболее интересных для понимания личности Леонтьева можно считать статью, опубликованную в январе 1888 года, — «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой».

Повод для статьи был литературный: Леонтьев считал, что влияние литературы на молодые сердца огромно, несопоставимо с влиянием семьи или учебных заведений. Толстой же привлек внимание Леонтьева, потому что для него ясно было («как то, что Шекспир есть величайший драматург всех времен»), что Толстой «выше всех романистов нашего времени и за все последние тридцать-сорок лет во всем мире»[3] (сам он толстовскую «Войну и мир» перечитывал семь раз!). В то же время, был уверен Леонтьев, «без этих Толстых (то есть великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека. Без них и писателей национальных не станет; ибо не будет и самобытной нации»[4]. Первоначально Леонтьев хотел назвать статью немного иначе:

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к А. А. Александрову от 13 октября 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 322.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к кн. К. Д. Гагарину от 7 ноября 1887 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 324.

[3] *Леонтьев К. Н.* Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 305.

[4] Там же. С. 307.

«Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой, или Кто нужнее и кто из них лучше?». Причем, с его точки зрения, нужнее и лучше был, разумеется, Вронский.

Повод-то был литературный, но говорил Леонтьев не о литературе (хотя и о ней тоже — ругал Гоголя за его грубый комизм, высмеивал тенденцию «прогрессивной» литературы изображать «мужичков», «солдатиков» да «честных тружеников», давал свое понимание настоящего *реализма*). Он говорил о *действительности* — ведь эстетика жизни для него всегда была выше эстетики искусства. А эстетика жизни требовала реальных Вронских[1] — блестящих военных, прославленных подвигами под Плевной или на Шипке, требовала «высшего общества», а не только «честных тружеников»; даже княгиня Долли и ее легкомысленный муж Стива Облонский казались Леонтьеву гораздо нужнее иных скучных, «простых и скромных» русских людей — типичных действующих лиц литературы того времени. Он был уверен: без военных и знати государство существовать не может, и это уже никакими самыми лучшими романами не изменишь.

Леонтьев спорил с Толстым — с его жизненной философией и убеждениями — с помощью героев самого Толстого; Толстой-творец противопоставлялся Толстому-проповеднику и человеку. Вронский — великолепен и правдив, но разве можно восхищаться военными, не признавая неизбежности войн и насилия в общественной жизни?! Вступал в действие наиболее общий, с точки зрения Константина Николаевича, критерий оценки — эстетический. «В действительной жизни для того, у кого извращенный в основах дух отходящего скоро в вечность XIX века не исказил изящного вкуса и не убил здравого смысла, — убеждал читателя Леонтьев, — *военный будет всегда выше штатского*, конечно, при всех остальных равных условиях со стороны ума, характера, воспитания, красоты и силы телесной и т. д.»[2].

Речь шла о критике толстовского принципа непротивления злу силою, распространявшегося тогда в России. Толстовцы отказывались от воинской службы, за что несли наказание. Леонтьев же считал, что войны бывают очень полезны для достижения политических целей и для укрепления общества, ведь «без *насилия* нельзя... *Насилие не только побеждает, оно и убеждает многих, когда за ним, за этим насилием, есть идея*».

---

[1] Скорее всего Леонтьев знал, что у Алексея Вронского был прототип — флигель-адъютант и поэт А. К. Толстой, чья любовная история наделала много шума в петербургском обществе.

[2] *Леонтьев К. Н.* Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 304.

В одном из писем княжне Елене Алкивиадовне Гагариной он откровенно говорил: «...Россия тоскует, Россия скучает и да позволено мне будет сказать откровенно в этом частном письме: только большая война или вернее целый период очень трудных, но победоносных войн может занять и отрезвить лет на 25—50 наше общество. Надо взять Босфор и Дарданеллы; и готовиться после этого к ряду войн уже не с Австрией или Германией, или с одной Францией, как бывало прежде, а с целой Европой...»[1] Непротивленчеством тут и не пахло!

Толстовство включало в себя и свободное толкование Евангелия, критику исторической (реальной) Церкви и священства. С этим Леонтьев тоже не мог согласиться. «...Я верю, — писал он, — что благо тому государству, где преобладают... "жрецы и воины" (Епископы, духовные старцы и генералы меча), и горе тому обществу, в котором первенствует "софист и ритор" (профессор и адвокат)... Первые придают *форму* жизни; они способствуют ее охранению; они не допускают до расторжения во все стороны общественный *материал*; вторые по существу своего призвания наклонны способствовать этой гибели, этому плачевному всерасторжению...»[2] Если Толстой верил, что Церковь и священники — ненужные и вредные «посредники» в вере, то Леонтьев без воцерковления веры вовсе не признавал.

Не устраивал Леонтьева и принцип всеобщей любви, проповедуемый Толстым. Для него на первом месте была *любовь к Богу*, а не к человеку. Из такой христианской любви уже вытекало всё остальное: люди должны делать добро, «иногда даже и весьма неохотно, принудительно, сухо, не всякий раз по искреннему движению сердца, не всякий раз по доброте, по "любви человеческой", а и "по страху Божию", по боязни согрешить, по *любви ко Христу*, по любви к послушанию и т. д.»[3]. Надо веровать не в себя и свое сердце, считал Константин Николаевич, — сердце может и ошибаться, а в учение Церкви; делать «ощутительное добро» независимо от желаний, иногда — вопреки им.

Христианство Толстого обходилось без Христа, было безличным учением; его можно выразить в признании любви, доброты к окружающим высшим законом жизни[4]. Леонтьев

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к кн. Е. А. Гагариной (Аргиропуло) от 22 мая 1888 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 12—13.

[2] *Леонтьев К. Н.* Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 300.

[3] Там же. С. 308.

[4] См.: *Толстой Л. Н.* Закон насилия и закон любви // *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 37. М., 1956.

любви тоже не отрицал и даже говорил о необходимости ее проповеди; но он не верил, что любовь может воцариться на земле. Человечество нельзя исправить, все люди не могут стать святыми, но можно и нужно воздействовать на них мистическим страхом: «...мы... при боязни согрешить, при памяти о Страшном Суде Христовом станем все-таки по отношению к другим людям... справедливее и добрее»[1]. Любить ближнего каждую минуту доступно не всем, это особый *дар*, зато «*страх же доступен* всякому: и сильному, и слабому; страх *греха*, страх *наказания* и *здесь* и *там*, за могилой... И стыдиться страха Божия просто смешно; кто допускает Бога, тот должен его бояться, ибо силы слишком несоизмеримы! Кто боится, тот смиряется; кто смиряется, тот ищет *власти* над собой видимой, осязательной...»[2] — этот мотив у Леонтьева повторялся часто. Если толстовская версия христианства сводила религию к нравственным заповедям, то Леонтьев предлагал аскетическую, мистическую версию христианства[3]. Очевидно, что здесь сказался личный религиозный опыт Константина Николаевича, его путь к вере.

Среди «Записок отшельника» выделяется еще одна статья — «Владимир Соловьев против Данилевского». Она печаталась в «Гражданине» частями, с продолжением (но остались и неопубликованные при жизни автора части этого сочинения). Поводом стало появление в феврале 1888 года в «Вестнике Европы» статьи Владимира Соловьева.

Полемика Соловьева и Данилевского началась за несколько лет до этого: в 1885 году Данилевский опубликовал статью «Владимир Соловьев о православии и католицизме», предпослав ей говорящий сам за себя эпиграф: «Сближение между нами возможно ли? Кроме решительного отрицания, иного ответа нельзя дать на этот вопрос. Истина не допускает сделок».

Соловьев занял прокатолическую позицию, возлагая вину за разделение церквей на Византию, и предлагал преодолеть

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Добрые вести // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 417.

[2] *Леонтьев К. Н.* Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и граф Лев Толстой (По поводу речи Достоевского на празднике Пушкина и повести гр. Толстого «Чем люди живы?»). М., 1882. С. 51.

[3] Выделяя различные типы религиозной жизни, мать Мария (Скобцова) отнесла взгляды Леонтьева к эстетическому типу благочестия. С этим трудно спорить, но, как оговаривается сама мать Мария, любые схемы условны. Потому в позиции Леонтьева можно найти элементы и эстетического, и аскетического религиозного типа. См.: *Мать Мария (Скобцова).* Типы религиозной жизни // Вестник РХД. [Париж], 1997. Т. 176. Р. 5—50.

церковный раскол под духовным руководством Папы Римского (считая, что в этом случае у России появится шанс стать новым Римом). Глубоко верующий Данилевский был с этим решительно не согласен. Но, критикуя Соловьева за католические симпатии, он не заметил его универсализма, стремления к всемирной, вселенской Церкви, — как раз того, что высоко ценил Леонтьев.

На соловьевскую статью 1888 года Данилевский ответить уже не мог — он умер в Тифлисе в 1885 году. Вместо него ответили Страхов и Леонтьев.

Константин Николаевич определил главную духовную цель Соловьева так: «...спасти посредством воссоединения Церквей наибольшее количество христианских душ»[1], и, конечно, Леонтьев поддержал его в таком стремлении. Более того, он увидел в построениях Соловьева сопротивление соблазну национализма и согласился с ним — религиозное чувство должно быть выше национального, и христианин должен чаять соединения всех христианских Церквей.

Но каким будет это соединение? «Широкое основание духовно-церковной пирамиды — общее; вершина ее должна быть в Риме, по мнению г. Соловьева, — писал Леонтьев. — Мы можем не соглашаться с этим последним выводом (Владимир Соловьев не Собор Восточных Епископов); мы можем... как православные, думать и надеяться, что *вершина эта отклонится скорее на Восток*, чем на Запад»[2]. Впрочем, дело было не только в том, где будет «вершина пирамиды», дело — в *послушании*. Леонтьев оставался верен себе и своему пониманию *духовной дисциплины*. «Если бы мне было категорически объявлено свыше, иерархически объявлено, что вне Римской Церкви нет мне спасения за гробом, — и что для этого спасения я должен отречься и от русской национальности моей (которая так мне драгоценна), то я бы отрекся от нее не колеблясь», — полагал Леонтьев. Но Церковь такого отречения не требует — «зачем же я пойду в Рим, когда никто, имеющий право духовно мне повелевать, этого мне не предписывает?»[3]. И далее, обращаясь к Соловьеву, излагал свою позицию: «Епископы и старцы наши еще нейдут, и я не пойду. Вы не боитесь ставить себя выше их: это ваше дело и ваш ответ перед Богом, я же привык молиться: “Утверди, Боже, страх Твой в сердце моем!”»[4].

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Владимир Соловьев против Данилевского // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 316.

[2] Там же. С. 318.

[3] Там же. С. 320.

[4] Там же. С. 321.

Попытка Соловьева создать всемирную теократию была, конечно, глубоко утопична. В этой утопии разочаруется позже и сам Соловьев, завершив свой жизненный путь предсказаниями пришествия антихриста и конца истории. Последняя работа Владимира Сергеевича, пронизанная апокалипсическим вдохновением, — «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» — по сути, стала признанием правоты уже умершего к тому времени Леонтьева... Но если отвлечься от теократического идеала Соловьева, то речь в его статье шла о слабых местах, а подчас и исторических ошибках в концепции Данилевского.

Например, Соловьев не был согласен с предложенным Данилевским законом о непередаваемости культурных начал от одних культурно-исторических типов другим — напротив, он считал, что движение истории как раз и состоит в такой передаче. Соловьев привел яркий пример: христианство, возникшее среди евреев, «даже в два приема нарушило мнимый "исторический закон", ибо сначала евреи передали религию греческому и римскому миру, а потом эти два культурно-исторических типа еще раз совершили такую недозволенную передачу двум новым типам: романо-германскому и славянскому, помешав им исполнить требование теории и создать свои собственные религиозные начала»[1]. Леонтьев на это замечание внимания не обратил как на мелочь: «...теорию культурных типов, конечно, ни Соловьеву, ни кому другому опровергнуть не удастся, можно только исправлять частности»[2].

По Соловьеву, культуры уникальны и неповторимы, но их отличия определяются и местом в *общем* историческом процессе. Есть культуры «уединенные» (например, китайская), которые живут обособленно и как будто на обочине истории. (Как изменилось человечество за эти сто с небольшим лет! Вряд ли сегодня можно сказать, что Китай находится на обочине истории.) Но есть культуры преемственные, утверждал Соловьев, которые воплощают в себе идею универсальности. Ближе всего к такому универсализму стоит Европа, создавшая большую часть общечеловеческих ценностей. Россия же — посередине. Но всегда, когда она пыталась в своей истории обособиться, утвердиться в «национальном эгоизме», она оказывалась бессильной произвести что-то значительное. И наоборот: в моменты национального самоотречения (будь то приглашение

---

[1] *Соловьев В. С.* Статьи из энциклопедического словаря: Даниловский, Николай Яковлевич (1822—1885) // *Соловьев В. С.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1990. С. 410.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Н. Страхову от 22 июля 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 396.

на царствование варягов или эпоха Петра I) она достигала многого. Следующим актом отречения, по мысли Соловьева, должно стать религиозное слияние России и Европы.

В своем программном стихотворении 1890 года «Ex oriente lux»[1] Соловьев расшифровывал это известное латинское изречение не как насильственное навязывание Востоком своего культурного и религиозного образца Западу (используя в качестве исторической иллюстрации нашествие Ксеркса на Древнюю Грецию), а как берущее начало на Востоке движение за христианское примирение с Западом. Последняя строфа напрямую обращена к России:

> О Русь! В предвиденье высоком
> Ты мыслью гордой занята;
> Каким ты хочешь быть Востоком:
> Востоком Ксеркса иль Христа?

Леонтьев не соглашался с такой установкой Соловьева. «И что за вздор: Россия Ксеркса или Христа? "Россия — России" — вот что нужно»[2], — писал он их общему знакомому, Эберману. Либеральная разлагающаяся Европа вовсе не похожа на цветущую Грецию перед Персидскими войнами, она скорее напоминает Грецию после Пелопоннесской и Фиванской войн, то есть в период духовного упадка; «а мы, как ни плохи, а растем еще, как Рим после Пунических войн», — считал Леонтьев.

Соловьев видел будущее России европейским, да и саму Россию считал Европой. «...Россия, при всех своих особенностях, есть одна из европейских наций», — заключал он. Леонтьев же видел Россию самостоятельным культурно-историческим типом цивилизации, будущее которой зависит от умения *противостоять* Европе. Тут согласия между ними быть не могло. Вместе с тем он называл Соловьева «полезным, гениальным Колумбом» — Колумб, открывая Америку, думал, что нашел путь в Индию. Так и Соловьев — полезен вовсе не тем, что сам считает главным. Он прав, говоря о необходимости соединения христиан во Вселенской Церкви, но прийти к этому можно иначе. Ведь к похожему результату может привести и расцвет нового культурно-исторического типа — о чем писал Данилевский. Впрочем, подход Данилевского тоже не казался Леонтьеву безупречным. Но здесь вряд ли уместно вдаваться в подробности этой полемики. Главное — вывод,

---

[1] «С востока идет свет» (*лат.*).

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к В. М. Эберману от 1 мая 1890 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 492.

который из нее вынес Леонтьев: «...Похожее всего Россия на языческий Рим *по своей судьбе. Не слишком оригинальна*; имеет в себе нечто действительно примиряющее крайности и в то же время медленно, но неотразимо и неустанно *завоевательна*»[1].

Почему Леонтьев сравнил Россию с Римом? В чем могут быть сходны их исторические миссии? Закат языческой Римской империи для религиозного человека означает прежде всего распространение христианства. Значит ли это, что призвание России тоже является религиозным (и Соловьев в этом смысле прав)? Думаю, именно так чувствовал Константин Николаевич. Но, соглашаясь с Соловьевым в данном пункте, Леонтьев спорил с ним о том, в какой форме это религиозное призвание будет выполнено. Заветная мечта — взятие Константинополя-Царьграда — как ключик открывала остальные построения Леонтьева: создание Восточного союза на развалинах Турции может завершиться воссоединением Церквей не под тиарой Папы Римского, а под клобуком Православного Патриарха и при помощи державы православного русского царя.

Лицо России определяют православие, самодержавие и поземельная община, писал когда-то Леонтьев. Получалось, что к концу жизни два последних элемента — самодержавие и поземельную общину — он считал подчиненными первому — православию; они лишь *почва* для сохранения веры. В письме Губастову Леонтьев заметил, что Владимир Соловьев — в отличие от Хомякова, Аксакова и даже Данилевского — единственный «насильно» заставил его думать в новом направлении: «Он поколебал, признаюсь, в самые последние 2—3 года мою культурную веру в Россию, и я стал за ним с досадой, но невольно думать, что, пожалуй, призвание-то России чисто религиозное... и только!»[2]

Полемика с Соловьевым мучительно переживалась Леонтьевым. В досаде он даже разорвал фотографию Владимира Сергеевича, которую тот ему прислал (и сам потом рассказал об этом при встрече Соловьеву в Москве — Владимир Сергеевич рассмеялся). В письме Губастову после публикации в «Гражданине» своего ответа Владимиру Соловьеву Леонтьев признавался: «Возражая ему, — я все-таки почти благоговею...» Он считал Соловьева гением «с какой-то таинственной высшей печатью на челе» и не раз сам для себя придумывал оправдания

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Владимир Соловьев против Данилевского // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 351.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 5—7 июня 1889 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 465.

тем или иным словам Соловьева. «Ведь даже и заблуждение, если оно сильно и одушевительно, производит великие дела развития...»[1] — защищал Леонтьев друга и в письме Страхову.

Тем не менее о необходимости обоснованного ответа Соловьеву Леонтьев думал все время. Причем понимал (без ложной скромности, но и без самообольщения), что из современников под силу такой ответ только ему. В письме он сравнивал Соловьева с Наполеоном, а его журнальных оппонентов — с остальными европейскими полководцами того времени:

«Никто отдельно взятый, ни Веллингтон, ни Блюхер, ни Брауншвейгский герцог, ни Мелас и Шварценберг австрийские, ни наш Кутузов и Багратион не могли с ним равняться, но... совокупными усилиями низложили его. Я уверен, что с римскими выводами Соловьева (вовсе из основ его не вытекающими неизбежно) Россия справится через посредство Страховых, Астафьевых, Бестужевых, иеромонахов Антониев (критиковавших Соловьева в печати. — *О. В.*) и т. д. Несмотря на то, что Соловьев истинный орел умом, а они все, начиная с добрейшего Петра Евгеньевича (Астафьева. — *О. В.*) и кончая лукавым Страховым, — немного выше петухов и гусей взлетают.

Я бы еще мог что-нибудь — я очень ясно вижу, где Соловьев прав и где нет, но разница огромная — видеть самому и уметь другим открыть глаза! Сил физических, прямо сил нет вступить с ним в серьезную и открытую борьбу. Мы оба с ним одни, но ему 35 лет и он ничем другим не связан, а мне 59, я постоянно болен и связан многим побочным. Перед публикой надо выходить во всеоружии фактической подготовки, а мне эта работа уже потому не под силу, что я постоянно занят другими мыслями»[2].

Надо сказать, что, несмотря на все идейные разногласия, личные отношения между двумя мыслителями оставались дружескими. В 1890 году, когда Леонтьев оказался в Москве и они увиделись, то искренно обнялись и расцеловались («и даже больше он, чем я», — довольно писал Леонтьев).

Леонтьев всегда жаждал вдумчивого (пусть и критического!) разбора своих взглядов, он задыхался от того, что критика замалчивала его сочинения — и художественные, и теоретические. С возрастом эта жажда даже усилилась: «...приближаясь все более и более к последнему дню расчета со всем земным,

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к Н. Н. Страхову от 22 июля 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 396.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к И. И. Фуделю от 1—2 мая 1890 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 498.

хотелось бы знать, наконец, сто́ят ли чего-нибудь твои труды и твои мысли или ничего не сто́ят!»[1] Он надеялся, что его молодой друг сможет разорвать заговор молчания вокруг него.

В конце концов в 1990 году Соловьев сообщил ему, что готовит статью о консерватизме, где много места уделит разбору леонтьевских взглядов. Леонтьев очень ждал этой статьи, сообщал о ней друзьям в письмах, гадал, как Соловьев сможет примирить личное доброе чувство к старшему другу с неприятием его позиции. Но Соловьев в очередной раз не исполнил своего обещания.

События внешнего мира редко нарушали жизнь в консульском домике. Рядом с Леонтьевым были близкие люди, приезжали друзья и ученики, приходили монахи, он беседовал со старцем — Леонтьев если и не был счастлив, то был спокоен и вовсе не скучал. От былой подавленности и тоски не осталось и следа. В одном из писем Фету он писал: «С грустью и участием прочел я о том, что Вы, дорогой Афанасий Афанасьевич, жестоко скучаете... Я верю Вам, я догадываюсь, что это, должно быть, иногда ужасно, вспоминаю при этом две-три эпохи из моей прежней жизни, чтобы уяснить себе Ваше состояние, но личным чувством понять Вас, к счастию своему, не могу. Именно здесь, в Оптиной, именно теперь, эти последние годы, я не знаю, что такое скука!»[2]

Рядом была «сборная», но все-таки семья: Лиза, Варя и Александр; их дети его не беспокоили — детскую устроили отдельно от дома и выписали для ухода за ними мать Вари, Агафью, и четырнадцатилетнюю Варину племянницу из деревни (Константин Николаевич платил обеим). Про свою «сериозную дочь» Леонтьев рассказывал Губастову: «Варя очень похудела и порядочно через это подурнела, так как черты ее, Вы знаете, не особенно красивы. Это происходит оттого, что она вторую дочь слишком долго кормит, нарочно, чтобы отсрочить как можно дольше новую беременность. Это нередко предохраняет. Я этому, признаюсь, сочувствую»[3].

Леонтьев, как помним, не любил маленьких детей, да и работы по дому у Вари хватало. Много хлопот доставляла Елизавета Павловна, превратившаяся из былой красавицы в рыхлую старуху, с космами седых волос, выбивавшихся из-под платка. Вела Лиза себя как ребенок — могла убежать из дома и

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к А. А. Александрову от 20 сентября 1890 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 509—510.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к А. А. Фету от 12 ноября 1890 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 515.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 26—31 мая 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 373.

залезть за сливами в чужой сад... Варя и ухаживала за ней как за ребенком. Она постоянно что-то выпрашивала у знакомых и незнакомых людей — как правило, совсем ей ненужное. Константина Николаевича она побаивалась (хотя могла и голос повысить: мол, колдун какой-то, сидит у себя наверху и неизвестно чем занимается!), Варю же слушалась.

Прошло время, когда Лиза была душиста и свежа, сейчас Варе и Константину Николаевичу приходилось заставлять ее выполнять самые элементарные правила, чтобы ее вид не вызывал пересуды на улицах. «...Странное дело, — удивлялся Леонтьев в письме Губастову, — от <18>71—72 года, как только она пожила в Одессе с матерью и сестрою своими, уже не возвратилась к ней ни при каких переменах, ни внешних, ни внутренних, ее первоначальная щеголеватость и та безукоризненная опрятность, которая даже щепетильную мать мою удовлетворяла...»[1]

Но Леонтьев ее по-прежнему любил и старался радовать, покупая то лакомство, то платочек... «Предпочитаю мою жизнь с этой бесполезной, грязной и впавшей в детство старухой жизни с какой-нибудь дочерью профессора, которая помогала бы мне в труде! — уверял он Губастова. — Я снова люблю ее крепко за ее чистосердечие, за ее всепрощение (она никогда меня ничем прошлым не упрекнула!) и за ее оригинальность даже; и не только я, но и все люди в доме и многие посторонние очень ее за ее характер любят и здесь, и в Москве»[2].

Когда Леонтьев уезжал в столицу, деньгами распоряжались Варя или Александр — они тоже не забывали выдать Елизавете Павловне 30 копеек на извозчика (она любила кататься «барыней») или на арбуз. Вообще надо сказать, что, достигнув относительного благополучия, Леонтьев полюбил радовать близких подарками — то бархатную поддевку Александру купит, то платье Варе, то сладостей Лизавете Павловне, то игрушек Вариным детям...

Константина Николаевича вообще радовали деньги — приходящие из газет и журналов гонорары как будто бы удивляли его и заметно улучшали настроение, давали повод для приятных размышлений: кому эти деньги отдать, на какое дело их пустить... Он буквально помешался на старых долгах — предпочитал отдать занятые когда-то деньги, чем купить себе интересную книгу. По его подсчетам, он был должен огромную сумму — около семи-девяти тысяч рублей! Правда, поло-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 26—31 мая 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 373.

[2] Там же.

вина его заимодавцев не помнила об этих долгах и не рассчитывала их получить (например, тот же Губастов, думаю, даже под присягой не смог бы назвать сумму одолженных у него Леонтьевым денег). «Я уже за эти полтора года выплатил около 1500 (1700) и с передышками продолжаю (я думаю, Вы ушам или глазам своим не верите!), — писал Константин Николаевич босфорскому другу. — <...> Жизнь моя теперь до того тиха и однообразна, что как пошлешь кому-нибудь каких-нибудь 25—30 р<ублей> с<еребром>, о которых он уже и забыл, так уж это своего рода сильное ощущение! Других сильных ощущений у меня нет (т. е. нравственных, физические есть — бессонницы, нервные боли, кашли и т. п.)»[1].

Константин Сергеевич звал к себе погостить Губастова, но тот выбраться в Оптину не смог. Леонтьев по-прежнему рассказывал ему в письмах о себе и своей жизни то, что другим не поверял. В одном особенно длинном послании он несколько сентиментально объяснил — почему: «Вам все-таки не может быть совсем ясно, что именно Вы в моей жизни представляете... Во-первых, я нахожу, что Ваша дружба ко мне была самою бескорыстною (а потому и самою лестною) из всех... <...> Во-вторых, потому, что только Вы (не считая Марьи Владимировны до ее окончательного исступления) понимали меня и мою жизнь так или хоть приблизительно так, как я сам ее понимал. Для всякого человека это очень дорого, а тем более для такого, как я, которого жизнь была очень сложна и который пережил столько внешних перемен и глубоких внутренних переворотов до тех пор, пока ему посчастливилось наконец достигнуть на краю гроба и вещественной обеспеченности, и внутреннего мира “на лоне Православной Церкви”. <...> Вы для меня поэтому незаменимы никем, и когда Вы умрете (прежде ли или после меня), не будет на земле ни одного человека, который бы знал меня. Горсть московской молодежи, любящей меня, видимо, с большою искренностью, узнала меня уже больного, старого... связанного канцелярскими узами, в том среднем положении полуобеспеченности, полубедности, на которую обречен в столицах всякий второстепенный чиновник... С женой невменяемой (лучше этого выражения для нее и не найдешь), тоже старой и добродушно грязной. <...> Только Вы (и бедная Маша еще) с полуслова, с полунамека понимали меня тогда и поняли бы и теперь с полуслова. Вам обоим (с Машей) ясно, что мне особенно тяжело и что мне особенно приятно. <...> Мои московские юноши узнали меня уже старым,

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 22 декабря 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 415—416.

как я сказал. Для них это, вероятно, полезнее (или, вернее сказать, гораздо безвреднее), но здесь речь не о моем на них влиянии, но о том, что я не могу (и не хочу даже) быть с ними таким откровенным, каким был с Вами и с Машей. <...> Вы от моих излияний (даже и о столь грешном прошедшем моем) не испортитесь и моего доверия никаким бестактным словом не оскорбите...»[1]

Но и «московские юноши» радовали Леонтьева своей дружбой и преклонением. На Святки к нему в Оптину приехал Иван Кристи; довольно часто писал Уманов; каждое лето гостил Анатолий Александров, который окончил курс и был оставлен в Московском университете. Материальное положение молодого человека было трудным, Леонтьев выхлопотал ему стипендию, посылал деньги на дорогу в Оптину. Когда тот надумал жениться, он сначала попытался отговорить его от этого шага (как когда-то сделал Тургенев по отношению к нему самому), но, узнав, что старец Амвросий благословил этот брак, встретил молодую жену своего ученика с сердечностью, когда они вместе приехали к нему в Оптину.

Хотя, надо сказать, избранница Александрова, Авдотья Тарасовна, девушка простая, малообразованная, но с претензиями, Леонтьеву совсем не понравилась. Он считал, что старец благословил Александрова на этот брак, налагая на него «бремена» («старцы имеют в виду обыкновенно не счастье, а загробное спасение наше»).

Молодая пара жила в гостинице, но почти целые дни проводила с Леонтьевым — беседуя на балконе консульского домика, гуляя по окрестностям или катаясь на его лошадке. Любя своего ученика, Леонтьев на правах старшего товарища поделился своими соображениями о его жене, понаблюдав за ней со стороны: «Поменьше воображать, что она Вам полезна, — это раз; не так смело в обществе рассуждать, а больше прислушиваться и присматриваться, “век живи — век учись” — это два (муж будет со временем иметь видное общественное положение, он уже и теперь известен многим людям в обществе, высоко по званию или по талантам стоящим); третье: в кофточках целые дни дома не ходить (и не принимать в этом виде Уманова, Тиличеева, ни даже дворника!), папирос на пол не бросать, “про́центы” и т. п. не говорить, а просить мужа поправлять с глазу на глаз, ибо лучше, эстетичнее совсем даже не знать, что такое проценты, чем знать и говорить “про́центы”... Ну, а моральное ее “устроение”, как говорят монахи,

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 26—31 мая 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 370—372.

вообще очень хорошее. Надо только постараться, чтобы оправдать на деле слова о. Амвросия: “она — девушка приличная и вас не осрамит!”»[1]

Леонтьев «опекал» Анатолия Александрова больше других своих молодых приятелей и с просьбами обращался к нему чаще всего. Но и тот остался под обаянием личности Константина Николаевича и после смерти своего наставника. Он, кстати, стал и первым систематизатором архива Леонтьева (вместе с Н. М. Бобарыкиным).

В это время в жизнь Константина Николаевича вошел еще один друг. Благодаря другому своему «ученику», Уманову, Леонтьев познакомился заочно с Иосифом Ивановичем Фуделем — «человеком смелым, твердым и с ясным умом», как позже он его характеризовал. В 1888 году Уманов послал Леонтьеву книгу Фуделя, завязалось их эпистолярное знакомство. Фудель хотел познакомиться с Леонтьевым и лично, да и побеседовать со старцем Амвросием мечтал. Но, будучи еще студентом, возможности приехать в Оптину не имел. Узнав об этом, Константин Николаевич выслал деньги ему на дорогу, при этом написал: «Принять от меня эти деньги... пожалуйста, не стесняйтесь. Иначе Вы меня огорчите. <...> В Ваши года я, ничуть даже не колеблясь, принимал денежные одолжения от И. С. Тургенева. Да и что в Ваши года! Служа еще так недавно в Москве и гораздо больше нуждаясь, чем здесь и теперь, я не стеснялся иногда Вашим же сверстникам (Кристи, Денисову и т. д.) обязываться какими-нибудь 25 рублями. Когда будут лишние, отдадите, а не будут лишние — и не надо! Что за пустяки это сравнительно с теми для нас обоих последствиями, которые могут произойти от Вашего сюда приезда! Приезжайте прямо ко мне, на оптинском пароме Вам покажут»[2].

Фудель действительно в Оптину приехал и старца Амвросия ему удалось повидать. Эта встреча и личное знакомство с Леонтьевым во многом определили его будущую жизнь. Через несколько месяцев Фудель окончил юридический факультет Московского университета, стал губернским секретарем и женился на Евгении Сергеевне Емельяновой[3]. В 1888 году он повез свою молодую жену представиться Леонтьеву. Та очень волновалась. Принарядиться денег не было, и, поколебавшись, она надела простое светлое батистовое платье — оно ей шло.

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к А. А. Александрову от 7 октября 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 404.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к И. И. Фуделю от 10 августа 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 400.

[3] Возможно, гражданский брак состоялся ранее.

Первой оробевшую Евгению Сергеевну увидела Елизавета Павловна, всплеснула руками и радостно воскликнула: «Куколка!»

Это прозвище так и закрепилось за женой Фуделя, которую Леонтьев очень полюбил и называл после этого случая «Куколкой» и в глаза, и за глаза и во всех письмах к Фуделю не забывал передать ей поклон. Сама Евгения Сергеевна рассказывала потом Дурылину, что ей тоже сразу понравились обитатели консульского домика, хотя об одном своем поступке там она вспоминала с неловкостью.

Елизавета Павловна («полубезумная, полумудрая, в длиннейшей юбке, волочившейся по полу и вот-вот грозившей совсем спасть с нее» — так описывала «Куколка» жену Леонтьева), улучив момент, шепотом стала просить Екатерину Сергеевну зайти в кабинет Константина Николаевича и взять для нее из стоящей на столе коробки папиросу. На предложение попросить у Леонтьева папиросу обычным образом Лиза испуганно замахала руками и всем своим видом показала, что открыто просить ни в коем случае нельзя. Что было делать «Куколке»? Она «совершила... кражу папирос для бедной Лизаветы Павловны. Это была единственная кража, совершенная ею за всю жизнь», — рассказывал с ее слов С. Н. Дурылин.

Фудель и его жена стали близкими для Леонтьева людьми в последние годы его земной жизни. (С ними уже после смерти дяди сдружилась и Мария Владимировна.) Сближали Константина Николаевича с Иосифом Ивановичем не только интеллектуальные интересы, но и личная религиозность: оба были связаны духовными узами с отцом Амвросием. По совету старца Иосиф Фудель (Леонтьев звал его на русский манер «Осипом»), несмотря на протесты родителей-католиков, принял священство в 1889 году. Леонтьев поддержал его в этом решении, даже мечтал о том времени, когда Фудель приедет к нему уже священнослужителем, в облачении, и Константин Николаевич сможет у него «ручку поцеловать».

Иосифу Ивановичу хотелось служить при монастыре или сельским священником в крестьянском приходе. Леонтьев же считал, что в столице тот будет нужнее, — с его образованием, умом он сможет пробудить веру в сердцах не только крестьян и простого люда, но и среди дворянства, интеллигенции, высшего чиновничества. Константин Николаевич особое значение придавал укреплению веры в русском дворянстве. Он описал в одном из своих очерков для «Гражданина» случай, свидетелем которого стал в Оптиной: в монастырь поступили послушниками двое молодых людей из хороших дворянских фамилий. Оба были женаты на красивых женщинах, обеспе-

чены, занимали видное положение в обществе. Но все четверо — и мужчины, и женщины — решили посвятить себя Богу, потому что *«были слишком счастливы»* (так объяснила свой поступок одна из молодых дам). При их прощании друг с другом даже старый монах прослезился: «Да как же это вы, такие молодые, расстаетесь!» Леонтьев искренно радовался: «Вот это — истинно христианский страх! Страх от избытка земного благоденствия»[1].

Константину Николаевичу важным казался уже тот факт, что среди «рыцарского» сословия пробуждалась вера. «Всякий может стать монахом и всякий вносит в монастырь кой-что от привычек, вкусов и понятий того сословия или того класса, в котором он родился и рос... <...> Дворян родовитых, образованных по-светски и умственно, в уровень века развитых, было у нас до последнего времени в монастырях очень мало...»[2] — писал он и очень хотел, чтобы их было больше. Эстету Леонтьеву даже в монастыре хотелось видеть больше благородных и воспитанных людей, а не «купцов» и «сыновей церковников», — но ведь и святой князь Владимир, выбирая веру для Киевской Руси, сравнивал религии по красоте их богослужений. «Эстетические благочестие» Леонтьева не всегда противоречило христианской традиции[3].

Кроме того, леонтьевская проповедь иерархизма в общественной жизни тоже требовала пробуждения веры в дворянстве для религиозного сплочения России. Константин Николаевич писал Фуделю: «По моему взгляду, пять-десять людей (особенно мужчин) того общества, к которому мы с Вами принадлежим и которых Вы заставите для самих себя веровать, не стыдиться страха наказания Божия и молиться — стоят 1000 мужиков, 500 униатов простого звания и многих, очень многих якутов и алеутов!»[4]

Но ни мечта Фуделя о службе в монастыре, ни советы Леонтьева о столицах не осуществились — Иосиф Иванович отправился вместе с «Куколкой» на место первого служения в Белосток. С этого момента его общение с Леонтьевым стало эпистолярным, хотя дружбе их расстояния не помешали.

Появились и новые друзья. Круг молодых почитателей пополнился молодым студентом Московского университета, в

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Добрые вести // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 414.

[2] Там же. С. 421—422.

[3] См.: *Мать Мария (Скобцова).* Типы религиозной жизни // Вестник РХД. [Париж], 1997. Т. 176. P. 20.

[4] Письмо К. Н. Леонтьева к И. И. Фуделю от 14 декабря 1888 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 413.

будущем — публицистом, писавшим на духовные темы, Евгением Николаевичем Погожевым[1]. Он оставил заметки о своем общении с Леонтьевым и описал Константина Николаевича тех лет: видный господин с хорошими манерами; выразительное лицо с оттенком глубокой грусти и пытливости; высокий рост скрывает полноту. При первой личной беседе с Леонтьевым у Погожева сложилось впечатление, что «мыслям было тесно в его голове»[2], что он «кипел мыслями». В то же время очевидным было и отсутствие желания произвести эффект, впечатление.

Погожев описал и Елизавету Павловну: «Очень высокая, крепкая собой, она сохраняла следы прежней красоты в блестящих больших глазах, в чертах располневшего лица. Тихая, добродушная, она иногда с хитрою улыбкой ребенка, воображающего, что его никто не видит, совала мне в руки яблоко или что-нибудь сладкое, и я тогда останавливался послушать ее неправильную ласковую русскую речь. К своему мужу она и в болезненном состоянии была преисполнена чрезвычайного почтения и относилась к нему, как дети к старшим. Произнося “Константин Николаевич”, она понижала голос и принимала серьезный вид»[3].

Рассказывая в Москве Астафьеву, что видел оптинского «консула», Погожев в ответ услышал, что Леонтьев — ужасный оригинал:

— Представьте себе, когда мы виделись с ним во время его последнего приезда в Москву, он мне вдруг заявил: «Петр Евгеньевич, я буду вам излагать свои мнения, а вы мне, пожалуйста, не противоречьте». Как же это я буду его слушать молча и не буду, если найду нужным, противоречить?!

Видно, Леонтьев помнил ожесточенную полемику, которая разворачивалась подчас на астафьевских «пятницах», когда ему не хватало голосу и дыхания возражать неутомимому хозяину, вот и предупреждал заранее: поделиться мыслями он может, но спорить не намерен.

Астафьев рассказал Погожеву еще один случай, который часто приводят в литературе для доказательства полного подчинения Леонтьева старцу Амвросию в последние годы жизни. Жена Астафьева, милая женщина, которая нравилась Леонтьеву своей добротой и скромностью, спросила однажды Константина Николаевича:

---

[1] Е. Н. Погожев писал под псевдонимом Евгений Поселянин.

[2] *Евгений Поселянин*. Леонтьев. Воспоминания // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 183.

[3] Там же. С. 187.

— Что, вы старцу во всем повинуетесь?

— Во всем.

— Что бы он вам ни сказал?

— Что бы ни сказал. Да вот, например, я вас очень люблю. А если б старец мне сказал: «Убейте ее», то есть вас, я бы ни на минуту не задумался.

Разумеется, Леонтьев не говорил это всерьез. Но то ли парадоксальным примером хотел показать, что его послушание не знает границ, то ли иронизировал, сочтя обсуждение этого вопроса с ней неуместным.

Увидеться с Леонтьевым приезжали разные люди. Несколько раз бывал Филиппов, что говорило об искренней дружеской привязанности: преодолеть 140 верст грунтовых дорог для старого Тертия Ивановича даже летом было очень не просто. Но к числу особенных посещений надо, конечно, отнести приезд Льва Николаевича Толстого. Толстой навещал в феврале 1890 года в Шамордине свою сестру, Марию Николаевну, заехал к Леонтьеву в гости и пробыл в консульском домике два с половиной часа.

Леонтьев относился ко Льву Николаевичу неоднозначно: он чрезвычайно высоко ценил его как художника (в письме Губастову назвал его «самым гениальным из нынешних романистов»). Вместе с тем в его письмах можно найти много нелестных характеристик Толстого-человека (например, Леонтьев несколько раз упоминал, что Толстой недобр). Ну а уж Толстой-проповедник у него и вовсе вызывал раздражение («Льву Толстому, между прочим, за его искание и "искренность", стоит сотни две горячих всыпать *туда*... Старый... безбожник-анафема!»[1]).

Писатели пару раз встречались в Москве и, как показалось Льву Николаевичу, не слишком понравились друг другу. Впрочем, Анатолий Александров (который некоторое время был репетитором у сына Толстого) передавал такой отзыв яснополянского гения о Константине Николаевиче: «Его повести из восточной жизни — прелесть. Я редко что читал с таким удовольствием. Что же касается его статей, то он в них все точно стекла выбивает; но такие выбиватели стекол, как он, мне нравятся».

В этот раз беседовали о вере. (Леонтьев был обескуражен толстовской «безбожной болтовней»: тот признался даже, что в Троицу не верит.) В конце любезного разговора Константин Николаевич сказал Толстому:

---

[1] Письма К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову // *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991. С. 163.

— Жаль, Лев Николаевич, что у меня нет достаточно гражданского мужества и фанатизма написать в Петербург, чтобы за Вами следили повнимательнее и при первом поводе сослали бы в Тобольск или дальше под строжайший надзор! Вы вредны...

Толстой развеселился:

— Голубчик, Константин Николаевич, сделайте милость... Напишите, ради Бога, чтобы меня сослали! Это моя мечта! Я давно этого желаю и никак не добьюсь!

Леонтьеву показалось, что сказал это Лев Николаевич совершенно искренне: он был готов пострадать за убеждения, чтобы усилить тем самым воздействие своей проповеди. На том и расстались. О встрече с Леонтьевым Толстой записал в дневнике: «Он сказал: вы безнадежны. Я сказал ему: а вы надежны. Это выражает вполне наши отношения к вере»[1].

Осенью 1890 года Леонтьев отправился по делам в Москву — в том числе из-за судебной тяжбы с журналом «Россия», который требовал от Леонтьева либо предоставить для публикации окончание романа «Две избранницы», либо вернуть полученный около пяти лет назад аванс. По совету Новиковой Константин Николаевич остановился в гостинице «Виктория» на Страстном бульваре. Там и состоялось его знакомство с двумя «раскаявшимися нигилистами». Первым был публицист «Московских ведомостей», известный критик Юрий Николаевич Говоруха-Отрок, сразу отрекомедовавшийся Леонтьеву как его «ученик». Вторым — известный в будущем теоретик монархизма Лев Александрович Тихомиров.

Тихомиров в молодости был народовольцем, даже вынужденно бежал за границу, где сотрудничал с П. Л. Лавровым. Но в 1888 году он открыто отрекся от своих революционных и демократических симпатий, а когда после прошения о помиловании вернулся домой, то первым делом отправился в Петропавловский собор — поклониться праху императора Александра II, в заговоре против которого участвовал. С этого момента его имя становится заметным в консервативных изданиях правого толка.

Тихомиров знал работы Леонтьева — не только его «Восток, Россию и славянство», но и «восточные повести». Потому неудивительно, что Лев Александрович послал ему свои брошюры — в знак уважения. Хотя главный труд Тихомирова, составивший ему славу (я имею в виду «Монархическую государственность»), еще не был написан, работы молодого

---

[1] *Толстой Л. Н.* Дневники // *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 51. М., 1952. С. 23—24.

человека понравились Константину Николаевичу, и между ними завязалась переписка. А когда Леонтьев оказался в Москве, Тихомиров не упустил момента познакомиться с ним лично.

Леонтьев плохо себя чувствовал, не мог много ходить, даже номер взял себе на первом этаже. Это сразу бросилось в глаза Тихомирову, который отметил, что Константин Николаевич «не по летам хил», но заметил и то, что в душевном отношении его новый знакомый оставался молод — «всем интересовался, способен был увлекаться... Голос его оставался свеж и звучен, речь — остроумна... <...> Все у него было изящно, дышало аристократичностью, культурно выработанной породой... <...> У него проявлялась какая-то прирожденная властность, стародворянская тонкость вкуса, а также стародворянская распущенность. Вообще, он производил впечатление утонченно развитого русского барина. С этим связано и его какое-то физиологическое отвращение от всякого “хамства”»[1].

Впечатление скучноватого и правильного Тихомирова было подпорчено леонтьевским «эстетическим сластенством». Его шокировал рассказ Константина Николаевича о том, как в молодости тот соблазнил жену своего пациента, Феничку, использовав как врач ее благодарность себе. Феничка к нему привязалась, умоляла взять с собой, он отказался, и что потом с ней сталось, не знал. Поведал же он эту историю Тихомирову с целью показать, что без Бога нет греха.

— Ведь я тогда не верил в Бога. Конечно, если Бог запрещает, я должен слушаться. Но если Бога нет, почему же мне стесняться? Почему я должен лишать себя удовольствия?

Здесь сразу вспоминается знаменитая фраза из романа Достоевского — «Если Бога нет, то все дозволено». Леонтьев рассуждал похожим образом: единственной гарантией морального поведения является *страх греха и наказания*. Получалось, что неверующий человек без такого страха может делать всё, что угодно. Тихомиров ужасался, когда Леонтьев, будто дразня гостя, загадочно говорил: бывало и похуже...

Лев Александрович позавидовал старику, что, несмотря на все трудности и препятствия, Леонтьев «дошел до счастья веры в Бога». Слишком рассудочно верящему Тихомирову он «так и хотел бы... перелить свою сердечную веру». «У него в это время религиозное состояние достигло уже полного расцвета»[2], — заметил Лев Александрович.

---

[1] *Тихомиров Л. А.* Тени прошлого. К. Н. Леонтьев // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 2. СПб., 1995. С. 8.

[2] Там же. С. 24.

Быт Леонтьева был подчинен теперь церковной дисциплине. В одном из писем Ольге Алексеевне Новиковой он описывал свою размеренную жизнь: «Зимой, так как я не выезжаю, у меня в доме служат часто всенощные и часы. Говею 4 раза в год, недавно, по благословению старца, отказался от мяса, которое я ужасно любил и (вот одно из тех "внутренних чудес", на которые так верно указывал Хомяков, в точности его слова не помню) не чувствую даже ни малейшей потребности его есть, когда рядом со мной едят его другие. <...> Теперь — очередь за литературой. Если бы год или два тому назад кто-нибудь предсказал бы мне, что я о мясной пище вовсе забуду и почти вдруг, мне показалось бы это более невероятным, чем если бы теперь кто-нибудь сказал бы мне, что я скоро перестану писать для печати. "Просите, и дастся вам", — а я пламенно желаю оставить всякую газетную и журнальную работу. Пока есть еще этому одно вещественное препятствие, но я надеюсь скоро его отстранить и тогда буду уже совсем вольный казак! И тогда благословлюсь у от. Амвросия бросить литературу, как бросил многое другое. Это не зарок, это мечта и молитва»[1]. Даже неутоленная жажда славы почти перестала его мучить. Он писал и говорил в последние годы своей жизни, что признанию предпочел бы деньги, чтобы делать окружающим больше добра.

Мыслить — скучно, думать — приятно. Эти слова Константина Николаевича объясняют его желание перестать писать по заказу: ведь мыслить — работа, а думать — наслаждение. И все же Леонтьев написал в Оптиной несколько важных для понимания его мировоззрения работ — не только «Записки отшельника», но и статьи «Национальная политика как орудие всемирной революции», «Анализ, стиль и веяние» и др. Почти все излагаемые в них идеи Леонтьев выработал давно, но ясность и четкость его позиции в этих поздних сочинениях обращает на них внимание.

Для Константина Николаевича было ясно, что вся Европа *без исключения* всё быстрее и быстрее идет к «мещанскому капитализму». Естественным врагом такого капитализма виделся ему «социализм рабочих» — но эти две силы станут лицом к лицу и начнут борьбу только тогда, когда между ними «уже не будет никакой третьей... регулирующей и примиряющей общественной силы»[2]. Одной из таких «промежуточных» сил

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к О. А. Новиковой от 30 мая 1889 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 457—458.

[2] *Леонтьев К. Н.* Над могилой Пазухина // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 447.

является «племенная чересполосность» Европы. Скоро она останется в прошлом — Европа объединится, вот тогда и встретятся лицом к лицу капитализм и «голод» (социализм), а «беспрепятственная встреча их — это такая гроза, которой люди, может быть, со времен нашествия варваров на Рим не видали»[1].

А что ждет остальной мир? Есть ли у других шанс избежать смесительного упрощения и последующей «грозы», и если есть, то где? В России? В Китае? Леонтьев был пессимистичен. «Где *новые*, сильные духом неизвестные племена? Их нет нигде. <...> *Все человечество старо*», — с горечью писал Леонтьев. Его вера в Россию слабела (в том числе — под влиянием идей Владимира Соловьева; их дружба странным образом усиливала теоретический пессимизм обоих): «Не молоды и мы. Оставим это безумное самообольщение! Быть в 50 лет моложе 70-летнего старика — еще не значит быть юным. Быть исторически немного (быть может, лет на 100) моложе Франции, Англии, Германии — еще не значит быть молодым государством, а тем более молодой нацией, как думают у нас многие»[2].

Всё человечество — «больной старик», и «чтобы русскому народу действительно пробыть надолго... народом-“богоносцем”... он должен быть *ограничен*, *привинчен*, *отечески и совестливо стеснен*»[3]. Потому Леонтьев так приветствовал сохранение *сословий* в обществе и крепкую власть. Иначе — из народа-«богоносца» русские незаметно для самих себя превратятся в народ-«богоборец»! (Трудно отрицать, что Константин Николаевич многое предвидел в исторической судьбе страны.)

Он вновь и вновь возвращался к мысли о том, что встреча «голода» и капитализма станет российским ответом смесительному упрощению, — если социалистическое движение будет «приручено» самодержавной властью, «и будет этот социализм новым и суровым трояким рабством: общинам, Церкви и Царю»[4]. И снова его предвидение удивляет: Церкви и царя в социалистической России XX века, конечно, не осталось, зато рабства и стеснения («привинчивания») было достаточно.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Национальная политика как орудие всемирной революции // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 544.

[2] *Леонтьев К. Н.* Над могилой Пазухина // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 1. С. 449.

[3] Там же. С. 458.

[4] Письмо К. Н. Леонтьева к А. А. Александрову от 17 августа 1889 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 473.

Пессимизм Константина Николаевича по отношению к будущему России становился всё сильнее. Вот, к примеру, как он объяснял свои колебания Губастову:

«Вы-то лучше многих знаете, как мое внутреннее устройство стойко, и потому поверите мне, если я скажу, что я за эти годы стал относительно России (той оригинальной, не европейской России, которую я в мечте так любил) большим скептиком. Все мне кажется, что и религиозность эта наша, и наш современный национализм — все это эфемерная реакция, от которой лет через 20—30 и следа не останется. <...> Быть может, это старость, усталость сердца, холодность, при которой чистый разум работает свободнее — да! <...> Я чаще прежнего сомневаюсь в религиозной культурной будущности России, но я же, с другой стороны, и сомнениям своим, как видите, не доверяю. Не нравится мне, с одной стороны, некоторая вялость правительственных мер, а с другой — я вспоминаю, что все истинно прочное, вековое создавалось медленно, толчками, нередко неожиданными, идеями смутными, неясными. Так создалась прежняя аристократическая великобританская конституция, так сложились у нас постепенно два великих учреждения — самодержавие и крепостное право.

Так даже в первые века слагалось учение самой Церкви, устроялся догмат, порядок и обряд ее.

Иногда я боюсь разрешения Восточного вопроса, боюсь, чтобы неизбежная, физическая даже, близость ко всем этим "единоверцам" нашим, неисцелимо, кажется, либеральным, не погубила вконец те реакционные всходы, которые начали только снова зеленеть у нас при новом государе (Александре III. — *О. В.*).

А с другой стороны, я чувствую, что на взятие Царьграда одна надежда для того, кто именно хочет, чтобы это реакционное движение и властей, и умов независимых в России не остановилось»[1]. Константин Николаевич иногда мечтал дожить до того момента, когда можно будет понять, куда невидимый стрелочник повернет развитие России после завладения Константинополем — направо, куда он сам указывал в своих сочинениях, или налево, куда звала либеральная интеллигенция.

Мысль о либеральной России ему претила («...Я нахожу, что если будущая Россия способна уступить Западу и отречься от Церкви Восточной (не для Папства, а для нигилизма) и от династии своей для режима хамов штатских, то чорт ее возьми, чорт ее возьми. Такую подлую и проклятую, дурацкую

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 17 августа 1889 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 471—472.

Россию и жалеть нечего. Туда ей и дорога»[1], — писал он княгине Гагариной.) Он первым сравнил Россию с загадочным сфинксом: способна ли она к творчеству, созиданию, самобытному устроению? Это, с точки зрения Леонтьева, еще вопрос, и очень горький. «Но, что касается до способности всеразрушения — в этом никто ее не превзошел. С 15—16 столетия, со времен Иоаннов все слабое или мало-мальски ослабевшее вокруг России одно за другим рушится и гибнет: Казань, Астрахань, Сибирь, Малороссия, Швеция, Польша, Турция, Кавказ, Азиатские Ханства. Смешно даже видеть и читать, когда наши обижаются... что Запад нас так боится. Как же не бояться... Не то страшно, чего хочет великий народ, а то страшно, что он и нечаянно... да делает...»[2]

Статьи Леонтьева о национальной политике отдельной брошюрой издал за свой счет отец серьезно заболевшего «Ванички» Кристи, который был давним поклонником леонтьевской публицистики. В письмах брошюру хвалили многие, среди них — Фет, Новикова, Филиппов, но газеты и журналы ее публикацию обходили молчанием, которое Константин Николаевич в письме Фуделю назвал «бесстыдным».

Молчал и Соловьев. Леонтьев жаловался Александрову: «Вл<адимир> Серг<еевич> Соловьев жестоко “предает” меня своим молчанием! Видите, как даже у высоконравственных людей мораль естественная несовершенна! А если бы он, при своей сердечной любви ко мне и при значительном умственном нашем совпадении в частностях, считал грехом свое молчание, то уж с его изобретательностью как не найти, где отозваться о брошюре, которую он, по словам Кристи, на словах превозносит!»[3]

С критикой взглядов Леонтьева на национальный вопрос выступил в печати Астафьев. Статья его вызывала недоумение Константина Николаевича, и он вступил с Астафьевым в затяжную полемику, которая закончилась разрывом их личных отношений.

Свои изначальные возражения, довольно добродушные, Леонтьев опубликовал в «Гражданине» (статья называлась «Ошибка г. Астафьева»). Но Астафьев напечатал еще одну критическую статью, тон которой показался обидным не только самому Константину Николаевичу, но и его друзьям. Фудель,

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к кн. Е. А. Гагариной (Аргиропуло) от 22 мая 1888 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 13.

[2] Там же. Л. 16.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к А. А. Александрову от 17 августа 1889 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 471—472.

решив, что отвечать на выпады Астафьева лучше не самому Леонтьеву, а кому-то из его сторонников, начал писать большую статью с возражениями. Однако Леонтьев все же задумал сам написать и опубликовать статью в виде открытого письма Владимиру Соловьеву — как арбитру в разгоревшемся споре.

Вопрос был обговорен с Соловьевым, и когда первые три части статьи были готовы, Леонтьев отправил их в редакцию «Русского обозрения» для передачи Владимиру Сергеевичу (тот прислал в Оптину телеграмму с просьбой предоставить ему текст статьи). Дальше в дело вмешался тот самый злой рок, на который так часто пенял Константин Николаевич. Соловьев статью в редакции не забрал, а когда спустя четыре месяца все-таки ее получил, послал Леонтьеву телеграмму, что не хочет ввязываться в спор с Астафьевым и рукопись вернет в ближайшее время. Дело было в том, что Соловьев не хотел сотрудничать с «Русским обозрением» из-за ссоры с ее редактором (Д. Н. Цертелевым[1]). Константин Николаевич рукопись своей статьи не увидел еще несколько месяцев — до октября 1891 года, и его работа над ней затормозилась (из-за чего не все части этой статьи увидели свет при его жизни)...

Леонтьев стремительно старел и слабел. Современному человеку 59-летний возраст кажется далеким от старости, но в XIX столетии дело обстояло иначе: как писал Леонтьев в день своего 59-летия, «по статистике только 1 человек на пятьсот доживает до шестидесяти лет»[2]. Его эстетическое чувство страдало, когда он видел в зеркале морщины и оплывающие черты своего некогда яркого лица. Старость, по его мнению, накладывает на людей целый ряд ограничений, которые поневоле требуют смирения. Прочитав стихи старого уже Фета о любви, он даже хотел послать ему письмо о неуместности любовных излияний в их годы, напомнить приятелю известную мысль Вольтера: «Старая лошадь, старая возлюбленная и старый поэт — никуда не годятся. Я предпочитаю старого друга, старое вино и старую сигару!» Его намерение остановил старец Амвросий. У самого Леонтьева на смену любовным увлечениям давно пришли отеческие чувства, которые он испытывал к Варе и другим членам своей «сборной семьи».

Из трех Вариных детей выжила к 1889 году только одна дочка. Варя ждала очередного ребенка, и Константин Нико-

---

[1] Князь *Дмитрий Николаевич Цертелев* — публицист, философ, поэт, друживший с В. С. Соловьевым со студенческих лет, брат того самого А. Н. Церетелева (Цертелева), который очаровал Леонтьева в Константинополе в 1873 году.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к И. И. Фуделю от 12—13 января 1890 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 484.

лаевич за нее волновался, о чем писал Губастову: «Варя беременна, на сносе. Я всякий раз боюсь за нее и за себя. Умри она — едва ли можно будет без нее жить семьей. И Лизавета Павловна ее сильно полюбила: "Варуся! Варуся милая!" — так она ее зовет. Без нее мы оба в доме с тоски помрем»[1].

В это же время семейные отношения Вари с мужем разладились. Леонтьев записал в своей «Хронологии», что «в конце 89-го года Александр начинает путаться»[2]. Леонтьев остро переживал семейный разлад своих «детей души», но помочь ничем не мог и жаловался в письмах Александрову: «Александр увез от Вяземских молодую девушку (горничную), поселил ее в Козельске и, по всем признакам, содержал ее, потому что она ничем не занималась, кроме пения, пляски и кутежа. Но это так и быть! Это его личный грех, и даже Варя на это... смотрит еще довольно рассудительно для молодой и любящей жены. Но беда в том, что он как русский человек не мог ограничиться скромной и приличной, так сказать, изменой, а начал кутить, "чертить", что называется: пил, скакал с ней по городу, мои комиссии исполнял все хуже и хуже, домой постоянно опаздывал и даже в деньгах запутался так, что много задолжал. Если бы кто-нибудь мне предсказывал, что и этот осторожный, честный, покойный и даже весьма дипломатический характер так неожиданно и "широко" прорвется, я бы не поверил. Да и не верил до тех пор, пока не стало слишком очевидно и сам сознался наконец»[3].

Александр покаялся — не только перед женой, но и перед Константином Николаевичем, ведь он растратил его деньги. Его простили и с помощью батюшки Амвросия уговорили поехать на пару месяцев к отцу, в Мазилово, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Константин Николаевич был крайне расстроен. «Мне он сам не нужен ни для хозяйства, ни для сердца; и для того, и для другого нужна Варя»[4], — писал он. Леонтьев молил Бога о том, чтобы Александр образумился и нашел себе дело неподалеку от Оптиной: ведь если бы тот решил остаться в Мазилове, туда пришлось бы отпустить и Варю. К счастью, Александр в Мазилове не остался, а стал готовиться к экзамену в урядники.

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 17 августа 1889 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 473.

[2] *Леонтьев К. Н.* Хронология моей жизни // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 35.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к А. А. Александрову от 11 января 1890 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 482.

[4] Письмо К. Н. Леонтьева к И. И. Фуделю от 12—13 января 1890 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 483—484.

Елизавета Павловна тоже старела, но на ее больных фантазиях это не отражалось. Однажды Леонтьев был даже вынужден отправить жену на две недели в Козельск, так как ее поведение вызвало недовольство архимандрита: Лиза распустила слух, что она беременна от одного монаха. Константин Николаевич писал Губастову: «Во всех классах общества заводит знакомства, и всё тщетно просится в Крым или в Москву. Иногда мечтает выйти еще замуж... Вообще, хотя она стала веселее и менее дика, чем было вначале по возвращении из Крыма, но все-таки слабоумие ее (dementia) уже вполне неисправимо, и она минуты подряд не может держаться правильного хода мыслей. Не знаю, как с ней будут без меня справляться, часто об этом горюю»[1].

Леонтьев волновался о том, что станет с женой, когда он умрет. А свою скорую смерть он предчувствовал. Константин Николаевич беспокоился о денежном обеспечении всех своих близких — Лизы, Вари и, конечно, Маши, с которой не общался, но думать о которой не переставал. Он писал Губастову, что Мария Владимировна имеет хорошее место в Москве, «была здесь прошлое лето в течение 2-х недель и запрошлое, будет и этот год, но я для внутреннего мира души (“Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим!”) не пожелал встречаться. Зачем “тревожить язвы старых ран”! <...> ...“вырви око”, которое соблазняет тебя и вводит в грех и пробуждает невольно жестокие и лютые воспоминания!»[2] Леонтьев рассчитывал, что после его смерти Елизавете Павловне как вдове правительство даст пенсию, а Варе и Маше он собирался завещать права на свои сочинения.

Самому ему уже мало что было нужно, хотя по иронии судьбы теперь он был много обеспеченнее, нежели в более молодые годы. Да и *fatum*, из-за которого, как он считал, не замечали его сочинения, в конце жизни отступил. Произведения его начинали пользоваться спросом, некоторые даже предлагали перевести на иностранные языки (к примеру, ряд «восточных повестей» хотели издать на греческом).

Леонтьев не отказался от замысла, возникшего у него еще на Афоне: написать повесть об обращении современного ему образованного человека к вере. Он даже название будущей повести придумал — «Святогорские отшельники». Но ни сил, ни душевной энергии для воплощения этой идеи у Леонтьева уже не хватило. Жизнь его неумолимо двигалась к концу.

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 5—7 июня 1889 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 468.

[2] Там же.

Глава 15

ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Более всего меня приковывало к Леонтьеву его изумительно чистое сердце; отсутствие всякого притворства в человеке, деланности. Человек был в словах весь — как Адам без одежд.

Василий Розанов

Этот последний период его жизни так безупречно правдив...

Борис Грифцов

В 1890 году в «Гражданине» и «Русском вестнике» были напечатаны статьи Леонтьева о творчестве Льва Толстого. Позже они вышли отдельной брошюрой «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Толстого». Полностью этот великолепный критический этюд был издан только в 1911 году — и то, что прошло незамеченным при жизни автора, вызвало интерес после его смерти.

Зато первая публикация имела другое важное последствие — она привлекла внимание Василия Васильевича Розанова, пораженного «новизною лица автора».

Действительно, «Анализ, стиль и веяние» — замечательный в своем роде разбор творчества Толстого в контексте состояния всей русской литературы конца XIX века. С одной стороны, леонтьевская оценка творчества Толстого вполне совпадает с сегодняшней, когда авторитет Толстого непререкаем, с другой — Леонтьев писал о своем современнике, с которым встречался, спорил, в ком многого не любил, но главное — который продолжал еще писать. Потому многие критические оценки Леонтьева — это разговор писателя с писателем, своего рода предостережения или пожелания на будущее, уже невозможные в современных статьях.

Леонтьев вел речь о двух своих самых любимых романах Льва Толстого — «Анне Карениной» и «Войне и мире» — на общем фоне русской литературы в целом. Он писал о преобладавшей тогда школе *реализма*, отдавая ей должное, но и кри-

тикуя ее, — «литературный грех мой... состоит в том, что я вообще не безусловный поклонник нашей современной русской школы, заслужившей в последнее время такую громкую мировую славу»[1]. Ведь к ней принадлежат не только «волшебные и благоухающие» произведения Тургенева (такие как «Фауст», «Вешние воды», «Первая любовь») или веселые гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», но и скучный тургеневский роман «Накануне», «Шинель» Гоголя и «бессмысленно грубые очерки Решетникова и Успенского».

Леонтьев считал, что в лице Толстого эта школа уже достигла своей кульминации, что «на пути правдивого и, так сказать, усовершенствованного реализма ничего больше прибавить нельзя»; Толстого «на этом поприще превзойти невозможно, ибо всякая художественная школа имеет, как и все в природе, свои пределы и свою точку насыщения»[2].

Припомнив слова Тургенева о том, что «Левушка Толстой — это слон!», Леонтьев восторженно подхватил фразу развенчанного кумира и вторил: «Именно — слон! Или, если хотите, это чудовище, — это ископаемый *сиватериум* во плоти, — сиватериум, которого огромные черепа хранятся в Индии, в храмах бога Сивы. И хобот, и громадность, и клыки, и сверх клыков еще рога, словно вопреки всем зоологическим приличиям. Или еще можно уподобить “Войну и мир” индийскому же идолу: три головы, или четыре лица, шесть рук! И размеры огромные, и драгоценный материал, и глаза из рубинов и бриллиантов, не только *подо* лбом, но и *на лбу*!! И выдержка общего плана и до тяжеловесности даже неиссякаемые подробности; четыре героини и почти равноправных... три героя (Безухов, Болконский, Ростов, Наташа, Мария, Соня и Елена). Психический анализ... поразительный именно тем, что ему подвергаются самые разнообразные люди: Наполеон, больной под Бородиным, и крестьянская девочка в Филях на совете; Наташа и Кутузов; Пьер и князь Андрей; княжна Мария и скромный капитан Тушин, Николенька Болконский и оба брата Ростовы...»[3]

Но и у гиганта Толстого Леонтьев видел «мушиные пятнышки натурализма». Леонтьев приводил несколько ярких примеров такой чрезмерности в толстовских романах. Болконский едет с Кутузовым в экипаже незадолго до Бородина и

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Толстого. Providence: Brown University Press, 1965 (Репринт наиболее полного издания брошюры по: *Леонтьев К. Н.* Собрание сочинений. М.: Изд. Саблина, 1912. Т. VIII). С. 12.

[2] Там же. С. 16.

[3] Там же. С. 22—23.

замечает на виске у фельдмаршала шрам. Замечательно, говорил Леонтьев, этот шрам важен: после того как князь Андрей заметил этот шрам, тревоги Кутузова о том, что много людей погибнет в сражении, совсем иначе воспринимаются читателем. Но зачем писать о «чисто промытых сборках шрама»? Зачем в сцене, когда Кутузов благословляет Багратиона на битву, вспоминать, что у него на правой руке кольцо, а щеки — «пухлы»? «Это нескладно и не нужно — вот горе», — сетовал Леонтьев.

Дело не в отвращении к *любым* натуралистическим подробностям. Возьмем, например, сцену, когда Наташа Ростова выносит в гостиную детскую испачканную пеленку, пусть это некрасиво и грубо, но эта подробность *кстати*, писал Константин Николаевич. «Это показывает, до чего Наташа, подобно многим русским женщинам, распустилась замужем и до чего она забывает, за силой своего материнского чувства, как *другим-то*, даже и любящим ея семью людям, ничуть не интересно заниматься такими медицинскими наблюдениями»[1].

Леонтьев предлагал такой мысленный эксперимент: представьте, что Пушкина не убил Дантес, Александр Сергеевич дожил до войны 1812 года и написал большой роман. «Роман Пушкина был бы, вероятно, не так оригинален, не так субъективен, не так обременен и даже не так содержателен, пожалуй, как “Война и мир”, — предполагал Константин Николаевич, — но зато ненужных мух на лицах и шишек “претыкания” в языке не было бы вовсе; анализ психический был бы не так “червоточив”, придирчив — в одних случаях, не так великолепен в других; фантазия всех этих снов и полуснов, мечтаний наяву, умираний и полуумираний не была бы так *индивидуальна*, как у Толстого; пожалуй, и не так тонка и воздушна, и не так могуча, как у него, но зато возбуждала бы меньше сомнений...»[2]

Пушкин не вставил бы философских рассуждений в ткань рассказа, «патриотический лиризм был бы разлит ровнее везде», роман носил бы православный характер (что было крайне важно для Леонтьева), герои Пушкина говорили бы более простым и прозрачным языком — «*не густым, не обремененным, не слишком так и сяк раскрашенным*», как у Толстого. В конце концов, «музыка времени и места были бы у Пушкина точнее, вернее». А проистекало бы это из того, что Пушкин любил смотреть на жизнь *a vol d'oiseau*[3] и «не рыться в глубинах, вы-

[1] Там же. С. 92.
[2] Там же. С. 112.
[3] С птичьего полета (*фр.*).

капывая оттуда рядом с драгоценными жемчужинами и гадких червей натуралистического завода»[1].

Подход Леонтьева так не походил на литературную критику того времени — времени торжества Писарева и Чернышевского. Не случайно Василий Розанов писал, что «Леонтьев... действовал как пощечина. "На это нельзя не обратить внимания!" — произносил всякий читатель, прижимая ладонь к горящей щеке»[2]. Подействовала так леонтьевская статья о романах Толстого и на самого Розанова.

Василий Васильевич в то время работал учителем истории и географии в гимназии провинциального Ельца и мечтал вырваться из захолустья в столицы. К этому времени Розанов уже написал большой (и довольно скучный) философский трактат «в кантовском духе» — «О понимании», опубликовал несколько статей, в том числе в «Русском вестнике», где выходили и статьи Леонтьева. О Розанове тогда мало кто знал, хотя через несколько десятков лет Бердяев скажет, что он был «одним из самых необыкновенных, самых оригинальных людей, каких мне приходилось в жизни встречать»[3]. А Зинаида Гиппиус, вспоминая о Василии Васильевиче, напишет: «...он был до такой степени не в ряд других людей... что его скорее можно назвать "*явлением*" нежели "человеком"»[4].

Прочитав статьи Леонтьева, Розанов спросил у Страхова (который был его «литературной нянькой»): кто такой этот «К. Леонтьев» и нельзя ли достать его портрет? Страхов портрет доставать отказался и дал Леонтьеву странную характеристику: «Леонтьева я давно знаю, но не описываю его, чтобы не согрешить; он очень недурен собою и великий волокита; несчастным он быть неспособен; живет в Оптиной пустыни и получает пенсию по месту цензора»[5].

Но Розанову не терпелось завязать с автором знакомство — он написал Говорухе-Отроку письмо с просьбой прислать ему самые значительные работы и адрес Леонтьева. Так Розанов получил двухтомник «Восток, Россия и славянство». И тут, узнав от Говорухи о новом почитателе своего таланта, Констан-

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Анализ, стиль и веяние. Providence: Brown University Press, 1965. С. 115.

[2] Переписка В. В. Розанова с К. Н. Леонтьевым // *Розанов В. В.* Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев. М.: Республика, 2001. С. 62.

[3] *Бердяев Н. А.* Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1990. С. 138.

[4] *Гиппиус З. Н.* Задумчивый странник (О Розанове) // *Гиппиус З. Н.* Стихотворения. Живые лица. М.: Художественная литература, 1991. С. 314.

[5] Переписка В. В. Розанова с К. Н. Леонтьевым // *Розанов В. В.* Литературные изгнанники. М., 2001. С. 77.

тин Николаевич сам прислал Розанову в Елец книгу «Отец Климент Зедергольм», а на другой день после книги пришло и первое письмо от Леонтьева. Так между двумя этими яркими писателями и мыслителями завязалась недолгая (апрель—октябрь 1891 года), но чрезвычайно оживленная переписка. Розанов позднее сам объяснял, почему эта переписка была так горяча и исповедальна: «Строй тогдашних мыслей Леонтьева до такой степени совпадал с моим, что нам не надо было сговариваться, договаривать до конца своих мыслей: все было с полуслова и до конца, до глубины понятно друг в друге»[1].

Это поразило и обрадовало Леонтьева: его так редко понимали! Он пригласил Розанова к себе в Оптину погостить, чтобы лично познакомиться. А в письме написал: «Вы до того ясно меня (т. е. мои книги) понимаете, что я даже дивлюсь: Вы *удовлетворяете* меня, как никто, пожалуй, из писавших мне письма или статьи и заметки обо мне. Разве только тот Фудель, которому посвящена моя брошюра о “Национальных объединениях”»[2].

Розанов открыл Леонтьева, как путешественник — новые земли; в первых письмах он даже извинялся, что не знал имени Леонтьева раньше, до его публикации в «Русском вестнике». Константин Николаевич же этому вовсе не удивился: «Почему это так? Не знаю... Многие из сочувствующих мне пытались объяснять это и тем, и другим, но, по-моему, это объясняется... очень просто*: мало обо мне писали другие*, мало порицали и мало хвалили; мало нападали и мало выражали сочувствие; т. е. было *вообще мало серьезных критических отношений...*»[3]

Розанов видел в ситуации *молчания* вокруг нового друга что-то *колдовское*. То, чего слишком ждешь, редко сбывается. Леонтьев, по мнению Розанова, «имел право на огромное влияние», верил в него, но не дождался, — может быть, именно потому, что слишком горячо ждал признания. «Если бы Леонтьев вдруг *забыл* возможность славы (исчезло душевное в эту сторону напряжение), как бы заспал ее, — то она сейчас, мне кажется, и вошла бы к нему. *Она все время стояла у дверей его.* Но ожидала, пока он перестанет смотреть на нее. Но он не переставал сюда смотреть и так утомил “гостью”, что, отойдя, она даже не вспомнила о нем и тогда, когда он умер, и что теперь можно бы его прославить»[4].

---

[1] Письма К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову // *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991. С. 122.

[2] Там же. С. 130.

[3] Там же. С. 131.

[4] Там же. С. 133.

Впрочем, к концу жизни у Константина Николаевича появилось объяснение, почему сложилась ситуация молчания вокруг его работ. «Бог Сам знает, кому что и *в какое время* дать. Я *прежде* был так самонадеян, и сильное воображение мое могло так далеко завлечь меня куда-нибудь, куда не нужно, — что Господь, по бесконечному милосердию Своему, долго *мешал*... даже сочувствующим мне людям *печатать* обо мне и усиливать мою известность»[1], — делился он своими соображениями в письме новому другу.

Восхищение Розанова Леонтьевым, его письмами, работами было столь велико, что он все же никак не мог понять, почему друзья и знакомые (среди которых было много пишущих, известных людей) не опубликовали десятки статей о его сочинениях. «Мне казалось непостижимым, как можно было знать труды и лично Л<еонтье>ва и молчать (столько лет!) о нем»[2], — вспоминал Розанов.

В одном из писем он даже высказал свое предположение о зависти Н. Н. Страхова и В. С. Соловьева как мотиве их молчания, потому что Леонтьев представлялся ему «ярче и гениальнее» обоих. Константин Николаевич тут же стал разубеждать Розанова в этом — особенно по отношению к Соловьеву, которым восхищался. «Чему же завидовать: дарований и знания у меня меньше... годов гораздо больше, т. е. силы и охоты к борьбе гораздо меньше, а успеха, популярности, даже простой известности — очень мало»[3], — отвечал он Розанову. Страхова же Леонтьев выше себя по таланту не считал, но объяснял его нежелание писать о себе личной нелюбовью (и был прав!). Впрочем, он признавался, что и сам к Николаю Николаевичу имел «какое-то “физиологическое” отвращение», хотя старался быть к нему справедливым и о взглядах Страхова в своих статьях упоминал. К тому же, добавлял Константин Николаевич, «из того, что я считаю его по всем пунктам (за исключением *двух*: систематической учености и уменья *философски* излагать) ниже себя, не следует, что и он в этом со мной согласен. Я думаю, *наоборот*, он себя считает гораздо выше: иначе он писал <бы> обо мне *давно*»[4].

Розанова он не разубедил — даже спустя годы Василий Васильевич объяснял эту ситуацию чувством Сальери к Моцарту. Дело, по его мнению, было, конечно, не в успехе (кото-

---

[1] Письма К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову // *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991. С. 133.

[2] Там же. С. 141.

[3] Там же. С. 142.

[4] Там же. С. 143.

рого у Леонтьева было мало), — но «что значит зависть к успеху, сравнительно с завидованием *душе* золотой, Богом возлюбленной, гениальной?». Когда Розанов уже и сам приближался к земному пределу, он по-прежнему считал своего оптинского знакомого по уму, литературному дару, оригинальности мысли намного выше В. С. Соловьева, Д. С. Мережковского, даже Л. Н. Толстого, выше себя самого. Не говоря уже о Н. Н. Страхове или Г. А. Рачинском[1], от которых он слышал неприязненные отзывы о Леонтьеве. Он не раз повторял, что Леонтьев был *гением*.

Сам Розанов, надеясь разрушить заговор молчания вокруг Константина Николаевича, опубликовал маленькую статью о нем в «Московских ведомостях» и взялся за большую работу под названием «Эстетическое понимание истории». Полемизируя с Леонтьевым по частным вопросам, в целом он принимал леонтьевское объяснение сути исторического процесса. Черновики Розанов отправлял Леонтьеву для ознакомления, и Константин Николаевич был растроган: «Наконец-то после 20-летнего почти ожидания я нашел человека, который понимает мои сочинения *именно так, как я хотел, чтобы их понимали*!» К сожалению, розановская работа увидела свет только после смерти Леонтьева.

Розанов стал считать себя последователем Леонтьева. Его привлекал не только эстетизм, но и религиозная составляющая леонтьевской концепции. В 1890-е годы религиозность Розанова носила еще вполне ортодоксальный характер (позже он будет примерять одежды религиозного модерниста), чему в немалой степени способствовал его второй брак с Варварой Дмитриевной Бутягиной[2], женщиной глубоко верующей.

Впрочем, Розанов чувствовал некоторые расхождения с леонтьевской позицией даже во время этих месяцев оживленной переписки, а немного погодя, когда первая влюбленность в яркого человека неординарного «калибра ума» прошла, разница подходов стала еще заметнее. Об этом позже рассказал он сам, готовя к печати письма Леонтьева. Розанов был согласен на эстетику, но искал эстетику жизни не только в высшем свете, но и у бедных, к которым и себя с полным правом относил; он был согласен с религиозным устроением леонтьевской

---

[1] *Григорий Алексеевич Рачинский* — религиозный публицист, переводчик Ф. Ницше, председатель Московского Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева.

[2] Венчание их было тайным: первая жена В. В. Розанова, А. П. Суслова (бывшая возлюбленная Ф. М. Достоевского), не давала ему развода 20 лет, даже когда у Василия Васильевича и Варвары Дмитриевны было уже пятеро детей, считавшихся незаконнорожденными.

души, но сам искал в религии утешения, а не жесткой дисциплины и смирения; он был согласен на борьбу, но в защиту униженных и обездоленных, а не против них... Точек расхождения было множество, но после первых писем Розанова и Леонтьева буквально бросило друг к другу — сказались и общность темпераментов, и общность положения (Леонтьев легко мог узнать былого себя в бедном провинциальном учителе, томящемся в ожидании признания), и отрицание «модного» либерализма...

Вслед за Константином Николаевичем Розанов восхищался героями, полководцами, яркими историческими личностями. Но его внешность была вовсе не романтична, своей слащавой фамилии молодой человек стеснялся (потому и ударение всегда ставил на первый слог), страдал от нескладности. Оценка людей по эстетическому критерию вряд ли могла вызывать у Розанова внутреннее согласие, если не воспринимать ее как отталкивание от собственных недостатков. Правда, фотографический портрет Розанова Леонтьеву понравился — Василий Васильевич напомнил ему бывшего сослуживца по Турции Ионина, «только носик Ваш, кажется, не очень красив, — заметил Леонтьев, — слишком *национален*, если не ошибаюсь...»[1].

Прислал Леонтьев Розанову и собственный портрет, сопроводив его тонкими и необычными для мужчин его возраста наблюдениями: «Смолоду я был хорош, а теперь слишком много морщин. Это почему-то физиологическое свойство у людей нашего класса иметь в старости много *мелких* морщин на лице... У мужиков, у монахов "из простых" и у людей белого духовенства этого нет. Их старость гораздо благообразнее... Морщины крупные, кожа свежее нашей. Заметьте, что это так»[2].

Розанов оценивал с эстетической точки зрения и творчество нового кумира, и самого Леонтьева — как когда-то делал Константин Николаевич по отношению к Тургеневу. Особенно ему нравился язык леонтьевских работ: он говорил, что некоторые страницы прочитывал по многу раз именно из-за языка, «любуясь им». «Вы пишете изящнее всех нас, красивее. У Вас есть строки, есть фразы, которые никогда не забудутся — сухие, строгие, выточенные, точно из слоновой кости. У нас — клюквенный кисель, вкусный и слабый»[3], — признавал он в письме Константину Николаевичу.

---

[1] Письма К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову // *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991. С. 152.

[2] Там же. С. 135.

[3] Фрагменты из писем В. В. Розанова к К. Н. Леонтьеву // *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991. С. 196.

Но сам Леонтьев впервые в то время подверг критическому анализу собственный эстетизм: в конце своей жизни он не мог не задуматься о неразрешимой дилемме, которая возникала из соединения эстетизма и веры. Леонтьевский эстетизм требовал иерархии, сложности, цветения, даже и жестокости, что подчас противоречило христианской точке зрения. Правда, христианство Леонтьева не было «розовым», как у Достоевского, он не сводил его к морали. В одном из писем Фуделю Леонтьев доказывал ему, что доброта и простота души вовсе не являются условием истинной веры. Он вспоминал *непростого политика* — святого Константина, который вовремя понял, что сила политическая в империи начинает переходить на сторону христиан. «И какая же в этом беда? Это соображение ничуть не исключает и сердечного влечения», — считал Леонтьев. Он был уверен, что для церкви и для высоких целей «нужны не только Св. Павел Препростый (сподвижник Антония Великого), не только кроткая и невинная Св. Олимпиада, не только простой сердцем и неученый Св. Спиридон... не только мудрая, но честная и безукоризненная Св. Пульхерия-царица, но нужны и хитрый политик и во многом жестокий Св. Константин, и Св. Кирилл, столь страстный и столь изворотливый, и Св. Ирина, не пожалевшая сына для Церкви. Пороки при них, и пусть их судит, как Ему угодно, Господь; а исполинские их заслуги при нас остались и в нас живут, ибо, благодаря им, — мы то, что мы есмь теперь — православные люди, верующие в Троицу, в бого-человечность Христа и в святость икон»[1].

Но даже при таком подходе к христианству конфликт между эстетизмом и христианством возникал. Если верующий христианин Константин Леонтьев мечтал о Вселенской Церкви и распространении христианства, то теоретик цветущей сложности Константин Леонтьев не мог не понимать, что это приведет к однообразию человечества: не будет иудеев и буддистов, мусульман и язычников, то есть не будет сложности, цветения, которые дает разнообразие. Леонтьев думал об этом противоречии и раньше, но символично, что откровенно «проговорил» его лишь на исходе своей жизни и за несколько дней до пострига, причем в письме Розанову (обратим особое внимание на третий пункт):

«1) Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. ее эстетика) суть признаки внутренней жизнеспособности человечества, то уменьшение их должно быть

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к И. И. Фуделю от 19—31 января 1891 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 546—547.

признаком устарения человечества и его близкой смерти (на земле).

2) Более или менее удачная повсеместная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству по основам, сильно вторит ему в этом по внешности, отчасти и подделываясь под него).

3) Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь.

4) И церковь говорит: "Конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде".

5) Что же делать? Христианству мы должны помогать даже и в ущерб любимой нами эстетике из трансцендентного эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике»[1].

Жизнь Леонтьева после пережитого *чуда* (и незабываемого *ужаса*!) была сплошным отречением — от плотской любви, от обожаемой жизни на Востоке, от службы, от свободы воли, даже от сигары после обеда... Последней каплей стало отречение от собственной идеи о цветущей сложности как вершине развития. Евгения Тур, которая пережила Леонтьева, говорила, что в конце жизни он достиг *смирения*. Да, достиг; ибо нет большей жертвы для мыслителя, чем отказаться от собственной идеи.

Письма Леонтьева к «дорогому и милому, доброму Василию Васильевичу» поражают ласковым тоном опекуна, которому интересно всё в новом питомце. И если Розанов не стал тогда читать леонтьевских «восточных повестей» — решив *apriori*, что они, в отличие от публицистики, должно быть, весьма обыкновенны (и когда «открыл» их для себя позже, пораженно ахнул: «Ах ты, турецкий игумен!»), то Леонтьев добросовестно прочитал *все* присланные ему Розановым работы, разобрался в различии между «знанием» и «пониманием» в толстом философском «волюме» елецкого учителя географии, согласился с розановской критикой литературных приемов Гоголя, не согласился — но мягко — с его восхищением Достоевским... Константин Николаевич почти всегда в жизни был снисходителен и добр к окружающим (жесток — в концепции), но, видимо, завершая свой земной путь, он достиг какого-то особо просветленного отношения к людям.

---

[1] Письма К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову // *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991. С. 177.

Розанов вскоре переехал из Ельца в Белый, к старшему брату, но и это место казалось ему пыльным углом, в котором зря пропадает его талант. Леонтьев понимал его чувство и предложил похлопотать за него у министра просвещения Делянова или у других знакомых. В конце концов он рассказал о Розанове своему верному другу — Тертию Ивановичу Филиппову, исполнявшему тогда обязанности Государственного контролера и собиравшему вокруг себя консервативно мыслящих людей славянофильского направления. Дело закончилось тем, что в 1893 году благодаря протекции уже умершего к тому моменту Леонтьева Розанов с женой переехал в Петербург. Опостылевшее учительство сменилось службой в Государственном контроле в должности чиновника особых поручений VII класса.

Но встретиться им так и не удалось: незадолго до смерти Леонтьев в очередной раз приглашал Розанова навестить его в Сергиевом Посаде, куда он перебрался, хотел послать ему денег на дорогу, зная о его трудностях. Уговаривая Розанова приехать, Константин Николаевич пророчески написал за 24 дня до своей кончины: «Умру — тогда скажете: “Ах, зачем я его не послушал и к нему не съездил!”».

В последних письмах они впервые серьезно поспорили. Розанов вспоминал: «Дружба наша, столь краткая и горячая, не имела в себе прослойков, задоринок. Только, можно сказать, в последний день его жизни мы разошлись. Именно я как бы встал на дыбы при его предложении восхититься *и Вронским*... а он еще выше поднялся на дыбы из-за моего прямо отвращения к этому болвану, мясистому герою. Все было страстно, пылко в нашем противоречии»[1]. «Юбочник» Вронский не был в глазах Розанова героем, потому что подход его не был только эстетическим, к эстетике примешивались и мораль, и даже классовое чувство — неприятие холеного богатого *хлыста* униженным своей бедностью провинциальным учителем... Не случайно после 1895 года у Розанова началось отторжение от некоторых сторон леонтьевского учения — прежде всего от эстетического аморализма, о котором он писал Анатолию Александрову: «Это страшно; это, я думаю, не угодно Богу; против этого надо бороться. Куда же девать смирных и некрасивых? Я сам такой, и за тысячи таких же буду бороться...» Розанов принялся за постройку собственной концепции, хотя гипотеза вторичного упрощения по-прежнему казалась ему бесспорной.

---

[1] Там же. С. 122.

Не прекращалась в последний год переписка Леонтьева и с Львом Тихомировым, который не раз подчеркивал свое «ученичество» в вопросах, связанных с православной традицией. Константин Николаевич стал для него тут наставником, но и Тихомиров «наставлял» его: они часто обсуждали в письмах проблему реального воплощения в жизнь социалистической идеологии в России, а о социализме Тихомиров знал гораздо больше Леонтьева.

Леонтьева социализм интересовал с точки зрения противопоставления радикальных социалистических идей буржуазной, мещанской идеологии. Он предсказывал, что новую культуру люди столь близкого уже XX века «замесят никак не на сахаре и розовой воде равномерной свободы и гуманности». Дело в том, что и Леонтьев, и Тихомиров (да и Достоевский в своих «Бесах») были уверены, что если социалистическая идеология победит в России, то будет построено *деспотическое общество с ограничением свободы индивида*, — и эта мысль внушала Леонтьеву надежду (в отличие от Тихомирова и Достоевского).

Константин Николаевич обратил внимание на статью Тихомирова «Социальные миражи современности», опубликованную в июльском номере «Русского обозрения». В ней автор доказывал, что в случае воплощения социалистической доктрины новое общество будет построено не на началах свободы и равенства, как это обещают социалисты, а на жесточайшем подавлении личности во имя государства. Тихомиров прогнозировал, что в грядущем социалистическом обществе важное место займут карательные органы, которые будут наблюдать за исполнением предписанных правил, предполагал развитие бюрократии, в которой видное место займут пропагандисты, идеологи. Эти соображения Льва Александровича совпадали с прогнозами самого Леонтьева, который — к великому удивлению автора статьи! — сделал из этого вывод, что социализм может быть полезен, потому что создаст твердую власть, препятствующую «расползанию» общества.

В разговоре с Тихомировым Леонтьев даже в шутку изобразил сценку из будущего социалистического строя:

— Представьте себе: сидит в своем кабинете коммунистический действительный Тайный Советник и слушает доклад о соблюдении народом постных дней... Ведь религия у них будет непременно восстановлена — без этого нельзя поддержать в народе дисциплину... И вот чиновник докладывает, что на предстоящую пятницу испрашивается в таком-то округе столько-то тысяч разрешений на получение постных обедов. Генерал недовольно хмурится:

— Опять! Это, наконец, нестерпимо. Ведь надо же озаботиться поддержанием физической силы народа. Разве мы можем дать им питательную постную пищу? Отказать половине!

Докладчик сгибается в дугу.

— Ваше Высокопревосходительство (или как у них там будут титуловать!), это совершенно справедливо, но осмелюсь доложить, что Ваше Высокопревосходительство циркулярно разъяснили начальникам округов, как опасно подрывать и ослаблять привычную религиозную дисциплину в народных массах. Начнут покидать обрядность, и где они остановятся?

Коммунистический генерал задумывается.

— Да... Не знаешь, как и быть с этим народом... Ну — давайте доклад. И он надписывает: «Разрешается удовлетворить ходатайства».

Разумеется, — замечает Тихомиров, рассказавший об этом скетче в воспоминаниях, — говорилось это шутливо, но размышления о социализме у Леонтьева были вполне серьезными. Коноплянцев писал об этом увлечении Константина Николаевича: «В последние годы жизни К. Н. очень интересовался социализмом, много читал по этому вопросу, изучал Маркса, Лассаля, Луи Блана, Прудона и др. В будущность социализма он верил, но не демократического социализма, а монархического: царь наверху и община внизу с суровым укладом, вроде монастырского»[1].

Леонтьева настолько эта тема увлекла, что он даже предложил Тихомирову написать совместную работу о социализме, пусть и без возможности ее опубликовать. (Даже афонские порядки он рассматривал как *реальный* социализм с разными формами неотчуждаемой собственности.) План не осуществился: и взгляды двух мыслителей на социализм расходились, и сил у Леонтьева уже не было. Лев Александрович писал в 1891 году Новиковой: «На Леонтьева я также не могу рассчитывать, это человек совершенно больной (физически), и уже не может быть деятельным»[2].

Тем не менее у Леонтьева и Тихомирова возникла идея создания тайной организации, которую Константин Николаевич в шутку назвал «*Иезуитским Орденом*», — она должна была бороться с врагами самодержавия. В эту организацию планировалось включить В. А. Грингмута (из редакции «Московских ведомостей»), Говоруху-Отрока, Александрова и др.

---

[1] *Коноплянцев А. М.* Жизнь К. Н. Леонтьева // Памяти Константина Леонтьева. СПб., 1911. С.136—137.

[2] Письмо Л. А. Тихомирова к О. А. Новиковой от 10 сентября 1891 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 3.

Общество не должно было афишировать себя, рассчитывать на правительственную поддержку (такая поддержка свяжет участникам руки и будет вредна, считал Тихомиров). Чтобы избежать риска правительственного преследования из-за «нелегального статуса» организации, она должна иметь два «лица» — явное и тайное: например, уставов должно было быть два — один удобный для властей, другой — настоящий, для внутреннего пользования. Леонтьев вряд ли относился к этому замыслу серьезно, но пользу от такой организации предсказывал — хотя бы с точки зрения воспитания молодых людей в духе уважения к власти.

В этот последний год Леонтьев не был обделен вниманием и других своих молодых знакомых и друзей. По-прежнему продолжалась его переписка с Иосифом Фуделем, которого он всё больше ценил и уважал. В одном из писем в начале 1891 года Константин Николаевич искренне писал об этом молодому священнику:

«Моя независимость, моя обеспеченность, мой просторный дом, зимою теплый, летом веселый, в зелени, поддержка старца, любовь моя к моей милой Варе и ее обо мне сердечные (хотя и не всегда толковые) заботы, свежесть ума моего в полуразрушенном этом теле — возможность делать кой-какое, хотя бы и мелкое добро и многое другое... Это все свет моей старости. Я счастливее многих, очень многих стариков.

И вот в числе этих приятных поводов — благодарить Бога — один из самых приятных и значительных — это Ваша дружба и Ваше со мной полное единомыслие (почти), мой голубчик, Осип Иванович! Вот Вам, душенька, какой сегодня "документ"! (Это моя Варя раз так сказала вместо "комплимент".) Да, я, право, все больше и больше к Вам привязываюсь...»[1]

Именно с Фуделем Леонтьев обсуждал свое отношение к идее Владимира Соловьева о соединении Католической и Православной церквей. Не принимая точки зрения Соловьева, Константин Николаевич имел слабость, в которой сознался только Фуделю. «...не скрою от Вас моей "немощи": мне лично папская непогрешимость ужасно нравится! — признавался Леонтьев. — "Старец старцев"! Я, будучи в Риме, не задумался бы у Льва XIII туфлю поцеловать, не только что руку. Ибо руку-то у папы и порядочные протестанты целуют, а либеральная сволочь, конечно, нет. Уж на что Т. И. Филиппов строгий защитник "старого" православия, но и тот говорит

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к И. И. Фуделю от 19—31 января 1891 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 528—529.

всегда: искренне верующий православный не может не сочувствовать католикам во многом и не может не уважать их и вынужден даже нередко из усердия к своей вере завидовать им. Сверх того, что римский католицизм нравится и моим искренне деспотическим вкусам, и моей наклонности к духовному послушанию, и по многим еще другим причинам привлекает мое сердце и ум. <...> Самая мысль "идти под Папу" — ясна, практична, осуществима и в то же время очень идеальна и очень крупна»[1].

Жизнь обитателей консульского домика приближалась к очередному повороту. Старец Амвросий с весны настойчиво побуждал Леонтьева к переселению. Он волновался за духовного сына и предлагал перебраться тому в Сергиев Посад, ближе к Москве и врачам. Дело в том, что Леонтьеву могла понадобиться срочная операция по поводу одной из его многочисленных хворей, которая «влечет за собой, — как писал он Розанову, — скорую и крайне мучительную смерть»: «Вот почему о. Амвросий и желает, чтобы я был ближе к хорошим хирургам. А если бы он сказал: "Не ездите и готовьтесь здесь умирать" (как он иным и говорит иногда), то я, конечно, остался бы»[2]. Действительно, отец Амвросий не раз говорил своему духовному сыну: «Не должен христианин напрашиваться на слишком жестокую смерть. Лечиться — смирение». Старец, настаивая на отъезде духовного сына, даже деньги, необходимые для переезда «сборной семьи», ему предложил.

Но уезжать из Оптиной Леонтьев не торопился. Он взял аванс в редакциях за планируемые статьи — на переезд, но писал с гораздо большим удовольствием письма, которые размером иногда были с хорошую статью. Недаром однажды он каялся Фуделю (как раз в таком предлинном письме): «Варя, увидавши, что я все Вам это пишу, а не статью для "Гражданина", бранит меня: "Как Вы мне, право, надоели, в доме денег нет, в банк надо платить, а Вы вместо статьи все Осипу Иванычу пишете!" Увы! с "утилитарной" точки зрения она совершенно права. Я эту зиму ничего еще за литературу не получил, а 400 р<ублей> с<еребром> у Берга и Цертелева набрал вперед. Но что же делать, если мне частная беседа с Вами несравненно приятнее, чем беседа с "публикой" нашей. И не только с Вами, но и с другими людьми, которые по почте обращаются ко мне с вопросами и за советами»[3].

---

[1] Там же. С. 534—535.

[2] Письма К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову // *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991. С. 183.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к И. И. Фуделю от 19—31 января 1891 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 551—552.

Не торопился же Леонтьев прежде всего потому, что воспринимал переезд как расставание с семьей: старец советовал поселиться в Троицкой Лавре в келье послушника, разделиться окончательно с женой и с Варей. Отец Амвросий полагал, что отсутствие семейных забот скажется благотворно на Леонтьеве. Потому переезд был делом вовсе не простым. Елизавета Павловна по-прежнему просилась в Крым, — «а я все так же в этом ей отказываю, — писал Константин Николаевич Губастову, — не только по неимению лишних денег, но и потому, что ее невозможно одну так далеко пустить»[1]. Леонтьев надеялся устроить жену в каком-нибудь женском монастыре: «Лизавету Павловну... с Божией помощью, куда-нибудь сбудем; ей везде скучно и везде весело, смотря по минуте», — рассуждал он.

А вот с Варей ситуация была сложнее. 25-летняя Варя была опять беременна — в пятый раз, да еще и муж ее, Александр, стал сильно пить. «Прошлым августом (1890 г.) он поступил по моей рекомендации в урядники, жалованья 35 р<ублей> с<еребром>, я дал ему лошадь и револьвер; прекрасно, — рассказывал Константин Николаевич. — Жена и дети на моем попечении. Только бы служить. Он сначала и взялся; как самого видного из урядников и лихого, ловкого наездника его сейчас же назначили встречать губернатора, и он так все хорошо делал, что предводитель и мне, и ему самому выразил восхищение свое. А теперь у него по месяцам лежат бумаги от станового на столе, а он пьет и пропадает с какими-то мерзавцами! Его не прогоняют только через меня, и на днях становой (большой почитатель моих книг) приезжал ко мне опять на него жаловаться...»[2]

Пытался вразумить Александра его отец-крестьянин: он приехал в Оптину из Мазилова, серьезно разговаривал с сыном, увещевал его. Александр при таких разговорах плакал: плакал, когда его совестил Леонтьев, плакал, когда его урезонивал отец, плакал при беседах со старцем Амвросием, — но от этих слез ничего в его поведении не менялось, он не мог с собой справиться. Леонтьев ожидал, что Александра в ближайшее время выгонят в отставку и пьянице придется вернуться к отцу, в деревню, — «при родителях, которые его очень любят, авось образумится», — надеялся Константин Николаевич.

Но даже если бы Александр перестал пить, судьба Вари и в этом случае волновала бы Леонтьева. «...Мне больно и страшно за бедную Варю. Привыкла к простору, к покою, к обеспе-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 25 марта 1891 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 563.

[2] Там же. С. 563—564.

ченности, старуха-мать ходит за ее детьми, старец, которому она безусловно верит, близко, моя ласка и дружба что-нибудь да значит. И хотя ее в семье мужа любят и уважают, но изба тесная, семья многолюдная, и она стала болезненна, нервна, утомилась родами, и меня оставить жаль, и Оптину, и старца, и старуху-труженицу мать придется на старости бросить и вернуть на прокорм на родину к другим сестрам, которые очень бедны и от нас рады получить помощь»[1], — писал он Губастову.

Уезжать из консульского домика не хотелось, но воля отца Амвросия была для Леонтьева законом. Дело было еще и в том, что летом 1891 года старец стал готовить Леонтьева к пострижению в монашество. Постриг должен был быть тайным — иначе Леонтьев не смог бы сохранить пенсии, необходимой для обеспечения близких. Сразу после пострижения Леонтьеву, по указанию старца, надлежало перейти в Троице-Сергиеву Лавру для прохождения там монашеского пути.

Восемнадцатого августа 1891 года в Предтечевом скиту Оптиной Пустыни в келии старца Варсонофия Леонтьев принял тайный постриг с именем Климент — в честь его ушедшего друга отца Климента Зедергольма.

Монашеский постриг — поворотный пункт в жизни человека. Не случайно принимающий монашество получает другое имя, облачается в новую одежду, ему прощаются грехи. Новая жизнь, всё — заново! Со склоненной головы Константина Николаевича состригли седые волосы и *«одели»* его — в черную рясу и камилавку. Проповедовавший всю жизнь разноцветье и буйство красок, переживавший, что живет в белом, а не розовом или оранжевом доме, Леонтьев отныне носил только черное — как монашеское напоминание о необходимости покаяния[2]. Поскольку Леонтьев уже давно одевался почти по-монашески, появившийся в его гардеробе подрясник никого не удивил.

Старец торопил его отъезд; Леонтьев повиновался. Многие знавшие отца Амвросия объясняли его настойчивость предчувствием собственной смерти. С Константином Николаевичем старец простился пророчески:

— Скоро увидимся...

«Покидаю старца, прекрасную усадьбу мою и оптинских монахов, с которыми так свыкся, с сожалением, конечно, но бодро, ибо верю, что Богу, по Его милостивому (ко мне, греш-

---

[1] Там же. С. 564.

[2] Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет, что красивая, яркая одежда не подходит для плачущих о своей умершей душе; им подходит одежда черная, в которую люди облекаются в знак глубокой печали.

ному) смотрению, так угодно. Троица — после Оптиной единственное место в России, где мне теперь не противно жить...»[1] — писал Леонтьев. 25 августа Леонтьев уехал в Сергиев Посад, сделав небольшую остановку в Москве, где провел всего два с половиной дня. Из гостиницы никуда не выходил из-за плохого самочувствия, да и погода была неважной, но друзья и знакомые — Говоруха-Отрок, Грингмут, Александров — навестили его. Растроганный Константин Николаевич писал Фуделю: «...у меня были многие, и я был очень тронут всеобщей радостью меня видеть и нелицемерным участием»[2]. Одной из тем разговоров стала появившаяся небольшая статья Розанова о Константине Николаевиче, которой его почитатели искренно обрадовались.

Тридцать первого августа 1891 года Леонтьев приехал в Сергиев Посад. Старец советовал Леонтьеву попытаться поступить в Гефсиманский скит в самой Лавре. Но и по недостатку помещения в Лавре, и по нежеланию наместника пускать в скит «мирян» (постриг Леонтьева был тайным!) Константин Николаевич остановился в Новой гостинице при Лавре, в номере 24, и стал думать о своем дальнейшем устройстве. Раз места в скиту нет, может, снять квартиру и перевезти через месяц-другой сюда и Варю с женой? Или остаться в гостинице? Перед отъездом он все же выпросил у старца Амвросия разрешение вернуться в Оптину Пустынь, если жизнь на новом месте окажется для него «неудобоносимыми бременами». Но решил пробыть в Сергиевом Посаде хотя бы до весны.

Лиза ни за что не хотела оставаться в Козельске, Варю же одну не хотел там оставлять свекор. Константин Николаевич решил отправить жену на житье к Владимиру Леонтьеву, племяннику, о чем написал ему письмо и пообещал передавать ежемесячно 30 рублей — 25 на содержание Елизаветы Павловны и еще пять — ей на подарки и сладости. Правда, специально оговорился: больше рубля в руки самой Лизе не давать, иначе она купит билет третьего класса и убежит к нему в Лавру.

Леонтьев откровенно признался Володе (не забыв сообщить, что старец Амвросий этот план поддержал): он хотел бы оставить жену на его попечении навсегда, чтобы она жила по очереди то у него, то у Маши[3]. Понял ли Владимир, какие изменения произошли с дядей, или решил, что тот не может бо-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову от 14 мая 1891 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 568.

[2] Письмо К. Н. Леонтьева к И. И. Фуделю от 5 сентября 1891 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 593—594.

[3] Мария Владимировна в это время преподавала в приюте при женском монастыре в Орле.

лее ухаживать за женой по немощи, — трудно сказать. О своем постриге Константин Николаевич иносказательно написал лишь одному Фуделю, да и то с припиской «Секретно».

В том же письме Фуделю Леонтьев описывал свою новую жизнь: «"По духу" я ничего, доволен. Троица уже давно была для меня после Оптиной наиболее приятным местом: город мал (я это люблю), кругом лес, близок тот "запах ладана" и видна та "черная ряса", без которых я уже и жить не могу и которые люблю даже и тогда, когда вижу все несовершенства людей, облеченных в эту рясу и с кадилом в руке. Но, не скрою, очень боюсь хозяйственной стороны, боюсь запутаться и войти в новые долги после четырехлетнего наслаждения платить старые!»[1]

Леонтьеву помогал слуга — он взял в услужение молодого прысковского крестьянина Егора, довольно бестолкового, но доброго. К счастью, столоваться можно было в гостинице за небольшую помесячную плату, чем Константин Николаевич был чрезвычайно доволен. Но вот подходящей квартиры не находилось, да и поиски жилья давались Леонтьеву тяжело — он задыхался при ходьбе, болели ноги, приходилось брать извозчика, что было не по карману. В конце концов он решил перезимовать в гостинице, поменяв лишь комнату.

Леонтьев перешел вниз, в "графский" номер (который назывался так, потому что в нем долго жил граф М. В. Толстой, писавший на церковные темы). «Номер этот находился в сторонке... и, перегороженный на несколько комнат, представлял собой нечто вроде отдельной квартиры, — вспоминал Анатолий Александров, приехавший навестить учителя. — Номер был очень теплый: под ним, или почти под ним, как говорили тогда, находился котел парового отопления»[2].

В Сергиевом Посаде Леонтьев узнал печальную новость, о чем написал Александрову: «Весть о кончине от. Амвросия не застала меня врасплох: я давно уже приучил мою мысль к этой утрате. Он был слишком уже слаб, чтобы можно было надеяться на продолжение его жизни. Разумеется, ни один духовник уже не может мне заменить его. Будем так доживать наш грешный век!»[3] Но и леонтьевского века осталось совсем немного...

После смерти отца Амвросия Леонтьеву прислала письмо Людмила Раевская — спрашивала, не напишет ли Констан-

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к И. И. Фуделю от 5 сентября 1891 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 593—594.

[2] *Александров А. А.* Памяти К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 373.

[3] Письмо К. Н. Леонтьева к А. А. Александрову от 17 октября 1891 г. // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 121.

тин Николаевич о старце. Леонтьев не хотел делать этого второпях, но все же успел опубликовать памятную статью «Оптинский старец Амвросий», хотя уже не хотел писать, «монашествовал в безмолвии». Даже к жизни без Вари он стал привыкать. Впрочем, Варя должна была приехать к нему в Сергиев Посад — она отвезла Елизавету Павловну в Тулу, к племяннику, потом поехала к мужу в Мазилово, а оттуда планировала отправиться к Леонтьеву.

На новом месте Константин Николаевич не был одинок. К нему часто заходил знакомый еще по Оптиной отец Трифон (в миру князь Туркестанов), впоследствии ставший митрополитом, который учился в то время в Духовной академии. Приезжали его молодые друзья — Ф. П. Чуфрин, Говоруха-Отрок и Тихомиров, стал бывать И. В. Попов (в будущем — известный богослов), помогал в обустройстве на новом месте Александров. Навестил старого друга в начале октября и Губастов — он усиленно хлопотал об издании леонтьевских сочинений («Воспоминания консула», «Сдача Керчи»), виделся с Бергом и Сувориным и во время встречи «отчитался» Леонтьеву о своих визитах в редакции. Губастов провел в Новой гостинице два дня. Он вспоминал: «Со времени последнего нашего свидания он очень осунулся, сильно постарел и страдал раздражением горла, не мог долго говорить. Настроение его было угнетенное. Он поведал мне, что состоит в тайном постриге»[1].

Настоятелем Лавры был в то время архимандрит Леонид (Кавелин), знакомый и Леонтьеву, и Губастову по Константинополю. Узнав, что Константин Аркадьевич Губастов в Сергиевом Посаде, он пригласил его к себе на обед — но одного, Леонтьев упомянут не был. Губастов вспоминал: «Из нескольких замечаний его (настоятеля. — *О. В.*) я увидел, что он не особенно благоволит к моему другу. О. Леонид был человек властный, мелочный и обидчивый. Кажется, Константин Николаевич, почти не выходивший из дому, не оказал ему достаточно, как высшему духовному лицу, почтения»[2]. 9 октября Губастов попрощался с Леонтьевым, не зная, что видит его в последний раз. Последнее ноябрьское письмо Леонтьеву он, по какому-то таинственному движению души, завершил не как обычно, а словами: «Прощайте, друг мой сердечный»[3].

Леонтьев постепенно, одну за другой, перерезал ниточки, связывавшие его с окружающим миром; горячая его натура

---

[1] *Губастов К. А.* Из личных воспоминаний о К. Н. Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С. 223.

[2] Там же.

[3] Письмо К. А. Губастова к К. Н. Леонтьеву от 4 ноября 1891 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 45. Л. 7.

как будто угасала, но тут произошло событие, которое заставило Леонтьева вновь вспыхнуть и забыть о монашеской бесстрастности. 19 октября 1891 года Владимир Соловьев прочитал в Московском Психологическом обществе реферат «Об упадке средневекового миросозерцания». Леонтьев узнал об этом из «Московских ведомостей», и краткий пересказ газетой содержания реферата глубоко поразил и огорчил Константина Николаевича. Он тут же написал Александрову: «Нельзя ли как-нибудь достать для меня подлинник ужасного реферата Вл<адимира> Серг<еевича> Соловьева?! Читаю в “Моск<овских> Вед<омостях>” и глазам своим все не хочу верить! Неужели? Неужели?»[1] Константина Николаевича потрясло, что столь любимый им Соловьев, которого он оправдывал в разговорах с Фуделем ли, со Страховым, не только публично признал благодетельным ненавистный ему *прогресс*, но и заявил, что все наиболее значимые благодеяния в истории человечества были сделаны *неверующими*.

Мысль Соловьева была такова: «Большинство людей, производящих и производивших этот прогресс, не признает себя христианами. Но если христиане по имени изменяли делу Христову и чуть не погубили его, если бы только оно могло погибнуть, то отчего же *не христиане* по имени, словами отрекающиеся от Христа, не могут послужить делу Христову? В Евангелии мы читаем о двух сынах; один сказал: пойду — и не пошел, другой сказал: не пойду — и пошел. Который из двух, спрашивает Христос, сотворил волю Отца? Нельзя же отрицать того факта, что социальный прогресс последних веков совершился в духе человеколюбия и справедливости, т. е. в духе Христовом. Уничтожение пытки и жестоких казней, прекращение, по крайней мере на Западе, всяких гонений на иноверцев и еретиков, уничтожение феодального и крепостного рабства — если все эти христианские преобразования были сделаны неверующими, то тем хуже для верующих»[2].

Позиция Соловьева казалась Леонтьеву просто немыслимой: считать, что прогресс, приведший к измельчанию человечества, поработивший человека технически, — совершается в духе Христа! Верить, что принадлежащие к Церкви люди вреднее для истинного христианского учения, чем нигилисты и атеисты! Константин Николаевич ощущал себя преданным другом, ведь эти тезисы Соловьева шли вразрез с его позицией.

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к А. А. Александрову от 22 октября 1891 г. // *Леонтьев К. Н.* Избранные письма (1854—1891). СПб., 1993. С. 599.

[2] *Соловьев В. С.* Об упадке средневекового миросозерцания // *Соловьев В. С.* Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. СПб., 1914. С. 391—392.

«Возражать сам по многим и важным причинам не могу. Перетерлись, видно, "струны" мои от долготерпения и без *своевременной* поддержки... Хочу поднять крылья и *не могу. Дух* отошел. Но с самим Соловьевым я после этого ничего и общего не хочу иметь»[1], — писал Леонтьев молодому другу. С точки зрения Леонтьева, позиция Соловьева была уязвима: верующие мало сделали для благоденствия? Ну и что? Для верующего христианина важно спасение души, а не лифты и паровозы; до прогресса, в сущности, христианству и дела нет! Не говоря уже о том, что демократизацию жизни Леонтьев вовсе «благодеянием» не считал — ни с точки зрения жизнеспособности государства, ни с точки зрения развития личности (ведь уравнение противоречит религиозному смирению).

Константин Николаевич негодовал и в письмах друзьям договорился до необходимости выслать Соловьева за границу. Фудель, сам не принимавший тезисы Соловьева, тем не менее так определил бурную реакцию своего учителя: «...это было то, что на монашеском языке называется *искушением*»[2]. Однако самому Владимиру Соловьеву Леонтьев так и не написал. Рука не поднималась? Господь уберег и не дал разрушить перед смертью столь дорогую для него дружбу? Трудно сказать. Если бы Леонтьев пожил еще несколько лет, то увидел бы, как изменились взгляды Соловьева, как он отказался от всех земных утопий, — и от утопии прогресса в том числе, — ведь «историческая драма уже вся сыграна, и остался один эпилог», как напишет Владимир Сергеевич спустя всего восемь лет.

Но и сил для борьбы у Константина Николаевича уже не было — он тяжело заболел. Леонтьев ждал смерти, не раз говорил про это, но умирать не хотел.

— Если я переживу этот год, — обещал он Анатолию Александрову, — буду много работать, писать...

Он обустраивался на новом месте — для жизни, потому и попросил Александрова разыскать ему голубой марли на занавески: леонтьевский эстетизм не мог смириться с гостиничными неопределенного цвета выцветшими шторами. Как назло, подробно описанной Леонтьевым ткани не находилось в магазинах. Александров случайно заглянул в *гробовую лавку*, мимо которой проходил и заметил там что-то голубое. К его изумлению, в лавке он смог купить марлю нужного цвета! Но когда привез ткань в Сергиев Посад, Леонтьев был уже при

---

[1] Письмо К. Н. Леонтьева к А. А. Александрову от 23 октября 1891 г. // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Литературный сборник. СПб., 1911. С. 122—125.

[2] *Фудель И. И.* К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях // Русская мысль. 1917. № 11—12. С. 23.

смерти, без сознания... До конца жизни Александров был уверен, что та покупка была не случайна, — его как будто заранее предупредили о том, что произойдет.

Умирал Константин Николаевич от воспаления легких. «Странное дело! — вспоминал Александров. — На Константина Николаевича, всегда очень осторожного и предусмотрительного, нашло на этот раз какое-то непонятное затмение, и он поставил свой письменный стол так, что кресло пред ним пришлось довольно близко к окну. Никого из домашних его с ним еще не было. Он жил совершенно один с недавно им нанятым в Посаде слугой, и вот, сидя однажды за работой за письменным столом на своем кресле близ окна, в жарко натопленной комнате, он (удивительная для него неосторожность!) почувствовал, что ему очень жарко, снял с себя свою обычную суконную поддевку — и остался одетым очень легко. Следствием было воспаление легких...»[1]

Леонтьева, пока он находился в сознании и мог говорить, навещали студенты Духовной академии, был и ректор, архимандрит Антоний (Храповицкий)[2]. Константин Николаевич с ними разговаривал еще свободно, хотя и не поднимался с постели. Владыка Антоний вспоминал, что до своего визита относился к Леонтьеву с предубеждением, — некоторые статьи Константина Николаевича (критиковавшего любимого Антонием Достоевского, например) заставили его подумать, что автор слишком раздражителен и самолюбив. «Оказалось совершенно иное, — писал Антоний. — Больной говорил много и очень умно, но в высшей степени скромно, как говорят простые монахи пред настоятелями... Прямо, открыто, но без настойчивости и с постоянною готовностью выслушать и принять опровержение своих мыслей. Уже один этот тон речи Константина Николаевича показал мне, что я в нем ошибался. Правда, он уже был монах, но только для себя и для старца; я был архимандрит и ректор академии, но — двадцативосьмилетний...» Не случайно свои воспоминания о Леонтьеве, на-

---

[1] *Александров А. А.* Памяти К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 373—374.

[2] *Антоний* (Алексей Павлович Храповицкий) — с 1891 года ректор Московской духовной академии, с 1894-го — ректор Казанской духовной академии, с 1902-го — епископ Волынский и Житомирский, с 1914-го — архиепископ Харьковский и Ахтырский; в 1918 году избран митрополитом Киевским и Галицким. Выступал за восстановление Патриаршего престола, был участником Поместного собора 1917—1918 годов и первым (по числу голосов) из трех кандидатов на Московский Патриарший престол, который занял (по жребию) митрополит Тихон (Белавин). В 1919 году эмигрировал в Сербию и возглавил Русскую православную церковь в эмиграции.

писанные по просьбе друзей Константина Николаевича для сборника его памяти, он назвал «Искренняя душа».

Иеромонах Варавва, духовник Гефсиманского скита Лавры, исповедал и причастил Константина Николаевича. Но о смерти Леонтьев еще не думал — он привык болеть. Более того, когда отец Трифон завел разговор о том, что смерть может прийти в любую минуту, больной был крайне недоволен: что-то в Константине Николаевиче оставалось от молодого консула, которому претила мысль о смерти... Ухаживали за ним слуга Егор и отец Трифон, вскоре и Варя приехала. Испугавшись состояния Константина Николаевича, она тут же вызвала доктора из Москвы, но тот констатировал безнадежность состояния больного. Отец Трифон послал друзьям Константина Николаевича (Александрову, Чуфрину и др.) телеграмму: «Леонтьев умирает».

Последние часы жизни Константина Николаевича Леонтьева были описаны потом в газете «Гражданин»: «Начался почти беспрерывный бред, продолжавшийся всю ночь на 12-е ноября. Видно было, что страдания нестерпимы. Стоны резко раздавались всю ночь. — "Батюшка! Батюшки! Господи! Ох, Боже мой!" вырывалось у него. Время от времени больной и теперь все-таки приходил как будто в сознание, иногда вскакивал, или вдруг перевертывался на другой бок, иногда очень быстро сам брал стакан со стола и глотал приготовленное питье. К утру он совершенно впал в беспамятство...»[1]

Утром 12 ноября священник Сергий Веригин (студент академии) больного соборовал. Через несколько минут после таинства Константина Николаевича не стало. Около него до последней минуты оставались Варя, слуга Егор, отец Трифон, Чуфрин, отец Сергий Веригин. Александров с женой вошел в комнату только в последние мгновения жизни своего наставника. «Мне пришлось присутствовать лишь при последнем вздохе его», — вспоминал он.

Варя, не отходившая от постели Константина Николаевича всю ночь, рассказала, что, мечась в жару, в полусознании, в полубреду, Леонтьев то и дело повторял: «Еще поборемся!», потом сразу: «Нет, надо покориться!». И опять: «Еще поборемся!», и снова: «Надо покориться...» Видимо, до последнего в его душе шла борьба *героя* и *монаха*, а кто из них победил — мы уже никогда не узнаем.

Глаза Константину Николаевичу закрыла Варя, Александров вызвал полицию — как и положено. Сложили и опечатали

---

[1] Последние дни К. Н. Леонтьева в Троице-Сергиевом Посаде // Гражданин. 1891. 20 ноября.

бумаги. «Денег у покойного не оказалось. Как-то явились первые 50 рублей, которые были предложены на первые расходы, и первые нужды с помощью их были удовлетворены», — вспоминали очевидцы. В четверг, 14 ноября, в пять часов вечера тело Константина Николаевича было перенесено из гостиницы в церковь Убежища. Погребальную литургию и чин отпевания совершали архимандрит Антоний, отец Трифон, несколько иеромонахов. Лежал Леонтьев в гробу в подряснике, но поминался не как монах Климент, а как «болярин Константин»... Даже тут леонтьевский *fatum* дал о себе знать: Константин Николаевич 20 лет шел к монашеству, ради этого принес в жертву свою жизнь, но и в поминальной молитве его монахом не признали...

Для многих эта смерть стала большой потерей. Розанов, раскрыв «Московские ведомости» с извещением о смерти Константина Николаевича Леонтьева, горько зарыдал. Тихомиров, узнав 12 ноября о кончине своего друга и единомышленника, записал в дневнике: «У меня еще не умирало человека так близкого мне не внешне, а по моей привязанности к нему. Судьба! Мне должно быть одиноким, по-видимому. Он мне был еще очень нужен. Только на днях предложил учить меня, быть моим катехизатором. И вот, — умер... Меня эта смерть гнетет. Так и хочется написать ему: “Константин Николаевич, неужели вы серьезно таки умерли?..” Тоска ужасная. Где он теперь? Проходит ли “области воздушные”, где сторожат проход “лица угрюмые и мрачные”. Господи, помоги. И мне помоги»[1]. Губастов на похороны приехать не смог — он был в Петербурге; о смерти Леонтьева ему сообщил князь Голицын. Вместе они и заказали панихиду по почившему другу...

Похоронили Константина Николаевича Леонтьева в Черниговско-Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры, рядом с храмом Черниговской Божией Матери. Над могилой поставили сначала простой крест, а спустя два года — небольшую чугунную часовенку с лампадкой. Но *fatum* и здесь не оставил Леонтьева: в советское время надгробие было разбито, могила заросла травой и, казалось, была потеряна уже навсегда...

---

[1] Воспоминания Льва Тихомирова. М.; Л., 1927. С. 397—398.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Леонтьев гораздо больше любил людей, чем люди любили его.

Василий Розанов

Казалось бы, что можно еще сказать о герое книги после описания его смерти? Изначально я так и планировала: завершить рассказ о нем в Черниговско-Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры. Но, как и в начале повествования, текст не слушался моих планов: оставалась явная незаконченность многих сюжетных линий. Ведь Константин Николаевич в жизни был окружен людьми, не раз и не два упоминавшимися на страницах этой книги. Я поставила себя на место читателя. Мне было бы интересно узнать, что случилось дальше с Елизаветой Павловной, Марией Владимировной, Константином Аркадьевичем Губастовым, Василием Васильевичем Розановым, другими. Потому и появилось это послесловие.

Константин Николаевич, как мог, подготовился к смерти — в 1890 году он составил завещание, а в мае 1891 года дополнил его своими «Посмертными желаниями».

Права на издание своих сочинений Леонтьев оставил двум племянницам — Екатерине Васильевне Самбикиной и Марии Владимировне Леонтьевой — и «сериозной дочери» Варваре Прониной. Понимая, что ни племянница Екатерина, монахиня, ни Варя, мало понимающая в издательских делах, заниматься переизданием и продажей его сочинений не смогут, Леонтьев доверил это непростое дело именно Маше и назвал людей, которые смогут ей помочь, — своего друга, бывшего нотариуса Николая Михайловича Бобарыкина, и двух своих «учеников» — Ивана Кристи и Анатолия Александрова. В «Посмертных желаниях» он перечислил и других знакомых, которые могут быть полезны Маше, среди них — Т. И. Филиппова, В. А. Грингмута, И. И. Фуделя, В. В. Розанова, О. А. Новикову.

Не давала Константину Николаевичу покоя и мысль об *убогой* жене. Он просил позаботиться о ней племянницу Екатерину Васильевну и князя Алексея Алексеевича Вяземского. Князь Вяземский был предводителем дворянства Козельского уезда, в его имение Константин Николаевич не раз наведывался, когда жил в доме у ограды Оптиной Пустыни; он надеялся, что упоминание князя в завещании обеспечит Екатерине Самбикиной поддержку богатого и энергичного человека на случай каких-нибудь затруднений. Подумав, Леонтьев добавил к этим двум людям и вторую племянницу — Марию Владимировну. Главное, что необходимо было сделать для обеспечения нормальной жизни Елизаветы Павловны, — это добиться для нее пенсии. Распоряжаться деньгами Лиза самостоятельно не могла, и здесь Леонтьев тоже полагался на Машу.

В этом было что-то непостижимое для посторонних: Константин Николаевич не общался с Марией Владимировной десять лет, было время, когда та сильно не любила его жену, но именно ей он доверял самое сложное дело! Леонтьев же, судя по всему, не сомневался, что Маша исполнит его волю в точности. В «Посмертных желаниях» он прямо писал: «Марью Владимир<овну> прошу отправиться в Петербург и хлопотать о пенсии для жены. <...> Надо, конечно, хлопотать о полной пенсии (2500 р. с.) — Достоевского вдове — дали 2500 р. с., хотя муж вовсе не служил; а только писал»[1]. Все-таки Леонтьев Достоевского недолюбливал, даже пенсию его вдове считал чрезмерной! Однако отношение к себе со стороны «власть имущих» явно переоценил — полной пенсии Елизавете Павловне не дали, она получила, на двоих с Марией Владимировной, лишь половину того, что при жизни выплачивалось Леонтьеву.

Мария Владимировна начала хлопоты о пенсии сразу после смерти дяди; ей помогли Филиппов и Бестужев-Рюмин. Тертий Иванович, много сделавший для самого Леонтьева (через несколько месяцев после его кончины Филиппов записал в дневнике: «Я благодарю Бога, что мне дано было быть ему опорою и утешением и спасти его от нищеты»[2]), не оставлял своими попечениями и его семью. Весной 1892 года Марии Владимировне было назначено Государем 500 рублей пенсии за литературные заслуги ее дяди (это было больше, чем она предполагала), а несколько позже была выделена и «нераздельная» пенсия — ей и Елизавете Павловне, потому что, как писал Бестужев-Рюмин в письме Страхову, «если вдове

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мои посмертные желания // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 40.

[2] «Брат от брата помогаем...» // Нестор. 2001. № 1. С. 166.

дадут одной, ею (пенсией. — *О. В.*) овладеют родные ее и оберут. Она уже раз жила у них на попечении и вернулась к мужу чуть ли не раздетая совсем»[1].

Жене Константин Николаевич оставил наказ «не беспокоить Марью Влад<имировну> и не расстраивать ее мечтами об отъезде в Крым; а жить при Мар<ье> Влад<имировне> и предоставить ей беспрекословное распоряжение деньгами». Как разделить будущую пенсию, Леонтьев тоже расписал: просил не оставлять помощью Варю (выделять ей 20 рублей в месяц, если пенсия будет половинной, и 50 рублей, если удастся сохранить ее полной, — ведь «у нее дети»). Он беспокоился, чтобы и Екатерине Васильевне Самбикиной по-прежнему выплачивали по 2 рубля серебром в месяц на мелкие надобности (как делал он сам все последние годы). А если еще немного денег останется — хорошо бы помочь и сестре жены Леле или племяннику Владимиру.

Мария Владимировна взяла Елизавету Павловну к себе, в Орловский монастырь, где та жила довольно долго, — вдова Леонтьева умерла уже после Октябрьской революции. Маша заботилась о ней до последнего ее дня, причем снова (как когда-то, до своей любовной бури) сильно к Лизе привязалась. С. Н. Дурылин со слов Марии Владимировны рассказывал о вдове Леонтьева: «“Она была цыганка”: — все просит, все выпрашивает, — и раздает всем. Была очень добра. Уже в старости, в Орле, ее очень любили монашки и все у нее были друзья, а она то стрясет яблок с чужого дерева, то сошьет кисет из чужого куска материи, то возьмет какую-либо вещь, выпросит — но непрестанно все раздает на улице первому встречному. Она ничего никогда не умела делать»[2]. Похоронили Елизавету Павловну на Иоанновском кладбище при Орловском монастыре.

Недвижимости у разорившегося помещика Леонтьева никакой не осталось, «движимостью» же он попросил распорядиться Екатерину Васильевну Самбикину, — хотя после исключения из его имущества кудиновских вещей, принадлежавших Маше по завещанию Феодосии Петровны, распоряжаться было почти нечем. Библиотеку свою Леонтьев завещал трем ученикам — Иосифу Фуделю, Анатолию Александрову и Ивану Кристи. Фальшивое серебро («не все успел посереб-

---

[1] Письмо К. Н. Бестужева-Рюмина к Н. Н. Страхову от 18 ноября 1892 г. // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 673.

[2] Цит. по: *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 300.

рить», — сокрушался Леонтьев) было дорого только как память о Кудинове, мебель (принадлежавшую по закону Маше) он советовал ей оставить в Оптиной или послать в Шамордино.

В «Посмертных желаниях» Леонтьев все свое небольшое личное имущество расписал друзьям и близким — на память. Александрову — чернильницу чугунную и вазы «с птичками», Фуделю — золотые часы с подставкой и деревянную чашку в русском стиле, Бобарыкину — портрет отца Иеронима Афонского и рамки красного дерева, Грингмуту — материнский красный сафьяновый альбом, Варе — ордена (их, мол, и продать можно), старую шубу и одежду — племяннику Владимиру... Константину Николаевичу и завещать-то особенно нечего было, но он постарался никого не обойти своим вниманием и не обидеть.

Четыре самые дорогие сердцу иконы Леонтьев упомянул особо: «*Образа мои* — 1) Св. Константина — Лизав<ете>*Павловне*; — 2) Св. Пантелеймона — в окладе — *Марье Вл<адимиров>не*; — 3) *Кудиновский* образ — *Спаситель на белом овале с выдвижной дощечкой* сзади — *Екатер<ине> Василь<евне>*. — 4) *Финифтяный крест на подставке — Людм<иле> Осиповне Раевской*. — Остальные иконы — кому угодно». Думаю, что здесь названы самые дорогие Леонтьеву люди, и Маша идет второй после жены. Подтверждает это еще одно его желание: не класть к нему в гроб крестильный крестик и материнскую ладанку, с которыми при жизни он не расставался. Константин Николаевич хотел, чтобы после его ухода их носила Мария Владимировна — «для забвения скорбей, причиненных мною, и для поминания меня грешного одним лишь добром»[1]. Он завещал положить с ним «маленький образок Св. Павла, которым благословила меня Лиза в <18>55 году, при первой нашей встрече»[2].

Перечень посмертных желаний открывался двумя пунктами, которые не были выполнены. «Убедительно прошу тело мое *вскрыть*: пригласить врача для этого. — *Обыкновенным* признакам смерти я не доверяю. Примеры обмирания или летаргического сна слишком часты, чтобы мне (при крайней слабости моей, при слабом сердцебиении моем и, с другой стороны, при замечательной какой-то *живучести* моей...) — не бояться быть зарытым живым. — Пусть Господь простит мне эту глупую мнительность»[3].

---

[1] *Леонтьев К. Н.* Мои посмертные желания // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 42.

[2] Там же.

[3] Там же. С. 39.

Леонтьев был не единственным из известных нам людей, страдавших *тафофобией* — боязнью быть погребенным заживо (самый выразительный пример — Н. В. Гоголь). Но вскрытия не делали — оно не понадобилось: телесная оболочка быстро заявила о своей бренности.

Второе неисполненное желание — место погребения. «Где бы я ни находился в день смерти, — писал Леонтьев, — я прошу отвезти мое тело в Оптину. — От. Амвросий обещал мне давно, что мне дадут даром большое место за алтарем *той удаленной церкви, которая находится около усадьбы От. Ювеналия*, за больницей. И что и близких туда моих, если желаю, можно там похоронить»[1]. Константин Николаевич мечтал, чтобы не только его могила была в Оптиной, но и останки матери, Феодосии Петровны, тетушки Катерины Борисовны и даже брата Владимира Николаевича (Маше в утешение) были бы перевезены туда же. Но ни его там не похоронили, ни прах близких к нему не перевезли. Почему? Вероятная причина в том, что старец Амвросий к тому времени уже покинул земную юдоль, а простой ссылки на его слова было недостаточно для такого решения. Возможно и то, что к настоятелю Оптиной никто и не обращался с такой просьбой (средств перенос могил требовал немалых)... Так и остался Константин Николаевич в Гефсиманско-Черниговском скиту — один, без близких. Не навсегда. В 1919 году привезли туда же на дровнях тело его дорогого друга — Василия Васильевича Розанова. Так продиктовали события нового, XX века.

Наступившие после Февральской революции хаос, голод и разруха выгнали Розанова с семьей в августе 1917-го из Петрограда в Сергиев Посад, где он встретил Октябрьскую революцию. Здесь Розанов писал «Апокалипсис нашего времени», а готовые части выпускал небольшими брошюрами. За «Апокалипсис» он брал «гонорары» дровами и мукой, поскольку в буквальном смысле нищенствовал и голодал... Спустя год с небольшим Розанов слег после апоплексического удара и через несколько месяцев страданий скончался, в 1919 году. Исхудавшее тело Розанова отвезли на дровнях, покрытых еловыми ветками, в Черниговско-Гефсиманский скит и похоронили возле могилы Леонтьева. Они не встретились при жизни, зато после смерти упокоились совсем рядом.

Прошло еще немного времени, и в скиту устроили Исправительный дом имени Ивана Каляева (эсера-боевика, казненного в 1905-м за убийство московского генерал-губернатора)

[1] *Леонтьев К. Н.* Мои посмертные желания // *Леонтьев К. Н.* Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 6. Кн. 2. С. 39.

для проституток и уголовников. Дочери Розанова, Тане, искавшей работу, чтобы прокормиться, предложили там стать уборщицей. Тогда же были уничтожены кресты на могилах, осколками могильных плит с монастырского кладбища вымостили дорогу, а сами могилы Леонтьева и Розанова затоптали, — не специально, конечно, не в гневе праведном, а как-то так, само собой... Побывавший там в 1927 году Михаил Пришвин оставил следующее описание: «Чугунный памятник К. Леонтьева опрокинут, центральная часть его с надписью выбита. Очертаний могилы Розанова на земле почти не было заметно».

Если бы не Пришвин, могилы бы так и сгинули. Но делу помогло особое отношение Пришвина к Василию Розанову — его гимназическому учителю географии. Позже он выведет своего учителя в автобиографическом романе «Кащеева цепь» под именем «Козел»: Миша Пришвин учился в гимназии катастрофически плохо и по докладной записке Розанова был из нее исключен с «волчьим билетом». (По фантастической иронии судьбы в 1919 году Пришвина назначат на должность учителя географии в ту самую елецкую гимназию!)

Вместе с тем критики не раз отмечали влюбленность Пришвина в Розанова-писателя и его несомненное влияние на пришвинские сочинения. Один из исследователей его творчества заметил, что многими писателями Пришвин «переболел» и «только Розановым был болен неизлечимо»[1].

Интересовался Пришвин и работами Леонтьева, размышления о которых неоднократно встречаются в его дневниках. В 1930 году, например, он записал не для постороннего глаза: «Читаю К. Леонтьева. Самое худшее его предчувствие сбылось, и мрачные пророчества осуществились. Настоящая действительность: “Не хотели чтить царя, чтите Сталина. Сброшена царская мантия, и трон и сам царь расстреляны, но необходимость царя осталась: в дыру кляп забили и корабль, хотя и плохо идет, но все-таки на воде держится”...»[2]

Именно Пришвин с помощью трех женщин — своей жены, дочери Розанова Татьяны и Евдокии Тарасовны, «Тарасихи», жены Анатолия Александрова (той самой, что говорила «прóценты» и очень тем раздражала Леонтьева) — отыскал оба захоронения и сделал подробный чертеж с описанием: «Могила В. В. Розанова на кладбище Черниговского скита в расстоянии 21 метра 85 сант. по бетонной дорожке от крайнего приступка паперти церкви Черниговской богоматери; под прямым углом

---

[1] *Варламов А. Н.* Пришвин. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 43.

[2] *Пришвин М. М.* Дневники: 1930—1931. Кн. 7. СПб.: Изд-во «Росток», 2006. С. 99.

от этой точки на W как раз напротив 3-го слева окна 4-го корпуса в 3-х метрах находится центр могилы Конст. Леонтьева... <...> Тарасиха положила два красных яйца на могилу Конст. Леонтьева, тогда среди окружавших нас преступников было заметно движение броситься на них. Но они удержались, конечно, боясь нас. Что там было, наверно, когда мы ушли!»[1]

После публикации дневников Пришвина в постсоветское время начались поиски мест захоронения Леонтьева и Розанова (их к тому моменту уже не знал даже местный священник, отец Борис Храмцов). С помощью Православного просветительского общества «Радонеж», Института мировой литературы им. А. М. Горького и Государственного литературного музея местоположение могил было установлено, и сейчас над ними возвышаются два деревянных креста.

Но мы забежали далеко вперед. Тогда же, после смерти учителя, Василий Розанов предлагал ученикам Леонтьева сплотиться и сделать что-то для его памяти. Сам Розанов сделал немало. Споря и соглашаясь, разочаровываясь и вновь восхищаясь тем, кого считал гениальным мыслителем, Василий Васильевич написал о нем новые статьи: «К. Н. Леонтьев» (1895); «Константин Леонтьев и его “почитатели”» (1910); «Неоценимый ум» (1911); «К 20-летию кончины К. Н. Леонтьева (1911); «К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве (Вновь найденный материал)» (1915); «О Конст. Леонтьеве» (1917) и др.

Посетил Розанов и Сергиев Посад, куда так и не смог доехать при жизни учителя, видел библиотеку Константина Николаевича. Среди книг его внимание привлек том с названием «Alciviade» — французская монография о знаменитом афинянине, ораторе и полководце времен Пелопоннесской войны Алкивиаде. Розанову показалось, что этот эллинский образ вовсе не чужд калужскому помещику Леонтьеву. С тех пор сравнение Константина Николаевича с Алкивиадом кочует из одной его биографии в другую; и ведь не поспоришь — похож! Кого-то эта похожесть восхищала, кого-то — отвращала. Рачинского и Страхова, например. «Оба они возмущались, — по словам Розанова, — смесью эстетизма и христианства, монашества и “кудрей Алкивиада”, и, главное, жесткости, суровости и, наконец, прямо жестокости в идеях Л<еонтье>ва, смешанной с аристократическим вкусом к роскошной неге, к сладострастию даже»[2]. Тот же Страхов писал назидательно Ро-

[1] *Пришвин М. М.* Дневники: 1926—1927. Кн. 5. М.: Русская книга, 2003. С. 296—297.

[2] Письма К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову // *Корольков А. А.* Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991. С. 143.

занову: «Покойный К. Н. Леонтьев не имел успеха — а почему? Ни одна повесть, ни одна статья не имела стройности и законченности. Все у него было то, что называется плетением мыслей. Был и талант, и вкус, и образованность; недоставало душевной чистоты и добросовестного труда»[1].

Хотела я здесь не менее назидательно написать: мол, история всё расставила по своим местам... Но ведь не расставила! Константин Николаевич так и остался, несмотря на всю неординарность личности, «персонажем второго ряда» истории русской мысли. «Ох, неблагодарное потомство!»[2] — скажет Бунин об отношении к Леонтьеву и его сочинениям, заметив, что некоторые из леонтьевских сочинений — «буквально на уровне толстовских вещей».

У Розанова можно встретить такое рассуждение: не туда Леонтьев попал, «не в тот угол истории»; он «ужасно неталантливо родился»; появись он во времена Потемкина, «и еще лучше — на месте Потемкина и с судьбою его, он бы наполнил эпоху шумом, звоном бокалов, новыми Эрмитажами и Публичными библиотеками, ну а уж потом походом на Царьград»[3].

Вместе с тем Розанов, пытавшийся вырвать Леонтьева из паутины «не того» исторического времени, пустил в широкий обиход такие его характеристики, с которыми можно поспорить, однако от их афористичного обаяния очень трудно избавиться. К примеру: Леонтьев — это «второй Ницше». Но было кое-что и посерьезнее. Так, в своей последней статье о Константине Николаевиче (1917 года) Розанов утверждал, что «эстетизм был натурою его (Леонтьева), а в христианство он все-таки был только крещен; это — первозаконие и второзаконие».

Вторили Розанову и другие, причем уже в гораздо более жесткой манере. Например, Мережковский, сам будучи христианским модернистом (одни мечты о Церкви «Третьего Завета» чего стоят!), тем не менее Леонтьеву в христианской вере отказывал: «Всю жизнь шел ко Христу, исповедовал Его, говорил Ему: Господи! Господи! — был тайным монахом, другом Амвросия Оптинского, изломал, искалечил, изнасиловал душу свою, проклял мир во имя Христа, — и все-таки не

---

[1] *Розанов В. В.* Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., 2000. С. 207.

[2] *Бахрах А.* Бунин в халате. США: Товарищество Зарубежных Писателей, 1979. С. 88.

[3] *Розанов В. В.* Константин Леонтьев // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 413.

пришел к Нему, даже ризы Его не коснулся, лица Его не увидел»[1].

Как результат, в литературе сложились два противоположных взгляда на мыслителя: одни видят в Леонтьеве человека глубоко верующего и воцерковленного, монаха, искупившего все заблуждения и грехи молодости, своего рода *образец* религиозного поведения[2]; другие — утонченного эстета, который и в Церкви любил прежде всего иерархию и дисциплину, способствующие цветущей сложности...

Друзья Леонтьева многое делали, чтобы его имя и труды стали известны читателям. Сразу после похорон «Московские ведомости» опубликовали статью Ю. Н. Говорухи-Отрока «Несколько слов по поводу кончины К. Н. Леонтьева», где, помимо многих теплых слов в адрес ушедшего, говорилось и о странной судьбе этого замечательного писателя и мыслителя: «Как известная книга Н. Я. Данилевского прошла *мимо* нашего общества, возбудив оживленные толки лишь по смерти ее автора, так и книги К. Н. Леонтьева прошли *мимо* нашего общества»[3].

Спустя два месяца после кончины Константина Николаевича, в первом номере «Русского обозрения» за 1892 год, Владимир Соловьев опубликовал статью «Памяти К. Н. Леонтьева», где назвал его «самостоятельным и своеобразным мыслителем» и «писателем редкого таланта», а чуть позже написал краткий обзор жизни и творчества Леонтьева для «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона.

Обоснованно отделив позицию Леонтьева от славянофильской и перечислив (по пунктам!), в чем Леонтьев со славянофилами расходился, Соловьев определил уязвимость трех основных леонтьевских положений: «Леонтьев *религиозно верил* в положительную истину христианства, в узко монашеском смысле личного спасения; он *политически надеялся* на торжество консервативных начал в нашем отечестве, на взятие Царьграда русскими войсками и на основание великой... греко-российской культуры; наконец, он *эстетически любил* все красивое и сильное; эти три мотива господствуют в его писаниях, а отсутствие между ними внутренней положительной связи есть главный недостаток его миросозерцания»[4]. Впро-

---

[1] *Мережковский Д. С.* Страшное дитя // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 241.

[2] Многое для такой оценки сделали члены ныне существующего Леонтьевского философско-богословского общества под председательством К. М. Долгова.

[3] *Говоруха-Отрок Ю. Н.* Несколько слов по поводу кончины К. Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 16.

[4] *Соловьев В. С.* Леонтьев К. Н. // Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1896. Т. XVIIa. С. 562—564.

чем, этот момент не раз подвергался критике. О противоположности эстетики и христианства под конец жизни и сам Леонтьев, как помним, говорил в одном из писем Розанову.

Одной из первых критических статей стала работа «Разочарованный славянофил» религиозного философа С. Н. Трубецкого, опубликованная в этом же году в «Вестнике Европы». Он увидел в построениях Леонтьева «саморазложение славянофильства», метаморфозу этого учения (неославянофильство?). С одной стороны, Трубецкой подчеркивал оригинальность и глубину взглядов Леонтьева (он сравнивал четко выраженную позицию мыслителя с камнем в куче песка, — видимо, под песком подразумевая прекраснодушные построения славянофилов, которые трудно критиковать именно из-за их расплывчатости), с другой — не принимал «мракобесия» Леонтьева и выводов его учения, не соглашался с ним в том, что христианство выводится из страха Божия[1].

С 1892 года небольшой ручеек публикаций, посвященных Леонтьеву, уже не пересыхал. Это было связано и с тем, что взгляды Константина Николаевича оказались созвучны нарождавшемуся XX веку, и с тем, что усилиями друзей начали издаваться его сочинения и воспоминания о нем. Неоценимо много для памяти о Леонтьеве сделал Иосиф Иванович Фудель. В 1892 году он был переведен в Москву и служил в церкви при Бутырской тюрьме «тюремным батюшкой», а в 1907-м стал настоятелем храма в арбатских переулках. Его московская жизнь вмещала в себя многое — он участвовал в работе Московского Религиозно-философского общества, Братства четырех Святителей Московских, был членом «Кружка ищущих христианского просвещения», занимался церковной публицистикой и наряду с этим приводил в порядок архив К. Н. Леонтьева.

Не один год жизни посвятил отец Иосиф Фудель изданию собрания сочинений Леонтьева. Ему помогали Мария Владимировна и Константин Аркадьевич Губастов. Они разослали десятки писем людям, знавшим Константина Николаевича, с просьбой написать о нем или предоставить сохранившиеся у них письма Леонтьева для публикации; искали издателя.

Сначала в 1911 году был издан литературный сборник «Памяти Константина Николаевича Леонтьева», приуроченный к 20-й годовщине его смерти. Этот сборник воспоминаний открывала биография Константина Николаевича, составленная А. М. Коноплянцевым «из живых источников» (по словам

---

[1] *Трубецкой С. Н.* Разочарованный славянофил // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 154.

В. В. Розанова). К тому же в сборнике были напечатаны некоторые письма Константина Николаевича, представлявшие необычайный интерес. Розанов даже считал, что «как автор *писем* — Леонтьев стоит еще выше, чем как автор статей: и мы не припомним еще ничьих писем в русской литературе, которые были бы так же увлекательны и умны, философичны и остроумны...»[1].

Любопытно, что в переписке с Фуделем по поводу публикации леонтьевских писем (как в сборнике, так и в собрании сочинений[2]) Мария Владимировна оговаривала возможность что-то выпускать из писем дяди, по сути — «редактировать» их. Она писала: Лизавета Павловна тоже передает, чтобы «Вы все, что находите нужным — зачеркивали...»[3]. Это свидетельствует не только о понятном ее желании (противоположном желанию исследователя!) скрыть какие-то моменты личной жизни Леонтьева от публичного обозрения, но и о полном ее доверии к отцу Иосифу.

После выпуска сборника главной заботой отца Иосифа стало издание собрания сочинений Леонтьева. Ему помогал Губастов. В 1908 году Константин Аркадьевич завершил свою карьеру товарищем министра иностранных дел и в возрасте 63-х лет вышел в отставку. Он организовал в Петербурге кружок по изучению леонтьевского наследия, члены которого немало сделали для подготовки собрания сочинений. (Умер К. А. Губастов в 1919 году.)

Вновь закипела напряженная переписка с людьми, у которых могли сохраниться письма Леонтьева. Кто-то уже умер — так, в 1910 году не стало Софьи Петровны Хитрово; Тертий Иванович Филиппов сначала передал письма Губастову, но «потом чего-то испугался, потребовал их обратно»[4] (впрочем, и сам Константин Аркадьевич считал, что переписку Филиппова и Леонтьева еще рано печатать полностью). Из Балаклавы ответил согласием прислать письма «незабвенного Леонтьева» князь Гагарин — все письма сохранились благодаря его жене, Елене Алкивиадовне, «с самого начала почуявшей их значение»[5].

---

[1] *Розанов В. В.* К 20-летию кончины К. Н. Леонтьева // *Розанов В. В.* О писательстве и писателях / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1995. С. 554.

[2] В связи с тем, что полностью собрание сочинений К. Н. Леонтьева не было издано, письма остались неопубликованными.

[3] Письмо М. В. Леонтьевой к И. И. Фуделю от 16 января 1910 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп.1. Ед. хр. 102. Л. 4.

[4] Письмо К. А. Губастова к И. И. Фуделю от 28 января 1912 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 4.

[5] Письмо кн. К. Д. Гагарина к К. А. Губастову от 10 августа 1912 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 119. Л. 1.

В результате в московском и петербургском издательствах в 1912—1913 годах вышли девять томов из двенадцати намечавшихся. Завершить издание помешали финансовые неурядицы и грянувшая Первая мировая война. Десятый том был уже набран, когда на петербургское издательство «Культура» (к которому перешло печатание собрания сочинений от московского издательства Саблина) в связи с войной был наложен арест как на предприятие «немецкое», то есть принадлежавшее этническим немцам, и издание оборвалось.

Следующая попытка опубликовать *все труды* Константина Николаевича Леонтьева предпринята уже в наши дни. Но и это прекрасное академическое издание Полного собрания сочинений и писем К. Н. Леонтьева в 12 томах с превосходным справочным аппаратом до сих пор не завершено. Так что некоторая «интрига» в леонтьевоведении сохраняется в связи с ожидаемым выходом следующих томов — в них могут быть не публиковавшиеся ранее письма и материалы.

Касаясь наследия Леонтьева, необходимо упомянуть и еще одно имя, которое уже не раз встречалось в этой книге, — религиозного мыслителя, искусствоведа Сергея Николаевича Дурылина, с которым Фудель познакомился в 1912 году. Именно Дурылину, тоже подпавшему под обаяние мыслей и личности Леонтьева, отец Иосиф завещал хранившийся у него архив Константина Николаевича.

В одном из писем отцу Иосифу Фуделю Сергей Николаевич писал: «Только что прочел я письмо Леонтьева к Александрову... и опять пережил то, что постоянно переживаю около Леонтьева: какой-то восторг ясности, суровой ясности, уясняющей и меня самого, и все, что есть вне меня и, главное, подводящей вплотную к главному вопросу: да чем же в самом деле мы обязаны православию, **что** же оно для нас? По Леонтьеву лечу себя, узнаю себя, вижу, что мне нужно, — и все нужное от монастыря, от церкви, от "Христос Воскресе!" — и ни от чего больше... Христианином стать нельзя, им надо родиться: так многие говорят, но что это вздор — утверждаешься на Л<еонтье>ве: именно **стать** он стал, именно **захотел** — и **стал**. В этом **все**. А этого не понимают»[1]. Не случайно в ноябре 1916 года С. Н. Дурылин выступил с докладом «Писатель-послушник» на заседании Религиозно-философского общества, посвященном Леонтьеву.

Когда Фудель умер в 1918 году от эпидемии «испанки», гулявшей по Москве, Дурылин взял на себя — по мере своих сил — заботы об архиве Леонтьева.

---

[1] Письмо С. Н. Дурылина к И. И. Фуделю, б. д. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 95. Л. 1—2.

В 1920 году С. Н. Дурылин был рукоположен в священники, а в 1922-м — арестован и выслан в Челябинск. Когда в 1924 году Сергей Николаевич вернулся в Москву, он еще застал в живых постаревших Марию Владимировну Леонтьеву и Евгению Сергеевну Фудель («Куколку»). Женщины дружили, их связывали общие воспоминания. Дурылин знал и любил обеих. Он несколько раз навестил 76-летнюю Марию Владимировну, которая не вставала с постели (сломала ногу). «Маленькая, уменьшившаяся за болезнь... хрупко-фарфоровая», — вспоминал Сергей Николаевич. Его потрясли бесконечная любовь и верность Константину Николаевичу, его памяти, которые жили в сердце этой удивительной женщины от самой ранней ее юности до старости.

В 1927 году сначала тихо умерла Мария Владимировна, а через пять месяцев не стало и Евгении Сергеевны. Дурылин узнал об этом в очередной ссылке в Томске и с горечью записал в дневнике: «С ее смертью (Евгении Сергеевны Фудель. — *О. В.*), со смертью Марьи Владимировны... кто же остался из тех, кто не только знал и любил К<онстантина> Н<иколаеви>ча, но кого он и сам знал и любил? Никто»[1].

И вот здесь, наверное, в истории жизни моего необычного героя можно поставить точку.

---

[1] *Дурылин С. Н.* В своем углу. М., 2006. С. 397.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА К. Н. ЛЕОНТЬЕВА

1831, 13 января — в семье помещика Николая Борисовича Леонтьева и его жены Феодосии Петровны (урожд. Карабановой), в селе Кудинове Мещовского уезда Калужской губернии родился сын Константин.

1841 — Константин поступает в Смоленскую гимназию.

1843 — в качестве кадета поступает в Дворянский полк, из которого увольняется по болезни в октябре 1844 года.

1844 — зачислен в третий класс Калужской гимназии, которую оканчивает в 1849 году с правом поступления в университет без экзаменов.

1849 — поступает в ярославский Демидовский лицей, откуда в ноябре того же года переводится в Московский университет на медицинский факультет.

1851 — знакомство с И. С. Тургеневым.

1854 — досрочно получает диплом и сдает экзамен на лекаря, чтобы отправиться добровольцем в Крым (идет Крымская война 1853—1856 годов).

20 июня — Высочайшим приказом определен на службу батальонным лекарем в Белевский егерский полк.

Август — перемещен в Керчь-Еникальский военный госпиталь младшим ординатором.

1855, май — прикомандирован лекарем к 65-му Донскому казачьему полку.

Октябрь — 1857, август — служит в Келечь-Мечетском, затем Феодосийском, Карасу-Базарском и вновь Феодосийском госпиталях.

1857, 10 августа — увольняется с военной службы.

Осень — возвращается в Москву.

1858—1860 — служит домашним врачом в нижегородском имении баронессы М. Ф. фон Розен.

1860, весна — живет с матерью в Кудинове.

Декабрь — переезжает в Петербург, к брату В. Н. Леонтьеву.

1861 — женитьба в Феодосии на Елизавете Павловне (Борисовне) Политовой.

1863 — сдает консульский экзамен и поступает на службу в Министерство иностранных дел.

Назначение на остров Крит секретарем и драгоманом в российское консульство.

1864 — инцидент с французским консулом. Отозван с Крита в российское посольство в Константинополе.

27 августа — назначен секретарем и драгоманом в консульство в Адрианополь (современная Турция). Выполняет обязанности уехавшего в длительный отпуск консула.

1865, апрель — получает орден Святой Анны 3-й степени.

1866 — четырехмесячный отпуск в Константинополе.

1867, май — назначен вице-консулом в г. Тульчу на Дунае (современная Румыния).

1868, март — получает орден Святого Станислава 2-й степени.

Лето — первые признаки умственного расстройства у жены.

Осень—зима — отпуск в Санкт-Петербурге.

1869, 7 января — назначение консулом в г. Янину (современная Албания).
7 февраля — Леонтьев выезжает к новому месту службы из Петербурга.
Май — приезд в Янину племянницы М. В. Леонтьевой на лето.

1870, апрель — второй приезд М. В. Леонтьевой в Янину. Леонтьев болен лихорадкой.
Конец лета — отправляет жену в связи с обострением ее болезни к родным в Одессу.

1871, февраль — умирает мать, Феодосия Петровна.
Март — назначение консулом в г. Салоники (современная Греция); к новому месту службы приезжает в апреле этого же года. Получает орден Святой Анны 2-й степени.
Июнь — приезд М. В. Леонтьевой и О. М. Кошевской в Салоники.
Июль — Леонтьев тяжело болеет, диагностирует у себя холеру; в предчувствии смерти дает обет Богородице принять монашество. Вскоре чувствует облегчение.
25 июля — 1872, 15 сентября — живет на Афоне. Желание постричься в монахи не осуществляется.

1872—1873 — живет в Константинополе и на острове Халки.

1873, январь — выход в отставку. Смерть брата В. Н. Леонтьева.

1874 — возвращение в Россию. Вступление в права наследования; оформляет документы на имение Кудиново. Живет в Кудинове с племянницей М. В. Леонтьевой и ее подругой Л. О. Раевской.
Август — первая поездка в Оптину Пустынь. Знакомство со старцем Амвросием и о. Климентом Зедергольмом.
Ноябрь — 1875, май — живет послушником в Николо-Угрешском монастыре под Москвой.

1875, май — 1879, декабрь — живет в Кудинове и совершает поездки в Москву, Оптину Пустынь, Калугу, Мещовск, Юхнов и др.

1879 — принимает предложение князя Н. Н. Голицына о сотрудничестве в газете «Варшавский дневник»; переезжает в Варшаву.

1880, апрель—май — поездка в Петербург и Москву по делам «Варшавского дневника»; из-за кризиса в газете в Варшаву не возвращается.
Май—август — живет в Кудинове.
Август—ноябрь — пребывание в Оптиной Пустыни.
Ноябрь — поступает на службу в Московский Цензурный комитет; в должности цензора служит шесть лет.

1881, конец — 1882, начало — продажа имения Кудиново крестьянину Ивану Климову.

1887, февраль — Леонтьев официально выходит в отставку с государственной службы в Цензурном комитете.
Май — назначена пенсия 2500 рублей в год.
Осень — переезжает в Оптину Пустынь; селится с женой в консульском домике у ограды монастыря.

1890 — Леонтьева посещает Л. Н. Толстой.

1891, 18 августа — в Предтечевом скиту Оптиной Пустыни Леонтьев принимает тайный постриг в монашество под именем Климент. По совету старца Амвросия Леонтьев покидает Оптину Пустынь и переезжает в Сергиев Посад.
12 ноября — К. Н. Леонтьев умирает от пневмонии. Похоронен в Черниговско-Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения К. Н. Леонтьева

Леонтьев К. Н. Собрание сочинений. Т. I—IX (т. X—XII не изданы) / Ред., вступ. ст., прим. И. Фуделя. М.: Типография В. М. Саблина, 1912 (т. I—VI, VIII); СПб.: Изд-во «Деятель», 1913 (т. VII, IX; год выпуска т. IX не указан).

Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. / Подг. текста, коммент. В. А. Котельникова, О. Л. Фетисенко. СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2000—2009 (т. 9—12 на настоящий момент не изданы).

Леонтьев К. Н. Избранные письма (1854—1891) / Публ., предисл., коммент. Д. Соловьева. СПб.: Пушкинский фонд, 1993.

Леонтьев К. Н. Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты (1865—1872) / Подг., вступ. ст., коммент. К. М. Долгова. М.: МГИМО; РОССПЭН, 2003.

Литература о К. Н. Леонтьеве

Абрамов А. И. Культурно-историческая концепция русской цивилизации К. Леонтьева // Цивилизация: прошлое, настоящее и будущее человека. М., 1988.

Абэ Г., Жуков К. А. Интересы России на Балканах: Уроки Константина Леонтьева // Annals of the Japanese Association for Russian and East European Studies. Tokyo, 1996. Vol. 25. P. 107—118.

Агеев К. М. Христианство и его отношение к благоустроению земной жизни: Опыт критического изучения и богословской оценки раскрытого К. Н. Леонтьевым понимания христианства (Диссертация). Киев, 1909.

Александров А. А. К. Н. Леонтьев // Русский вестник. 1892. № 4.

Александров А. А. Памяти К. Н. Леонтьева. Письма К. Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. Сергиев Посад, 1915.

Ашкеров А. Византизм как симулякр сознания // Русский журнал. 2011. 10 февраля. http://www.russ.ru

Берговская И. Н. Кудиново в жизни К. Н. Леонтьева // Электронная библиотека Института философии РАН. www.iph.ras.ru

Бердяев Н. А. Константин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной жизни. Paris: YMCA-Press, 1926 (и другие издания).

«Брат от брата помогаем...» (Из неизданной переписки К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова) / Подг. текста, вступ. ст. и коммент. О. Л. Фетисенко // Нестор. 2001. № 1.

Бочаров С. Г. «Эстетическое охранение» в литературной критике (Константин Леонтьев о русской литературе). М.: Контекст, 1978.

Бочаров С. Г. Эстетический трактат Константина Леонтьева // Вопросы литературы. 1988. № 12.

Брода М. Проблемы с Леонтьевым / Пер. с польск. М.: МАКС Пресс, 2001.

Буданова Н. Ф. Достоевский и Константин Леонтьев // Достоевский: Материалы и исследования. Т. 9. Л.: Наука, 1991.

Володихин Д. М. «Высокомерный странник». Философия и жизнь Константина Леонтьева. М.: ЗАО «Мануфактура», 2000.

Гайденко П. П. Наперекор историческому процессу. К. Леонтьев — литературный критик // Вопросы литературы. 1974. № 5.

Глушкова Т. М. Преждевременный Константин Леонтьев // Брега Тавриды. 1991. № 1.

Глушкова Т. М. «Боюсь, как бы история не оправдала меня» [Вступ. статья] // *Леонтьев К. Н.* Цветущая сложность. М., 1992.

Говоруха-Отрок Ю. Н. Несколько слов по поводу кончины К. Н. Леонтьева // Московские ведомости. 1891. № 314.

Гоголев Р. А. «Ангельский доктор» русской истории. Философия истории К. Н. Леонтьева: Опыт реконструкции. М.: АИРО-XXI, 2007.

Гревцова Е. С. Философия культуры А. И. Герцена и К. Н. Леонтьева (Сравнительный анализ). М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2002.

Гросул В. Я., Итенберг Г. С., Твардовская В. А., Шацилло К. Ф., Эймонтова Р. Г. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

Долгов К. М. Восхождение на Афон. Жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во «Отчий дом», 2008.

Емельянов-Лукьянчиков М. А. Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии К. Леонтьева, Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. М.: Русский мир, 2008.

Емельянов-Лукьянчиков М. А. Три служения Константина Леонтьева // Интернет-журнал Сретенского монастыря «Общество». www.pravoslavie.ru

Жуков К. А. Восточный вопрос в историософской концепции К. Н. Леонтьева. СПб.: Алетейя, 2006.

Закржевский А. Г. Одинокий мыслитель: Константин Леонтьев. К 25-летию со дня смерти. Киев, 1916.

Зандер Л. А. Константин Леонтьев о прогрессе. Пекин: Восточное Просвещение, 1921.

Иваск Ю. П. Константин Леонтьев (1831—1891). Жизнь и творчество. Bern (Switzerland): Herbert Lant; Frankfurt/M. (BRD): Peter Lang, 1974 (и другие издания).

Иваск Ю. П. Леонтьев и Розанов // Русский альманах. Сборник / Сост. З. Шаховская, Р. Герра, Евг. Тарновский. Париж,1981.

К. Леонтьев, наш современник. Сборник. СПб., 1993.

К. Н. Леонтьев: pro et contra. Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей. 1891—1917 гг. Антология / Вступ. ст. А. А. Королькова; сост., послесловие, прим. А. П. Козырева. В 2 кн. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1995.

К. Н. Леонтьев. Учитель смелости. «Круглый стол» журнала «Москва» // Москва. Журнал русской культуры. 2006. № 1.

Козырев А. П. Национализм Константина Леонтьева // Русский журнал. 2011. 26 января. http://www.russ.ru

Корольков А. А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб.: Изд-во СГУ, 1991.

Косик В. И. Константин Леонтьев: Размышления на славянскую тему. М.: Зерцало, 1997.

Мережковский Д. С. Страшное дитя // Речь. 1910. № 30.

Милюков П. Н. Разложение славянофильства: Данилевский, Леонтьев, Вл. Соловьев // *Милюков П. Н.* Из истории русской интеллигенции. СПб., 1906.

Митрофанов Георгий, прот. Религиозно-философские воззрения К. Н. Леонтьева и их значение для русской церковной культуры // Ежегодная бого-

словская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского института. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 1997.

Новиков А. И., Григорьева Т. С. Консервативная утопия Константина Леонтьева // Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьев. СПб.: Наука, 1991.

Носов С. Н. «Хищное» христианство К. Н. Леонтьева // Христианство и русская литература. СПб., 1994.

Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Литературный сборник. СПб., 1911.

Памяти К. Н. Леонтьева. Доклады в Обществе им. А. С. Пушкина. 18 ноября 1943 г. NewYork: Изд-во Общества им. А. С. Пушкина, 1944.

Пиголь Петр, игумен. Афонский старец иеросхимонах Иероним (Соломенцов) и Константин Леонтьев. http://www.prokimen.ru

Попов Д. Л. Повесть К. Н. Леонтьева «Исповедь мужа»: Сюжет и поэтика // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература. Иваново, 1998.

Поселянин Е. Леонтьев. Воспоминания. М., 1900.

Пророки Византизма. Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова (1875—1891) / Подг. текста, коммент. О. Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2012.

Рабкина Н. А. Литературные уроки: Тургенев и К. Леонтьев // Вопросы литературы. 1991. № 4.

Рабкина Н. А. «Византизм» Константина Леонтьева // История СССР. 1991. № 6.

Репников А. В. «Эстетический аморализм» в произведениях К. Н. Леонтьева. М., 1999.

Репников А. В. Константин Леонтьев и Лев Тихомиров // Эхо. Сборник статей по новой и новейшей истории Отечества. Вып. 3. М., 2000.

Репников А. В. Русский консерватизм: Вчера, сегодня, завтра // Консерватизм в России и мире: Прошлое и настоящее. Вып. 1. Воронеж, 2001.

Репников А. В. К истории взаимоотношений В. В. Розанова и К. Н. Леонтьева // Незавершенная энтелехийность: отец Павел Флоренский, Василий Розанов в современной рефлексии: Сборник статей. Кострома, 2003.

Розанов В. В. О писателях и писательстве // *Розанов В. В.* Собрание сочинений / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1995.

Русская социально-политическая мысль XIX — начала XX века: К. Н. Леонтьев / Сост. А. А. Ширинянц, А. Г. Мячин. М.: Изд-во МГУ, 1995.

Сивак А. Ф. Константин Леонтьев. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.

Соловьев В. С. Памяти К. Н. Леонтьева // Русское обозрение. 1892. № 1.

Трубецкой С. Н. Разочарованный славянофил // Вестник Европы. 1892. Октябрь.

Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX — первой четверти XX века). СПб.: Пушкинский Дом, 2012.

Фудель И. И. К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях // Русская мысль. 1917. № 11—12.

Фудель И. И. Культурный идеал К. Н. Леонтьева // Русское обозрение. 1895. Январь.

Хатунцев С. В. Константин Леонтьев: Интеллектуальная биография. 1850—1874 гг. СПб.: Алетейя, 2007.

Хатунцев С. В. Творческое наследие К. Н. Леонтьева в современной научной литературе // Современная наука: Гуманитарные науки. 2011. № 3.

Хатунцев С. В. Мотив «китайской угрозы» у К. Н. Леонтьева и «леонтьевские» мотивы в «Трех разговорах» В. С. Соловьева // Эсхатологический сборник. СПб., 2006.

Хатунцев С. В. Китайская угроза у Константина Леонтьева и Владимира Соловьева // Русский журнал. 2011, 25—28 февраля. http://www.russ.ru

Шестаков В. П. Философия эстетизма Константина Леонтьева // Свободная мысль. 1994. № 7—8.

Янов А. Л. Славянофилы и Константин Леонтьев: Русская консервативная мысль XIX века и ее интерпретаторы // Вопросы философии. 1969. № 8.

Янов А. Л. Три утопии: М. Бакунин, Ф. Достоевский, К. Леонтьев // Искусство кино. 1992. № 9.

Янов А. Л. Русская идея и 2000 год // Нева. 1990. № 9—12.

Broda M. Historia aeschatologia: Studia nadmysla Konstantego Leontjewai «zagadka Rosji». Lodz, 2001.

Bohun M. Kontrrewolucjai pesymizm: Filozofia spoleczna Konstantina Leontjewa. Krakow, 2000.

Kline George L. Religious and anti-religious thought in Russia. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1968.

I. von Kologriwof. Von Hellas zum Munchtum — Leben und Denken Konstantin Leontiews. Regensburg: Gregorius Verlag, 1948.

La Legende du Grand Inquisiteur de Fedor Dostoevski, Konstantin Leontiev, Vladimir Soloviev, Vassili Rozanov, Serge Boulgakov, Nicolas Berdiaev, Semion Frank // Traduit du russe par Luba Jurgenson. Age d'homme, 1999.

Lukashevich Stephen. Konstantin Leontev (1831—1891): A Study in Russia «Heroic Vitalism». Pageant Press, Inc., New York, 1967.

Mondry H., Thompson S. Konstantin Leont'ev. An Examination of His Major Fiction. Moscow, 1993.

Schomacher G. Konstantin Leont'ev sästhetischer Aristokratismus. Modernitätskritik und Adelsmentalität in Rußland. Munster, 1996.

СОДЕРЖАНИЕ

Волкогонова О. Д.

В 67 Константин Леонтьев / Ольга Волкогонова. — М.: Молодая гвардия, 2013. — 453[11] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1447).

ISBN 978-5-235-03651-2

Жизнь Константина Леонтьева (1831—1891) похожа на приключенческий роман: подающий надежды писатель, опекаемый И. С. Тургеневым; военный врач на Крымской войне; блестящий дипломат в Османской империи, бросающий службу ради пробудившейся веры и живущий почти год на Афоне, мечтая о монашеском постриге; автор многочисленных романов и рассказов, отмеченных Л. Н. Толстым; духовный сын старца Амвросия Оптинского, ставший иноком Климентом. Прошедший эту бурную, полную трагических коллизий жизнь человек остался в памяти потомков как оригинальный мыслитель, создавший свою концепцию исторического развития, напряженно размышлявший о судьбе России в мире. Многие его прогнозы сбылись, многие предостережения актуальны и сегодня. О. Д. Волкогонова, доктор философских наук, прослеживает не только событийную сторону жизни К. Н. Леонтьева от эстетства и свободной любви до смирения и монашества, но также эволюцию взглядов мыслителя на основе его творчества, архивных материалов, общественных дискуссий, воспоминаний современников.

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

знак информационной продукции **16+**

Волкогонова Ольга Дмитриевна
КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

Редактор **Л. С. Калюжная**
Художественный редактор **Е. В. Кошелева**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректоры **Л. А. Ладыгина, Г. В. Платова**

Сдано в набор 25.04.2013. Подписано в печать 12.08.2013. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 24,36+0,84 вкл. Тираж 4000 экз. Заказ № 1310580.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru

arvato ЯПК

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-03651-2